

МІХАІЛ
ОСОРГІН

ВРЕМЕНА



Михаил Андреевич
ОСОРГИН

Париж
1930-е гг.

М | И | Х | А | И | Л
ОСОРГИН

В Р Е М Е Н А

Романы
и автобиографическое
повествование

Екатеринбург
Средне-Уральское книжное
издательство, 1992

Ассоциация
«РОССИЙСКАЯ КНИГА»

Среди больших русских писателей, чьи книги возвращаются к нам из небытия архивов и спецхранов, имя Михаила Осоргина — одно из самых громких.

Кто-то из живших в удалении от Родины придумал довольно емкую формулу: эмигрант — это капля крови нации, взятая на анализ. В этом смысле Михаил Андреевич Осоргин (1878—1942) — капля русской (употребим его же прилагательное), плоть от плоти своего Отечества, своего народа.

О биографии писателя читатель сможет узнать по его мемуарной книге «Времена», входящей в настоящее издание. В ней не будет многих подробностей его странствий и скитаний, но будет другое: обстоятельства жизни того поколения, что, по словам Осоргина, одним духом прожило сто тысяч чертовских русских лет.

Осоргина-писателя отличает непринужденная естественность интонаций, особенно заметная на фоне отсутствия малейшей эмоциональной однородности («печаль моя светла» вслед за Пушкиным он мог бы повторить). Проникновенна исповедальность его прозы при том, что «излишек своих переживаний» литератор, по убеждению Михаила Андреевича, должен «растворять в чернильнице». Однако главное, пожалуй, достоинство осоргинской прозы — блестящий слог тонкого стилиста.

Изгнанный в 1922 г. из России вместе с группой видных представителей интеллигенции, М. Осоргин жил и умер за рубежом, долгие годы оставаясь неизвестным нашему читателю.

Новый однотомник — наиболее представительный из всех вышедших в последние годы в Союзе сборников произведений писателя. Наряду с ранее издававшимися романами «Сивцев Вражек», «Свидетель истории» и автобиографическим повествованием «Времена» в него вошел роман «Книга о концах», печатающийся в нашей стране впервые.

Составление и примечания Евгения Зашихина.

Печатается по изданиям: Осоргин М. «Сивцев Вражек». Париж, изд. кн. маг. «Москва», 1929; Осоргин М. «Свидетель истории», Париж, изд. кн. маг. «Москва», 1932; Осоргин М. «Книга о концах», Берлин, Петрополис, 1935; Осоргин М. «Времена», Париж, Impr. ALON, 1955.

О 4702010201-018
M158(03)-92 28-92

ISBN 5—7529—0502—8

© Евгений Зашихин, сост.,
примеч., 1992

© Средне-Уральское книжное
издательство, оформл., 1992

СИВЦЕВ ВРАЖЕК



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернилницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует, кукушка, и сколько прокукует — столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, русейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рождение весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое — любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеврым он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул — хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясицу помял пальцами, опять зевнул — и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре, — из-под книжного шкала выползла мышь

и стала прислушиваться. Кажется — все благополучно, все спят, кошачьего глаза не видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула ноздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальню профессора, под дверь другой спальни — в столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более длинное путешествие — в кухню; оно очень опасно (кошка). И лучше начать его через другой ход — из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертания дальнейших предметов ровно настолько, чтобы не сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остановка — и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойно. Во сне говорил: «Что? Почему? Ах, это все равно!» Но вот дышит ровно, спит.

Всю жизнь так и убил на свою науку. Птицу узнавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету, — а людей узнавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, вылупились птенчики — три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеной, внучка — осталась без родителей.

Старуха жива — былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, конечно, было в жизни всего; особенно в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сне, и юркнул серый комочек под дверь в соседнюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала на кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жена профессора. На столике стакан воды, порошки и конфеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так нестрашно, что мышка неторопливо прошла по ковру, остановилась, присела, задумалась.

Здесь было покойно, как нигде, и как нигде — безопасно. Дышала старушка совсем неслышно, и снилось ей простое и неинтересное. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакане с водой.

Но зато дальше на пути была комната, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остановки. Страшная комната, гулкая и нежилая. В запахе спален есть умиротворяющее, житейское; но страшен зал с большими окнами и далекими силуэтами.

В круге зрения мышки блеснуло — и она отпрянула. На тонкой мордочке заработали ноздри и усы. Не так страшно: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшно мышке серой и беззащитной!

Маленькая мышка и огромный рояль, способный грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господином дома.

Профессор играл: «Вот, хотите, я изображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуруу... и трель... а вот как щелкает — никак не изобразишь!» Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, играла очень хорошо, но упросить ее трудно. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Танюша — будущая артистка; и сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет роля полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюши Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почти каждое воскресенье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И ночью не выходят на разведки.

Эдуард Львович — пожилой человек, некрасивый, неинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любит сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный немного человек.

А мышка тем временем уже возвращается из столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло — и пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни — за книжный шкаф, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшно, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, и никто его не заметил. Никто не знал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, но не вечные стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремится к уровню, иссякает энергия мира — но еще далеко до конца.

Мышиный хвостик на мгновение задержался наружу — и исчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрипел кроватью. Солнце задело занавеску окна.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая из Центральной Африки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро — в белой сорочке румяное утро. Молочными крыльями забилось в окна. И тогда щелкнула задвижка и окно распахнулось. Танюша, шурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постели — еще понежиться, счастливая, что день будет сегодня хороший.

Ранним утром, при окне открытом, — какие думы у девушки в шестнадцать лет? Первая — день хороший, вторая — сегодня воскресенье. Вместо третьей думы — беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, и облиться холод-

ной водой гянет. Напившись кофе, разобрать новые ноты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, «птичьего профессора», — сразу заметила, что прилетели ласточки. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще не было — значит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы и ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (ногти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом, сразу — ноги на коврик — и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!»

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза и делает презрительную гримаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечика. Через минуту — холодно, ни для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, и струю, облившую тело, — разве для ласточки, которая пролетела мимо окна. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене висит фотография картины, где люди на диване слушают музыку.

Пока пришита пуговка — уже девятый час. Будить дедушку — привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

— Дедушка, вставайте! Чудесный день и новость: прилетели ласточки.

— Алло, Танюша, встаю, встаю...

— Как вы спали?

— Хорошо, ты как?

— Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой день! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна, и выглянули из них лица молодые, старые, заспанные, свежие, шурились, слушали колокольный воскресный перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, вынимались и выливались стаканчики кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух и колокола влетали полновесными клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующих было на душе пасхально, неверующим весна принесла животную радость.

На дворе выбивали ковер, на окне в кухне кухарка поставила ящик с землей и натыкала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши, локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, вода языком по углу раскрытых губ, забрасывал нитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

Звенел трамвай неистово и напрасно, и городской белой нитяной перчаткой законополагал движение двух пролетов и одного ломовика.

В этот день семинарист, уже полгода думавший о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и некра-

сивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.

Это был вообще — замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.

В Париже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало повлиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек, — было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питание, смерть, — были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписанной бумаги создавались гекатомбы. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки — и рушился вместе с нею.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю — и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданием солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубли-

ную, точную немецкую прозу. Посланник прочел, усмехнулся, одобрил, так как в письме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназист. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капельной национальной яда, был честен, пылок, искрени и истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам и их крикливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу их не задели.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации — иного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель — грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло и не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось — в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило историю, человек писал к ней комментарий, но творцом истории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весной. Кладбище бумаг и секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал сигнальной станцией мира и пульсом страны.

Таких кладбищ было много, больших и малых; ими гордились страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек, — но в жизни Леночки и Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет и любит, кто жил вчера и будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцати лет распахнула окно и увидела первую ласточку, — искра радиостанции чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курица на насесте наклонила случайно голову и избежала пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой и тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падает, распластанный и оглушенный, остывшим и вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.

На бумажных кладбищах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лишние единицы. Того, кто шел за плу-

гом, не было и не будет; нет ни рабочего, ни березы, ни подрезавшего ее снаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окна домика на Сивцевом Вражке были гостеприимно освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красные гардины зала. Ему стало тепло и приятно. В музыкальные пальцы, озябшие в карманах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижность. Он сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитриевна, в очках, с большой старинной брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Танюша и Леночка слушали.

У Леночки круглые глаза на розовом круглом лице. Когда Леночка слушает, — она удивлена; когда удивлена, — у нее поднимаются брови и раскрывается пуговка рта. Танюша умеет слушать, одновременно всматриваясь в говорящего и думая о нем, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леночки, о том, как много нужно и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительный и неприятно-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сын орнитолога с женой, — оба они люди незаметные.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычное место — по левую руку Аглаи Дмитриевны — ждало его. Вообще — все было в порядке, как установилось за два-три года знакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсона и Мореля и о сдвиге световых волн. Орнитолог высказывал опасение: не беспомощна ли физика?

— Ваш светоносный эфир подозрителен! Слишком многое приходится прилаживать и приспособливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика не отрицал, — но разве это колеблет науку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диване приютились профессор, дядя Боря и Танюша. Аглая Дмитриевна в своем кресле под лампой — с вязаньем в руках. Леночка удивленно на стуле. Поплавский в самом затененном углу. Жена дяди Бори где-то незаметно.

Эдуард Львович играл где-нибудь ежедневно, но лучшим днем его было воскресенье в семье орнитолога. И он волновался. Эдуард Львович не был стар, но казался стариком: лысый, с длинными, незачесанными косами на затылке и висках. Один глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей некрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, но сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устанавливая его на нужном от клавиш расстоянии. Взял

аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось — конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд — хорошо.

Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:

— Я бы хотер попробовать сыграть... но торько есри вы хотите срушать... но могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

— Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

— Готово ли — как сказать... Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать «Космос».

Физик отозвался:

— Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

— Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их отдельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он — инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ — все это слышал, имена, — но как различать? Скрябин — диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают бурной стайей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван,

милая внучка, доступность высшего, что зовется искусством. Я — профессор, я известен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, исполнивший, уверенный, уходящий. Звуки — как цветы, музыка — пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, и он чувствует многое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мирowych пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета — лампа Аглаи Дмитриевны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант и отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно — выйдет замуж, и это главное. С музыкой выйдет лучше. А свои исторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша — сирота, но счастлива та сирота, у которой живы и благополучны дедушка и бабушка. Однако он долго играет. Аглая Дмитриевна посмотрела поверх очков и чуть было не спустила петли.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание — огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом — не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мироздание силами музыки, семью ее основными тонами, — но художественной догадкой знания не заменишь. Семь цветов спектра дают больше, и вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения и приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Вселенную. Какую? Ее в этом виде уже нет! В телескоп мы видим прошлое звезд, планет, туманностей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой — тысячелетие тому назад, другая звезда — десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не приходится оперировать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов и цифр... и получится... Эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги и головой прижавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонию. Маленькой горячей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, туманностей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не искала: просто вбирала ее в душу и рядом с ней — в ее орбите — жила. Отдала работе неосознан-

ной мысли и свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, и колебание звуков.

Большую комнату заполнили образами и видела рождение их под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними — за пределами стен. Дыша — открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно принимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли — запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой приступить. Не боялась — но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он — цельность и завершение, она — на пороге жизни, едва за пределами хаоса, из которого вышла ребенком. Она только начала собирать крупинцы реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важнейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды, — но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатерти — к сладкому и страшному «зачем жизнь?» и особенно «как жить?». Однажды уже додумалась, что цель жизни — в процессе жизни; и потому мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не унизила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавский сказал, что три точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относительно. Не поняла вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным, чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться и быть спокойным — ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А дедушка, который должен же понимать и который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

— Не говорите вы при Танюше о таких ужасах! Она спать не будет.

И действительно, Танюша в тот вечер долго не засыпала, хотя думала и не о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного нет? И тогда же — попутно — догадалась, что есть люди, берущие готовое и строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья и построить не на чем, так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не поколебимое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

И чутко, ухом музыкальным лаская дробь звуков, сливая их в пяти нитях нотной бумаги, — слушала Танюша странную и сильную импровизацию своего учителя и думала свое, мелкое, бытовое, житейское — и великое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознания. Ее мироздание лишь строилось.

Сейчас Эдуард Львович кончит — совсем почти мелодией. Все, что искал и что высказывал, — свел к немногим простейшим звукам. Неужели для него это так ясно? Кончил — и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:

— Уж так хорошо, что и не знаю. Заслушалась я вас!

Вышло это у нее просто. Другие думали, что сказать; но сказать было нечего. И Танюша, очнувшись, вздохнула.

LASIUS FLAVUS

На заре светлого дня в землю черную, влажную, поспешную для посева, ангел жизни бросал семена.

Выходило солнце, и дрожащее ожиданием семя заволакивалось теплым паром, набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку корня.

Корень стремился вглубь, искал сытной влаги, цеплялся за жирные частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый лист и распластать перед солнцем.

А когда заходило солнце, ангел смерти выносил на поле лукошко с сорными травами и среди новых зеленых всходов бросал семена зла и раздора. К утру и их зеленый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым всходам засеянных полей.

Несуществующий, великий обещал в тот год победу ангелу смерти. И когда вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешно взобрался муравей *Lasius flavus*¹. Это не был охотник за травяными тлями. Муравейник на опушке леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но известили лазутчики, что в окрестностях неспокойно, что грозит муравьиной республике нападение охотничьих племен *Formica fusca*², которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у поворота поля. Страшен был не бой, — страшно было грозящее рабство. И это в момент, когда крылатые самки уже вернулись с первого вылета бескрылыми и готовились стать матками новых рабочих поколений.

В июльский зной загорелась первая битва. Стальные челюсти впивались в щупальцы и ножки противника, срезали их одним напряжением мускулов, тела свивались клубком, и сильный перегрызал талию слабейшему.

Там, где сходились армии, песочная дорожка покрывалась огрызками ног, обломками челюстей, дрожущими шариками тел. А по обходным дорожкам грабители спешно тащили куколок, обеспечивая себя будущими рабами. Иной проголодавшийся

¹ Один из видов рыжих муравьев (лат.).

² Муравьи-охотники (лат.).

воин забирался в стойла врага и жадно выдаивал упитанную, породистую тлю; а минуту спустя уже извивался на земле в мертвой схватке с пастухом, защищающим собственность своего племени.

Шел бой до самого заката, и уже окружен был муравейник все прибывавшими армиями бледно-желтого полевого врага. Но случилось то, чего не могли предвидеть лучшие из муравьиных стратегов.

Задрожала земля, надвинулись гудящие тени, и внезапно муравейник был снесен неведомо откуда пришедшим ударом. На дорожках все спуталось, и враг с врагом в неостывшей схватке были раздавлены невидимой и неведомой силой.

Рядом никла и затаптывалась трава, песчинки вдавливались в муравьиное тело, и от стройных армий не осталось и следа. В пространствах, неведомых даже острейшему муравьиному уму, быть может, в чуждом ему измерении, как невидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, неотразимая, всеуничтожающая сила.

Погибли не только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики вереска, миллионы живых и готовившихся к жизни существ — личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых пташек, чашечки едва распустившихся цветов, — все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда. А когда тут же, вслед за пулеметной командой, утомленные лошади провезли орудие, — на месте живого мира осталась затоптанная полоса земли с глубокой колеей.

И долго еще ковылял по ставшему пустыней живому божьему саду чудом уцелевший муравей-лазутчик пастушеского племени *Lasius flavus*, не находя более ни друзей, ни врагов, не узнавая местности, затерявшийся, несчастный, малая жертва начавшейся катастрофы живущего.

Как было приказано, отряд остановился в деревушке. Лаяли и с визгом убегали собаки, солдаты с ведрами и манерками потянулись к реке, хриплый голос говорил слова команды, кудахтали потревоженные куры, и ночь опустилась над землей, не запоздав ни на секунду времени.

И загорелись в небе звезды миллиардолетним светом.

ПЛАНЫ

Программа ласточки, прилетевшей на Сивцев Вражек из Центральной Африки и жившей над окном Танюши, была в общих чертах выполнена. Птенцы вывелись, окрепли, научились летать и были готовы к самостоятельной жизни. Забот теперь было мало, интерес к жизни не так могуч, и главные устремления ласточки и всего ласточкиного народа сводились к усиленному питанию, чтобы выдержать осенью обратный перелет. Искренне упивалась жизнью только молодежь, еще чуждая страс-

тей, веселая, готовая целый день шнырять, гоняться за мухами, болтать вздор на телеграфной проволоке и на закате ловить в выси лучи уходящего солнца, когда внизу ползут уже сумерки.

Программа жизни неприятно-умного студента Эрберга была сложнее. Он кончал университет, имел в виду остаться при нем по специальности (государственное право) и жениться по чувству и с расчетом. Так как торопиться было некуда, то он мог хорошо и внимательно присмотреться, прежде чем выбрать себе жену среди молодежи профессорских семейств. Одной из кандидаток на счастье была Танюша. Поэтому студент Эрберг посещал воскресенья профессора орнитологии; но, держа Танюшу в резерве, студент Эрберг продолжал неспешно осматриваться, вполне уверенный, что недостатка в выборе не будет.

В июле была объявлена война. Среди полумиллиарда людей, житейские планы которых она поколебала, был и неприятно-умный студент Эрберг, только что сдавший государственные экзамены. Как все умные люди, вкусившие от мудрости государственной науки, он считал, что война не может продолжаться дольше двух-трех месяцев. Поэтому, не спеша портить свою карьеру и обеспечивать себе место в гражданском тылу, он поступил в школу прапорщиков. Форма ему шла, офицерская пойдет еще больше. Вынужденный отдых от умственных занятий был необходим. Военная муштровка укрепляла тело. Эрберг сразу научился печатать ногами, рапортовать, держать пояс подтянутым и в полном порядке укладывать на ночь одежду. Он был высок ростом и в ученье стоял фланговым.

Больше всех в Эрберга была влюблена горничная Дуняша, брат которой был на войне с первых дней. Эрберг, как будущий офицер, казался ей существом высшим, недостижимым; он и был им для Дуняши, и она краснела пятнами от подбородка до кончиков ушей, помогая ему снимать юнкерское пальто. И Дуняша же первая заметила, что с Эрберга не сводит Леночка круглых удивленных глаз. И понятно — он красив, значителен и о военных операциях говорит с тою же уверенностью, как раньше говорил о театре Станиславского и вопросах международного права. Но в форме он милее, еще моложе, ближе сердцу простой девушки.

Если бы Танюша знала, что она — одна из избранниц Эрберга, она бы его боялась; но Эрберг ничем ее от других не отличал, разве — ласковой почтительностью и особым вниманием к старушке Аглае Дмитриевне. Это последнее Танюше нравилось, и к Эрбергу она относилась хорошо. Интересов его не понимала и не разделяла. Но все же молодец, что не захотел укрыться в тылу, как другие, а записался в прапорщики. За это Эрберга в профессорском доме все одобряли, и Танюша была довольна: это — ее знакомый. О Леночкиных чувствах немного догадывалась, но время было такое, когда мало думалось и говорилось о личном, о чувствах, даже о музыке: война захватила всех, об ином и говорить было как-то странно.

У Эрберга была мать, уже пожилая: ее он никому не пока-

зывал — или не приходилось, или расчета не было. Покойный отец был из рижских немцев, а мать из московских мещан, совсем незначительная. И у матери были планы: пускай все будет в жизни так, как хочет ее замечательный сын. Ведь раньше было в жизни так, как хотел его отец, — и дурного не вышло. Мужчины знают больше, чем догадываются женщины. И она носила наколку, вела хозяйство и заботилась о чистоте наброшенных на кресла плотных, добротных вязаных салфеточек.

Эрберг целовал матери руку. Если бы поцеловала она ему — было бы и это просто и естественно. Когда он выходил, мать не спрашивала, куда он идет и когда вернется. Если нужно — скажет и сам.

В планах ласточки был беспокойный, беспутный перелет; в плане Эрберга — прочность и корень. Когда Эрберг пил чай, он ставил свой стакан на середину блюдечка верной, спокойной, красивой рукой.

ВРЕМЯ

В подвальном помещении под кабинетом ученого-орнитолога, в том месте, где в фундаментальную стену упиралась балка, было на стене зеленоватое пятно, покрытое пухом белой плесени. На сыром каменном полу насыпался небольшой валик мельчайших перегнивших кусочков дерева и сырых пылинок извести.

В глазах мышки это пятно было как бы гобеленом. Его грибной рисунок был замысловат, тонок и многотонен. Тысячи поколений работали над ним. Выпоты сырой гашеной извести пробуждали жизнь в промежутках кирпичной кладки под слоем штукатурки. Без общего командования, как бы без плана, шла работа разрушения. Микроскопические существа, любя и питаясь по-своему, вспахивали и унавоживали грибное поле. Они гибли, выделяли тепло и возбуждали деятельность жирной грибницы, взрастившей дремучий лес стройных пальм, вислых ив и цепких фантастических лиан.

Та же непрестанная жизнь и непрерывная, без часов и минут отдыха, работа согревала деревянную балку. Мягчайший, мельчайший червячок с прочной стальной головой сверлил ходы сквозь волокна дерева; уставши — окукливался, становился жучком, клал яичко, умирал. Новый червячок прокладывал новый путь, чертя в древесной мякоти условный рисунок. И мертвое, холодное дерево, когда-то страстно сосавшее землю, когда-то пластавшее зеленый лист к лучам солнца, — вновь согревалось, дышало теплом миллиона гнезд и мастерских, мечтая о возвращении в землю и новом воскресении в живящих соках.

И деловито, упрямо, блестя шариком глаз, напрягая мускулы хвоста, серая мышка зубами и коготками отламывала щепочки от толстой доски пола. Эту работу начали ее предки. Был сделан точный инженерный расчет расстояний и направления.

Расчет уже забыт, но следы зубов и когтей указывали верный путь... Упираясь задними лапами в неровность стены и мягкость щебня, мышка сразу делала два дела: продолжала культурную работу поколений и стачивала слишком быстро росшие зубы.

Шум извне спугнул труженицу подполья. По булыжной московской мостовой переулка, громыхая, проехала телега. Со стены упало несколько чешуек; небурным сором завалило ход червячка. Лопнула в балке истлевшая ворсинка дерева. Старый особняк профессора задрожал и накренился на несколько линий, незаметно даже для зоркого мышиноного глаза. Непросохшая капля вчерашнего дождя залилась между камушком и внешней стеной. На крыше дома лопнул ржавый гвоздик, державший лист кровельного железа. Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок.

Профессору понадобилась справка; долго перелистывал толстый немецкий том, потом вспомнил, что в прежних своих работах уже приводил эти цифры. Выдвинул из регистратора коробку, вынул рукопись давнишней работы, стал искать, удивился прежнему выводу: новые данные меняют его. Рукопись была того же формата, как и новая, недавно начатая; и те же линейки бумаги. Но старая бумага пожелтела. И почерк профессора, прежде крупный и уверенный, помельчал, стал неровным, скопился направо. Профессор этого не заметил. Со стены глянула на него молодая жена в платье с буфами на плечах, тонкая в талии, улыбнулась — но и ее он не заметил.

Рядом в комнате старушка вынула из стакана и насухо вытерла челюсть. Вставила, пожевала, приладила и посмотрела в зеркало: впадины щек растянулись, изгладились. Вздохнула и поправила чепчик.

Танюши дома не было. Танюша сидела в большой полупустой аудитории и внимательно слушала лекцию. Профессор с осторожностью, боясь быть слишком крайним, подкапывался под теорию прогресса. Его критический ум требовал круговорота истории. Уходя в глубь веков, он рисовал красивую картину исчезнувшей культуры Востока. И перед удивленной Танюшей, пережившей свою шестнадцатую весну, народы средиземноморского побережья, культуре которых ее учили изумляться в гимназии, — лишь изживали или реставрировали обломки культуры, древнейшей, созданной народами, ранее их пришедшими в мир.

Из глубины веков вставала величественная религиозная система, охватывшая своей дисциплиной все стороны жизни, проникавшая в интересы духа и мелочи быта, заполнявшая всю жизнь человека.

Под наслоениями греческой науки и философии, внезапно лишенными оригинальности, проглядывал Вавилон, сияла высокая мысль египтян, иранцев, индусов. Непрерывность исторического развития пресекалась гибелью культур и завершенностью процессов.

В старом профессоре это рождало пессимизм и горечь мысли; в юных душах рождалось иное: восторг перед прошлым, уважение к отдаленному предку, не просто человекоподобному, а мыслителю, поэту, великому политику.

Из развалин древности пробивался новый источник жизни, мысль стремилась к новому возрождению.

Но и старому и юным одно было ясно: крушение ценностей, хотевших быть абсолютами, шаткость здания сегодняшнего быта, близость грозы, сгустившейся над новым Вавилоном.

Танюша слушала профессора, внимательно наблюдала, как с носа его постоянно спадало золотое пенсне, глядела в прошлое, чувствовала будущее и росла. На нежном мозге быстрыми штрихами зачеркивались записи детской думы и простых верований, каракульки ребяческих дневников исчезали под скорописью новых слов, и капал деготь мысли в мед сердца.

Танюша слушала, и рот ее был полураскрыт.

СОЛДАТЫ

С барским особнячком на Сивцевом Вражке очень малым был связан брат Дуняши, Андрияша, рядовой Колчагин, пехотинец.

Этот жил до призыва в деревне, а война застала его на двадцать третьем году жизни. Не оглянувшись, как оказался в окопах, а скоро снялись и начали отступление.

Впрочем, шли ли вперед, шли ли назад, — рядовой Колчагин не знал. Неприятеля близко не видал, а только ухом слышал. Из-за чего война — понять не мог, а что приказывали, — делал аккуратно. Был вынослив, пищей доволен. Как неженатый и без своего хозяйства, по деревне скучал меньше других. Утомившись, спал; мог и выпить, когда было на что или когда угощали. Офицеров, которые не дрались, уважал; которые дрались, — еще больше, считая именно их настоящими.

Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллионы, — постарше, помоложе, поглупее, подогадливее. В массе они были великой военной силой, по отдельности — Иванами, Василиями, Миколаями из деревни Вытяжки близ села Крутояр. Верст за тысячу и за две от их деревни были местечки с каменными стройками и богатыми запасами навоза: Блакирхе, Иоганнисвальд. Солдаты из этих местечек носили медные каски, были грамотнее, понимали больше и лучше маршировали. Но, грозное войско — вместе, по отдельности они были Гансами, Вильгельмами, мелкими хозяйчиками, батраками, рабочими. Еще дальше к западу жили и ушли на фронт Жаны и Базили из местечек Масси и Бьевр; южнее — из живописного прибрежного Пьеве ди Кастелло и горного Рокка ди Сант Антонио, где женщины провожали молодых Джованни, Джузеппе и Базилио. Новобранцы, особенно при женщинах, держали себя браво и героически; в душе их была бессмыслица, прикрытая робким

недоумением. Но было придумано много простых, легко произносимых слов и довольно красивых оборотов речи, одинаковых на всех языках, для замены и облегчения мысли. Придумыванием таких слов были заняты адвокаты с малой практикой, старавшиеся через журнализм попасть в парламент. В том, что все это хорошо, честно и даже умно, были искренно уверены многие хорошие, честные и умные люди, и это придавало настоящий вес войне и патриотизму.

Под зданиями дипломатических кладбищ были проложены канализационные трубы, по которым гадкая жидкость текла в центральную клоаку, а оттуда на поля орошения, где росла прекрасная цветная капуста. Таким образом, путем тщательной очистки, чиновная ложь и мерзость на последнем этапе превращалась в красоту храбрости и чистую слезу. Люди же ограниченные говорили о простом обмане, что было несправедливо: обман был очень сложен и величествен. Поэтому люди с узкими лбами стали пораженцами, мудрые же отошли от жизни, одни — на долгие годы, другие — навсегда.

Между теми и другими, и еще третьими, и четвертыми, и всеми остальными разница была так мала, так незаметна, что судьба решила, не копаясь в мелочах и из опасения возможной ошибки, всем им уготовить одну и ту же участь. Она взмахнула бичом и на всех телах оставила красный, неподживающий рубец.

Да. Но дело в том, что было нечто гораздо важнее таких рассуждений, а именно вопрос о рубашке и штанах. С казенными как-то сразу вышла заминка, а походных бань и совсем не было. Иметь же свою, домашней работы рубаху, — это совсем особенная вещь, этого в двух словах не расскажешь, но разумному и так понятно. Если баня была светлой Пасхой, то рубашка — воскресным днем, вроде воздуха после душевой барачной землянки. Поэтому Андрей написал Дуняше письмо, которое прошло нужную цензуру, дошло до кухни на Сивцевом Вражке и попало в столовую профессора.

Читала письмо Танюша, обсуждали все, а Дуняша старалась прикинуть, сколько обойдется послать братану рубашку, если сошьет ее она сама.

После обеда в кухню пришла Танюша и дала Дуняше денег, гораздо больше, чем было нужно, сразу на две рубашки и на штаны. Танюша стеснялась, а Дуняша была бы рада, если бы только могла понять, почему господа дали ей денег на нужду брата. Жила давно, считала их добрыми, дарили часто, очевидно цена ее службу. А почему дают на рубашку Андрюше, не так понятно. И Дуняша взяла как подарок себе.

Теперь стало проще. Дуняша купила добротной материи, шила вечерами, сшила и послала. Танюша узнала ей, как переслать Андрею на фронт, сама все надписала. Написала и письмо. И было Дуняше так странно, что вот из этой кухни пойдет и письмо и рубашка прямо на фронт, где Андрюша стреляет в немцев.

Так и случилось. Прошло с месяц, и опять почтальон принес солдатскую весточку: Андрей рубашки получил, как раз впору; с неприятелем же мы скоро справимся. Ганс писал тоже своей жене в местечко Блаукирхе. Но лучше всех написал письмо красавчик Джованни из Пьеве ди Кастелло — свой невесте. Он посылал ей mille basi¹ и в самом конце приписал:

«L'amor è invincibile, come la forza italiana»².

Впрочем, его отряд стоял пока в окрестностях Вероны. Но не в том дело. Открытка была красива, а в левом углу — Савойский герб. Розина показала подруге, и обе были в восторге.

Ложась спать, Розина письмо положила под подушку. И заснула она только после долгих вздохов. В своей деревне она считалась самой красивой девушкой.

У ТАНЮШИ

В день рождения Танюши (17 лет!) Сивцев Вражек до утра слушал музыку, но не Эдуарда Львовича, а приглашенного тапера. В доме профессора, таком штатском, таком солидном, впервые появилась военная молодежь, и сразу много, — офицеры, больше юнкера, и только один Белоушин — вольноопределяющийся. Дуняшин брат Андрей был в отпуску, на побывке после легкой раны, и помогал ей прислуживать. Он говорил Дуняше:

— Здесь што! У нас на фронте, в штабе, не так еще отплясывают. И музыка — всем музыкам музыка, потому что полковой оркестр. А здесь што!

Перед офицерами Андрей стоял навытяжку, к юнкерам становился боком, вольноопределяющегося совсем не замечал, — когда подавал чай.

Самым блестящим офицером был Стольников, совсем молодой офицер, но уже поручик, произведенный на фронте. Здоровый, стройный, загорелый, умница, неплохой танцор. Лучше его танцевал только Эрберг, еще юнкер, но уже перед выпуском. Если сердце Леночки колебалось, то только Стольников мог отвлекать его внимание от кумира давнего. Стольников был прямее и проще, но Эрберг привлекал серьезностью и загадочностью. Леночке на вечере в Сивцевом Вражке было весело, и ее брови меньше обычного удивлялись.

Стольников на днях возвращался на фронт — с охотой. В Москве он был по делам, командированный по закупке лошадей. К фронту он уже привык, здесь чувствовал себя гостем. Он был артиллерист, нанюхался пороху, имел что рассказать, сжился с батареей. Ему казалось, что жизнь сейчас там, а не здесь. Но и здесь хорошо, когда весело, когда не говорят пустяков о войне, которой не понимают.

¹ Тысячу поцелуев (итал.).

² «Любовь непобедима, как сила Италии» (итал.).

Эрберга скоро могли отправить на фронт. Теперь уже всем ясно, что война затянется.

Были студенты: медик Муханов, юристы Мертваго и Трынкин, естественник Вася Болтановский. Этот — большой приятель Танюши, энтузиаст, верующий, театрал, любитель музыки. По мнению Васи, с которым Танюше было легко и свободно говорить, мир немножко сошел с ума, но это не беда, а очень интересно.

— Мы увидим такие вещи, такие события, что сейчас и не придумаешь. Очень интересно сейчас жить, Танюша!

Вася Болтановский был любимцем старого орнитолога, который знал отца Васи таким же пылким и жизнерадостным студентом. Васю единственного профессор, со всеми изысканно, по-старинному вежливый, называл на «ты», любя брал за вихор и отчески ласкал.

— Жить, милый мой, всегда интересно, и никаких для этого особенных событий не требуется, а уж вернее — наоборот. Такие-то события только мешают внимательно читать книгу природы. Ты вот естественник и должен это лучше других знать. Войну лучше в микроскоп разглядывать, разницы никакой нет. А уж жить лучше в мире.

Вася возражал:

— В микроскопе козявка, а тут человек. И я не о войне одной говорю. Тут, профессор, весь мир вверх тормашками... Не успеет война кончиться, — такие начнутся дела... прямо жутко и весело.

— Жутко, да не больно весело. Убьют тебя — матери твоей не больно весело будет. Нельзя, Вася, так говорить! Ты кровь ути, кровь. Цена какая!

Вася задумчиво говорил:

— Да. Это — да. Вот с этим мириться трудно. Если бы не кровь...

Медик Муханов, еще не сдавший курс остеологии, вставлял солидное мнение:

— Без крови, профессор, операции не бывает.

На что получал от профессора, не любившего медицины:

— Ну, положим, бывают операции и без крови; если вы себе челюсть свихнете, вас врачи резать не станут. А главное — живет весь мир существ без медицинских операций, живет не хуже нашего, и гордиться нам нечем. Насильственных вторжений в мировую эволюцию природа вообще не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит.

Танюша думала, что дедушка прав лишь постольку, поскольку он — добрый, и поскольку убийство человека отвратительно. Но ведь война не совсем простое убийство, и разве существует «мирная эволюция» природы? И там скачки, и там войны, революция, борьба. Дедушке хочется, чтобы все было просто, мирно и хорошо. Но в действительности бывает совсем не так.

Но тут уже начинался вопрос, на который ответа Танюша не имела.

О войне было мнение и у Дуняшиного брата Андрея. Он излагал его на кухне Дуняше в таких выражениях:

— Человека я наверное убивал, хотя и не своими руками, а, конечно, пулей. А доведется — и штыком пропору. И, однако, я не убивец, а я воин. Воюем же мы, Дунька, для причин государства, а не для себя. Мне на немца вполне наплевать, хоша я его и должен ненавидеть, так как через него страдаю по долгу присяги. Приказывают, и идем без сопротивления для принятия ран и даже смерти. А чтобы хотеть мне войны — я ее хотеть не могу, а совсем даже не желаю, прямо тебе говорю. И, главное дело, — вши! Почему я их кормить должен? А, между прочим, кормим. Это надо понимать.

На вопрос же профессора «когда вы немцев победите?» Андрей ответил молодцевато:

— Так точно, обязательно скоро их прикончим во славу Отечества. Иначе невозможно.

И покосился на молодого боевого офицера. Тот сказал: «Молодец, пехота!», а Андрей выпалил: «Рады стараться, ваше благородие!»

Все рассмеялись, юнкера позавидовали, а Леночка окончательно решила, что сегодня Стольников интереснее Эрберга.

Андрей, проходя в переднюю, как бы невзначай задел локтем вольноопределяющегося. Дуняше же на кухне заявил:

— Только один и есть наш, заправский; а которые прочие — так, шаркуны, пороху не нюхали.

ТАПЕР

В углу гостиной, на низком кресле, некрасиво подобрал ноги и сильно горбясь, сидел Эдуард Львович, нечаянно забытый всеми и, конечно, самый неинтересный в этот день человек. Он невольно морщился, слушая, как тапер барабанил по клавишам рояля, и душою болел за инструмент.

Он не мог не прийти на вечер Танюши в такой ее торжественный день (17 лет!). Теперь можно было бы и уйти, не ожидая ужина, но Эдуард Львович не решался.

Из своего уголка он видел мелькавшее платье Танюши, иногда ее прекрасную русскую головку, с гладко зачесанными волосами. Таня расцветает и должна стать крупной и красивой женщиной. Она очаровательна не одной юностью: она по-настоящему хороша. Она так же хороша, как жалок и некрасив сам Эдуард Львович. Она молода, он — скорее старик. Он талантлив, и это не дает ему ни перед кем преимуществ. Даже Вася Болтановский, курносенький, вихрастый, смешной, имеет шанс перед Эдуардом Львовичем, потому что Вася Болтановский молод и смел. Он обнимает Танюшу за талию и кружит по зале. И Танюша близко дышит на Васю. Тапер барабанит по клавишам, и это мучительно.

Вошли в гостиную студент Мертваго, тонкий, старообраз-

ный, бритый, и с ним барышня, фамилии которой Эдуард Львович не знал, так как ее просто называли «невестой Мертваго». Она была лишь годом старше Танюши, но уже казалась молодой дамой: спокойная, изысканно одетая, говорили — богатая. Студент Мертваго кончал университет в будущем году. Значит, через год он наденет фрак и будет говорить: «Господа судьи и господа присяжные заседатели», а по вечерам перелистывать деловые обложки с фамилией патрона. Призыв его не коснется — единственный сын. Ему везет, студенту Мертваго!

Но ему Эдуард Львович не завидует. В сущности, и Васе он завидует только сейчас, когда тот танцует с Танюшей. Эрбергу гораздо чаще и больше. Эрберга Эдуард Львович немного боится: Эрберг умен и расчетлив. Но как странно, что он будет офицером и пойдет на войну. Может быть, Эрберг просчитался?

Профессор отыскал композитора:

— Хорошо это, когда молодежь веселится! Шли бы и вы танцевать.

Эдуард Львович потер руки:

— Да. То есть нет. Я уже не могу! Но я смотрю с удовольствием.

— Танюша у нас растет!

«У нас» приобщало к семье и Эдуарда Львовича. Понятно: он — музыкальный воспитатель Танюши. Эдуард Львович покосился на бороду профессора и увидел широкую и радостную улыбку. И тогда он решил, что сейчас уйдет домой. Но никак не мог найти фразы на эту тему и не знал, своевременно ли об этом говорить. И только еще раз потер руками. В эту минуту тапер неприлично сфальшивил и оборвал танец.

Профессор перевел глаза на будущих супругов Мертваго, подошел к невесте, похлопал по плечу студента, не придумал для них ничего, кроме «ну, так как же? Ага, ну-ну», и грузно направился в столовую, где Аглая Дмитриевна строго осматривала приборы: все ли на месте, верен ли счет, разложила ли Танюша бумажки с фамилиями. С собой Танюша выбрала посадить Васю и Эдуарда Львовича. Старики не ужинали. Однако профессор, подойдя к столику, выпил полрюмки водки и закусил грибком. Это согрело его и развеселило. С некоторой завистью взглянул на накрытый стол, вспомнил о катаре, сказал жене: «Ну, бабушка, ты захлопоталась», поцеловал ее сморщенную руку и хотел пройти в кабинет. Но на пороге остановился и вернулся. Опять подошел к старушке:

— Смотрел я, бабушка, на Танюшу нашу. Танюша-то, знаешь, ведь растет у нас, а?

Аглая Дмитриевна посмотрела на мужа, считая в памяти, сколько не хватает вилок. Профессор похлопал ее по щеке, и бабушка забыла счет. Профессор опять сказал:

— Семнадцать, а? Не шутка! Танюше-то нашей. Внучке-то!

И тут доброе лицо Аглаи Дмитриевны озарилось улыбкой. Может быть, вспомнила, что и ей было семнадцать; может быть, вспомнила, сколько нужно еще вилок. И смотрели друг на друга,

старенькие такие. И вдруг из глаз профессора, прямо на бороду, упала капля. Смутился, зашпешил, зацепился пуговицей сюртука за старухино кружево, сказал: «Э-тэ-тэ-тэ, какая штука! А я сейчас грибком, знаешь, закусил».

И оба, совсем маленькие старикашки, вытирали друг другу глаза. У Аглаи Дмитриевны ротик собрался в морщины, а капля с бороды птичьего профессора попала на сюртук; бабушка замочила в ней руку.

В обход залы, тайком через столовую, бочком в переднюю выбрался Эдуард Львович. Там долго, волнуясь, искал свое пальто в куче шинелей, — рыжеватое пальто на клетчатой подкладке. Потом приоткрыл дверь в кухню и униженно попросил:

— Дуняша, вы бы не отказали запереть за мной двери...

— А что, барин, ужинать не останетесь?

— Да. Нет, благодарю вас...

И до самого поворота за угол энергичный тапер преследовал робкого композитора.

ВИДЕНИЯ

Солдат Андрей Колчагин, Дуняшин брат, был ранен на войне — очень легко. Пуля чиркнула по его голове, сорвала кусочек белобрысой щетины и улетела дальше; может быть, зарылась в землю, а может быть, в чье-нибудь сердце. Они шли тогда в атаку занимать австрийский окоп. Ничего, заняли. Но Андрея Колчагина подобрали санитары, так как он упал, не то от потери крови, не то от контузии.

Рана зажила скоро, а в лазарете Андрей лежал больше из-за головной боли: не давала она ему покоя. Иной раз выл, иной раз не мог пошевелиться. А как полегчало, получил отпуск. И в Москве, на отдыхе, совсем поправился. Жил нигде, спал у Дуняши на кухне, а она в своей комнате. Питался же с профессорского стола и очень был благодарен. В чем мог, помогал по хозяйству, ходил по поручениям. Отпуск имел месячный.

Одно осталось от болезни — неровный сон, иногда кошмары. Особенно если выпивал лишнее. Вообще же Андрей Колчагин не пьянствовал, так — иногда, в праздник. Да и вина в продаже не было, значит — от случая к случаю.

Проснулся Андрей ночью от своих слов; ясно и браво сказал: «Так точно». И колотилось в левом боку о тонкий тюфяк на полу, как пулемет: не скорей, не тише, и так же громко. И сон сразу улетел.

Он уже к этой болезни привык. Лежал между сном и несном, о чем-нибудь думал. В лазарете вот так лежал рядом с вольноопределяющимся, из господ, и чего только тот не наговорил Андрею: голова замечательная, до всего дошел! И насчет жизни, и про войну — что, может, ее совсем и не нужно, и про разные обманы, — про все говорил смело, потому что у него отрезали ступню, и ему все равно было — нечего жалеть. По тому

самому Андрею ему и не очень доверял, тем более что из господ, бывший учитель. Но слушать — слушал.

Теперь Андрей, лежа один, ничего из этих разговоров не мог вспомнить; только вот одно, что, может, войны никакой и не нужно, а только обман. Голову солдату морочат. И вши на фронте едят до невозможности. Все это, однако, за отечество. А почему бани нет? И как затякает пулемет,— вот, как сейчас, на левой стороне, под боком: ту-ту-ту...

Затем думал Андрей о сапогах; и вообще о сапогах, и о новых, и франтовских в особенности. Вспоминал разные сапоги, какие видал. За офицерские сапоги (носить в тылу на праздниках) отдал бы он, пожалуй, пол-отпуска. Однако в окопах они совсем ни к чему.

Затем о кухне думал, но немного. Что мыши бегают, что Дуняша во сне спит носом, что жареным луком пахнет и что не хочется встать и пойти до ветру. А пулемет под боком выводил свою песню, и на лбу Андрея был пот. Что это за болезнь такая, не проходит?

Отчего-то начал думать про своего ротного,— и уж до чего же его не любят солдаты! Другие офицеры — туда-сюда, всякие бываю, а вот ротный — зверь, и совсем не человек. В деле храбрый, ничего против него не скажешь, ничего и не боится, а вот в ученье или так,— ну не человек, а как волк! Один глаз раскосый, орет на всякого и дерется. Нет хуже офицера, который дерется зря, от злости.

И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея, и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может. И страшно Андрею, и уж никак нельзя остановиться, все равно пропадать, так уж было бы за что. У самого теперь от злости в груди скачет, из гимнастерики выскакивает. Левою рукой Андрей впихнул обратно сердце, держит, а правой в морду ему, в морду, промежду глаз раскосых,— и все мимо. Выходит — пропадать приходится ни за что; это ему всего обиднее: так и не отведешь душу на офицерской морде с усами. А у ротного кривой глаз еще смеется, никогда раньше не смеивался.

Попробовал Андрей проснуться — слава тебе, Господи! Ничего нет, и, однако, стоит он перед взводным, а тот его деревянной ложкой по левому боку: раз-два, аз-два, аз-два; ложка-то казенная, насквозь и прошла. Больно не больно, а обидно. И опять растет злость у Андрея, и опять перед ним ротный, и та же скверная история. Схватил его Андрей за горло, под воротником, мнет,— а горло мягкое, как тряпка, ничего не выходит. Ротный ворочает глазом, а из горла сипит: «Расстреляю тебя, сукинова сына». Хватъ рукой за ложку, и выдернул ее из Андрея вместе с мясом. Ахает Андрей и просыпается — опять весь в поту.

Перелег на другой бок. Сосед, вольноопределяющийся, прижал ноздрю, сморкнул и говорит простым голосом: «Вся война ни к чему, а ротного мы сейчас будем на куски». Взял простыню,

будто это ротный, и начал рвать и складывать, рвать и складывать. И подумал Андрей: «Вот то-то, сам ты — барин, тебе все игрушки». Тут засвистало, и — чирк его, Андрея, по голове. Закричал он нехорошее выражение и проснулся опять, уже теперь совсем проснулся.

Было за окном светло. Большая муха звенела в стекло, а голова у Андрея побаливала. Из крана помочил затылок, так и фельдшер советовал, прогулялся до ветру, а на будильнике часов шесть — седьмой. Решил Андрей больше не ложиться — все равно скоро подыматься. Натянул штаны, накиннул гимнастерку и вышел за ворота, где дворник подбирал на мостовой на скребку и сыпал в ящик. А Андрей смотрел, без особого любопытства, но с сочувствием. Хотя был он кавалер, но в дворничьей работе ничего низкого не видел.

Потом постояли, покурили. Дворник сказал:

— Нынче рано поднялся.

— После лазарета сна нет настоящего.

— Сколько ден осталось?

— Завтра последняя неделя пойдет. И опять вшей кормить.

— А как, охота, неохота?

— Чего ж, и там люди. Вот только кабы знать — может, вся эта и война ни к чему.

Дворник, двадцать лет служивший при доме, подумал и авторитетно заметил:

— Это, брат, дело не наше. Нам этого знать нельзя. А как в Расее неприятель, то, значит, и воевать приходится.

Андрей сказал:

— Кровь-то, чай, наша.

— А что такое наша кровь? Кому тебя нужно? Скребком да и в ящик. На том свете разберут.

Голова Андрея побаливала. Все же пошел принести Дуняше охапку дров для плиты.

День был — понедельник — тяжелый день. Туго просыпались на Сивцевом Вражке.

DE PROFUNDIS ¹

Сталь, медь, чугун, — таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно.

Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он — дрогнула, звякнула, ожила вся цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится его нянька, паразит и ласкатель, чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко.

Громадный, круглогрудый, мощный, — вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито

¹ Одна из частей заупокойной католической мессы (лат.).

тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они — железные рабы человека.

В теплушке, перегруженной живыми телами, он везет на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно-умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стук поезда.

Две минуты верста — медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажень. Ти-та-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву, — и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Ти-та-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч.

Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном вагоне офицер, — а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же.

Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри, не опоздай, служивый, с побывки! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость и ведро извести на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился; сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи скорее баранью ногу, — эх, вы, солдаты, головы бараньи! Но вот ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону, и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд.

Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи. На десять человек — пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки, — насквозь, под соском вышло. Кашляет, значит, жив. А тот слепой — значит, тоже жив; зрячих на земле не осталось.

Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку, цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков — за чин его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил — стал душить, душить, бить костью по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская их деревянным молотом: это за букетик-то! Но улыбаются раненые: у сестер на губах

умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые воины, которых везет обратно поезд!

Сбыл их, сбросил на конечной станции, — и назад без устали. Теперь тащит груз немалый: пулеметы — убивают, противогазы — чтоб не убили, снаряды — убивать, медикаменты — чтобы не умереть, бомбометы — убивать, повозки — для раненых... Что еще? Мясорубка где ж? Чтобы в одном котле порубить и прожать сквозь железное сито вместе Ивановы мозги и Петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш, — жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазные впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и клочья. Вместо них везут бинт — перевязывать малую царапину: бедный солдатик щепал лучину и напорол мизини́ц; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом — получилась куколка. А если он взропщет? И вы думали, что солдаты останутся на фронте, когда повеет в воздухе свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязан быть умным: захотелось в цари дураку...

Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый, — от Миколая Дарье, с поклоном и всем соседям. «А я ничего, здоров». Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогонку из-под земли: «Стой, подожди, я помер». К Дарье от Миколая новый приказ: «долго жить». А сам Миколай жил недолго, очень недолго, — зарыл в землю по двадцатому году.

Есть и от Эрберга два письма, одно — матери, другое — на Сивцев Вражек. «В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется».

И Танюше: «Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресенья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще не раз услышать, как...»

Полон надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист, — вам еще это не знакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг!

В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл *De profundis*.

ОТЛЕТ ЛАСТОЧКИ

Невысоко в небе тучкой летели ласточки из России в Центральную Африку — только на зиму, чтобы там переждать холод и опять вернуться.

Родиной их была Россия, она же и страной любимой. На ее полях, под окнами было лучшее: пища, приют, любовь; на чужой стороне только отдых. Но на родине слишком мало солнца было зимой, сердце ласточки могло обратиться в кусочек льда; и слишком губительно жгло солнце летом в Центральной

Африке — как бы не сгореть от его ласки. Были и другие причины перелета белогрудых птичек, но человеку о них знать не дано, даже тому старому профессору, над окном которого осталось прочное гнездышко из московской глины.

И по пути видели ласточки со своих высот:

По зеленому фону — нити рек и прохладные пятна озер. Как кучки мусора — города и городочки, и вокруг них реде лес, скуднее зелень полей, точно дыма и грязи их чуждается природа, уходит подальше.

Еще видели — низко пролетая — спокойного пахаря за спокойной лошадей и за ним след поднятой земли.

Еще видели быстрый бег поезда по двум нитям железа, и ход автомобиля по серой укатанной дороге, — но лет ласточек был быстрее.

Еще видели, как огромным червяком ползли отряды солдат с двух сторон к одной границе, где была взрыта земля и где червяки таяли и исчезали.

Случилось, что в небе появилась птица небывалой величины и грозно и нудно гудевшая, а вокруг нее мячиком скакали белые и желтые клубочки. В один из таких желтых клубочков, отставших в небе от чудной птицы, влетели несколько ласточек и тотчас, сжавши крылья, комочком упали к земле. И ближние к ним отуманили головки ядом, который человек послал в небо.

Но все это только мелькнуло при быстром лете; с высоты же земля была прежней, и мало на ней заметен человек. Только зелень и серь полей исчертил он прямыми чертами, разметил малыми квадратами.

Летели ласточки над морем и сверху видели море до самого дна. Как малый листок на пруду, ветром гонимый, — плыли по морю корабли, один за другим, и малость их на огромном море говорила не о могуществе, а о ничтожестве человека. На один корабль опустились в пути усталые птички. Было темно, глаза их не видели.

Когда утром ласточки поднялись, чтобы лететь дальше, в глубинах морских появилась странная, неуклюжая рыба, подплыла к кораблю, поднялась на поверхность, выплюнула и погрузилась обратно. Тогда содрогнулся воздух с такой силой, что едва не перебил крылышек пернатым путникам. А затем корабль накрепился и тихо пошел ко дну. Все это ласточки видели, но не поняли, да и не задумывались, зачем рыба потопила полный людей корабль, мирно шедший по морю.

Затем летели ласточки над песками, зная, что цель их близка, и считая свои потери.

А потери их были страшны. Проводник завел их в пути отдохнуть на берегу Сицилии. И вот с ночи вышли на берег люди с корзинами, сетями и палками и стали избивать малых птичек. Много тогда погибло. Мягкие, вялые птички трупки уносили с берега корзинами; многих потоптали и оставили чернеть на песке, когда уцелевшие птички улетели на рассвете.

К страшному делу людей отнеслись ласточки, как отнеслись бы к урагану или подкравшемуся невзначай убийце-морозу: кто спасся, тот благословлял жизнь и воспевал солнце.

И на пути ласточек блеснул первый оазис, встреченный их веселым — чиррр...

УХОД ЧЕЛОВЕКА

Когда ласточки улетели с берега Сицилии, оставив много мертвых, растоптанных соплеменниц, — одна из несчастных, с подбитым крылом, не могла следовать за стаей. Здоровым крылом она била воздух, подбрасывая от земли усталое тело и вытягивая шею в сторону полета подруг. Ее «чиррр» было неслышным шепотом, ее страданье к сумме мирских страданий не прибавило ничего.

Когда солнце поднялось выше, ласточка затаила глаза синеватым пологом и стала часто глотать горячий воздух. Когда снова склонилось солнце — ласточка умерла. Это была — та самая, что под окном дома на Сивцевом Вражке три весны подряд устилала новым пухом старое гнездо. Та, что видела человеческую девушку Танюшу с кувшином в руках над голыми плечами, что слаще щебетала для старого профессора, чем кукует его кукушка. Это была та ласточка, что склонилась под самой крышей точившего балку червяка.

И лежал в ложине, поодаль от искрошенного снарядами леса, в ста верстах от своей границы, но на чужой земле — как будто не вся земля наша! — тяжело раненный человек в форме прапорщика. Осколок шрапнели пробил ему грудь, засорив рану клочком бумаги, где красное залило синий штемпельный оттиск и ненужное больше слово «Эрберг».

Он был еще жив, неприятно-умный в жизни и расчетливый человек. Но уже не был больше расчетлив и был близок к мудрости. Одним неконтуженным глазом смотрел в мутное от слезы, воспаленное небо, пальцами целой руки скреб в корнях трав. Ухо его ловило стон, слышный близко, знакомый, свой; а потом стон переходил в хрип, в груди булькало, и чужое тело хватывал уже не первый холод. Было ли живо сознание — знал только тот, чье имя застряло в слепшейся ране.

Мышь, высунув из норы голову, повела усами и скрылась, учуя недоброе. Недоброе могло быть хищной птицей, могло быть голодным волком. Сегодня и птицы и волки будут сыты.

Жук с золоченой спиной, точно и он в офицерском чине, вяло и без дела прополз мимо. Он искал, куда спрятаться на зиму, думая, что выживет; но его часы были сочтены.

Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро и плавной малой дугой ушло под землю, оставив красный след.

У Эрберга была в Москве мать, старая и робкая женщина. Она не знала, что матерью ей осталось быть не больше часа.

Все это было просто, обычно, одинаково нужно и ненужно. В учете утрат мира — нуль, в учете жизни одного — все. Но

все — пока последнее дыхание еще колеблет воздух над сухими синими губами.

И вдруг из точки, где спряталось живое сознание, борясь за себя и не желая гасить свой светильник,— вспорхнула мысль и ласточкой унеслась к небу. Центр мира перестал быть центром, мир потерял опору, закружился и унесся за мыслью. В то же время с легким треском электрической искры в одной бывшей жизни мгновенно порвались все нити мечтаний, сомнений, привязанностей, и все стало ясно, и все стало просто, и мягко зашелестели бристолевские листочки распавшегося карточного домика.

Проще и лучше, чем стало теперь, не мог бы придумать мудрейший человеческий ум. Оставалось только убрать, скрыть землей, общим покровом, оболочку житейской гордыни, тело без имени, рану без боли, бурый кусочек бумаги без реального значения.

Тогда зажглась в небе звезда, оглянула поверхность земли, нашла лежащее тело Эрберга и отразилась в его открытом мертвом глазу,— отразилась бледно и нехотя, как бы по долгу службы и уважения к ушедшему из жизни. Скоро звезду — до завтра — закрыло облако.

САМЫЙ НЕРАЗУМНЫЙ ЗВЕРЕК

Возможно, что военные историки уже установили или могут установить, по чьей команде и чьим легким движением пальцев взвился и разорвался в небе первый снаряд мировой войны.

Возможно, что первый выстрел был слабым ружейным; быть может, это был залп — и нельзя решить, как звали первого братоубийцу.

И точно ли выкупалась в свежей крови первая пуля и раздробил кость осколок первого снаряда или они, пролетев положенное, смущенно зарылись в землю? Какое бесценное поле для изысканий! Сколько дал бы за этот малый свинец и чугуна американский коллекционер!

Как имя первой осиротевшей матери? Поставлен ли ей памятник с фонтаном — фонтаном слез? В чьем альбоме красуется марка первого письма, написанного солдатом с фронта? И первый стон раненого записан ли граммофоном? Веревкой ли задушено или камнем придавлено первое открытое, вслух брошенное проклятие?

Отныне впредь на много лет ничья ищущая мысль, ничье живописующее перо не запашет и не взрастит поля без красных маков войны.

Отошло в далекое прошлое время василька и полевой астры. Земля дышит злостью и сочит кровь.

Там, где не растет красный мак,— там спорынья на колосе и красный гриб под шепчущей осиной. Багряны закаты на море, пылающими струйками стекает кровь по столбам северного

сияния. И воспоминанье не черной мухой, а насосавшимся клопом липнет к нечистой совести.

А между тем все это не так, природа не изменилась. В тот день, когда началась европейская война, ни одна травинка в поле, ни один белый цветик, росший зачем — неведомо, не взволновался величием минуты, ни один горный ручей не ускорил светлого бега, ни одно облачко не пролило лишней слезы.

Аисты, не найдя старых гнезд в разрушенных домах, несут детей в соседние села. Яблоко, зарумянив одну щечку, подставляет солнцу другую. Слеп крот, юрка мышь, еж колюч. Неведомо нам, почему пчела точно знает ближний путь по воздуху и жук гудит басовой струной.

«Что со мной?» — говорит, набухая, горошина. «Ух, как трудно!» — поднимает глыбу земли горбатый сочный росток. «Шутка сказать — мы!» — заявляет белый гриб, дождем умытаясь. «И мы!» — ему вторит бледная поганка. А купол неба раз навсегда истыкан золотой булавкой.

Лопнула куколка бабочки, и выполз мотылек с примятыми крыльями.

На одной и той же улице умер человек, не отложив дня смерти до развязки событий, и родился младенец, не испугавшись будущего. И в семьях их эти случаи были событием большим, чем великая война.

И вот что еще случилось. Огромным гусиным пером на огромном свитке беглым полууставом старуха писала историю. Когда раздался первый залп, перо дрогнуло и уронило кровавую каплю. Из капли побежал дальше выющийся чернильный червячок, как малая змейка, а седая косма старухи, упавшая на пергамент, размазала каплю на целый локоть свитка.

Когда старуха заметила, она поймала прядь волос, обсосала сухим языком и закинула за ухо. А чернильный червячок бежал дальше, кривляясь, теряя кусочки на запятые, забираясь под строку, раскидываясь скобкой над полууставом. И лгал, белил грех, чернил подвиг, смеялся над святым, разводил желчь слов слезами крокодила. А дьявол за спиной старухи ловил перо за верхний кончик, щекотал старухину жилистую шею, шептал ей в ухо молодые соблазны, потешаясь над ней, как малый ребенок.

Шамкая ртом беззубым, отмахиваясь от дьявола свободной рукой, старуха писала и думала, что пишет правдивую историю. Может быть, так и было. Под утро запел петух, дьявол сгинул, а старуха заснула над красно-грязным свитком пергамента.

Был у старухиной кошки малый серый котенок — плод любви на соседней крыше. Когда старуха заснула, он прыгнул ей на колени, оттуда на стол. На груди пожелтевших от времени бумаг еще догорал светильник. Котенок услышал старухин храп, удивился, нагнул набок мордочку и лапкой тронул старуху за усатую губу.

Как раз в тот момент старуха видела во сне ровную дорогу. На середине пути дорога была перетянута колючей проволокой.

Старуха не заметила и на всем ходу напоролась на колючку верхней губой. Тогда она взмахнула во сне руками, котенок шарахнулся в сторону и опрокинул светильник.

Вылилось масло, вспыхнул пергамент; но сгорел он не весь. Люди мудрые, люди ученые, каждый по-своему, все по-разному подберут позже слово к слову, уголек к угольку. Пропал только верхний кусок свитка, на котором крупными буквами вывела старуха: «Кто виноват». И это на века и века будет предметом спора.

Котенок же от испуга проголодался, побежал к блюдечку и стал лакать молоко, вымочив всю мордочку. Затем, облизываясь, сел посреди комнаты и стал думать о том, что скучно бывает и в молодые годы.

Это был самый неразумный зверек подлунного мира.

СЛУЧАЙ С ЧАСАМИ

В старых и любимых часах профессора — часах с кукушкой — давно уже развинтился винтик, на котором держался рычажок, сдерживающий заводную пружину.

В два часа ночи, как всегда, орнитолог перетянул обе гири — темно-медные еловые шишки — и пошел спать. Винтик покосился и ждал.

К трем часам зубчатое колесо едва заметным поворотом накренило винтик, и он выпал. Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса — ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату; а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла.

Пока все в доме спали, время бешено летело. Вихрем порошились со стен дома чешуйки штукатурки, лопались скрепы крыши, червячки, мгновенно оокукливаясь, делаясь жучками, умирая, размножаясь, точили балку. Постаревшая кошка во сне проглотила сотню мышей, проделавших в полу десятки новых ходов. Ласточка, уже не та, уже другая, не вынув из-под крыла головки, успела дважды побывать в Центральной Африке.

Уже у самой постели бабушки Аглаи Дмитриевны стояла тень в старом саване, косясь на приоткрытую дверь орнитолога, — и румянцем молодой крови оделась грудь спящей Танюши.

На всех фронтах ураганным огнем сметались окопы и жизни. Мяч удачи, храбрости и стратегии летал от врага к врагу. Слезы, не просыхая, образовали ручеек, к которому спускались солдаты с манерками. Валами росли братские могилы, и мертвец бесстрастно дремал на груди мертвеца, которого вчера, не целя, не зная, убил поворотом ручки пулемета.

Когда от залпов вздрагивала земля, — кости Ганса плотнее прижимались к костям Ивана, и череп с улыбкой спрашивал:

— Мы в безопасности, враг Иван? Наш блиндаж — самый верный.

А Иван отвечал, стуча зубами:

— Двум смертям не бывать, враг Ганс!

И оба, в холоде уютной могилы, смеялись над теми, кого поблизости в окопах лениво ест серая жирная вошь.

Просто и немязежно было тем, кто уже использовал привилегии не жить. Остальные с растущим ужасом смотрели, как душными газами оседает на землю багровый туман будущего, и спешно, боясь опоздать, толкаясь жесткими локтями, бросались на пищу, искали любви, прижимались и рождали потомков, для которых игралась эта великая человеческая комедия.

Исчерпав энергию пружины, часы с кукушкой остановились. Но было уже поздно: ни один человек не может вернуть прошлого. Завтра старый профессор встанет еще постаревшим, не зная, чем объяснить такую слабость: припадком катара? Аглая Дмитриевна в положенный час не оставит постели, а мужу скажет:

— Я полежу нынче. Что-то неможется мне, милый мой. Пошли-ка ко мне Танюшу.

И она уже больше не встанет и не будет сидеть в столовой за самоваром. Когда в воскресенье придет Эдуард Львович, — приоткроют дверь в спальню Аглаи Дмитриевны, чтобы и она могла послушать музыку.

Два года, пробежавшие так быстро, потерянные бабушкой, — приобретены внучкой. И, занеся кувшин над голым плечом, Танюша заметит его здоровую округлость и кинет беглый стыдливый взгляд на окно: не видят ли ласточки? Вытираясь новым мохнатым полотенцем, она потянется, напряжется и вздрогнет от нового для нее ощущения силы и желания. И бесстрастное зеркало, изучившее каждую черточку девочки-девушки Танюши, отметит в записях своей зеркальной памяти:

— Числа такого-то родилась женщина.

Под утро дворник Николай, с побелевшими висками, вышел на улицу с метлой и скребком. Перекрестился, посмотрел на небо, деловито перевел взгляд на мостовую, зевнул и начисто усердно подмел вдоль всей стены пыль и чешуйки осыпавшейся штукатурки.

В доме все еще спали; работали только он и ласточка. Но уже дребезжала телега зеленщика, ехавшего на Арбатскую площадь.

ДЯДЯ БОРЯ

За годы мирной жизни каждый нашел свою клетушку, прочно врос в ее стены и выставил на ней свой номер, по которому его и можно было найти. Каждый талант вывешивался и вымерялся. От массы отделилась кучка избранных, — и был кучке избранных особый почет.

Поэта отметил перст музы, ученого — признание неучей, артиста — шепот толпы. Головой выше плотника — архитектор, маляр перед художником — пигмей. На одном дереве росли два

яблока, но солнце зарумянило одно, червь точил другое. Приказал Господь приказчикам разложить по прилавку жизни человеческий товар — лицом показать: сверху лучшее, под низ поплосе. Ина бо слава солнцу, ина тусклой оплывшей свече.

Но жизнь взбаламучена войной — и все изменилось. Кому нужен космос Эдуарда Львовича? Кому — старый ум птицеведа? Пошатнулось мироздание, птицы разогнаны грохотом орудий. Отврати напряжением глубокой философской мысли полет пули! Рассей чистой поэзией удушье газов! Чугун и медь жаждут безмятного мяса, — не время взвешивать мозг. Слава тому, кто нужен сегодня, только на сегодня, новому богу — единому богу войны. И вот тут-то большим человеком стал дядя Боря, сын профессора орнитологии.

Дядя Боря, не отличавший Шопена от Скрябина, дядя Боря, терпимое ничто, рядовой инженер-механик, не хватавший звезд. Ага! Теперь он понадобился, дядя Боря!

Он вставал с первым светом и был на фабрике ко второму свистку. Там, где раньше штамповали пуговицы, — теперь он делал полевые телефоны. Вместо плужных ножей теперь он варил иную сталь. На Каме, повыше Перми, он строил подъездный путь до завода суперфосфатов, — не ко благу земледелия — оно подождет: в жертву удушливому богу войны. Вместо швейных шпулек он сверлил пулеметный ствол.

Дядя Боря был многолик, был везде, по всей России, во всех странах, всюду — первый, нужнейший человек. Нужнее его был только тугоголовый, с волосатой грудью, с бычачьей шеей высокий генерал прусских войск, да два-три опытных, давно приспособленных шпиона. Впрочем, еще врач, смелый молодой хирург, карнавальный до колена ногу с оторванной ступней. Но это лишь для совести нашей — нельзя же жить совсем без совести. Дядя Боря, как и генерал, нужен был для главного: для убийства.

Дядя Боря никого никогда не убил. Собственно говоря, подлинный дядя Боря, Борис Иванович, сын профессора, скромно делал свое дело — руководил работой большого завода, являясь утром, уходя к ночи, заглядывая на завод и в праздник. Но он стал теперь выше тех, кто слушал импровизацию Эдуарда Львовича при полупотушенном свете. Сталь надолго выше их всех взятых вместе, теперь ведь уже неважно, подлинно ли прямая линия — ближайшее расстояние!

Внезапно выросли люди, которых недавно никто не знал и не хотел признавать. Не те — пушечное мясо (их и сейчас признавали лишь в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекие, невзрачные, но деятели. Была сейчас их пора: все догадались, что только они и суть настоящие люди.

Дядя Боря, уже почтенного возраста человек, носил теперь френч и стал моложе. Дядя Боря обрил бороду, но оставил полуседые усы. Танюша говорила:

— Дядя Боря, вы стали таким интересным, что я опасаясь за сердце Леночки.

Жена дяди Бори хмурилась, но он был доволен. Он был даже весел. В общем разговоре он не уклонялся, не отходил на второй план. Он выжидал и вставлял слово: и все видели, что дядя Боря не просто имеет мнение, а знает. Раньше просто не догадывались, о чем говорить с дядей Борей — не о паровых же котлах. И придумывали что-нибудь вроде паровых котлов, но доступное и всем остальным, и всем одинаково неинтересное.

Дядя Боря стал нужен многим и по очень многим делам. Это именно он устроил юриста Мертваго, который только что женился, в Земгор. Мертваго называли теперь земгусаром, но все-таки форма его напоминала военную. Дядю Борю видали в обществе крупных коммерческих тузов; быть может, те старались обойти кругом и использовать видного инженера; могло дело идти и о поставках или в этом роде. Но ни в ком никогда не могло возникнуть сомнений в честности дяди Бори, именно этого дяди Бори, сына орнитолога, дяди Танюши. Другие дяди Бори, делая дело общее, делали дело и свое. Было время такое, когда интерес личный часто совпадал с интересом государственным и общественным. В мирное время это бывает реже, хотя тоже бывает.

Когда, по воскресеньям, Эдуард Львович играл, дядя Боря, во френче, без бороды, садился теперь близ лампы Аглаи Дмитриевны и сидел, освещенный, слушая с удовольствием Скрябина, которого он принимал за Шопена.

Однажды, когда Эдуард Львович кончил одну из своих импровизаций (ту, где жизнь звуков гаснет сама и слышно, как она угасает), дядя Боря первым громко сказал:

— Чудесно! Вы сегодня в ударе, Эдуард Львович. Очень приятно слушать. А все же надо идти: фабрика меня ждет. У нас сейчас и воскресенья и ночные работы. Гоним на всех параш!

Попрощался и вышел. И больше никто ничего не сказал Эдуарду Львовичу. И больше Эдуард Львович в тот вечер не играл. Так, говорили о разном и разошлись рано.

Ложась спать, Танюша думала об Эдуарде Львовиче. И в первый раз ей пришло в голову:

— Любил ли кого-нибудь Эдуард Львович? Ведь он не был женат.

И еще подумала:

— Какой он несчастный!

У Танюши была, поверх большой, еще маленькая подушечка, думка, с кружевной оторочкой. Танюша положила на нее голову, немного вбок, так что ухо вмялось в легкий пух. И заснула.

ЦАРАПИНА

Друг детства Танюши, любимец орнитолога, Вася Болтановский окончил университет. Сдав последний экзамен, он забежал домой, умылся и посмотрел на себя в зеркало.

За время экзаменов похудел, зато глаза веселые. Как был,

так и остался вихрастым. Усы ничего, бородка дрянь, совершенная дрянь. Пиджак тоже дрянь — единственный штатский наряд Васи. А экзамены — черт побери — все-таки кончены; с ними и студенчество кончилось. Это — здорово! Вася попробовал покрутить ус, но в зеркале получалась полная чепуха. Он немножко смутился.

Делать аб-со-лю-тно нечего. Как-то сразу стало нечего делать. Вася оставлен при университете — значит, впереди работы много. А пока — решительно нечего делать, нелепость какая! Не заказать ли визитные карточки? Или сбрить бороду?

Вася закрыл рукой бородку до губы; получилось ничего себе. После экзаменов осталось ощущение нечистоты какой-то, чернильно-книжной пыли. Маникюр сделать? Ну, это уж ерунда, а вот бороду...

Парикмахер, намылив Васе физиономию, рассудительно заметил:

— Действительно, по качеству лица, — ни к чему бородка. Подбородок же у вас, явственно, с ямочкой, и скрывать не приходится; в известном смысле украшение. Головку повыше-с, еще немножечко! С фронта как будто о победах слышно...

Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстуком фантази. И, конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба.

Съев борщ, Вася попросил поросенка, но только, если можно, окорочок. Дали окорочок, заливной, к нему хрен в сметане. Выпил Вася и кувшинчик хлебного квасу. Съел и кисель с молоком, — все по-праздничному. Когда обтирал губы салфеткой (своей, на кольце метка), вспомнил, что борода сбрита. Так приятно — гладко! И свежесть за ушами — простриг парикмахер.

И по бульварам Вася зашагал к Сивцеву Вражку. Помахивал толстой тростью, смотрел на встречных со смелой радостью. Ибо сегодня Вася — настоящий, окончательно взрослый человек. Встречных студентов жалел любовно: сколько им еще трепаться!

На повороте с бульвара встретила приятная барышня, подарила взглядом. Вася тоже подарил — и заторопился на Сивцев Вражек, чтобы скорее увидеть профессора и... Танюшу. Впрочем, профессора сейчас дома нет, он все еще экзаменует.

Милый особнячок. А и стар же ты! Раньше Вася не замечал, а сегодня, сбрив бородку, сразу заметил. Стоял особнячок профессора прямо, — а как будто и слегка вкось. Ворота явно покосились. И много облупилось штукатурки.

Танюшино окно наверху, оно открыто. И Вася, отступив на середину дороги, запел плохим тенорком:

Ви ро-за, ви ро-о-о-за...

Танюша выглянула в окно:

- Идите, Вася, я открою. Сдали?
— Сдал все. Свободный гражданин.
— А борода где? Зачем это вы?

Вася подумал: «То есть как зачем?» — и подошел к крыльцу. Дверь открылась, и Вася тотчас догадался, что он с самых юных лет отчаянно и окончательно влюблен в Танюшу, и бесповорот-но, что, впрочем, и неудивительно, так как лучше, милее, ближе и красивее ее никогда никого на свете не было и не будет. Если раньше это как-то не приходило ему в голову, то сейчас в этом не остается сомнений. Упасть на колени и вползти за Танюшей вверх по лестнице, или что-нибудь в этом роде, выразить как-нибудь. Она такая строгая, белая кофточка, воротничок, а он умирает от любви.

Когда Танюша, протянув руку, сказала: «А знаете, Вася, так вам гораздо, ну гораздо лучше!» — Вася совсем переполнился чувством, сел на ступеньку лестницы и заявил, что дальше он — ни шагу не двинется, что или Танюша погладит его по голове, или он тут же умрет немедленно.

Она не погладила, он не умер, и оба поднялись наверх в Танюшину комнату. Здесь стало полегче. Зеркало посмотрело на Васю без его жалкой бородки и подумало: «Эге, а ведь он действительно влюблен».

— Как бабушка?

— Бабушке сегодня лучше, но вообще плохо.

— Профессора еще нет?

— Дедушка на экзаменах. Вы его непременно дождитесь, он о вас спрашивал. Что вечером делаете?

Хорош вопрос! Все вообще нечего делать, ни вечером, ни все лето.

— Ничего не делаю.

— Останетесь у нас? Оставайтесь, я сегодня тоже свободна.

Вошла кошка. Вася схватил ее за шиворот, поднял к лицу, и кошка оцарапала его свежебритый подбородок. Вася бросил кошку, отерся платком и сказал:

— Вот проклятая зверуха! Танюша, а я люблю вас прямо как собака...

И покраснел, не зря подумав, что сказал глупость. Сказал бы просто «я вас люблю», а тут зачем-то приплел собаку.

Всегда правдивый, он поправился:

— Таня, я собаку приплел тут зря. А я просто, без собаки, действительно до чертиков...

Вышло еще нелепее. Но, конечно, если бы хотела понять — поняла бы. Но она сказала спокойно:

— А вы лучше одеклоном... Покажите-ка. Да она вас сильно оцарапала! Ну, и сам виноват...

Не сбрей бороду Вася — не заметна была бы царапина. Вот нашел время бриться! И больно. Любовь Васи начала утихать.

Сели рядышком на кушетке. Говорили о том, как каждый проведет лето. Пожалуй, из-за бабушкиной болезни придется остаться в городе. Вспоминали об общих знакомых, кто сейчас

на войне. Эрберг погиб давно — был первым близким из убитых. Были и еще. И сейчас на фронте много старых друзей. Стольников редко, но все же пишет, — хороший он, Стольников! Леночка — сестра милосердия, но не на фронте, а в Москве; летом на дачу тоже не едет. Леночка много говорит о раненых и влюблена в нескольких докторов. Белый костюм с красным крестом к ней очень идет.

— Знаете, Вася, а я бы не могла. То есть могла бы, конечно, но это... как бы сказать... Как-то не для меня... я не знаю...

Танюша сегодня серьезная; тоже устала от экзаменов. Сошли вниз, в столовую. Вернулся профессор, проголодавшийся, обнял Васю, поздравил. Пока дедушка обедал, Танюша по просьбе больной старухи, лежавшей в спальне, сыграла ее любимое. Бабушка угасала без больших страданий, даже без настоящей большой болезни, но как-то так, что всем был ясен ее скорый конец. Силы жизненные в ней исчерпались, потихоньку уходила. Насколько можно — к этому даже привыкли. За месяцы ее болезни сильно стал горбиться и профессор, но крепился.

Вечером к Танюше зашла подруга, консерваторка. Вася гадал им:

— На сердце треновая восьмерка, а скоро получите червонное письмо.

Консерваторка была довольна, она ждала письма.

После Танину подругу провожал домой. И, оставшись один, не знал, в кого же он, собственно, влюблен, в Танюшу или в ее приятельницу? Все-таки решил: в Танюшу! Хотя это странно — ведь с детства ее знает, совсем были как брат с сестрой. Но, решив, опять пожалел, что приплел зачем-то собаку:

— От смущения!

Вернулся домой, в Гирши. На столе груды книг и немытая чашка. В остатках жидкого чая — несколько мух и желтый окурочок. Завтра нужно отдать прачке белье. И вообще нужно куда-нибудь на лето уехать. К родственникам решил забежать завтра; надо все же.

И внезапно — как днем будто бы любовь к Танюше — встала перед ним жизнь. Юность кончена — начинается путь новый и трудный. Может быть, и правда — понадобится попутчица жизни? Кто же? Танюша? Друг детских лет? Подумал о ней теперь уже с настоящей нежностью. Подумал и самому себе признался с удивлением, что Танюши он совершенно не знает. Раньше знал — теперь не знает.

Это было открытием. Как это случилось? И еще одно: он все еще мальчик, а Таня — женщина. Вот что проглядел он за книгами.

От смущенья хотел потрепать бородку, — но был гладок подбородок, а на нем царапина.

Не любить Танюши нельзя, ну а любить ее по-особенному, как в романах, ему, Васе Болтановскому, тоже нельзя. Ну как же это может быть; даже как-то нехорошо, неудобно!

Это было очень грустно. Тогда он взял книжку и зачитался, пока не стали слипаться глаза.

Вася Болтановский был обладателем счастливой способности: он спал как сурок и просыпался свежим, как раннее утро. Поэтому он любил жизнь и не знал ее.

ЗА ШТОРАМИ

На столе у двери сидела кошка, вчера оцарапавшая бритый подбородок оставленного при университете. Не цапай за шиворот! Кошка облизывалась и скучала. Вышла крупная ночная неудача: старая крыса, знаменитая старая крыса подполья, ушла от ее когтей.

Ушла сильно помятой. Уже была в лапах... и как это только могло случиться? Никакого вкуса в старой крысе нет, и не в том дело. Но как это могло случиться? В кошке было оскорблено самолюбие охотника. В таких случаях она скучала, зевала, и глаза ее тухли: глаза, обычно горевшие в темноте зеленым светом.

Устроившись удобно, но не подгибая передних лап, чтобы оставаться в боевой готовности, кошка стала дремать, оставив бодрствовать только уши. До света еще часа два.

Старая крыса все еще дрожала от пережитого ужаса. Забившись в самую тесную щель подполья, она зализывала раны. Не сами раны опасны, — но нельзя, чтобы их заметили молодые крысы. Будут следить, ходить по пятам и при первой слабости загрызут. Вот что всего опаснее. Не пощадят седых волос и облысевшей спины. Проклятая ночь выдалась сегодня!

Над постелью Аглаи Дмитриевны наклонилась длинная, худая фигура в сером. Протянула руку и острым ногтем надавила под одеялом сосок дряблой груди. Бабушка ахнула и застонала от боли.

Смерть постояла у постели, послушала старухин стон и отошла в уголок. Вот уже второй месяц она дежурит у постели Тянушиной бабушки, оберегает ее от соблазна жизнью, готовит к приятию пустоты. Когда засыпает сиделка, смерть подает старухе пить, прикрывает ее одеялом, любовно подмигивает ей. И старушка, не узнавая смерти, слабым голосом говорит ей: «Спасибо, родненькая, вот спасибо!»

А когда старуха засыпает, смерти хочется поозорничать: откинет одеяло, щипнет старуху в бок, костяшками ладони закроет ей рот, чтобы стеснилось дыханье. И тихонько смеется, всхлипывая и обнажая гнилые зубы.

К утру смерть тает, забивается в складки одеяла, в комод, в щели окон. Если кто-нибудь быстро откинет одеяло или выдвинет ящик комода, — все равно не найти ничего, кроме соринки или мертвой мухи. Днем смерти не видно.

Старую крысу окружили молодые: смотрят черными шариками, слушают ее повизгивания. Она скалит зубы, и дрожит ее длинный хвост. Пошевелится — и полукруг крысенят сразу дела-

ется шире; боятся старой: есть еще в ней сила. Но глаз не отводят, смотрят на зализанную шерсть, где видно красное, откуда сочится капля.

Слышит визг крысы и кошка и шевелит ухом. Но все тихо, все в доме спят. Крысы напуганы, не выйдут сегодня.

Старуха тянется рукой к ночному столику, к стакану с кисленьким питьем. Костлявая рука помогает, и на минуту сталкиваются два сухих сустава — старухи и ее смерти. Идет по руке холодок.

— Ох, смерть моя,— стонет Аглая Дмитриевна.

«Здесь я, здесь, лежи спокойно»,— говорит худая в сером. И утешает старуху: «Ничего там нет, и бояться нечего! Свое время отжила, чужого веку не заедай. В молодые годы веселилась, танцы танцевала, платья красивые носила, солнышко улыбалось тебе. Разве плохо жила? А старик твой — разве не счастлива с ним была? А дети твои — разве не было от них радости?»

— Сына-то рановато прибрала, отца Танюшиного,— жалуется Аглая Дмитриевна.

«Сына прибрала, понадобилось; а зато внучку оставила вам, старикам, на радость и утешенье».

— А как же ей жить без нас? Тоже и старик не вечен.

«Ну, старик еще поживет, старик крепкий. Да и она совсем стала большая. Девушка умная, не пропадет».

— А мне как без него на том свете? А ему как без меня на этом оставаться? Сколько вместе прожили.

Тут смерть смеется, даже всхлипывает от удовольствия, но беззлобно:

«Вот о чем думаешь! Тебе какая забота — лежи в могиле, отдыхай. Обойдутся и без тебя, ничего. От больной-то, от старой, какая радость? Что от тебя, кроме помехи? Пустяки все это!»

Слышно, как в кабинете кукушка кукует четыре раза. За окном, пожалуй, светло, но закрыто окно тяжелыми шторами.

— Ох, смерть моя,— стонет Аглая Дмитриевна.

— Подушечку поправить надо,— говорит сиделка.— Все сбилось.

Поправляет подушки и опять садится дремать в кресле у постели.

Проник свет в подвал. Крысята разбрелись по закоулкам. Задремала и старая раненая крыса. Кошка на окне лениво ловит большую сонную муху. Поприжмет и оставит; та опять ползет. Время летнее — уже совсем светло.

Видит Танюша под утро третий сон; и опять Стольников, веселый, довольный, смеется.

— В отпуск? Надолго?

Стольников радостно отвечает:

— Теперь уж навсегда!

— Как навсегда? Почему?

Стольников протягивает руку, длинную и плоскую, как доска; на ладони красным написано:

«Бессрочный отпуск».

И вдруг Танюше страшно: почему «бессрочный»? А недавно писал, что скоро выдаться не придется, так как от командировки отказался. «Сейчас уехать с фронта нельзя, да и не хочется; время не такое».

Стольников вытирает руку платком; теперь рука маленькая, а красное сошло на платок. Танюша просыпается: какой странный сон!

Только шесть часов. Танюша закинула руки и заснула снова. Полоса света через скважину в шторах пересекала яркой лентой белую простыню и столбиком стала на стене над постелью. Отбилась волос и лежит на подушке отдельно. На правом плече Танюши, пониже ключицы, маленькое родимое пятно. И ровно, от дыханья девушки, приподымается простыня.

ПЯТАЯ КАРТА

Стольников нащупал ногой выбитые в земле ступени и спустился в общую офицерскую землянку под легким блиндажом. Внутри было душно и накурено. На ближней лавке доктор играл в шахматы с молодым прапорщиком. У стола группа офицеров продолжала игру, начавшуюся еще после обеда. Стольников подошел к столу и втиснулся между играющими.

— Ты два раза должен пропустить, Саша. Ты играть будешь?

— Буду. Знаю.

Когда круг стал подходить к нему, он, потрогав в кармане бумажки, сказал:

— Все остатки. Сколько тут?

— Вам сто тридцать, с картой.

— Дайте.

Глаза играющих, как по команде, переходили от карты банкомета к карте Стольникова, который сказал:

— Ну-ну, дайте карточку.

— Вам жир, нам... тоже жир. Два очка.

— Три, — сказал Стольников и протянул руку к ставке.

Карты перешли к следующему.

Война прекратилась. Вообще исчезло все, кроме поверхности стола, переходящих из рук в руки денег, трепаной «колбасы» карт. Никогда Стольников не был студентом, не танцевал на вечере Танюши, не превращался из свежего офицера в боевого капитана с Георгием, не был вчера в опере и не вернется в тыл. Табачная завеса отрезала мир. Закурил и он.

— Твой, Саша, банк.

— Ну вот вам, ставлю весь выигрыш. Для начала... девятка. Не снимаю. Вам тройка, мне — опять девять. В банке триста шестьдесят. Тебе — половина, вам сто; тебе, Игнатов, остатки? Эх, надо бы еще раз девятку... Ваша... нате, берите.

Стольников передал «машинку», сделанную из гильзовой коробки «Катюка». Играли десять человек, теперь придется ждать. Глаза всех перешли на руки его соседа слева. Уши слышали:

— Чистый жир... вот черт! По шести? — Нет, у нас только по семи. Снимаю половину. Куда ты зарываешься! То есть ни разу третьей карты! — У меня и второй не было... Надо переломить счастье.

Ломали счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). Приходила четвертая карта — и человек возвышался, делался добрее, лучше, соглашался дать карту на запись. Затем в три больших понта его деньги утекли, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку.

Прапорщик в конце стола пропускал и банк и понт. К нему уже не обращались.

— Прогорел?

— Начисто.

— Это, брат, бывает. Полоса такая.

— У меня всегда такая полоса.

Но не уходил. Смотрел. Как будто счастье могло свалиться на голову и неиграющего. Или... кто-нибудь разбогатеет и сам предложит займы; а просить не хочется.

Стольникову везло.

— Мне второй день везет. Вчера в деле, сегодня в картах.

При словах «в деле» на минуту все очнулись, но только на минуту; и это было неприятно. Никакой иной жизни, кроме этой, не должно быть.

Вошел солдат, сказал:

— Гудит, ваше благородие.

— Немец? Иду. Ведь вот черт, как раз перед моим банком.

— Задайте ему жару, Осипов!

Артиллерист вышел, и никто не проводил его взглядом. Когда он выходил из двери, снаружи послышался давно привычный шум далекого мотора в небе. Через несколько минут громынуло орудие.

— Осипов старается. И чего немцы по ночам летают?

Бухнуло. Это был ответ немецкого летчика. Но Осипов уже нашупал врага на небе: слышно туканье пулеметов. Бухнуло ближе. Все подняли головы.

— А ну его к... Дай карточку. Семь. Продавай банк, а то сорвут после семерки. Ну, тогда дай карточку...

Бухнуло с страшной силой совсем рядом с землянкой. Опрокинулась свечка, но не потухла. Офицеры вскочили с мест, забирая деньги. С потолка посыпалась сквозь балки земля.

— Черт, едва не угодил нам в голову. Надо выйти посмотреть.

Стольников громко сказал:

— Банк, значит, за мной, я недодержал!

Офицеры высыпали наружу. Проектор освещал небо почти над самой головой, но полоса света уже отклонялась. Орудие

грохотало, и пулемет трещал непрерывно. Офицер постарше сказал:

— Не стойте кучкой, господа, нельзя.

— Он уж улетел.

— Может вернуться. И стаканом двинет.

Яма от взрыва была совсем рядом. К счастью, жертв никаких, немец напугал впустую.

Стольников вспомнил, что папиросы кончились, и пошел к своей землянке. Дойдя до нее, остановился. Небо было чисто на редкость. Луч прожектора проваливался в глубину и теперь вел врага обратно — едва светлевшую точку на темном фоне. Бухнуло снова — первую ногу чугунную поставил на землю небесный гигант. Близко упал стакан ответного выстрела.

«Почему не страшно? — подумал Стольников. — А ведь легко может убиты! В деле — да, там жутко, но там и думать некогда. А эти игрушки с неба...» Затем он вспомнил: «А банк за мной. Четыре карты побил. Оставлю все. Хорошо бы побить пятую... Это будет здоровый куш!»

И ему представилось, как он открывает девятку. Невольно улыбнулся.

Когда ударил последний подарок немца, офицеры инстинктивно бросились к блиндажу. Слушали у двери, как удаляется шум мотора и замирают пулеметы. Потом все стихло, и они вернулись к столу. По-видимому, немец, отлично нащупав расположение запаса, все же сыграл впустую, только молодых солдат напугал.

— Осипов вернется. Где ему подстрелить эту птицу!

— Слишком высоко летел.

— Сядем, что ли? Чей банк?

— Стольниковова. Он четыре карты побил.

— А где Стольников? Будем его ждать?

— Надо подождать.

Кто-то сказал:

— Он за папиросами пошел, сейчас вернется.

Вбежал вестовой: к доктору.

— Ваше высокоблагородие, господина капитана Стольниковова ранили.

И, опустив руку от козырька, первому выходящему прибавил потише:

— Ножки им, почитай, совсем оторвало, ваше благородие! Немечкой бонбой...

МИНУТА

Темная ночь окружила домик и давит на старые его стены. Проникла всюду — в подвалы, под крышу, на чердак, в большую залу, где у дверей сторожит кошка. Полумраком расплзлась и по бабушкиной спальне, освещенной ночником. Только Танино открытое светлое окно пугает и гонит ночь.

А тихо так, что слышно тишину.

С ногами в кресле, закутана пледом, Танюша не видит строк книг. Лицо ее кажется худеньким, глаза смотрят вперед пристально, как на экран. На экране тихо проходят картины бывшего и не бывшего, с экрана неподолгу смотрят на Танюшу люди и чертит рука невидимые письмена мыслей.

Мелькнул Вася Болтановский с поджившей царапиной, Эдуард Львович перевернул ноты, Леночка с красным крестом на белоснежном халате и дугой удивленных бровей под косынкой. И фронт: черная линия, шинели, штыки, неслышные выстрелы. Рука на экране чертит: давно не было писем от Стольниково. И сама она, Танюша, на экране: проходит серьезная, как чужая.

И опять туман: это — усталость. Закрывает глаза, открывает: все предметы подтянулись, стали на прежние места. Когда пройдут минуты и часы молчанья, — что-то родится новое. Может быть, стук пролетки, может быть, крик или только шорох крысы. Или в переулке хлопнет калитка. И мертвая минута пройдет.

Снова на экране Вася с бритым подбородком. Он ломает спичечную коробку и говорит:

— Принимая во внимание, что вы, Танюша, все равно выйдете замуж, интересно знать, вышли ли бы вы за меня? Раз, черт возьми, все равно выходить.

Щепочки летят на пол, и Вася их подымает по одной, — чтобы не поднять сразу головы.

— Ну, а нет, Танюша, серьезно. Это до глупости интересно...

Танюша серьезно отвечает:

— Нет.

Подумав еще, прибавляет:

— По-моему — нет.

— Так-с, — говорит Вася. — Ясное дело. Здоровая пощечина, черт возьми! А почему? Мне уж-ж-жасно интересно.

— Потому что... как-то... почему за вас, Вася? Мы просто знакомы... а тут вдруг замуж.

Вася не очень естественно хохочет:

— А вы непременно за незнакомого? Это ловко!

Вася ищет, что бы еще поломать. От коробки осталась одна труха.

Танюша хочет пояснить:

— По-моему, замуж, это — кто-то является... или вообще становится ясным, что вот с этим человеком нельзя расстаться и можно прожить всю жизнь.

Вася старается быть циником:

— Ну, уж и всю жизнь! Сходятся — расходятся...

— Я знаю. Но это — если ошиблись.

Вася мрачно ломает перышко.

— Все это — суета сует. Ошиблись, не ошиблись. И вообще — к черту. Я-то лично вряд ли женюсь. Свобода дороже.

Танюша ясно видит, что Вася обижен. Но решительно не

понимает, почему он обижен. Из всех друзей он — самый лучший. Вот уж на кого можно положиться.

Вася тает на экране. Тень «того, кто является», скользит в тумане, но не хочет вырисоваться яснее. И было бы бесконечно страшно, если бы явился реальный образ, с глазами, носом, может быть, усами... И был бы он совсем незнакомый.

И вдруг Танюша закрывает глаза и замирает. По всему телу бежит холодок, грудь стеснена, и рот, вздрогнув, полураскрывается. Так минута. Затем кровь приливает к щекам, и Танюша холодит их еще дрожащей рукой.

Может быть, это от окна холодок? Какое странное, какое тайное ощущение. Тайное для тела и для души.

Экран закрыт. Антракт. Танюша пробует взяться за книжку: «Приведенный отрывок достаточно красноречиво...»

Какой «приведенный отрывок»? Отрывок чего?

Танюша листает страницу обратно и ищет начальные кавычки. Она решительно не помнит, чьи слова и с какой целью цитирует автор.

На лестнице шаги сиделки:

— Барышня, сойдите к бабушке...

СМЕРТЬ

В подполе огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышьиным поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.

В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов, — поживы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке. На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.

Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:

— Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.

Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом — заела век молодых.

К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.

Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть, — и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.

По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитуш-

ке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обиженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле, едином-бессмертном, зачалась новая суетливая работа.

У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.

Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Сивцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресекались жизни, рождались существа, осыпались горы,— но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.

Только здесь было настоящее:

Бабушка умерла любимой.

...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа...

НОЧЬ

Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.

В кресле, удобно просиженном, в ореоле седин, затененных от лампы,— и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира,— сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.

Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, вновь перечтет написанное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой,— и все не дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, конечно, в соединение в новом бытии,— да и не нужно оно. А в небытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы — и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты — и в прах возвратишься.

Стены книг и полки писаний,— все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда «она» позовет. И видит ее молодой девушкой,— ямочкой на щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:

— Обойдите кругом, нельзя мять! А я, так и быть, подожду.

И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем — не светом ли солнечным так запомнилось?

И вместе шли — и пришли. Но теперь не подождала — ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...

Вошла Танюша в халатике и спальных туфлях. Нынче ночью не спят. Ночная птица над домом огородила деда и внучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль не спит.

— Без бабушки будем теперь жить, Танюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.

Танюша у ног, на скамеечке, головой у дедушки на коленях. Мягкие косы не заколола, оставила по плечам.

— Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к нам с тобой добрая. Бабушка наша; бедная.

И долго сидят, уже выплакались за день.

— Спать-то не выходит, Танюша?

— Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы не спите... А если приляжете, хоть на диван, я все равно около посижу. Прилегли бы.

— Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.

И опять долго молчат. Этого не скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахини струй,— видят и свечи, и гроб, и дальние ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темной парчой,— и вокруг пламенем дрожащие свечи.

Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобную непонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний,— и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это — ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а не в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери — усмешка, и щелкает счетчик турникета.

Вот и все.

Сна нет, но нет и ясности образов. Между сном и несном слышит старик девичий голос по ту сторону последней двери:

— Я подожду здесь...

Пойти бы прямо за ней, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где она ждет, протянув худые руки.

Открыл глаза — и встретил большие, вопрошающие лучи-глаза Танюши:

— Дедушка, лягте, отдохните!

САПОГИ

Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед ним на лавке.

Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были не сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей невероятным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Роман в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову и замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай знал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот, сапоги Романовой работы кончились.

Не то чтобы кончились они совсем неожиданно. Нет, признаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков и две подошвы переменял на них Николай. Были на обеих ногах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизинце человека полагается быть мозоли. Одна заплатка — от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплатка на месте, протершемся от времени. И каблуки и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз он поставил Николаю на новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целость каблука на многие годы вперед. И в подошвы набил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной планке. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкими, — но с тех пор о сносе их Николай забыл думать.

И как это случилось — неизвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменить валенки на сапоги. Николай достал их из ящика близ печки, где они лежали, аккуратно с осени намазанные деревянным маслом, чтобы не треснула кожа. Достал — и увидел, что подошва на обеих ногах отстала, на одной совсем, на другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозная. Николай погнул подошву — и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут он увидел впервые, что и голенище так изнашивается, что просвечивает, а тыкнешь покрепче пальцем — получается горбик, и не выправляется.

Снес их к сапожнику, Романову наследнику, но наследнику мастерской, а не таланта. Тот, как увидел, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чинить нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особенной надежды не питал.

— Значит — конченное дело?

— Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.

Николай вернулся с сапогами, положил их на лавку и не то чтобы загрузил, а крепко задумался.

Думал о сапогах и вообще — о непрочности земного. Если уж такая пара носилась — что же вечно? Издали посмотрел — как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Ан нет — это уж не сапоги, а так, труха, не годная и на заплаты, не то что на дворницкую работу. А ведь будто и подкова не совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и он ржавый.

Пуще всего поражали Николая внезапность происшедшей безнадежности. Ставя последнюю заплату, сапожник головой не качал, гибели не предсказывая, просто показал пальцем, что вот отсель и досель наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычная починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба — и утрата была бы проще. А так — полная гибель пришла внезапно.

— Видать — внутри оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.

Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и не столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земного. Кажется — ничем не сокрушишь, и снаружи все ладно. А пришел день, ветром дунуло, дождем промочило, — внутри труха, вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит — и упасть может. И с самим человеком то же самое.

Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли:

— Делать тут нечего. Новые надо. Выкладывай денежки. Сейчас такого товару и в заводе нет.

— Справлюсь. Не денег жалко — работы жалко. Работа была знаменитая.

Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.

— Тоже вот, — сказал Федор, — все дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, говорит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.

— Слышал.

— А уж в Питере, говорит, что делается — и узнать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.

— Как же можно, чтобы царя отставить, — сказал Николай и опять посмотрел на сапоги, — не нами ставлен.

— Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее.

Выходя из дворницкой, Федор еще раз ковырнул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:

— Капут дело!

— Да уж сам вижу, — недовольно сказал Николай.

По уходе соседа, бросил сапоги в ящик и хмуро слышал,

как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валенки были обшиты кожей. В сенях взял скребок и вышел на вечернюю работу.

«ПЛИ»

Вася Болтановский рано, в начале десятого, звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткнутым подолом и сказала:

— Барышня и барин в столовой. На ведро, барин, не наткнитесь, я полы мою.

Танюша встретила:

— Что случилось, Вася, что вы так рано? Хотите кофе? Ну, рассказывайте.

— Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!

Профессор поднял голову от книги.

— Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышли?

Вася рассказал. Газеты потому не вышли, что редакторы все торговались с Мрозовским. И даже «Русские Ведомости» — это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось временное правительство, говорят даже, что царь отрекся от престола.

— Революция победила, профессор. Точные известия. Теперь уже окончательно.

— Ну, посмотрим... Не так все это просто, Вася.

И профессор опять углубился в свою книжку.

Танюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В эти дни дома не сиделось. Несмотря на еще ранний для Москвы час, на улицах народу было много, и видно — не занятого делами.

Танюша и Вася пошли бульварами до Тверской, по Тверской до городской думы. На площади стояла толпа, кучками, не мешая проезду; в толпе немало офицеров. В думе что-то происходило. Оказалось, что пройти туда было свободно.

В продолговатой зале за столом сидели люди, явно нездешние, не думские. От входящих требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесным заявлениям. Вася сказал, что он «представитель прессы», а про Танюшу буркнул: «секретарь». Было ясно, что и за столом подбор лиц довольно случаен. Однако на вопрос: «Кто заседает?» — отвечали: «Совет рабочих депутатов». Совещание было не очень оживленным; какая-то растерянность сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также именовали «делегатом». Солдат сердито кричал:

— О чем говорить? Нужно не говорить, а действовать. Идем к казармам — и все. Увидите, что наши примкнут. Чего еще ждать! Привыкли вы в тылу зря разговаривать.

Вышли небольшой толпой. Но уже у самого входа она разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорил речь к публике, но слова доносились плохо. Чувствовалась обычная обывательская рабо-

та. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шинели. Небольшая группочка двинулась в направлении Театральной площади, за ней толпа. Сначала озирались по сторонам, не появятся ли конные, но не было видно даже ни одного городского. Толпа разрослась, и с Лубянской площади, по Лубянке и Сретенке, шло уже несколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали «Марсельезу» и «Вы жертвою пали», но выходило нестройно; своего гимна у революции не было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.

Вася и Танюша шли с передними. Было жутко и занятно.

— Вы, Таня, не бойтесь?

— Не знаю. Я думаю — не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.

— Почему же они не выходят, солдаты?

— Ну, вероятно, еще не решаются. А теперь, когда увидят народ, выйдут.

Ворота казарм были закрыты, калитки отворены. Здесь чувствовалась нерешительность, а может быть, был отдан приказ — не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальные благоразумно остались за воротами.

Только несколько окон в казармах было отворено. В окнах видны были солдаты, в шинелях, с возбужденно любопытствующими лицами. Солдаты были закрыты.

— Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!

— Выходите, выходите!

Махали листками, пытались добросить листки до окон. Прислали выславать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с новыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окон и в окна.

Казармы молчали.

Подошли толпой к дверям. Внезапно двери распахнулись, и толпа отпрянула, увидав офицера в походной форме и целый взвод солдат, со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как каменный, не отвечая на вопросы, не произнося ни одного слова.

Было странно и нелепо. Шумной толпе позволяют кричать на дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, бунтовские, соблазняющие — но солдаты не выходят. Из некоторых окон кричат:

— Заперты мы. Не можем выйти.

Из других доносятся скептические возгласы:

— Ладно, болтайте! Вот как разнесут вас пулеметами — вот вам и революция.

Как бы в ответ, из боковой двери, быстро, один за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против

толпы. Командовал молоденький офицер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.

Почти в тот же момент раздалась команда:

— Пли!

И залп.

Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дулами ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрыгнули. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто были в центре,— попятнулись и прижались к стене.

— Пли! Пли! — еще два залпа.

Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нервной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:

— Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в своих, не может быть, Танюша.

Бежать было некуда, либо убьют, либо случится чудо.

Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была минута гробового молчания. Только от ворот доносились крики: там разбежался народ.

И вдруг — визгливый, тоненький голосок одного из мальчишек, которые всегда и всюду бегут перед толпой:

— Холостыми палят, холостыми!

И, выскочив вперед, мальчишка стал кривляться перед солдатами:

— Холостыми, холостыми паляете!

Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочих, стали хватать их за винтовки, спутали их цепь, что-то кричали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повинувшись окрику офицера, те отбились от толпы и исчезли в подьезде.

Начался снова шум, крики в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа.

— Выходите, товарищи, выходите к нам!

Танюша стояла, прижавшись к стене казармы, и дрожала. На глазах ее были слезы. Вася держал ее за руку:

— Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно — сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!

Все еще дрожа, она потянула его за рукав:

— Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.

Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, миновали шумную толпу, молча, под ручку, дошли обратно до Сретенки и сели на первого встречного извозчика.

— На Сивцев Вражек.

Танюша вынула платок, вытерла глаза и, улыбнувшись, виновато взглянула на Васю:

— Не сердитесь, Вася.

— Да разве же я...

— Нет, а только я очень взволновалась. Я в первый раз...

— Я и сам расклеился, Танюша.

— Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не

было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И как стыдно...

— Они не виноваты, Таня.

— Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция, это — героическое. А тут все боятся и не понимают...

И прибавила, помолчав:

— Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!

«ЧУДО»

Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.

Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.

Старший врач сказал младшему врачу:

— Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!

Доктор хотел сказать: «этот человек», но не договорил: обрубком не был человеком. Обрубок был обрубком человека.

Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.

Родных не было, знакомые не встретили — не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был чудом. Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.

Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили — смотрел им вслед: вот идут на ногах, как ходил он: раз-два, раз-два...

Ему, как чуду, дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.

Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:

— Передайте спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее.

Меня отсюда скоро выпишут, нечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.

Он лежал еще месяца три. Он был «здоров», даже располнел. Доктора говорили: «Чудо! Смотрите, как он выглядит. Вот натура!»

И Стольников выписался из госпиталя. В студенческом квартале, в переулке Бронной, Григорий снял ему и себе две комнаты. И был при нем нежной нянькой.

Что их связывало? Беспомощность одного — бездомность другого. Оба узнали что-то особенное, простоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольников, а Григорий слушал. В темноте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко, для пепла. Сам не курил. А то Стольников читал вслух, а Григорий, набожно слушая непонятную книгу, по знаку переворачивал страницы. Понемногу Стольников сам научился делать это карандашом с резинкой, своей «магической палочкой», которую он забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивленно и важно: странные образы, непонятные разговоры. Понимал по-своему.

Как ребенок, Обрубок учился жить. Мозг его вечно был занят изобретениями. Он придумал установить над изголовьем наклонную лесенку — подыматься на мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки ног, — хотя подыматься ему было ни к чему. Со стенной полочки он умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с «магической палочкой», надавливать пуговку прикрепленной к полке зажигалки и закуривать. Он учился этому больше недели, однажды едва не сгорел в постели и научился.

У Стольникова были небольшие средства, хватавшие для такой жизни. Он купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель, — но лишь в пределах комнаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и на Патриаршие пруды. Он завел себе пишущую машинку и научился писать, держа во рту изогнутую палочку с резинкой и передвигая каретку рычагом, приделанным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должен все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлен коллекцией странных, им изобретенных приборов, изготовленных либо Григорием, либо мастером — по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку на голову обруч с приспособленными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для него орудиями. Воду и чай пил через соломинку. Часто, видя его усталую беспомощность, Григорий говорил:

— Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетеесь?

— Подожди. И не зря! Жив — значит, надо учиться жить. Понимаешь?

Деловые их беседы были кратки.

У Обрубка не было протезов. Врачи признали их бесполезными:

— Если хотите — для украшения. А так... За границей еще можно достать, и то только для правой руки; для нее есть кое-какая надежда...

Но для украшения он мог надеть френч с заполненными рукавами.

Он хотел надеть его, когда ждал первого визита Танюши. Но раздумал и на первый раз принял ее, оставаясь в постели.

И Танюша, которая знала точно о несчастье Стольников, удивилась. «Какой у него здоровый вид,— хоть и лежит неподвижно».

С Танюшей зашел навестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели недолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда он ее опять позовет.

Дома она долго плакала, вспоминая свой визит,— а плакала Танюша редко. Стольников не был для нее ничем,— лишь случайным и недавним знакомым. Но, конечно, он был самым несчастным человеком из всех, кого она знала и могла себе представить.

Ложась спать, полураздетая, она подошла к зеркалу и увидела прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе синие шрамы над отпиленной костью, Танюша вздрогнула, отпрянула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшной жалости к Обрубку, которой ему нельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертвого... раздавленный жизнью и еще копошащийся под нею человек.

«Он, конечно, меня ненавидит; он должен ненавидеть всех...»

С ФРОНТА

От вокзала, мимо Смоленского рынка, по Арбату — одним потоком — а дальше расщепляясь в ручьи малые, и утром, и днем, и ночью шли тени солдатской рвани, неся с собой грязь траншей, котомки невытых рубах, позванивая чайником о приклад ружья. Шли тротуаром, врассыпную, частными гражданами, не пытаясь строиться. Войну с фронта несли вглубь, но думали не о ней, а о деревне.

Лиц не было. Были шинели и гулкие сапоги. Лица исчезли в небритых щеках, ушли во впадину глаз, в бессонное, в совет дезертира, в тупое упрямство не хотевшего оглянуться. Так и шли, никогда не оглядываясь, не зная дороги, не разговаривая, но и не теряя спины переднего. Шли по вехам, стадно, пока не терялись в переулках. Тогда передний спрашивал дорогу у пугливого прохожего, остальные тупо тянулись за ним.

И снова скоплялись в преддверии, в залах, на перроне вокзалов, привычно, как в траншее, готовые ждать, пока молчали-

вая команда не бросит их в атаку на поезд, дальний, ближний, дачный, куда бы ни шел, только бы вперед, ближе к дому. А иные, махнув рукой на все, всасывались в город, плодя в нем тревогу и большую траншейную вошь.

Одни были с ружьями, другие бросили или продали надоевшее время, и только у пояса болтался в ножнах штык, который мог пригодиться в хозяйстве. И, встретив на ходу в городе свежего юнкера, печатавшего чищенным сапогом, смотрели недолго и удивленно, не трудя отупелого и уставшего мозга.

Ни с кем не прощаясь, свернул солдат с Арбата направо в переулок, поправил за спиной ружье, дулом вниз, с привязанным штыком, поправил и фуражку и зашагал быстрее. Дорогу, видно, знал. Дальше, по Сивцеву Вражку, шел молодцом, хотя видна была большая усталость на небритом и грязном лице. Свободной рукой толкнул калитку, — да оказалась на запоре, а за калиткой залаяла собака. Раньше пса не было. Постучал кулаком крепко, увидел звонок, позвонил. И не то смущенно, не то с деланной отвагой встретился опухшими глазами с суровым взглядом дворника Николая.

— Чего надобно? — сурово спросил дворник.

— Товарищу Николаю почтенье. Не признал разве?

— Дуняшин братан, что ли?

Дворник выглядел недоверчиво. Были уже сумерки.

— Он самый, рядовой Колчагин, серый герой в отставке. Опять к вам на постой.

Поздоровались. Но смотрел Николай неодобрительно.

— Что ж так, или воевать кончил?

— Не век воевать.

— Убег, что ли?

— Так точно. Начальства не спрашивал. Какая была война — покончили ее.

— Та-а-к. В деревню?

— Обязательно в деревню, отдохнувши. В дороге целый месяц намалялся.

— Та-ак.

Дуняша и обрадовалась и испугалась. Очень уж страшен был с дороги любезный брат.

— Кухню-то мне всю натопчешь. А ружье нашто с собой приволок? Ружье-то казенное?

— Теперь не разбирают, что свое, что казенное. А вот бы мне, Дунька, в баню обязательно надо.

— Баню топили нынче, словно тебя ждали. Белье-то есть?

— Найдем. Сам вымою, лишь бы баня. А то наташу тебе зверья.

Баня при особнячке была своя, как во всяком хорошем старом хозяйстве. И до позднего вечера не выходил из бани рядовой Колчагин. Мылся, стирал, сушил. И котомку с собой захватил. Чай пить явился красный, распаренный, повеселевший, в новой гимнастерке офицерского покроя.

— Гимнастерка действительно хороша! При расставаньи до-

сталась. Насекомое же, Дуня, я все повытравил паром. Баня у вас настоящая, век бы в ней сидел. Конечно, господа живут не по-нашему.

Узнал от Дуняши про смерть старой барыни.

— Что ж, старуха была. А мы на фронте молодыми гибли и от неприятеля и от болезни на пользу одного капитализма.

— Это кто ж?

— А уж я знаю кто. Этого обмана с нас довольно!

А впрочем, просил сестру соседям про приход его не болтать. И на расспросы Дуняши отвечал уклончиво.

— Чего ж было оставаться? И войны никакой нет...

Спать лег на лавку и заснул сразу.

Дуняша, убирая со стола, задела рукавом кран потухшего самовара. Из крана тонкой струйкой на пол полилась вода, разошлась ручейками, отыскала щель в деревянном полу, залилась, исчезла...

Кошка, подняв голову, долго смотрела, пока вода лилась из крана, но, замочив лапку в натекшей луже, брезгливо отряхнула и отошла.

Когда Дуняша вернулась в кухню из своей комнаты, самовар был пуст. Рядовой дезертир Колчагин тяжело всхрапывал.

У ПАМЯТНИКА

— Нынче гулять, ваше благородие, как бы дождя не было.

Прежде чем выкатить кресло из тупика на улицу, Григорий набросил на плечи Обрубку короткий плащ.

— Не нужно, Григорий, тепло.

— Я к тому, ваше благородие, что погоны: как бы чего не вышло.

В те дни срывали с офицеров погоны. Ужель и калеку обидят? Но народ темный, и Григорий побаивался.

— Не нужно, Григорий, оставь.

Кресло на высоких колесах въехало на бульвар. Против Богословского переулочка кружком стояла толпа, а в центре господин в очках, худой и остробородый, спорил с солдатом. Солдат доказывал об окопных вшах, господин говорил о Франции и Англии. Кругом слушали внимательно.

На кресло Стольниково покосились, проводили взглядом и опять стали слушать, протягивая шеи через передних: словам верили меньше, лицу больше. Один слушатель полугромко заметил:

— Вон их сколько, калеченых!

Навстречу Обрубку няня катила детскую колясочку, где из белого капора таращила голубые глазки девочка. Когда обе коляски поравнялись, — встретились два взора, детский и взрослый. Но Обрубок не улыбнулся.

Чем ближе к Пушкину, тем больше кучки вокруг споря-

ших. Говорили о земле, об Учредительном собрании, о партиях, но больше о фронте. И доносились фразы:

— ...а которые окопались в тылу...

— ...почему я должен проливать...

— ...а почему я могу знать, что вы есть за человек? Солдатскую форму всякий может...

— ...тоже и ученые нужны, для просвещения. А только...

Самая большая толпа, как всегда, была у памятника. Говорил офицер, на костыле и с перевязкой. Фуражку его пустили по толпе, и все доверчиво давали на инвалидов. Сбоку, перед лавочкой, стоял столик, и сидевший за ним сыпал кредитки в шкатулку. Подходили и жертвовали, сами иногда не зная, на что и кто сбрасывает.

Перед креслом Обрубка толпа расступилась, и Григорий подвез его почти к самому памятнику. Оратор, уже охрипший, показывал толпе на Стольникову и, вытирая пот, кричал:

— За что вот такие — вон, глядите — проливали кровь? Чтоб отдать теперь Россию немцам? Нет, граждане, мы этого не допустим!

Было видно по штанине, что нога оратора забинтована. Красный, недавний шрам был на левой скуле, и, когда он открывал рот, кожа на шраме натягивалась и лоснилась. Когда он кончил, его сменил штатский в очках, и толпа придвинулась ближе с интересом. Через минуту она уже гудела, так как штатский говорил против войны. Кто-то крикнул:

— Постыдился бы! Вон тут офицер безрукий-безногий.

Штатский кричал:

— Вот потому-то и довольно...

Но на него наседали. Два матроса и солдат кричали на толпу:

— Свободу слова, товарищи, так нельзя!

Обрубок повернул голову, вцепился зубами в погон, оторвал его и сказал наклонившемуся Григорию:

— Сними. И тот, оба сними. И брось ему.

— Кому, ваше благородие?

— Тому, черному, который говорит. Брось ему в рожу!

Григорий исполнил приказание, и погоны шлепнулись о грудь оратора. Толпа завывала, и черный исчез вместе с солдатом и матросами.

Теперь обступили кресло Стольникову. Кричали ему: «Правильно!» Какая-то дама визжала непонятное и убеждала всех идти и бить немцев. Сестра милосердия с кудряшками стала рядом с Григорием, взявшись за ручку кресла, и знаками — ее голоса слышно не было — приглашала снять шапки перед искалеченным офицером. Передние сняли, задние напирали. Кто-то крикнул:

— Тише, граждане, он будет говорить!

И действительно, толпа смолкла, и круг раздался. Стольников обвел толпу взглядом и в наступившей тишине ясно и отчетливо сказал:

— Говорить мне вам нечего. Вы — рабы, а тот, черный, что говорил против войны, может, и мерзавец, а он прав. К черту вашу войну! Григорий, вези меня отсюда!

Передний ряд расступился. Сестра милосердия оставила ручку кресла. В задних рядах не расслышали, но закричали: «Правильно, верно, спасибо, господин офицер!» Господин с бородой объяснял своей жене: «Совсем больной человек, калека; разумеется, он озлоблен». И только один солдат с расстегнутым воротом гимнастерки, в восторге и задыхаясь, кричал:

— Получили вашей матери! Тоже теперь и они понимают, как ноги им окромсали. Хо! Вот так здорово!

И, вытянув из кармана горстку, принялся за семечки. За левым ухом у него торчала папироса.

Веселого солдата звали Андрей Колчагин.

ДВОРНИК

Был октябрь бесснежен. Ночью подмерзало, днем таяло. Перед самым светом дворник выходил из калитки профессорского дворика со скребком и скошенной набок метлой. Мел долго, чисто и, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный тротуар и на мостовую соседей. И думал о том, что со всеми этими свободами стал народ лентяй. На дворе свет, а улица не метена.

Зеленщик остановился на минуту поболтать со старым знакомым и земляком. Скрутили по собачьей ножке, покурили. Лошадь косилась на окна.

— Старый-то барин живет, ничего?

— Живет. Убивался, конечно, да попривык. Со внучкой легче. Без ей плохо бы было.

Зеленщик профессора знает хорошо. Знает лет двадцать. Это он и дворника им поставил, однопорядка.

— На базаре разговоры, — сказал зеленщик, смотря в сторону. — Особенно солдат пришлый. Ружьев, говорят, нипочем не отдадим. — А в кого стрелять? — В кого, говорят, приведется, в бар. — А потом что? — А потом, говорит, войну навсегда прикончим и станем землю отымать. — Да ведь ты покончил свою войну, убежал! — Что ж, говорит, что убежал. Нынче свобода! А вшей-то я даром, что ли, кормил?

— Народ темный, — сказал дворник.

— Это конечно, что темный. А сила в их есть, вон их сколько с вокзала тянется. И идут, и идут, и днем идут, и ночью идут. Поди, на фронте ничего не осталось. Пока до деревни дойдет — жить ему надо. Ну, их и мутят.

— Кто мутит-то?

— Ораторы у них. На каждой площади собрания. Чтобы буржуев уничтожили и чтобы всю власть. А он слушает да на ус мотает.

Лошадь опять покосилась на окна. Зеленщик дернул вожжой.
— Так я думаю, что миром не кончится это дело. Это кабы прежде, а нынче порядку некому наводить. И опять же с ружьем они.

— Наше дело сторона, — сказал дворник.

Зеленщик промолчал. Докурили. Попрощались до приятного. Тронулась телега на Арбатскую площадь.

Выглянуло было солнце зимнее, но в белом молоке исчезло. Хлопнуло несколько калиток на Сивцевом Вражке, запахло дымом. Зябко засунув руки в рукава солдатской шинели, прощелкал каблуками человек писарского вида, с картонной папкой под мышкой. Дворник долго смотрел ему вослед, туго думая, чья возьмет: барская ли сила или бунтарь, солдатчина. Пройдя в ворота, осмотрел и их: хотя починки и требуют, а простоять могут еще годы. Подумал:

— Сказать барину, хорошо бы какого пса завести, на случай воров. Много народу теперь шляется бездомного, а сторожат улицу плохо. Ему дежурить, а он спит либо пьян. И полиции нет. И вообще время не настоящее, тревожное.

Ушел в свой дворничий флигель в большой задумчивости, с лицом строгим, монашеским. Печка разгорелась. Чай пить дворник ходил в кухню, к Дуняше.

И застучал по черной лестнице гвоздастыми, вечными сапогами.

Был одинокий, пожилой, ближе к старости. Хмурый. Ума тугого и прочного. Входя в кухню, крестился широким крестом, здоровался словами, за чай садился молча, разглаживая усы, чтоб не мешали. И крошки хлеба собирал на ладонь, а как накопятся — в рот.

— Как барин встанут, покличь меня, Дуня. Хочу насчет собаки поговорить.

— Нашто тебе собака? Еще ее кормить!

— На то собака, чтобы стерегла дом. Вон сейчас время какое.

— Ворота-то на запоре.

— Ворота... Этот запор по прежнему времени хорош был, а нынче и через ворота. Народ пришлый, того и гляди, залезут. А собака, она залает, и все же острастка. Ты, как проснется, покликай.

— Ладно, покликаю.

Допил вторую, перевернул чашку, усы вытер клетчатым платком.

— Дровец принести ль?

— На две печки. Столовую нынче не топим, и так жарко.

И опять затопал подковами новых сапог по кухонной лестнице.

— Эх, снегу все нет! А пора быть снегу.

На минуту в дворничьей душе промелькнула деревенская картинка: поля, пашни, лес — все под глубоким снегом. Чистый, не забитый полозьями, не мешанный с землей и навозом. Снег — друг, не пачкотня.

На минуту промелькнула,— и снова стала городской душа степенного дворника старого профессорского особняка на Сивцевом Вражке.

ЗАВИСТЬ

— Почему он не идет, Григорий?

— Придут еще, ваше благородие, час ранний.

— А как он доберется? Приведут?

— Сами найдут дорогу. Через два крыльца живут. Они и в лавочку, бывало, сами один ходят.

Поручик Каштанов, ослепший на войне, пришел только в девятом часу. Григорий, услышав шаги и голос, вышел и довел слепого до стола Обрубка.

— Ну, где ты тут, друг Саша, пребываешь?

— Здесь, здравствуй.

И Стольников прибавил:

— Опять зря руку протягиваешь. Нечего мне тебе подать.

— Ладно. Оба мы хороши. Оба лучше.

И, дотянувшись на голос, похлопал Обрубка по плечу.

Сначала они молчали. Курили. Григорий поил чаем. Стольников был возбужден и не сводил глаз с приятеля: перед ним был человек, быть может, такой же несчастный, как и сам он (неужели это возможно!). Человек, не видящий мира, его красок, его влекущих очертаний. Стольников видит мир,— но не может обнять его. Каштанов может обнять мир,— но не видя, что и кого обнимать. В эту минуту «мир» казался Стольникову женщиной.

Для начала говорили не о себе, а о событиях, об общих друзьях по батарее. А когда Григорий ушел в свою комнату, скоро перевели разговор на свои бедствия,— и спеша, полупшепотом, смущаясь, но и перебивая друг друга, соперничая размерами ужасного горя своего, высказывали друг другу все, что передумали поодиночке, в долгие ненужные дни одного, в вечную ночь другого.

Скороговоркой, хватая себя за виски и беспорядочно шаря руками, шептал слепой Каштанов:

— Вот ты говоришь — ноги, руки... а зачем они мне! Куда идти, что мне делать этими руками? Ты знаешь, Саша, ведь ничего нет, одна темнота, и звуки из темноты, голоса, шум, музыка, смех,— и всего этого, Саша, нет, только сны, а взаправду нет. Ты и дома и за окном видишь, тебя по улице возят, а для меня этого нет, одна ночь. Вот ты говорил: ноги свои чувствуешь. Я тоже свет чувствую — каким знал. Перед глазами дома, люди, женщины, так бы к ним и кинулся, а нет их, Саша, совсем нет, в ночи утонули. Когда я знаю, что темно, вечер — мне легче. А когда на лице чувствую солнце и греет оно,— вот когда, Саша, совсем невыносимо. Оно меня ласкает, а я его проклиная за слабость его: почему не разгонит оно эту темноту вечную.

Перебивая, Стольников тем же шепотом — точно тайна у них — кричал:

— Это, Каштанов, лучше. Вот ты не видишь и говоришь: нет ничего. А я вижу, знаю, что есть, — только не для меня. Ты сам в лавочку ходишь, до меня один добрался, а меня Григорий в коляске возит и кормит с ложки. Ты пойми — разве я человек? Ты хоть ночью со всеми равен, — я никогда. Ты можешь женщину обнять...

— Да ее же нет, Саша, ведь глазами-то я не увижу ее, какая она!

— Знаю, что не увидишь, а все же обнять можешь. А я вижу и полюбить могу, я, может быть, Каштанов, люблю даже, давно люблю, а коснуться не могу, за руку не могу взять. Я ей противен, Каштанов, я ведь не человек, я синяя культяпка, обрубок, недоразумение. Я мочиться сам не могу, черт меня... возьми меня черт... Вот я реву, а мне и слезы согнать нечем, я головой трясти должен. Мне они в нос текут, черт их, черт, черт...

Он всхлипывал и мотал головой. И тогда Каштанов вставал, вынимал платок, ошупью отыскивал лицо Стольникова и вытирал ему глаза.

— Ты, Саша, успокойся.

Молчали. Но недолго. С первых слов снова пробуждался страстный спор, и опять Каштанов, захлебываясь, громко шептал:

— Все это, Саша, так, я знаю. Только вот что я тебе скажу, Саша. Я вот порой не только ноги-руки, а всего себя отдал бы за одну только минуточку, чтобы только глазами увидеть. Ты говоришь — любишь, а ты знаешь ли, как я любил, и она жива, существует, однажды была у меня, я и голос ее слышал, — каждую нотку знаю. У нее, Саша, глаза были... я говорю — были... ну да, для меня были, а теперь нет, синие-синие, удивительные глаза. И вот, Саша, их нет больше — для меня нет. Ты говоришь — обнять, а мне нужно глазами обнять, хочу улыбку видеть, а так мне каждое слово кажется обманом и ложью, и никого мне не надо. А солнышко я тоже обнимать должен? И еще есть на свете море, дали, леса есть, красота есть, картины есть, а где это, Саша? Все дьявол съел. Ты пойми. И ни рук, ни ног мне не надо, ни к чему. Так вот ногтями вцепился бы и содрал эту заслонку...

— Ты, Каштанов, можешь вылечиться. Вон я читал — есть приспособление, к вискам, какие-то глазные нервы возбуждаются...

— Ты мне не ври! Ты зачем говоришь это? Ведь у меня оба яблока вынуты, одни ямы остались!

— Кто знает, может быть, еще изобретут.

— Изобретут, да! Уж скорее тебе протезы.

— Так что же, я буду железными палками обнимать, грудь ласкать? Да?

И дальше, о чем бы ни говорили, — они кончали одним: женщиной, которой не мог видеть один, которой не мог обнять другой. Они были молоды — обрубок и слепой. И они говорили,

пока в душе их не выростала дрожащая злоба и зависть друг к другу, злоба слепца к обрубку, зависть обрубка к слепцу. Они ревновали друг к другу женщину, которой не было, которая не хотела их знать,— изумительную красавицу, с синими глазами и нежной кожей.

Приходил Григорий и видел их искаженные лица, слышал злые речи, старался унять их словами:

— Ваши благородия, соседи спят, опять ругаться будут. Час поздний, ваши благородия.

Он отводил домой Каштанова и, вернувшись, укладывал в постель ослабевшего и беспомощного Стольниково, — жалкий остаток того, кто был красивым и смелым офицером, приветливым товарищем и неплохим танцором.

Лишь три года прошло с того дня, как он в последний раз весело танцевал у Танюши в день ее праздника, — начала ее семнадцатой весны.

ОКТАБРЬ

Надо было летать в эти дни октября белым мушкам и мотыльками, устилая дорогу слой на слой. Надо бы детям кидаться снежками, чтобы красными были пальчики и за воротом мокро и чтобы прямо пахло мехом шубки, когда вывесит ее мама сушить ближе к печке. Надо бы от глаз к губам перепрыгивать смешливой радости, какую дает первый пушистый снег, чистый, вкусный, деловитый и ласковый.

Но снега все не было. А летали в те дни над Москвой свинцовые шмели, вдоль улиц, поверх крыш, из окон наружу, снаружи в окна. И кидались люди страшными мячиками, от взрыва которых вздрагивали листы железа на особнячке Сивцева Вражка.

Начался свинцовый снег на Тверском бульваре. В обычный час, утро проведя в лаборатории университета, Вася Болтановский зашел в столовую Троицкой, что окнами выходила на бульвар. Сел у окна, где садился обычно, а на столике, рядом с тарелкой, положил салфетку с меченым кольцом. Давно налаженная жизнь катилась по рельсам на малых притершихся колесиках, и хоть сильно подорожал заливной окорочок, — все же в день воскресный подавали блинчики с вареньем и клюквенный кисель, островками лиловевший в молочном озере. Было тревожно, но жизнь упорно хотела продолжаться.

После супа с клецками — буженина с картофельным пюре. А когда Вася Болтановский корочкой хлеба обтер остаток соуса, — в конце бульвара, против дома градоначальника, началась стрельба. Из окна в перспективе бульвара видны были бежавшие по аллее фигуры, прохожих ли, или жаждущих нового строя, или защитников старого. В столовой спешили с блюдами. Вася допил сахарный квас и вышел на бульвар. Свинцовые шмели, вылетев из гнезда, уже носились по бульвару без толку

и без назначения. И скоро первый долетевший цокнул в оконное стекло знаменитой студенческой столовой.

Не было снега в аллее бульвара, и темнеть стало быстро. Теперь уже в разных частях города залпами громыхали невидимые ружья. Кто-то стрелял в кого-то, но уж, конечно,— брат в брата. За ружьями пулеметы, за ними орудия. Вечером и всю ночь, и пять дней кряду, сжавшийся в комнатах своих обыватель слушал пальбу орудий и туканье пулеметов. Свинцовый страх обметал крыши, ища врага, залетал в окна, рябыми делал внешние стены домов.

В первую же ночь светло стало у Никитских ворот: загорелся дом, запиравший устье бульвара, и дотла сгорела столовая Троицкой, где днем Вася ел буженину с картофельным пюре; не успев загореться,— истлела салфетка, и, обуглившись, треснуло деревянное кольцо с меткой.

Догорел этот — занялся пламенем другой, громадный дом на внутреннем проезде бульвара, и бледное утро увидело на месте жилого дома — почерневший, дымящийся колизей, на который некому еще было любоваться.

Из горевших и обстрелянных домов выбегало довольство и в ужасе шарахалась нужда,— и оба попадали под огонь пулеметов. С каждым выстрелом — ближе к победе, меньше врагов. Из отельчика в доме, где была и столовая, выползли и заматались с узлами десять старух; одни убежали, прикрывшись шалью от свинцового дождя; другие умерли со страху; третьи наглотались пуль или сгорели,— ближе стала свобода. Горсть молодых солдат из углового дома стреляла в горсть молодых юнкеров напротив; кого убили, кто успел проскользнуть вдоль стены и скрыться,— еще на миг приблизилось гадаемое царство братства и равенства.

Закинув руки и отбросив ружье, лежал на дороге убитый солдат, смеясь зубами небу; он так и не узнал, за чью правду пал и какая сторона причислит его к павшим своим героям. А под прикрытием уступа ворот покашливал и плевал кровью белый мальчик в папахе, перед тем стрелявший из ружья, весело и задорно, все равно в кого и куда, и по юнкерам, и по всякой скользкой тени, и по брату, и по бабушке, больше мимо, шлепая пулю о штукатурку дома,— а теперь сам с пулей в легком, уже не жилец,— прощай, бедный глупый мальчик! — И еще на шаг ближе подошла свобода.

За крепкими стенами, в комнате, окнами не на улицу, совещались, обсуждали, договаривались, командовали, распоряжались люди штатские, не умевшие спускать курок и заряжать пулемет лентой. Но не в них была сила и не в них было дело. То, чему быть надлежало, решала случайность да веселая пуля, ставшая лишней для ушедших с фронта. Еще был Кремль, был Арсенал, было еще Александровское училище,— и был сумбур и склока людей, которые всегда правы и которые побеждают только тогда, когда идут не рассуждая и без мысли. Но то и было страшно, что под воздушным сводом пуль и шрапнели клубилась, блуждала

и путалась мысль, только вчера выползшая из черепных коробок,— спорила, терялась, отчаивалась, догадывалась и путалась в нитях чужой мысли.

Победить должен был тот, кто привык не думать, не взвешивать, не ценить, и кому терять нечего. Он и победил. Люди в штатском, посоветовавшись, вынесли резолюцию: «Победили мы». И, отгнав победителя, заняли в умершем городе командующие высоты.

Все это было правильно и справедливо; так же, на их месте, поступили бы их штатские противники.

Вася Болтановский жил в Гиршах на Бронной, во втором корпусе дома. Из его окна ночью видно было зарево пожара, и, как и все, Вася не спал. Иногда ему казалось странным и неестественным, что вот он, молодой, не трус, не апатичный,— сидит дома, не пристав ни к какой стороне. Минутой позже думалось: да ведь ничьей стороны и нет, это просто — разыгравшаяся стихия, пожар от случайно брошенной спички. И затушить его нечем. Выйти на улицу без оружия? Зачем? Достать оружие и стрелять? В кого? Из двух правд — в которую? Но разве могут быть две правды? Не две, а много; у природы одна правда, у человека — другая, противоречащая в корне правде природы. И еще иная, совсем иная, у другого человека. Каждый бьется за свою — такова борьба за существование. Но вон тот идет умирать за других,— вопреки личной своей выгоде. Есть своя правда и в корысти и в самопожертвовании. С кем же он, Вася, лаборант университета и Танюшин приятель? Ни с кем из мечтающих о власти. Его правда в том, чтобы можно было серьезно работать и чтобы Танюша была счастлива. Это уж действительно искренне.

Под утро Вася заснул, но рано проснулся, разбуженный выстрелами близ самого дома. Это была случайная беспорядочная стрельба, может быть, преследование, может — простое озорство. Кому нужно стрелять в мирном студенческом квартале!

О занятиях сегодня невозможно и думать. Разве попытаться пробраться боковыми улицами до лаборатории?

В девятом часу Вася вышел, метнулся к Никитским воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. Тогда он пошел в сторону Садовой и Скарятинским переулком пересек Большую Никитскую. На Поварской не было ни одного человека, и любопытство потянуло Васю пройти до Бориса и Глеба, а то и до Арбатской площади. Но едва он подошел к устью Борисоглебского переулка, как дрогнул воздух от взрыва снаряда, сбившего часть купола на церкви. Вася ахнул, пробормотал: «Ну что же это делается, что делается!» — и прибавил шагу, свернув в переулок. Он, собственно, и не разобрал, что случилось, но напуган был основательно. На Собачьей площадке было покойно, и Хомяковский дом хмурился степенно и солидно. Теперь, в сущности, оставалась последняя попытка,— пройти к университету Арбатом. Дойдя до угла Арбата, Вася

остановился и с любопытством стал смотреть налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, чтобы покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто Васи не остановил, и ему не могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. Локтем, по студенческой привычке, прижимая книжки, он тихонько перешел Арбат. Он не знал, что из-за опущенных занавесок в домах на него с удивлением и испугом глядели обыватели, а пуля в трех шагах от него расплющилась о булыжник мостовой. Нет, идти по Арбату все же жутко, да и пройдешь ли площадью; там близко Александровское училище, где уж, наверное, идет бой. И притом — так привычно и просто обогнуть Николу в Плотниках и выйти на тихий и приютный Сивцев Вражек, где в старом профессорском особнячке, должно быть, еще не отпили кофе, а то Дуняша разогреет. Ничего сегодня не выйдет из занятий.

Утро явно потеряно. Но можно это утро выиграть в другом. Кстати, есть о чем потолковать и с профессором, который, конечно, сидит дома. С Танюшей поделиться впечатлениями. Хотя — впечатлений немного, просто муть какая-то, вздор.

Вася позвонил и, заслышав шаги на лестнице, приятно улыбнулся.

В ПРОСТЕНКЕ

Ржавчине, медленно глодавшей железо крыши, червячку, точившему балку, крысам, строившим новые ходы для дерзких ночных набегов, сырости, плесени, миллиарду мельчайших, невидимых существ, во имя любви, размноженья и права на жизнь колебавших устои особняка на Сивцевом Вражке, — очень в эти дни помогала дрожь, обуявшая Москву, воздушная дрожь от малых пуль и смеявшихся над трусостью снарядов. Вздрагивали оконные стекла, шатая подсохшую замазку, лопался малый гвоздочек, сыпались чешуйки старой краски, терял соринку кирпич, жирными кусками падала обратно вниз, в печку, доверху облепившая трубу сажа. Ни для кого не заметно — лишь для крохотных созидателей и разрушителей, работавших нынче без устали и отдыха.

Не видна на старом лице новая мелкая морщинка. Высоко над крышей, разрезая воздух, пролетел снаряд, пущенный с Воробьевых гор наудачу, плохим прицельщиком, — и болезненно пригнулся к земле мирный профессорский домик, зажмурился, прищурился, затаил дыханье, потом расправился, — и еще одной морщиной больше. Но не видно и не слышно никому, — только за обоями легкое шуршанье. Может быть, забрался таракан из кухни.

Профессор сказал:

— Домой, Вася, не ходи; мы тебя не пустим. И нам с тобой спокойнее. Кончится завтра стрельба — вот и пойдешь.

— Я не боюсь, профессор.

— Бояться что ж, молодому человеку. А зря рисковать ни к чему. У вас там, у Никитских ворот, самое пекло. А главное — нам окажешь услугу. Нам с тобой веселее. И мне, и Танюше. Леночка телефонировала с Чистых Прудов, где жила:

— У нас тут ужас. Стреляют на почте. Говорят, что и телефонную станцию окружили.

Телефонная барышня, повторив номер, спрашивала:

— Из какой части города звоните? Что у вас?

— Из Сивцева. Вражка. Здесь тихо, а у вас?

— У нас ужас! Не знаем, что будет.— Позвонила.

Но во многих районах телефон уже не действовал.

— Хотите, Вася, пройти наверх ко мне? Дедушка пойдет работать.

Профессор не нарушал давнего хода жизни,— работал до позднего часа, окружив себя атласами, табличками, вглядываясь в оперенье горлинки на меловой бумаге, внося поправки в устаревшую классификацию. Костяным ножиком разрезал листы английского журнала, все же как-то дошедшего, миновав границы, спускал со лба очки, бежал по строчкам носом, отмечал на полях карандашиком. Все это так важно: перелет, пеньё, маленькие яички с серыми крапинками, загнутый клюв, яркий глазок на крыльях... Все это очень, очень важно, это вечное и для вечного.

А в крышу едва слышно твякнула пуля, совсем шальная и пьяная, залетевшая то ли с Арбата, то ли со Смоленского рынка.

— Я пойду, а вы, молодежь, посидите. Тебе, Вася, спать приготавливают в бабушкиной комнате, а то в зале, где хочешь. Таня скажет.

— Скажу, дедушка, вы идите. Мы у меня еще посидим.

— Все же, Танюша, не садитесь у самых окон. Кто его знает. Лучше в простенке.

— Хорошо, дедушка.

Попрощавшись, прошли к Тане наверх. Тут хорошо было и поговорить и помолчать.

— Чем все это кончится, Вася?

— Ну, Кремля не возьмут. А там арсенал.

— А если возьмут?

Говорили, перебирали слухи. Танюша думала: «Странно. Вот Вася не трус, а ему точно все равно, как посторонний. Другой бы...»

Кто другой? Бегло перебирала в памяти знакомых, военных и штатских, живых и умерших. Дрался ли бы Эрберг? Возможно. А Стольников, если бы он... Конечно! Несчастный, что он сейчас переживает! Но она не могла бы — слишком нетронутой душой — вместить того, что переживал в эти дни Обрубок.

Вася курил. И Танюша ненадолго открыла форточку. Донесся стук недалеких выстрелов. Тук-тук-тук... Это, кажется, пулемет.

Прислушиваясь, замолчали. Сидели на диване, близко. Танюша думала о революции. Вася думал: «Знаю, что я ее люблю. И что

она ко мне только дружески ласкова. И что я ее все-таки ужасно люблю. Что же, так это и будет?»

С этой думой поднял глаза на Танюшу и внимательно посмотрел.

— Что, Вася?

— Нет, ничего.

Танюша встала и притворила форточку.

— Брр... какой холод сегодня.

— Да, а снегу все нет. А уж октябрь кончается.

Октябрь кончался. Но начинался долгий, великий и мучительный Октябрь.

Снег выпал только тогда, когда к концу пятого дня смуты московской перестали летать свинцовые шмели. Снег выпал на утро дня шестого,— хлопьями, необильный, смущенный, но нужный всем. Забелил изрешеченные крыши, белой простыней покрыл неубранный труп, подморозил и запудрил кровь на мостовых, на дворах.

Сразу в Москве стало тихо. Боязливо выглянул обыватель,— но любопытство потянуло. Любопытство и нужда: кончились запасы хлеба, съестного, керосину, дров. Жить-то все равно как-нибудь нужно. Плечом прокрадывался в полуоткрытую дверь магазина.

И встречный спрашивал знакомого встречного:

— Кто же верх-то взял?

— Говорят, они, большевики.

— Что же будет?

— А что будет. Долго не продержатся. Придут войска — наведут порядок. Разве же это возможно — по всей Москве стрелять! Дожили до чего.

— Булочная-то наша открыта ли?

— Открыта. А то со двора пройдите.

Озираясь круглыми, любопытными глазами, прижимаясь ближе к стенам домов, через улицу — горбясь и мигом, — шли каждый по своему делу, готовые сейчас спрятаться в подъезд, в переулочек, за тумбу.

И если было, что радовало глаз, то только — чистый, еще не затоптанный, бодро холодящий снежок, запорошивший напуганную и усталую за эти дни обывательскую Москву.

ПУЛЯ

Эдуарду Львовичу никогда не приходило в голову, что можно было купить новое одеяло, которое, дотрагиваясь до подбородка, подвертывалось бы и под ноги.

Неудобство слишком короткого одеяла он испытывал всегда, но боролся с этим только сомнительными средствами: прикрывал ноги своим стареньким пальто на клетчатой подкладке. И не от скупости, а просто по недогадке. Бедности Эдуард Львович не испытывал, жил скромно и мог много тратить на ноты и кни-

ги по музыке; впрочем, еще посылал деньги в Ригу тетке, которой не видал двадцать лет,— высылал по традиции и по привычке, так как начал высылать еще при жизни матери.

Одеяло плохо прикрывало ноги, и спать приходилось на боку, согнувшись. Одно ухо слушало, как в подушке отдается пульс, а другое слушало стук пулемета на улицах: тук-тук-тук-тук. Смысл пулеметной стрельбы был Эдуарду Львовичу совершенно и окончательно чужд (это не из его мира), но ритм был как раз его областью. Одеяло медленно сползло с ног, и холодок делал сон беспокойным. Тогда Эдуард Львович во сне шевелился, жесткие волоски непобритой щеки скрипели по полотну подушки.

Ритм пульса и ритм пулемета не совпадали; требовалось примирить их, уложить в порядке и системе на нотной бумаге. И вот тут начиналась мучительная путаница. Черные нотки, большеголовые, с хвостиками, разбегались по всему миру. Часть их рассаживалась по холмикам, по крышам и чернела на горизонте аллеями и телеграфными столбами. Другая часть ползла по одеялу, цапаясь за нити нотной бумаги, дергая их, как струны, забираясь не в тот ключ, кидаясь из мажора в минор. Эдуард Львович старался подманить их, прикрывал крышечкой легато, но черные головки брыкались хвостами, вырывались и опять разбегались,— одни по холмикам, другие по складам одеяла.

Эдуард Львович ясно понимал, что невозможно достигнуть полного примирения тех, на горизонте, с этими, на одеяле. О какой-нибудь мелодии не могло быть и речи. Прекрасно, пусть будут диссонансы; можно и на них построить музыкальную идею,— но непременно должен быть смысл, единый и обязательный для всех закон гармонии. И вот в ответ он слышал только раскатистый смех пулемета и жалобный стук в подушке. Примирение, по-видимому, невозможно.

Но с чьей же стороны затруднение? Те, на холмах, поразительно равнодушны и устойчивы. В них есть что-то мертвое — как кладбищенские кресты на фоне неба. Привычный ранжир, все головки в одну сторону; все это, почти исключительно, четверти и восьмые. Совсем иное те, что окружили подушку непрерывным неровным туканьем, не поддающимся учету. Там — бытовая устойчивость, здесь — суматоха, брожение. Эдуард Львович попробовал поймать одного живчика за двойной хвостик, но промахнулся, и рука его непомерно вытянулась в пространство. Тогда он приподнялся на цыпочки, стоя босыми ногами на снежном холме, и стал дирижировать хором нотных головастиков: быть может, они поддадутся.

К удивлению Эдуарда Львовича, хор оказался прекрасным. Свободно отделившись от земли и плавно размахивая руками, Эдуард Львович летал вдоль огромных, нескончаемых нотных заграждений, от горизонта к горизонту, и все более убеждался, что режущие ухо диссонансы были лишь близки, а с высот, в отдалении, все звучало великой гармонией, изумительным хором и совершенной музыкой. Ему захотелось вовлечь в хор самые отдаленные инструменты, едва видные на горизонте. Но он не

успел спуститься к ним со страшной своей высоты: раздался звон, и композитор потерял равновесие.

Эдуард Львович проснулся и не мог понять, какой звук разбудил его. Оттянув одеяло к ногам, он некоторое время прислушивался: может быть, позвонили в передней? Но все было тихо. Да и звон был — скорее — как от разбитого стакана. Подумал о своем сне; изумительный сон. Особенно любопытно в нем, что слияние и гармония таких несогласных, по-видимому, ритмов оказываются возможными. В этом — глубокий смысл. Надо подойти издали и с высот. Возникла как бы идея новой странной композиции, трудной, но возможной. Понять, представить возможно, — ну, а воссоздать?

Тянуло холодком. Эдуард Львович поправил в ногах пальто, согнулся совсем калачиком, скрипнул по подушке небритой щекой и старался не шевелиться, чтобы согреться. Холодком тянуло, и воздух стал как будто свежее. Нотки исчезли, исчезли и холмики, но туканье пулемета стало еще чаще и отчетливее. Однако ухо уже привыкло к нему. И Эдуард Львович заснул.

Когда стало светать, в верхней части окна, в обеих рамах, обнаружили дырочки в стекле, а от дырочек шли кругом лучи. Рассвело еще, и новая дырочка обнаружилась в обоях, на стене против окна. Обои вокруг дырочки припухли от распыленной штукатурки.

Никто в окно не метил. Октябрьские пули летали всюду, не очень заботясь о цели. Зачем-то одна из них, самая бесполезная, но и безвредная, залетела в комнату композитора, нарушив на минуту его музыкальное сновидение.

КАРЬЕРА КОЛЧАГИНА

На шестой же день забежал в кухню особняка Андрей Колчагин. Был небрит, красен, весел, хоть и вздрагивал — за эти дни поистрепался. Пришел с ружьем и набитой сумкой. В мешке нашлась колбаса, круг сыру, большой ком масла, к которому крепко примерзла газета. Еще какая-то рухлядь, которой Дуняше не показал. Впрочем, дал ей будильник, початый пузырек одеколону и шелковую кофту с узкими рукавами и кружевом.

— Это что ж, откуда у тебя?

— Нашел. Ящик на дворе разбился.

— Нашто ж мне, на меня и не налезет! Это барыни носят.

— Барыням нынче, Дуняшка, капут пришел. И барыням и баринам. Наша власть одолела.

— Ты где ж был? Ужли стрелял?

— Ясное дело. В самом был сраженьи. Телефонную брали.

— Кто брал-то?

— Кто. Мы и брали, большевики.

— Нешто и ты с ими?

— С кем больше? С народом мы! Против юнкаррей и всей буржуазии. Таперича им крышка, наша взяла.

— Не пойму я что-то, из-за чего стреляют. Смута одна.

— Тебе и понимать нечего. Ты бери кофту и духи бери. Теперь этого добра мы можем сколько угодно.

— Чужое, поди?

— Чужое. Разговаривай! И дура же ты, Дунька. Деревня.

Однако господам — сказал — лучше не показывать, не их дело. Так и сказал: «господам». Других слов еще не было, не знал точно, буржуи ли живут в особняке, где кухня всегда была ему ласковым приютом.

Пробыл недолго, ночевать не остался, даже в бане не был, — а как раз топили. Уходя, захватил и ружье, нацепив на плечо дулом вниз. Сумку тоже захватил с собой, но пустую: содержимое запер в свой сундучок.

По улице шел Андрей Колчагин шагом уверенным. Из-под фуражки выбился у него клок волос, по-казацки, хоть и был он пехотой. Встречные, прохожие, смотрели на него недружелюбно и с опаской; он на них не смотрел. Чувствовал себя Андрей Колчагин не простым человеком, солдатней, а значительным, вроде героя, — как раньше было в деревне, перед отправкой на фронт.

Прошел прямым путем в Чернышевский, к воротам Совдепа, где уже много солдат без толку толпилось, — у всех за плечами ружья дулом в землю. Здесь перекинулся словом, выкурил папиросу, справился, как пройти с бумажкой, через какой подъезд. Встретил некоторых, что вместе с ним брали телефонную; но у них бумажки не было. Протолкался, подождал в очереди, добился-таки. Держал себя не по-простецки, а без боязни, боевиком; и слова говорил подходящие.

За столом, в комнате кислой и дымной, сидел, вписывал, ставил печать человек жидкий, черноватый, в пиджаке, но не робкий. Покрикивал на солдатню. На Колчагина не глядя, вписал его фамилию на бумажку, хлопнул печатью, сказал:

— Вот, товарищ, отправляйтесь по назначению.

— А куды идти-то?

— Написано. На Хамовниках будете. Кто следующий?

Пришлось шагать обратно. Бумажку с печатью сунул Колчагин в обшлаг.

В Хамовниках, в большом занятом доме, была толкотня и полная неразбериха. И не узнаешь, кто тут главный, кто командир и чем командует. Солдаты сидели в креслах, на столах, на подоконниках, и паркет был заплеван и забросан окурками. Кто покрикивал на других, того и слушали.

Колчагин прошел по комнатам, ища, кому вручить свой новый документ, — и не нашел. Было таких же ищущих еще несколько. Тогда Колчагин взял у них бумажку, сверил, небрежно бросил им: «Ладно, все в порядке; подождите». И затем стал уже спрашивать бумажки у всякого нового пришедшего. И вдруг почувствовал себя вроде как бы начальством. Власти не было — нужно власть налаживать. Налаживать власть стал Андрей Колчагин. И все поняли, что так и быть должно. Теперь к нему

обращались уже с некоторым почтением, как к старшему.

Затем приехал на дребезжащей машине какой-то штатский, влетел в первую комнату, крикнул: «Здравствуйте, товарищи, сейчас все будет», — но ему никто не ответил. Он заметался, перекладывая свой портфель со стола на стол, искал чернильницу и явно не знал, что делать дальше. Вот тут-то и выступил Андрей Колчагин, спокойный, в фуражке, с папиросой в зубах:

— Мандаты проверены, товарищ. Все в порядке. Сейчас выставим охрану, а то всякий пройдет сюда без надобности. И двери прикажу на запор, без особого пропуска не лезть.

Приезжий очень обрадовался, даже не сумел сважничать и разыграть начальство. Было ясно, что начальство уже родилось в лице Андрея Колчагина.

Все были голодны. Колчагин выбрал пятерых, послал «раздобыть». И бумажку им выдал; сам писал плохо, но нашелся более грамотный, которому Андрей и приказал быть как бы писарем. Подписывал же сам: «Начальник команды товарищ Колчагин».

Раздобыли в арбатском магазине, который пришлось вскрыть на нужды борцов, только некому было вручить расписку, так как хозяина не оказалось. Притащили в мешках: большой круг сыру, какая нашлась колбаса, много масла, разные коробки. Колчагин принял, все велел запереть в комнату. Потом выдавал сам для дележа. И в свой мешок тоже поклат на случай — сколько вошло.

Кто ушел, кто остался. Спали тут же, не раздеваясь, на полу. Колчагину предоставили диван. И понятно: начальство, трудилось больше других. Ложась спать, Андрей сначала проверил охрану и назначил смену.

Понутру, на другой день, опять приехали какие-то организаторы, толклись на месте, говорили о пишущих машинках, отмечали на дверях комнат, передвигали столы, уходили, приходили. Колчагин неизменно сопровождал их, помогал двигать столы, записывал что-то себе на бумажку, а по уходе их садился за письменный стол в первой комнате, смотрел зорко и покрикивал на входящих. Люди сменились — Колчагин оставался.

Так потекли дни. В комнате заскрипели перья, в приемной толкалась сначала солдатня, потом появились и обыватели, напуганные, нерасторопные. Сюда свозили вещи, сюда приводили арестованных, отсюда летели приказы от имени Хамовнического Совдепа, — но ничто не могло произойти без ведома и санкции Андрея Колчагина, которого звали комендантом. Никто его не ставил, не выбирал, не утверждал в звании. Колчагин был необходим, естествен, неизбежен. И когда проситель, обойдя все комнаты, терял последнюю надежду, — ему говорили:

— А вы, товарищ, обратитесь-ка лучше к товарищу коменданту.

И проситель робко стучал в «кабинет коменданта», где за столом пил чай с сахаром и булкой известный во всем Хамовническом районе товарищ Колчагин, властный, толковый и не

знающий сомнений. Иных направлял, другим решал дело сам, выдавая бумажку с подписью и собственной своей комендантской печатью.

НОЧИ ОБРУБКА

Страшнее дней были ночи Обрубка. Часто в эти кошмарные ночи, между сном и явью, мерещился ему последний бунт калек и уродов.

На низких колясочках, с деревяшкой в каждой руке, чтобы упираться о землю, — черепашим вихрем летят обрубки войны к войне новой. А он, совершеннейший из обрубков, чудо хирургии, — чудом же мчится впереди всех за командира. За ним слепые, скрюченные в рог, лишенные лица, глухие, немые, отравленные, сонные, — взводы георгиевских уродцев.

Революция новая, небывалая, последняя: всех, кто еще здоров и цел, окантать в уродов, всех под один уровень! Зубами отгрызть уцелевшие руки, колесом проехать по ходящим ногам, наколоть видящие глаза, отравить дышащие легкие, громом потрясти мозговые коробки. Всех под одну статью!

И женщин! Дайте нам женщин-обрубков, таких же, как мы. С руками и ногами целыми, с глазами видящими и лживыми, они будут презирать нас и отталкивать. Пусть они будут обрубками: мы оставим им только груди. Мы будем сползать и соединяться без рук и без ног. И пусть родятся у нас такие же дети.

Все перестроить! Пусть одеждой человеку будет мешок, а работать он будет зубами. Только слепым и безумным оставить право иметь конечности, — пусть водят и носят других калек. Не все ли равно: разве не водили нас и раньше слепые и безумные? Если захотят того глухие и немые, — всем здоровым вырвать языки и проткнуть уши каленой иглой! И старым, и детям, и девушкам.

Пусть будет тишина в мире, придумавшем боевые марши и гимны, барабанный бой и грохочущее орудие.

Кошмар — кошмар — из отрубленных ног костры на площадях. Вокруг костров быстрой каруселью летят коляски безногих — бунт безногих — шабаш уродов, — а безумные бросают в огонь ненужные больше книги, стулья, рояли, картины, обувь, главное — обувь, и еще перчатки, обручальные кольца, — весь хлам, нужный только целым, которых больше нет и не будет. Теперь вы поняли!

Высшая красота — рубец и культяпка. Кто больше изрублен и изрезан — тот всех прекрасней. Кто смеет думать иначе — на костер. Вымарать на иконах и на картинах руки и ноги, изуродовать лица, чтобы прежней красоты не оставалось и в памяти. Опрокинуть и разбить в музеях античные статуи, оставив только мраморные торсы да бюсты с отбитыми носами. Воздвигнуть на больших площадях копии ватиканского торса Герку-

леса, — единственная достойная статуя, идеал красоты повоенной!

Миром будет править синяя, блестящая культяпка. А провалится мир — туда ему и дорога!

От кошмарных дум и снов Обрубок стонал протяжно и мучительно. Перебирая мускулами спины, старался перевернуться на бок. Он умел делать это с налету, резким движением, головой упираясь в подушку и помогая себе сильной шеей; но иногда, не рассчитав движенья, падал на живот и, измучившись, плакал, как ребенок. Чтобы поправиться, долго раскачивался, опять напрягал шею и копошился в яме мягкого тюфяка. Отдышавшись, закрывал глаза, — и тогда кошмар начинался снова, в полуяви-полусне его мучительной ночи.

Думать о другом? О чем? Вспоминать о прошлом, когда можно было на этих ногах обойти весь мир, этими руками обнимать и отталкивать, когда было все доступно, игра и борьба, поход и вальс, жест и работа? Когда можно было... можно было почесать плечо, не делая для этого трудных и утомительных движений головой, чтобы хоть достать подбородком? Ему казалось, что еще никогда и ни у кого не чесалось так сильно плечо, и с холодным ужасом думал: а вдруг, как не раз бывало, зачесется бок или груди! Позвать Григория? Бедный Григорий! Что бы он дал, Обрубок, чтобы стать таким «бедным», с руками и ногами, — пусть пожилым и полуграмотным солдатом. Кем угодно, на какой угодно грязной работе. Каторжником — да, и каторжником. Даже шпионом! Любая жизнь лучше его жизни.

Ему вспоминались постоянные больные и напрасные споры его с соседом, Каштановым, потерявшим на войне зрение. И теперь он находил тысячу новых доводов и доказательств тому, что жизнь слепого во много раз легче, что все же она — настоящая жизнь, полная возможностей. Ночью, вот сейчас, в темноте, Каштанов равен всем другим. Он лежит удобно в постели, может встать, налить в стакан воды, выпить, крепко потянуться, опять заснуть. Может спать не один и, не видя, — ласкать. И этот счастливчик смеет жаловаться, смеет сравнивать!

Упершись затылком в подушку, Обрубок приподнял спину, изогнул тело и стал медленно и напряженно опускаться с протяжным, сквозь зубы, сдавленным звериным, волчьим воем.

В соседней комнате скрипнула кровать и зашлепали босые ноги Григория.

— Али неможется, что стонете? Может, надо что?

Попоил водой, из столика вынул плоское суденышко, долго возился с калеченым, как с ребенком, поправил постель, укутал, дал покурить, подставил блюдечко для пепла, — все при свете ночника. Посидел рядом, на самой постели, рукой скрывая зевоту.

— Что же, Григорий, так всегда и будешь за мной ходить?

— А что ж, ужель вас оставлю! Мне жить хорошо, только бы вас утешить. Не стоит об этом думать, ваше благородие. Меньше думаешь — лучше спится.

— Ты и вправду веришь в Бога, Григорий? Или только так говоришь, стараешься в него верить?

— В Бога я верю, как же не верить в Бога.

— Добрый он, твой Бог?

— Добрым ему ни к чему быть. Он строгий.

— А зачем он меня искалечил, твой Бог?

— Как можно, ваше благородие, это ж не Господь, а люди!

— А он позволил людям.

— Значит, свои у Его соображения, нам о том знать не дано. Вам, ваше благородие, смириться надо, такая уж вам судьба.

— Ну, хорошо, Григорий, я смирюсь. Иди спать.

Григорий зевал и закрепчивал рот.

— Если что опять нужно — покликайте, а напрасно себя не мучайте.

— Спасибо, Григорий, иди.

Думал о Григории и его строгом Боге, имеющем свои соображения. О верующих, могущих смириться в любом несчастье. И странно — им не завидовал. Только им, единственным. И не завидовал. И в себе такой веры не находил и не искал. Обман!

Но, о них думая, затихал, и вправду смирялся, позволяя сну мягкими руками коснуться глаз. И во сне видел себя здоровым, не спешащим использовать свое здоровье — свои цельные руки и ноги, свою молодость. Видел женщину — шутил с ней.

Обрубку еще не было тридцати лет. В этом возрасте перед человеком вся его жизнь. Но Обрубок не был человеком...

ОБЕЗЬЯНИЙ ГОРОДОК

Замкнутым кругом вырыли ров, сделав внешнюю стену отвесной. Получился островок, выхода с которого не было.

Посреди острова высокое сухое дерево с голыми ветвями. На них обезьянам удобно заниматься гимнастикой.

Под деревом домики с окнами, чердаками, крышами, — совсем как человеческие. Хорошие качели. Бассейн с проточной водой, а над ним, на перекладине, подвешено на веревке кольцо. Все для удовольствия.

Огромной семье серых мартышек жилось привольно. Плодились, размножались, наполняли городок.

Смотритель зоологического сада рассчитал правильно: обезьяний городок пользовался большим успехом у публики. Мартышкам бросали орехи, хлеб, картофель, любовались их фокусами, смеялись над их любовью и семейными раздорами.

Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу. Добавили домик, крышу сделали крепче. Новые граждане были чуть-чуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озорнее.

Сначала все шло хорошо. Были, конечно, драки, но без драк не бывает прочной общности. Затем выяснилось соотношение сил и началось расовое засилие.

Был среди рыжих один — чистый разбойник. Сильный, лов-

кий, злой, командир среди своих, он стал истинным бичом серых. Не пропускал случая задеть, куснуть в загривок, цапнуть за ногу.

Сначала побаивался тронуть самку-мать, возле которой суетился голый, тоненький живчик. Но кончилось тем, что белыми острыми зубами, ловко подкравшись, тянул нежного младенца и спуска на дерево от разъяренной матери.

Проделка рыжим понравилась; они почувствовали свою силу. И тогда же в обезьяньей душе серых впервые родилось сознание предопределенности, грядущей неминуемой гибели их патриархального племени.

Серый страх поселился в обезьяньем городке. И скоро худшие ожидания оправдались.

Рыжий насильник скучал. Все одно и то же, все одно и то же. Даже никакого серьезного сопротивления. После того, как он, загнав одну робкую жертву на край ветки, заставил ее сделать неудачный прыжок вниз (серый сломал заднюю руку), — никто из серых больше на дерево не лазил. Отнимать пищу тоже скучно, — и надоело, и ни к чему, своей достаточно. Нужно что-нибудь особенное.

От скуки рыжий делал стратегические обходы, высматривал кучу дрожащих обезьянок, бросался прямо с крыши домика в самую гущу, цапал за загривок кого попало, потом садился поодаль, почесывая бок, и белыми зубами дразнился и издевался над трусами. Те вновь скучивались поодаль, оставив на него близкие глазки и стуча зубами. Куда бы он ни упрыгивал, — все, как по команде, повертывались в его сторону, зорко наблюдая за его движениями и готовясь в нужный момент отпрыгнуть. Когда он отходил далеко или спал дома, — они решались заливать раны, глотать морковку, искать друг у друга блох и, наскоро и несмело, любить друг друга. Жизнь, хоть и ставшая невыносимой, должна была продолжаться. Но это была жизнь обреченных.

Однажды, когда рыжий скучал от безделья, один из серых рискнул позабавиться: прыгнул в кольцо над бассейном и стал качаться. Рыжий заметил, тихо спустился в ров, обошел снизу обезьянью усадьбу, нацелился, внезапно появился у бассейна, поймал серого за хвост и быстро сдернул его в воду.

Серый поплыл к краю, — но враг его был уже там; поплыл к другому, — но и здесь не удалось выйти. Едва он цеплялся за край, рыжий насильник крепкой рукой ударял его по маковке головы и окунал в воду.

Вот наконец новая и интересная забава. Серая жертва обессилела и, погружаясь в воду, пускала пузыри. Когда в последний раз мокрая обезьянья головка появилась у края, рыжий, уже без особого увлечения, лишь легким щелчком, погрузил ее в бассейн и подержал недолго. Теперь всплыли только пузыри. Издали на эту шалость рыжего смотрели дрожащие серые обезьянки, скаля зубы и поджимая хвосты.

Рыжий подождал, обошел еще раз бассейн, задорно выгнул спину, потом отошел, присел, оскалил зубы, отряхнул мокрую

руку и, найдя турецкий боб, принялся его чистить. Забава окончилась, и опять стало скучно.

Но в общем, опыт ему понравился, и бассейн стал чаще привлекать его внимание. Теперь он уже сам загонял сюда новые жертвы. Когда ему удавалось схватить крепкими зубами зазевавшегося серого, он подтаскивал его к бассейну, отбиваясь зубами от судорожных рук, и быстро сталкивал в воду. Топил не торопясь, давая жертве немного отдышаться, лукаво отходя к краю и возвращаясь вовремя, чтобы погрузить голову слабого пловца, играл, забавлялся, прыгал в кольцо, качался и вновь подоспевал вовремя. Утопив, скучал, растягивался на крыше домика, забирался на дерево и сильными мускулами сотрясал большие сухие ветви.

Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая врасплох на искудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая клочьями шерсть. Серая колония таяла — рыжая плодилась и благоденствовала.

Смотритель зоологического сада слишком поздно заметил исчезновение серых, — лишь когда воду спустили для чистки бассейна. Сторожакам досталось. Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским названием. Разрешили жене одного из сторожей поставить рядом столик с пакетиками турецких бобов. Это давало сторожихе небольшой постоянный доход, особенно по воскресным дням, — а саду — экономию на питании обезьяньего племени.

Глядя на пополневших мартышек, невозможно было установить, вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне. Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подаяние, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию.

ИНВАЛИДЫ

Сегодня с утра к Стольникову забегали защитные шинели с пустыми рукавами, стучащие деревянные ноги и возбужденные лица со страшными шрамами. Обрубок внезапно стал их общепризнанным вождем, хотя было у них подобие своей организации — Союз инвалидов — и хотя из двух требований, с которыми решили они выступить, первое («война до победного конца») не находило в нем сочувствия. Вторым была помощь инвалидам великой войны: но и об этом мало думал Стольников. Его волновала только мысль об открытом выступлении безруких, безногих, изуродованных людей. О них забыли — их слово теперь обязаны выслушать. И чем громче, чем резче, чем злее и настойчивее прозвучит оно, — тем лучше.

Было решено, что его, как совершеннейшего из инвалидов, понесут впереди в кресле, поставленном на высокие носилки. Остановится процессия перед домом Совета Депутатов, и там будут сказаны речи.

К двум часам собрались кучками на Тверском, расселись на лавочках, потоптались у Пушкина, бродили по площади. Когда принесли Стольникову, все поднянулись к нему. Знамя было одно: красное, Союза инвалидов.

Получилась толпа сотни в три. Носилки с креслом несли трое посильнее; четвертым был Григорий. Рядом шли безрукие и на костылях. Вели под руку нескольких слепых, в том числе и Каштанова. В толпе белелось много повязок.

По самому тротуару, припадая на одну ногу, ковылял страшный солдатик, у которого не было лица: на блестящей коже чернели лишь глаза без ресниц и без бровей, буравились дырочки носа и висел сбоку клочок путаной бороды.

Когда процессия остановилась, на балкон дома Совета Депутатов вышло пять человек. Один, блондин с бородкой, похожий на интеллигентного купчика, полный и уверенный в себе, перевесился дородным телом через перила балкона и замахал рукой. Четверо облокотились на перила, без особого любопытства разглядывая толпу уродцев. Была эта картина не новая.

Из толпы инвалидов кричали нестройным хором. Слышались слова «до победы», «позор», «мы требуем», некоторые махали листками, но видна была плохая организованность выступления и несогласованность желаний пришедшей толпы.

Блондин на балконе опять махнул рукой и начал говорить. Голос его был хрипл, очевидно, надорван постоянными речами; сегодня он говорил с балкона уже в шестой раз — шестой толпе солдатских шинелей. И речь его была заучена, одна для всех, различались только обращения. Сейчас он говорил к «товарищам-инвалидам империалистической бойни». Слова ударялись о памятник Скобелеву, с которого только что сняли бронзовые фигуры, пролетали дальше и терялись в низких сводах гауптвахты. Прохожие задерживались ненадолго, — к демонстрациям у Совета давно привыкли, слова с балкона давно были известны. Внимание привлекло только кресло Обрубка, возвышавшегося над толпой.

Стольников, покачиваясь при неловких движениях носилок, не отрывая глаз, смотрел на здорового, двурукого, двуногого оратора. Привязанный к креслу, он ярче обыкновенного чувствовал свое бессилие, свою неспособность к жесту, сейчас так ему необходимому.

В середине речи оратора начали прерывать; к концу гул голов совсем совсем заглушил его слова. Те, что стояли ближе к носилкам Обрубка, засучили рукава и совали к балкону синие культияпки рук, другие махали костылями и кричали с надрывом. Непонятное кричали и слепые. Солдат без лица вышел вперед и мычал: он был нем.

Оратор выкрикнул последнее, рукой показал куда-то вдаль и вверх, утер губы платком и попятился к двери; за ним вышли и другие.

Нужно было что-то делать, а что именно — никто точно не знал. Делегаты с листом требований вернулись; лист у них взяли, но самих в здание Совета не пустили. У входа в Совет стояли молодые солдаты с винтовками, другие были расставлены на тротуаре и прогоняли останавливавшихся прохожих. Из подъезда вихрем вылетел юноша в военной форме, одетый чище других и лучше затянутый кушаком, очевидно — командир, перебежал тротуар и, не подходя близко к голове процессии, закричал:

— Проходите, товарищи, расходитесь, довольно! Нельзя занимать площадь.

Вернулся и вывел наряд, занявший весь тротуар перед домом.

Толпа инвалидов потопталась на месте, но крайние, поздравнее, уже пятились. Те, что несли знамя, двинулись в сторону улицы.

В этот момент, покрывая гул толпы, раздался резкий и дикий, почти нечеловеческий крик, сорвавшийся в визг:

— Разбойники! Р-р-раз-бой-ни-ки!

Носилки покачнулись. Быстро, свободной рукой, Григорий подхватил падавшее с кресла тело Обрубка, сломавшего легкую перекладину, которая его сдерживала. Из толпы бросились помочь. Почти вплотную подбежал и начальник караула с двумя солдатами.

— Убрать! Уноси его отсюда, пока хуже не будет. Товарищи, слышали приказ: расходись немедленно!

Обрубок был без чувств. Григорий, передав свой край носилок, подвязывал ручки кресла, обматывая той же веревкой грудь Обрубка и спинку кресла. Затем, толкнув в бок парня с перевязанной щекой, даржавшего передний край носилок, глухо скомандовал:

— Айда, заноси край. Нечего тут проклажаться.

Толпа смолкла и быстро двинулась. Только часть пошла за Стольниковым, другая, перегоня свернутое знамя, рассыпалась в противоположную сторону Тверской.

— Как бы чего не вышло, — сказал инвалид, шагавший рядом с Григорием. — Они, брат, не посмотрят, что он безногий-безрукий. Главное дело, что офицер... Этакое им крикнуть.

— Чего с него взять, — буркнул Григорий. — Все уже взято.

И, поторапливая носильщиков, он одним насупленным суровым взглядом заставлял толпу встречных и любопытных сворачивать с пути странной процессии.

Обрубок очнулся, отыскал глазами Григория, затем снова опустил голову и до самого дома не открывал глаз. Только при неловких движениях носилок лицо его вздрагивало болезненно.

КРУГ СЖИМАЕТСЯ

Сегодня Дуняша вытопила печь в гостиной, где теперь стоял рояль, занимая полкомнаты. Зал и столовая заперты. Танюша переселилась в бабушкину комнату, рядом со спальней дедушки.

Второй этаж не отапливался, так как дрова достаются с трудом. В последний раз ездили за дровами вместе Николай и Дуняша, а подводу дал зеленщик. Привезли березовых, сухих, отличных, а откуда, — это уж секрет Николая, зря болтать нечего. По дороге какие-то пробовали остановить подводу, но Николай отстоял:

— Везу себе, свои кости греть. Отымай у других, а не у рабочего человека. Меня, брат, не испугаешь! Я сам совдеп.

И ничего, пропустили.

Эдуард Львович играл Шопена. Играл спокойно, не дергаясь. Танюша, хозяйка особняка, разливала чай. Орнитолог не на диване, а в глубоком кресле. Был и Поплавский, худой, как тень, — очень ему тяжело жить. Конечно, и Вася Болтановский, каждый-дневный теперь гость; да и не гость, а свой человек. Из новых знакомых — Алексей Дмитриевич Астафьев, философ, приват-доцент. С ним Таню позначкомил Вася, а старый профессор знал его немного по университету и одобрял. Только мужчины; даже Леночки не было; Леночка перед самой революцией вышла замуж за доктора.

Чай был настоящий, из старых запасов; хлеб белый, из муки, которую привезли из деревни Дуняше. Сахар пайковый — еще выдавали иногда.

Профессор думал о том, что вот нет в углу лампы, освещающей седую голову и чепчик бабушки и ее рукоделье. Потом переводил глаза на Танюшу и видел, что Танюша, заменившая бабушку за самоваром, стала, пожалуй, совсем взрослой. Уверенная, заботливая, задумчивая; даже слишком задумчивая, — в ее годы можно бы и легкомысленнее быть, но только, конечно, не в такое время; сейчас беззаботных нет. А Вася все на нее смотрит и смотрит. Славный паренек, Вася, да только вряд ли Танюша отметит его особо; мальчик он хоть и хороший, а не по Танюше. Совсем другой человек ей нужен.

Поплавский сказал:

— И тепло же у вас. И уютно, еще уютнее прежнего. У меня дома настоящий мороз; я в одной комнате заперся, а в столовой с потолка свесились сталактиты; у нас водопровод лопнул.

Эдуард Львович потер руками и подумал, что ведь у него тоже холодно. Правда, есть печурка, но обращаться с ней очень трудно, даже если дрова наколоты на маленькие кусочки и положены рядом. Подумал Эдуард Львович, но ничего не сказал: это не из его области разговор. Главное, есть у него рояль. А ведь у некоторых отобрали. Опять поежился и потер руками.

Танюша спросила Астафьева:

— А вы где живете, Алексей Дмитрич?

— Я живу на Владимирро-Долгоруковской. Дом у нас сейчас заселен рабочими, а из буржуазных элементов только я остался. Пока не трогают, но, вероятно, выселят и меня. Шумно у нас, а любопытно.

Вася рассмеялся:

— Чего же любопытного, когда у вас все отобрали.

— Ну что же за беда. Да и не все, книги остались.

— Без полок?

— Полок осталось мало. Но я их сам сжег: холодновато было.

— И книги отберут.

— Может быть, отберут. Я не так уж и огорчусь.

— А как работать?

Астафьев улыбнулся, не сразу ответил.

— Работать... Конечно, по-прежнему работать будет невозможно, да и теперь нельзя. Но ведь... и нужно ли?

На него смотрела Танюша, и он продолжал:

— Философия стала уж слишком очевидной роскошью. Как и вообще наука. Для себя самого — да, а для других — не знаю. Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа?

Танюша подумала: «Что это он, иронизирует или кокетничает парадоксами?» Поплавскому стало грустно от таких слов. А старый орнитолог обеспокоился:

— Как же тогда, делать-то что же, улицу мести? Мудрость, веками накопленная, не может же вдруг в один день стать ненужной.

Астафьеву очень не хотелось возражать. И вообще говорить не хотелось. Было так уютно в старом особнячке, так тепло и старинно. И так хорошо от музыки Эдуарда Львовича и от чая, налитого руками Танюши. Но нужно ответить.

— Видите, профессор, вот ваша область, естествознание, она такая, ну, безошибочная, что ли. А философия ведь даже и не наука, хотя и зовется наукой наук. Ее рождает роскошь жизни или усталость от жизни. Она — пирожное. И еще она — насмешка. И еще она — уход. Жизнь же сейчас такова, что если от нее отойдешь на минуту, — она от тебя уйдет на дни. Кто хочет выжить, тот должен за нее цепляться, за жизнь, карабкаться, других с подножки сшибать, — как в трамвае.

— Тоже и это — философия, — сказал профессор. — Печальная, конечно.

— Да нет, почему печальная. Просто подошли мы ближе к природе. Быт огрубел и упростился; должно и бытие ему соответствовать.

Поплавский вставил:

— Ну, бытие не грубеет. Бытие, напротив, тоньше становится. Мы сейчас глубже чувствуем. Быт идет сам собой, а жизнь духовная...

— Думаете, сложнее становится? А я не думаю. Обыватель от усталости становится немного философом, а философ — обывателем; оба — циники. От этого бытие не выигрывает. А главное — все это не нужно, как прежде было нужно. Сейчас важнее сохранить и развить мускулы, а книги — зачем книги, разве что популярные брошюры, учебники, пожалуй, сказки — для отдыха.

И Астафьев улыбнулся так, что можно было принять его слова за шутку, а можно и за серьезное.

Эдуард Львович обвел всех близорукими глазами и на редкость уверенным голосом, картавя, сказал:

— Хотите ри, я сыграю что-нибудь крассическое?

Пока он играл, Астафьев смотрел на Танюшу, которая, стараясь не стукнуть ложечкой, мыла чашки. Астафьев думал: кто она такая? С детскими еще чертами лица — взрослая женщина.

Танюше шел двадцать первый год. Она была стройна и красива. Лицо очень строгое, почти холодное, — хотя и очень русское. Улыбка, наоборот, цельная, несдержанная, согревающая. Когда улыбка сбежала с лица Танюши, на минуту на лице оставался румянец и ласково играли глаза. Затем опять рождалась Диана. Вечером серые глаза Танюши казались темными и синими. Волосы гладко зачесаны над большим лбом. Танюша была из породы тех немодных женщин, которые не могут сделать изящного движения и которым не приходится думать, как держать руки или как наклонить голову. Такой она была на людях, в обществе. Иною она была одна: глаза раскрывались шире, на лбу появлялась легкая складочка, и Танюша становилась хрупкой и испуганной девочкой, которая не знает, куда ей идти, у чьей двери постучаться, у которой на всем свете нет никого, кто мог бы указать и посоветовать. Танюша смотрела в окно и видела серое небо; она брала книгу, на страницах которой не было ответа. Она вздыхала, и кофточка казалась ей тесной. Тяжелые волосы оттягивали голову. Все предметы в комнате, давно знакомые, смотрели на нее равнодушно и слишком логично. Тогда она шла к бабушке и прижималась к его жесткой щеке. Бабушка гладил ее и думал: «Что будет с моей Танюшей?»

Эдуард Львович играл сегодня с особой уверенностью и, когда играл, знал определенно, что люди растерялись, а истина известна только ему, Эдуарду Львовичу. Только он обладает вполне несомненным. И несомненного отнять нельзя. Несомненное — музыка, мир звуков, власть звуков, композиция. Он ударял пальцем по клавише, и клавиша отвечала так, как он хотел и требовал.

За окнами падал снег. Ни лошади, ни пешехода не было на Сивцевом Вражке.

В Хамовниках, в большом доме с освещенными окнами, суетились люди в гимнастерках, в кожаных куртках, в солдатских шинелях. Выходили группами, садились в автомобили и летели быстрее нужного. Пока Эдуард Львович играл, неуклюжий солдатский палец выводил буквы его фамилии и прикладывал печать. Музыка, композиция несомненны и неотъемлемы. Но рояль — вещь, которая может быть отнята с еще большей легкостью, чем отнимают сейчас жизнь. И притом рояль очень нужен для рабочего клуба.

Вписав в бланк мандата фамилию композитора, тот же палец, уже гороздо свободнее и увереннее, даже несколько игриво, подписал внизу и собственное имя с красным росчерком:

«Андрей Колчагин».

И поставил печать.

ВЕЩЬ

Выходная дверь с треском захлопнулась, но с лестницы еще доносились голоса, а струны рояля при толчках звучали удивленным баском.

Комната выходила во двор, и как грузили рояль на подводу, Эдуард Львович не видал.

Однако один из реквизиторов вернулся, постучав, вошел и утешительно повторил Эдуарду Львовичу:

— Значит, вы, гражданин, особенно не волнуйтесь. Если окажется, что у вас исключительное право от учреждения по музыке, тогда обратно получите, не этот, так другой. А против декрета мы не можем, и рабочие клубы в высшей степени нуждаются в музыкальных фортепьянах, всякому мы оставлять фактически не можем, так что ясное дело. А зря волноваться нечего, никто вас не обидит, и все идет на нужные потребности страны. Вы даже должны, как образованный человек, радоваться. А впрочем, можете жаловаться.

И ушел.

Хотя Эдуард Львович ел, пил и спал, как все остальные люди, но от этих остальных людей он отличался тем, что как-то мало замечал, что он ест и пьет, а спать он ложится потому, что играть ночью нельзя, — спят остальные люди. Кроме того, у остальных людей были еще малопонятные Эдуарду Львовичу интересы: семейные, деловые, политические. По нотах жизни своей они разыгрывали опусы, весьма чуждые композитору и как-то не вполне подчиняющиеся контрапункту. Вероятно, все это было нужно, но уж во всяком случае можно было обойтись и без этого при наличии того всеобъемлющего и всеисчерпывающего, которое зовется музыкой.

Это доказано и опытом. Эдуарду Львовичу уже за пятьдесят лет, у него не было ни семьи, ни других привязанностей, а если и было что-то подобное в молодости, то теперь все это уже давно претворено в звуки и легко укладывается в пять строк нотной бумаги. И уж конечно, Эдуард Львович не заметил, как он из обыкновенного, как хроматическая гамма, человека, хотя и с абсолютным слухом, сделался — гражданином.

Когда человек, назвавший Эдуарда Львовича гражданином, ушел, на полу остались пятнышки пыли в тех местах, где раньше были ножки рояля, а от пятнышек, как колеи на полу, шли к дверям три светлые ленты. А на этажерке ноты, вдруг ставшие ненужными, в особенности рукописные, в большой старой папке.

И еще осталась в комнате никому на свете не нужная, старая, подержанная вещь — сам Эдуард Львович. Вещь постояла среди комнаты, потрогала себя рукой за редкие волосы на висках и посадила себя на стул у стены. Круглый же табурет с повышающимся сиденьем стоял пустым среди комнаты, и сестра на него было бы теперь как-то странно: неизвестно, куда обратиться лицом, совершенно безразлично.

С полчаса вещь присидела так, вполне сознавая важность

случившегося, но путаясь в деталях, а главное, не понимая, что же нужно теперь делать. Был даже момент, когда вещь улыбнулась и подумала: «Этого же ведь не может быть! Вероятно, это что-нибудь из той, из их жизни, не имеющей отношения. Нельзя же предположить, что вдруг действительно кто-то зачем-то мог отнять и увести... ну, почти что... то есть не почти что, а именно... душу, — взять ее и увести на подводе? Ведь невозможно же без инструмента не только обработать, но и наметить в главных чертах симфонию или даже небольшой романс, и вообще — ну ведь нельзя же жить на свете без инструмента, как же это так? Что же тогда останется?»

Это было настолько нелепо и похоже на шутку, настолько невероятно, что вещь, сидевшая на стуле у стенки, попробовала улыбнуться; затем она на минуту закрыла глаза. Немедленно же три светлые ленточки на полу исчезли, на пятнышки пыли встали ножки рояля, и все вернулось. Открыв же глаза снова, вещь опять увидела и пятнышки и полоски к выходной двери.

И вот тут из дальнего уголка памяти, из старой нотной тетрадки, где все записи пожелтели и полустерлись, позабытым мотивчиком внезапно выглянула мысль, что подобный случай уже был однажды. И подробности: тоже вынесли предмет, вроде ящика, и тоже на его месте осталась незаполненная пуста. Ящик поменьше и полегче, узкий. Ящик был гробом, а лежала в нем мать Эдуарда Львовича, сожитель всей его жизни, почти до самых седых его волос.

Но была и разница. Какая же была разница?

Во-первых, тогда Эдуард Львович вышел из комнаты вслед за ящиком и шел за ним по улице, до могилы. Ящик опустили в землю. Потом... потом Эдуард Львович вернулся домой, и квартира (тогда у него была свора, никем не оспришиваемая квартира) показалась ему пустой. И вот тут... произошло что-то примиряющее, утешит... ну да. Он сел за рояль и стал играть. И играл до сумерек. И, играя, забыл о потере. И каждый раз, как он чувствовал наступившую в жизни пустоту, — он заполнял ее звуками рояля.

А теперь? И вот тут мысль мучительно путалась и терялась. Разумный Эдуард Львович исчезал, а на стуле оказывалась ненужная вещь, старая и выцветшая, называемаяся гражданином.

Экономическая печурка потухла, и ноги Эдуарда Львовича стали зябнуть. Сначала он хотел снова затопить печурку, но понял, что теперь это совершенно ни к чему. Тогда надел свою рыжую шубенку, валенки, шапку и, осторожно ступая, чтобы не наступить на вытертые на паркете ленточки, вышел из дому.

Тусклым огоньком теплилось в памяти, что идти нужно вслед... за этим ящиком, в котором вложено все содержание жизни. Нужно за ним идти, так как можно пожаловаться. Но куда за ним идти? Какой улицей? В каком направлении?

В тот раз его несли за Дорогомилловскую заставу. Потом по дороге, в ворота, и в глубину налево, маленькая могила за решеткой; и там у могилы лавочка.

Эдуард Львович сильно устал, но нашел могилу легко, — зна-

комая могила. Даже соседние могилы были знакомы. Так хорошо было встретиться, опять быть в кругу таких простых, тихих и приятных... действительно точно друзья. С того раза, однако, прошло... Эдуард Львович считал... уже лет... уже лет пятнадцать или уже шестнадцать. Какая уютная эта могила — его матери, — хотя такая простая. И он присел на лавочку.

Глубокой старушкой умерла его мать. Теперь же и сам он почти старичок. Волос мало, и волосы седые. Когда волос было больше и они седыми еще не были, то случалось... вот тут опять из старой нотной тетрадки украдкой зазвучали мотивчики... случалось, что было на что пожаловаться матери, — на первые неудачи, на равнодушие публики, на непонимание критики, — разные были тогда обиды, и тоже не малые... но, конечно, не т а к и е, т а к о й никогда еще не было. И если он теперь... если, например, он и теперь пожалуется своей родной матери (потому что ведь теперь обида новая и несносная), то она его, во всяком случае, поймет; другие, остальные люди, может быть, и не поняли бы, но мать — старый друг! Она поймет!

В валенках плохоньких, подшитых на пятке кожей, в шубенке трепаной, снявши шапку, на гражданина не похожий, но очень похожий на ненужную и подержанную вещь, — седой, никому не нужный и теперь человек, сполз с лавочки в снег на колени и, обжигая лысину о железо решетки, стал плакать, по-ребячьи всхлипывая. На кладбищах нужно плакать по другим, — а он по самому себе, так как его обидели, отняли у него игрушку всей жизни. Бедный такой, точно маленький, а сам уже старичок. И, как ребяенок, все слова забыл, а помнил и повторял только одно коротенькое словечко «мама», — других слов не было. Вытирал нос рукавом, а обильные слезы буравили дырочки в снегу и застывали светлой сосулькой на завитушке решетки. Сквозь туман слез он смотрел на дырочки и на сосульку, а всхлипания свои укладывал на ноты, ставил форшлаг, отделяя черточкой, помечал паузой на три четверти.

Когда все слезы кончились, встал, огляделся, смущенно улыбнулся, поклонился могиле вежливым поклоном, потоптался, как в передней, перед уходом из гостей, и пошел к выходу, проваливаясь в сугробах нечищенного кладбища.

Пошел к дому, — и долго плелся по улицам, шаркая валенками, уступая дорогу прохожим, стараясь от холода спрятать лицо в мездру воротника.

Дома его ждала комната, не согретая печуркой. В комнате было темно и не видно ни пятнышка пыли, ни полосок на паркете. Вещь осторожно приоткрыла дверь, вошла, нащупала в темноте стул у стенки и села.

БРОНЗОВЫЙ ШАРИК

Танюша навестила Стольникову. На этот раз он принял ее сидя в кресле. На нем был френч с напрасными рукавами. Кресло

у стола, где разложены «изобретения» и посередине — бронзовый шарик на листе темно-зеленой бумаги.

Танюша, войдя, сразу опять почувствовала ту неловкость, которая удерживала ее от второго визита. Как-то странно даже войти: нельзя подать руки. Может быть, нужно поклониться. И, конечно, нужно смотреть просто, приветливо и весело. Ну жно сделать лицо, — это всего труднее. И она покраснела еще на пороге.

Ясно понимала Танюша, что не нужно спрашивать ни о здоровье, ни «как поживаете», что нужно непринужденно говорить самой о чем-нибудь и о ком-нибудь, рассказывать, развлекать. Но это так трудно. И обрадовалась, когда Стольников заговорил сам. Он сказал:

— Приятно, очень приятно мне видеть вас, Танюша. Я называю вас Танюшей по-прежнему, хотя вы совсем большая стали; но я-то стал зато вроде бы как старик, хотя Григорий и называет меня малым ребенком. Как же ваши занятия, Танюша?

Она стала рассказывать и заметила, что он почти не слушает, а думает о своем. Она спросила:

— Вам что-нибудь нужно? Помочь вам чем-нибудь?

— Пожалуй, мне покурить хочется. Возьмите папиросу и суньте ее без стеснения прямо мне в рот. Вот так, спасибо. А пепельницу Григорий прямо передо мной ставит.

— Это что за шарик у вас?

— Шарик... Да, это замечательный шарик.

И вдруг, с изменившимся лицом, он заговорил быстрым шепотом:

— Шарик этот, Танюша, может все изменить и перевернуть, все вернуть... Вы не верите в чудо? Я в такое чудо верить могу, ведь я сам, говорят, чудо, чудо хирургии и выносливости. И вот я смотрю на этот шарик и жду... он должен зашевелиться. И он, Танюша, зашевелится, я его заставлю, взглядом заставлю.

Она не поняла, но Обрубок и не смотрел на нее.

— Должна быть такая сила — понимаете — выработаться сила. Сначала пустяк — действие на шарик, чтобы покатился; а если это будет, тогда — вы понимаете — в дальнейшем будет все возможно, только нужна гимнастика воли. Если заставлю, тогда мне не нужно рук и ног, я и без них буду сильнее многих и всех — понимаете.

С напряженными мускулами лица, слегка раскачиваясь, он фиксировал шарик взглядом, как бы толкая его мыслью. Папироса упала в подставленную пепельницу. И так же напряженно, широко раскрыв глаза, полная жалости и жути, смотрела на него Танюша и испуганно думала:

«Что же делать, Господи, что же делать! Он помешался, он совсем болен».

На минуту закрыв глаза, Стольников как-то сразу успокоился, улыбнулся своей прежней, давней улыбкой, прямо взглянул на Танюшу и сказал:

— Нет, Танюша, вы этого не думайте, я не сумасшедший.

Тут совсем другое. Тут единственный исход, спасенье единственное. Моя жизнь, вы понимаете, не сладка. Но если надо жить — надо ее, жизнь, создать терпимой; а такая, теперешняя, нетерпима. Так жить непереносимо мне, Танюша. Либо верить, либо не верить. Мой шарик не такое уже безумие. Безрукие пишут ногами, безногие передвигаются при помощи рук, глухие слушают трубкой, слепые учатся видеть при помощи каких-то инструментов. Все это — чудеса, не меньше моего чуда, которого жду я. Я ведь тоже многого добился: я вот могу есть суп ложкой и сам в постели закуриваю. Бесконечно многого можно добиться. Писать ртом совсем просто. Но хочу я добиться бесконечно большего, потому что и несчастье мое бесконечно большое. Есть области духа, нам еще мало ведомые, но реальные, а не гадаемые. Можно устраивать взрывы на расстоянии, без проводов. Можно в Европе слышать голос из Америки. Говорят, можно будет управлять полетом аэроплана без пилота. Это все, конечно, чудеса. Это — техника; а в области духа чудес должно быть больше. Факиры тоже не все шарлатаны. И не таких уж чудес я хочу. Я не скалу хочу двинуть, а легкий шарик. Человек — источник огромной силы: изучить ее нужно и направлять ее. Нет, Танюша, я не безумный.

— Я и не думала...

— Нет, вы именно подумали, я знаю. Я вообще многое чувствую острее, чем другие, чем здоровые... целые люди. Но не в том дело. А дело в том... Но вот... хотите, Танюша, взгляните на меня.

Она подняла глаза и встретила его опять изменившийся взгляд, сразу словно и пронизательный, и далекий, нездешний. Опять в темных больших глазах Обрубка, в глубине их, в зрачке, искоркой горело то, что Танюше показалось безумием.

— Вы не бойтесь, вы смотрите. Теперь смотрите сюда, на шарик, и вот смотрите... пристальней... вот... вот...

Танюша замерла. И вдруг случилось непонятное, странное своей простотой и неожиданностью: бронзовый шарик качнулся, покатился в сторону Танюши, доехал до края стола и со стуком упал к ее ногам. Танюша вскрикнула, отшатнулась, вскочила и отбежала к двери. Опомнившись, она оглянулась и увидела откинутую назад голову Обрубка. Его глаза были полуоткрыты и казались белыми. В комнату вошел Григорий.

— Что вы, барышня? Или плохо им?

Увидав, в каком состоянии Обрубков, Григорий покачал головой:

— Бывает это с ними. Опять своим шариком забавлялся. Эх, барышня, какой они человек несчастливый. И день, и ночь вот так маются. Вы идите, барышня, я тут сам управлюсь, это пройдет у них. Скоро отойдут, я знаю, тревожить не нужно. А вам тут быть неудобно.

Танюша вышла, едва держась на дрожащих ногах. То, что случилось, было так странно и так ужасно. Показалось ей — или и правда? Или он толкнул столик? А как он был бледен и как безумны были его глаза. Это — самое страшное, что видела Танюша в своей жизни.

Морозный воздух улицы вернул ей силы. Миновав Бронную, Танюша быстрой походкой пошла в сторону консерватории. Если бы она встретила кого-нибудь из знакомых, — она не узнала бы.

ВИЗИТ

К Стольникову пришли под утро и стуком в дверь подняли Григория.

— Вы, гражданин, кто?

Григорий, хоть и понял, хмуро ответил вопросом:

— А вы сами кто такие? Чего вам нужно?

Четверо стояли с ружьями, а спрашивал пятый, в кожаной куртке, с красным бутафорским бантом. Махнул у Григория под носом наганом:

— Мы вот кто. Офицер Стольников, который тут?

— На что вам его? Спят они. Не к чему их беспокоить.

— Ты что же, денщик его, что ли?

— Денщик.

— И тебя заберем. Денщиков, брат, нет больше, коли не понимаешь. Ну поворачивайся.

И ввалились в спальню Стольникова.

Григорий смотрел мрачной тучей. Не испугался несколько — видал всякие виды.

Обрубок лежал под одеялом, повернув голову к вошедшим. Он проснулся от стука, понял и теперь смотрел на вошедших молча, нахмутив брови. В глазах была злая насмешка.

— Вы, что ли, офицер Стольников? А ну, вставай, не стесняйся, здесь баб нет.

Григорий мрачно и раздельно сказал:

— Спроси сначала, могут ли они встать. Не знаете сами, куда идете. Разве это полагается инвалидов беспокоить?

Черная куртка прикрикнула:

— Ты, товарищ денщик, не очень разговаривай; заберем и тебя без предписания. Подымай своего барина. Мандат у нас имеется. Без разговоров, граждане, документы свои предъявите.

Стольников тихо произнес:

— Дай им документы, Григорий.

— Вы что же, инвалид? — спросил черный.

Стольников не ответил, смотрел черному в глаза насмешливо.

— Спрашиваю, — надо отвечать! И в постеле нечего прокляжаться. Предписано доставить вас, а уж там разберут, чем больны. Это дело не наше.

Солдаты смотрели с любопытством. И лицо и голос лежащего офицера были особенными. И видели, что начальник наряда смущен, хоть и старается держать тон.

Отдавая документы, Григорий сказал тихо:

— Без рук, без ног они. Нечего вам с ними делать.

Начальник наряда промывчал:

— Дело не мое. Есть приказ доставить. И никаких не может быть рассуждений. Ходить-то может он?

— Ежели говорю, без рук, без ног.

— Мне все одно, хоть без головы. Приказ ясный, значит, не о чем говорить. Смотри, как бы и тебя не забрали.

— Меня нельзя, я за ним хожу.

— Нянька? Тоже — солдат называется.

— Уж какой есть, тебя не спрашивал.

— А ты, товарищ, не дерзи, управа найдется. Ладно, подымай своего барина.

— А ты, хам, на войне-то воевал? Или только с офицерами воюешь?

Черный вспыхнул:

— Забирай его, ребята, как есть, нечего смотреть.

Ни один солдат не двинулся.

Тогда черный, держа в руке наган, подошел к постели Стольников и закричал:

— Встать!

Встретил насмешливый взгляд. Стольников не шевельнулся.

Черный в бешенстве схватил край одеяла и сдернул с лежащего. В прорезь рубашки глянул лоснящийся рубец плеча; другой рукав был подвернут под спину, а вся рубашка — под бедра. Не дрогнув мускулом лица, Обрубок только впился в лицо черного.

Тогда сказал Григорий:

— Что ж это, братцы, делается! Разве так можно!

Один солдат стукнул прикладом и проворчал:

— Эй, брось его, пушай лежит. Какая в нем безопасность.

Другой поддержал:

— На кой он кому нужен. Видишь — инвалид полный.

Григорий подошел к постели, плечом отстранил черного и накрыл офицера одеялом. Обрубок лежал, закрыв глаза. Левая щека дергалась. Зубы стиснул.

Черный, не зная, что делать, закричал на Григория:

— А ну ты, товарищ, забирай свое барахло и собирайся. Айда, шевелись. Это у вас что тут за машина? Забирай, ребята, машину, велено для канцелярии. Протокол составим и айда. Вы, гражданин инвалид, до расследования останетесь дома, под арестом. Мое дело сторона, мандат имеется. А ты собирайся, денщик. Тебе там покажут, как офицера укрывать.

Григорий сказал решительно:

— Я не пойду. Тащи силой, коли на тебе креста нет. Воинны!

Черный поднял наган, навел на Григория:

— Это видал? Скажи слово!

Но руку его резко отвела другая рука. Молодой солдат, покраснев до белесых волос, угрюмо буркнул:

— Оставь! Говорю, не замай. Машинку, коли надо, забирай, а его оставь. Не туда попали. Один на войне изрублен, а другой за ним ходит. Чай, не звери мы. Айда, собираться будем.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер.

— Это дело не ваше, товарищи; я тут отвечаю один, а ваше дело исполнять.

— Ладно, очень тоже не начальствуй. Говорю — забирай машину, и будет.

И остальные заступились:

— Верно, здесь, товарищ, дело совсем особое. Также понимать нужно.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер в кобуру, повернул к двери:

— Ну, там, который-нибудь, прихвати машину.

— Ладно.

Четверо повернули головы к Стольникову и, смотря вбок, один за другим козырнули:

— Счастливо оставаться!

Молодой задержался, подошел к пишущей машинке, потрогал, опять покраснел:

— А ну ее к лешему, на кой она! Пушай остается.

И к Григорию:

— Ты, товарищ, ничего не беспокойся. Также и мы люди.

Затем к Обрубку — фронтом:

— Счастливо оставаться, ваше благородие!

И вышел, стуча сапогами.

КОНЦЕРТ

Дуняша в теплом платке поверх кофты и в валенках, Танюша в старых ботинках и серой меховой шапочке. Последние морозы. Город замерз. Только бы дотянуть до весны — там будет легче.

На дверях Совдепа много всяких объявлений, отстуканных на испорченных «ремингтонах». Лент нет, и печатают копировальной бумагой.

Печати огромные, а подписи рыжие, смешанными чернилами. Комендант принимает дважды в день. Что за должность — комендант? Подпись крупными каракулями: «Колчагин». И росчерк ржавым пером.

— Кого вам?

Пропустили. Однако пришлось обождать. На счастье, вышел сам, увидал, сказал: «Пожалуйте, я сейчас». И очень строго на кого-то прикрикнул:

— А вы зря ходите, гражданин, раз сказано бесповоротно!

Даже Дуняша присмирела. Танюша смотрела с любопытством: вот он, живший у них на кухне, а сейчас начальство. От него зависит судьба Эдуарда Львовича и, верно, еще многих людей.

В «кабинете» своем Колчагин стал иным. Со смущеньем поздоровался, видимо, волновался.

— Уж простите, что обождали. Верно, дело до меня? Вот, Татьяна Михайловна, где довелось встретиться. Конечно, — сейчас время такое. Порядки наводим новые. А вы присядьте, может, чайку выпьете. Ты, Дуня, тоже садись, давно тебя не видел. Сейчас прикажу чай.

— Нет, не нужно, мы ведь по делу, а вас другие ждут.

— Подождут, неважно. Там все больше по напрасным делам. Конечно, решать приходится.

Не знал, как держать себя Дуняшин брат; суетился, но и важности терять не хотел. А Танюша не знала, как называть его. Раньше звали Андреем. Выручила Дуняша.

— Андрюша, пошто у барина, у Эдуарда Львовича, у учителя-то барышни, рояль отняли?

Танюша объяснила. Андрей, хоть и сам подписывал бумагу, не помнил, о ком разговор.

— Нельзя ли ему обратно отдать? Он композитор и профессор консерватории. Ему нельзя без инструмента. Что же ему делать?

Андрей вспомнил:

— Который, косою, у вас играл?

— Ну да, он.

— А кто ж отнял?

Навел справку. Узнал: для рабочего клуба. Но рояль еще не отправлен, а клуб еще не открыт. Вызвал кого-то по телефону, главное, чтобы показать деловитость. Покричал в трубку, похмурился, вышел из комнаты.

— Сейчас узнаю и прикажу.

Видимо, рад был, что может сделать властно и быстро. С четверть часа где-то пропадал, хлопотал, вернулся.

— Можно будет восстановить. Конечно,— музыкант, дело совсем особое. По недоразумению у него отобрали.

Дуняша для крепости намекнула:

— Ты уж постарайся, Андрюша, для Татьяны Михайловны. Она тебе рубашки на фронт посылала.

— Так я что ж, обязательно. Сам с вами и на склад поеду. Это дело особое, по ошибке, за всем не усмотришь. Времена сейчас, конечно, другие, но мы против граждан ничего не имеем, различаем. Вы, Татьяна Михайловна, будьте покойны, и ежели у вас в доме какое недоразумение, придут там иди реквизиция,— обязательно ко мне, и будьте покойны.

Опять вышел — бумажку написал, печати. Приказ, одним словом.

— Пожалуйста, на склад поедем. Я уж сам для верности.

Вышли. Ждал у ворот автомобиль, шумный, облезлый, рвущийся. Колчагин был важен и суров, шоферу сказал отрывисто:

— Айда, товарищ, на склад, где наемни были.

На складе, в сарае бывшего торгового помещения, навалена была мебель, ковры, картины со сломанными рамками, письменные столы, пианино, зеркала,— все поцарапанное и поломанное в спешной перевозке. Роялей стояло два, и узнать знакомый — Эдуарда Львовича — нетрудно. Но Боже, в каком он виде: запятанный, грязный, с поцарапанной крышкой. Таня обрадовалась ему, как родному.

— Вот этот, Андрей, вот этот! Как же быть, как взять его?

Колчагин решил быть великодушным и властным до конца:

— Доставим, я прикажу.

— Наверное? А когда?

— Прикажу грузовик. Будьте покойны. Не сегодня, так завтра. Адресок оставьте.

Танюша погладила полированную поверхность рояля, приподняла крышку: не заперт. Не испорчен ли при перевозке? Присела на ящик, обеими руками прошла по клавишам.

Милый Эдуард Львович. Как он будет счастлив!

На звуки рояля заглянули в сарай два солдата и человек в штатском. Колчагин с кобурой у пояса стоял важно и самодовольно.

— Может, сыграете что?

Танюша удивленно оглянулась:

— Здесь?

— Так что же, и здесь. Мы бы послушали. Конечно, — какие мы слушатели.

Танюша была преисполнена счастьем. Сыграть им? Только бы вернули рояль, а она готова на все. Холодно рукам... Она опять оглянулась и увидела, что у дверей сарая собрались еще любопытные. Сыграть им. О, она сыграет.

Дуняша нашла, обтерла и поставила стул. Танюша погрела руки дыханием, радостно улыбнулась (как странно играть здесь!) и стала играть первое, что вспомнилось.

Клавиши были как белые и черные льдинки, и иголки мороза покалывали пальцы. Но звуки были теплы и отзывались на великую Танюшину радость: она играла для своего учителя, для одинокого, никому не интересного Эдуарда Львовича, для обиженного старого ребенка. В первый раз она могла отблагодарить его за счастье музыки, за годы строгого внимания к ней, к ее успехам, за все. Она готова играть, пока слушаются пальцы, пока требуют этого Дуняшин брат и эти люди у двери. Все равно — в холодном сарае или в блестящей огнями зале, знатокам или солдатам. Как это странно и как это прекрасно!

Играла напряженно, так как пальцы скользили по заиндевевшим клавишам. И чувствовала, как в старых ботинках стынут пальцы ног на педалях. И все-таки она играла.

Кончила и не знала, нужно ли играть еще. Пальцы страшно озябли и не отогревались дыханьем... Обернулась с виноватой улыбкой и увидела, как все, в молчаньи, смотрят на нее глазами добрыми, смешными, пораженными. У двери уже толпа, а первые, подвинувшись ближе, молчат, ждут. Кажется — нужно еще играть им? От озноба в пальцах — слезы проступают на глазах. Но если нужно...

— Очень спасибо вам, товарищ Татьяна Михайловна. Вот отлично играете! Конечно, — не место здесь.

Другие заметили:

— Покорнейше благодарим. Вот это уж музыка настоящая.

Дуняша помогла:

— Руки-то, чать, замерзли совсем. Вон тут какой мороз. У меня в валенках ноги ооченели.

Человек в кожаной куртке подошел:

— Обязательно просим, товарищ, в клубе нашем поиграть. Мы клуб открываем и инструмент поставим. Обязательно просим. Чем можем, отблагодарим, пайком там каким, все как полагается.

— Да, да, я сыграю,— растерянно отвечала Танюша.— Сколько хотите. Только бы этот рояль отвезли.

Колчагин опять авторитетно заявил:

— Как сказано. Либо нынче же, либо завтра, как грузовик будет. Приказ готов, дело за подводой. Раз сказано — не беспокойтесь.

Из склада вышли втроем. У ворот все попрощались с Танюшей, оная благодарили, и она думала: «Какие они хорошие! Я, кажется, плохо играла. Но какие они хорошие. Они удивительно слушали. И вообще все так хорошо! Только бы вернули, только бы вернули!».

К особнячку в Сивцевом Вражке, лихо громыхая, подкатил по снегу комендантский автомобиль. Вышли Танюша и Дуняша.

— Так ты уж, Андрюша, позаботься.

— Сказал, значит, будет. Счастливо оставаться, Татьяна Михайловна! В случае чего — вы уж прямо ко мне.

Вышедшему из ворот дворнику козырнул с приветливой важностью:

— Товарищу Николаю!

И шоферу:

— Обрато в совдеп поедем.

Дворник Николай посмотрел вслед машине, покачал головой, пробурчал про себя:

— Вот оно, новое начальство. Дунькин братан, дезинтир. Дела-а!

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

— Никого не было, Дуняша?

— Был товарищ один, вас спрашивал.

— Какой товарищ?

— Солдат. Пожилой уже. Велел сказать — Григорий, с Бронной улицы. И чтобы вы зашли к им.

Танюша очень давно не навещала Стольникову; она бы навестила, но чувствовала она, что ее посещения радости Обрубку не дадут, скорее напротив, как-то волнуют его. И она не забыла,— и он, конечно, помнит сцену с бронзовым шариком. Бедный, ему тяжело видеть ее, здоровую девушку, с которой он когда-то танцевал. После той странной сцены она была у Стольникова несколько раз, но всегда с кем-нибудь, чаще с Васей Болтановским, который удивительно умел быть простым, приветливым и даже веселым. С ним легче.

Теперь Танюша пошла одна. Не случилось ли чего-нибудь с больным, что ее вызывает Григорий?

Оказалось, что Стольников сам послал Григория к Танюше и просил ее прийти.

Он был сегодня прост, только как бы смущен.

— Очень по вас соскучился, решил побеспокоить. Я все один.

— Ну, конечно, Александр Игнатьевич. Я и сама зашла бы, но я не знала, хотите ли вы видеть...

У Стольникова засмеялись глаза:

— Ведь вас, Танюша, всегда хорошо, только сам я не всегда в хорошем состоянии, чтобы принимать гостей. А вот сегодня ничего, дышу.

Она все-таки не знала, о чем говорить.

— Книг вам нужно принести? Я захватила с собой, но не знаю, интересно ли вам это.

Он поблагодарил, потом сказал:

— Вы меня не занимайте разговором, Танюша. Мне просто посмотреть на вас хотелось. Вот вы какая растете, красивая, славная. Только вот время сейчас тяжелое.

Она рассказала про разные домашние заботы, про то, как у Эдуарда Львовича реквизировали рояль, как бедный едва не помешался, как она была с Дуняшей в Совдепе, где комендантом служит Дуняшин брат. Старалась не терять нити рассказа и все время видела глаза Стольников, сегодня такие простые и ласковые, не отрывавшиеся от ее лица. И Танюша даже увлеклась своими рассказами.

Иногда входил Григорий и тоже смотрел на нее ласково. Ее он давно одобрил: навещает инвалида, все же легче ему. Настоящая и хорошая барышня.

В паузе Стольников сказал:

— Я вам письмо писал, Танюша, длинное. Не послал, потому что теперь не надо. В письме рассказывал про себя больше. Кому-нибудь рассказать нужно, кому же? Вам легче, и поняли бы меня лучше.

Танюша молчала.

— Я там писал про свои ощущения. Мир для меня сейчас совсем особенный, не как для других. Как бы посторонний мир. Иной раз злобствую сильно, а иногда примиряюсь. Иначе бы жить уж совсем, совсем невозможно. Вот и писал вам. И о себе — это по слабости своей, конечно, — и о вас. Как бы благословляя вас на жизнь. Ведь это ничего, Танюша?

— Ну, господи, конечно же.

— Вот. Вы не смущайтесь, я вам скажу... я вас очень люблю, так, знаете, по-хорошему. Ведь и букашке, то есть, как бы это сказать, ведь и такому... ну... не совсем человеку, вот как мне, тоже хочется чувствовать, что-нибудь в сердце своем ласкать. Я ваше имя ласкаю, Танюша. Вы простите. Это я себе для прицепки к жизни придумал.

Оба помолчали, потом он опять продолжал:

— Да... По старым воспоминаниям. Я не очень воспоминаний чуждаюсь. Кусочками прошлого все же можно иногда жить...

Какой сегодня необыкновенный Стольников. И как он может говорить так просто. И как это странно.

— Вот. И знаете, Танюша... какое у вас имя славное... знаете,

может быть, мир-то человеческий, все эти события, и личные радости, и всякие горести,— все это слишком переоценено, а в сущности, все это сводится к немногому. Ну, ко сну, например. Сон — счастье, и всем равно доступен. Или к радостной минуте полного освобождения — к смерти.

— Не нужно, Александр Игнатьевич.

— Ах, нет, Танюша, я ведь не о печальном. Это так, философски. Не подумайте, что я хочу плакаться на судьбу мою... поистине горемычную. Я совсем о другом сейчас. Только объяснить это нелегко.

Он долго искал слов. Потом вдруг вскинул на Танюшу большие свои глаза и со смущением мальчика, деланно и шутливым тоном сказал:

— Да-с... И решил я вас попросить о неприятной помощи мне в моих думках; даже правильнее, о помощи моей жизни, поскольку, конечно, я живу. Сделаете?

— Скажите, я все сделаю, только я не знаю...

— Танюша, вот что... вообще-то это не сложно, только немножко оригинально... Ну, я путаюсь от смущения... Вот что. Вы сейчас пойдете домой, вам, верно, и пора. А только вы меня, как уходить будете, по-це-луй-те.

И, задрожав, прибавил:

— Вот она, жертва ваша. За все мое, что я пережил.

У Танюши похолодело сердце. На минуту почувствовала непереносимый страх, хуже, чем тогда, с бронзовым шариком. Обрубок сидел, закрыв глаза и запрокинув голову.

Она встала, подошла и со смешанным чувством ужаса и бесконечной жалости обняла рукой голову Стольниковца, наклонилась и приблизила к его губам свои. Он открыл глаза, в такой близости ставшие огромными. Тогда она, дрожа от волнения, холодными губами поцеловала сухие, горячие губы Обрубка, затаившего дыхание, не ответившего ей ни единым движением. Он замер, и лицо его было нездешним.

Танюша отступила на шаг, потом отошла к двери, сказала едва слышно:

— Прощайте.

Он не шелохнулся, не открыл глаз, не ответил. Танюша вышла.

Это был первый поцелуй Танюши, первый ее поцелуй был дан мужчине, которого нельзя было назвать ни мужчиной, ни человеком.

«ИРА»

Григорий с утра ушел стать в очередь за крупой. Обрубок сидел в своем передвижном кресле у стола. Посередине стола, как всегда, лежал бронзовый шарик. В открытое окно доносился стук колес и визгливый голос женщины:

— Я с ночи стояла, а как подошла,— закрыли. Все, говорят, вышло, раньше завтра не будет.

Другой голос отвечал:

— Что же это делается, Господи.

Комната Стольниковы была во втором этаже. Когда Григорий вывозил Обрубка на прогулку, он сначала спускал по лестнице кресло, затем, как ребенка, сносил Обрубка на руках.

Была весна. Беззаботны были — и то на вид — только воробьи и ласточки.

Бронзовый шарик лежал неподвижно. Неподвижны были и глаза Обрубка, на него устремленные, — стальные серые глаза.

Бронзовый шарик мал и ничтожен. Но вокруг него образовались круги, и первый круг захватил бытие Обрубка, печальное и нечеловеческое бытие. И дальше шли круги, все шире. В одном вмещалась Москва, в другом Россия, в третьем земля, а дальше — бесконечность. В пределах вечности ничтожно было бытие Обрубка, незаметное, несуществующее, как математическая точка; но оно было центром, блестящим, слепящим глаз; от него исходили лучи и освещали весь мир страшным смыслом и значением.

Обрубок порвал нить взора и закинул голову. Вместо неба — грязный потолок с желтым подтеком над окном. Беззвездно и пусто в душе, — нельзя питать ее обманом. Нет руки, чтобы смахнуть замутившую глаза влагу. Во имя чего он должен был испытать это? Какой мечтой жить остатку человека? Откуда взять силы? Зачем?

Стиснув зубы, он мычал:

— Убей меня, Григорий! Раб, убей господина!

Григорий стоял в очереди за горстью крупы и шестью кусками сахара.

Обрубок остатком ноги навалился на плоский рычаг, им избретенный, и кресло слегка откатилось назад. Вот и все, что ему доступно. Бронзовый шарик отдалился и потускнел. Круг сузился до пределов личной, никому не нужной жизни Обрубка. На улице женщина крикнула:

— Наделали дел. Как теперича без хлеба?

Отвечал грубый голос:

— Ладно, не сдохнешь. А и сдохнешь — не потеря.

Обрубок снова навалился на рычаг и подкатил кресло к окну. Грудь его была на уровне подоконника. В доме напротив были открыты окна; на одном грудой были навалены подушки и одеяла, в пятнах, давно не стиранные.

Он видел только полоску неба, заслоненного этажами дома. По небу плыло облако, а глубина была синей и прекрасной. Была весна, кому-то нужная, к кому-то ласковая. Острым клинышком прорезала небо ласточка и юркнула в гнездо.

Тогда культияпкой руки он уперся в подоконник, напряг мускулы и отделился от кресла. Был как ребенок, которому хочется вскарабкаться на стул. Там, за окном, больше простора. Уперся подбородком в холодную доску, сильной шеей поднял неповоротливое тело и замер так. Если кресло откатится — он упадет на пол. Но кресло стояло боком, прочно.

Так, помогая себе движением челюсти, добрался до планки,

сдерживавшей раму, и впился зубами. Положить грудь на подоконник, — вот все, что нужно было Обрубку. Ребро подоконника больно давило грудь, но он выдержал и последним напряжением перевалил на доску все тело. От движения его кресло откатилось и упал плед, которым Григорий подвертывал остатки ног Обрубка.

Теперь он лежал на подоконнике, едва прикрытый длинной рубашкой, измученный крайними усилиями, ослабевший. Лежал ничком, повернув голову к улице. Стало видно больше неба.

А что там, на земле?

Упираясь подбородком, он подполз к краю окна и перевесил голову вниз. Внизу была неметеная каменная панель, и под самым окном лежала коробка от папирос «Ира». Эти самые папиросы курил и Обрубок; может быть, это его коробка.

Подоконник холодил тело. По улице прошел прохожий, взглянув вверх, увидел смотрящую голову и прошел мимо. Теперь улица была пуста.

Обрубок подполз ближе к краю, еще раз пристально посмотрел на коробку «Ира», затем поднял голову и увидел, что облако заходит за крышу. Небо совсем чистое. Где-нибудь в поле, в деревне, теперь дышится легко, привольно. Но только тем, кому есть чем и есть для чего жить, тем, кому стоит бороться за будущее, цепляться за свое бытие. Злобы к ним нет. Злобы нет ни к кому. И любви нет ни к кому. И вообще нет ничего. Вверху — бездонное небо, внизу — пустая коробочка на грязных плитах тротуара.

В окне напротив, где лежали подушки, показалась фигура женщины. Увидав Обрубка, она ахнула и крикнула внутрь комнаты:

— Настасья, Настасья..

Обрубок сделал резкое движение, освободил грудь, выгнул шею кверху и бросил голову вниз. Тело наклонилось, замерло и медленно опустилось обратно на подоконник. Тогда он, с детским стоном досады, снова сильно повторил движение. Уродливый комок его тела качнулся снова, замер лишь на секунду и стал перевешиваться. Затем коробка с надписью «Ира» внезапно приблизилась, метнулась вверх и снова выросла — уже огромной...

«ОСТОРОЖНО»

Григорий, степенный и серьезный, в штопаной солдатской одежде, в серых обмотках на ногах, медленно шел по Большой Никитской улице, заглядывая в грязные стекла пустых, забитых досками магазинов. Где-то, проходя, видел, помнится, нужное. Словно бы от церкви наискосок.

И правда, стоял в окне массивный, богатый, на ножках, с украшениями, только совсем запыленный гроб. Найдется, может быть, и попроще. На двери висячий замок и дощечка с сургучной печатью. Григорий вошел во двор справиться.

Женщина, которую спросил, встретив в воротах, сначала не поняла, а потом испуганно ответила:

— Не знаю я, батюшка товарищ. Ничего не ведаю. Заколочен гробовщик. Сам-то он не жил тут. Ты бы в домовом справился, если надобно.

В домовом комитете тоже сказали, что магазин реквизирован, а бывший хозяин выехал и адреса не оставил. Может, и убежал.

Григорий нахмурился.

— Как же теперь, если надо хоронить?

— В Совдеп нужно идти либо в участок ихний. Гроба сейчас по распределению. Народу мрет столько, что не хватает. В очередь становись. А то к знакомому плотнику, если имеется. Только сейчас подходящих досок не найти. Сейчас мертвым не лучше живых. Жена, что ли, у вас померла?

Григорий не ответил и ушел.

В Совдеп, однако, не пошел, узнав от соседа, что гробы дают только на время — свезти на кладбище. А там нужно опростать и назад везти. Да и не всякому дадут, ждать приходится. А уж лучше самому смастерить, какой выйдет. Сейчас больше без гробов хоронят.

Сделал в пути крюк: зашел на Арбатскую площадь, где в церковной лавочке — говорили — есть свечи. С опаской, а все же дали. Расплачивался из большого кожаного своего кошелька, отвернувшись, потому что в кошельке, под нынешними, настоящими деньгами, лежала зашитая в тряпочку золотая десятистка, а с ней рублей на пять серебра.

Придя домой, поставил около покойника свечи, зажег, перекрестился и опять вышел по делам. Заприметил поблизости лавочку, где вечером — видать — бывает свет. Зашел узнать, нет ли порожних ящиков. Сначала сказали: «Все пожгли, вместо дров», а после согласились променять за пять фунтов муки большой, совсем прочный, железными скобками окованный порожний ящик из-под посуды, на котором большими печатными буквами ясно обозначены были слова: «ВЕРХ — ОСТОРОЖНО».

Остаток дня Григорий провозился в сарайчике при доме. Пилил, строгал, набивал ножки. Стал ящик пониже, но днище осталось квадратным. Надпись «верх» исчезла; осталось только слово «осторожно».

Как ни болело сердце Григория, что нет гроба настоящего, какой полагается христианину, однако перенес ящик в комнату, поставил на стол, устлал внутри одеялом и белой простыней, положил и подушку для бедной разбитой головы.

Со всем управился один. Ничем не мог пособить слепой Каштанов, сидевший в углу на стуле и внимательно слушающий движения Григория. Из соседей не заглянул никто. Про несчастье знали — но было и своих несчастий выше горла. Заходил милиционер, записал, сказал: «Пришлют доктора засвидетельствовать смерть». Но до вечера никого не прислали.

Так же неудачно вышло и со священником. Старик из

церкви Иоанна Богослова отказался отпевать самоубийцу. Дали совет: отпеть на самом кладбище. Наутро побывал и на Дорогомилове, где долго рядился. За место даже и не брали, а за рытье могилы просили невесть сколько. Пришлось к кредиткам посулить серебряную добавку, так как последняя мука пошла за гроб.

Ни о drogaх, ни о простой подводе нечего было и думать. В те дни бедного человека хоронили домашними средствами: зимой на салазках, летом на ручных тележках; если есть кому — несли на руках.

У Обрубка не было друзей, кроме слепого Каштанова. Его семьей, нянькой и единственным другом был Григорий. Он один и должен был проводить покойного в последнее жилище.

Тележку дал дворник, наказав к шести часам непременно доставить обратно. В тележке возили пайковый хлеб для рздачи жильцам.

Каштанов не мог видеть, как клал Григорий белый офицерский боевой крестик поверх простыни на грудь офицера. Но как стучал молотком по гвоздям, слышал и, встав, крестился, пока последний гвоздь не был забит. Подошел, пощупал ящик, дернул щекой и заковылял к двери. Не провожать ему несчастного друга. Из слепых глаз слеза не шла.

В три часа, обвязав простыней, свернутой в жгут, Григорий без труда снес на двор квадратный ящик, в котором никто бы не признал гроб, хоть и были прибиты ножки, погрузил на тележку и двинулся на Дорогомилово.

Встречные не крестились. На страшном ящике лежала шапка Григория, а сбоку ясными буквами чернела по белому надпись: «ОСТОРОЖНО».

AXIOS¹

В списке скорбей прибавилась еще одна смерть — самая нужная и справедливая: смерть-освободительница.

Забившись в угол дивана, ставши совсем маленькой, Танюша смотрела в себя. На полках души ее стояли томики в черных переплетах — начатый жизненный архив.

Вот тоненькая книжка в холодном переплете, и на корешке имя: «Эрберг». О нем она знала мало и думала редко. Начата была жизнь умная, вперед надолго рассчитанная, жизнь цифр, геометрических фигур и благоразумных изречений. И вдруг — ошибка в расчете. Первым из близких знакомых ушел Эрберг, такой молодой, но уже в ранней молодости казавшийся взрослым. Такое строгое, логическое предисловие — и первые же главы оборваны.

Старенький, пухлый, много раз с любовью перелистанный, душистый лавандой томик со святым именем бабушки; оно написано на первой странице старинным и очень знакомым по-

¹ Axios — древнегреческое слово (áxios — достойный, стоящий, заслуженный), данное в латинской транскрипции.

черком. Милая усталая бабушка уснула любимой, исчерпав жизнь любви, заботы и мирного благословения. Догорела венечальная свеча, перевитая пожелтевшей муаровой лентой.

Книги смерти. И вот теперь смерть новая, — черная, никем не прочтенная книга. Кто решится перелистать страницы мучительных мыслей, страстных исканий, самообмана, заглушенных влещек зависти к живому, большой борьбы разума и веры в чудо, животной жажды ухода из жизни... Страшная книга! Ее написал великий страдалец, безжизненным губам которого в ужасе и жалости Танюша дала первый свой поцелуй.

И с тем же внезапно ожившим чувством сжалась Танюша в уголке дивана. Как это было страшно! Как страшна жизнь.

Как легка была весна. В 17 лет — какое было солнце. Какими правильными рядами вставали и решались вопросы, как всеильна была наука, как гармонична музыка. Куда это исчезло, что случилось?

Почему случилось, что смерть и смерти предшествуют жизни. В начале дороги — кресты, раньше гимна радости — похоронное пенье. И что дальше?

Спросить дедушку? Но дедушка, сам старенький, — что ответит? Нельзя пугать его такими вопросами. Вася? Вася такой преданный и заботливый, хороший друг. Он, может быть, найдёт слово, — но не то. Он забеспокоится и постарается развлечь, отвлечь, а ведь это совсем не нужно. Расскажет что-нибудь смешное, а если не удастся, — растреплет свои вихры на висках, сядет в угол и будет ломать спичечную коробочку. Нет, Вася не может; он и сам не знает. Почему он не зашел сегодня, Вася? Все-таки с ним хорошо и покойно.

Перебирая в памяти немногих знакомых, в эти дни оставшихся близкими, подумала об Астафьеве. Если бы он захотел ответить, — но как спросить? Разве об этом спрашивают. И о чем же, собственно? Но об Астафьеве думала Танюша увереннее. Из всех, бывших теперь в-особнячке, он был самым незнакомым и особенным. Хорошо бы видеть его чаще. И еще узнать что-нибудь об его жизни, какой он. Нужно спросить Васю, который выдает его часто.

Были сумерки весеннего дня, окно было открыто. Танюша встала, выглянула на улицу. Тихо, прохожих почти нет. Села к роялю, подняла крышку, положила пальцы на клавиши. Но голова, русая и уставшая думать, упала на руки.

Так сидела долго, не шевелясь.

Когда встала, на глазах просыхали слезы, — ни от чего, так, случайные, девичьи. Может быть, от них прошла усталость — они были нужны.

Потянувшись, поправила брошенный на плечи платок и вдруг почувствовала совсем новую легкость в теле.

Было в комнате свежо, на дворе вечерело. В чем же дело? Разве смерти заполнили все? Тогда почему бы это ощущение легкости и это желание что-нибудь делать, и много знать, и встречать людей, и искать среди них того, кто больше знает и лучше ответит?

До изумительности чувствовала Танюша, как легко дышать и как ощущение жизни просто побеждает и мысль о смертях и самую смерть. Куда-нибудь идти, что-нибудь делать — скорее. Видеть кого-нибудь. И хоть иногда, хоть иногда смеяться, не думая о печальном и не сопоставляя черное и белое — которое победит. Черные томики на полке — а ведь белые листы бумаги еще не початы. И вот надо бы скорее начать.

И подумала: «Мне уже двадцать лет!»

И еще: «Есть ли в мире где-нибудь полная радость? И где она? Где ее искать? И что же такое, наконец, счастье? Где к нему ключ? И где двери в мир большой, обширный, не сжатый стенами старого дома?»

Закинула руки за голову, выпрямилась и громко сказала вслух:

— Я хо-чу жить! Я хо-чу жить!

Не видала, как в темном блеске большого зеркала отразилась высокая прямая девичья фигура с закинутыми руками, не слыхала, как отвечали ей смешным гулом струны рояля, как насторожился вечер, внимая великой нежности и простоте ее слов, и замерли в смущении стены особняка, видевшие Танюшу ребенком, слышавшие ее первый лепет, безмолвные свидетели ее роста, усердные хранители ее душевных тайн.

Стены шепнули, струны донесли весеннему воздуху, — и вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил:

Axios — Достояна!

УХОД

Походкой ровной, шаг за шагом, вытягивая сапог из дорожной грязи, с котомкой за плечами, а с котомки свис жестяной чайник, — с цельной думой на душе шел в Киев старый солдат Григорий.

Потому в Киев, что не осталось у него теперь на свете никого и ничего, — ни друга, ни сына, ни дома, ни клочка земли, — осталась только прочная вера в сурового Бога, ушедшего из Москвы в мать городов русских, а может, и дале.

Говорили — не дойти. Но кому хранить и терять нечего, тот — свободный землепроход. Хаживали по Руси во все концы странники, убогие, за истиной и милостыней, меньшая нищая братья, калики перехожие, — никто не миновал Киева. Крепок Григорий и телом, и верою, не слеп, не убог, не лишен ума, — дойдет солдат.

Стало вязко. Снял сапоги, за ушки связал ремешком, перекинул, босыми ногами месит грязь дальше — дойдет. От деревни к деревне.

Деревня притаилась, ждет, смекает. Пожалуй, и зря потопились свалить столько лесу. Новые срубы стоят напрасно, без надобности, дрова гниют. Кубышки полны никчемных бу-

мажек — что на них купишь? Из городов приходят за хлебом, волокут веселый ситец, а кто и шелк, да кофты с кружевом, всякую рухлядь, нужную и ненужную — в обмен на горстку зерна. Но прячется зерно поглубже, подале, побаивается: не обездолжить бы самого мужика, не обречь бы его на голод со всем собранным добром. Бабы обновкам рады, стали носить чулки тонкие, со стрелкой и кофты без ворота. Но должен добрый хозяин подумать о будущем.

Деревня ждет, жметесь, хитрит, боится. Городской пришлый человек темен, нечист на руку, завистлив. Как бы не навел на след солдатскую силу.

Шел Григорий большими дорогами, не тратя лишних сил. Где знал — шел и попрямее. Не торговал, не покупал, не просил. Но вид его был степенен, отросла борода, глаза были честны и строги. В избы входил крестясь, а такому давали от сиротства или от достатка и приют, и ломоть хлеба; и денег по старому обычаю не брали. Не словоохотлив, однако на вопросы отвечал кратко, без пустых слов, осуждающе и мудро.

Одной с ним дорогой шли, ехали, пробираясь походкой нырливой, скрючившись, в страхе, блудно, неуверенно еще многие, бежавшие от Москвы к югу, от нового к чаемой старинке, к надеждам, — выходцы России, канувшей в вечность. Дороги совпали — но шел Григорий один. Не страх гнал его, старого солдата, а сиротство и монашество суровой его мысли.

На выносливых плечах уносил Григорий свою старую веру, свою человеческую правду — из земли разврата к киевским угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого и крепкого в вере человека. Не беглец, не родине изменник, не трус, а отрясший прах лжи и осмелевшего бесчестья.

На границах встречал суматоху и пожары, — а границ было без числа: сегодня здесь, а завтра верст за сто; то за спиной, то впереди. Как гроза — приходит и уходит, валит скот и дома. Разобраться невозможно. Рваные герои, сегодня белые, завтра красные, могила на могиле, — за что бьют друг друга? Понять невозможно.

С пулеметным треском катилась волна ненависти, смерти, а то и просто озорства и охальства, и все за свободу, и все за свободу, а в чем свобода? Боятся, страшат — и в ужасе вцепляются друг в друга. Посадить их за один стол, за один горшок щей, — все будут одинаковы, и в мыслях, и в желаниях, и с лица. Почему одни тут, а другие там? Как сами себя отличают? Отличают ли? Почему Иван против Ивана? И на могилах их вырастет одна трава. И солнце светит им одно, и дождик один-единственный всех мочит. Непонятно. А непонятное — смута и грех.

Над глазами Григория нависли густые брови с проседью, котомка за плечами прочна, но не богата. Никто Григория в дороге не трогает.

Случалось, что шел Григорий и проселками. Шел мимо па-

шен и озимых всходов, и пока шел — стала рожь подниматься и завязывать колос. Поля раскинулись от неба и до неба, от ясной дали до дали туманной, — и все это была Русь, крещенная в труде и в напрасной издевке над трудом человеческим, взласканная бороной и затоптанная сапогом невольного воина, взысканная и отринутая.

Как подсохло, Григорий добыл себе лапти, чтобы и сапог не топтать понапрасну и не трудить ног. Легкий лапоть взбивал дорожную пыль, а от высокого посоха оставался на пыли кружочек, но ненадолго: первым ветром сдувало. Прошел человек — и следа не осталось, как нет следов от раньше его прошедших той же дорогой.

Шел обычно от зари до полдня, а полудничал, сойдя с дороги, под тенистым деревом на траве. Тут же и полуденничал, слушая, как разливается жаворонок, воткнувшись в небесную твердь голосистым гвоздочком. А под ухом Григория, щекоча кулак, ворчала на мурашиков молодая прохладная трава.

Так, неспешно, упрямо, шаг за шагом подале уводил Григорий к местам святого упокоения старую Русь. Не с гиком и проклятьями, как уводили ее другие, не в кладях и чемоданах, не под охраной штыков, которым судьба не сулила вернуться, — но старым путем богомоллов и странников, носителей простой житейской правды, искателей истины вековечной.

Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, нашел ли что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скиты, или уплыл морем в Бари и Иерусалим, унес ли свою правду или бросил ее в пути, вместе с тощей и изветшавшей котомкой, — про то сказать никто не знает.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

ВЕСНА

Пришла весна, долгожданная, медлительная, неповоротливая. По Москве разлилась грязными потоками, зловоньем неубранных дворов, заразными болезнями. Даже профессорский особнячок, с крыши которого снег не был вовремя убран, немного пострадал. В других домах протекли потолки, просочилась в стены вода и грязь лопнувших зимой труб, в затопленных подвалах таяли последние желтые льдинки.

Зато теперь можно было убрать печурки, снять намокшие валенки, даже открыть парадные двери, забитые на зиму от холода и страха.

Весенней уборкой города занялась сама природа. Но и люди

пытались помочь ей, — там, где видели ясно, что жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа.

На дворе большого дома на Долгоруковской, где почти все квартиры заселены были рабочими семьями, по приказу домкома производилась уборка и чистка. Лопат было вдоволь, тачек маловато и лишь одна подвода — но без лошади. Вывозили снег и мусор на улицу и норовили сплавить куда-нибудь с бегущей по канаве водой. Распоряжался самолично преддомком Денисов, бывший приказчик забитой теперь бакалейной лавки в том же доме.

Работали вяло, по обязанности и под угрозой взыскания, а то и ареста. Больше работали женщины. Из мужчин сильнее и половчее был жилец Астафьев, единственный оставшийся в доме интеллигент и буржуй. К нему и подошел преддомком Денисов.

— Привыкаете, товарищ Астафьев? Работа тяжелая, неприятная.

— Привыкать не собираюсь, а раз нужно — делаю. Лучше было зимой сколоть со льдом и свезти.

— Зимой не управились. Конечно, вам, ученому человеку, работа не по вкусу. Однако приходится, товарищ Астафьев. Раньше мы на вас трудились, теперь и до вас дошло. Время такое.

Астафьев усмехнулся.

— Работаю не хуже других. Ничего страшного нет. Вот только не помню, когда это вы, Денисов, на меня работали? Вы ведь больше за прилавком стояли.

— Дело не в прошлом занятии, а кто как революцию принял.

Астафьев поднял большую лопату, вывалил в тачку, сильно прихлопнул и сказал:

— Каждый принял, как ему выгодно. Вы — по-своему, я по-моему. Тут считаться не приходится.

Денисов отошел, а Астафьев подумал: «Вероятно, попытается все же меня выселить. И выселит, конечно. Куда-нибудь денусь, не беда».

Вывез полную тачку на улицу, свалил у края канавы, — да только и без того канава загружена, не берет вода. Не берет — не надо. И, шлепая сапогами по разлившейся жиже, повез пустую тачку обратно. На пути встретил жилицу с тачкой, по-видимому слабую и болезненную женщину. Хотел помочь, да раздумал: «Все равно, пускай тащит!»

Вынул трубку. Курил Астафьев махорку — иного табаку не было. Впрочем, находил, что махорка — табак здоровый и вкусный, если привыкнуть. А привык с тою же легкостью, как за границей привыкал к гаванской сигаре.

По разверстке работы Астафьеву был отведен немалый квадрат двора. Справился быстро, придраться преддомкому не к чему. Окончив, свез тачку под навес, там же поставил лопату и ушел к себе, обтерев ноги валявшейся на лестнице газетой.

Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались

за ним две комнаты, а в третьей жил одинокий рабочий, человек робкий и забитый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комнату Астафьева, где у него оставалась библиотека, но пока комнату он сумел отстоять охранительной бумажкой, по своему преподавательскому званию. Зимой она была холодна и необитаема, летом он рассчитывал в ней работать и принимать, если только будет кого принимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил новую трубку и взял книгу.

Вместе с запахом навоза и нечистот проникал в окно и весенний воздух. И чтение не ладилось. Не лучше ли заняться делом. А дела немало: подшить обшарпанные брюки, постирать платки глиняным мылом, zapравить светильник, сделанный из бутылочки, — на случай, что опять прекратят электричество. День сегодня — суббота. Завтра можно пойти на Сивцев Вражек к орнитологу. Что она за девушка, его внучка? Не как все, не легко понятная. Но славная, кажется.

В дверь постучал жилец. Астафьев без интереса подумал: «Кто бы мог быть?» Вошел человек скромный, хотя крепкий и мускулистый, одетый в совсем изношенный пиджачишко и в рыжие сапоги со стоптанными каблуками. Не виднелось и рубашки под жилетом.

— К вам, Алексей Дмитрич, извините за беспокойство. Не знаю, как уж и просить вас.

— Попросту просите.

— Конечно, попросту, только нынче все самим нужно. Вот, думаю, может, найдется какая книжка старая, полегче, я бы почитал.

— Книг у меня много, берите любую. Только не знаю, какая вам подойдет. Вы насчет чего хотите?

— Не знаю, как сказать, насчет устройства жизни что-нибудь. Разбираюсь-то я плохо.

— А вы что ж, Завалишин, не работаете нынче?

— Нынче празднуем. Материалу нет на фабрике, остановка. Жалованье-то платят, ничего.

— Книжку можно, только что же вам даст книжка. Думаете — жить научит? Или объяснит? Вы присядьте, Завалишин, поговорим. Ничего, говорю, вам книжка не поможет. А что, разве уж вам так туго пришлось?

— Туго не туго, а конечно, что хочется понимать.

— Чего же вы не понимаете?

Завалишин смутился, помялся, слов искал:

— Смотрю все, и как бы сказать, будто все ненастоящее.

Корявым языком все-таки объяснил. Раньше смотрел так, что все равно — живи и жди, само устроится. А нынче все говорят: вот надо по-новому самим. А что новое? Новое-то плохо. Крику много, а толку не видно. И, однако, ведь не зря же!

— Скоро вы захотели, Завалишин. Подождать нужно.

— Подождать можно, ждали и раньше. Знать бы только, чего ждать.

Астафьев подумал: «Вот она, ихняя, рабочая слякоть,— под стать нашей интеллигенции. Приказчик Денисов хоть и мерзавец, а куда же лучше, строитель все-таки...» И сказал:

— Понимаю вас, Завалишин. Это вам потому плохо, что прочности не чувствуете. Раньше жизнь тоже дрянь была, а прочна была. Нынче все полетело к черту, новое за горами, а тянуть прежнюю канитель надоело. Силы в вас нет настоящей, Завалишин.

— Силы, конечно, мало. Верно это, Алексей Дмитрич, что заскучал. Главное — понять надо.

— А черта ли вам скучать. Человек одинокий, здоровенный, деньги вам пока что платят. Наплевайте. Вы пьете?

— Могу и выпить, когда есть. По-настоящему, однако, не пью, чтобы пьянствовать там.

— Пить надо больше, Завалишин. Вот подождите, может, я раздобуду, тогда выпьем вдвоем. С трезвой головой не додумаетесь.

— Смеетесь надо мной, Алексей Дмитрич!

— Ничего не смеюсь. Я вам прямо говорю: вы человек не подходящий для жизни. Какой вы строитель жизни? Веры у вас настоящей нет, нахальства тоже нет, воровать не умеете,— ну, заклюют вас и выкинут. А тут еще в голове всякие мысли. Лучше уж пьянствовать. Пьяный человек мудр.

— Пьянствовать — последнее дело. Это уж какая же помощь, Алексей Дмитрич. А я к вам за помощью, как к ученому человеку.

— Вам бы в деревню, Завалишин. Деревни нет у вас?

— Нет, я городской. В деревню где же.

— Плохо. Слушайте, Завалишин, не знаю, какой вы человек, обидчивый или нет. А впрочем — ваше дело, мне все равно. Хотите по совести скажу вам? Вот я — ученый человек. Книг перечитал столько, что вам и одних заглавий не прочесть и не понять. Толку от них никакого, т. е. для жизни, для понимания; все равно и без них было бы. Тоже и мне, как и вам, скучно бывает. И тоже я не строитель, не гожусь, хотя, может быть, и посильнее вас. Тут все просто. Хотите себе дорогу пробить? Тогда будьте сволочью и не разводите нюни. Время сейчас подлое, честью ничего не добьешься. А не хотите, — тогда, говорю вам, лучше убивайте мысли вином. Хлещите денатурат, чтобы скорее сдохнуть, отлично действует. Какой вы воин. Никто вас не боится, никто вас, значит, не уважает. Робкий вы человек, а таким сейчас крышка. Вас какой-нибудь Денисов, наш преддомком, жулик и хам, одним ногтем придавит, даром, что вы на вид его сильнее. Вот он не пропадет. А впрочем — дело ваше.

Помолчали. Потом Завалишин поднялся.

— Ну что ж, Алексей Дмитрич, и на том покорнейше благодарю. Конечно, вам со мной разговаривать не интересно, я человек простой.

— Э, Завалишин, бросьте эти штучки. Я сам простой, может быть, вас попроще. Вот заходите сегодня вечером, выпьем, по крайней мере.

Повернулся к нему с доброй улыбкой:

— Правда, вы на меня не обижайтесь. Потому так говорю, что самому не очень сладко.

— Понимаю, Алексей Дмитрич. Я ничего, что ж.

Когда жилец вышел, Астафьев подумал: «Может быть, зря я его так. Главное — может быть, ошибся. Робкий-робкий и слякотный, без сомнения, — а огонек у него в глазах блеснул злой. Обидел я его. Это хорошо, если он еще способен злиться. Тогда может выжить. Любопытно!»

Усмехнулся: «За помощью пришел, за книжками. Чтобы потом я да книжки стали виноватыми в его горестях и было бы кого и за что ненавидеть».

Вечером Астафьев бодро шагал домой по Долгоруковской, неся под пальто бутылку спирта и дрянную закуску. Зайдет ли? Завалишин зашел. И постучался на это раз увереннее.

— Занимаетесь, Алексей Дмитрич?

— Сейчас вот вместе займемся.

К ночи Завалишин был пьян, Астафьев возбужден и полон любопытства. Рассматривал своего клиента как в микроскоп. И изумлялся: «Эге, а он не так прост!» Может выйти толк из него — может большой подлец выйти. Кулаки у него хорошие, а это — главное».

Вода по пустым тарелкам осовелыми глазками, рабочий бормотал заплетающимся языком:

— Скажем так: пьян я. И однако могу понимать, что к чему. За науку спасибо, а пропадать не желаем. Не желаем пропадать. И могут быть у нас свои... которые... разные планы. За угощение покорнейше благодарим, и что не побрезговали... ученый человек...

Астафьев нахмурился:

— Ну ладно, баста, ступай спать... пьяная рожа.

Завалишин оторопел и скосил глаз:

— Чего-с?

— Ступай спать, говорю. Надоел. Коли проспнешься и станешь подлецом — твое счастье. А слякотью останешься — приходи пить дальше.

Взял его за ворот и сильной рукой толкнул к двери.

КНИГИ

Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматриваясь в иллюстрации. Прежде, чем вложить ее в портфель, уже туго набитый, он осмотрел корешок книги, подслюнил и пальцем приладил отставший краешек цветной бумаги переплета.

Книга хорошая и в порядке.

Но вдруг вспомнил, заспешил, снова вынул книгу и, присев

к столу, осторожно подскоблил ножичком свое имя в авторской надписи:

«Глубокоуважаемому учителю... от автора».

Надел висевшее тут же, в комнате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобнее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотнению. Дуняша жила наверху в комнатке, рядом с бывшей Танюшиной; в Танюшиной же комнате поселился Андрей Колчагин. — только дома бывал редко, больше ночевал в Совдепе, где в кабинете своем имел и диван для спанья.

Дуняша иногда помогала Тане в хозяйстве, так, по дружбе; прислужой она больше не была — была жилицей.

Профессор был еще достаточно бодр. Идя в Леонтьевский переулок, присаживался на лавочку на бульварах не больше трех раз и то из-за тяжелого портфеля, который оттягивал руки. Отдыхал не подолгу и, отдыхая, обдумывал, в который раз он идет в писательскую лавочку в Леонтьевском и на сколько раз еще хватит ему книжного запаса.

Как-то однажды случилось, что в доме совсем не оказалось денег. Хлеб, пайковый, страшный, выдавали, но Дуняша, в то время еще считавшая себя прислужой и жившая при кухне, объявила, что ни картошки, ни крупы, ни иных каких запасов у нее больше нет и готовить ей нечего.

Танюша думала, что есть деньги у дедушки, и очень смутилась, узнав, что у дедушки нет. Тогда совсем немножко заняла у Васи Болтановского.

Вечером Танюша долго обсуждала с Васей какие-то хозяйственные вопросы, с утра она исчезла, а вернувшись к обеду, возбужденно и не без смущения рассказала, что ей предложили выступать на концертах в рабочих районных клубах.

— Это очень интересно, дедушка; и мне будут давать за это продукты.

В тот день забегал Поплавский и рассказывал, какие изумительные старинные книги довелось ему видеть в Книжной лавке писателей, в Леонтьевском переулке. Сейчас появились на рынке такие книги, которых раньше невозможно было найти в продаже.

— Я нашел полного Лавуазье в подлиннике; для Москвы — это исключительная редкость. И видел любопытную книжицу, пожалуй, первую, изданную в России по математике, еще церковными буквами, 1682 года. И название любопытное: «Считание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, удобно изыскать может число всякия вещи». Есть у них еще таблицы логарифмов петровского времени.

— Что ж, купили что-нибудь?

— Я? Нет, профессор, наоборот. Я продавал свои. Там можно продать хорошо, а то на комиссию.

На нижних, закрытых полках большого библиотечного шкапа лежали у профессора запасы «авторских экземпляров» его уче-

ных трудов. Идя утром на прогулку, он захватил по экземпляру. В Леонтьевском, в писательской лавочке, его встретили приветливо и почтительно; оказались за прилавком и знакомые, молодые университетские преподаватели. Книги взяли, расплатились, сказали, что такой товар им очень нужен: сейчас он требуется для новых публичных библиотек в провинции и для новых университетских. Просили еще принести. И никто не удивился, что вот известный ученый, старик, самолично носит на продажу свои книги.

Сам большой любитель книги, порывлся старый орнитолог на полках книжной лавки, больше из любопытства. И очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание: «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека» — с тремя изображениями. Любовно перелистал брошюрку, радостно, с захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков:

«Изображение курицы в профиле весьма верно и представляет старушку так, как она есть. Вторая фигура представляет голову с лица и показывает в ней настоящего Сатира. Третья фигура представляет ее зевающей и вместе показывает ее язык».

Повертел в руках, справился о цене. Никакой цены в то время старые и редкие книги не имели.

— Мы, профессор, продаем сейчас петровские и екатерининские издания дешевле, чем только что вышедшие стихи имажинистов. И сами не покупаем; эта случайно попала в какой-то купленной нами библиотеке. Давайте сделаем так: мы вам преподнесем эту брошюрку, а вы нам обещаете принести на комиссию ваши книги.

— Но ведь это же редкость величайшая, хоть и не такое старое издание.

— Тем лучше. У вас, профессор, она будет сохраннее.

Домой профессор вернулся в отличном расположении духа. Вечером, за чаем, Вася Болтановский читал книжку вслух, и профессор радовался каждому слову, как малый ребенок. А наутро набрал целый портфель «ненужных» своих книг и понес в знакомую лавочку, где так его обласкали.

— Танюша, немножко денег у меня есть, так что ты не беспокойся.

Но уже давно рубли стали сотнями, и близилась миллионы. «Авторских экземпляров» хватило ненадолго. Пересмотрев свои полки, орнитолог открыл на них новые коммерческие ценности, сначала дубликаты, затем издания популярные, для ученой работы лишние, хоть и важные для коллекции, после атласы и таблицы, без которых обойтись все же можно, наконец, книги даренные, с автографами. Полки профессора пустели, — но Танюша была такой бледненькой, так уставала после своих концертов в рабочих районах. Орнитолог думал, что она не знает о частых его визитах в лавочку писателей, и рад был, что он, старик, уже никому больше не нужный, не в тягость милой своей внучке, может чем-то помочь ей. Он не знал, что дет-

ские книги Танюши, раньше лежавшие в ее шкафчике, давно уже проданы, в той же лавочке, и неплохо, так как цена на них всегда была высокой.

Зато еще ни разу к завтраку дедушки не подавались котлеты из конины, и к чаю в его стакан Танюша клала настоящий сахар, тихонько опуская в свою чашку лепешечку сахарина.

— Сахар, Танюша, сейчас, вероятно, очень дорог?

— Не знаю, дедушка, мне ведь выдают бесплатно.

ПОСТОРОННИЙ

Танюши нет дома; она халтурит в рабочем районе, в клубе имени Ленина.

В комнате Танюши, на столе, лежит раскрытый старый альбом фотографий. В окошечках альбома портреты дедушки и бабушки, когда дедушка и бабушка были еще молоды. На дедушке сюртук в талию, бабушка перетянута корсетом и руки держит на кринолине. Очки дедушки блеснули, и вместо одного глаза получилось белое пятно. Карточка очень выцвела.

А правее — карточка Танюшиной матери в модном костюме девяностых годов.

В комнате нет никого; над альбомом склонилась седая голова Времени. Время внимательно смотрит на карточку и шепчет:

— Совсем была такая же, и глаза, и волосы, и рот, и серьезность. И так же хотелось ей жить, и так же не знала, как это будет.

Время листает альбом.

Два студента, один постарше, с бородкой, в форме технолога — дядя Боря. Другой с маленькими усиками, красивый, большелобый, универсант. Это — отец Танюши.

Через картон альбома, из окошечка в окошечко, переглянулись девушки и студент, полюбились, поженились. И тут же в альбоме большеголовый ребенок с молочными глазами, удивленной бровью, пушистыми волосенками, в неуклюжем платице, которое поднялось со спины и подперло затылок. Это первая карточка самой Танюши.

У всех отец и мать — старшие, а то и старики. У Танюши старых родителей не было; в том возрасте, как на карточках, они могли бы быть ее друзьями-сверстниками. Оба они умерли совсем молодыми, не успев посоветовать девочке, как нужно жить, чтобы быть счастливой. И родителей ей, еще ребенку, заменили бабушка и дедушка. Мать успела передать ей только серые глаза и золотистые косы, да еще серьезную задумчивость. Глаза спрашивают, — а кто и что им ответит?

А отец — и родной и чужой. Его Танюша совсем не помнила, он умер рано, ей не было еще и двух лет. Танюше было странно, что вот она — дочь молодого студента, который настоящим взрослым человеком даже и не был. Что и мать ее была

тоже почти девочкой — это еще как-то понятно. Помнила она ее едва-едва, как бы по рассказам, а больше по ощущению матери, по потребности знать свою мать.

Мать, это — сама Танюша, жившая в прошлом. И звали мать тоже Татьяной. Когда Танюша переглядывала старый альбом, она подолгу и с интересом рассматривала черты отца. И порою думала, что вот, может быть, и она когда-нибудь встретит такого же человека, как мать встретила; такие бывают суженые. А другого суженого трудно себе представить. И по карточке была Танюша в отца своего немножко влюблена: открывая альбом, искала с ним встречи.

Время, свесив пряди волос, листает альбом дальше. Маленькая девочка Таня растет, тянется, и вот она уже в белом гимназическом переднике. С этого момента уже начинается история, даты которой не забыты и сейчас. Пятый класс — уже недавнее прошлое. Старый альбом посвежел, и привели бы его страницы к сегодняшним дням, если бы не оборвались внезапно: все страницы заполнены.

На последней его странице мужской, совсем новый портрет человека, про которого говорят: «Это — один знакомый, очень симпатичный, не помню фамилии». Почему-то и кем-то портрет был вставлен в последнее окошечко да так и остался тут — первым звеном мира постороннего. Если карточку вынуть из рамки (ведь альбом семейный), то окошечко останется незанятым. И посторонний человек нечаянно остался в семье.

Тут Время улыбулось:

— А разве бабушка — дедушке и мать — отцу не были раньше совсем посторонними и незнакомыми? Или Танюше — тот, кого она рано или поздно встретит.

Время попылило на листы альбома, поджелтило фотографию Танюшиной мамы, пообтерло слегка уголки кожного переплета и оставило альбом лежать развернутым на той же странице.

Танюши нет дома. Она сегодня играет Баха в районном клубе на плохом и расстроенном пианино.

Перед этим товарищ Брауде говорил с эстрады речь о международном положении, а следующий номер — юмористические рассказы и раешник — прочтет популярный в рабочих клубах товарищ Смахачев, — псевдоним приват-доцента философии Алексея Дмитрича Астафьева.

Астафьев стоит около кулисы и слушает игру Танюши. На нем надет прорванный цилиндр, щеки натерты мелом, и нос слегка подкрашен. Самое появление его должно вызвать смех. По обыкновению, его заставят бисировать.

Есть псевдоним и у Танюши. По девичьей фамилии матери (милрой девушки из альбома) она именуется в клубных афишах — товарищем Татьяной Горяевой, артисткой филармонии.

Смотря на ее белые проворные пальцы, Астафьев думает: «Как она серьезна, точно в заправском концерте. А они семечки лушат. Я за паек ломаюсь и тещу свою злость; а она за те же сеledки приходит сюда и дарит душу свою. Вот какая девушка».

СУМЕРКИ

Вася Болтановский забежал, конечно, и сегодня, но ушел рано, до вечера. Он упрямо и старательно подготавливал свою поездку за продуктами в Тульскую губернию и подбирал «товар» для обмена. На Танюшину шелковую кофточку большая надежда: у профессора оказались старые, но отличные охотничьи сапоги — товар исключительный.

Вася принес букетик полевых цветов, тщедушный, но свеженький.

— Это, Танюша, вам. Угадайте, где нарвал.

— Вы были за городом?

— Нет.

— Ну, не знаю, где-нибудь в саду.

— Не угадаете. Вот лютик, а вот колокольчик. А это — смотрите — ржаной колос. А весь букет я нарвал на улицах Москвы! И у вас около забора сорвал травку. И в иных местах вся мостовая поросла.

Орнитолог внимательно исследовал каждый цветок и пересушал травку.

— Знаешь, Вася, этот букет стоит засушить. Это целая история, ты непременно сохрани. В музей нужно.

— Я, профессор, другой соберу; на окраинах можно хоть венки плести, там, в иных местах, совсем мостовая скрылась. А это я все в центре города, не выходя за Садовое кольцо. Это — Танюше от верного рыцаря.

Пока Танюша ставила букетик в воду, а Вася смотрел на ее руки, профессор долгим взглядом ласкал Васино лицо. Тот поймал взгляд.

— Что-то вы на меня смотрите, профессор.

— Смотрю. А ну, подойди.

Когда Вася Болтановский подошел, профессор, не вставая, обнял его за талию.

— Ну-ка, наклонись к старику, а я тебя поцелую. Правду ты сказал, Вася, — ты — рыцарь верный. И отца твоего любил, и тебя люблю.

Когда ушел Вася, Танюша с книгой заняла свое обычное место в углу дивана, орнитолог так же долго смотрел на любимую внучку.

— Танюша.

— Что, дедушка?

— Не подходит он тебе, рыцарь наш, Вася?

— Как не подходит, дедушка?

— Ну, в мужья, что ли. Вижу — не подходит. А жаль. И его жаль, и тебя жаль. Очень он тебя любит. Ты знаешь?

Танюша отложила книжку.

— Я знаю, дедушка. Я к нему очень хорошо отношусь. Вася отличный человек, и мы с ним большие друзья. Ну, а как вы говорите, то есть замуж за него, я, конечно, не вышла бы, дедушка.

— Я вижу.

— А разве вы, дедушка, хотели бы, чтобы я вышла замуж?

Старик, помолчавши, сказал:

— Выйти-то — все равно выйдешь. Рано не стоит, пожалуй. Вася, конечно, и молод для тебя, ведь вам лет-то почти одинаково.

— Я замуж не хочу, дедушка, мне с вами лучше всего жить.

— Ну, ну, там увидим.

Окна были открыты, воздух свеж, и тишиной окутало Сивцев Вражек. В глубоком покойном кресле, в котором много лет в сумерки отдыхала Аглая Дмитриевна, дремал теперь старый орнитолог, украсив грудь седой бородой. Танюша, не перевертывая страниц, не следя за строчками глазами, думала свое и слушала тишину.

Тихо было и в верхнем этаже, где жил с сестрой комендант Совдепа Колчагин, и за стеной — у чужих людей, и в подвальном помещении, где семья крыс обдумывала предстоящий ночной поход. Дремал весь старый профессорский особняк, вспоминая прошедшее, предугадывая будущее. Тикали-такали любимые часы профессора — стенные с кукушкой.

На давно не чищенных булыжных мостовых Москвы сначала боязливым зеленым глазком, после смелее — прорастала зеленая травка; в канавках и у длинных заборов она росла увереннее, и рядом с крапивой хитрил желтый глазок цветка. Если бы не было такого же упряма и дикого мечтателя — человека, который тоже хотел остаться жить во что бы то ни стало, тоже прорасти жалким телом на камнях города, — травка победила бы камень, проточила бы его, украсила, увела бы жилое и быт в историю, зазеленила бы ее страницы забвеньем и добротой сказки.

На часы сумерек в домах замерла беспокойная жизнь, а воробы и ласточки давно уже спали в гнездах и в чердачных просветах. Зоркий глаз задернули пологом синеватого, покойного века.

Обсбняк профессора за последний, за страшный год посерел, постарел, поблек. Днем еще бодрился, а к ночи тяжело оседал, горбился, постанывал скрепами балок и штукатуркой.

Жалко старого, в нем был уют, спокойная радость, годами нарощее довольство! Но и устало старое, нужен ему покой и уход в вечность. Киркой и машиной уберут булыжник, зальют землю асфальтом, выложат торцом, на месте умерших и снесенных домиков с колоннами, старых гнезд с добрым домовым, старых стен, свидетелей прожитого, — выведут стены новые больших новых домов, с удобствами, с комфортом. На долгие годы трава уйдет в поля — ждать, пока перевернется и эта страничка, пока обветшает лак, сегодня свежий, перезреет и осыплется мысль, — и снова в трещинах каменного города появится прах и влага для смешливого и упрямого полевого лютика. Может быть, тогда трава забвенья победит, как по-

бедила она Акрополь и римский Форум, как победила, погребла, вместе с памятью, многое, о чем не знают и не узнают археологи. А может быть, опять — на малые часы в веках — прокричит о своей победе человек.

— Дедушка! Вы спите, дедушка?

Сумерки сменились вечером. И посвежело.

Танюша зажгла лампу.

— Вы спали, дедушка?

— Кажется, я задремал, Танюша.

— Будем пить чай?

Профессор, помогая себе обеими руками, поднялся с кресла.

— Ну, что ж, Танюша, я чайку выпил бы охотно.

В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

На три часа вперед было переставлено время — и Москва проснулась очень рано.

Сначала она проснулась на Пресне, на Благущей, в Сокольниках и на всех вокзалах. Затем, позевывая, зашевелились Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок.

По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины, — вероятно спеша стать в очередь под подсолнечное масло.

И, наконец, сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, чихая на солнечный луч, выкатились трепанные, заспанные, землистые лицом фигуры советских служащих, — переписчиц, завотделов, предкомов, товарищей-курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. Большинство шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие и, попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу.

Рано проснулась жизнь и в профессорском особняке на Сивцевом Вражке, где под крышей, как и в былые, счастливые и привольные дни Москвы, вылепила гнездо и теперь выхаживала птенцов ласточка.

Окна были раскрыты, и чайная ложечка позвякивала в любимой большой чашке орнитолога.

— Вы будете дома, дедушка?

— Посижу, напишу до обеда. А тебе бы, Танюша, погулять сегодня. День какой.

— Да, я пойду; у меня дело есть, далеко, у Красных ворот. Я, дедушка, вернусь к двум часам, не раньше.

Убрав чашки и вымыв их на кухне, Танюша, с особым ощущением свежести, прохлады и чистоты, надела белое платье с короткими широкими рукавами, вчера проглаженное, резиночкой стянутое в талии. Было бы хорошо иметь к нему и белые туфли,— но всякая лишняя обувь была сейчас роскошью недоступной. Шляпа соломенная, переделанная из старой, почищенной лимонным порошком, украшенная цветной лентой — из старых запасов.

В зеркале улыбнулась Танюше знакомая белая девушка, обеими руками поправила под шляпой волосы. Стала серьезной, взглянула еще раз поближе, глаза в глаза, повернулась боком, одернула платье, простилась с Танюшей, ушла в рамку зеркала.

Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была все-таки безалаберно-красивым, любимым городом, славным русским городом. И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами,— Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, и переулки Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Чернышевские, Кисельные, и площади ее Трубные, Красные, Лубянские, Воскресенские — все-таки в горе и забитости, в нужде и страхе — залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. Как и прежде, суетились струи Москвы-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой.

На Арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. По углам, на перекрестках, жалась малышки-папиросники, всегда готовые пуститься наутек.

Догадалась женщина на Арбатской площади поставить ведро с букетиками полевых цветов, и белых, и желтых, и незабудок, и анютиных глазок. Танюша постояла, посмотрела, приценилась и прошла мимо. А было бы хорошо нести букетик в руке, нюхать его или наколоть на грудь или к поясу — в такое чудное утро.

Бульвары кудрявились зеленью деревьев. Прямая аллея была — как жизнь, маня дрожащими бликами солнца, дивуя тенями, уходя вдаль узкой дорогой. Идти бульварами было легко и приятно,— хотя путь выходил круговой. Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось. Дома посерели, погрязнели, опустелись,— а тут хорошо, совсем по-прежнему, даже как будто лучше,— оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще.

На лавочке сидели два парня в гимнастерках, в защитных обмотках на ногах, но в штатских кепках. Проходившей Танюше послали вдогонку бесстыдное слово и весело загоготали. Танюша не слыхала, думая о своем. На веках ее, не закрытых полями шляпы, солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками, и легка была ее походка.

Она шла бульварами до Страстного, свернула на Тверскую,

наискось прошла Советскую площадь, где на месте памятника Скобелеву только что начали строить временный обелиск, и вышла, миновав Петровку и Неглинную, на Кузнецкий мост. Не устала, но все же тут начинается подъем.

Улица, когда-то парадная, красивая, торговая, теперь потеряла прежний веселого-горделивый вид. В окнах пассажа валяются забытый хлам, много было белых временных вывесок разных новых учреждений с длинными неуклюжими названиями, и люди встречались не подходящие к стилю богатой московской улицы. Чем ближе к Лубянке, тем больше людей военно-казенных, в новых френчах с неудобным, плохо сшитым воротником, в преувеличенных галифе, иногда в кожаных куртках — несмотря на летнее время. У многих портфели. И редкий прохожий не бросал взгляд на девушку в белом платье; иные явно прихорашивались, выпячивали грудь, печатая ногами по-юнкерски, заглядывая под шляпку. Сегодня, в день светлый, это не было противно Танюше: пусть смотрят.

Чего бы не простила она сегодня, в день светлый, на что бы не ответила улыбкой! И почему она сегодня одна? Среди всех этих встречных людей, одетых по-своему изысканно или щеголявших бедностью и грязью, среди бравых, забитых, до-вольных, озабоченных, гуляющих, спешащих, красивых и безоб-разных, нет среди них ни одного близкого, кто бы думал сейчас не о себе, а о ней, о Танюше, немного усталой и опьяневшей от солнца. Хоть бы один человек!

Почему и за что приходится жить в такие дни? Долго ли будет так? Ведь было же иначе!

Переходя через улицу, оглянулась: вот он, Кузнецкий мост, куда часто ходила она раньше пешком — покупать ноты. Вот он — и иной, и все-таки прежний: те же профили, тот же прихотливый и уверенный загиб улицы, та же церковь Введения на углу. Нет, Москвы не изменишь!

На Мясницкой встретила дядю Борю — у самых дверей его службы, его Научно-технического отдела. Он обрадовался, потряс ее руку, спросил о здоровье бабушки — своего отца, к которому так редко мог теперь забежать, занятый службой и добыванием продуктов. И сказал:

— Какая ты хорошенькая. В белом платье — совсем бур-жуйка.

Прошелся с ней до угла, а потом заспешил:

— Ну, я пойду, а то боюсь пропустить выдачу. У нас се-годня мясо выдают: не шутка! Ну, прощай, племянница.

И опять она шла одна.

У почтамта подумала: почему бы не свернуть направо, к Чистым прудам? Оттуда можно будет пройти переулками — крюк небольшой.

И как вошла в аллею — опять никакой усталости. И тихо здесь — слышны отчетливые птичьи голоса.

Дошла до пруда. Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная

скорлупа, гнилая рогажа. Но так же, как и прежде, смотрятся в воду кустики и деревья, и прохлада та же, и легкая рябь воды. Лодок нет — припрятаны или сожжены зимой. Да и кому сейчас кататься?

Вспомнила Танюша, как, бывало, зимой она приезжала к гимназической подруге, жившей тут же, поблизости, и вместе ходили они на Чистые пруды кататься на коньках. Катались от после обеда до вечера, а к семи часам ехала Танюша, с розовыми от мороза щеками, с легким дыханием, с приятной усталостью, домой, на Сивцев Вражек, под крылышко бабушки, под ласку дедушки на сладкие сухарики к чаю. Вот это, пожалуй, уж никак не вернется.

Обернулась на шаг, увидела человека в солдатской форме, с боязливыми узкими глазками:

— Сала, гражданка, не купите? Настоящее сало, киевское. Уступил бы недорого, купите, гражданка.

И уже вынимал из-за пазухи грязный сверток, когда Танюша сказала:

— Нет, я не покупаю.

На минутку солнце зашло за облако, пруд потемнел, и Танюша отошла.

Неужели и лодка, и коньки, и былая беззаботность, — неужели это уже никогда не вернется?

Боковым проходом вышла с бульвара, перешла улицу и по теневой стороне Харитоньевского переулка заспешила, озабоченная, в белом платье в талию, одна, — в такой чудесный летний день.

А когда вышла на Садовую и увидела дом с зелеными палисадниками, Красные ворота, а вдаль, в перспективе улицы, Сухареву башню, — опять невольно остановилась и опять, как на Кузнецком, подумала: «А все-таки, — как хороша, ну как хороша Москва, милая Москва! И какая она прежняя, неизменная. Это люди меняются, а она все та же. Погрустнела немножко, — а все та же нелепая, неряха — а все же милая, красивая и родная-родная...»

ПРИЗНАНЬЕ

Грузовик не мог развозить по домам всех участников спектакля. Танюшу и Астафьева спустили на Страстной площади.

В руках у них были узелки с заработанными продуктами: немного сахара, пять фунтов муки, фунт крупы, немного повила и по две селедки. В том районе клуб был щедрым и богатым. Вместе с продуктами в узелке Астафьева лежал его рваный цилиндр, большой бумажный воротничок, яркий галстук, — принадлежности гаерского туалета. Мел и краску с лица Астафьев смыл, как мог, еще за кулисами клубной сцены.

— Ну, вам по Малой Дмитровке, а мне сюда, переулками. Астафьев сказал:

— Нет, вместе, я провожу.

— Не нужно, Алексей Дмитрич, я не боюсь.

— А я боюсь за вас. Да еще с таким узором. Сейчас больше двенадцати.

Танюша знала, что это — не малая жертва со стороны усталого человека, выступавшего сегодня, как и она сама, в двух клубах. Но идти одной ночью было страшно, и Астафьев все равно этого не допустит. Бедный, ему далеко будет возвращаться на Долгоруковскую.

Она была благодарна ему — настоящий товарищ. Но кулька своего донести не позволила: сама донесет заработанное богатство. Это не тягость, а радость. Главное — сахар для девушки.

На грузовике так трясло, что разговаривать не пришлось. И пешком шли сначала молча; потом Танюша сказала:

— Трудно вам, Алексей Дмитрич, выступать в таких ролях?

— Гаерничать? Нет, не трудно. Все другое было бы труднее. Вот речи о «международном положении» никак не сказал бы. Тут нужно быть либо идиотом, как этот оратор, либо негодяем.

— Странно все-таки, что вы взялись за актерство. Почему это, Алексей Дмитрич? Как вы додумались?

Астафьев тихо засмеялся.

— А что же я мог бы еще делать? Читать лекции по философии? Я и читал, пока было можно, пока меня не выкинули из профессуры. А додумался просто. Мне приходилось раньше выступать чтецом коротких рассказов, — разумеется, любителем, на разных благотворительных вечеринках. А раешничал я экспромтом в студенческих кружках; и ничего себе получалось. Когда мне довелось теперь менять профессию, я и вспомнил об этом. Актером быть доходно, — все-таки получаешь мучки и селечки. Вот и стал я товарищем Смехачевым с набеленной рожей. Как видите — имею успех.

— Но тяжело вам?

— И вам тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Но вы, Татьяна Михайловна, страдаете за свою музыку серьезно, а я хоть тем себя облегчаю, что смеюсь над ними, над теми, кого смешу, над каждым гогочущим ослом.

— За что же смеяться над ними, над рабочими, Алексей Дмитрич? Мне это не нравится в вас!

— Вы добрая, а я не очень добрый. Людей вообще, массу людскую, я не люблю; я могу любить только человека определенного, которого знаю, ценю, уважаю, который мне чем-нибудь особо мил. А толпу — нет. И вот я, профессор, философ, пудрю лицо мукой, крашу нос свеклой и ломаюсь перед толпой-победительницей, которая платит мне за это селечками и прокислым повидлом. И чем бездарнее и площе рассказы, которые я им читаю, чем безвкуснее остроты, которые я им преподношу, — тем они довольнее, тем громче смеются. Меня это часто очень угнетает.

Помолчав, продолжал, уже без раздражения:

— Вы меня все-таки немного знаете, Татьяна Михайловна. И вы поймете, что мне нелегко выдумывать и выговаривать всю эту пошлятину. А я выдумываю и громко выкрикиваю. И чем глупее у меня выходит — тем я больше радуюсь. Тут, может быть, примешивается и некоторая радость мести, — и им, господам нашего сегодня, и моей ненужной науке, моим лишним знаниям, моему напрасному уму.

— Почему напрасному?

— Он мне мешает, моей новой карьере. Не мне, а товарищу Смехачеву. Философ Астафьев все пытается вложить в уста товарища Смехачева настоящую сатиру, подлинное остроумие, какой-то смысл художественный. Он, Астафьев, стыдится Смехачева, — а это совершенно излишне, это доказывает, что сам Астафьев, философ и профессор, еще не поднялся на подлинную философскую высоту, еще не отрешился от ученого кокетства, еще не стоек и еще не стоик, — простите за дешевый каламбур присяжному раешнику. Это, очевидно, очень трудно. Жить как Диоген, в бочке, — легко; а вот избавиться от нищего кокетства — трудно. Фраза «отойди и не засти мне солнца», — фраза, которую повторяют века, — в сущности, только дешевое кокетство. Настоящий циник должен бы сказать просто: «убирайся к черту» или, еще лучше, промолчать совсем, зевнуть, заснуть, почесать спину, — вот еще принесла нелегкая Александра Македонского, когда и без него скучно, и без него толпа идиотов глазает на бочку и ее обитателя. А вместо этого Диоген ляпает историческую фразу — и сам доволен, и все довольны. Именно такая философическая дешевка и нравится обывателю.

— Перестаньте, Алексей Дмитрич.

— Да почему, разве не правда?

— Может быть, и правда, но очень уж недобрая ваша правда. Не радуется. И вам от нее не легче. И мне очень неприятно.

Астафьев замолчал. Под фонарем на углу Арбата Танюша повернула к нему лицо и заглянула в глаза. Лицо Астафьева было серым, усталым, и в глазах стояла тоска.

— Не обиделись на меня?

Он искал ответа. Он не обиделся — слово не то. Но ему было жалко себя. Просто «нет» — не было бы настоящим ответом.

— Вы немножко правы, Татьяна Михайловна, и я немножко путаю и умничаю. Тоже — невольное кокетство.

Неподалеку от дома она ему сказала:

— Знаете, я вас раньше боялась. Вы очень умный и оригинальный человек, не как все. Сейчас боюсь меньше: пожалуй, даже совсем не боюсь.

Он прислушался.

— Потому не боюсь, что я сейчас очень многое поняла, с тех пор, как стала жить работой, как стала видеть много людей, совсем для меня новых. Как-то я подумала, что все мы — испуганные дети, и я, и вы, и дедушка, и рабочие, и то-

варищ Брауде,— все. Все говорим и думаем о странных мелочах — о селедке, о революции, о международном положении,— а важно совсем не это. Не знаю что, а только не это. Что вам важно, Алексей Дмитрич?

— Сейчас скажу. Мне важно... Мне нужно и важно иногда видеть вас, Татьяна Михайловна, и говорить с вами вот так, как сейчас. И чтобы вы меня в разговоре нашем побеждали. А что вам важно?

— Мне? Я все-таки думаю, что всего важнее для меня было бы иногда видеть рядом простого и здорового духом человека, по возможности не философа, но и не раешника.

— А это не слишком зло, Татьяна Михайловна?

— Нет. Я вообще не злая, вы это сами признали. Но я хочу воздуха, а не какой-то беспросветной тюрьмы, куда вас всех тянет и куда вы меня тоже хотите упрятать.

— Кто же вас...

Но Танюша перебила:

— Мне, Алексей Дмитрич, двадцать лет, вы думаете, мне приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И, главное, все время о себе, все — вокруг себя и для себя, и все такие, даже самые лучшие. Дедушка, правда, думает обо мне,— но это все равно что о себе. А вы, Алексей Дмитрич, о ком-нибудь, кроме себя, думаете?

Уснувшее лицо Астафьева вдруг осветилось его умной улыбкой:

— Удивительно,— сказал он,— до чего излишек слов портит первоначальную мысль. Вы мой поток слов прервали отличным замечанием и сразу сбили меня с позиции. А затем — вы сами увлеклись кокетством мыслей и слов, и я опять спасен, по крайней мере, не чувствую больше смущения. Ужасная нелепость этот наш интеллигентский язык. Что вы, собственно, хотите сказать? О чем меня спрашиваете? Существует ли для меня кто-нибудь, кроме меня самого? Я могу вам ответить просто: да, еще существуете вы. Иначе я вас не провожал бы и не боялся бы за вас так. Вот вы уже и не совсем правы.

— Я вам благодарна, Алексей Дмитрич.

— Не за что.

Затем, особо отчетливо выговаривая слова, как выговаривал всегда, когда сказать было трудно или когда в словах своих не был уверен, Астафьев сказал:

— Все это относительно пустяк, все эти разговоры. Не пустяк же то, что я... что вы, кажется, начинаете слишком существовать для меня. Да, это именно то, о чем вы сейчас подумали: начало некоторого признания. Дальнейшего признания сегодня не может быть, во-первых, потому, что мы дошли, а во-вторых, потому, что во мне все-таки не угасла какая-то досада на вас. Вероятно,— задето мужское самолюбие. Ну, будьте здоровы, кланяйтесь профессору.

Он пожал Танюше руку, подождал, пока на ее звонок у ворот хлопнула дверь в дворницкой, и, резко повернувшись, зашагал по Сивцеву Вражку.

Танюша, прислонившись лбом к холодному косяку калитки, думала: «Разве признанья бывают такими холодными? И почему я не взволнована?»

В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

В семь часов утра верный рыцарь уже звонил у подъезда дома на Сивцевом Вражке.

Танюша выглянула в окно и оживленно крикнула:

— Я готова, Вася. Вы хотите войти? Чай пили?

— Чай я пил, и времени у нас очень мало. Лучше выходите, Танюша. Не забудьте захватить корзиночки. У меня большой мешок и достаточно хлеба.

— Зачем мешок?

— Как зачем? А для шишек. Привезем домой шишек для растопки. И вообще — на случай.

Какой чудесный летний день. Солнце косым утренним лучом скользнуло по Танюше, и на фоне окна она такая беленькая, ясная, приветливая. Как вообще хорошо жить... иногда.

— Вы сегодня элегантны, Вася.

Элегантность Васи Болтановского заключалась, главным образом, в довольной новых сандалиях на босу ногу и в русской рубашке навыпуск, с кожаным поясом. Шляпы Вася не носил как из соображений гигиенических (надо, чтобы волосы дышали свободно!), так и потому, что шляпа его совершенно просалилась и протерлась, а новой добыть сейчас и негде и не на что.

Быть элегантным значило в те дни — быть в чистом белье и хорошо заштопанной одежде, — как бы ни был фантастичен костюм. За отсутствием материи, пуговиц, отделок, прежние франты ухитрялись сооружать костюмы из портьер, белье из скатертей, а дамы носили шляпы из зеленого и красного сукна, содранные с ломберных столов дома и с письменных столов в советских учреждениях. Пробовали за это преследовать, но бросили: трудно доказать. Брюки с заглаженной складкой были уже не только буржуазным предрассудком, но и некоторым вызовом новой идеологии.

На самый взыскательный вкус, он — в вышитой косоворотке и сандалиях, она — в чистом и проглаженном стареньком белом платье в талию, оба без шляп и без чулок — были вполне элегантной молодой парочкой. Корзинки в руках и пустой холщовый мешок на плече у Васи впечатления не портили: без мешка кто же выходил из дому!

Утреннее солнце было ласково. Они были молоды и веселы. Им предстояло провести целый день в лесу. Что, если не это, называется счастьем?

Дома и домики Сивцева Вражка провожали их улыбками. Даже профессорский особнячок, потемневший от старости, сегодня сиял и бодрился на солнце. Танюша, обычно серьезная и

деловитая, сегодня охотно отвечала веселым смехом на все глупости, которыми сыпал Вася, чувствовавший себя мальчишкой и гимназистом. Ноги бежали сами — приходилось сдерживать их торопливость. Что же, что — если не это — называется счастьем?

Поезд состоял исключительно из теплушек, пассажирами были, главным образом, молочницы, возвращавшиеся с пустыми бидонами. Было только два утренних и два вечерних поезда на дачной линии. Зато не требовалось никаких особых разрешений на посадку, — как это было на поездах дальних.

Десять верст поезд плелся почти час: подолгу и без видимой надобности стоял на трех остановках. Танюша и Вася сошли на станции Немчинов Пост.

— Ну вот, и кончен путь. Куда мы двинемся теперь, Танюша?

— Поскорее в лес куда-нибудь.

— Здесь рядом лес небольшой. А если пройти с полчаса полями, то там начнется чудесный лес, и тянется он вплоть до Москва-реки. Хотите?

Ноги шли сами, без понуканья. Миновали дачный поселок, теперь полуразрушенный и заброшенный. Дачи были на учете местного Совдепа, получать можно было только после ряда хлопот, ходатайства, хитростей и лишь на имя организаций, при знакомстве — можно и фантастических. Последней зимой много домиков было растаскано на топливо, хотя рядом был лес.

Вышли в поля, где колос был редок и у дороги потоптан. Но все же золотая волна бежала по ржаному полю, среди хлебов мелькали синие глаза васильков, в небе пел невидимый жаворонок. Упряма была природа: жила сама и звала жить.

Танюша сняла туфли и шла босиком между двух колея дороги. Иногда под ноги попадалась зеленая трава, приятно холодила пятку, заскакивала между пальцами и с лаской ускользала. Вася расстегнул ворот рубашки и всю дорогу пел нескладным голосом и фальшивя без меры; он отличался полным отсутствием слуха, и нужно было ясное сегодняшнее утро, чтобы музыкальная Танюша не страдала от такого пенья. Только при самых отчаянных руладах Васи Танюша, зажимая уши, кричала ему со смехом:

— Ну, Вася, пощадите! Вы вспугнете всех птиц.

— Зато, когда пойдем обратно вечером, будут довольны лягушки. Мое пенье в их вкусе.

Они забавлялись, как дети, бегая наперегонки, украсили себя венками из васильков, жевали недозревшие зерна ржи и сладкие кончики трав. К десяти часам, миновав поля и перейдя глубокий овраг, вышли наконец на лесную дорогу.

Лес сначала обступил их невысоким молодняком — дубками, березками, орехом, — затем обнял свежестью старых берез, осин, елок, сосен. Шла через лес кривая малоезженная дорога, с колеями в объезд кустиков и поверх размочаленных корней, а меж двух колея и по сторонам росли сыроежки с розовыми и зелеными шляпками.

Встречных было мало, и только пешеходы. До деревни, что на крутом берегу Москва-реки, лес тянулся версты на четыре. Ягод здесь попадалось мало, то ли были обобраны, то ли просто — не ягодные места. Но орехи уже начинали наливать и крепить молочные зернышки в резном зеленом капоре.

К полудню прошли мимо разбросанных домов и дачек деревни и вышли к реке. Вася по пути раздобыл молока, и на высоком берегу сделали привал.

Еще никогда не казался таким вкусным сероватый и вязкий ржаной пайковый хлеб с крупной солью. Танюша подивилась хозяйственности лаборанта: в его корзине оказалась не только бутылка для молока, но и два крепких стакана.

— Вы, Танюша, возьмите этот стакан; он у меня всегда служит для питья.

— А другой?

— Другой, собственно, для бритвы. Но я хорошо вымыл. А отличаю я его по пузырьку на стекле, вот смотрите.

— Вася, какой вы смешной и милый. Давайте чокнемся.

Зато Вася покраснел и ахнул, когда в свертке Танюши оказались две большие котлеты.

— Ну это уже черт знает... Это уже мотовство, — совершенно царский стол!

— И не подумайте, Вася, что из конины. Самое подлинное мясо, и жарила я сама на настоящем коровьем масле.

Котлету съели пополам, оставив другую на обед. Ели молча, священнодействуя, думая в эту минуту о серьезном.

Когда покончили с печеным картофелем, корзина с провизией сразу стала легче.

— На десерт ягоды.

— Если найдем много. Нужно собрать и для дедушки.

— Черники и брусники в том лесу гибель.

Они сидели над обрывом, любуясь изумительным видом на отлогие берега реки. Внизу, на той стороне, была деревушка, вдали едва виднелось Архангельское.

— Красота!

— Красота!

— Вы довольны, Танюша?

— Я счастлива. А вы, Вася?

— Значит, я вдвое.

— Почему вдвое и почему значит?

— Своим счастьем и еще вашим.

Танюша посмотрела на Васю глазами ласковыми и задумчивыми.

— Милый Вася, спасибо вам.

— За что?

— За все. За заботливую и верную дружбу вашу.

— Да, за дружбу — это верно. А вам, Танюша, спасибо за то, что вы существуете. За мою к вам любовь. Вам она не мешает, а мне можно жить на свете. Ух, я так вас люблю, Танюша, что...

Вася повалился на траву и бил ее сжатым кулаком:

— Пусть глупо, а мне так нужно. Вы меня не слушайте, Танюша, это я от солнышка с ума схожу. Ух, какой я сегодня совершенный идиот, ой-ой-ой, даже приятно.

Посидели так, он — лицом в траву, она — задумчиво глядя на зеленые дали. А когда Вася поднял голову, Танюша просто сказала:

— Теперь пойдем в лес?

— Да. Теперь пойдем в лес. В лес — так в лес.

Вскочил на ноги.

— Идемте. Здесь рядышком начинается самый старый лес, заповедный. Там еще стоят сосны времен царя Алексея Михайловича. Вы увидите. Ноги мы себе обдерем обязательно, это верно, но зато чудесно там, Танюша. Я здесь много раз бывал и все места знаю.

Высокая трава била по ногам. Тропинок становилось меньше. В заповедный лес вошли, как в грот, раздвинув ветви высокого кустарника. И, несмотря на полдень жаркого летнего дня,— вдруг оказались в прохладе и влажности.

Верхушки деревьев сплелись в сотни темных куполов, а вся земля, хоть и в густой тени дерев, заросла травой жирной, ласково-холодной. Перегной был мягок и топок, и долго пробуравливал его белый стебель трав, пока, выйдя на волю, делался зеленым.

Глубже в лес — не было и помина о дорожках, везде была зеленая стена кустарника и чернели столбы столетних стволов. В одном месте лежала сосна с выгнившей древесиной, много лет назад павшая,— только кора пролагала дорогу среди кустов и молодых деревьев, и верхушка терялась в темной дали. Павшая сосна доходила в толщине до человеческого роста, и ее пришлось обходить, как внезапно выросшую стену.

— Где вы, Вася?

— Тут рядом. Я забрался в такую чашу, что не знаю, как и выбраться.

— Хорошо здесь, Вася. Какой лес, какой лес! Вы меня видите?

— Платье мелькает, а лица не вижу.

— Я хотела бы здесь жить, Вася.

— Соскучитесь. В мир потянет.

— В мире, Вася, несладко сейчас.

— Обойдется. Лучше будет.

— Вы верите?

— Да как же не верить. Вон у нас какие богатства. Один этот лес чего стоит. А на севере... ой, напоролся на сучок...

— Что вы говорите на севере?

— Я говорю, на севере, где я жил в детстве, там леса еще много лучше, хвойные, и тянутся на тысячи верст. Как вспомнишь о них,— люди, и всякая политика, и квартирные вопросы, и декреты, и что там еще,— все смешным делается.

— Вы любите жизнь, Вася? Вы не боитесь жить?

Среди зарослей показалась Васина косоворотка.

— Ну, Танюша, я окончательно застрял; главное — корзинка мешает идти. А насчет жизни — как же не любить ее? Люблю! Больше жизни я только вас люблю, Танюша.

— Опять вы начинаете.

— Я правду говорю. Я даже вот как скажу вам. Подождите, Танюша, не шевелитесь. Я потом вам помогу выбраться. Вы меня раз послушайте. Вот этим лесом клянусь вам, Танюша, ни о чем вас не прошу, а жизнь за вас отдам. Вы подождите минутку, дайте мне сказать. Этим лесом клянусь: если вам понадобится когда-нибудь моя помощь, ну, в чем бы ни случилось, — вы, Танюша, помните, что я ваш верный навсегда друг и пойду для вас на все, и на самую смерть пойду, и даже, Танюша, с удовольствием. Вот. Это я совершенно серьезно, и больше я говорить не буду.

Ветки перестали трещать, и птиц не было слышно.

— Вася.

— Что?

— Вася... где вы там?

— Да застрял.

— Подойдите.

— Не могу, тут ветки перепутаны. И что-то колется.

— Ну, протяните руку.

Опять затрещали ветки, и сквозь них показалась большая Васина рука.

— Ой, Вася, у вас кожа содрана на руке.

— Не беда.

— Бедный... Ну, держите мою руку.

Танюша налегла на кустарник и дотянулась рукой до Васиных пальцев.

— Поймали?

— Поймал.

— Только не тяните, а то упаду. Вася, милый Вася, я все знаю и все ценю. Только себя я еще не знаю. Мне здесь с вами хорошо, а дома, в городе, у меня на душе тревожно. Есть много такого, чего я не могу понять, ну — в себе самой. Вы, Вася, не осуждайте меня.

— Да разве ж я могу...

— Мне так трудно, Вася, так трудно.

— Ну, ну, я-то ведь понимаю.

— Вася, милый, вы мой единственный, настоящий друг, вот. Ну, теперь пустите руку. Надо как-нибудь выбраться из этой чащи.

Ветки раздвинулись шире, и Васина голова со спутанными волосами дотянулась губами до кончика пальца Танюши.

— Выберемся, Танюша, выберемся. Я сказал — помогу. Тут скоро должна быть лесная тропа. Я, Танюша, вас выведу, не бойтесь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Разогрев воды на печурке, Астафьев смывал с лица последние остатки муки и краски. В зеркале отразилась щель двери, а в щели — опухшее лицо его соседа, рабочего Завалишина.

— Нечего подсматривать, Завалишин, входите.

— Туалетом занимаетесь?

— Смываю с рожи муку.

— Выпачкались?

— Вероятно. Как вы живете?

Завалишин вошел, погрел руки у печурки, потом сказал отчетливо и самоуверенно:

— Поживаю хорошо. Зашибаю деньги.

— Все на фабрике?

— Никакой фабрики. Теперь совсем по другой части. По вашему, товарищ Астафьев, совету и прямому указанию.

— Что-то не помню, чтобы советовал. Это где же?

— Приказывали бороться, и даже по части подлости. Иначе, дескать, пропадешь, Завалишин, съедят тебя. Вот и боремся теперь.

Астафьев с любопытством посмотрел на соседа.

— Ну и что же, выходит?

— Не могу жаловаться, делишки поправляются. Даже пришел к вам, товарищ Астафьев, угостить вас, как бы отблагодарить за угощение ваше. Если, конечно, не гнушаетесь. И не самогон, а настоящий коньяк, довоенной фабрики, две бутылки.

— Подлостью, говорите, добыли?

— Так точно. Самой настоящей человеческой подлостью. Уж не погнушайтесь.

— Любопытно.

— Да уж чего же любопытнее. У вас два стаканчика найдутся? И закуски сейчас принесу, копченая грудинка и еще там разное.

Астафьев опять с интересом оглядел соседа. Перемена явная. Лучше, даже совсем хорошо одет, нет прежней робости и забитости, однако как будто и уверенности в себе настоящей нет. Храбрится и бравирует.

Завалишин принес коньяк, марки неважной, но настоящий, довоенный. Вынул из пакета грудинку, икру и какие-то сомнительные полубелые сухарики. Для дней сих — несомненная роскошь. Столик подвинули ближе к печке.

Завалишин налил два стакана до половины.

— За ваше здоровье, товарищ ученый. Покорнейше вам за все благодарен, за науку вашу, за советы — научили дурака уму-разуму.

— А все-таки что вы делаете, Завалишин? Воруете? В налетчики записались?

— Что вы, помилуйте. Получаю за аккуратную службу.

— Где?

— Вот это уж дело секретное, товарищ Астафьев. Одним

словом — служба, настоящее дело. Работа самонужнейшая, в антиресах республики. Но болтать зря нельзя.

— Ну, черт с вами, пейте.

Пили молча, закусывая икрой и толстыми ломтями грудинки. Астафьев был голоден, — сильному человеку нужно было много пищи. Коньяк согрел и поднял силы. Завалишин, напротив, быстро осовел, но продолжал пить жадно. Лицо его налилось кровью, глазки сузились и тупо смотрели в стакан.

Потрескивали сырые дрова в печурке.

Сидя в кресле, Астафьев забыл про гостя. Мысль раздвоилась. Он думал о Танюше и о последнем разговоре, но в разговор вмешивались эстрадные остроты, какие-то пошлые стишки, которыми он забавлял сегодня толпу. И еще слышались звуки пианино: Танюша играла Баха.

Астафьев вздрогнул, когда сосед ударил кулаком по столу.

— Стой, не движь, так твою...

— Вы чего, напились, что ли?

Завалишин поднял пьяные глаза.

— Н... не желаю, чтобы он двигался.

— Кто?

— В... вообще, н... не желаю.

Засмеялся тоненьким смехом:

— Это я так. Вы, т... товарищ, не беспокойтесь. Я, товарищ, все могу.

— Нет, Завалишин, не все. И вообще вы — слабый человек, хоть по виду и силач.

— Я слабый? Это я слабый? Очень свободно убить могу, вот я какой слабый.

— Подумаешь. Убить человека и ребенок может, особенно если из револьвера. Силы для этого не требуется. А вот больше вы ничего не можете.

— А что больше?

— Создать что-нибудь. Сделать. Ну вот зажигалку, что ли.

— Я не слесарь.

— Ну, поле вспахать.

— Ни к чему это. Мужики пашут.

— А вы пролетарий, барин! Мужики пашут, а вы хлеб едите. Ни на что вы, Завалишин, не способны; даже коньяк пить не умеете со вкусом: хлещете, как денатурат, и с первого стакана пьяны.

— Хлещем, как умеем, господин Астафьев. Нас этому в университетах не обучали. Чтобы пригубливать — у нас времени не было. Мы завсегда залпом. Вот так!

Он долил свой стакан и опрокинул разом, но поперхнулся и стал резать дрожащими руками ломоть закуски.

Астафьев допил свой стакан, налил другой, — не отставая от соседа, — и погрузился в свои думы. Голова его приятно кружилась.

Отвлекло его от мыслей бормотанье Завалишина.

Опершись руками о стол и положив на руки пьяную го-

лову, Завалишин красными моргающими глазками смотрел на собутыльника.

— За такие слова можно тебя упечь безобратно. И за машинку, и за мужика. Упечь и даже в расход вывести.

Астафьев брезгливо поморщился:

— Чекист! Если вы пьяны, Завалишин, то ступайте спать. Допьем завтра.

— Завтра? Завтра у меня день свободный, в... вроде отпуска. Завтра материалу нет срочного.

И опять захихикал пьяненько и трусливо.

— Матерьялу завтра нет, а какой был — прикончили сегодня весь. Я, Завалишин, приканчивал. Чик — и готово.

И вдруг, опять стукнув кулаком по столу, закричал:

— Говорю — не выспрашивай, не твое дело!

Дрожащей рукой налил стакан и выпил залпом. Коньяк ожег горло. Завалишин вылупил глаза, ахнул, потянулся за закуской и сразу, опустившись, ткнулся лбом в стол.

Астафьев встал, взял гостя за ворот, потряс, поднял его голову и увидел бледное лицо, на котором был написан пьяный ужас. Зубы Завалишина стучали, и язык пытался бормотать. Астафьев приподнял его за ворот, поддержал и волоком потащил к двери.

— Тяжелая туша! Ну, иди ты, богатырь!

Доволок его до комнаты, швырнул на постель, подобрал и устроил ноги. Пьяный лопотал какие-то слова. Астафьев нагнулся, послушал с минуту:

— Ай, матушки, ах, матушки, куды меня, куды меня...

Астафьев вернулся к себе, собрал остатки закусок, пустую и полуполную бутылку и отнес все в комнату Завалишина. Придя к себе, открыл окно, проветрил комнату и лег в постель, взяв со стола первую попавшуюся книгу.

МЕШОЧНИК

Вагоны грузно ударились один о другой, и поезд остановился. Путь, который раньше отнимал не более суток, теперь потребовал почти неделю.

Стояли на каких-то маленьких станциях и полустанках часами и днями, пассажиров гоняли в лес собирать топливо для паровоза, раза два отцепляли вагоны и заставляли пересаживаться; и тогда вся серая масса мешочников, топча сапогами по крыше вагона, спираясь на площадках, с оханьем и руганью бросалась занимать новые места. Среди этих пассажиров, помогая себе локтями и с трудом перетаскивая чемоданчик и мешок с рухлядью, отвоевывая себе место, торопливо пробирався и Вася Болтановский, лаборант университета, верный рыцарь домика на Сивцевом Вражке.

Уже давно забыл, когда в последний раз мылся. Как и все, пятерней лез за пазуху и до крови расчесывал грудь, пле-

чи, спину — докуда доставала рука. Только одну ночь ехал на крыше вагона, обычно же ухитрялся занять багажную полку внутри — и сверху победно смотрел на груды тел человеческих, спаянную бессонными ночами, грязью, потом, бранью и остро-тами над собственной участью. Счастливыцы спали на полу, в проходах, под лавками; неудачникам приходилось дремать стоя, мотая головой при толчках.

К концу пути стало в вагонах свободнее, и крыши очистились. Большинство мешочников слезло и разбрелось по деревням. Вася проехал дальше многих, рассчитывая выгоднее обменять свой товар в отдаленных селах. В дороге сдружился с несколькими опытными мешочниками, уже по второму и третьему разу совершавшими сумбурный поход за крупой и хлебом.

Оставив поезд, разбились на кучки, подтянулись, подправились, удобнее приладили мешки и двинулись в разных направлениях.

Спутниками Васи были две бывалые женщины, из московских мешанок, и «бывший инженер» — как сам он себя именовал — в хороших сапогах и полувоенной защитной форме; только вместо фуражки — рыжая кепка. Его принимали за солдата и называли «товарищем». С ним Вася особенно сдружился в пути и охотно признавал его авторитет и опытность. Звали инженера Петром Павловичем. Как и все — грязный, не бритый, полусонный, он изумительно умел сохранять бодрость духа, шутил, рассказывал о прежних своих «походах», умел раздобыть кипятку, мирил ссорившихся, менял соль на табачок, уступал свое место на лавке во временное пользование усталым и женщинам, а на одной из долгих стоянок помог неопытному ко-чегару справиться с поломкой паровозной машины. В вагоне он был как бы за старосту, с особой же нежностью и заботой относился к Васе, которого называл профессором.

Инженеру Протасову было лет тридцать пять. Был широкоплеч, крепок, здоров, приветлив и обходителен. С каждым умел говорить на понятном ему языке и о понятных ему вещах. Пассажиры, слезавшие в пути, обязательно с ним прощались; новички попадали под его покровительство.

Выйдя со станции, маленькой своей группочкой двинулись в путь.

— Ну, сюда добрались; а вот как обратно поедем, с полными мешками!

— Там увидится. Ездят люди.

— Ездят, да не все возвращаются.

— Через заградилки трудно.

— Прoberемcя как-нибудь. Сейчас об этом рано думать. Сейчас — поменять бы выгоднее.

— Ноги-то не идут.

— Ничего, разойдутся. В лесу отдохнем.

— Это выходить — прямо на дожде!

— Найдем сухое местечко. А то в избу где-нибудь пустят.

— Ну и жизнь!

— Все же лучше здесь, чем в вагоне.

И правда — на воздухе отдыхали после вагонной духоты.

По осенним вязким дорогам, меж намокших полей, добрались до небольшой деревушки, где и собаки и люди встретили пришельцев с подозрительностью. Было ясно, что тут никакой торговли не сделаешь, — только бы высушиться и обогреться да расспросить.

В избу все же пустили. Хозяева, узнав, что у неожиданных гостей есть чай, отнеслись к ним более приветливо и выставили со своей стороны крынку молока и хорошую краюху хлеба. Хлеб был настоящий, вкусный, сытный, не пайковый — московский. За несколько щепоток чаю истопили баню и посушили ночлег. Это была удача, — баня самое нужное дело.

В первый раз за неделю Вася Болтановский разделся и долго возился с бельем и одеждой, вытряхая и выпаривая насекомых под руководством опытного спутника. Оделись в чистое, а ночью выпались, не обращая внимания на укусы клопов — насекомых невинных и приемлемых.

И утром, чуть свет, двинулись по дороге и бездорожью искать крестьян побогаче и позапасливее.

В первом же селе женщины-спутницы отстали — то ли торговались, то ли решили, что ходить вчетвером невыгодно. Васе повезло, и почин он сделал на старом платье и летней кофточке Танюши, в обмен на которые он получил целое богатство — полпуда гречневой крупы! Протасов сделку вполне одобрил. Завязывая свой мешок, Вася смотрел с ужасом, как молодая бабенка просовывала в рукава Танюшиной кофточки свои красные рабочие руки, примеривая ее поверх своей старой и засаленной и кулаками поправляя груди. Но почин сделан, и почин счастливый — для Танюши!

Мужики смотрели на торговцев мрачно, однако пытались прицениться к непроданным сапогам инженера. За косу и бруски предлагали пустяк, — о сенокосе думать рано. Васю заинтересовало, откуда у инженера новая неотбитая коса. Оказалось, что косу он получил в учреждении, где служащим выдавали в паек разные неожиданные и странные вещи; брали все охотно, на случай обмена.

Решили слишком далеко не забредать и держаться ближе к железной дороге. Хуже всего было с ночевками, — пускали неохотно, не доверяя пришлым городским людям. Но, пустив, охотно расспрашивали про Москву, про немцев, про цены, про то, чего ждать впереди. Что война прикончена, — про то в деревнях знали; о том же, кто теперь правит Россией, правда ли, что царя увезли и чего хотят большевики, понятие имели самое смутное и фантастическое. Больше, чем политикой, интересовались слухами о налогах и тем, будут ли у крестьян отбирать хлеб и не вернуться ли помещики. Ответы выслушивали, затаив дыханье, но, видимо, мало верили пришельцам, и слова их толковали по-своему.

На пятый день заезжие купцы наполнили свои мешки, расставшись с кофтами, чулками, ситцем, морковным чаем и листовым табаком. В последнем селе Вася продал за пуд белой муки и пуд проса охотничьи сапоги профессора орнитологии, — сделка, которой инженер не одобрил, сочтя ее маловыгодной. К этому времени нагрузились продуктами и инженер. Решили ехать на ближайшую станцию с попутной подводой, заплатив деньгами. Устроилось и это, поход оказался счастливым.

Хозяин подводой, отъехав от села, повернул голову к седам, осмотрел их внимательно, оценил и сказал Васе:

— Смотрю я на тебя, для барина ты плох, а на товарища не похож; так уж я буду тебя господином звать.

Протасов спросил его:

— Ну, а я на кого похож?

Крестьянин ответил неохотно:

— Кто ж тебя знает! Человек пришлый, не наш. Надо полагать, из военного сословия.

Тем более пригодилась подвода, что Вася Болтановский, не привычный к такого рода приключениям, чувствовал себя сильно ослабевшим, а в последнюю ночь его даже немного лихорадило.

Самым трудным было погрузить себя с мешками в поезд, по обыкновению переполненный. Первые сутки заночевали на станции; на второй день опять повезло и с трудом устроились, сначала на тормозе, потом и на площадке. На следующих станциях новой толпой мешочников, занявших сходни и даже крышу, втиснуты были в вагон, где уже трудно было дышать и приходилось ехать стоя. Но, раз попали, — благодарили судьбу и за это.

Поезд шел на этот раз быстрее, без долгих задержек, и на третьи сутки уже подъезжали к Москве; удачно миновав первую заградилку, от которой откупились пустяками. Москвы Вася ждал с нетерпением, так как чувствовал, что силы его кончатся. В вагоне, чтобы легче было дышать, открыли все окна, и Васю сильно знобило. К ночи озноб сменялся жаром, и инженер, смотря на молодого спутника, скептически покачал головой.

— Что это вас так развозит? Смотрите, не поймали ли ядовитую семашку!

— Нет, ничего. Скорее бы только доехать.

Под самой Москвой опять наткнулись на заградительный отряд. С крыши всех согнали, стреляя холостыми. Из передних вагонов выгнали пассажиров и у многих отобрали мешки. Но, видно, утомившись с ближайшими, решили махнуть рукой на остальных. Мешочники защищали свое добро правдами и неправдами, цеплялись за мешки, ругались, лестили, подкупали, старались держаться сомкнутой массой, не пропуская заградилцов в вагоны, рассовывая свои запасы под лавки, под юбку, за пазуху. Васе и его спутнику опять повезло: их вагон был последним и на усердный осмотр его у заградилцов не хва-

тило ни сил, ни времени. Простояв свыше двух часов, поезд наконец двинулся. До Москвы оставалось часов пять. Главная опасность — лишиться добытого с таким трудом — миновала.

Протасов советовал:

— Как дома будете, прежде всего вымойтесь, выберите сешашек, напейтесь до краев горячим чаем — и в постель. А лучше всего — доктора позовите, если есть знакомый.

И правда, Васе было плохо. После нервного напряжения, перенесенного в заградительном пункте, он испытывал теперь страшную слабость. Сидел на мешке, сам — как мешок. По временам так стучало в висках, что заглушало стук поезда. И тело, зудевшее от насекомых, покрыто было холодным потом.

— У меня все перед глазами сливается и точно плавает.

— Ну еще бы, — говорил инженер, с сожалением оглядывая спутника. — Это, батюшка, дело серьезно. Хорошо, что скоро в Москве будем. Мешки уж как-нибудь дотащим; может быть, попадет дешевый извозчик.

Громяхая на стрелках, ахая на поворотах, медленно, точно нарочно растягивая время, грузно, тяжело, злобно поезд подползал к московскому вокзалу.

Разминаясь и стараясь бодрее держать пылающую голову, Вася думал: «Кажется, плохо мое дело. А все-таки привез разного добра. Теперь Танюше и профессору будет немного легче».

И еще думал с больной улыбкой: «Скоро увижу ее... Танюшу».

«ЖМУРИКИ»

Преддомком Денисов с вечера предупреждал жильцов, что всем, кто не имеет документа о советской службе, приказано явиться в милицию к трем часам под утро со своими лопатами.

— Пойдете на общественные работы.

Документы оказались почти у всех, а рабочие службой не обязывались. Двоих, не имевших, преддомком уволил от явки своей властью, одного по болезни (помирал от тифа), другого по преклонности старости. Не оказалось удостоверения только у семерых, — у трех женщин и четверых мужчин, в том числе у приват-доцента философии Астафьева.

— Я служу актером в рабочих районных клубах, вы знаете.

Но Денисов явно был доволен, что Астафьев не оказался запасливым.

— Раз без документов, то вам, товарищ Астафьев, обязательно идти.

— Я только к ночи вернусь с работы.

— Ничего не знаю. Если не пойдете, — я обязан сообщить, и уведут силой, да и назад не приведут; вам же будет хуже. Сейчас, товарищ Астафьев, с буржуазией не шутят. Пожалуйста

к трем часам, вот вам и билет от домкома; там распишутся, и назад мне принесете. Лопату вам выдадим. Очень сожалею, товарищ Астафьев, но и без того всякий старается отлынивать.

Астафьев знал, что мог бы — при желании — отвертеться: Денисов не отличался неподкупностью. Но, подумавши, махнул рукой: «Надо и это испробовать, да, пожалуй, в принципе, спра-ведливо».

К трем часам ворота в милиции были еще заперты; к половине четвертого собралась порядочная толпа, и мужчин, и женщин, безропотная, разношерстная, большинство без лопат. Кто были пришедшие — разобрать было нелегко: одеты плохо, сборно, но, по-видимому, большинство из «буржуев» и интеллигентов. На двоих мужчинах, уже пожилых, пальто было офицерского покроя, правда — потерявшее облик, грязное, за-тасканное, со штатскими пуговицами. Вообще в толпе преобладали люди пожилые.

Отперли ворота в четыре, пустили, отобрали билеты домкомов, переписали. Поворчали, что мало принесли лопат, выдали десяток казенных, под расписку. Отрядили четверых конвойных вести толпу в шестьдесят человек.

По ночным улицам, мрачным, неосвященным, необранным, толпа шла сначала в порядке, к концу — разбредшимися группами. Уйти нельзя: только на месте выдадут билеты с отметкой. На вопрос, какая будет работа, сонные и злые конвоиры отвечали, что и сами не знают. Приказано доставить за заставой на вторую версту, близ дороги, там конвой сменят.

— В прошедшую ночь водили на Николаевскую линию рельсы и шпалы чистить, а нынче приказано в другое место...

Одна бабенка, суетливая и бойкая, поговору — из мешанок, словоохотливо рассказывала каждому, что ходит на работы не в первый раз, и ходит добровольно, замещает знакомую почти задаром. И ведут нынче, скорее всего, не дорогу чистить и чинить, а закапывать «жмуриков». Работа нетяжелая, хоть и грязная, а хлеба за это выдают по-божески, иной раз по целому фунту, и хорошего, солдатского.

Что такое «жмурики», Астафьев не знал.

Шли больше часу, пока дошли до места, где ждали другие конвоиры. Оказалось, работа тут и есть, рядом. Сказали, что отдыхать некогда, скоро грузовики приедут; отдыхать потом, когда хлеб выдадут.

Поставили всех рядом копать на пустыре большую яму. У кого лопат не было, те ждали, а потом становились на смену.

Что такое «жмурики», Астафьев узнал, вернее, догадался сам. Этим ласковым именем называли покойников. Конвойные на расспросы отвечали, что закапывать придется тифозных и других, из разных больниц, да с вокзалов.

Земля была влажной, весенней, и работа шла быстро, хоть и непривычны были к ней люди. Яму рыли неглубоко, а главное, пошире. Из своих нашлись руководители, которые учили,

покрикивали, даже немножко красовались своей опытностью и начальственностью.

Часам к шести прибыл первый грузовик, долго пыхтел, пробираясь к яме по бездорожью, наконец подъехал почти вплотную. Одну яму к тому времени закончили, рыли другую поблизости. На бледном дождливом рассвете четверо приехавших рабочих в фартуках стали вынимать и сбрасывать в готовую яму страшную кладь — полуодетых в тряпье, а то и совсем голых «жмуриков». Астафьев стоял близко и чувствовал, как дышать становится труднее и капли мелкого дождя не кажутся больше свежими и чистыми.

Позже подъехали еще два грузовика, Астафьев насчитал в общем до сорока трупов. После каждой партии приказывали позабросать землей, а остаток места экономить. Но первая яма была уже полна, и пришлось насыпать над ней землю курганом.

Опытные обменивались мнениями: «Большим дождем, пожалуй, размочет».

Землекопы смотрели мрачно, хмурились, отвертывались; женщины выдерживали лучше мужчин и больше шептались. Но только суетливая бабенка, как привычная, не проявляла ни страха, ни отвращения и даже с особым живым интересом встречала каждый новый грузовик, заглядывала в него, мешала работавшим, ахала, объясняла:

— Опять больничные, либо вокзальные, из вагонов. И все-то раздеты, все раздеты! И сапоги обязательно сняты начисто, даром что тифозные.

Новый грузовик не добрался до самой ямы, завязив колеса в сырой размятой земле. При нем было двое конвойных, в военных шлемах с красной звездой, обшитой черным шнуром. Вызвали добровольцев разгружать. Сказали, что выдадут по добавочному фунту хлеба.

— А то и сами назначим!

Астафьев оглядел толпу, увидел смущенные и мрачные лица и вышел первым. У грузовика уже суетилась бабенка. Еще двоих, в перешитых военных шинелях, вызвали конвойные:

— Да вы не смущайтесь, тут заразных нет, все свежее!

Новые «жмурики» были страшнее прежних. Они почти все были одеты, только без обуви, и одежда их вся была в еще запекшейся крови. Велели стягивать за ноги, да не мешкать:

— Нечего смотреть! Покойник — покойник и есть.

Сжав зубы, стараясь не видеть лиц, Астафьев коснулся первого трупа. Сквозь грязное белье руки его невольно ощутили скользкий холод смерти. Он напряг всю свою мужскую волю, но губы его не складывались в обычную скептическую улыбку. Он не мог отогнать мысли, что этот страшный «жмурик» был человеком, и здоровым человеком, быть может, всего час тому назад. Ему казалось, что он этого человека знает, не может не знать, что эта предутренняя жертва террора — из его круга, может быть, его товарищ по университету или знакомый офицер.

Как бы в ответ один из конвойных сказал другому:

— Больше все бандиты.

Вдруг Астафьев заметил, что его сотрудница, суетливая бабенка, поддерживая труп за плечи, быстро шарит рукой за разорванным воротом. Притворившись, что не может сдержать, опустила на минуту на землю,— и в зажатой руке ее блеснула золотая цепочка с крестиком. Так же суетливо подхватила вновь за плечи, что-то зашептала, боязливо отыскивая глаза Астафьева, и заулыбалась ему как сообщнику.

Конвойный окрикнул:

— Не копайся там. Сама вызвалась, так и неси.

И добавил тише:

— Ну и баба! Ей все одно, что хлеб в печь совать. Любимая занятия!

Астафьев работал как автомат, без мысли, без сознания о времени, не ощущая больше ни ужаса, ни отвращения. Стягивая с грузовика очередного «жмурика», механически считал: «три, пятый, шестой...» Трупов было до двадцати, нижние всех страшнее, смятые, пропитанные своей и чужой кровью.

От ямы до грузовика Астафьев шагал твердым, крепким шагом, подняв голову и смотря прямо перед собой. Конвойные глядели с любопытством на высокого человека, лучше других одетого, опоясанного ремнем, с бледным, каменным, чисто выбритым лицом. На счастье и удачу суетливой своей помощницы, он отвлекал внимание конвоиров от ее проворных и шарящих рук.

Приказали закапывать. Астафьев пошел за своей лопатой, но, едва ее коснувшись, почувствовал, что кисти его рук и края рукавов липки и буро-красны. Бросив лопату, он отошел в сторону, стал на корточки и с тем же тупым равнодушием принялся оттирать руки о землю и побеги молодой травки.

Мир был. Но был мир пуст, мертв и бессмыслен.

Астафьев вытер руки насухо платком, бросил платок и пошел, минуя грузовик и конвойных,— прямо к дороге. Когда он проходил мимо, солдаты замолчали и отступили. Крайний пробурчал было: «куда?», но вопроса не повторил. Другой солдат сказал: «Оставь, все одно сейчас всем отпуск».

Астафьев вышел на дорогу и пошел, не оглядываясь, в сторону города. Отойдя с полверсты, почувствовал усталось и сел поблизости дороги у стены заброшенного домика.

Мимо пропыхтел пустой грузовик с двумя солдатами, а скоро прошли усталым, но спешным шагом, теперь уже без конвоя, группами и одиночками, работавшие «буржуи». Многие на ходу жевали выданный хлеб.

Бойкой мешанки среди них не было. Астафьев увидел ее вдали, сильно отставшей. Шла она одна, таща на плече лопату.

«А моя лапата осталась там»,— подумал Астафьев.

Он встал и пошел навстречу бабенке. Когда поравнялись, та, видимо, оробела и хотела пройти стороной.

Тогда Астафьев подошел к ней вплотную, взял ее у груди за ворот ее полумужского пальто сильной рукой и сказал:

— Отдай все. Все кресты отдай.

Бабенка присела, попробовала вырваться, но в глазах ее, старавшихся улыбаться, был смертельный страх. Визгливым шепотом прохрипела:

— Что отдавать-то, бабушка, ничего и нет.

— Отдай,— повторил Астафьев.— Убью!

Бабенка дрожащими суетливыми руками зашарила по карманам, вытащила четыре крестика, из них два на золотых порванных цепочках, и кольцо.

Не произнося ни слова, Астафьев сам обыскал ее карманы, вытряхнул платок, нашел еще два нателных креста, швырнул ей обратно кольцо и, не слушая ее шипящих причитаний, зашагал под мелким дождем к месту работ.

Там уже не было никого; только над истоптанной землей возвышались длинные глинистые насыпи да блестели колеи автомобильных шин.

— А лопаты моей нет, утащили,— пробурчал Астафьев.

Затем подошел вплотную ко второй засыпанной яме и бросил на нее отобранные крестики. Подумавши, влез на насыпь, каблук сапога глубоко вдавил крестики в землю и руками набросал сверху комьев новой земли.

Неверующий — не перекрестился, не перекрестил могил, не простился с ними. Круто повернувшись, смотря под ноги, зашагал прежней дорогой обратно в Москву.

«Я ЗНАЮ»

Орнитолог решительно скучал без Васи Болтановского, который уехал за продуктами и не возвращался, вот уже вторую неделю.

— Пора бы ему вернуться, Танюша.

— Вы, дедушка, любите Васю больше, чем меня.

— Больше не больше, а люблю его. У него душа хорошая, у Васи. Добрый он.

Зашел Поплавский, в теплой вязаной кофте под старым черным сюртуком, в промокших калошах, которые он оставил за дверью.

— Наслежу я у вас, у меня калоши протекают; надо будет резинового клею достать. А что, профессор, мои калошки никто за дверью не стирит? Ведь у вас жилыцы живут.

Поплавский, раньше говоривший только о физике и химии, сейчас не оживлялся даже при имени Эйнштейна, о книге которого только что дошли до Москвы слухи. В Книжной лавке писателей, временном московском культурном центре, куда заходил по своим торговым делам и орнитолог, говорили за прилавком о теории относительности; даже кнопочкой приколоты была к конторке, курьеза ради, математическая формула конца

мира. Знал, конечно, и Поплавский о крушении светоносного эфира, — но сейчас далеки были от всего эти мысли еще молодого профессора. Думы его — как и многих — были заняты сахарином, патокой и недостатком жиров. И еще одним: ужасом начавшегося террора.

— Слышали? Вчера опять расстреляли сорок человек!

Орнитолог болезненно качал головой и старался отвести разговор от темы о смертях. Особнячок на Сивцевом Вражке защищался от мира, хотел жить прежней тихой жизнью.

В восемь часов, аккуратный, как всегда, сильно исхудалый и постаревший, зашел и Эдуард Львович. Его кривое пенсне, часто сползавшее с носа, было украшено простой тонкой бечевкой — вместо истрепавшегося черного шнура.

Когда опять стучали в дверь (звонok — как и везде — не действовал), Танюша вскочила поспешнее обычного и побежала отворить. Вернулась оживленная, и за нею вошел Астафьев.

В последние дни он заходил часто и сидел подолгу, иногда переживая орнитолога, который рано уходил к себе спать и читал в постели.

С помощью Астафьева Танюша поставила самовар, и ложечка профессора уже стучала в большой его чашке. Старик любил, когда его огонек собирал умных людей, с которыми было хорошо и уютно посидеть и поговорить.

— Науку надо беречь. Поколения уйдут, а свет науки останется. Наука — гордость наша.

Поплавский молча пил чай и жевал черные сухарики; он изголодался. Разговор поддерживал Астафьев.

— Чем гордиться, профессор? Логикой нашей? А мне иной раз думается, что нас науки, в особенности естественные, сбили с пути верного мышления — мышления образами. Первобытный человек мыслил дологически, для него предметы соучаствовали друг в друге, и поэтому мир для него был полон тайны и красоты. Мы же придумали «la loi de participation»¹, и мир поблек, утратил красочность и сказочность. И мы, конечно, проиграли.

Астафьев, по привычке, помешал ложечкой пустой чай, а когда Таня пододвинула ему блюдечко с сахаром, сказал:

— Нет, спасибо, у меня свой.

И, вынув из жилетного кармана коробочку, положил в чай лепешку сахарина.

— Почему вы не хотите? У нас есть.

Но Астафьев упрямо отодвинул блюдечко:

— Не будем, Татьяна Михайловна, нарушать хороших установившихся правил экономии.

Профессор сказал:

— Нужно уметь согласовать мышление логическое с мышлением образами.

— Нет, профессор, это невозможно. Тут синтеза нет. Да вот

¹ Закон соучастия (фр.).

я сошлюсь на Эдуарда Львовича. Вот он живет в мире музыкальных образов, в мире красоты,— может ли он принять логику современности? Это значило бы отказаться от искусства.

Эдуард Львович немножко покраснел, поерзал на стуле и пробормотал:

— Я доржен сказать, что не впорне вас поняр. Музыка имеет свои законы и, как будто, свою рогику, но это не совсем та рогика, о которой вы говорите. Но мне очень трудно объясниться.

Орнитолог одобрительно кивнул Эдуарду Львовичу и прибавил:

— Я вот тоже как-то не пойму вас, Алексей Дмитрич. Мысль вашу понимаю, а вас самого никак не усую себе. Как будто вам легче, чем кому другому, принять и оправдать современность. Вы вон и науку отрицаете, и мыслить хотели бы по-дикарски, дологически. Правда, у вас все это от головы, а не от сердца. Ну, а современность, нынешнее наше, оно как раз и отрицает культуру и логику; в самом-то в нем никакой логики нет.

— Напротив, профессор, как раз современность наша и есть чисто голодное построение, самая настоящая математика, ученая головоломка. Логика и техника — новые наши боги, взамен отринутых. А если они ничем помочь нам не в силах — это уже не их вина; святости их это не препятствует.

Танюша слушала Астафьева и невольно вспоминала другие слова, им же и здесь же когда-то сказанные. Астафьев — сплошное противоречие. Зачем он все это говорит? Ради парадокса? А завтра будет говорить совсем другое? Зачем? И все-таки он искренен. Или притворяется? Зачем он так... От тоски?

Теперь она слушала только слова Астафьева, не вдумываясь в их смысл. Скандируя слова, явно говоря лишь для разговора, безо всякого желания, Астафьев продолжал:

— Самые ненавистные для меня люди это — летчики, шоферы, счетчики газа и электричества. Они совершенно не считаются с тем, что мне неприятен шум пропеллера и этот дикий, ничем не оправдываемый треск мотора. Они непрошеными врываются в нашу жизнь и считают себя не только правыми, а как бы высшими существами.

— Люди будущего.

— Да, на них есть это ужасное клеймо. И вообще я предпочитаю им — из прочих отрицательных типов — футболистов. Те, по крайней мере, определенные идиоты и сознают это. В летчиках же и в некоторых инженерах чувствуется интеллект, хотя и искалеченный.

Танюша перевела глаза на дедушку. Старик слушал Астафьева с неудовольствием, не веря ему и стараясь подавить чувство неприязни. Болтовня и болтовня, и болтовня неостроумная. Неуместно дешевое гаерство в серьезных вопросах.

«Зачем он так», — досадливо думала Танюша.

Сегодня Эдуард Львович не играл и ушел рано. Поплавского орнитолог увел в свою комнату — посоветоваться насчет книг, отобранных для продажи. Астафьев остался с Танюшей.

— Зачем вы так говорите, Алексей Дмитриевич? Вы говорите, а сами себе не верите.

— Это оттого, что я не верю ни себе, ни другим. Пожалуй, и правда,— говорить не стоит. Хотя вы все же преувеличиваете: кое в чем я прав.

Помолчав, он прибавил:

— Да, глупо. Кажется, профессор обиделся на мои гимназические выходки. Мне вообще прискучило и думать и говорить. И чего я хочу — сам не знаю.

— Я вас считала сильнее.

— Я и был сильнее. Сейчас — нет.

— Отчего?

— Вероятно, спугался в подсчетах. Я думаю, что есть в этом немного и вашей вины.

— Моей? Почему моей?

Астафьев, сидевший в кресле, протянул руку и положил ее на диван, рядом с сидевшей Танюшей. Танюша скользнула взглядом по его большой руке и невольно, едва заметно, отодвинулась.

— Вы понимаете почему, Татьяна Михайловна. Должны бы понять. Я свои чувства не очень скрываю, да и не стремлюсь скрывать, хотя, возможно, они ко мне не идут. Главное, у меня вот нет этих слов, не знаю, как они произносятся... Вам, например, не кажется, что я вас полюбил?

Это не было первым признанием. Первое было тогда, у ворот. И было таким же холодным.

Танюша медленно ответила:

— Не кажется. Вероятно, я вам нравлюсь, и вам хочется так думать. Но на любовь это не похоже.

Астафьев некрасиво улынулся:

— Что вы знаете о любви, Таня?

Никто никогда не называл Танюшу — Таней, и она не любила этого уменьшительного. Зачем он...

Танюша подняла глаза, прямо посмотрела на Астафьева и сказала:

— Я-то? Я-то знаю!

Сказала это просто, как вышло. И Астафьев почувствовал, что это правда: она знает. Гораздо больше знает, чем он, так много в жизни видевший, любивший, знавший.

— Я знаю,— повторила Танюша.— И потому могу вас успокоить: вы меня по-настоящему не любите. Вы, вероятно, никого не любите. И не можете любить. Вы такой.

— А вы, Таня?

— Я другая. Я и могу и хочу. Но только некого. Вас? Может быть, могла бы вас. Раньше могла бы. Но с вами холодно... до ужаса. Минутами, раньше, мне казалось... и было хорошо. Только минутами. Ведь и вы не всегда такой.

— Так приблизительно я и думал,— сказал Астафьев.

Он медленно убрал с дивана руку. Мир сжался, помрачнел, и сейчас Астафьев был подлинно несчастен. Он молчал.

Танюша как бы про себя добавила просто и серьезно.

— Я одно время думала, что люблю вас. Я тогда вам удивлялась. Теперь думаю, что не люблю. Уж раз об этом думаешь — значит, нет. Вот если бы не думая...

Астафьев молчал. Кажется, сейчас опять войдут сюда бабушка и Поплавский. И Танюша громко сказала:

— Алексей Дмитрич, когда у нас концерт в Басманном районе? В среду или в четверг?

Астафьев твердо ответил:

— В четверг. Там всегда по четвергам.

Когда вошел орнитолог, Астафьев встал и попрощался.

Ложась спать, Танюша думала о многом: о том, что у бабушки сахар на исходе, что в среду она свободна, что у Эдуарда Львовича большой вид. Еще думала о Васе, которому пора бы вернуться. Думала также о том, что Астафьев прав: логика убивает красоту, тайну, сказочность. Затем, взглянув в зеркало и увидав себя в белом, с голыми руками, с распущенной белокурой косой, с глазами усталыми и не любящими никого, кроме бабушки, Танюша упала на постель и уткнулась лицом в подушку, чтобы этот милый бабушка не мог услышать, если она вдруг почему-нибудь заплачет.

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТЫХ ГЕТРАХ

Поравнявшись с Астафьевым, человек в желтых гетрах бегло глянул ему в лицо, на минутку задержался, затем зашагал быстрее и свернул в первый переулок.

В походке ли или в глазах его показалось Астафьеву знакомое, впрочем, и таких лиц и таких сборных костюмов, полувоенных-полуштатских, попадалось много.

Придя домой, Астафьев занялся делом: нужно было вычислить экономическую печурку, плоскую, с гофрированным подом, дававшую хороший жар и потреблявшую мало дров, нужно было осмотреть железную трубу, которая через верхнее стекло окна выводила дым на улицу, подвесить на месте крепов баночки из-под сгущенного молока и вообще приготовиться к зиме: скоро заходит осень основательно. Дров еще нет, но откуда-нибудь появиться должны; в случае крайнем придется прибегнуть к помощи соседа Завалишина. Подлец и, конечно, чекист, — но черт с ним.

Во входную дверь постучали. Перемазанными в саже пальцами Астафьев снял дверную цепочку, откинул крючок и повернул ключ. Сложные запоры были также поставлены Завалишиным, который в последнее время сделался явным трусом; может быть, боялся за свои припасы и за свои бутылки.

— Товарищ Астафьев?

— Да, я, — ответил Астафьев. В дверях перед ним стоял человек в желтых гетрах.

— Можно на минутку... переговорить с вами?

Астафьев невольно отступил:

— Можно, конечно, но... позвольте... да ведь вы же... вы кто?

— Пройдемте к вам, Алексей Дмитрич,— сказал вошедший вполголоса.— Ну, как вы живете? Куда к вам? В эту дверь?

— Сюда, сюда.

Введя гостя, еще не поздоровавшись, Астафьев вышел в коридор, подошел к двери Завалишина и прислушался. Затем легонько постучал и, не получив отклика, приотворил дверь соседа. Завалишина не было дома. Астафьев покачал головой.

— Ну, это еще удачно! Все-таки... черт его знает.

Гость ждал терпеливо, не раздеваясь и не садясь.

— Окончательно узнали?

— Узнал, конечно, хотя... вы удивительный актер. Можете говорить свободно, мы дома одни, и дверь на цепочке. Что это на вас за любопытные гетры? Ведь это же бросается в глаза.

— Потому и надел, чтобы смотрели больше на гетры, а не на лицо. Чем заметнее, тем незаметнее.

— Так и бродите по Москве? Почти без грима? Попадете вы... милый человек.

Хотя и наедине, он невольно не называл гостя по имени.

— Рано или поздно попадусь. Лучше поздно. Слушайте, Алексей Дмитрич, вы человек неробкий, говорите прямо: можете меня приютить до завтрашнего утра?

— Очень нужно?

— Очень. Совсем некуда деваться.

— Значит, могу. Я потому спрашиваю, крайняя ли у вас нужда, что моя квартира не из удачных. Я здесь во всем доме единственный буржуй, а живет у меня что-то вроде чекиста, хотя, главным образом, пьяница. Впрочем, он дома бывает редко, даже не всякую ночь. Вам это подходит?

— Совсем не подходит, но если вы согласны, я все-таки останусь, так как у меня выбора нет. Хорошо бы так устроить, чтобы ваш чекист меня не видал.

— Я его не пущу. Да он как будто не из любознательных и, говоря, убежденный пьяница. В делах зла — мой воспитанник: уверяет даже, что я толкнул его на такую дорогу.

— А обыск у вас возможен? Сейчас повсюду полавальные обыски, целыми домами.

— Вряд ли. У нас в доме живут рабочие семьи. Конечно — все может быть.

— Конечно. Значит — можно?

— Значит, раздевайтесь. Кормежка у меня плохая, но все же закусим.

— Да, это тоже важно.

Стряпали они молча, сообщая. У человека в желтых гетрах оказался кусок сала, у Астафьева была крупа. Ужин удался отличный.

— Когда он вернется, ваш чекист, мы лучше не будем разговаривать совсем. Я лягу; спать хочу мертвецки.

— Ну, это излишне. Ко мне люди заходят. Кстати, вы на дворе кого-нибудь встретили?

— Одного. Усики колечком, приказчицья рожа.

— Усики колечком? Значит — Денисов, преддомком. Это хуже. Но не беда — откуда ему знать, кто вы такой.

— Одним словом, — будем надеяться. Слушайте, Астафьев, я вам очень благодарен. Вы молодец, я потому к вам и пошел. На улице вы не узнали меня?

— Не обратил внимания. Видел, конечно, вы опередили меня.

— Не хотел заходить вместе с вами. Три раза прошел улицу — ждал, что встречу.

— Почему?

— Так, на счастье.

— А вам вообще везет?

— Пока плохо, Астафьев. Плоховато. На на днях, думается, будет удача.

Астафьев ухмыльнулся:

— Если вы говорите «удача», значит, — гром на всю Москву или на всю Россию. Ну, дело ваше, я не любопытен.

Закусив, они болтали с полчаса, вспоминая свои встречи в России и за границей и общих друзей, еще по первой революции. В живых и не в бегах осталось мало.

— Вы, Астафьев, ушли в науку, от прежнего совсем отошли?

— Да, нельзя оставаться боевым человеком, ни во что не веруя.

Глаза человека в желтых гетрах ушли вглубь, под брови, и он медленно сказал:

— Ну, по-настоящему веруют у нас немногие, главным образом, дураки и простачки. Не в том дело, Астафьев. Надо, чтобы было чем жить и за что умирать; нельзя жить кислыми щами, тянуть эту канитель, утешаться словоблудием. Пропадать, так уж... Слушайте, я хочу спать. Где вы меня положите? Я раздеваться все равно не буду.

На первом рассвете Астафьев, спавший в кресле с прибавкой двух стульев, — гостя он положил на постель, — проснулся от гулких шагов по асфальту двора. Встал, подошел к окну и увидел, что квартира напротив вся ярко освещена и что на дворе топчутся фигуры солдат с винтовками. Возможно, что обыск. На фоне одного из окон мелькнула тень в фуражке, затем другая, подвязанная в поясе кушаком. Да, несомненно — обыск.

«Ему, кажется, окончательно не повезло», — подумал Астафьев.

Подумал это с обычной усмешкой, но и с невольной нервной дрожью. И еще подумал: «Отвечать придется нам обоим. Но может быть, это — случайный обыск в той квартире».

На светлом пятне окна фигуры продолжали появляться и исчезать. Астафьев долго наблюдал, пробовал заставить себя, закуривши, сесть в кресло, но окно притягивало. Спустя полчаса осветились окна этажом выше, и тогда Астафьев почувствовал, как ноги его похолодели. «Выходит — облава. И значит — конец».

Подъезд его квартиры выходил на этот дворик. Впрочем,

насколько можно было видеть, не отворяя окна, часовые стояли во всех проходах и у всех подъездов дворика.

«Разбудить его? Или — пусть пока спит?»

Будить как будто смысла не было. Нервничать вдвоем мало толку. Выйти из квартиры все равно нельзя. Может быть, обыск до нас не дойдет.

Тихо подвинув кресло к окну, Астафьев, не отрывая глаз, следил, как осветился четвертый, самый верхний этаж. Он вспомнил: «В нижнем жильцов нет, потому там и темно; вероятно, зашли и ушли, нечего искать. Теперь пойдут в другой подъезд. В который?»

Обыск в верхнем этаже затянулся. Уже рассвело, и тени на дворе облеклись плотью и защитными шинелями. Солдаты сидели на ступеньках подъезда и прямо на асфальте, очевидно, до крайности утомленные.

«Ищут подолгу, значит, ищут не людей, а припасы. Обычный повальный обыск. Но заберут, конечно, и непрописанного человека... вместе с хозяином. Есть ли у него какой-нибудь документ? Но, конечно, его, раз зацапав, немедленно опознают. Лакомый кусочек для Чека!»

На дворе затопали, и из подъезда вышла небольшая толпа кожаных курток. Была одна минута страшная, и сердце Астафьева громко стучало.

Потоптавшись, группа людей перешла к другому подъезду, напротив окна Астафьева.

Новая отсрочка. Теперь — последняя.

Во втором подъезде окна осветились сразу в двух этажах, затем в третьем и почти немедленно в четвертом. Очевидно, обыскивающие разделились на две группы, и работа пошла скорее. Солдаты на дворе дремали сидя, положив винтовки на колени.

Астафьев не считал больше минут и получасов. Нервное напряжение сменилось сильной усталостью: «Все равно... Остается ждать».

Он курил, закрыв глаза и подымая веки только при звуке шагов на дворе и при долетавших громких словах солдатского разговора. Свет утра уже сливался с пятнами освещенных окон. Розовело небо. Папироса докурилась, и Астафьев начал дремать. С первой тревоги прошло уже часа три, если не больше. Впрочем — не все ли равно.

Опять топот ног на дворе заставил его вскочить и подойти к окну вплотную. Из-за занавески он увидел ту же группу людей на середине дворика. К ней присоединились и дремавшие раньше солдаты. Нельзя было разобрать, о чем шел разговор, но было видно, что происходит совещание. Наконец группа двинулась к подъезду Астафьева, а часть солдат отошла, недовольно разводя руками.

И тотчас же гулко застучали шаги по лестнице.

«Кажется, пора его разбудить!»

Астафьев прошел во вторую свою комнату, заваленную по углам книгами, где спал его гость.

— Слушайте, вставайте!

Попробовал растолкать за плечо. Гость спал крепко, измученный бессонными ночами. В ответ только мычал. Астафьев подумал: «В сущности — зачем. Бежать все равно некуда. Разбужу, когда станут стучать. Пока они в нижнем этаже, а мы в третьем».

Сейчас он был совершенно спокоен — особым трагическим спокойствием. Из обывателя стал снова философом. С кривой своей усмешкой взглянул на бледное, одутловатое лицо спящего человека в желтых гетрах, повернулся, увидел в тусклом свете отражение своего лица в зеркале, поправил волосы, закурил новую папиросу и вышел в переднюю.

Он ждал недолго. Вновь застучали каблуки на лестнице, и люди с громким говором стали подниматься.

Астафьев не вздрогнул, когда в дверь его квартиры постучали кулаком. Он сильно затаился папиросой и остался на месте у двери.

За дверью был гул голосов. Астафьев явно расслышал:

— Этак невозможно, товарищ! Люди с ног валяются, да и день на дворе.

— Ладно, эту последнюю, и айда.

Снова стук и другой голос:

— Разоспались там, не добудишься.

«Сейчас будут ломать,— подумал Астафьев.— Надо будить его».

За дверью сразу заговорило несколько голосов громче прежнего.

— Будя, товарищ, надобно отложить. Этак две ночи подряд... разве же возможно... тоже и мы люди.

Астафьев, бросив папиросу, приложил ухо к двери. Ропот там усиливался. Наконец чей-то резкий и визгливый голос раздраженно крикнул:

— Ну, ладно, заворачивай оглобли. Одного подъезда докончить не можете, размякли, чистые бабы. Завтра здесь делать нечего будет, все приведут в порядок.

В ответ раздалось:

— Не двужильные дались, надо с наше поработать...

Но уже тяжелые каблуки с грохотом катились обратно по лестнице. И в тот момент, когда Астафьев хотел отнять ухо от двери,— его почти оглушил новый удар кулаком по дереву. И тот же визгливый голос досадливо крикнул:

— Эй там, получай на прощанье! Разоспались, буржуи оканные!

Дрожаящими от волнения руками вынимая из коробки новую папиросу, Астафьев слушал, как замерли на лестнице последние шаги. Медленно повернувшись, он встретился глазами с человеком в желтых гетрах.

— Кажется — неприятность, Алексей Дмитрич?

Астафьев выпустил дым колечком:

— Наоборот, полное благополучие. Хорошо ли выспались?

— Отлично. А вы тоже, кажется, актер неплохой.

— Такова моя теперешняя профессия. Думаю, что теперь они ушли окончательно.

Человек в желтых гетрах ответил в тон:

— Будем надеяться. Кстати — я забыл предупредить вас вчера, Астафьев, что даром и живым я не сдамся. Нет никакого смысла.

— Понимаю, — сказал Астафьев. — И вижу. Но пока вы можете спрятать свою игрушку обратно в карман.

И прибавил, расхохотавшись искренне и весело:

— А все-таки ловко вышло! Вам явно везет. Что вы скажете о чашке морковного кофе? Выходить вам пока не стоит. Вы умеете зажигать примус?

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

Отворив на стук, Танюша увидела незнакомого человека с двумя большими мешками, скрепленными ремнем, надетым через плечо. Пришедший был в полувоенной форме и в пенсне, — тип опростившегося интеллигента.

— Ну, — сказал он, — кажется, сомнений быть не может. Это вы — Татьяна Михайловна?

— Да, я.

— Вот получайте посылку: мука, крупа и прочее. Это — первая порция, остальное после принесу, сразу тяжело. Велено вам доставить.

— Это от кого?

— Приказано сказать: «От верного рыцаря».

Танюша обрадовалась, потом озаботилась:

— От Васи? А где Вася? Он приехал?

— Приехать-то приехал, мы вместе приехали, а только плохо доехал. Болен он. И по-моему — сильно болен. Что-нибудь подхватил в дороге.

Болен милый Вася, лучший друг и верный рыцарь!

Танюша пригласила Васиного спутника войти.

Свалив с плеч мешки, пришедший отрекомендовался Протасовым, Петром Павловичем, прибавив:

— Раньше был инженером, а теперь больше мешочничаю.

Рассказал, как Вася до последней минуты крепился, но уже на вокзале в Москве сдал окончательно, не только не смог дотащить мешки до извозчика, а и сам едва добрел. Протасов доставил его домой, заставил раздеться, кое-как помыться, забрал с собой его одежду, чтобы выпарить и вычистить.

— У меня в квартире есть хорошая печка, с котлом. И дровишки имеются. Все приспособлено. По-буржуйски живу.

— Где же сейчас Вася?

— У себя дома. Мешки велел снести вам. Я, конечно, и мешки осмотрел, чтобы не осталось на них какой нечисти.

— Вы думаете, что у него тиф?

— Да боюсь, говоря по совести. Нужно к нему доктора. Я, Татьяна Михайловна, на вас рассчитываю, если вы не боитесь заразы. Сыпняк по воздуху не передается, конечно, а все же.

Инженер смотрел на Танюшу с уверенной улыбкой: такая не побоится, вон она какая!

— Ну конечно же, господа, я иду сейчас. Я знаю и доктора, близко, здесь, на Арбате. Я его приведу к Васе. Этот доктор всегда лечил дедушку.

— Вот отлично. Вы и идите скорее. А я пока домой.

Условились, что Васин спутник непременно зайдет на днях, завтра же вечером. И громадное спасибо за мешки.

— Завтра вам и остатки занесу.

— Вы, верно, очень устали с дороги?

— Немного. Я двуличный и привычный, никогда не устаю.

Разговаривали, как старые знакомые. Протасову было лет тридцать пять; был давно не брит, немного обшарпан, хотя, очевидно, успел переодеться. И было в лице много бодрости и доброты. С Танюшей говорил как с младшей, но с мужской почтительностью.

— Сразу вас узнал, как увидал.

— Почему?

— А он мне сказал: придете, постучите, и вам откроет, вероятно, она сама, Танюша, Татьяна Михайловна.

— Ну, тогда действительно узнать было нетрудно.

— Нет, он еще прибавил: она удивительная девушка, совсем особенная. Я сразу и узнал.

Танюша смутилась.

— Ну уж Вася... он такой чудак!

И все-таки приятно было Танюше слышать от незнакомого человека такие слова, сказанные просто, свободно, с хорошей улыбкой.

— Вы с ним подружились в дороге!

— Да. Он очень славный малый, очень славный. Большой идеалист, и это хорошо.

— Вася — чудный товарищ. Вы тоже, вероятно, замечательный товарищ. Вы там ему помогли.

Инженер просто сказал:

— Мне нетрудно. Я человек здоровый и привычный ко всему.

На Арбате, около дома, где жил врач, расстались. Танюша наказала Протасову обязательно прийти завтра вечером, сейчас же после обеда.

— Дедушка будет очень вам рад. Он очень любит Васю, скучал без него. Вы ему расскажете про ваше путешествие.

Когда расстались, Танюша подумала: «Вот милый человек! Удивительно славный. Такая мягкая улыбка, такой деликатный и такой бодрый, точно... ничего не случилось. И так позаботился о Васе».

Инженер шагал домой, разминая плечи, уставшие от тяжелых мешков. Думал о своем, мужском, деловом. А на губах была улыбка — от приятной встречи.

Вася Болтановский лежал в постели.

Комната его, такая знакомая очертаниями, сейчас потеряла прежнюю четкость линий: углы затупились и наполнились дрожащим туманом, окно вздрагивало и жгло глаза излишней яркостью, гравюра, висевшая на стене против кровати, плавала в пространстве.

Была особенно неудобна и непокойна подушка: голова Васи никак не могла улечься на ней хорошенько. Подушка камнем давила на затылок, ложилась криво, сползала, внезапно становилась стоймя и щекотала углом, всползала на голову, мешая дыханью, забиралась под плечо и высоко вверх подымала все тело. Одеядо было слишком теплым и все же не грело ног, и Вася, задыхаясь от жары и духоты, в то же время искал озятыми, дрожащими ногами край одеяла, чтобы укутаться крепче. В комнате стоял гул, напоминавший стук вагонных колес, и каждый удар отражался в висках и в левом боку. Хотелось пить, но графин с водой, поставленный у постели на столике Протасовым, откатился недосыгаемо далеко и дразнил издали, отскакивая от протянутой руки.

Когда Вася закрывал глаза, грудь его начинала вздыматься до потолка комнаты и опускаться, плавно качаясь, как на волнах, и мутя голову. Это мешало заснуть. Мешали этому и незнакомые лица, толпой окружившие лавку, на которой он пытался устроиться с мешками, хотя лавка была слишком узка и коротка для него. Было странно, что поезд ежеминутно переходил с рельс на рельсы, хотя Вася отлично помнил, что уже приехал на Московский вокзал и успел раздеться. Теперь он тщетно пробирался сквозь толпу мешочников, стараясь разыскать мешок с крупой, особенно ценный, так как выменен на охотничьи сапоги профессора. Орнитолог сердился и топал ногами, — таким Вася никогда его не видел. Оказалось, что сапоги эти надеты на Васе и страшно холодят ноги; снять невозможно, да и некогда: в вагоне может не оказаться ни одного места, и тогда Протасов уедет один. «Хорошо еще, — думал Вася, — что я попросил его доставить Танюше мешки; иначе пришлось бы ждать, пока кто-нибудь зайдет и протелефонирует. Если у меня сыпняк, то нужно, кажется, остричь волосы».

Эти слова внезапно доносятся до уха Васи, и он догадывается: «А я брежу! Это ведь я сам говорил сейчас. Значит — здорово болен!»

Открыв глаза, Вася замечает, что окно потемнело. Впрочем, гудит комната по-прежнему, но возможно, что это проехал автомобиль по улице. С усилием приподнявшись, Вася дотягивается до графина с водой и жадно пьет воду из горлышка, стуча зубами о стекло. От воды резкий холод, точно грудь и живот обложили льдом, зато ногам стало как будто теплее и посвежела голова. Графин сильно ударяется доньшком о доску столика, и голова Васи падает на подушку.

«Да, я совсем болен. Совсем, совсем болен. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне».

«Кто-нибудь» — это только Танюша. Остальным дела до Васи нет, — соседям по квартире, хозяйке, знакомым. И они все пойдутся.

От озноба Вася лихорадочно кутается в одеяло. Опять стучит в висках, и мучительно болит голова. И опять начинает свой беспокойный танец жесткая и неугомонная подушка.

Васе очень приятно, когда лба его касается холодная рука, и незнакомый мужской голос говорит:

— Конечно — сильный жар. Тут сомнения быть не может. Нужно в больницу, — только куда же сейчас отправишь. Некуда, везде полно.

Слова не доходят до сознания Васи, но зато другой, уже очень знакомый голос, несомненно, голос Танюши, сразу делает его спокойным и наполняет радостью.

— Как же быть, доктор? А нельзя оставить здесь, дома?

— Да и придется, конечно. Но кто же за ним ходить будет?

— Я могла бы.

Конечно — это ее голос. Вася лежит тихо, точно заласканный. Сразу прошли эти ощущения жесткой подушки, сразу согрелось тело и прошла боль головы. Но открывать глаза не хочется — пусть сон длится.

— Ну, — говорит доктор, — где же вам. Тут нужна настоящая сиделка. Тиф — не шутка.

— Я буду днем, а сиделку найдем какую-нибудь.

— Сиделку я, пожалуй, найду вам, только вот платить ей... Продуктами заплатите, мучки там. Одна у меня есть на примете, опытная, в больнице служила, и муж у нее врачом был. Только нужно осмотреть его и всю комнату почистить. Он, вы говорите, с дороги?

— Только утром приехал.

— То-то и есть. Осторожность нужна. Вы как, здесь пока побудете?

— Да. Скажите, доктор, что делать нужно?

— Да что же делать... Придется мне самому достать, что нужно. В аптеках сейчас ничего нет, да и не выдадут частному лицу. Я добуду сам, принесу. Часа два придется вам при нем посидеть одной.

— Я посижу сколько нужно.

Вася слышит звуки голосов и знает, что это говорят о нем и что это говорит Танюша. Знает, что он болен и что он счастлив. Больше Васе не нужно ничего слышать и понимать.

— Вася, вам больно?

Он на секунду открывает глаза, видит милую и знакомую тень, улыбается и вновь погружается в давно желанное небытие и спокойствие. Верный рыцарь счастлив. Вася спит. Если бы не пылающее жаром лицо, — он мог бы показаться мирно спящим, здоровым и счастливым человеком.

Так проходит минута, или час, или вечность, — пока сна Васи вновь не нарушает его жесткая и неугомонная подушка.

Но теперь кто-то сильной рукой сдерживает и усмиряет ее буйство. И голос шепчет:

— Вася! Мой бедный рыцарь, мой бедный, бедный Вася!

РАЗГОВОРЫ

Усиленно разыскивали старого боевого эсера. Что он в Москве — сомнений не было. Известно было, что он не только посещал знакомых, но даже осмелился сделать обстоятельный доклад о делах на юге в собрании интеллигентской группы. На этом собрании старый террорист был в желтых гетрах.

Субъект армянского типа, в круглой барашковой шапочке, в ярком жилете под распахнутым пальто, мирно беседовал с черноватой девушкой в платочке у парাপета набережной Москвы-реки.

— Все это мне, конечно, известно, потому я в армяшку и обратился. Болтуны эти ребята. А знаете, где мои гетры? Я продал их на Смоленском самолично. Мне очень нужны были деньги, а гетры — хороший товар.

Когда они расставались, армянин крепко пожал маленькую руку девушки.

— Ну, милая, прощайте. А может быть — до свидания. Чудеса бывают. Давайте поцелуемся. Теперь идите и не оглядывайтесь.

Она хотела отойти, но он вернул ее.

— Подождите, дружок. Значит, на случай неудачи или какой неожиданности — вы помните адрес? Там оставьте записку.

— Да, все помню.

— Вы в бога не верите? Я тоже; но все же, по-своему, буду за вас молиться. За нашу удачу!

Когда она скрылась за поворотом, армянин нахлобучил шапочку, застегнул пальто и пошел в сторону Замоскворечья.

Молнией пронесся по Москве слух о покушении: молнией блеснули и страх и надежды. Никто не сомневался, что в деле этом участвовал человек в желтых гетрах. Никто не сомневался и в том, что отвечать за покушение доведется многим, не имевшим к заговору никакого отношения, хотя бы отдаленнейшего.

Рассказывали о том, как солдаты, целя в сарае в грудь худенькой девушки-еврейки, дали неверный залп, как один из них забился в истерике, как раненую добил выстрелом из кольта в голову бывший рабочий, служивший на Лубянке, завзятый пьяница и бестрепетный исполнитель. Было много слухов, фантастических, тревожных, правдивых, вздорных, — и Москва, сжавшись и пригваившись, со страхом ждала грядущего.

Ждать пришлось недолго.

Зеленщик, приятель бывшего дворника Николая (дворники были отменены), немножко поправил свои дела. Не было, ко-

нечно, и речи о том, чтобы привозить, как прежде бывало, с подмосковных огородов полную телегу овощей, прямо на базар, на Арбатскую площадь. Сейчас торговать приходилось больше втихомолку, с оглядкой. Однако морковь, капуста и репа не такая тебе вещь, чтобы можно ее реквизировать, свалить в подвал и продавать да раздавать в паек помаленьку, от имени всей нации. Тут требуется знание и никакого промедления. Поэтому огородное дело на окраинах расцвело, а иные догадывались вспахать лопатой и сады,— только уследить трудно, так как народ пошел аховый.

Об этом зеленщик подробно докладывал Николаю, сидя в дворницкой особнячка на Сивцевом Вражке.

Николай соглашался:

— Народ пошел — чистый вор! К примеру — собака, — и та знает, чего нельзя, а что можно. А человек норовит стибрить всякое добро — только отвернись. А то и на глазах схватит.

— С войны это пошло.

Потом говорили о делах политических и ругали махорку:

— Словно опилки стала.

— Опилки и есть.

— Духу в ней нет настоящего.

В дворницкой воздух от трубок был тяжел, густ, сытен и уютен.

Зеленщик, Федор Игнатьич, человек бывалый и осведомленный, излагал события дня.

— Сказывают, опять расстреляли невесть сколько народу. Кого, может быть, и за дело: вора, разбойника, налетчиков там. А многих понапрасну, только для страха, чтобы страх нагнать.

Николай сказал строго:

— Убивать никого не надобно. Ты суди, коли есть за что. И кого отпусти, а кого на каторгу, для исправленья. Убивать человека нельзя.

— Вот я и говорю, если, например, за дело. А тут забрали людей, держали-держали, а потом всех для острастки и прикончили. Иной, например, старик, что с него взять, а другой мальчик, безо всякого смысла. И всех под одну гребенку. А из малыша человек может выйти получше всякого другого.

— Ребенка убивать — последнее дело. За это не простится.

— Я и говорю. У барыни одной, раньше капусту я ей доставлял, сынишку забрали и прикончили; паренек по семнадцатому году. Списки они составляли на что-то, по спискам и забрали их. А вины будто никакой и не было.

— Словно звери, — сурово сказал Николай.

— И звери, да и без пользы.

— От убийства какая польза. Кто меч взял, от меча и погибнет.

— А устроить ничего не могут. Скажем, купить нужно что — где теперь купишь? А уж в Москве ли не было добра!

— Разграбили все.

— Вот я и говорю. Растащить нетрудно, а вот поди-ка собери.

Это нужно с умом. А сейчас кто за командира? Вот ваш солдат, Дуняшин брат, Андрюшка-дезентир.

— Нету больше Андрюшки.

— Али прогнали?

— Сам убег. Приходили его спрашивать. В каком-то деле попался, наворовал, что ли. Жил хорошо, с достатком, куда лучше господ. У барина, у старика, ничего нет, внучка ихняя селедки ест, а у Андрюшки с Дуняшей завсегда к чаю ландрин. И меня угощали: этого, говорит, у нас сколько хочешь. Тоже и мясное каждый день.

— Убег, значит?

— Ушел; и Дуняше не сказал. Верно, в деревню ушел, к своим. А может, забрали его, нам неизвестно. Только что пропал комендант; а начальством был.

— Так. Какие и у них попадают. Чем-нибудь, значит, не угодил.

Потом Николай рассказывал о своих планах. Многого ему не нужно, а все же на четверке хлеба, на одной, не проживешь. Барышня, Татьяна Михайловна, селедку отдает: говорит, — много у нас. А откуда у ней будет много? Тоже Дуняша помогала. Однако теперь, как Андрей убег, стало и ей нечего жевать. К барышне назад в прислуги просится, а той кормить ее нечем, да и прислуга не надобна, в двух комнатах живут. Теперь тоже в деревню хочет. Денег ей Андрюшка давал все же, немного скопила, да стали деньги дешевы... На дорогу, может, и хватит. Конечно, она ближняя, Тульская, а мне далеко. А даром не повезут.

— Трудное дело.

На том и порешили, что дело трудное, а иного ничего не придумаешь. Зеленщик поднялся идти домой, а Николай тоже вышел с ним из дворницкой — подышать воздухом.

— Гляди, скоро мороз стукнет.

— И стукнет. Он не ждет. На него декрета не напишешь.

У ворот распрощались. Привычно помахав истертой метлой по тротуару, Николай поглядел на небо, подправил метлу, стукнув дважды о плиты, и пошел обратно, размышляя: «И так плохо, и сяк плохо. Раньше тоже, бывало, и вешали, и били, а толку не вышло. Все одинаковы».

И хоть любил тепло и табачный дух, а все же отворил ненадолго дверь своей дворницкой: «С этой, с нынешней махорки, ежели сейчас спать лечь, — обязательно угоришь. Из чего ее только делают?! Один обман!»

СЕСТРА АЛЕНУШКА

У постели Васи доктор и сестра милосердия. Фамилия доктора — Купоросов; он из семинаристов, уже очень пожилой человек, грубоватый и хороший. Единственный врач, которого признает орнитолог.

— Этому можно довериться. Он понимает, что медицина — не бог знает какая наука. Доброе слово больному больше помогает. Хороший человек Купоросов! И откуда он добыл такую фамилию? Стойкий человек, основательный.

Купоросов лечил всегда Аглаю Дмитриевну, лечил и профессора, и Танюшу, — еще когда была у нее скарлатина. Без приглашения же на Сивцев Вражек не являлся; впрочем, он был очень занят своей практикой — больше среди людей небогатых.

Доктор сам привел к Васе сестру милосердия Елену Ивановну, совсем молоденькую, но уже вдову. Муж ее, врач, умер от тифа. Доктор Купоросов очень любил своего молодого коллегу и, после его смерти, покровительствовал его вдове, находил ей работу, учил ее нелегкому ремеслу сестры милосердия, относился к ней, как к дочери. Ласково называл ее Аленушкой, но был, по обыкновению, очень требователен и строг, когда дело шло об уходе за тяжелобольным.

— Тут, Аленушка, дело идет о жизни человека. Чтобы никакого упущения! Главное — чистота и воздух, а лекарствами не поможешь. Парнишка молодой, нужно его выводить. Понимаете, Аленушка?

Аленушка, Елена Ивановна, была низенькой, кругленькой женщиной, цветущего здоровья, со вздернутым носиком и большими голубыми глазами, совсем некрасивой и очень хорошенькой. В гимназии ее звали пышкой и щипали во время уроков, а она взвизгивала, так как больше всего на свете боялась щекотки.

Но всего забавнее Аленушка смеялась. Смех ее был неудержен, начинался светлым колокольчиком, а в конце срывался в какой-то странный басовый всхлип — вроде того, как хрюкает поросенок. Подруг ее это приводило в полный восторг, а Аленушка, хрюкнув, пугалась и делалась сразу серьезной. Ей этот маленький недостаток причинял большое горе, и она не знала, как от него избавиться.

Позже, впрочем, решила, что особого горя в этом нет, — когда жених ее, молодой доктор, заявил ей, что она победила его именно своим смехом. Женившись, он называл ее в порыве нежности милой своей хрюшкой.

С ним Аленушка могла бы быть счастлива, но жили они вместе недолго, не больше полугода. Его отправили на фронт, на тиф, и очень скоро Аленушка получила от него письмо, что ему что-то занездоровилось. Это письмо и было последним.

Долго после этого Аленушка не смеялась своим заразительным смехом, и, так и не став дамой, стала дочкой и воспитанницей доктора Купоросова. Он и приспособил ее к уходу за больными.

— Я, Аленушка, теперь пойду по другим больным, а к семи часам буду дома. Если больному станет плохо, вы сейчас ко мне, либо самолично, либо лучше пошлите кого-нибудь. Давайте ему пить, сколько захочет, и тряпочку с уксусом меняйте, как согреется. И прочее, Аленушка, как обычно, вы же ведь уже знаете все.

— Я знаю, доктор.

— Ну, вот. Я на вас надеюсь. Никого к нему не пускайте, кроме этой барышни, которую тут видели, и его приятеля, который тоже тут был. Они славные люди и вам помогут, в случае чего — сменят вас.

— Хорошо, доктор. А она кто!

— Барышня? Она внучка одного профессора, старого моего пациента. Зовут ее Танюшей, а отчество не помню. Отличная девушка, кажется, играет хорошо или еще что-то делает.

— Какая она красивая!

— А? Красивая? Должно быть, уж не знаю.

В женской красоте доктор Купоросов не очень разбирался. Может быть, и Аленушка красавица, а может, и уродец. Пусть в этом другие разбираются.

Когда ушел Купоросов, Аленушка осмотрелась, поставила поближе к постели твердое кресло, пожалела, что нет на нем подушечки, вынула из небольшой принесенной корзинки желтенькую книжку Кнута Гамсуна «Виктория». Она этот роман читала раньше, и так он ей понравился, что решила прочесть еще раз; впрочем, ничего другого под рукой и не было. Когда устроилась в кресле хорошо и удобно, чтобы долго можно было так сидеть, с любопытством стала смотреть на лицо спящего больного.

Спал Вася Болтановский беспокойно, все время перекатывая голову по подушке. Приходилось поправлять ему подушку и перекладывать на лбу укусную тряпочку. Подбородок его был давно не брит, и на лице, пылавшем от сильного жара, лежали тени. Но ямочка на подбородке была ясно видна, и это как-то сразу расположило к нему Аленушку.

«Бедненький, какое славное лицо!»

В комнате Васи было чистенько прибрано, — постарались Танюша и инженер. На ночном столике послан был чистый Васин платок с меткой «Б», вышитой крестиком на уголке.

Прядь волос, которая всегда причиняла Васе заботу и беспокойство, лежала поверх компресса, мокрая и путаная. Аленушка отвела ее к подушке.

«Нужно будет его остричь».

Затем Кнут Гамсун начал свой нежный рассказ про любовь. Аленушка понимала любовь именно так, как Кнут Гамсун. Любовь — вещь беспокойная, и роману нисколько не вредило, что время от времени Аленушке приходилось отрываться от книжки: то поправить компресс, то поднести кисленькое питье к пылающим и сухим губам Васи, то улыбнуться больному хорошей улыбкой, которой он не мог ни понять, ни оценить: Вася Болтановский редко приходил в сознание.

На столике стоял будильник — и потянулись часы. Ночь будет бессонная, разве немножко удастся Аленушке подремать в кресле. А утром ее сменит либо эта красивая девушка, внучка профессора, либо господин, который был и ушел с нею. Может быть, они — жених и невеста? А может быть, этот больной — ее жених.

И опять Кнут Гамсун рассказывает про любовь. И как замечательно он про нее пишет!

Когда стемнело, Аленушка зажгла настольную лампочку, затемнила ее от глаз больного. вынула из своей корзинки кусок пайкового хлеба, баночку с чем-то съедобным, соль в бумажке и яблоко. У Васиного письменного стола закусила, прислонив Кнута Гамсуна к чернильнице и продолжая читать. Закусивши, руки вытерла бумажкой, крошки собрала, баночку с остатком съестного положила обратно в корзинку, яблоко, большое и румяное, решила съесть после, походя, за чтением, и, прежде чем опять устроиться в кресле, подошла к зеркалу поправить косынку на голове.

Когда Аленушка смотрелась в зеркало, она слегка нагибала голову, чтобы носик не казался слишком вздернутым.

Вася тихо сказал в полусне:

— А как же быть? А как же быть? Сейчас отходит?

И громко крикнул:

— Подождите, по крайней мере. Я не могу же так...

Аленушка подошла, переменяла на лбу больного тряпку, отжав ее пухлой рукой,— и в это время Вася открыл глаза и спросил удивленно:

— Вы-то кто?

— Лежите спокойно.

— Нет, а вы-то кто?

— Я сестра милосердия. Ну, как вам, полегче?

Вася на минуту опять закрыл глаза, потом сказал внятно:

— Очень хочется пить.

Аленушка взяла стакан, помогла напиться, и Вася опять посмотрел на нее воспаленными и внимательными глазами.

— А вас как зовут?

— Зовут меня Елена Ивановна. Вам не нужно разговаривать, лучше постарайтесь заснуть тихонько.

Вася болезненно улыбнулся, сказал: «Постараюсь» — и действительно заснул, а Аленушка подумала: «Какая у него улыбка хорошая! Бедненький, вот страдает».

Постучалась хозяйка квартиры, напуганная болезнью жильца. Аленушка вышла к ней и сразу заключила с ней дружеский союз, успокоив ее насчет незаразительности сыпного тифа,— если все держать в чистоте. Поговорили о нужном, условились. Хозяйка предложила вскипятить воды, если потребуется. Вася был ее давнишним и любимым жильцом. Уходя, очень похвалила Аленушку, сказавши:

— Какая вы молоденькая да румяная, с вами всякий выздоровеет. Прямо как девочка. Неужто замужем?

— Я вдова.

Это уж совсем растрогало хозяйку, и она заявила Аленушке:

— Если вам нужно будет уйти ненадолго, вы мне скажите, я у него посижу. А как же вы спать будете?

— Ничего, я привыкла в кресле.

Тогда хозяйка принесла подушечку для сиденья и еще большую мягкую подушку — чтобы удобнее спать в кресле.

— У нас, слава Богу, хоть тепло, не замерзнете. Дровами обзавелись, и я печку свою топлю через день, тут за стеной прямо. Все даже завидуют. Оттого и в этой комнате тепло.

Вечером поздно доктор Купоросов забежал ненадолго, пощупал пульс, велел отмечать температуру на бумажке, все одобрил, поцеловал Аленушку в лоб.

— Ну, я пойду, а вы, миленькая, все же хоть в кресле подремлите. Значит — до завтра. Утром зайду в начале девятого.

Кнут Гамсун продолжал свой рассказ, — и это удивительно, до чего ясно представляла себе Аленушка и любовь и муки его героя!

ПЯТАЯ ПРАВДА

От боярина Кучки и до наших дней считано на Москве пять правд.

Правда первая — подлинная. Жила эта правда на Житном дворе, у Калужских ворот, в Сыском приказе. На правее заплочный мастер выпытывал ее под линьками и под длинниками, подтянув нагого человека на дыбу. У стола приказный дьяк гусиным пером низал строку на строку.

Вторая правда — подноготная: кисть руки закрепляли в хомут, пальцы в клещи, а под ногти заклепывали деревянные колышки. «Не сказал правды подлинной — скажешь подноготную».

Третья правда жила у Петра и Павла, в Преображенской приказной избе, где ею князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, «человек характера партикулярного, собой видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому». От его расправы «чесали черти затылки».

Завелась было четвертая правда «у Воскресенья в Кадашах», за Москва-рекой, где жил в пятидесятых годах девятнадцатого столетия именитый купец, городской голова Шестов, защитник интересов бедного московского люда. Но такая правда, ненастоящая, долго удержаться не могла.

Дальше счет московским правдам был потерян, — уже не говорят о них, о каждой особо, народные пословицы: ни о Бутырской, ни о Таганской, ни о Гнездииковской. Помудревший народ свел все правды в одну, и эта одна «была, да в лес ушла». — «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и нигде ее нет».

Правда пятая родилась в наши дни на Лубянке.

Выпытав правду, ненужного больше человека «укорачивали на полторы четверти». Для этого нашлось в Москве много мест, оставшихся в народной памяти. На одной Красной площади, от Никольской до Спасских ворот, вырос позже ряд церковок «на костях и крови», и еще одна «на рву». Грозный укорачивал

людей «у Пречистой на площади», перед Иваном Святым, позже названным Великим. «А головы метали под двор Мстиславского», — чтобы было чем чертям в сучку играть.

Еще были такие места в разное время и у Серпуховских ворот, и в Замоскворечьи близ Болота, и у великомученицы Варвары, и на углу Мясницкой и Фурманного, и где придется, а зимой и на льду Москва-реки.

Много, очень много было в Москве мест, где козам рога правили, где пришивали язык ниже пяток, вывешивали на костяной безмен, мыли голову, чистили пряжу, лудили бока, прогуливали по зеленой улице, парили сухим венником, крутили кляпом и пытали на три перемены.

Богат, красив и полнозвучен русский язык. Богат, а будет еще богаче.

При правде пятой — лубянской — стали пускать по городу с вещами, ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском — и где доведется...

Раньше тут жили люди коммерческие, и преобладали восьмипроцентные и десятипроцентные интересы. Восемь и десять — огромная разница: восемь — обычное благополучие, десять — относительное богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, знали твердо, что жизнь — только сегодня, что даже и сто процентов — пустяк, что либо весь мир, либо завтра же позорный конец.

Новые люди чуждались веры — или им так казалось. Несомненно — им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренные обыватели приходят сюда с трепетом, просят — заикаясь, уходят — плача, хитрят прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас — яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелостью товарных образцов, сейчас — знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.

При входе — балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, — ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях,— для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Моя жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
пращай мая весна!

И могила нарисована — высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей — имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память,— как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских воров: «Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов, по прозвищу Ванька Огонек».

А рядом, в общей камере Корабля,— мелочь: каэры, эсеры, меньшевик со скудной бородкой, в очках, гнилозубый, трус, без огня и продерзости — человеческая тля.

На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, комиссар смерти Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с беспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек — Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом — из меньшевиков, спорщик пишет заявленья, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом — спекулянт, продал партию сапожной кожи — да попался. И еще рядом сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего.

— Здравствуй, Степа. Куда едешь?

— Должно — в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят на плечи осмнадцать лет и жизнь кокаинная.

И скоро уводят Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!

Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить,— да не все охотно делят с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки — беспардонный палач, мать родную — и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулочек — самое главное, где вся борьба,— Особый Отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспред-

метной тревоги. Здесь надо всем навис и царит и неслышно командует умный и тяжкий гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусивший царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, народный мститель, всю кровь на себя прихвативший, — имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву — врага народа и революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время в малую камеру с нарами, пересчет в большую — с клопами, во всем известную контору Аванесова, а после, по особой записке, прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшное молчаливое здание Особого Отдела, откуда длинные коридоры, холодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская — Лубянская Правда.

ТОВАРИЩ БРИКМАН

Маленький, жидковолосый, расплоснутый в груди человек, широко расставив локти и близко смотря на бумагу левым глазом, писал мелким бисером.

Звякнул на столе телефон.

— Да. Да, я. Хорошо. А он когда арестован? Ладно, товарищ. Только вы поскорее пришлите мне дело, я же ведь не знаю. Ну хорошо. Вызову, сам вызову, хорошо.

Голос человека был тонок, как женский, с легкими визгливыми нотками.

Окончив свое «заключение», внимательно перелистал худыми, тонкопальными, детскими ручками принесенное «дело», вскрыл пакет бумаг, отобранных при обыске, буркнул про себя, поморщившись:

— Опять набрали глупостей, ни черта не понимают.

Позвонил, подписал приказ и отдал вошедшему солдату отряда особого назначения:

— Снесите, товарищ, в комендатуру, и чтобы сейчас привели ко мне.

Встал, прошелся по комнате, покашлял в угол, выглянул в коридор и попросил, нельзя ли подать горячего чаю. Чай, жидкий и тепловатый, принесла низенькая женщина в кудряшках под платком, бойкая и уверенная.

— Не знаете, товарищ Брикман, выдача сегодня будет?

— Не знаю.

— Говорили, что клюкву и, может быть, вязаные свитеры будут выдавать.

— Не знаю.

— Ох, уж кто же знает!

Конвойный доложил, что арестованного привели.

— Так и ведите сюда. Сами подождите за дверью, пока позову.

Следователь заспешил, сел за стол, положил перед собой

оконченное «заключение», взял в руки перо и принял вид пишущего.

Стукнула ручка двери, и солдат из-за двери сказал:

— Налево к столу идите.

Вошел Астафьев. Высокий, в слегка помятом костюме, небритый, с виду спокойный.

Следователь поднял голову и, едва взглянув на вошедшего, показал на стул со своим столом.

— Садитесь. Вы гражданин Астафьев?

— Да.

— Садитесь.

Минуты две проглядывал свое «заключение», читая только глазами, и в то же время придумывал вопрос. Затем вложил в папку, отложил, пододвинул дело Астафьева и спросил:

— Вы профессор?

— Приват-доцент.

— Ну да, все равно. Философ?

— Да.

— Вы почему арестованы?

Астафьев улыбнулся:

— Это вам знать лучше.

— Я и знаю. А вы как думаете?

— Думаю, что арестован я так, зря, ни почему.

— Значит, вы думаете, что мы зря арестовываем?

Астафьев искренне рассмеялся.

— Думаю, что случается; из двадцати человек — девятнадцать наверное.

— Напрасно так думаете. Ошибки, конечно, возможны, но ошибки исправляются. Нам приходится быть осторожными, так как советская власть окружена врагами. Пусть лучше десяток людей посидит напрасно, чем упустить одного врага. Вы этого не думаете?

— Нет, не думаю. Я думаю как раз наоборот: лучше упустить виновного, чем лишиться свободы десятерых.

— Ну, мы думаем иначе. Пролетариат не для того завоевывал власть, чтобы рисковать ею из-за интеллигентских сентиментальностей. Пока советская власть окружена врагами...

Голосом тоненьким, скрипучим, без запятых, следователь долго и тягуче произносил слова, много раз читанные Астафьевым в передовых статьях «Известий» и «Правды», слова, набившие оскомину своей правдой, своей ложью, своей практичностью и своей фантастичностью. Рассеянно слушая его, Астафьев болезненно ощущал нахлынувшую скуку и ждал, когда следователь кончит. Одновременно вспоминал:

— Где-то я его уже слышал и где-то видел. Где?

Внезапно оборвав популярную лекцию, тем же тоном следователь спросил:

— К вам на прошлой неделе заходил человек в желтых гетрах. Как его фамилия?

Астафьев равнодушно ответил:

— Может быть, кто-нибудь и заходил в гетрах, не помню.

— Он долго у вас оставался?

Астафьев поморщился:

— Раз я говорю — не помню такого, то что же это за вопрос?

— А кто у вас был на прошлой неделе, назовите всех.

— В чем вы меня, собственно, обвиняете?

— Здесь не суд, я вам отвечать не обязан. Когда все выясним — узнаете. А вы ответьте на вопрос.

Крупный, здоровый, красивый человек посмотрел сверху на маленькую, тщедушную фигурку следователя.

— Оставьте эти вопросы. Как я вам отвечу, когда не знаю даже, в чем обвиняюсь. Я назову вам кого-нибудь, а вы его арестуете. За кого же вы меня считаете?

— Придется считать за врага советской власти.

— Ну и считайте, если вам хочется.

— А вы знаете, гражданин Астафьев, чем вам это грозит?

— Могу догадываться, но это для меня не убедительно. А вот скажите, следователь, где я вас мог видеть? Мне ваше лицо знакомо.

Следователь нервно дернулся, и в голосе его появилась визгливая нотка:

— Это не относится к делу. Вы на мои вопросы ответите?

— Не встречал ли я вас за границей? В Берлине, например? Вы не из эмигрантов? Мне вспоминается — на каком-то эмигрантском митинге... Постойте, ваша фамилия не Брикман? Но, помнится, вы тогда были меньшевиком. Правда?

Товарищ Брикман заерзал на стуле, нажал кнопку звонка и крикнул:

— Угодно вам отвечать на вопросы?

Астафьев с широкой улыбкой, немного насмешливо добавил:

— И вы, помнится, там, в Берлине, выступали против Ленина. Ай-ай-ай!

Брикман взвизгнул вошедшему конвоиру.

— Отправьте арестованного обратно!

— Бумажку позвольте.

Пока Брикман подписывал бумажку, Астафьев добродушно говорил:

— А вы не волнуйтесь, товарищ Брикман, вам это вредно, вон вы какой худой. Берите пример с меня. Все это — пустяки, и не стоит волнений.

— В советах я не нуждаюсь, гражданин Астафьев, а вам придется долго посидеть, если чего похуже не будет. Можете идти.

Когда конвойный увел Астафьева, следователь долго, расставивши широко локти и навалившись на стол расплоснутой грудью, мелким бисером писал на анкетной бумажке, приложенной к делу. Окончив, встал, прошелся по комнате, опять покашлял в уголок, пощупал свой пульс, оглянулся на дверь и подошел к тусклому зеркалу в рамке, висевшему близ окна. В зеркале туманно отразилось его лицо, худое, с тщедушной белоку-

рой бородкой, с большими глазами над припухшими мешочками, со слишком оттопыренными ушами.

Грудь его, разбитая прикладами в пересыльной тюрьме, когда он был еще студентом, никогда с тех пор не дышала свободно. В жизни его не было радостей, и тянуть эту жизнь — не нужного никому чахоточного человека — он не мог, только поддерживая себя верой в революцию, в будущее счастье человечества, в золотое время, которое неизбежно придет за периодом упорной и беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. Правда, сам он рабочим не был, да и не мог быть — с разбитой грудью; но все же ему, Брикману, суждено было стать одним из героев и защитников нового строя, впервые родившегося в России и долженствующего охватить весь мир. Слабый здоровьем, он должен быть стойким, стальным, несокрушимым волею, — в этом все оправдание жизни.

Товарищ Брикман опять подошел к зеркалу, немного закинул голову и попытался выпрямиться. И опять зеркало тускло отразило тщедушную фигурку, украшенную красноватыми, лихорадочными глазами. Карманы френча оттопырились, но грудь не натянула защитной материи.

Товарищ Брикман не курил; от дыму он начинал кашлять долго и нудно. Он любил чистый воздух, но боялся открывать окно, так как от холоду также кашлял. В кармане он носил скляночку с герметически закрывающейся крышкой, в которую и плевал.

Сегодня он не сдержался, позволил себе потерять равновесие. Это плохо, это не должно повторяться! Против Астафьева нет достаточных улик, но по тону, по разговору, по поведению он — настоящий и опасный враг. Его делом нужно заняться, нужно вывести его на чистую воду, нужно!

В памяти Брикмана мелькнула фигура Астафьева, широкогрудая, здоровая, насмешливая.

Следователь взял телефонную трубку и тонким голоском, нетерпеливо нажимая рычаг, начал:

— Алло, алло...

У ЕГО ПОСТЕЛИ

По выражению, узаконенному развивавшейся в Москве канцелярщиной, Аленушка «вошла в контакт» с хозяйкой квартиры, где лежал больной Вася Болтановский. Контакт привел к тому, что совместными усилиями добыта была манная крупа и немного сахара, — в обмен на привезенное Васей пшено.

— Вы о нем заботитесь, Елена Ивановна, словно о своем женихе.

— Ну вот уж, вы скажете. Просто — нужно же ему что-нибудь легкое. Вы посмотрите, до чего он исхудал!

Аленушка, меняя больному рубашку (чистую предварительно грела у хозяйской печки), с жалостью смотрела на впадины

у ключиц и на отчетливые ребра Васи. Беспомощность его трогала Аленушку и вызывала в ней нежные чувства к больному. Без Аленушки Вася ни в чем не мог обходиться и, в минуты сознания и крайней слабости, преодолевая стыд, пользовался ее милосердной сестринской помощью.

Теперь кризис болезни миновал. Вася был в полном сознании, но ослаб бесконечно. Доктор Купоросов при каждом визите говорил, уводя Аленушку в переднюю:

— Следите внимательно за температурой, Аленушка. Его нужно обязательно подкармливать, понемножку, но чаще. Утром тридцать пять и два было? Вот видите; это так же опасно, как большой жар. Он так у нас совсем замерзнет. Кашку давайте горячую, побольше масла. Молоко тоже хорошо. Как окрепнет немножко — и мяса можно, рубленую котлетку; телятины и курятины сейчас не достанешь. Не позволяйте утомляться, сидеть в постели, разговаривать, — пусть лежит. И сами, Аленушка, много не болтайте, не забалтывайте его. Ну-ну. Славный паренек, жалко.

Голову Васе вторично обрили, заодно побрили и отросшую бородку. Вася лежал теперь чистенький, беленький, худой, кареглазый, с ямочкой на подбородке. Говорил мало, тихим голосом, и все больше слова благодарности.

— Спасибо, Елена Ивановна, зачем вы все сами, могла бы Марья Савишна помочь вам хоть в грязных делах. Уж очень мне неловко.

— Пустяки вы говорите. И нужно же прибрать хорошенько. К вам скоро придут.

Придут — значит, Танюша и Петр Павлович.

С того момента, когда миновал кризис болезни и Вася пришел в полное сознание, он, лежа покойно и внутренне радуясь возврату жизни, — усиленно и насколько позволяла еще слабая голова вспоминал, какие видения прошли перед ним за время болезни, что было бредом и сном, в чем была доля действительных впечатлений. Вполне реальна была только постоянно бывшая при нем сестра милосердия, Елена Ивановна, которую доктор так хорошо называет Аленушкой.

Аленушка мелькала и в бреду и в сознании. Аленушка являлась всегда, когда ссыхались губы и душил жар, когда останавливалось или уж слишком сильно билось сердце, когда пылала голова и глаза смотрели сквозь лиловые и туманные круги. С приближением Аленушки становилось сразу лучше и легче. Голос Аленушки звучал утехой.

Но иногда Аленушку отстраняли другие тени и видения, и голос ее сменялся другими голосами. Это были, конечно, Танюша и Протасов. Всегда двое, всегда оба вместе. И два голоса, говорившие шепотом иногда с ним, с Васей, иногда друг с другом.

Голос Танюши, всегда нужный и жданный, но звучащий одновременно с другим, не успокаивал, а волновал Васю. Иногда хотелось его поймать и заставить говорить для себя,

слова необходимейшие, страшно важные, или хотя бы слова утешения и жалости. Но этому мешал другой голос, мужской, ровный, спокойный, уверенный, почти веселый. Голос Аленушки был всегда для Васи; другие два голоса — как будто — звучали друг для друга, хотя, возможно, говорили тоже о нем и для него. Объяснить это трудно, — но так чувствовалось. И, слыша эти голоса, Вася беспокойно метался, бредил и вскрикивал.

Затем всплыло еще одно воспоминание — если оно не было сном. Приходя порою в сознание, Вася отвечал на обращенные к нему вопросы (хочет ли пить, поправить ли ему подушки) и видел ясно тех, кто с ним говорил. Но, увидав, забывал о них сейчас же, они как-то уходили за круг его внимания, за пределы мира, в котором он вел борьбу со смертью. Были все же и более длительные просветы. Так, однажды, он долго рассматривал лицо Аленушки, спавшей в кресле, и удивлялся здоровому ее румянцу и простодушному складу губ. В другой раз, утром, рассмотрел до последней черточки лицо доктора, склонившегося над ним, и улыбнулся, когда доктор сказал: «Ну, глазки у нас просветлели, гражданин, пора выздоравливать». Видел ясно и Танюшу, смотрящую на него испуганно и с такой жалостливостью, что Васе захотелось плакать; но в лице Танюши, таком любимом, было что-то чужое. И, наконец, видел однажды — но это могло и показаться — обоим друзей своих, Танюшу и инженера, сидевших рядом, близко к его постели и близко друг к другу, не говоривших ни о чем, но смотревших друг на друга с непонятым для Васи выражением.

Было это так. Вася, очевидно, крепко и покойно спал. Затем проснулся с приятной ясностью головы, с ощущением свободы от болезненного припадка, — когда не хочется пошевелиться, чтобы не спугнуть этого покоя и этой ясности. Открыв глаза, он увидел свою комнату в отчетливых очертаниях и освещенные лампой два лица, смотрящие друг на друга молча, словно застывшие в созерцании. Еще показалось Васе, что руки Танюши и инженера были соединены. Он мог бы и не заметить этого, если бы при попытке его повернуть резче голову к сидевшим Танюша не сделала прерывистого движения, как бы отдернув свои руки. Тогда Вася закрыл глаза и почувствовал, как исчезли покой и ясность и снова вернулось к нему мучительное полусознание, тяжесть в темени и боль в висках. Все это теперь вспомнилось, — но как-то туманно; могло и не быть в действительности.

Вчера был первый день полного сознания Васи. Но, сильно ослабев, он почти все время спал и Танюши не видал.

— Сестрица, вчера Татьяна Михайловна приходила?

— Была. Она всегда приходит к трем часам, когда я ухожу домой. За всю вашу болезнь только дня два-три пропустила, не могла зайти. Тогда Марья Савишна сидела около вас.

— Сколько я хлопот вам всем доставил. Я был очень болен?

— Что было, то прошло. Нехорошо с вами было.

— А уж много дней?

— А вы не помните? Завтра пойдет четвертая неделя.

— Неужели так много! И вы все время около меня, Елена Ивановна?

— Все время.

— И все ночи? Когда же вы спали?

Аленушка рассмеялась колокольчиком.

— Ночью и спала, а то иногда и днем дремала.

— В кресле спали?

— Когда вам очень плохо было — в кресле, а если вы не очень метались, приставляла к креслу стулья и спала, как в постели. Марья Савишна надавала мне одеял и подушек, настоящую кровать устроила; но я боялась слишком разоспаться.

— Как вы так можете? Вот устали, должно быть. А вид у вас цветущий, даже смотреть завидно.

— Так я же очень здоровая, мне ничего не делается. И очень привыкла. А вот вы слишком много болтаете, доктор это запретил.

— С вами невредно.

И правда, Вася очень утомился.

Когда минут через пять в дверь легонько постучали и Танюшин голос шепотом спросил: «Ну, как сегодня?» — Вася не открыл глаз, хотя слышал и ответ Аленушки:

— Сегодня совсем хорошо.

— Спит?

— Кажется.

Вася не открыл глаз, когда за новым стуком послышались легкие мужские шаги, а затем, одновременно поздоровавшись и попрощавшись, вышла из комнаты Аленушка. Так лежать было лучше, взглянув же — нужно говорить; но прежде, чем говорить, нужно думать, и это страшно трудно и тяжело.

В своем усталом покое он слышал шепот и слышал, как инженер сказал:

— Я сейчас должен уйти; ничего, что вы одна останетесь?

— Ну, конечно, раз вам нужно. Но вечером вы зайдете к нам?

— Да уж как всегда. Ну, пока до свиданья, Танюша.

«Как всегда? И он зовет ее Танюшей?»

Вася открыл глаза и увидел Танюшу, провожавшую его дожного спутника таким ласковым взором, каким никогда она не провожала самого Васю.

И Вася вспомнил: «Сколько сказала Аленушка? Да, завтра начнется четвертая неделя...»

ИЗМЕННИКИ

Те, кто с ночи стояли в очередях, ожидая, когда откроют, под белой с красным уже полинялой вывеской зашитую досками дверь и когда начнут выдавать по детскому купону про-

горькое пшено, — те менее всего думали, что вот где-то все еще идет война и что в ней Россия не участвует. Довольно своих забот и горя своего: давно о войне забыли. От нее остались одни могилы, вдовы, семейное разорение и проклятая память, заглушенная сегодняшними страданиями.

Юрист Мертваго, которого некогда дядя Боря устроил в земсоюзе (форма земгусара очень шла Мертваго), — юрист Мертваго, у жены которого уцелели драгоценности, особой нужды не испытывал. Но все же большой ошибкой было не уехать вовремя в Киев и далее, как сделали другие, более предусмотрительные. Подготавливая теперь отъезд, что было уже много труднее, Мертваго полагал, что мы, русские, оказались изменниками делу союзников и что позорный (дома он говорил «похабный») Брестский мир кладет неизгладимое черное пятно на честь русского народа.

Изменники стояли в очередях, под мокрым снегом, жевали хлеб пополам с мусором и навозом, отбивали укусом тухлый дух кобьятины, из которой жарили котлеты на касторовом и минеральном масле.

И в городе, и в нехлебных деревнях они ходили рваными, заплатанными, без улыбок на лицах, без желания тянуть жизнь, за которую цапались и цеплялись только по привычке и чувству звериному. Закоренелые в преступности своей, они не только делом, но и помыслом не были там, где солдат, шедших умирать, умели хотя бы хорошо одеть и накормить.

Дядя Боря, раньше работавший на оборону, затем временно ушедший в саботажники, теперь устроился, как опытный спец, в Научно-техническом отделе. Он говорил про себя так:

— Вот, служу в ВСНХ, но, конечно, не с ними, а в научном отделе, безо всякой политики. Надо спасти жизнь и науку. Отдел наш автономен.

В кабинет старшего начальства, молодого и несколько растерянного коммуниста, уважавшего ученых и боявшегося перед ними сконфузиться, дядя Боря входил застегнутым на все пуговицы, и даже на ту, которая болталась на ниточке и могла легко отпасть. Войдя, кланялся, держа голову бочком и не зная, куда деть руки. Смущенный начальник просил дядю Борю садиться, и дядя Боря садился не на весь стул.

С точки зрения юриста Мертваго, специальность которого временно оказалась никому не нужной, дядя Боря был тоже изменником, как поступивший на советскую службу. Правда, судил он его не очень строго: «могий вместити — да вместит», — не всякому дано сохранить принципиальную чистоту.

Дядя Боря приходил на Мясицкую с портфелем, где лежали проекты стандартизации тракторов и приспособления этих тракторов к сельскохозяйственным работам, и с прочным швейцарским мешком — на случай выдачи в паек съестных припасов. Но так как тракторов еще не выделяли, а вопрос о стандартизации особой спешки не требовал, то, заглянув в свой отдел и отдав в переписку бумаги, дядя Боря шел в Малый

Златоустинский, где также могли быть выдачи — по другому отделу. И поздно возвращался домой корыстный изменник дядя Боря, принося в мешке банку черной патоки, наперсток дрожжей, пяток тронувшихся селедок, а иногда квадрат толстой резины — на две подошвы. В глазах прочих, не спецов, дядя Боря был счастливецом. По вечерам, засыпая под одеялами и шубами, с меховой шапкой на голове (печурка ночью совсем осыпала), он говорил жене:

— Есть надежда получить академический паек.

— Правда? — оживлялась некрасивая и сухая жена дяди Бори, высовывая нос из-под вороха старых одеял.

— Не наверное, но есть надежда. Поднят даже вопрос о кремлевском, но для очень немногих.

— Ты не попадешь в число? Вот бы хорошо.

— Не знаю. Трудно. Но может быть.

В кремлевском пайке выдавали иногда белую муку. И постоянно — настоящее мясо.

Таков был даже дядя Боря. Что же сказать о солдате, ушедшем с фронта и унесшем с собой казенный штык да кое-что из вещей, добытых при разгроме земского склада? Что унес он казенное добро — это солдат знал твердо и не был уверен, что поступил ладно. В деревне, ковыряя ржавым штыком худой хомут, он помнил о краже, но не подозревал об измене, о гнусной своей измене союзникам. И скажи ему кто-нибудь это на век позорящее слово, — он с полным непониманием вылупил бы голубые славянские очи.

Зипуны, чуйки, блузы, пиджаки с продранными локтями, охолодавшая, оголодавшая, ограбленная в войне и мире, изможденная и очумевшая в революции и блокаде великая и многоязычная нация, народ русский, зверь и подвижник, мучитель и мученик, — стал изменником. Он изменил Европе, которой не знал, которой не присягал, от которой ничего не получал и которой так, зря, черт ее знает за что, отдал миллионы жизней, — за прекрасные ее очи.

По всем этим причинам одиннадцатого ноября восемнадцатого года решительно ничего особенного не случилось в Москве и в России.

Все проснулись рано, так как много было неотложных работ. Все заснули рано, так как с электричеством было плохо, а керосин дорог и недоступен. Центральная электрическая станция, за недостатком топлива, сжигала нотариальные акты, купчие крепости, процентные бумаги, старые кредитки и архивы царских присутственных мест.

Ни одиннадцатое ноября, ни следующие дни ничем не были отмечены в ряде холодных и снежных дней. В газетах, которых не читали, были напечатаны коротенькие заметки о перемирии, заключенном на европейских фронтах; но это не имело никакого интереса и значения в глазах людей, стоявших в очередях и мечтавших о жире и сахаре. В тех же газетах с прекрасной откровенностью были напечатаны списки

расстрелянных за последнюю неделю; это было интересно для родственников и близких; остальные понаслышке повторяли цифру, которой не верили, и несколько имен, казавшихся знаковыми. Как голод, как холод, как тиф — расстрелы стали явлением быта и тревожили мысль только ночью, когда страхи сгустились над головами тревожно спавших граждан самой свободной в мире страны.

На улицах европейских городов люди читали экстренные выпуски газет, пели, обнимались, танцевали. К счастью, ликующие шумы эти не доносились до русских городов и деревень, до ушей тех, кого Европа заклемила кличкой изменников.

Добродетель торжествовала — порок был наказан.

Если на небесах, за снежными облаками, собрался в это время ареопаг судей вышних, вряд ли приговор их отличался от приговора людского. Русский народ, изменник и мученик, не имел адвоката ни там, ни здесь и, погруженный в личные заботы, не явился ни на суд божеский, ни на суд человеческий:

— приговор вынесен был ему заочно.

ТОТ, КТО ПРИХОДИТ

Как рождается любовь?

Ах, Танюша, этого никто не знает. Ее прихода ждут, — а она является неожиданной. Ее живописуют себе всеми известными и любимыми красками, — а она прокрадывается, закутавшись в дешевый, серенький, незаметный плащ. Но от этого она не менее хороша и желанна.

Она любит поражать внезапностью и нелогичностью. Астафьев правду говорил: логика убивает красоту и сказочность. И правду ему сказала Танюша: «Уж если думаешь — значит, не любишь; а вот когда не думая...»

Танюша не думала, а просто знала. Пришел и постучался человек, совсем не особенный, совсем простой и обыкновенный, вчера бывший посторонним, а сегодня... ну скоро ли наступит вечер и он опять придет!

У него шершавая рука — от работы и частого мытья серым мылом. Но другие руки — руки других — гладкие, тепловатые, тоже дружеские и ласковые, не нужны, неприятны, безразличны. Ему же, сразу знакомому, отдаешь руку счастливо и навсегда. А объяснить этого невозможно, — нет объяснения. Само понимается.

Восемь часов. Глаза Танюши бегают по строчкам книги, книга обиженно молчит: она не привыкла к рассеянности. Дедушка глубоко ушел в кресло, и, конечно, дедушка не может прислушиваться так чутко. Среди шагов на улице он не отличит нужного шага, который непременно остановится у подъезда, переждет мгновение (почему это?) и все же скажется стуком. Тогда Танюша, сдерживая торопливость, отложит книжку и пойдет отворить.

— Кто это, Танюша?

— Это Петр Павлович, дедушка.

— А, вот хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, какие новости принесли?

— Новостей никаких. Как здоровье ваше, профессор?

— Скриплю, скриплю. Вот спасибо, что пришли, Танюша вас заждалась.

— Ну что это, дедушка!

— А что же, чего же тут плохого. Без вас, Петр Павлович, нам скучно.

Инженер садится на диване рядом с Танюшей и говорит:

— А я вот действительно заждался. Из-за пустой справки пришлось обегать пол-Москвы. Вы знаете, профессор, сейчас в Донецком бассейне почти не работают. А между тем нам без угля — чистый зарез.

Протасов рассказывает о планах, Танюше неинтересных и неведомых. И Танюша слушает его со вниманием и гордостью: вот он какой. Если он чего-нибудь захочет, то непременно добьется.

— Планы-то планами, — говорит профессор, — а дадут ли вам эти планы осуществить? Не вылетела бы вся энергия в трубу дымом.

— Трудно, очень трудно. Такая повсюду неразбериха, и средств мало. На что другое деньги есть, а на настоящее и нужное дело приходится по копейкам вымалывать. Но что же делать, профессор, не погибать же России; приходится приспособляться ко многому, лишь бы как-нибудь жизнь направить в русло.

Пьют чай. За чаем Протасов рассказывает, как он во время войны ездил в специальную командировку на Шпицберген, как их затерло льдами, — и рассказывает, как о простой увеселительной поездке, занимательно, красочно. Профессор интересуется, не довелось ли инженеру видеть там редкую породу птиц, описанных, правда, достаточно обстоятельно, но в чучелах до сей поры не имевшихся. Этих птиц инженер не видел, но и по птичьей части кое в чем осведомлен. И у него завязывается с птичьим профессором интересный для обоих разговор. Старик ожил и сыплет названиями. Протасов многого не знает — переспрашивает. Но и знает многое — и Танюша смотрит на него с гордостью, часто переводя глаза на дедушку. Она видит, что дедушке нравится новый гость особнячка на Сивцевом Вражке. Это Танюше приятно.

Когда дедушка уходит к себе, всегда аккуратный, как его часы с кукушкой, — Танюша и Протасов остаются вдвоем.

— Я вам очень благодарна за дедушку. Вы его так развлекли, а то он все скучает.

— Какой ум у него светлый, — говорит Протасов. — И какие знания. А ведь и еще есть у нас в России немало таких людей. Вот только настоящих работников мало. Наука — великая вещь; в ней ничто не пустяк. Вот политика — дело

наносное, случайное; сегодня так, завтра иначе, важности в этом нет.

Они говорят о дедушке, о Шпицбергене, о разном в прошлой жизни инженера, о чем Танюша еще от него не слыхала. Они совсем не говорят о любви, — даже отдельными словами. Но Танюша так полна интереса ко всему, что говорит этот посторонний человек, вдруг ставший своим, а Протасов так загорелся в своих рассказах, что минуты и часы бегут гораздо скорее, чем им обоим хочется.

Прощаясь, Протасов говорит Танюше:

— Завтра будете к трем у Васи?

— Да, непременно.

— И я зайду. Он, кажется, пошел на окончательную поправку. Только отчего он такой грустный? Надо бы его развеселить.

Оба, и он, и Танюша, догадываются, отчего выздоравливающий Вася грустен. Но ведь скоро Вася уже встанет, и навещать его не придется.

Вышло как-то однажды, что говорить стало не о чем. Сидели молча. Оба думали о том, что было бы, если бы сблизить руки и, может быть, ласково прикоснуться друг к другу. Бывают минуты, через которые надо перейти. Такая и была. И вот тут Протасов, вдруг уверенно повернувшись, взял Танюшины руки, поднес к губам и поцеловал.

И Танюша рук не отняла, а с доверием и робкой нежностью наклонила к нему голову. И так сидели долго, друг к другу прислонившись. Минуты шли, кукушка куковала, а они не говорили ни слова.

Назавтра ждали, не вернется ли опять такая минута. Она пришла, и теперь было еще проще, но уже было этого мало, хотя было хорошо.

Ах, Танюша, никто не знает, как рождается любовь, — хотя испокон веков и до наших дней она рождается одинаково.

Домой Протасов уходил бодрым шагом и с хорошей улыбкой. Танюша, оставшись одна и ложась спать, двигалась медленно, чтобы не расплескать полной чаши нового чувства. И долго не засыпала, вспоминая и не все понимая еще никогда так не любившим сердцем. Но теперь жизнь казалась ей осмысленной, нужной и полной ожиданий.

Тот, кто приходит, — пришел просто, неожиданно и в нужный момент.

МОСКВА — ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО

Слиплись и смерзлись дома Москвы стенами и заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарисовывал и резал на дереве исчезающую красу деревянных домиков. Сегодня рисовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, трусливые и дерзкие, и, зорко осмотревшись по сторонам

и прислушавшись, отрывали доски, начав с забора. Ввозили на санках — только бы не наскочить на милицию.

За тенью тень, в шапках с наушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продранными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее — захватив и топор. Въедались глубже, разобрав лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая приямый снег и себя торчащими коваными гвоздями.

Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.

На двух плечах молча плыла балка.

Согнувшись, тащили: бабушка — щепной мусор, здоровый человек — половицу.

И к утру на месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичная труба с лежанкой среди снега, перемешанного со штукатуркой. Исчез деревянный домик. Зато в соседних каменных домах столбиком стоит над крышами благодетельный дымок, — греются люди, варят что-нибудь.

Когда вставал день, из всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, искали глазами белую с красными линиями буквами коленкорovou вывеску, трепавшуюся по ветру, и становились в очередь, сами не зная точно, подо что. Поздно открывалась дверь, и, дрожа, входили в нее замерзшие люди, в строгие очереди, с номером, написанным мелом на рукаве или химическим карандашом на ладони. Получали, что удавалось получить, — не то, что нужно больше, а то, что оказывалось в наличности: кусок серого мыла, банку повидла, пузырек чайной эссенции. Кто получил — уходил под завистливыми взглядами еще не получивших. Но уже захлопывалась дверь — все вышло, приходите завтра или черт его знает когда.

В Гранатовом переулке, красуясь колоннами и снегом, дремал особнячок за садовой решеткой. Крыши нет, давно сняты; и стены наполовину разобраны; только и целы колонны. Умиряющее, уютное, дворянское, отжившее. На воротах оставалось: «Звонок к дворнику». Снег в саду лежал глубокий, белый, чистый.

Снегом покрыты и пестрые куполы Василия Блаженного. Внутри, под низкими расписными сводами, пробежал попик в камиллавке. В приделе, где служба, жуют губами старухи в черном, закутаны шальями; а у дьякона под парчовой рясой надеет полушубок и валенки на старых зябких ногах. В холоде падает дешевым ладаном кадило:

— О благорастворении воздухов, о избылии плодов земных и временем мирных...

Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральной, летит по сугробам нечищенной улицы ломовой на еще живой лошади. Парень крепкий, а ломовики сейчас все наперечет — работай! Эти не боятся: и дров сами привезти могут, и для лошади добудут сена. Только с овсом плохо. Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают.

От Владимирских ворот до Ильинских, вдоль стены Китай-города только и есть, что зажигалки да камушки к ним. Зажигалки делают на заводах рабочие, которым не платят, так как платить нечего и не за что. А откуда берутся камушки — неизвестно. Рассказывают, что один торговец сохранил случайно целый ящик камушков; теперь он — самый в Москве богатый человек. Однако, перемигнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала; но не здесь, а где-нибудь в воротах без постороннего глаза. Зато листы папиросной бумаги — сколько угодно, открыто, и разложены они как красный товар: аккуратненько выдраны из торговых копировальных книг. Товарищи покупают по листам и курят письма: «Милостивый Государь... в ответ на любезное В... С совершенным почтением». Говорят, что на один том такой бумаги, продавая по листкам, можно сейчас прожить безбедно и сладко целую неделю.

По Тверской идут закутаные люди с портфелями и мешочными ранцами за плечами. Служба-паек, чернила замерзли, машинки без лент, но — слышно — привезли с Украины мед, выдавать будут. Хочется губам сладкого, — челюсти свел проклятый сахарин.

Сбоку Иверской на стене написано непонятное про опиум — и еще много надписей на стенах и каменных заборах. Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища — ряды имен великих людей всего мира; среди великих и пигмеи, и много великих отменено и забыто. Люди читают, удивляются — но думать некогда.

Что сегодня написано — назавтра линяет.

Стоит Кремль, окруженный зубчатыми стенами, а за стенами — непривычные к Кремлю люди. У ворот штыки, на штыках наколоты пропуска. Не во все ворота проедешь, даже и с бумажкой и с печатями: только в Никольские да в Троицкие. Холодно высится Иван Великий, мертвый, как все сейчас мертвое: и пушка, и колокол, и дворцы. Всегда было холодно в Московском Кремле; только под Пасху к заутрене теплело. Но нет ни Пасхи, ни заутрени.

А вот Арбат жив; идут по нему на Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятником (слышно — звякает пружина) и еще белые туфельки. Это значит — несет последнее: кому надобны зимой белые туфли. А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем — неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Картошку кладут сначала в холодную воду, чтобы тихо оттаяла, а потом, обрезав добытое, варят обычным порядком. Не каждый же день можно добыть палой конины. Но если варить картошку не умеючи, — получится чернильная каша. Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе. Все нужно знать — ко всему нужно привыкнуть.

Упрямые люди хотят жить. Жуют овес, в пол-аппетита набиваются горклым пшеном, прячут друг от друга лепешечки сахара. В ходу и почести играный сахар, — на который сол-

даты играли в карты; он продается дешевле, а между тем, если умело выпарить и слить грязь, а потом, отсушив, нарезать на куски,— ничего себе, получается хорошо и все-таки сахар.

К вечеру люди утомятся, намаются, заснут. Спят не раздеваясь, на голове шапка, на ногах валенки. Спят больше по кухням, где осталось тепло от обеда. Тряпочкой затыкают дверные щели в другие комнаты, где стоит студеная зима. Если есть печурка — спят звездой, ногами к печурке. Где есть электричество, там его жгут без экономии, потому что теперь все бесплатно. Догадался один провести в каждый валенок по электрической лампочке; так и спит,— все-таки теплее, греет. Мудрыми стали люди. Но только не везде и не всегда действует свет,— много линий перегорело и закрыто. Тогда приходится делать из бутылки копящий ночничок, при нем и работать; масло дорого, и горит в ночнике вонючий керосин. Всех фитилей лучше — старый башмачный шнурок. Все нужно знать!

А когда засыпали люди, тогда через множество новых ходов выползали из подполья крысы, смелые, дерзкие, хвостатые, с глазами черного бисера. Бегали по комнатам, по кухням, гремели банками и бутылками, роняли на пол сковородки, визжали, грызлись, забирались под самый потолок, где подвешено хозяйками на веревочках прогорклое масло и остаток мяса. Крысы теперь ходили не одиночками, а стайками и шайками, нагло, уверенно, и, не найдя поживы, кусали спящих людей за открытые места.

Лета тысяча девятьсот девятнадцатого город Москва был завоеван крысами. Сильного серого kota отдавали внаймы соседям иной раз за целый фунт муки в ночь. Иные, в расчете на будущее, лишали себя куска, воспитывая котеночка,— кормили его последним. Очень было важно иметь в доме кошку. Только бы вырастить,— а там сама пропитает себя, а то и своих хозяев.

Первый враг — люди, второй — крысы, третий — бледная, злая вошь. По притонам, по вокзалам, по базарам,— вот где от нее не избавишься. А умирать сейчас, пожалуй,— не дешевле, чем жить; и очень уж хлопотно для близких.

Не одно горе было — были и радости. Радостью был каждый нерассчитанно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь близкого, который и сам ничего не имел, а все же пришел, посочувствовал, пособил распилить сырую балку на мелкие дровишки. Радостью было утро,— что вот ночь прошла благополучно, без страхов и без убытка. Радостью было днем солнце — может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя, или когда случалось оно не с нами, а с нашим соседом.

Была тяжела в тот год жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети-пятилетки считались и были взрослыми.

В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека.

НА КОЙКАХ

Астафьев лежал на койке и смотрел на тень, дрожавшую на потолке. Тень была расплывчата и вздрагивала потому, что вздрагивал свет фонаря на дворе, за окном, стекла которого были замазаны белой краской.

В камере Особого Отдела, рассчитанной на одного, помещалось шестеро, и койка соприкасалась с койкой. Рядом с Астафьевым мирным сном спал бывший генерал Иван Иванович Кларк, арестованный за совпадение фамилии, а может быть, и в качестве заложника, хотя человек он был старый, тихий и ничем не замечательный. А по другую сторону, с открытыми, как и у Астафьева, глазами, лежал пожилой рабочий с Пресни, взятый только два дня тому назад либо по навету, либо за неосторожное слово. Его только что вернули в камеру с ночного допроса, где следователь, грубиян из латышей, угрожал ему расстрелом, а за что — Тимошин так и не понял.

Теперь Тимошин не мог спать и чувствовал на сердце соющую тоску. Раньше эти чувства, как и бессонница, были ему совершенно не знакомы; и справиться со всем этим одному было невозможно. Поэтому он шепотом спросил:

— А что, Алексей Дмитрич, вы ведь не спите?

— Не сплю. Не спится.

— Я вот тоже.

— Замучились на допросе?

— Точно что замучался. Главное — понять не могу, зачем меня водят. И — говорят — в расход тебя пустим. А за что? Как, Алексей Дмитрич, могут?

Астафьев сел на койке спиной к стене, обняв руками согнутые ноги.

— Могут все. А вы очень боитесь?

— Как же не бояться. Решат жизни ни за что, а у меня семья. Думаете — могут?

— Откуда ж знать мне. Могут и расстрелять, а могут завтра выпустить.

— Опять же я — рабочий человек, хотя, конечно, есть у меня и домик в деревне.

— Вина за вами есть какая? В чем вас обвиняют?

— Никакой нет за мной вины, Алексей Дмитрич, вот, как перед Богом говорю. Он мне толковал, зачем, говорит, с хозяином в сношении, укрывал его будто бы. А хозяин-то, фабрикант наш, давно в бегах, куда убежал — и не знаю даже. И будто я ему помогал. И уж совсем это неправда, ничего я и не знаю. Так за что же стрелять, Алексей Дмитрич?

— Вас как звать, Тимошин?

— Меня? Алексеем тоже.

— А по бабушке?

— Платонычем. Отец был Платон, а я Алексей Платоныч.

— Так вы, Алексей Платоныч, не бойтесь. Это ваш следователь только грозит, добиться чего-то хочет от вас. Стрелять вас не будут.

— Не будут, Алексей Дмитрич? А как назначат? Управы никакой на него не найдешь. Вон и вы говорите — могут.

Астафьев закрыл глаза. Неужели так до утра и не заснуть?

— А хоть бы я и укрывал хозяина — ужли же за то решать человека жизни?

— Сколько вам лет, Тимошин?

— Лет сколько? Лет мне пятьдесят два, третий пошел.

— Долго жить хотите?

— Сколько проживется, не от нас зависит.

— Сколько вы ни проживете, Алексей Платоныч, ничего нового не увидите. Жалеть не о чем.

— Семья у меня в деревне. И сам я еще не стар, Алексей Дмитрич; могу работать отлично.

— А что за радость в вашей работе?

— Радости, конечно, никакой, а все же заработок. Сейчас-то, конечно, и прибыли нет, одно голоданье. Кое-как бьешься.

— Вот видите. Чего же бояться. Убьют — ну и черт с ними. Есть о чем жалеть.

— Как же можно, Алексей Дмитрич; вдруг так, ни за что, здорово-живешь, — и убьют. Какая же в этом справедливость.

Астафьев зевнул. Хорошо, если бы это ко сну, а не просто от скуки. Живет человек зря, безо всякой радости, да еще подай ему справедливость.

— А вы, Тимошин, успокойтесь и спите. Вас зря пугают и скоро выпустят на волю. И живите, сколько вам понадобится.

Пятый месяц сидел Астафьев в этой камере. Трижды был на допросе у чахоточного следователя Брикмана. Очевидно, все дело в человеке в желтых гетрах. Чудак! Зачем он надел эти гетры. Но и смельчак: три месяца ловили его в Москве и не поймали. А он еще доклады читал в разных «Союзах освобождения». И покушение, конечно, его дело.

«Если докажут, что он у меня ночевал, тогда мне, конечно, крышка. Кто выследил? Кто мог донести? Сосед Завалишин? Завалишин, несомненно, чекист. Но все-таки не он — он не мог. Да и не было его дома в ту ночь. Нет, не Завалишин. Скорее — Денисов, преддомком. А ну их всех...»

Астафьев поднялся с койки и тихо стал прокрадываться к окну. На белом стекле внутренней рамы появилась маленькая тень. Тень, ползя по раме, приближалась к открытой в камеру форточке. Астафьев, подойдя вплотную, поднял руку и приготовился. В тот момент, когда мышь высунула мордочку изнутри, готовясь пробраться в камеру, Астафьев легонько щелкнул ее пальцем между дрожащими усиками, и мышь с писком шлепнулась на подоконник.

Удача!

Астафьев, довольный и улыбающийся, снова улегся на койку. А то ведь эта шельма опять съела бы хлеб. В прошлую ночь, не найдя хлеба, мышь съела в коробочке несколько шахматных фигур, сделанных из мякиша генералом, большим искусником этого дела. Пришлось ферзя, туру и две пешки лепить заново.

Мышь жила в подоконнике, проделаив между рамами ход. По ночам пробиралась в камеру, хозяйничала на столе и в кулечках с передачами, а не найдя съестного — забиралась на койки. Однажды укусила генерала Ивана Ивановича за палец ноги: у него одеяло слишком коротко, все сползает.

И вдруг Астафьеву страстно захотелось на волю. «Как глупо! Ведь вот тут, за окном, за стеной, — улица, люди, извозчики. Два стекла и несколько кирпичей. И еще несколько грубых человеческих воль, которые можно отшвырнуть словом, жестом, убеждением. Какая-то комедия! Не бояться смерти и все-таки не биться, не ломать дверей, не вступать в рукопашную, не подставляться под пулю».

Стиснув зубы, сжал кулаки, думал: «Разбросать их всех, как щепки».

И сладостно чувствовал в руках и спине игру сжавшихся мускулов, лишь немного ослабевших в тюрьме. Бил, мял, грыз, отбивался, разносил толпу обезьян осколком стола, бежал по лестнице, уклоняясь от выстрелов, на дворе, у входа, свалил с ног часового, выбежал на улицу, скрылся за угол, обманув погоню, и, переменив направление, спокойно шел домой, наблюдая издали смятенные чекистов, метанье автомобилей, напрасную суету обманутых палачей.

Нет, не домой, где сразу найдут, а обходом, улочками, лабиринтом, — на Сивцев Вражек, чтобы, не входя, постучать в окно, дождаться, пока откроется форточка, и негромко крикнуть:

— Таня, не пугайтесь, это я, Астафьев, актер Смехачев. Меня ловят — приютите меня, Таня.

И она скажет:

— Господи, вы? Ну, конечно, скорее.

И, войдя, он без слов и без лишних объяснений обнимет ее впервые, крепко и надолго.

С соседней койки раздался шепот:

— Вы не спите, Алексей Дмитрич? Тоже и вам несладко!

И после молчанья:

— Видел, как вы мышку-то ловко в нос щелкнули. Вот тоже, какой зверь чудной, — своей охотой в тюрьме живет!

ХЛОПОТЫ

Дядя Боря отказался наотрез.

— Нет, Танюша, я тут ничем не могу помочь. Встречаться я с ним встречаюсь, бывают у нас такие заседания, чисто технического характера, по части обороны, но личных отношений

у нас никаких. Только здравствуйте-прощайте. Ты знаешь, отдел наш совершенно автономен и исключительно научный, никакой политики. И мне, Танюша, невозможно совершенно.

— Я понимаю, дядя, что вам самому неудобно. Но мне только нужна рекомендация, чтобы меня к нему пропустили.

— Это все равно, Танюша, ведь дело-то политическое, да еще такое серьезное.

— Дядя, но ведь Астафьев арестован случайно и напрасно, никакого отношения он иметь не мог.

— Ничего я не знаю, и ты знать не можешь.

— Я уверена в этом, дядя. Если похлопотать, его могут сейчас же и выпустить. Нужно только найти ход.

— В такое время, как сейчас, Танюша, лучше не хлопотать, а подождать. Только себя запачкаешь, а ему не поможет. И фамилия у нас слишком заметная. Раз он не виноват, ты говоришь, так его и так освободят.

— Дядя Боря, но он же наш друг, и у него никого нет, кто мог бы о нем подумать.

— Я понимаю, Танюша, и... я в его интересах и говорю. Может быть, если начать о нем хлопотать, обратят внимание и будет хуже; а так... Если бы еще его родственники...

— У него нет никого.

— Вот видишь!

— Что вижу, дядя?

— Вот я и говорю, что... я-то тут уж совсем ни при чем. И, главное, я боюсь, что моя рекомендация... что я не на хорошем у них счету. То есть ничего нет особенного, но все-таки они к нам, спецам, относятся подозрительно.

— Значит, вы не хотите, дядя Боря?

— Хочу, Танюша, очень бы хотел, но ничего не могу, совершенно ни-че-го. Мне очень обидно. Помочь хочется — а ничем не могу. Уж такое сейчас время проклятое. Эх, Танюша, дождемся ли мы лучших дней, уж и не знаю. Какой-то кошмар.

Танюша замолчала, подумала, потом быстро подняла голову и внимательно посмотрела на дядю Борю. Под ее взглядом он немножко сгорбился и опять пробормотал: «Да, чистый кошмар. Прямо ничего не придумаешь». Тогда Танюша встала, взяла свою сумочку и сказала:

— Дядя Боря...

— Что, Танюша, что, моя милая?

— Ничего. До свидания, дядя Боря.

Он проводил ее до самого выхода, идя немножко позади. В швейцарской, где было несколько служащих, пожал ей руку и как-то смущенно, стараясь быть ласковым, шепнул:

— Понимаю, Танюша, понимаю тебя. Ты у нас молодец, и добрая. И все же советую тебе: обожди.

Танюша молчала. Он, скользнув глазами по сторонам и еще понизив голос, прибавил:

— И во всяком случае, знаешь... я бы тебе решительно

не советовал... если даже найдешь ход, упоминать обо мне. Мне лично, конечно, все равно, я не боюсь, но как бы этим не испортить. Все-таки спец; опасный элемент, в их глазах подозрительный. Все дело можно испортить...

Танюша, без улыбки, не повернув головы к дяде Боре, громко сказала:

— Не беспокойтесь, дядя. Я вам ничего не испорчу.

И вышла.

Вечером, когда, по обыкновению, пришел новый друг домика на Сивцевом Вражке, Васин спутник Протасов, Танюша имела с ним длинный деловой разговор. Перебирали разные фамилии и решили, к кому и через кого можно скорее найти ход. Круг нужных знакомств у Протасова был невелик. Однако несколько деловых визитов назавтра он себе наметил.

— Выйдет не выйдет, а попробовать нужно. Возлагаю надежды на одного приятеля; он, кажется, к ним вхож. И сам человек не дрянь, довольно прочный. Справку-то, во всяком случае, можно через него получить. А вот рекомендацию вам — уж не знаю.

Наутро Протасов был у приятеля, с которым давно уже не видался. Встретились хорошо.

— А ты что же делаешь теперь?

— Я? Мешочничаю.

— Вот чудак. Разве выгодно?

— Ничего, живу.

— А почему не работаешь по специальности? Сейчас люди нужны.

Протасов изложил свою просьбу: навести, где полагается, справку, за что взят Астафьев и что ему грозит. Приятель, хоть и не очень охотно, согласился.

— Ладно, я позвоню одному типу; только с ним нужно осторожно, так что ты не удивляйся.

И позвонил:

— Алло! Это вы? Да, да. Узнали по голосу? Слушайте, милый, ну как вчера окончилось? А долго сидели? Так. Так-так. Вы думаете, выйдет что-нибудь? Ну что ж, хорошо. Да. Значит — не раньше послезавтра? Хорошо, я позвоню. Ну, пока... Постойте, что-то я хотел вас спросить... Да, вы не можете ли дать мне одну справочку, тут ко мне все пристают родные одного арестованного, сейчас разыщу фамилию. А? Да нет, кажется, ерундовское дело, просто — зря взяли, но уж очень надоедают мне. Фамилия его...

Ответа на справку пришлось ждать с полчаса. По характеру ответ был неутешителен.

— Определенно ничего, но очень сильные подозрения. Дело у товарища Брикмана, а он любит подержать.

— А если похлопотать за него? — спросил Протасов.

— Помогает иногда. Ты его лично знаешь?

— Лично не знаю, но есть общие знакомые. Одна девушка о нем хлопочет.

— Кто такая?

Протасов подумал и назвал Танюшу. Приятелю своему он доверял.

— Она не родственница профессора?

— Внучка.

— Ну что ж, это хорошо. Профессор — человек известный, уважаемый. А сам он не мог бы?

— Сам он слишком стар.

— Так тебе что же, Протасов, рекомендацию для нее дать?

— Да, если можно.

— Ладно. Ты за нее ручаешься?

— Ну, конечно.

— Нет, я так только. Всяко бывает. Ты что, влюблен в нее? Хорошенькая? А к кому же рекомендацию? Я могу вот только к этому типу, которому звонил. С ним я хорош, с другими хуже.

— А он кто?

Приятель назвал фамилию достаточно крупного «типа», чтобы слышал о нем и Протасов. Это было не то лицо, разговором с которым добивалась Танюша, но приятель Протасова, услыхав, к кому она добивается пропуска, только рассмеялся.

— Э, нет, батенька, к нему бесполезно совершенно. И бесполезно, и попасть мудро, он к себе не подпускает. Да он и слушать не станет. Мой тип ближе к маленьким делам. Только вот что... между нами говоря... человек он не первосортный, попросту говоря — дрянь порядочная. Но он сейчас в силе. С ним все-таки нужно осторожнее, зря не болтать. Ты предупреди ее, девицу свою.

— Ты с ним дружен?

— С ним? Я его знаю давно, еще по ссылке. Дружбы нет, а так — ничего, часто видимся. Я ведь сам не коммунист и политикой не занимаюсь, а только заседаю в разных коллегиях. А ты, Протасов, право же, напрасно не служишь. Ведь люди сейчас действительно нужны, а то порядочных людей совсем не остается. А ты работник отличный.

— За то меня, вероятно, и выгнали с фабрики.

— Разве выгнали? Ну, это случайность, это ведь так, зря, всех без разбору инженеров выгоняли. Хочешь, я тебя устрою? Ты сейчас нигде не служишь?

Протасов назвал учреждение, не имевшее отношения ни к технике, ни к горному делу. Там он больше числился, чем действительно работал.

— Черт знает, какая ерунда. Там ведь делать нечего.

— Я там ничего и не делаю. Только иногда захожу получить пакетик дрожжей да баночку папки.

— Ерунда, я тебя устрою по инженерной части.

Протасов подумал.

— Что ж, я бы работать хотел. Только мало верю в теперешнюю работу. А зря не хочется.

— Сейчас, конечно, работать плохо. Но понемножку наладится.

— Кто наладит-то?

— Кто? А ты и наладишь. Ты, я, другие, одним словом — настоящие люди. Пока верховодят дураки и мальчишки, потому дело и не идет. Но подожди, придет время, все поуспокоится и встанет на рельсы. Не сразу, Протасов.

— Я знаю. Но к тому времени ни одной машины целой не останется.

— Новые машины заведем.

— Средств на это не будет.

— И средства добудем. Экий ты пессимист, Протасов. Что ж, по-твоему, Россия погибнет, что ли?

— Может и погибнуть.

— Нет, милый, это — нет. Это только сейчас так кажется, от усталости. Я сам человек без иллюзий и отлично знаю нынешних правителей и одно скажу тебе: нет, Россия не погибнет, не такова страна. И ты, Протасов, в это не веришь, только так говоришь.

Они расстались дружески, и Протасов унес рекомендательное письмо для Танюши.

«В сущности он — хороший парень, — думал Протасов. — Россия, конечно, не погибнет, и работать для этого, конечно, нужно. Но шутивно врать по телефону и амикошонствовать со всякой дрянью, — это не всякому подходит. Но и судить его строго нельзя: веди он себя иначе — не мог бы пособить в трудном деле так просто и легко. А работать, конечно, нужно. Только бы немножко стало дышать полегче; и дураков стало бы поменьше».

ВОЛЧЬИ КРУГИ

Это удивительно, до чего волки перестали бояться!

Была зима многоснежная, и на пути от леса до деревни волк много раз глубоко завязил задние ноги. Луна освещала за ним черную дорожку следов, не прямую к деревне, а легкой дугой, с загибом к перелеску, точно волка невольно тянуло туда, к тени.

Через мост была дорога наезженная, хотя и моста сейчас, зимой, не было видно; снег засыпал речку с верхом, сровняв берега с полями. Только прутья ивняка отчерняли русло.

У края проезжей дороги волк присел и глухо повыл баском. Собаки ответили — далеко и нехотя. И волк побежал вперед боком, подтянув хвост.

Вторая от края изба колчагинская, отца Андрея и Дуняши. Изба большая. В левой половине, где палисадник, жила с мужем старшая Дуняшина сестра. У них ребенок.

Волки перестали бояться потому, что убьло в деревне мужчин — каких на войне убили, а какие позастряли в городах. И порошу не было стрелять по волкам; больше теперь по людям страляли. И собак стало кормить труднее.

Мать Дуняши была еще молода, сорок пять лет. Ее звали Анной; и сестру тоже звали Анютой. Жили бедно. И когда приехала из города Дуняша — хоть и привезла разного добра и немного денег, — все же прибавилась семье лишняя тягость. Об Андрее ни слуху ни духу.

Колчагинскую собаку звали Прыска; дал ей кто-то такое непонятное название. Прыска была старовата, грязнотела, ростом невелика. Волков чуяла плохо, — а впрочем, что ей стеречь? Овцы заперты, корова в стойле, сейчас за стеной у стариков. Стеречь нечего — разве из солидарности с другими собаками. Прыска жалась к теплой стене и старалась спать. Хотя главный сон, конечно, днем в избе.

Что все на запоре — знал отлично и волк. Но что же делать? Его тянуло на деревню, потому что в деревне пахло хлевом и овчарней. Он был тощ и голоден, ужасно голоден. Могли быть в помойках мерзлые кишки или кости. Или просто хоть подышать сытым воздухом. К избам он подошел с огорода, а не по дороге. И ни одна собака не тявкнула — все спят.

Выправил ноздри, потянул воздух. Морда у волка заиндевела. Поплелся туда, где помойка. Там было много собачьих следов, — тоже и собакам голодно.

Где собаки рыли поверху, там волк врывался зубом глубже, помогая и когтями. Но только начал — залаяла Прыска, за ней залилась вся собачья деревня.

Прыска, как заправило, и визжала, и подвывала, бегая по двору и с налета прыгая на крыльцо. Металась, боялась, путала, дрожа и негодуя, что пришел волк. Но выбежать прямо на волка... ну куда же ей, Прыске, на волка! Шарахалась о дверь и выла до хрипоты.

Никто в деревне не пошевелился; на минуту проснулись, знали: волки близко. Да ведь это каждую ночь. Чего на них смотреть? Все заперто.

Волк бежал от помойки к помойке, царапал, грыз. В одном месте донюхался до овчарни, прямо под собачьим лаем. Из овчарни так и тянуло теплой овцой, и бежала у волка слюна, замерзая в сосульку.

Ухо болело от собачьего лая. А деревня спит.

Спит деревня.

Обежал вокруг нее, от помойки к помойке, от избы к избе, волчий голод. Два полных круга описал волк окрест деревни. Ядовитой голодной слюной закапал свой след.

Когда выбежал за околицу, сел, облизался, завыл на деревню: проклял ее за свой голод!

Ежилась и жалась от его проклятий Прыска у колчагинской избы. Люди не поняли. Прыска поняла волчье проклятье.

Что-то будет!

Был среди деревни шест. На шесте под скворечной крышей колокол. Вот бы в этот колокол ударить, чтобы все знали: проклял деревню волк,

на голод ее проклял —

на то, чтобы и людям рыться в своих помойках, загрызть своих собак.

Чтобы и их тянул овечий навоз теплом и сытостью.

Чтобы выли на луну по-волчьи и желали друг другу напастей.

И пугались бы тени своей, поджимая хвосты, и сами стали бы тенями.

Чтобы нечего им было держать под замками, прятать от волчьего голода,—

и да будет пуще волчьего голод человечесий!

Пусть бы вызванивал колокол на грядущую тоску, а люди в страхе метались и щелкали зубами, источающими голодную слюну.

Улыбалась луна, слушая волчье проклятье деревне. Не верила. Или и верила, да не страдала ни за волка, ни за людей.

И когда увидел волк зайчонка, скоро-скоро прыгавшего от огородов, где были кочерыжки,— сразу помолодел волк и пустился вдогонку. Заяц прыгал легко, прямо по насту, волк грузно, проваливаясь, закусывая мокрый язык. Догадался, обежал дугой к лесу, чтобы зайцу перебить дорогу.

Жрал его заранее глазами, подвизгивал от страсти, пугал свою жертву огнем глаз.

Огибая дуги, доскакали до опушки. И был момент, когда желтыми зубами едва не тяпнул волк куцый заячий хвост. Но спрятался заяц в кусты: и видно, а не достать. А когда волк, высоко задрав голову, чтобы смотреть поверх сучьев, засыпанных снегом, стал наступать на заячье прикрытие,— прыснул беляк совсем незаметно и, поддавая задом, юркнул в лес дальше. Теперь уж кончено, не догнать.

И побрел волк вглубь, безо всякой больше надежды, до логова,— заспать голод голодной дремой и снами об овечьем тепле и человеческой жадности.

Было утро. В деревне вставали. Прыска повиляла хвостом и протискалась в избу — прикорнуть в тепле.

Кончена служба — собачья служба.

Прошла ночь. Пришел день.

ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

Сердце Васи сильно билось, когда, свернув на Сивцев Вражек, он подошел к очень знакомой двери особнячка и постучал.

Вася был в полушубке, в валенках с красным рисунком — вероятно казанской работы,— в шарфе и теплой шапке с наушниками. После тифа он пролежал в постели еще почти месяц, так как доктор боялся осложнений. Танюша, когда острый период его болезни кончился, стала навещать гораздо реже. Ей приходилось трудно: несла на себе хозяйство, стряпала, мыла, иной раз продавала разные мелочи на Смоленском, а по вечерам и в праздники днем выступала часто в концертах. При

общем обеднении рабочие клубы стали платить артистам меньше, а достать урок в такое время было невозможно, особенно зимой, когда и учебных занятий почти нигде не было: школьные помещения не отапливались, а дети и юноши заняты были, как и взрослые, добыванием хлеба.

И было еще одно: как-то не о чем стало Васе говорить с Танюшей. Она, приходя, пробовала рассказывать ему слухи о событиях, — но и события и слухи были так печальны и так путаны, что никак не могли служить развлечением для больного. Иногда заходила она одна, иногда приходил с нею, а чаще случайно встречался у Васи Протасов. И ежедневно, как и прежде, приходила Аленушка, хотя Васе сиделка, собственно говоря, уже не требовалась. Но Аленушка могла поддержать только разговор о дороговизне. Какая-то неловкость была между Васей и Танюшей, что-то недосказанное, — и оба хорошо знали, что именно было недоговорено. И визиты Танюши стали редкими.

С постели Вася встал, когда улицы московские давно уже покрыты были снегом, которого счищать было некому. Лежали изрытые копытами и приглаженные полозьями сугробы, под которыми скрылись и тротуары. В иных местах снег подгребали и складывали в вал, чтобы очистить тропочку у ворот и подъездов. У особнячка на Сивцевом Вражке чистить было некому, так как дворник Николай поздней осенью ушел в деревню.

— Что же я здесь, только в тягость! Ужо, может, полегчает жизнь к весне, а то к будущему году вернусь. Не вечно же так будет.

Сторожку его разобрали на дрова. Давно, еще при нем же, пришлось пустить на топливо и баню. Зато были дрова на зиму.

В первый раз пришел сегодня Вася на Сивцев Вражек, — хотя выходить начал еще за неделю. Все откладывал. Сначала думал зайти так, чтобы застать только старого орнитолога. Потом решил, что все равно, — когда-нибудь надо же решиться увидеть и Таню у нее дома, в знакомой обстановке. Ведь, собственно, ничего не случилось! Все вышло так, как и должно было.

Он застал Танюшу одну. Профессор пошел прогуляться, захватив и портфель с книгами.

Танюша обрадовалась приходу Васи, но и смутилась. Видела, что Васе как будто не по себе, что держится он, словно бы вошел в чужой дом, а не в знакомый с юности. И знала Танюша, что причина в ней. Но разве она виновата! Разве что-нибудь обещала Васе?

Он думал, что заговорить с Танюшей, хоть немного с ней объясниться, будет трудно, и боялся разговора. А чувствовал, что нужно. Нужно ей сказать, что он, Вася, все понимает, и что он, Вася, желает ей всякого счастья. Тогда легче будет встречаться и попросту, по-прежнему; ну хоть и не по-прежнему, а все же по-дружески беседовать. Чтобы неловкость эту изжить. Оказалось все легче, и вышел разговор случайно.

— А кто у вас теперь наверху живет, в вашей комнате?

— Наверху пока никого. Дуняша уехала — а ведь ее брат, комиссар, еще раньше исчез, — и про комнаты как-то забыли и на учет их не взяли. Так и пустуют. Но, может быть, скоро туда переедут.

— Знакомые или так?

— Знакомые. Может быть — хотя не наверное — переедет Петр Павлович. У него, правда, есть квартира, и даже с ванной, но сейчас все равно вода везде замерзла, так что ванная ни к чему... Ему предложил дедушка...

Танюша долго объясняла, почему Протасову было удобнее переменить квартиру — и к службе гораздо ближе, и их комнаты спаслись бы от реквизиции, так как имеет право на дополнительную комнату для занятий, — но почувствовала Танюша, что объяснять этого не нужно, да Вася и не слушает.

И немного сидели молча.

Потом Вася вдруг спросил:

— Вы за него замуж выйдете?

Она как будто не удивилась вопросу, как будто ждала. И, не повернув головы, сказала:

— Я не знаю. Мне Петр Павлович нравится, мы очень подружились...

И прибавила тем же тоном:

— Вы не одобряете, Вася?

Потом взглянула на Васю. Он сидел неподвижно, смотрел на свет окна, а глаза его были полны слез.

— Вася, ну неужели же вы... неужели вы плачете, Вася?

Вася, не сводя глаз с окна, шарил руками и искал платок, — а платок-то, как нарочно, забыл взять.

— Ну можно ли так, Вася!

Он, отвернувшись, дрожащим, каким-то детским голосом сказал:

— Ничего, это я, знаете, Танюша, от болезни стал такой ужасно слабый... то есть слабенький...

И, сказав нечаянно смешное слово, Вася сразу разрыдался.

Танюша утешала его, как мать ребенка. Вытерла своим платком его слезы, гладила по коротко остриженной круглой голове, придерживала лоб, когда он прижался к ее руке, — в первый раз в жизни так прижался! Может быть, сколько раньше мечтал об этом, — а вот когда стало оно доступным!

Теперь Вася просто не знал, как поднять голову. Было очень стыдно за слабость свою, и еще непременно нужно было вытереть нос, а нечем. Но дело в том, что действительно он очень ослабел после болезни, оттого так и вышло.

— Вам, Вася, нужно поправляться, окрепнуть хорошенько. Вы очень исхудали.

— Да, простите меня, Танюша, за эту глупость.

— Ну что вы, Вася.

— Я, Танюша, все равно и раньше все знал, догадался, конечно... А только... Но я вам всякого счастья желаю. Я потому и пришел, чтобы сказать.

— Спасибо, Вася, я знаю. Ведь вы мой милый друг, всегда, с самого детства. Только давайте теперь о чем-нибудь другом.

— Давайте, все равно. Я у вас этот платок возьму, можно? Потом выстираю и отдам,— поспешно прибавил он.— Профессор скоро вернется? Жаль, что я его не застал.

— Вы посидите у нас?

— Долго не могу, нужно домой.

— Кто-нибудь придет к вам?

Спросила «кто-нибудь», а сама знала, что прийти к Васе может только Аленушка, которая всегда приходит. И искала — не будет ли на Васином лице нового смущения. Но он совсем просто ответил:

— Придет Елена Ивановна, она ведь каждый день приходит.

— Какая она милая и заботливая. Это она вас выходила, Вася, без нее вам было бы плохо.

— Да, конечно. Она замечательная. И, главное, все это так бескорыстно, а ведь ей самой жить нелегко. Сколько она на меня времени потратила.

Танюша про себя улыбнулась.

— Вы, Вася, вероятно, очень привыкли к Аленушке за время болезни?

Вася ответил: «Да, еще бы!» — и подумал: «Вот это она, Танюша, напрасно говорит!» Понял, что Танюше очень удобно, чтобы он, Вася, привык к Аленушке и чтобы была ему Аленушка нужна и впредь. Ей, Танюше, будет тогда как-то свободнее, — хотя ведь он ничем ее стеснить не может и не хочет. Пусть она любит Протасова и пусть замуж за него выходит. Что разревелся Вася, как гимназист, это, конечно, глупо и смешно. А говорить сейчас же про Аленушку совсем было не нужно, — точно в утешенье.

И еще Вася почувствовал, что ему за Аленушку обидно. Ведь она действительно его выходила и до сих пор не перестает о нем заботиться. Конечно, она не такая, как Танюша, а гораздо проще, — и не очень образованная, и когда смеется, то забавно всхлипывает носом. Но зато она сердечная и очень добрая, с ней легко. Зачем же намекать, что вот, мол, есть у Васи утешенье в том, что Танюша его не любит и выйдет замуж за Протасова.

И Вася сказал:

— Елена Ивановна человек простой и отлично ко мне относится. Я ее глубоко уважаю. И она много в жизни испытала тяжелого. Я перед ней неоплатный должник.

Танюша поняла, что Вася должен так сказать. И в то же время Танюша по-своему, по-женски, подумала: «Ну, ничего, Вася как-нибудь расплатится с Аленушкой».

И ей стало весело.

Профессор вернулся усталым, но очень довольным.

Во-первых, день хоть и холодный, но солнечный и приятный. Во-вторых, в Лавке писателей, куда он отнес книги, по-

казали ему дошедший случайно номер английского орнитологического журнала за прошлый год. И там оказалась перепечатка из его книги о перелете птиц, и несколько строчек, почтительных и по-иностранному любезных, было посвящено автору книги, «известному русскому ученому и неустанному изучателю жизни пернатых».

В прежнее время такие строки о себе профессор читал часто, не без удовольствия, но спокойно. Сейчас, в такое тяжелое время, в полной заброшенности и оторванности от европейской ученой среды,—сейчас он по-настоящему растрогался. И пока шел домой по Тверскому бульвару, прижимая портфель с номером журнала, преподнесенным ему на память, чувствовал, как сначала глаза теплеют, а потом на реснице холодит льдинка. Было и совестно и очень хорошо на душе.

«Все же там старика не забывают!»

Думал:

«Вот быть бы помоложе, дожждаться легких дней,— и прокатиться с Танюшей за границу, в Париж, в Лондон. Можно бы даже сделать доклад в орнитологическом обществе по-английски».

Вспомнил с беспокойством: «А вот сюртука-то и нет! Пришлось сюртук выменять на картофель. Фрак остался, фрак не меняют, потому что у него фалды: никак его не переделаешь на простую нужную одежду. Но в Англии как раз во фраке и нужно, если вечером». И еще подумал: «Вот бы издать книгу; вчерне она совсем готова, только переписать. Работал над ней больше десяти лет. Но сейчас издать и думать нельзя. Сейчас вот только мальчики издают стихи, как-то умудряются. И названья книжкам придумывают удивительные: «Лошадь как лошадь»,— Бог знает, что это значит, разве что просто озорство».

Но все-таки было сегодня на душе профессора хорошо.

Васе он очень обрадовался:

— Да какой же ты бритый, голова, как шарик. Ну, молодец, что выздоровел. Теперь заходи к нам почаще.

Потоптался, поулыбался, но не выдержал, вынул из портфеля английский журнал, показал Васе смущенно:

— Вон, смотри, какая редкость мне попалась,— новый номер, хоть и прошлогодний, а все-таки. Сейчас ведь и университет не получает ничего из заграницы. Тут и меня, старика, не забыли. Приятно все-таки.

Вася перелистал журнал, посмотрел картинки, сказал:

— Да, это приятно. А какое издание замечательное.

— Ну еще бы, они умеют; и денег у них много.

Танюша приготовила завтрак, но Вася заспешил:

— Я все-таки пойду.

— А не позавтракаете с нами, Вася?

— Нет, нельзя мне, я к двум обещал быть.

— Заходите, Вася.

— Да, да. Будьте здоровы, профессор.

— Отчего спешить?

— Нужно.

— Ну, как знаешь. А я тебе очень рад, очень рад.

Когда Вася ушел, дедушка позвонил Танюшу и погладил по головке.

— Ну, как Васю нашла? Какой-то он тихий стал.

— Я же, дедушка, часто его видала.

— Ну-ну. А как он, скучает?

— Почему скучает, дедушка?

— Ну, там насчет сердечных дел. Ты его все же жалея, Танюша. Он такой преданный, нелегко ему.

Танюша приласкалась к дедушке:

— Я думаю, дедушка, что Вася скоро утешится. Ему даже лучше будет.

ДВОЕ

Хотя центром вселенной был, конечно, особнячок на Сивцевом Вражке, но и за пределами его была жизнь, вдаль уходившая по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизнь, и каждый считал себя и был центром.

Центром своего мира был и Андрей Колчагин, дезертир великой войны — как говорили раньше, — или войны империалистической — как те же люди говорили теперь, — бывший комендант Хамовнического Совдепа, а теперь командир сборного отряда на войне гражданской. Опять полуголодная жизнь, опять холод, опять вши. Но и разница: в ту войну — раб бессловесный, пушечное мясо, в эту — боец за счастье человечества.

В чем должно выразиться счастье человечества, Колчагин, правда, не знал, но все же теперь и голод, и холод, и вши имели свое внятное оправдание: нужно было победить внутреннего врага во что бы то ни стало, иначе всех Колчагиных ждала жестокая расправа и месть. Теперь враг был реален. Уже не немецкий Ганс, с которым нечего было делить, а тот самый ротный командир, который бил Колчагиных по левой скуле кулаком наотмашь. Впрочем, вперед вела не столько злоба, давно притупившаяся, сколько боязнь за свое будущее. Но сознаться в этой боязни было нельзя — даже перед самим собою. Страх — не зная. И как прежде для Колчагиных придумывали девизы «за веру, царя и отечество», — так и сейчас писали белым по красному: «за социализм и советскую власть». Слова, как и прежде, непонятные и ненужные; но смысл в них, как и прежде, каждым вкладывался свой. Колчагины понимали это так: спасайся сам и спасай своих. И бились Колчагины за страх и за совесть.

Со времени дезертирства своего Андрей Колчагин вкусил многого: вкусил свободы от обязательств, ему навязанных силой, вкусил власти, вкусил жизни легкой, почти барской. И думать научился, — раньше этого от солдата не требовалось. Полюбил красоту звонкого слова, сам научился говорить его,

проникся духом воина-профессионала, понял смысл подвига, малоценность чужой жизни, высокую цену своей. И был теперь Андрей Колчагин на виду, — все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем. Одно сознание того, что не добытые в училище или по барскому положению погоны, а лишь личная доблесть, то есть сметка и смелость, выдвигают человека на большой пост, — одно это сознание решало для Андрея Колчагина и многих других Андреев, на чьей стороне их место, их любовь и надежда. Может быть — на поверку, — было это и не совсем так, — но там, в стане золотопогонников, не нужна была и проверка. Там был у Колчагиных опыт верный, необманный и тяжкий — здесь же все было ново и все возможно.

Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революцию поруганным новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием, — и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.

Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.

Были герои и там и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.

Было бы слишком просто и для живых людей и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести, — и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших.

В эти дни пал молоденький юнкер, которого все звали Алешей, — мальчик сероглазый, недавний гимназист. Убивал с другими — и был убит сам. Лежал на спине, и взор его невидящий глядел в небо, — за что так рано? Пожить бы еще хоть малый ряд денечков! И уже была украшена грудь его георгиевской ленточкой, — за подвиг в братской войне. Погиб Алеша!

В эти дни был убит и солдат-командир, герой красного знамени Андрей Колчагин. Тяжело раненный в голову, он споткнулся о труп Алеши и упал рядом.

Не спросив их имен, не взвесив их святости и греховности, — одним пологом заботливо прикрыла их вечная ночь.

ВЛАДЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА

Когда не было операций, Завалишин ходил по коридорам и комнатам места службы, сонный, опустившийся, с опухшими глазами. Знали его все, но настоящих приятелей у него не было.

Были и такие, которые сторонились от него, никогда не здоровались за руку, а то и старались не замечать: отпугивало их страшное ремесло Завалишина.

Заходил иногда в комендантскую и в канцелярию, молча садился на лавку, спрашивал, когда будет выдача продуктов и когда получать по требовательным ведомостям. Ведомости он составлял аккуратно, кривым, но ясным почерком, после каждого случая отмечал число месяца, число штук и номера ордеров, прилагая и документ. В этом отношении был Завалишин строг и даже в пьяном виде не выполнял работы, не получив оправдательного документа с подписью и печатью.

У Завалишина была одна, Анна Климовна, к которой раньше хаживал он по субботам; теперь он ее поселил у себя на квартире, но видал ее больше днем, в обеденный час. Женщина еще молодая, но хозяйственная, степенная. О профессии Завалишина знала точно, но особого интереса к этому не проявляла. Узнала, подивилась и сейчас же привыкла; хороший же заработок сожителя ее радовал. Хоть и не любил он говорить о своей работе, — все же старалась расспросить, много ли предвидится на очереди, не прибавят ли с головы на дороговизну и по случаю того, что деньги опять подешевели. С интересом смотрела, когда сожитель возвращался с работы в новом костюме или новых сапогах; знала, что, по обычаю, получал он освободившуюся одежду. Прилаживала, выпускала рукава — если коротки, мыла принесенное нечистое белье. Все — спокойно, степенно, хозяйственно. Когда Завалишин возвращался домой пьяным, — укладывала спать, не очень ругая: понимала, что такая уж работа, не простая, не выпивши — трудно. С преддомком Денисовым установила Анна Климовна добрые отношения; может быть, даже принимала его, когда выдавались у Завалишина особо рабочие дни и он почти не заходил домой.

Особо рабочие дни выдались в августе и сентябре, когда ликвидировали бандитов. В эти дни Завалишин трезвым работать отказывался. Водку для него всегда припасали — даже не приходилось самому заботиться. Случалось и днем работать. Однажды пошел Завалишин на Сретенку в вещевого склад получать по ордеру фуражку и не успел выбрать по голове, как за ним прислали. Нехотя пошел, кончил дело, написал и сдал ведомость, — а когда вернулся на склад, все лучшие кожаные фуражки уже разобрали. Долго ворчал, не мог успокоиться.

Пропуск имея повсюду, как человек нужный и важный, с особой охотой заходил Завалишин в надворный флигель дома номер четырнадцать, где помещалась общая подвальная камера, прозванная Кораблем смерти. Сюда его тянуло больше потому,

что в яме чаще всего сидели бандиты, народ понятный, аховый, о котором сомненья быть не может. В политиках Завалишин не разбирался, не понимал ясно, почему одни сидят, другие на воле, третьих выводят в расход. Здесь же доступнее, вроде как бы свои; либо ты его, либо он тебя. Хорошо ругаются, друг друга знают и на смерть идут параднее, только обязательно просят выкурить папироску. Многих из них звал на воле «комиссар смерти» Иванов и о многих рассказывал Завалишину истории. И очень удобно рассматривать их сверху, с балкона, окружающего их яму. Иных знал в лицо хорошо — давно сидели.

Знали в лицо и Завалишина. Когда он подходил, праздный, скучающий, тупой и равнодушный,—внизу, в трюме Корабля, воцарялось полное молчание, еще более мертвое, чем когда приходил комиссар Иванов, вызывавший по спискам, сам из бандитов и, может быть, потому для многих сидевших как бы человек близкий.

По всем этим помещениям Завалишин гулял лишь в свободное время, когда не был очень пьян и когда было скучно от безделья. Местом же главной его работы был низкий и темный подвал в том же доме, но только с особым входом со двора; со стороны Малой Лубянки — от ворот налево первая дверь.

Приходилось, впрочем, работать и в гараже Варсонофьевского переулка, близ церкви Воскресенья. Помещение куда светлее и просторнее, но было оно Завалишину как-то не по душе, менее привычным, чужим. Первое же время, когда для операций увозили за город, приходилось Завалишину вместе со всеми приговоренными иной раз в куче на одном грузовике кататься в Петровский парк. Это уж совсем было хлопотно и неудобно,—но, по новому делу, надо было привыкать; да и работал он тогда не один. Позже ввели обычай увозить за город не людей, а уже «жмуриков», и не прямо с места операции, а через Лефортовский морг.

У себя, в главном своем помещении, в подвале, работал Завалишин один, без всяких помощников: какая может быть помощь в таком деле, только суета и лишний разговор. Как полагается, провожали к нему до коридорчика, подталкивали к открытой двери, сами выходили обратно и наружную притворяли, пока не кончит; а остальное было его единоличной заботой,—и ничего, никаких недоразумений не случалось особенных, шел каждый сам на свет из темного коридорчика. Ордера Завалишин получал раньше на руки: по ним и принимал клиентов, с фамилией не справляясь, но по точному счету, ни больше ни меньше.

В свободное время Завалишин редко заходил в подвалчик — не любил его. Только — случалось — забирался сюда совсем пьяным, замыкался на ключ, садился на лавку против пулями изрытой стены и выл невеселые песни, а то и стрелял, просто так, чтобы пахло порохом, а не одной подвальной кислотой. Но не спал здесь — боялся привидений. Ключ от под-

вала всегда носил при себе, выдавая только для уборки бабам; мужчины уборки гнушались.

Почти никого из высокого своего начальства Завалишин не знал, да и не стремился узнать. На собрания, выборы и митинги не ходил, ничем посторонним, помимо прямого своего дела, требовательных ведомостей и выдач, не интересовался, даже в списках служащих значился простым надзирателем. Но как ни мал он был, — он твердо знал, что он среди всех других — человек особенный, самый нужный и самый независимый, которого потому и кормят, и задаривают, и боятся. Безо всякого другого обойтись можно, и всякого другого можно заменить. Но нельзя обойтись без Завалишина, и заменить его некем, во всяком случае — не скоро найдешь. Поэтому Завалишин, в припадках скуки и в дни бездействия, позволял себе капризы и не раз грозился бросить работу. Тогда ему увеличивали расценку или просто задабривали его бутылкой хорошего спирта.

Дни особой, исключительной работы выпали в октябре, после взрыва в Леонтьевском переулке. Это были настоящие страдные дни.

У САНОВНИКА

Было очень холодно. Но, по счастью, у Танюши сохранились старые ботики. Когда приходилось выезжать в рабочие районы на концерты, Танюша надевала валенки поверх башмаков и снимала их только перед тем, как выходить на эстраду. Исполнив свой номер и на бис, она с наслаждением снова прятала ноги в теплые валенки и так ждала, пока подадут грузовик, чтобы развезить по домам участников вечера.

Но идти в Кремль в валенках Танюша не решилась: все-таки — в Кремль. И старые ботики пригодились.

У Троицких ворот солдат взял пропуск, отнес в каморку и вынес обратно с печатью. Затем Танюша по тропке, протоптанной у стены Дворца, опасно шла мимо вала чистого, скатанного с дороги снега. Затем через площадь — все по тропке. У ворот прежнего здания судебных установлений пришлось опять предъявить пропуск. В дверях снова — но уже в последний раз. Внутри здания ей указали дорогу — подняться наверх и идти правым коридором.

Ждать пришлось не очень долго. Секретарь, бегло взглянув на пропуск, взял рекомендательное письмо и сказал:

— Сейчас. Вот присядьте. Вероятно, вас сейчас примут.

Через приемную проходили люди, тепло одетые, но, очевидно, здешние. В комнатах было холодно, и оттого комнаты казались особенно большими и странно пустыми. Себе же Танюша казалась маленькой и затерянной в огромном кремлевском здании. Проходившие оглядывали ее с удивлением и любопытством.

Секретарь вышел и сказал:

— Пожалуйте, товарищ. Вот сюда.

Сказал так вежливо и даже в дверях пропустил Танюшу вперед. Еще никогда Танюше не приходилось посещать важных и властных людей, а в тех советских канцеляриях, куда она иногда заходила по маленьким бытовым делам, было всегда грязно, суетно, бестолково, и служащие были озлоблены и невежливы. Здесь совсем по-иному. Раньше же Танюша думала, что все тут как в крепости и что всюду она встретит штыки и подозрительность.

Танюша вошла в большую комнату с высоким потолком и почти без мебели: только диван и три кресла у круглого стильного стола без скатерти. На столе телефонная книга и две газеты. Телефонный аппарат на окне. На обоях следы от убранный мебели. В дальнем углу шкаф с разбитым стеклом. Здесь было тепло и чисто. Танюше показалось неудобным, что вошла она в ботиках.

Приземистый, скуластый, нерусского типа, начинающий лысеть человек, во френче и в брюках навыпуск, вошел быстро и прямо подошел к Танюше.

— Здравствуйте. Это вы с письмом? Ну вот, сядьте тут. В чем же у вас дело?

— Я хотела просить об одном заключенном.

— Ну, я знаю, тут написано. Вы ему кто, Астафьеву? Какие у вас отношения?

— Он наш друг.

— Кого — ваш?

— Он хороший знакомый мой и дедушки.

— Это — профессора? Ваш дедушка птицами, кажется, занимается?

— Да, он орнитолог.

— Ну, так что же вы насчет этого Астафьева?

— Он напрасно арестован.

— Как это напрасно? Мы напрасно никого не арестовываем. Он взят по очень серьезному делу.

— Астафьев политикой не интересовался. Он философ, а работал в последнее время актером в районах. Я с ним вместе выступала в концертах.

— Вы что, поете?

— Нет, играю на рояле.

— Консерваторию окончили?

— Да.

— Вот у нас бы поиграли на концертах. Мы хорошо платим, продукты даем артистам. Поиграйте у нас как-нибудь.

— Это где? — спросила Танюша.

Человек во френче удивленно поднял бесесоватые глаза:

— У нас — в Чрезвычайной Комиссии... У нас бывают концерты. Вы не эсерка?

— Я? Нет, я не партийная.

— А зачем же с эсерами дружбу водите, с этим вашим Астафьевым?

— Все он не эсер. Он вообще не политик, я же хорошо его знаю.

— Ну, мы-то знаем его лучше. Так чего же вы хотите?

— Я думала, что, может быть, его можно освободить; он ведь ни в чем не виноват.

— Если не виноват, его и так выпустят, без вашей просьбы.

— Но он сидит уже больше месяца.

— Не беда. И год посидит. Не устраивай заговоров. А вам нечего о нем заботиться. Лучше от таких друзей подальше держаться. Мы его считаем очень опасным врагом советской власти, этого вашего Астафьева. Лучше вам не вмешиваться. Он не жених ваш?

— Нет.

— Так чего же вы о нем волнуетесь?

Потерев лоб, человек во френче сказал:

— Ладно. Я запрошу о нем. Вы где живете?

Танюша сказала адрес.

— Ладно. Зря у нас люди не сидят. Не виноват — выпустят, а если виноват — получит по заслугам, будьте покойны. Вы с Савинковым не знакомы?

— С Савинковым? Нет, не знакома.

Он встал:

— Вам там дадут обратный пропуск.

Человек во френче вынул из кармана руку. Танюша быстро отступила и сказала:

— Благодарю вас.

Он снова сунул руку в карман:

— До свидания. А у нас как-нибудь поиграйте, мы хорошо платим.

В большой приемной секретарь записал еще раз адрес Танюши и выдал ей пропуск.

— Пройдете через Троицкие ворота.

Кремль был под белым снегом. Иван Великий высился застывшей громадой. Ярки были золотые головки Успенского собора. Идя по тропинке меж сугробов снега, Танюша опять казалась себе совсем маленькой и такой лишней здесь, в чужом мире. В проходе Троицких ворот солдат взял пропуск и наколол себе на штык.

Когда Танюша вышла, человек во френче подошел к телефону и назвал номер.

— Вот что, товарищ Брикман, как у вас там с делом Астафьева? А что? А вы бы его припугнули хорошенько. Ну ладно, дело ваше. Я все же думаю — лучше выделить. Да. В общую кучу не валите, а там увидим. Да, слушаю. Ну, это конечно, я же вообще ничего не говорю; посидеть — пусть посидит. Ладно. Да нет, тут о нем невеста, что ли, хлопочет; хорошенькая, между прочим, девочка. Ну, пока! Вечером, конечно, буду.

СВИНУШКА

Анна Климовна, сожительница Завалишина, жадной женщиной не была — этого про нее никто бы не сказал, — но была расчетливой и хозяйственной. Жилось ей отлично, даже не на нынешнюю мерку, а на довоенную. Завалишин приносил домой всякие припасы, — в кулях, кулечках, банках, пакетиках, и не дрянь какую, вроде брусничного листа или глиняного мыла, а предметы настоящие, полагавшиеся в паек только самым нужным людям: и белую муку, и липовый мед, и сахар кусками, и из спиртного. И материи приносил, и калоши, и обувь, даже по мерке. Давал Анне Климовне и денег, даже помногу, — но деньги в счет не шли, так как назавтра дешевели.

И, конечно, никто в доме на Долгоруковской не имел того, что имел Завалишин; даже преддомком Денисов не мог идти с ним в сравнение, хотя и брал подарки справа и слева, и за лишнюю прописанную душу (значит — лишнюю продовольственную карточку), и за поторговыванье в квартире разными припасенными товарами, и так, на всякий случай, уж за одно то, что он, Денисов, — преддомком, и значит, всякому понадобится.

В таких счастливых условиях Анна Климовна могла бы вести немалое хозяйство и, наверно, вела бы, если бы, например, был у Завалишина домик на краю Москвы или хоть бы настоящая квартира, хоть в две комнаты с кухней и чуланом. А то ютились они в одной, а две другие комнаты, где раньше жил Астафьев, так и оставались запечатанными. Из маленькой передней никакой комнаты не выкроишь, кухню же, тоже маленькую, Анна Климовна действительно заняла и заставила кулечками и банками.

Думала Анна Климовна завести на кухне кур — как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды узнав, что одна старая ее приятельница, огородница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство, — решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинюшки все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросенок вырастет в большую и жирную свинюшку, — он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Для начала — кухня, придется поросеночка купать и держать в тепле; но после же Денисов, одобривший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение; все равно пустуют.

Анна Климовна съездила в недалнюю деревню и в обмен на соль, сахар, а главное — на спирт приобрела доброго поросеночка.

Вначале было много страхов: не отоцал бы, не заболел бы, не погрызли бы его крысы. Когда подрос, все заботы Анны Климовны обратились на то, чтобы свинуюшку не украли и чтобы она меньше шевелилась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Климовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинуюшку, только ахали и поздравляли Анну Климовну; если бы преддомком Денисов не был лично заинтересован в процветании и безопасности свинуюшки (его обещана была доля) и в личном расположении Анны Климовны,— кто-нибудь из завистников нашел бы способ испытать крепость завалишинских замков.

Сам Завалишин, всегда дома мрачный и полухмельной, свинуюшкой интересовался мало. Перед Пасхой за месяц Анна Климовна сводила его в сарайчик посмотреть на крупную, совсем заплывшую жиром свинуюшку, чистую, мытую, розовую, едва державшуюся на ногах. А за две недели до Пасхи Анна Климовна сказала ему:

— Пора свинуюшку резать. Пока сало засолим да закоптим окорока — время нужно для этого.

— Надо, так и режь.

— Не сама же я; тебе сподручнее.

— А какое мне до нее дело?

— Как «какое дело»? Есть-то будешь.

— Сама съешь. Мне тяжелого есть нельзя, доктор не велел.

— Али опять плохо, что к доктору ходил?

— Значит, нехорошо.

— Что же он сказал, доктор?

Завалишин мрачно пробурчал:

— Что сказал... Говорит — коли так пойдет, не залечится, то операция нужна, брюхо вскрывать придется. Пуцай бы самому ему вспороли.

— А ты ему верь больше. Мало чего доктора наговорят. Может, и так пройдет.

Завалишин замолчал. Слово «операция» пугало его и потому, что тем же словом на месте службы называлась и его работа. Хотя чаще говорили «в расход» или «с вещами по городу». Как его ни мучили боли в животе, на операцию он все же никак не мог решиться. В последний раз доктор сказал ему:

— У вас с почками совсем плохо; с этим шутить нельзя. Лучше раньше решиться, а то потом поздно будет.

Анна Климовна выждала, когда у сожителя выдался свободный день, и опять заявила:

— Надо нынче обязательно свинуюшку заколоть. Уж ты пособи мне, тебе привычнее, и силы у тебя больше моего.

Завалишин встал и повязал кобурю с кольцом.

— Нашто берешь? Не стрелять же ее! Нужно ножиком. У меня и ножи отточены, чтобы потом пластать сало. И топор есть.

Когда пришли в сарайчик, Завалишин увидал, что Анна Климовна успела приготовить стол, сооруженный из дверной полови-

ны на ящиках, поставила чистое ведро, запасла ножи, чистые тряпки — все, что требуется для такой «операции». Сама переоделась в дешевое трепаное платье, чтобы зря не пачкать хорошего, и принесла два кухонных передника.

— Надень, а то забрызгаешься.

Сарайчик был с окном, и дверь притворили от взора любопытных; дело все-таки деликатное.

Зажиревшая, едва подвижная свинюшка хрюкала, пока Анна Климовна любовно мыла ей бока и вязала ноги.

— Помоги на стол поднять.

Подняли с трудом, и опять Анна Климовна мокрой тряпкой обтерла жирные розовые бока.

Омыв, вытерла насухо руки и голоском просительным и ласковым сказала:

— Ты уж сам, без меня, не бабье это дело. Вон они, ножки...

И попятилась, увидав, как затряслась у Завалишина борода и побелели глаза.

— Ты чего? Чего испугался-то?

Завалишин дрожал крупной дрожью. Пятясь к двери, правой рукой тянул из кобуры револьвер.

— Оставь, говорю, это, разве скотину этим можно, голову испортишь.

Завалишин отнял руку, вдруг ослабел и сел на ящик.

— Сама делай. Не могу я свинью резать. Слышишь, как она визжит.

— Какой жалостливый. Животную испугался. А еще мужчина.

— Молчи, Анна, говорю, не могу.

— Чего мне молчать. И без тебя управлюсь.

Анна Климовна взяла большой нож, остро отточенный, левой рукой прихватила в тряпку розовое рыло свинюшки, повернула шеей кверху и, сверху вниз, неумело и некрепко, полоснула. Хлынула кровь, свинюшка сильно дернулась и завизжала. Анна Климовна заторопилась, опять наставила нож, — но сильная рука схватила ее за плечо и отшвырнула от ее жертвы.

Завалишин с налитыми кровью глазами, с лицом искаженным, размахивая кольтом, хрипло кричал:

— Уйди, не трожь, убью!

Она взвизгнула, как взвизгнула перед тем свинюшка, увернулась, толкнула дверь и выскочила из сарайчика. Услыхала, как дверь за ней захлопнулась на скрипучем блоке, и, не оглядываясь, побежала к подъезду, где квартировал преддомком.

Минутами тремя позже Денисов с Анной Климовной опасно подходили к сарайчику. Там было тихо, только слабенько доносился замирающий визг свинюшки. У двери оба оставались.

Денисов окликнул:

— Эй, Завалишин, выйди-ка на минутку.

Ответа не было.

— Может, зайдете, Анна Климовна, да посмотрите, что он там делает.

— Сами зайдите. Еще застрелит. Совсем рехнулся. Людей может, а животную не может.

Денисов на цыпочках обошел сарайчик и заглянул в окно, заделанное решеткой. Прямо под окном лежала розовая туша, а подале, наполовину спрятавшись за ящик, сидел на полу Завалишин, уставившись глазами на окно. Большой кольт лежал перед ним на ящике.

Денисов живо отскочил и вернулся к Анне Климовне.

— Уж не знаю, как и быть. Может, он и впрямь рехнулся, сожитель ваш. Не лучше ли его на замок запереть да сбегать за милицией?

— Замок-то внутри остался.

— Другой поискать.

В эту минуту ахнул выстрел, и оба они, отскочив от двери, бросились бежать.

За первым выстрелом второй, третий, еще, еще,— Завалишин расстреливал всю обойму. Денисов и Анна Климовна спрятались на крыльце, несколько жильцов пугливо хлопнули дверями.

Затем по асфальту двора застучали тяжелые шаги Завалишина. Он шел, сгорбившись, понурился, держа руку на кобуре, не оглядываясь по сторонам,— шел прямо к своему подъезду. Вошел, притворил за собой дверь.

Тогда Анна Климовна решила войти в сарайчик. Вошла и ахнула: сооруженный ею стол был залит кровью, а голова свинухи, чудесная голова, обещанная преддомкому за его заботы и за его охрану, была вся разворочена крупнокалиберными пулями завалишинского колта.

— Что же это он наделал! Разве возможно в скотину стрелять пулями. Безо всякой жалости — всю голову испортил!

И даже прослезилась от искреннего огорчения.

ИЗМЕНА ВАСИ

За стеной у хозяйки пробило семь часов. На часах Васи Болтановского было уже десять минут восьмого; правда, часы его всегда немного убегали вперед, и это было даже удобно: не опоздаешь. Но все же обычно Аленушка заходила в половине седьмого. Могла, конечно, где-нибудь задержаться на пути из больницы.

Вася заложил книжку вышитой закладкой с надписью «на память», вынес в кухню окурки, подобрал с полу бумажки, поправил чехол на кресле. Прошло еще минут пять. Можно было, конечно, зажечь примус и самому заварить чай. Раньше, до болезни, он все делал сам; теперь его немножко набаловала Аленушка, редкий день не забегавшая вечером, после службы, так как жила поблизости, а дома у нее было неудобно. Так уж вошло в обычай, что вечерний чай пили они вместе,

и уходила Аленушка только в начале одиннадцатого. После чаю разговаривали, или Вася что-нибудь читал вслух, а Аленушка вязала или шила. Она подрабатывала шитьем, делала простые шляпки, вышивала. Это она и закладку Васе вышила. Она же чинила и Васино белье,— тоже вошло это в обычай, хотя сначала Вася протестовал:

— Я сам все умею.

Но Аленушка показала ему носок с заплатой его собственной работы.

— Разве ж так можно! Вы просто стянули все петли в узел к одному месту, и у вас вместо штопки получилась какая-то куколка.

— А как же нужно?

Аленушка распоролла Васиному работу, вынула из сумочки моток шерсти,— а через четверть часа на месте куколки получилась новая заплатка — прямо на удивленье.

— Шерсть немножко по цвету не подходит, но это ведь не так важно. У меня другой с собой нет.

Вася посмотрел и ахнул:

— Ну, это действительно замечательно!

Окончательно же победила Аленушка Васю тем, что обшарпанную манжетку она отпоролла, подшила, перевернула, и снова пришла к рукаву,— получилась манжетка совсем новая. Вася так был изумлен, что даже молча разинул рот, а Аленушка раскатилась от смеха звонким колокольчиком, хрюкнула и смущенно замолкла.

Но все-таки — зажечь примус или подождать?

Ждать не пришлось, потому что звонок прозвонил трижды; это означало, что пришли к Васе. У каждого жильца было определенное число звонков, чтобы не приходилось отпирать двери чужим посетителям; даже снаружи двери висела бумажка с обозначением, кому сколько раз звонить. К Васе — три.

Аленушка пришла сегодня усталая и немножко расстроенная. Задержалась потому, что в больницу к ним привезли много тифозных.

— И без того класть некуда, а все к нам доставляют.

И еще дома у Аленушки неприятности. Комната у нее большая, превышающая указанную жилплощадь, и теперь домком хочет к ней кого-нибудь вселить, чтобы жили двое. А то предлагает перевести ее в каморку, почти чулан. И она не знает, что делать. Уж лучше и правда в чулан — все-таки хоть одной жить.

— А вот меня не трогают,— сказал Вася.— А такая комната тоже считается на двоих. Впрочем, я могу выправить себе разрешительную бумажку от университета.

— Вам-то хорошо!

Долго быть мрачной Аленушка не умела. Выпив чаю — скоро повеселела.

— Знаете, у вас на носу чернильное пятно, лиловое. Ну, когда я вас научу быть аккуратным!

— Где? — испуганно спросил Вася.

— Где? — я же говорю, на носу. Вы посмотритесь в зеркало. Вася взглянул в маленькое стенное зеркало.

— Да ничего нет, это только немножко. Я писал сегодня. Послюнил палец и размазал.

— Фу, — сказала Аленушка, — ну как вам не стыдно, а еще лаборант. Идите сюда.

Вынула из своей корзиночки (все-то у нее есты!) кусочек материи, смочила в теплой воде и начисто стерла пятнышко.

— Ну вот, больше нет, а теперь утрите полотенцем.

Но Вася сказал решительно:

— Ничего, и так высохнет.

Дело в том, что глаза Аленушки показались Васе очень красивыми и особенно ласковыми, — раньше он как-то не замечал, а может быть, и не были они такими. И очень не хотелось от Аленушки отходить. Пока она терла ему тряпочкой нос, он придерживал ее за руку, боясь, что тряпочка слишком горячая. Когда же она вытерла, — Васе не захотелось отпустить ее руки.

Аленушка тряпочку взяла другой рукой, а этой не отняла. Рука у нее была теплая, мягкая и маленькая. Сегодня это было тоже по-особенному приятно Васе.

Так они стояли, пока Аленушка не сказала:

— Ну чего вы. Смотрите на меня, точно в первый раз увидажи. Что руку рассматриваете? Рука как рука; а вот еще другая такая же.

Вася взял и другую.

Тогда Аленушка сказала:

— А если я вас за ухо? Вот так, за оба!

И вся к нему приблизилась. Кофточка на ней была с открытым воротом, а шея была чистенькая и белая.

И тут Вася решил защищаться, — нельзя же, правда, трепать за уши лаборанта университета.

С чтением вслух ничего сегодня не вышло, а больше сидели рядышком, заслониw настольную лампу большой раскрытой книгой в переплете.

Оказалось, что у обоих накопилось много интересных воспоминаний, которыми они раньше не делились. Аленушка считала удивительно странным, что когда Вася заболел тифом, то именно ей, Аленушке, пришлось за ним ухаживать. А ведь легко могло случиться, что доктор нашел бы для него совсем другую сестру милосердия, например какую-нибудь старуху.

Вася на это сказал:

— Ну уж, очень нужно! Это бы совсем неинтересно.

— Значит, вы довольны, что это я?

Вася очень осмелел и показал, что он доволен.

Со своей стороны Вася припомнил, как однажды, после кризиса его болезни, в первые дни ясного сознания, он, проснувшись ночью, смотрел на Аленушку, которая дремала в кресле.

и думал, какого цвета могут быть у нее глаза. И почему-то решил, что обязательно зеленые.

— Это у меня-то зеленые? Ну, уж вот какая чепуха вам приснилась.

— Да нет, я не спал тогда.

— Все равно. У меня же ведь глаза голубые, самые настоящие голубые.

— Да теперь-то я вижу.

— Ничего вы не видите. И вообще вы ужасно невнимательны, ужасно. Вы прямо ну ничего не понимаете. И потом — какое право вы имели смотреть на меня, когда я спала?

— Вы сидя спали, в кресле.

— Ну еще бы. Вообще вы невозможные вещи говорите.

Вася даже смутился. Но все же обмен воспоминаниями был настолько интересен, что Аленушка засиделась позже обыкновенного. Только когда за стеной пробило двенадцать, она вскочила испуганно:

— Господи, мне завтра вставать в седьмом.

Простились они не просто за руку, как раньше прощались. Очень это было странно Васе, но и очень приятно.

Ложась спать, Вася слишком потянул рубашку, и она порвалась у ворота. Он подумал: «Экая неприятность! Аленушка будет браниться».

Хотел перед сном подумать о чем-нибудь грустном, как думывал раньше: о том, как он несчастен и как счастливы другие. Но на этот раз у него ничего не вышло. Напротив, набегала на лицо улыбка, и мысли были немножко грешные.

Грешными же они были потому, что сегодня Вася изменил, и измена оказалась сладкой и приятной, а главное — ни для кого не обидной и никому не мучительной.

ВЗРЫВ

Двадцать пятого сентября орнитолог после долгого перерыва снова заглянул в писательскую лавочку в Леонтьевском. Портфель, туго набитый книгами, очень утомил старого профессора.

— Уж позвольте сначала отдышаться. Ничего, я вот на ящик присяду, не беспокойтесь.

— Давно не видно вас, профессор.

— Давненько, давненько не был. Всякие дела препятствовали.

Дела, препятствовавшие старику, заключались в том, что книжные полки и шкапы его опустели. Оставались только ценнейшие для его ученой работы справочники да по экземпляру его печатных трудов. Как ни тяжело было жить, Танюша взяла с дедушки слово, что этих книг он не продаст.

— Да нужно ли жалеть их, Танюша? Может быть, Алексей Дмитрич и правду говорил — не нужна больше никакая наука.

— Нет, дедушка, он и сам этому не верит, так только говорит.

— А уж от меня, старика, и ждать-то больше нечего.

— Перестаньте, дедушка, нельзя так говорить! Не огорчайте меня.

Очень был счастлив дедушка, что внучка верит и в науку, и в него, хоть и старика, а настоящего ученого, не чета всем этим юнцам, чуть не гимназистам, облекшим себя учеными званиями и делающим карьеру в смутное время, на ученом безрыбье.

— Ну, обойдемся как-нибудь.

И, однако, двадцать пятого сентября, в день роковой и страшный, орнитолог опять принес в лавочку полный портфель.

— А вы и нумизматикой интересовались, профессор?

— Ничего в ней не понимаю.

— У вас тут много любопытного. А по вашей специальности ничего?

— По совести говоря — книги принес не свои. Вроде как бы на комиссию взял. Привык я к вам ходить торговать, — вот и попробовал набрать у знакомых. А уж оценку сами сделайте, как всегда. Доверяю вам вполне.

— Из процента работаете, профессор?

— Из процента, скрывать не буду.

И опять никто не удивился в лавочке, что вот старый ученый, с европейским именем, торгует чужими книгами из процента. И оттого, что никто не удивился, стало легче и проще. Значит, нет в этом ничего дурного, и можно. Вероятно, и другие сейчас так же делают.

Выйдя из лавочки с пустым портфелем под мышкой, орнитолог оглянулся с довольным видом, — все-таки кое-что для Танюшиного хозяйства очистится. Немного, конечно, так как книги не свои, но зато не свои — не так уж и жалко. Заработан пустяк — а все же заработан, своим трудом, стариковской своей заботой.

У ворот соседнего дома, стоявшего в глубине за решетчатой оградой, дежурил молодой красноармеец с винтовкой. Люди сюда входили, предъявляя бумажку — пропуск.

И профессор, стараясь держаться прямее и ступать увереннее, зашагал к Большой Никитской.

Был и другой фасад у дома, охраняемого солдатом, и фасад этот выходил в садик, в Чернышевском переулке. В саду, отделенном от улицы решеткой, высились деревья с еще уцелевшими желтыми листьями. Ко второму этажу, к его балкону, вела из сада каменная лестница. Калитки с этой стороны не было — никто отсюда не входил.

Когда стемнело, переулок опустел, а в заднем фасаде дома засветились окна. В восемь часов вечера здесь назначено было важное собрание, и к главному фасаду, что в Леонтьевском, подходило и подъезжало много людей. Стояли у ворот и автомобили.

В Чернышевском же, к заднему фасаду, подошел лишь в десятом часу один человек, поглядел по сторонам и, придерживая карман, ловко перелез через решетку, пригнулся к земле и замер.

С переулка за деревьями не было видно, как темная фигура поднялась по лесенке к балкону и осторожно заглянула в окно. На опущенной занавеске силуэтом очертилась широкая спина, а в щелку виден был край стола, за которым тесно сидели люди.

Тогда темная фигура, откинувшись от стены, взмахнула рукой.

Взрыв слышали даже на окраинах Москвы. В прилегавших улицах были выбиты оконные стекла, а подальше только звякнули.

И граждане, давно привыкшие к ночной стрельбе на улицах, все же сразу сообразили, что это и не ружье, и не пулемет, и, кажется, не пушка.

В доме с двумя фасадами не было теперь крыши и одной из стен.

В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен. С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был не рабочий. Дома сидел на постели, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после «операции». Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закусить перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной.

— Сколько времени нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печати, ничего тебе не будет за это.

— На что тебе его комнаты?

— А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.

— Нельзя.

— А почему нельзя-то?

— Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты его нет. Там его вещи.

— Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботливый.

— Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видела, а я его знаю.

— Приятель какой.

— А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покалечил, а я его уважаю, вроде как за лучшего приятеля.

Помолчав, прибавил:

— Пивали вместе, ну и что же? Голова умнеющая, до всего дошел. А что забрали его — ничего не доказывает. И не тебе, дурянке, о нем рассуждать. Ученый человек — не нам, мужикам, ровня.

— Ученый... Чему тебя научил ученый твой?

— Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнатах одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел,

про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоими бабьими мозгами.

Только успел скипеть самовар, как постучал преддомком Денисов и, не войдя, сквозь дверь крикнул:

— Эй, товарищ Завалишин, там за тобой приехали.

— Кто за мной?

— Машина приехала, тебя спрашивают, и чтобы сейчас же выходил.

Завалишин забеспокоился, надел пиджак, снял с гвоздя кобуру с кольцом.

— Чего тебя в неурочный день?

— Бес их знает. У нас всякий день может урочным быть.

— Чаю-то выпил бы.

— Коли требуют. Плесни мне спирту полстакана, там на полке стоит.

И вдруг, разозлившись на беспокойство, крикнул с порога сожительнице:

— А дверь эту и печать ты не трожь! Слышишь? Не в свое дело носа не суй. Комнаты ей, видишь, мало стало, барыня какая.

И, уходя, хлопнул дверью.

ПУСТОТА

После нового допроса, уже четвертого по счету, Астафьева перевели в отдельную камеру.

Допрос был краток. Товарищ Брикман, которого всегда перед весной сильно лихорадило, сидел укутанный в рыжеватый свитер под обычным своим френчем с непомерно широким для его шеи воротником.

Входя, Астафьев участливо подумал: «А и подвело же его, беднягу! И все скрипит, и на что-то надеется».

— Гражданин Астафьев, о вас, кажется, хлопочут родственники. Я решил вас вызвать опять, может быть, теперь мы сговоримся.

— В чем сговоримся?

— Вы отрицаете свое участие в заговоре и в том, что у вас скрывался величайший враг советской власти. Ну, а скажите, как сами вы к этой власти относитесь? Вы ее признаете?

— А разве она нуждается в моем признании? Я ведь не иностранная держава.

— Вы напрасно отшучиваетесь. Советую вам ответить прямо.

— В нежных чувствах к власти, которая в вашем лице держит меня зря в тюрьме больше полугода, вы меня, товарищ Брикман, вряд ли заподозрите.

— Значит, вы относитесь к ней враждебно?

Астафьев заложил ногу за ногу и откинулся на стуле:

— Враждебно — нет; на это у меня не хватает темперамента. Скорее — презрительно.

— Презрительно к власти рабочих и крестьян?

— Ну, Брикман, бросьте! Какие уж там рабочие и крестьяне, как вам не стыдно глупости говорить.

Следователь дернулся.

— Гражданин Астафьев, я скажу вам прямо: улик против вас мало, только анонимное сообщение о том, что у вас ночевал похожий человек. Но вы, гражданин Астафьев, человек умный, дерзкий и опасный для нас. Вы опаснее маленьких открытых врагов. За вас хлопочут, но я вас не выпущу.

Астафьев почувствовал, как в нем закипает злоба к этому человечку, в руках которого его судьба. Схватить его за тонкое горло, стиснуть — и душа вон.

Он сказал, по привычке скандируя слова:

— Личное чувство в вас говорит, Брикман. Просто — ненависть к здоровому и независимому человеку. Вы — приказчик власти, а я свободный человек, вы дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров. Ясно, что вы должны меня уничтожить, хоть и знаете, что обвинить меня не в чем.

Следователь опять дернулся на стуле, покраснел и визгливым шепотом, срываясь в голосе, сказал:

— Да, я дышу на ладан, как вы выразились. У меня грудь разбита в тюрьме прикладами, у меня чахотка. Все это вы гадко сказали, гражданин Астафьев, и, по-моему, непорядочно. Но вас и вам подобных я ненавижу не потому, а потому что... а потому что...

Товарищ Брикман закашлялся, вынул из кармана скляночку, плюнул, спрятал скляночку обратно в карман, вытерся платком и исподлобья, большими глазами, взглянул на Астафьева.

— Вот то-то и есть, — сказал Астафьев, — какой уж вы воин! На юг бы вам ехать.

Тяжело дыша, следователь прохрипел:

— В ваших медицинских советах не нуждаюсь.

Пока товарищ Брикман вытирал выступивший пот, Астафьев с тоской оглядывал комнату. Стекла окон были давно не протерты. В углу лежала пыльная груда газет и бумаг, на стене — тусклое зеркало.

— Обстановочка у вас! Хоть бы окна протерли, все свету было бы больше.

Отдышавшись, следователь сказал:

— Можете думать обо мне как хотите. Одно вам скажу, гражданин Астафьев, неизвестно еще, кто из нас ближе...

Он замялся.

— Вы хотите сказать: к тому свету?

Вместо ответа следователь резко, деловым тоном, подчеркнуто официально сказал:

— Впрочем, я могу вас выпустить, если вы, гражданин Астафьев, согласитесь с нами работать.

Астафьев улыбнулся:

— Пробуете оскорбить? Экий вы неугомонный. Я на вас не оскорбляюсь, Брикман. Куда вам!

— Прекрасно. Можете идти.

Он позвонил. Астафьев встал, одернул мятый костюм, поправил отросшие длинные волосы и, смотря сверху вниз, сказал с доброй улыбкой:

— Правда, Брикман, поезжайте на юг, бросьте эту обстановку и всю эту гадость. Я это не со зла говорю. У вас ужасный вид.

Вошел конвоир.

В одиночной камере Астафьев сидел на койке в обычной своей позе: прислонившись к стене и обняв руками согнутые ноги.

Книг не было — читать заключенным не разрешалось. Ни бумаги, ни карандаша, ни даже самодельных шахмат. В общей камере Астафьев ежедневно занимался гимнастикой и приучил к этому других. Здесь не хотелось. Голода не чувствовал, хотя питание было отвратительным: суп из воблы, разваренное пшено без масла и четвертка хлеба; впрочем, на воле такому столу многие бы позавидовали. Чай морковный, и назывался он кофеем. Давали махорку — это хорошо; за это можно было многое пропустить Всероссийской Чеке.

В первые месяцы сидения Астафьев часто думал о том, что его могут «вывести в расход». Но в конце концов мысль эта притупилась и утратила остроту. Хуже всего была общая усталость, и тела и духа. Были в первое время живы образы внетюремной жизни: комнаты с любимыми книгами, московские улицы, вечера на Сивцевом Вражке, странное объяснение с Танюшей, выступления на концертных эстрадах, в прошлом — университетская работа, в дальнейшем прошлом — заграничные поездки. Но и эти образы ушли и стусевались. Не было прежней жажды свободы и даже прежней ненависти к тюремным стенам.

О сегодняшнем разговоре со следователем Астафьев думал: «Замучил я его. Лучше было ударить, чем так. Нехорошо вышло».

Вспоминал эту отвратительную карманную скляночку и морщился от невольного отвращения здорового человека.

«И зачем такой живет!»

А зачем живет он, Астафьев? Какой смысл в его жизни? Не все ли, в сущности, равно, ликвидирует ли его на днях товарищ Брикман или выпустит жить дальше?

«Довольно ты мучался, довольно ворчал и довольно изображал из себя обезьяну. Что тебя волнует? Видеть все это три года или сто лет — совершенно все равно».

И еще говорит Марк Аврелий:

«Если бы было тебе суждено прожить три тысячи лет и еще столько-то десятков тысяч, — все-таки помни, что человек теряет только ту жизнь, какую он живет, и живет только ту жизнь, которую теряет. И никак он не может потерять ни прошлого, ни будущего: как потерять то, чего не имел?»

А царь Соломон:

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться; и нет ничего нового под солнцем».

«Как странно,— думал Астафьев.— Сколько есть веселых и бодрых книг, сколько блестящих и остроумных философских истин,— но нет ничего утешительнее Экклезиаста».

В коридоре гулко раздался стук; вслед за тем шаги и голос сторожа:

— А ну, стучи! А ну, стучи эщэ!

Латыш не мог сразу разобрать, в дверь какой камеры стучат.

— А ну, стучи!

Знакомый Астафьеву окрик. Кто-нибудь из заключенных добивался особой льготы: лишний раз вне отведенного времени выйти в уборную. Но, кажется, не пустили. Вот, вероятно, страдает бедняга арестант.

«Если страдание невыносимо — оно убивает. Если оно длится — значит, переносимо. Собери свои душевные силы — и будь спокоен».

Так должен утешать себя философ. Да, обывателю есть за что ненавидеть философа.

«В сущности,— думал Астафьев,— мне глубоко чужды всякие контрреволюционные мечтания. Я презирал бы народ, если бы он не сделал того, что сделал,— остановился бы на полпути и позволил ученым болтунам остричь Россию под английскую гребенку: парламент, вежливая полиция, причесанная ложь. И все-таки Брикман прав: я враг его и их. Ведь все равно, кто будет душить свободную мысль: невежественная или просвещенная рука, и будет, конечно, душить «во имя свободы» и от имени народа. А впрочем,— все это скучно».

Если бы в этот момент пришли и сказали: «по городу с вещами», — пульс Астафьева не ускорился бы.

Думал дальше: «Все эти наши события,— революция, казни, борьба, надежды, и весь наш быт, и все наше бытие,— ведь это только ... чиркнула крылышком по воздуху ласточка, и на минуту остался зрительный след. Но не более, не более, не более. Ну, а что же есть, что реально? Только — пустота. Отжатая мысль, сама себя поглотившая. Круглый нуль и пу-сто-та».

— Пу-сто-та.

Астафьев вытянул ноги, закрыл глаза и стал дремать.

ВСТРЕЧА

К ночи привезли многих из Бутырок, лагерей и других мест заключения. Спешно перевели из Корабля смерти арестованных по пустынным делам и в качестве свидетелей. Их место заняли те, кто должны были, как заложники и как опасные, нести быструю расплату за взрыв в Леонтьевском переулке. Списки составлены были наспех, по пометкам следователей и усмотрению коллегии. Требовалась репрессия быстрая, немедленная, устрашающая. Об ошибках и случайностях ду-

мать не приходилось. Личность и имя человека не были важны, — важно было заполнить именами намеченное число.

Ради быстроты отправили несколько грузовиков в Петровский парк; большую партию, прямо из Бутырок, отвезли в Варсонофьевский гараж. И все же многих пришлось оставить для подвала, где работал Завалишин.

Привезенные знали, зачем их привезли: слух о взрыве донесся до тюрьмы. Впрочем, сегодня, в общей суматохе и спешке, конвоиры не скрытничали. Сами бледные и взволнованные, они подгоняли арестованных и то и дело нервно хватались за кобуры.

В яме Корабля, тесно набитой, было тихо. Только один, болезненный, плюгавенький, переходил от нар к нарам и быстрым шепотом доказывал, что попал случайно и что его, конечно, никуда не пошлют. Его выслушивали молча, не пытаясь утешать, думая только о себе, прислушиваясь к шагам наверху.

В третьем утра к перилам балкона подбежал комиссар с тремя конвойными. Он тоже захлопотался и деловым тоном крикнул:

— Эй, вас тут сколько?

Часовой ответил:

— Шестьдесят семь здесь.

— Как шестьдесят семь? А яму копать послали на девяносто! Посмотрел недоверчиво, затем хлопнул себя по лбу:

— Верно. Еще двадцать три пришлют из Особого Отдела.

Все девяносто и есть.

И, успокоившись, ушел деловым шагом.

На ближней полке сидел старый генерал, седой и обдерганый, и прилежно шлифовал обшлагом ногти. Одному не хватило места сидеть; прислонившись к стене, он часто вынимал гребешок и расчесывал пробор. Приземистый мужчина разложил на большом полированном столе, прямо под лампочкой, бумагу с ломтиками сала и молча ел, как бы боясь, что не успеет кончить остатков присланного ему в тюрьму женой запаса. Еще один, сидя, подперев голову и закрыв лицо руками, мерно качался. Черный человек, сжавшись, быстро оглядывал всех, щурил глаза и время от времени блеснул зубами, словно бы пытаясь улыбнуться. Несколько человек лежало на нарах, руки заложив за голову. Никто не раздевался.

В начале четвертого опять прибежал, громко стуча каблуками, «комиссар смерти», на этот раз без списка, и крикнул конвойным:

— Давай двоих!

На нарах вскочили. Черный человек блеснул зубами. Кто-то быстро замахал руками перед лицом. Старый генерал наклонил голову и опять стал медленно шлифовать ногти обшлагом. Взяли его и плюгавенького, который подбежал объяснить, что попал сюда случайно. Обоих увели быстро, подталкивая на винтовой лестнице.

Завалишин был пьян и страшен. В перерывах работы валился мешком на лавочку, стоявшую налево от входа, в углу, хватал бутылку и отпивал глоток. Когда снаружи окликали: «Принимай!» — тяжело поднимался, осматривал кольт и подходил к двери, внутри прислоняясь к косяку. По коридорчику подвала слышался топот ног: двое вели, один шел сзади, держа дуло у затылка. Шагов за пять останавливались, и задний кричал:

— Айда, иди прямо, да живей.

И тогда Завалишин поднимал руку...

Под утро стали приводить из Особого Отдела. Два раза в подвал, где работал Завалишин, заглядывал комиссар Иванов. Внутри не заходил, окликал перед дверью, косясь на асфальтовый желоб у самой стены.

— Ты здесь, Завалишин?

— Здесь. Все, что ли?

— Погоди малость. Скоро будут все. Бутылку принести тебе?

— Не надо. Посылай скорей, кончать надо.

И скоро опять раздавался оклик:

— Эй, принимай!

— Айда, — отвечал пьяный голос из подвала.

После каждых трех — приходили выносить.

— Эй, принимай!

Завалишин, стараясь твердо стоять на ногах, подошел к двери и поднял кольт.

Топот ног прекратился, и один, мягко и ровно ступая, подходил к двери в подвал. Когда в дверях показалась рубашка, Завалишин осипшим голосом скомандовал:

— Вертай направо!

Вошедший повернул голову на окрик, и рука Завалишина опустилась.

Шаги в коридорчике замерли, и хлопнула выходная дверь. Смертник и палач смотрели друг на друга. Завалишин затрясся всем телом и едва не выронил кольт.

Смертник, всмотревшись, улыбнулся страшной улыбкой.

— А, старый знакомый! Ну, как живем, Завалишин?

Белыми пьяными губами тот пробормотал:

— Алексей Дмитрич...

— Он самый, сосед ваш.

Оба на минуту замерли в молчании.

Астафьев обвел глазами подвал, брезгливо взглянул себе под ноги — на скользкий пол — и сурово сказал:

— Ну что ж, все равно, кончай, что ли.

Закрыв глаза и ждал, сжав зубы. Слышал рядом глухое бормотанье.

Тогда Астафьев сжал кулаки, резко повернулся к пьяному палачу и крикнул:

— Слышишь, негодяй! Кончай скорей! Иначе вырву револьвер и пристрелю тебя, как собаку. Кончай, трус проклятый!

Завалишин поднял руку и опустил снова. Пьяные глаза его были полны ужаса.

Обычным своим голосом, полным насмешки и презрения, Астафьев громко и раздельно произнес:

— Эх, Завалишин! Говорил я вам, что ни к чему вы не годны. А еще хвастал. Человека пристрелить не может. Ну что же теперь, идти мне спать?

Пройдя мимо палача, он сел на лавку и опустил голову. В тот момент, когда Завалишин снова поднял кольт, Астафьев быстро взглянул ему прямо в лицо и рассмеялся:

— Ну, то-то! Наконец-то. Ну — раз, два... Ну же, мерзавец, ну же... пли!

«OPUS 37»

В кухне неистово, наперебой, шумели два примуса. Две хозяйки только что поссорились из-за того, что у одной из них оказалась обломанная иглолка для прочистки примуса; теперь они не смотрели одна на другую и не повернули головы, когда в кухню вошел Эдуард Львович.

Тряпочка Эдуарда Львовича, рваная и грязная, висела между дверью и плитой. Он взял ее брезгливыми пальцами, хотел встряхнуть, но постеснялся и унес к себе.

Эдуард Львович пытался поддерживать в своей комнате порядок и чистоту. Но у него не было половой щетки; ее кто-то либо сжег в печурке, либо просто похитил. У Эдуарда Львовича не хватило энергии произвести расследование среди жильцов уплотненной квартиры. Он примирился с пропажей и управлялся теперь одной тряпочкой, мыть которой не умел.

Тряпочкой Эдуард Львович стер пыль сначала с крышки рояля, потом с нотной этажерки и со стола. Затем, наклонившись с натугой, тряпочкой же помахал по полу в сторону печки. У самой печки собралась кучка пыли и каких-то ниток. Эдуард Львович собрал сор на листик твердой нотной бумаги и сыпал в печурку.

Уборка была закончена.

К клавишам рояля Эдуард Львович пыльной тряпкой никогда не прикасался: только носовым платком, который потом он встряхивал и клал обратно в карман. Клавиши были священны.

Открыв их, он пристроил на пюпитре нотную рукопись с заголовком «Opus 37» и рядом положил карандашик.

«Opus 37» — последнее, что написал Эдуард Львович. «Opus 37» — был закончен, и вряд ли теперь карандашик мог понадобиться. «Opus 37» — странная, лишенная мелодии, написанная всего в три дня вещь, совсем новая и неожиданная даже для самого Эдуарда Львовича.

Раньше он с негодованием отверг бы такую болезную и тревожащую нервы музыкальную пьесу, — теперь он сам оказывался ее автором.

Вступление понятно и законно; так начинается многое. Во

вступлении есть логика и внутреннее оправдание. Но вдруг тема, едва намеченная и лишь начавшая развиваться, прорезывается... как бы это объяснить... какой-то музыкальной царапиной, раскалывающей ее затем сверху донизу. Тема упрямо хочет нормально и последовательно развиваться, но царапина углубляется, рвет натянутые нити музыкальной пряжи, треплет концы, путает все в клубок трагической неразберихи. Момент отчаянной борьбы, исход которой неведом.

Теперь — самое основное и самое страшное по последствиям. Нити выправляются, концы вытягиваются из клубка, уже слышен авторитетный волевой приказ (басы!), и вдруг — полный паралич логики: именно в волевых басах рождается измена! Это был только ловкий обман, обход с тыла.

Когда Эдуард Львович играет эту страшную страницу, он чувствует, как его старое и усталое сердце замирает, почти останавливается, как шевелятся на затылке остатки волос и подергиваются надбровные дуги. Страница преступная, неповолительная, — но это же сама правда, сама жизнь! Тут нельзя изменить ни одной шестнадцатой! Композитор — преступник, но композитор — творец. Слушатель и служитель истины. Пусть мир рушится, пусть гибнет все, — уступить нельзя. Рвутся все нити, сразу, скачком; далеким отзвуком тушуются и быстро умолкают концы музыкальной пряжи, тема мертвеет и умирает, — и рождается то новое, что ужасает автора больше всего: рождается с м ы с л хаоса. Смысл хаоса! Разве в хаосе может быть смысл?!

От Эдуарда Львовича зависит вырвать из тетради, смять, растоптать, изодрать в клочья эти последние страницы, этот продукт дикой измены всему его прошлому, традициям старого классического музыканта, преемника и ученика великих. Но сил для этого нет: преступник любит свое преступление. Если бы сейчас, тут же, рояль Эдуарда Львовича окружили возмущенные тени Баха, Гайдна, Бетховена, Моцарта и если бы они стали вырывать у Эдуарда Львовича его рукопись, осыпая его проклятьями и добывая презрением, — он стал бы отбиваться руками, карандашиком, пыльной тряпкой, подмял бы под себя свою тетрадку, — но, пока жив, не отдал бы ее никому, ни живым людям, ни теням умерших, ни даже тени своей матери. Если бы она, плача, умоляла его, — он сам бы истек слезами, умер, но уступить не мог бы — даже ее мольбам. Вот она — трагедия творчества!

Доиграв до конца, Эдуард Львович вскочил с места, потер руку об руку, растерянно оглянулся и, в волнении, пробежал комнату из угла в угол. Повертываясь, зацепился пиджаком за угол нотной этажерки, испугался, поднял упавшую тетрадь и далее не знал, что делать. Нет сомнения, что «Opus 37» — изумительное произведение.

Изумительное, да. Но кем нашептано? Дьяволом? Смертью? Не пуля ли, однажды влетевшая ночью в его комнату, пробившая окно и застрявшая в штукатурке под обоями, — не она

ли просвистала ему, что в хаосе может быть, что в хаосе есть смысл! В смерти есть смысл! В безумии, в бессмыслице — смысл. Нелепость седлает контрапункт, бьет его арапником и заставляет служить себе, — разве это возможно!

Белая ниточка у печурки осталась неподобранной. Эдуард Львович наклонился, подскреб ее ногтем музыкального тонкого пальца и бросил в открытую дверь. Разогнулся не без труда — болела поясница. И вдруг, бросив взгляд на ноты, раскрытые на пюпитре рояля, он понял:

— Гениальное постижение!

От неожиданности он раскрыл рот, хлопнул глазами и прозвезд вслух и внятно:

— Я — гений. «Opus 37» создан гением.

Эдуард Львович сел на стул у стены, положив руки на колени. Из кухни доносилось шипение примусов и ругливая воркотня жиличек. Но Эдуард Львович ничего не слышал. Он сидел, подкошенный странным, внезапным сознанием того, что «Opus 37» — гениальное постижение музыканта. Этот момент совпал с приходом старости, — возможно ли? И еще беспокойная уверенность: они не поймут, никто не поймет его последнего постижения.

Был уже вечер, когда Эдуард Львович, забывши пообедать, двигаясь тихо, как бы боясь расплескать чашу полноты и откровения, натянул на худые плечи пальто на клетчатой подкладке, боком надел на голову широкополую свою шляпу и, оглядев комнату невидящим взглядом, отворил дверь и вышел.

Эдуарду Львовичу нужен был свежий воздух. «Opus 37» остался лежать на пюпитре рояля.

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Вставало солнце, бесстрастно подымалось до зенита и опускалось к западу. Лето сменялось осенью, прекрасной в деревне, хмурой в городе. Зима сковывала воды, заносила дороги, погребала опавшие листья. Теплело — и опять возвращалась весна, обманывающая людей надеждами, богато одаряя природу зеленой мишурой, —

— часы с кукушкой считали минуты, следили за спокойным движением двух стрелок, не оставлявших никакого следа на круге, размеченном двенадцатью знаками.

Уходили на вечный отдых те, кому пришло время, зарождались новые жизни; открывались новые раны, ныли, рубцевались; затихали вздохи и сменялись первой радостью; новые страхи вставали в сумеречный час; в потоке жизни барахтались люди, смытые с наскоро сколоченных плотов. Текла с привычным шумом река Времени, —

— часы с кукушкой, старые часы профессора, тикали секунды, равнодушно и степенно разматывали пружину, повинуюсь тяжести подвешенной гири. Каждый час и каждые полчаса

из крохотного домика выскакивала деревянная кукушка, кивала головой и куковала, сколько полагалось. И профессор говорил:

— Как думаешь, Танюша, не пора ли дедушке твоему в постель? Я еще почитаю немного у себя перед сном.

— Конечно, дедушка, идите.

— Петр-то Павлович поздно вернется?

— У него, дедушка, сегодня заседание, и раньше полуночи не кончится.

— Ты ничего, не скучаешь?

— Нет. Я посижу немного и тоже буду ложиться.

— Ну-ну.

Ослабел старый орнитолог. Да и годы его немалые.

Из дому выходить стал реже. Однако сегодня выходил. И случилось ему маленькая радость.

На Арбате, на углу, увидел профессор женщину с лотком, прикрытым чистой тряпочкой. А из-под тряпки высунулась румяная булочка, — настоящая, из белой муки, как раньше делали. Женщина оглядывалась по сторонам с боязнью: не завидится ли поблизости милиционер. Неизвестно, какой попадется, как неизвестно, можно ли торговать булочками на углу улицы.

И вот профессор, нащупав в кармане пачку бумажек с большими цифрами — сотни тысяч, миллионы, — подошел и робко приценился. Женщина тоже боязливо ответила. И профессор одну булочку купил, заплатив, сколько она выговорила.

Дальше и гулять не пошел, а скоренько старыми ногами засеменял домой. Это — для Танюши, для милой и заботливой внучки, — первая белая булочка. Как подснежник! Не для вкуса, а для радости: ведь вот все-таки настоящая белая булочка, какие прежде были!

— Уж ты, пожалуйста, скушай при мне.

— Попролам, дедушка.

— Никаких там попролам, все тебе. Ты скушай и запей молоком.

— Дедушка, это уж баловство, я одна не стану. Знаете, я сейчас подогрею немножко кофе, и мы вместе. Ну, дедушка, пожалуйста.

— Ну, разве уж маленький кусочек. Вот жаль, что Петра-то Павловича нет. И он бы с нами...

Съели булочку, как просвируку: крошки собрали на ладонь — и в рот.

— Все-таки, Танюша, вот и булочки появились.

— Сейчас, дедушка, вообще легче стало; все можно достать, только нужны деньги.

— В прошлом-то году у нас была, кажется, белая мука, это которую тогда Вася привез.

— Да, была. Я даже пирожки испекла один раз.

— Помню, помню, пирожки. Как он теперь, Вася? Давно к нам не заглядывал.

— Я думаю, что ему хорошо. О нем Елена Ивановна заботится, она хозяйственная.

— Что ж, он того стоит, Вася. Он хороший человек. И Елена Ивановна тоже хороший человек; простой и хороший. Вдвоем им легче.

Вот и Вася не одинок. И о Танюше есть кому позаботиться, если покличет с того света Аглая Дмитриевна:

— А что, старик мой милый, не пора ли и тебе на покой?

Хлопнула на часах маленькая дверца, и кукушка назвала, сколько еще ушло в вечность минут.

Дедушка спит, удобно положив седую бороду поверх простыни. Танюша не ложится, — ждет, когда вернется с заседания Петр Павлович.

Вспомнить бы: к чему себя готовила, к какой жизни? Не к случайной же только встрече с тем, кто всегда приходит и жданно и нежданно. Ну что же, все это еще вернется, придет снова: наука, музыка. Это только пока приходится думать о том, как и чем будет завтра сыт дедушка, чем порадовать милого и близкого человека, когда он вернется усталый с работы на заводе или с вечернего заседания. А разве это не плод долгого ученья — ее концерты в рабочих клубах? И разве это не настоящее дело? Эдуард Львович, правда, хмурится и брюзжит:

— Вы погубите свой тарант! Нервзя так относиться к музыке.

О, он большой авторитет в музыке, старый Танюшин учитель. Но что он понимает в жизни? Была ли ему когда-нибудь знакома гармония нежданных, нелогичных, случайно родившихся созвучий? Любил ли он когда-нибудь не «вообще», не свое музыкальное создание, а реального, живого, вот этого человека?

Кукушка вылетает из дверцы и считает прожитые сегодня часы. Но только сегодня. О днях и годах, прожитых уже совсем лысым, уже начавшим горбиться Эдуардом Львовичем, кукушка ничего не знает. Может быть, тайны никогда не было, а может быть, когда-нибудь и была она у старого музыканта.

Так много было тайн и в детстве Танюши — и как просто стало теперь! Все понятно, и все обыкновенно. И сама она, Танюша, — совсем обыкновенная, как все; просто — женщина. Это не обидно, а хорошо. И любит она человека тоже обыкновенного, самого простого, каких, вероятно, очень много. Хорошего, честного, дельного, умного, — но таких же, как он, могло пройти мимо Танюши много. Почему именно он ей стал так близок и так люб? Простой случай? Нет, значит, так было нужно. И так — на всю жизнь?

Ничего про это не может сказать кукушка. Она знает только счет прошлого. Она уже отметила наступившую полночь и начавшийся новый день. Теперь стрелка часов подходит к первому получасу.

Но прежде, чем кукушка откинула дверцу домика, — в передней негромко щелкнул английский затвор.

— Пришел. Ну вот, и все хорошо...

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В хирургическую лечебницу на Остоженке поступил новый больной. Привезла его на извозчике женщина, степенная и заботливая, вероятно, жена. Когда в конторе записывали, сказала:

— Уж, пожалуйста, чтобы поаккуратнее, а мы платить можем. Если угодно, — хоть даже какими продуктами, мучкой или чем другим. Хотя мы из простых людей, но место он хорошее занимает, ответственное.

Больного, грузного, немного опухшего, но сильного телом бородача вымыли в ванне и уложили в отдельной комнате, в номере девятом. Он стонал и очень мучился, — был припадок почечных колик, нужна была немедленная операция. Едва отвечал на вопросы, на доктора глядел из-под бровей, недоверчиво и боязливо.

Когда его осмотрели, охая, спросил:

— Помру али как?

— Зачем вам помирать. Вот сделаем операцию, и поправитесь. У вас в почке камни и гной, запустили болезнь.

— Резать, значит?

— Ничего, не бойтесь. Под наркозом будет, ничего и не почувствуете.

Операция была очень трудной и сложной. Когда грузное тело больного положили на стол, он обвел глазами врачей и сестер, покосился на приготовленную маску, глухим голосом сказал:

— А может, и так прошло бы? Помирать-то не больно хочется.

Когда наложили маску, замычал, затряс головой, но скоро успокоился. Засыпая, бормотал невнятное.

Спустя полтора часа больного перенесли на носилках в его комнату.

Проснувшись, он лежал не шевелясь, поводя глазами туманными, как бы пьяными.

Зашедшей под вечер жене сказали, что операция прошла благополучно, но что больной слаб, беспокоить его нельзя. Вот посмотрим, как будет завтра.

— А как, опасно? Помереть не может? Вы уж позаботьтесь, а мы можем хорошо заплатить.

— Опасность, конечно, всегда есть. Операция тяжелая, и крови много потерял. А он как, пил сильно?

— Пил, конечно. У них по службе обязательно пить приходилось.

— Какая же такая служба?

— А уж такая служба, ответственная. По ночам больше работал.

— Что пил — это плохо.

— Понимаю. Я ему тоже говорила. Может, с этого и вышло.

Адрес женщины записали: указала дом на Долгоруковской, а спросить Анну Климовну, все знают, и преддомком знает, приятели.

В чистой комнате неподвижно лежал больной Завалишин и смотрел в потолок. Боли особенной не было, но была в голове тупость и отдавалась по всему телу. Тугим мозгом шевелил нехотя, и настоящих мыслей не было. Когда входила сестра, а особенно когда в белом халате появлялся доктор и откидывал одеяло, Завалишин смотрел по-прежнему недоверчиво и подергивал бородатой скулой.

На вторые сутки, в обеденное время, больной, лежавший в полузабытьи, вдруг громко застонал; лежал бледный, совсем белый: видно на лице каждый волосок. Сестра вызвала дежурного врача. При осмотре увидели, что бинты намокли от крови. Врач распорядился осторожно перенести больного в перевязочную. Оказалось, что лигатуры, наложенные на большие почечные сосуды, соскочили и не прекращается паренхиматозное кровоотечение.

С большим трудом удалось снова наложить лигатуры на более крупные сосуды, а на остальные и на кровоточащую клетчатку наложить временные клеммы.

Врач сказал сестре:

— Вы от него не отходите, следите внимательно. Положение опасное, он много крови потерял. Через сутки, когда образуются прочные тромбы, можно будет попытаться осторожно снять зажимы и оставить рану под тампоном.

Завалишин слышал голоса и непонятные ему слова, но был сам как в тумане. Боль была тупая, но шумело в ушах, и в висках стучала непрерывная колотушка. И была тоска, тягучая, сосущая, гнавшая сон и покой.

Опять заходила Анна Климовна справиться, — но ничего определенного и утешительного сказать ей не могли.

Надежды врачей не оправдались. Когда через сутки хотели снять клеммы, оказалось, что тромбы не образовались даже в перевязочных сосудах. Там же, где были наложены клеммы, перерожденные ткани и сосуды явно омертвевали. Снова перевязки были промокшими от дурной завалишинской крови.

— Невероятный случай, — сказал врач. — Конечно — алкоголь, но все-таки — какая упрямая кровь, совсем не желает свертываться. Придется ограничиться одной тампонадой.

От Анны Климовны не скрыли, что дело больного плохо. Даже допустили ее к нему в комнату, только просили не разговаривать с больным, а лишь посидеть минуту у постели. Анна Климовна присела на кончик стула, опасливо заглянула в лицо сожителя, увидела белые каемки глаз под полузакрытыми веками, вздохнула и, по знаку сестры, вышла.

— Ужли помрет?

Доктор сказал:

— Очень плохо его состояние. Кровь плохая, ничем ее не остановишь.

— Кровью изойти может, значит?

— Может случиться. Ну, будем надеяться.

Анна Климовна тяжело вздохнула:

— Такая, может, судьба ему. А какой был мужчина крепкий. Дома, рассказывая преддому Денисову, Анна Климовна прибавила:

— Резали, да, видно, не так. Я ему говорила: не ходи. Может, и так прошло бы.

— Доктора лучше знают.

— Все же пожил бы еще. Надо было хоть этот месяц дотянуть, у них первого числа и жалованье и паек получают.

— Да ведь как было ждать, очень он от боли мучался. Все равно было.

— Это верно, конечно. Такая уж его судьба.

Была ночь. Завалишин лежал в полусознании под затененной лампочкой. Болей не чувствовал, да и вообще не чувствовал своего тела. Только иногда покалывало холодком в плече и в ногах, да еще мешал во рту огромный язык, как сухой и соленый ком. Когда открывал глаза, — по потолку комнаты разбежались тени и прятались по углам.

Один раз, закрыв глаза, подумал, что лежит дома и что в дверь стучат ровно, упорно, словно мягким кулаком. Хотелось покликать Анну Климовну, замычал. Но подошла сестра, что-то тихо спросила, и Завалишин вспомнил, что он в больнице. А Анна, значит, дома, одна. Теперь ей там свободно, во всех трех комнатах. Квартира стала у них большая, никого не поселили; книги все в кладовку снесли.

И тут вдруг точно бы чужой голос крикнул:

— Эй, принимай!

И другой голос, очень памятный, насмешливо произнес:

— А, старый знакомый, ну как живем, Завалишин?

Завалишин дернулся, хотел крикнуть и почувствовал резкую, непереносимую боль в животе.

Когда прибежал врач, вызванный сестрой, грузное тело Завалишина опять плавало в крови, которая пропитала все повязки и обильно просочилась на простыню. Ее было много, страшно много — крови палача, которая не хотела свертываться.

Врачебной науке мечь крови не знакома. В скорбном листе больного значилось просто: «*Dissolutio sanguinis*»¹.

Анна Климовна зашла рано утром и узнала, что сожитель ее ночью умер.

Она не плакала, даже не вынула платочка. Только спросила, как же теперь быть ей, ей ли хоронить или от больницы позаботятся. Внизу же женщине, которая была за швейцара, сказала голосом жалобным, качая головой:

¹ Разжижение крови.

— Главное дело — должность занимал большую, особенную, хоть сам и простой был человек, из рабочих. И жалованье, и паек, и еще особо платили за каждую работу, как бы поштучно. Иной раз — сразу большие деньги. И разную одежду получал. А в пайке всегда и мука белая, и мед, и часто материя, и калоши, и все. Конечно, не всякий на его работу пойдет, а уж платили действительно добросовестно, ценили его. Квартира у нас в три комнаты с кухней, много разного добра, а к Пасхе я свинушку воспитала.

И вот тут, свинушку вспомнив, Анна Климовна впервые всхлипнула, вынула чистый платок и вытерла сухие глаза.

ВЕЧЕР НА СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ

Ступени деревянной лестницы приветливо поскрипывали под знакомыми шагами, дверь открывалась с ласковым гостеприимством, вешалка с вежливой выдержкой принимала пальто и шляпы, стены старого дома ловили звук знакомых голосов.

В день рождения профессора особнячок на Сивцевом Вражке собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве. Даже Леночка, прежняя девушка с удивленными бровями, а теперь уже мать двоих детей, — даже она, гостья редкая, пришла навестить старика и свою гимназическую подругу.

Первым пришел физик Поплавский, в совсем потрепанном черном сюртуке, но в новых калошах, полученных недавно ценой долгого стояния в очереди. По мнению Поплавского, очарованного калошами, жить стало много легче, и плохо только то, что получить из заграницы новую книжку почти невозможно, даже и при знакомствах.

— Этак мы до того отстанем, что потом и в десять лет не догоним Европы. А ведь там, подумайте, об одном Эйнштейне целая литература создалась.

Протасов утешал:

— Не беда. Пока достаточно и того, что знаем. Хоть бы эти знания к делу хорошенько приложить.

Дядя Боря поддержал коллегу:

— Уж какие теперь новые книжки. Хоть бы копировальной бумаги достать да лент для машинок. У нас в Научно-техническом отделе...

Пришли и Вася с Аленушкой. Вася стал сразу взрослым и солидным, хотя и брил бороду, так как Аленушке нравилась ямочка на его подбородке. Все пуговицы у Васи были на своих местах, воротничок чистый, носовой платок подрубен и с его меткой. Прошло и прежнее смущение; с Танюшей Вася говорил почтительно-дружески, с Протасовым вспоминал о совместной их поездке мешочниками. Аленушка держалась просто, но боялась смеяться. Все-таки в конце вечера орнитолог рассмешил ее, и Аленушка раскатилась колокольчиком, хрюкнула и смутилась, увидав, как удивленно поднялись брови незнакомой ей Леночки.

Сидела Аленушка рядом с профессором, который все время с ней заговаривал, любовно смотря в сторону Васи Болтановского.

Не было только тех, кто уже не мог прийти, чьи имена произносились тихо и с серьезными лицами. Не было того, с кем не раз в этой самой комнате спорил Поплавский, не любивший и не понимавший ленивых парадоксов, чей трагический уход из мира живых был еще слишком свеж и недавен, был еще не изжитым домашним горем. И как ни старалась московская жизнь приучить людей к постоянным потерям и испытаниям,— в мирных комнатах особнячка старались не произносить имени Астафьева. Придет время — имя его сольется в синодике ушедших с именами молодого Эрберга, несчастного Стольниково и многих других друзей, близких и далеких.

Ровно в девять часов вечера вешалка в передней приняла и повесила на крайний крюк пальто на калетчатой подкладке.

Эдуард Львович, щурясь от света и потирая руку об руку, вошел, поздоровался со всеми и занял за чайным столом обычное свое место близ самовара, направо — когда-то от Аглаи Дмитриевны, а теперь от Танюши.

Для торжественного дня пили чай настоящий, а на самой середине стола, на большом блюде, лежал парадный сладкий крендель из белой муки. В одной маленькой вазочке был сахар, в другой ландрин. Было сливочное масло и полная тарелка нарезанной тонкими ломтиками копченой колбасы. Чайный стол исключительный, праздничный, в честь бабушки.

И было еще одно, поданное Танюшей специально для Эдуарда Львовича и вызвавшее всеобщее удивление: сладкие белые сухарики, любимое его лакомство. В былые времена ни Аглая Дмитриевна, ни Танюша никогда не забывали заготовить для композитора сладкие сухарики. Но вот уже два года, как Эдуард Львович забыл их вкус; могли для него сушить только ломтики черного хлеба. Сегодня Танюша, ради бабушки и любимого учителя, добыла целую тарелочку сладких сухариков.

— Это только Эдуарду Львовичу! И вы должны съесть все сухарики, чтобы ни одного не осталось.

Эдуард Львович был смущен, но Танюше не удалось даже таким исключительным вниманием рассеять грусть композитора. Уже давно Эдуард Львович перестал оживляться даже в разговоре о музыке, даже за клавишами знакомого рояля.

Орнитолог сидел в кресле, рядом с Аленушкой, которую он шуточно дразнил, уверяя, что Вася без ее помощи не умеет помешать чай ложечкой.

— А ведь раньше был такой самостоятельный, что занимался вместе с Петром Павловичем обменной торговлей с дикими племенами России. И мои болотные сапоги выменял на золотой песок и слоновую кость. Вот был какой!

Дядя Боря пробовал говорить о грандиозных планах и заданиях Научно-технического отдела, особенно по части электрификации. Протасов посмеивался:

— Планы планами. Вот только настоящему делу нашему не

мешайте, простой заводской работе. А планы — хорошо, особого вреда от них нет. Даже могут пригодиться впоследствии ученые ваши проекты.

Танюша хозяйничала, оглядывая маленький тесный круг друзей особнячка и думая: «Дедушка доволен. Приятно ему, что его не забыли. Непременно нужно, чтобы Эдуард Львович согласился играть сегодня».

И когда тарелка с колбасой опустела, а от кренделя остались одни сладкие крошки, Танюша зажгла свечи у рояля.

— Вы нам сыграете, Эдуард Львович?

К ее удивлению, он согласился сразу:

— Да, я очень хотер бы сыграть. Я бы хотер одну вещь, которой еще никогда...

— Ваше новое?

— Уже борьше года. Но я еще нигде не испорняр. Это называется... то есть названья нет никакого, но оно — это мой посредний опус. Это мой опус тридцать семь.

Он потушил свечи и выждал, пока все рассядутся.

Кресло дедушки подвинули ближе к дивану, где сели Алenuшка, Леночка и Вася. Поплавский в затененном уголке на стуле, дядя Боря и Петр Павлович остались у стола. Танюша — на ковре, у ног дедушки, голову положив к нему на колени.

Только Танюша могла заметить и понять, какую жертву принес Эдуард Львович, согласившись сыграть свою последнюю вещь. Она слушала, не проронив ни звука, — и страдала вместе со своим учителем, а может быть, страдала за него.

Она увидела, что в творчестве старого композитора случился излом, произошла катастрофа, что он, бессильный отказаться от музыкальной идеи, которой всю жизнь служил, — вдруг потряс колонны и обрушил на себя им самим созданный храм и бьется теперь под его обломками. Родилось — рядом с его жизнью — что-то новое, что он хочет понять, осилить и, кажется, оправдать, — но у него нет для этого слов и музыкальных сочетаний, а есть только крик боли, заглушенный чужими головами, ему враждебными и незнакомыми.

Танюша видела, как вцеплялись в клавиши длинные пальцы Эдуарда Львовича, как он хочет убедить самого себя, как дергается его худое и бледное лицо, как Эдуард Львович страдает. «Зачем я просила его играть!»

Он кончил оборванным аккордом, тотчас же вскочил со стула, дрожащими пальцами потянул крышку, уронил ее, болезненно вздрогнул и растерянно застыл на месте, спиной ко всем.

Танюша знала, что нужно чем-то помочь. Она подошла и, не говоря ни слова, ласково погладила рукав его пиджака.

Эдуард Львович оглянулся и пробормотал:

— Да, да, вот это посредний опус тридцать семь...

Затем он потер руками и, не прощаясь, быстро вышел в переднюю.

Вышла за ним и Танюша. Но она не знала слов, какие нужно было ему сказать. И есть ли такие слова?

Сорвав с вешалки пальто, Эдуард Львович быстро надел один рукав и долго искал другой. Танюша помогла. Тогда он повернулся к ней лицом, вынул из кармана ноты, свернутые в трубочку и обмотанные в несколько раз тонкой ниткой, и сунул Танюше.

— Вот это дря вас. Я посвятир вам опус тридцать семь, мой посредний опус. Он торько дря вас. Да, это так надо, до свиданья.

— Спасибо, Эдуард Львович. Но почему вы так уходите?

— Так надо. Я доржен уйти.

Он подошел к выходной двери, взялся за задвижку замка, вернулся и, опять смотря в лицо Танюше, сказал скороговоркой:

— «Опус тридцать семь» есть произведение гения. До свиданья.

Танюша слышала, как Эдуард Львович оступился на лесенке, но затем шаги его стали быстро удаляться.

КОГДА ПРИЛЕТЯТ ЛАСТОЧКИ

Гости разошлись рано.

— Дедушка, вы, вероятно, очень устали. Может быть, сегодня пораньше ляжете?

— Немножко, правда, утомился, а спать не хочу. Вот посижу с вами, отдохнем, а потом пойду к себе.

Танюша убрала со стола, переставила на место мебель, накрыла чехлом рояль. Помогал ей Петр Павлович. Профессор сидел в своем глубоком кресле, полузакрыв глаза. Опять присела Танюша на коврик у его ног.

Погладив внучку по голове, сказал орнитолог:

— Вот когда у нас тихо и так сидим, все мне кажется, будто стены шепчутся. Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом, Петр Павлович, еще моя мать строила, Танюшина, значит, прабабка. По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был. На дворе разные службы, конюшни, птичник, баня, конечно. Баню-то эту мы совсем недавно разобрали на дрова. Тут я всю жизнь свою и прожил. И конца дождался. Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие.

— Они тихие, дедушка, нам не мешают.

— Ничего, что ж, всем жить надо. Я ведь не жалуюсь, вспоминаю только. Времена теперь изменились.

И опять заговорил:

— Вот скажите мне, Петр Павлович, как будет вам, молодежи, жить дальше? Лучше, чем мы жили, или так же, или труднее?

— Думаю, профессор, что нам будет сложнее жить. Уж, конечно, в одном доме целой жизни не прожить, теперь это невозможно.

— А вообще-то людям лучше станет? Сейчас, конечно, плохо

совсем. Ну, сейчас время исключительное, переходное. Перемучаться надо. И долго.

— На наше поколение хватит.

— То же и я думаю. Долгие годы нужны, чтобы опять жизнь направилась. Вон Поплавский жалуется, что оторвались мы от Европы, что не догоним теперь. Ученому этого нельзя не чувствовать. Обидно ученому человеку.

— В чем другом, профессор, а в этом-то догоним скорее, чем Поплавский думает. Вот в хозяйстве тяжело, все у нас разрушено и бедность страшная. И людей настоящих еще мало.

— Люди придут; людей в России много.

— Люди придут,— сказал Протасов.— Совсем новые люди придут и, пожалуй, посильнее прежних.

Старик помолчал, потом погладил Танюшину голову.

— Вот, Танюша, это очень хорошо, что Петр Павлович надеется. Ты тоже постарайся так верить.

— Я и верю, дедушка.

— Люди придут, новые люди, начнут все стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что прежней культуры не обойдешь, не отбросишь ее. И опять возьмутся за старую книжку, изучать, что до них изучено, старый опыт искать. Это уже обязательно. И вот тогда, Танюша, вспомнят и нас, стариков, и твоего дедушку, может быть, вспомнят, книжки его на полку опять поставят. И его наука кому-нибудь пригодится.

— Ну, конечно, дедушка.

— Птички пригодятся. Обязательно должны пригодиться мои птички! И им место в жизни найдется. Верно ли, Танюша?

— Дедушка, вот скоро весна, и ласточки наши прилетят.

— Ласточки непременно прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел. Сегодня он меня — завтра я его, а потом снова... А у ласточки свои законы, вечные. И законы эти много важнее наших. Мы еще мало их знаем, много изучать нужно.

Долго молчали. И правда, стены старого дома шептались. Наклонив голову к Танюше, так что седая борода защекотала ее лоб, орнитолог тихо и ласково сказал:

— Ты отметь, Танюша, запиши.

— Что записать, дедушка?

— А когда нынче весной ласточки прилетят — отметь день. Я-то, может быть, уж и не успею. А ты отметь обязательно.

— Дедушка...

— Да, да, отметь либо в календаре, либо в моей книжечке; где я всегда отмечаю. Будет одной отметкой больше. Это, Танюша, очень, очень важно, может быть, всего важнее. Отметь, девочка? Мне приятно будет.

Ласковая дедушкина рука гладит голову Танюши.

— Дедушка, милый дедушка... Ну да, конечно... я отмечу, дедушка...

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

Возможно, что я делаю ошибку, укладывая вымысел в рамки исторических фактов. Во всяком случае, я должен сказать, что в этом романе только одно действующее лицо может считаться портретом; все остальные лица, как и события, писаны смешанными красками и лишь случайно, в отдельных чертах, могут напоминать действительных героев и действительные события, связанные с первой русской революцией.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЛЕНЬ

СМЕРТЬ МУШКИ

В утро, когда мир был еще маленьким, уютным и прозрачным, весь состоял из родного дома с садом и соседней деревни Федоровки, а кончался лесной опушкой и рекой и когда добро и зло еще не жили раздельно, а пытались уравновеситься и сговориться, — кучер Пахом, сам огромный и в огромных сапогах, всклокоченный и хмурый с похмелья, шагнул с кухонного крыльца и раздавил насмерть щенка Мушку.

Мушка даже не успел взвизгнуть — и жизнь его кончилась. Наступив всей тяжестью грузного тела на мягкое, Пахом поскользнулся, хотел крепко выругаться, но оборвался на полуслове и сокрушенно ахнул:

— И-эх ты, никак барышнина собачка!

Огромный Пахом смущенно обтирал огромный сапог о траву, росшую у крыльца, пока кухарка доказывала ему о пьяных глазах и о душегубстве. Когда прибежала Наташа, Мушка уже не дрыгал лапой. Девочка наклонилась, попробовала поднять Мушку, но отдернула руки: это уже не Мушка, а лепешка из шкурки с раздавленной головой и с налитым кровью глазом, злым и укоряющим. Наташа встала, с ужасом посмотрела на Пахома и на кухарку и без слез побежала в сад. Пока она бежала, сдерживая дыхание, ей слышался позади мягкий и четкий топот Мушкиных лапок. В саду она с разбегу прыгнула на скамейку и подобралась, —

никого не было, ни Мушки, ни людей. И все-таки она не плакала, а только вся спряталась в первый жизненный ужас.

Прозрачность мира затуманилась, его простота лопнула под Пахомовым сапогом, как грецкий орех. Теперь за стволом березы, которая раньше была удивительно приветливой, притаилось страшное, с ясного неба мог упасть камень, а в цветах притаилась змея. Осторожно спустив ноги со скамейки, чтобы не ступить на что-нибудь полуживое и скользкое, Наташа кинулась бежать из сада к дому, но к другому входу, споткнулась на лесенке, зашибла коленку, испуганно закричала, — и только тогда хлынули слезы из голубых открытых глаз. Утешали ее напрасно, — можно утешить в любом горе, а тут страшное открытие и загадка не по силам. Открытие — смерть, а загадка — за что? Если можно убить Мушку — то, значит, можно все! Теперь ничему нельзя верить, ни участливым словам, ни добрым улыбкам! От теплого, шелковистого, счастливого Мушки остался злой глаз, проклявший и дом, и сад, и всех, и Наташу. Пахом вытер о траву огромный сапог — и радости больше не может быть.

Глупая нянька бубнит над ухом, что найдем нового Мушку, получше прежнего, а глупая мама выговаривает Пахому: «Как вам не стыдно, вот видите, что значит пить!» Пахом вяло оправдывается: «Где ее, маленькую, заметишь, легла на самой дороге», а нянька бурчит: «Ты этак-то и человека раздавишь!» Все это — напрасные речи, и Наташа не слушает. Все равно — мир расколот, теперь ничего не вернешь! Она больше не плачет, а быстро думает и ничего придумать не может — все спуталось. Мушки больше нет, и ничего прежнего больше нет.

Кучер Пахом, полный раскаяния, прибрал и подмел у черного крыльца, так что и следа не осталось; даже песочком присыпал. Руками поднять не решился, а снес на лопате Мушкин труп за садовую ограду и там зарыл, навалив курганчик земли. Теперь ступая подкованным сапогом, все смотрит под ноги, а на садовой дорожке даже поднял игрушечное ведерко и осторожно, обеими руками, поставил его на скамейку. Души у щенка не может быть, у него вместо души пар — а все же загублена малая жизнь, это Пахом чувствовал. Не махнул он с крыльца, как увалень, да и не совсем проспавшись, — не было бы такого случая, и вырос бы Мушка в большого пса, барышне Наталочке на радость. Очень было обидно Пахому за самого себя, и этим вечером он выпил больше обычного — и в утеху, и с горя. Выпивши — жаждал подраться, но никто с ним, таким огромным, во всей деревне драться не мог, да и день был не праздничный. Поздно вечером Пахом вернулся сумрачный и, шагая в темноте, высоко подымал ноги и осторожно опускал, чтобы не наступить на неладное.

«ДАЙТЕ ХОДУ ПАРОХОДУ!»

Деревня Федоровка неподалеку от Рязани — то есть это по-русски неподалеку, а на лошадях ехать больше полсутка. Ле-

том можно пароходом, так как деревня близка к реке, а имение Калымовых у самого берега Оки. Выедет лодка, пароход замедлит ход, потом даст ход задний, вода забуллит под колесами, с лодки поймают чалку и так на ходу и принимают пассажира, а легкий багаж летит швырком.

Рязанцы — народ прочный и основательный. Как про всех — и про них сложены сказки и прибаутки. Рязанцы «солнышко мешком ловили» и «острог конопатили блинами». Был бой рязанцев с москвичами. Москвичи отмахали солнышко шапками на рязанскую сторону, чтобы ослепить; а рязанцы попробовали поймать солнышко мешком: навели мешок, поймали, завязали, — а оно и выскочило. Тогда они решили: «Плохо нам, несдобровать! Попросим у москвичей мировую». Юмор у рязанцев тяжелый, сытный, былинный, а сами они крепки, коренасты, женщины дородны и румяны, дети смелы и озорны. Которые живут во глубине страны — мечтатели, а приречные — больше любят созерцать.

Наташино детство прошло между городом и деревней. В гимназические годы — она училась в Рязани — много читала, но умела и петь, и плясать, как настоящая деревенская: отбивала каблуками частую дробь, держа плечи на уровне, и пела частушки. В семнадцать лет носила две темные косы — толстые, до самого пола, — была ширококоста, хорошо скроена и крепко сшита. Училась так себе, ни плохо, ни хорошо, а среди приятельниц и приятелей была настоящим коноводом по части выдумок и веселого озорства. Любила весной кататься по Оке в молодой компании, с песнями, с брызгами, с ахами, с привалом на том берегу, при кострах. А когда уезжала с семьей на лето в деревню, — не скучала и одна и ловко управляла плоскодонной лодкой. Самое настоящее удовольствие — уплыть на веслах вверх по течению, как можно дальше вдоль берега, а потом, выехав на середину реки, весла сложить, лечь на дно лодки и плыть по воле обратно, любуясь качающимся небом, — и не столько думать, сколь просто смотреть.

Давно истлели Мушкины косточки за оградой сада, и на собачьей могиле выросла такая же трава, как и везде, только по синей и погуще. И давно поняла Наташа, что смерть — одно из явлений жизни, что смерти, собственно, и нет, а есть простое превращение Мушки — в траву, бывшего — в настоящее, настоящего в будущее. Страшного в этом ничего нет. Если вот сейчас перевернется лодка и до берега не доплыть, — Наташа исчезнет, а мир останется, а может быть, и мир исчезнет с нею, но это все равно. А возможно, что она превратится в рыбу, в водоросль, в морщинку речной ряби, потом подымет паром над рекой, впутается в стадо небесных барашков, прольется дождем над садом и огородами, станет соком березы или яблоком — и какая-то ее частичка вернется в человеческую жизнь опять рязанской девушкой, которая будет петь:

Раз полосыньку я жала,
Золоты снопы вязала...

А вечером, в середине хоровода, будет отбивать каблучками дробь в рязанской пляске и лущить семечки.

Уже давно Наташа слышит, как в дно лодки часто и ровно стучит пароходное колесо. Думает: «Раньше свистка не поднимусь!» Пароход идет снизу, лоцман видит лодку, а в лодке как будто никого и нет. Уже совсем вблизи он тянет за рукоятку, и по реке пробегает густой гудок. Наташа приподымается, не спеша садится за весла, смотрит, в какую сторону удобнее отплыть, — и в два взмаха, нехотя уступает дорогу. Пароход, с боковыми колесами, и прямо на лодку надвигаются большие поперечные водяные валы. Наташа быстро поворачивает лодку носом в разрез валов — и опять бросает весла. Дальний берег, с лугами и деревьями, исчезает в воде, затем возносится к небу, опять ныряет, опять вырастает, и в лодку захлестывается гребень невысокой волны. Как на качелях — и жутко, и радостно. С парохода смотрят: «Ну и смелая девка! Вот перевернет волной — наплаваешься». Откуда им знать, что все это давно обдуманно и что смерти, в сущности, нет, а есть только превращение — как было с Мушкой!

Река и лес — два неизменных друга. Река широкая, вольная, и лес настоящий, хвойный, с опушками из березы, осины и орешника. В реке огромные рыбины, в лесах волки, зайцы и еще ягоды и грибы. После гимназии придется ехать в Москву, большущий город, где курсы, театры, новые люди и, конечно, совсем особая жизнь. Придется прочитать много книг, а после кем-нибудь сделаться; странно, что полагается кем-то быть, хотя разве нельзя просто остаться Наташей Калымовой? Правда, вечно жить в Рязани, когда есть ведь еще большой мир и есть еще за граница, Северный полюс, вулканы, Париж, Австралия, — это было бы невозможно! Видеть нужно очень много, и нужно куда-то затратить силушку, которая уже чувствуется и которой должен быть исход.

Взмах веслами. Только скрипнули в уключинах, лодку взбросило и подало вперед; зажурчала вода и за кормой разделилась надвое. Еще взмах — эхма!

И запела частушку своей деревни:

Дайте ходу пароходу,
Натяните паруса;
Я за то его любила —
За кудрявы волоса!

А никакого милого еще и в голове не было. Но все придет — будет и милый.

Пока — крепло тело на парном молоке, а душа питалась здоровой рязанской природой: столько-то лесной смолы, столько-то речного простора, без счета солнца — и воздух полными легкими до дна!

ЧЕРЕДА ДНЕЙ

Как плывут по небу белые барашки — никто их не гонит — и уплывают в неизвестное — и никто их больше не видит, — так уходят пестрым стадом дни — и трудно угнаться за ними памятью. Каждый знает, когда зацвела или когда подломилась его личная жизнь, но в ее беге и сутолоке только вчерашний день очень памятен и только завтрашний очень важен, а самое главное — сегодня.

Был год четвертый, и был год пятый двадцатого века. Юноши тех дней теперь осторожно спускаются под гору, а взрослые тех дней стареют и убывают в числе. Прошлым называется великая война и последняя революция, а что было до этого — то уже история.

Юность Наташи Калымовой совпала с героическими днями России, с ее самым первым пробуждением. Но та весна была так коротка и так быстро вернулись морозы, что именно молодые посадки и пострадали всего больше. Год четвертый был годом «святого негодования», пятый — пылкого героизма и несбывшихся надежд. А когда на лобное место политической свободы прибежал, запыхавшись, человек тыла, ему ничего не осталось, как назвать толпу, расходившуюся с кладбища, смешным именем «Думы народного гнева». Но гнева уже не было, и народ притих. Под разбитым колоколом трепался наскоро, мочальной веревочкой подвязанный язык.

Лето девятьсот пятого года Наташа, как всегда, проводила в деревне. За прошлую осень и зиму она прослушала в Москве столько лекций, докладов и споров, что кружилась голова и не было возможности разобраться. Теперь, в деревенской тиши, отдыхала, взрослела и рассеивала туман. Героическое ее влекло, но в ее душе оно никак не укладывалось в программу и книжные истины. Те, кого называли вождями, меньше всего были похожи на былинных богатырей, — были они худосочны, вихрасты, говорливы и лишены мускулов. Очень красиво и громко звучало слово «народ»; но почему его, этого нового бога, нужно жалеть, как слабого и голодного ребенка, — этого Наташа никак понять не могла. В деревне Федоровке крестьяне жили хорошо, избы были крыты тесом, а не соломой, ничьи животы не пухли, коровы были у всех, а ранней весной и поздней осенью приречные мужики подрабатывали рыбачеством. Слушая московских ораторов, развивавших аграрную программу, Наташа видела перед собой золотые ржаные поля и заливные луга, — и уж тогда не могла следить за вязью пышных и напрасных слов. Однажды, слушая эсеровскую звезду, чернокудрого и черноглазого Непобедимого, невольно подумала: «А отличит ли он рожь от овса и овес от гречихи? Или ему знакомы только книжные поля?» Но когда говорили о революционных подвигах, о вооруженной борьбе с властью, — это понимала и принимала как красоту борьбы неравной.

На курсах она больше всего увлеклась философией, напрягая мысль и путаясь в терминах. Но ее головке, отягченной тол-

стыми косами, нужны были не стройность и логичность философских систем, а простые ответы на простые вопросы: о жизни и смерти, о разуме и вере, о загадке мироздания, о временном и вечном; прочтя две страницы ученическими глазами, на третьей она задумывалась о своем. Бога отвергла без особого труда, но поспешила сделать богом «белокурого зверя». И, раз его найдя, уже не расставалась с Заратустрой. Ее, как и всю тогдашнюю молодежь, увлекала, конечно, не столько сила мысли модного немецкого философа, сколько поэзия его высокого озорства.

К осени нужно было решить немало житейских вопросов. Если верить, то нужно, уверовав, действовать; если действовать — так идти до конца. И не по чувству долга, которое малоценно, а для того, чтобы куда-нибудь затратить силушку. Растворяться в словах и спорах, когда все курят и все говорят одновременно, — это для людей иной породы: с ними скучно и бесцельно! А если идти, то с теми, кто умеет действовать. Но таких людей Наташа еще не встречала, — хотя искала с жадностью. Где они, настоящие «белокурые звери», те, кто смело нападают, бросают страшный снаряд и, оттолкнув руку палача, сами накидывают на шею петлю? Для кого революция — не спор о программах и не жалобная песня, а свободная и радостная жизнь? О них пишут и говорят, — но как их найти?

И думала:

«Они — герои, а я — самая обыкновенная девушка. Они — служители высоких идей, а у меня никакие отвлеченные идеи в голове не укладываются. Но я и не хочу быть героиней, я просто хочу жить полнее. А жизнь дана не для того, чтобы ее экономить и расходовать по капелькам. Все — так уж все, иначе — постричься в монашенки и шептать молитвы. Но только это не по мне!»

Она, рослая, здоровая, голубоглазая, и вправду в монахи не годилась. И от черта, и от ладана была одинаково далека. Рязанские девушки полногруды и солидны: глаз не закатывают и на шею не бросаются. Но со скучными и расчетливыми людьми им тошнехонько, и долго стоять на месте они не могут и не хотят. Людей определяют на глаз и делят на настоящих и никчемных; с последними не по дороге.

Блиzkих подруг и друзей у Наташи не было, хотя она никого не сторонилась. Но, выждав и высмотрев, могла избранного пожаловать и дружбой, и любовью. Это уж будет, значит, настоящий человек; пока его не было — да ведь и рано!

В те годы зачиналась новая русская история. Год был урожаен на молодых героев — но они родились не на японской войне, непонятной и бесславной; они родились в глубинах России, единицами и гнездами. И родились на скорую погибель, — чтобы оставить в истории красный героический след и подготовить будущее.

Все проходит — остаются книги. В книгах строчка за строкой нанизано то, что было, и то, чего быть не могло. За тысячу человек думает один, и с его пера стекает на бумагу недалняя муд-

рость и ненарочная выдумка. Будто бы вот в эти годы, вот этой мыслью жили в России все люди или уж, в крайнем случае, — все лучшие. А это не так: одним живет пьяный кучер Пахом, другим — пастух деревни Федоровки, великий мыслитель и искусник по лапотной части, и еще совсем иным — городской человек. А старая липа в калымовском саду как росла тогда, так и по сей день дает цвет и не хочет сохнуть, и никак не уредишь ее, что важное случилось и описано в книгах парадными словами.

Поздней весной, уезжая из Москвы в отцовское поместье, Наташа упаковала в чемодан целые стопы книг, чтобы читать их летом на досуге. В городе эти книги только путали голову. Когда ехала, расписала свой летний отдых по часам и по отделам: первый отдел — задача философии, второй отдел — философия греков, третий отдел — теория познания. Утром купаться, до обеда читать. А когда увидела Оку и дохнула речным воздухом, сразу поняла, что вся программа полетит кувырком.

На реке две зари: утренняя и вечерняя; а часов никаких нет. Ох, трудно будет с собой справиться!

Вот уже и лодка отчалила на свисток. А на берегу знакомая таратайка, и на козлах грузная копна человеческого тела — постаревший и осевший кучер Пахом.

Может быть, — кто знает? — это лето будет последним.

ЗЕНОН

Как хорош мир, если смотреть на него не из окна городского дома, не на мостовую с лошадиным пометом, — а стоя посреди лужайки или на берегу реки! Хорош и полон чудес. От одуванчика до кучевых облаков, от низкого полета зяблика до всплеска большой невидной рыбыны, — прекрасен живой мир, вечно шепчущий, в тени прохладный, на солнце шевелящий волосы горячим дыханием. И будто бы простой — а сам не простой, не раскрывающий всякому свою мудрость.

По страницам книги бегают световые зайчики. Кукушка считает года и мешает беседовать современной рязанской девушке Наташе Калымовой с элейским философом Зеноном, жившим в пятом веке до Христа.

Зенон придумал состязанье в беге черепахи с Ахиллесом. Как ни надрывается Ахиллес — не может догнать черепаху; догнал, а она опередила на свой шаг, опять догнал — она опять впереди. В эту минуту прямо над Наташиной головой большая зеленая стрекоза, а по-местному — коромысло, одним броском и догнала, и защемила комара. Зенон говорит: не может этого быть, в мире нет движения, все это только кажется! А если поднять от книжки голову — бежит река, по реке бегут струйки, у самого берега серебристая уклейка губой ловит намокшую муху — и на глади рождается и расплывается кружок. Имя реке Ока. Зенону незнакомое, а для Наташи такое свое, что можно отдать за него всю душу — и то мало. И, однако, она хмурит брови, опять смот-

рит на страницу книги и старается понять, как же это так, что движение — только иллюзия? Все предметы природы, значит, и камень, и трава, и стрекоза, и солнечный свет, и сама она, Наташа, — все это реально лишь как воплощение божества, как застывшее величие неизъяснимой и всевластной воли, вне нас стоящей. Умом этого не понять, а чувство радо слить в одно целое весь этот трепет мира, и даже безо всяких умствующих ссылок на математику. Просто я — в стрекозе, и стрекоза во мне, а голос кукушки — мой голос, и во мне прохлада окских вод.

И тут, встав и оглянувшись внимательно, с девичьей боязнью, Наташа быстренько скидывает платье и рубашку, спускается по мягким травмам ската, морщится, ступив на острый камушек, — и вот она в воде, к ужасу уклеек, плотичек и живо юркнувшего в нору рака.

Может быть, и нет движения в реальности, но и вода несет тело, и руки ей помогают, подвигая его саженьками, по-мальчишески; и не будь Ока слишком широкой, можно бы уплыть на тот берег, на этом оставив очень умного и очень нелепого Зенона, который и плавать не умеет, и Оки не видал, да и вообще смешной старикашка, запутавшийся бородой в переплете книги, если была у него борода. И, насколько его не стыдись, этого слепого умника, Наташа пробует лечь на спину, что на быстрой реке не так просто. Ее относит течением, и, выйдя поодаль на берег, она бежит к платью немного согнувшись, потому что если слеп Зенон, то не слепы кузнечики, и небесные барашки тоже не слепы, и вообще на всякий случай.

«Итак, — говорит Зенон, — будем продолжать. Если предположить, что быстроногий Ахиллес пробежит десять локтей, отделяющих его от черепахи...»

Быстроногий Ахиллес, сбросив на бегу хитон, летит так, что сверкают на солнце голые пятки — и уязвимая, и заколдованная. Он весь — порыв и движение, кудри развеваются, издали слышно его частое дыханье. На черепаху это не производит ни малейшего впечатления: ползет не торопясь, зная, что ее победа обеспечена. Разумеется, сочувствие Наташи на стороне Ахиллеса, но ей нравится и уверенность черепахи, какая-то обреченность этого состязания. Силой своей скептической мысли Зенон не дает Ахиллесу перепрыгнуть через черепаху и унести по берегу реки до самого перелеска. Есть тут какой-то математический фокус, но Наташе он так же неизвестен, как и огорченному бегуну.

Лето пройдет быстро — уже начали косить сено; и не оглянешься, как пора в Москву. А между прочим — основная цель жизни еще не выяснена, будущее еще не наметилось! Опять будут речи о страждущем народе и деспотизме самодержавной власти. Потом о соотношении личности и общества, о путях эволюции и революции, о методах борьбы и, главное, тактике. И еще об общественном долге и личном самопожертвовании. Долг — вздор, а отдать свою жизнь так, как хочется, — разве это жертва? Это и значит — выиграть свою жизнь! И все-таки интересно, любила ли Перовская Желябова? Какую роль в ее жизни сыграла эта любовь?

После купанья так хочется есть, что Наташа выпила бы целую кринку молока; но днем парного нет, нужно ждать, пока пригонят коров. А пока бы хоть черного хлеба с крупной солью! И свежий огурец. Зенон, уткнувшись лицом в траву, пробует задремать, но его перевертывают, захлопывают, прижимают теплым локтем и почти бегом несут домой — через поля высокой ржи, которая уже налилась и начинает золотиться. По переплету пощелкивают колосья, и Зенону со всеми его единомышленниками и всеми его врагами беспокойно, потому что руки Наташи в непрерывном движении: она рвет колосья, вычищает еще незрелые зерна и ест их белыми зубами.

У нее светлые голубые глаза, очень ясные, потому что молодые. И она здорова, потому что выросла в деревне и еще не замучена городом. Кожа золотится, босым ногам прохладно в тени высокой ржи. Мир пахнет травами, прекрасный мир, неведомый тем, кто смотрит из городских окон на мостовую и думает, что ничего другого нет, что так и нужно жить — в пыли, в дыму и людском гомоне. И кто, значит, не ведает великого счастья — быть обнятым природой и плыть по воздуху, над полем, над лесом, в горячем солнечном луче, мошкой, мотыльком, ястребом, в шепоте трав, во всей этой изумительной музыке летнего дня и в ощущении молодости, которого никакими словами не изобразишь и не расскажешь.

И вот — изгородь старого сада, калитка, липовая аллея и крылечко дома. Зенон чувствует, как молодая неразумная сила несет его по скрипучей лестнице и плашмя хлопает на плоскую доску стола. Нужен весь его стоицизм, чтобы и тут отрицать множественность вещей и настаивать на иллюзорности движения, — но как иначе поступить мудрецу, который две с половиной тысячи лет твердит одну и ту же остроумную выдумку о черепаше и Ахиллесе? Саркастически улыбаясь, он прислушивается к удаляющимся шагам.

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

В семь часов утра отец Яков пробуждается совершенно свежим и вполне готовым в поход. Умывается и одевается бесшумно, чтобы не беспокоить гостеприимных хозяев, волосы расчесывает прилежно, рясу осматривает обстоятельно, сапоги натягивает только в передней, перед выходом. Затем, с толстым портфелем под мышкой, отец Яков тихо выходит, осторожно притворяет за собою дверь и легкой поступью, при всей своей грузности, спускается по лестнице. В восемь утра он уже в гуще любопытной человеческой жизни, которую любит и которую изучает вдоль и поперек.

Отец Яков — бесприходный поп, родом из приуральской губернии. Бесприходным стал после разных сложных событий и неприятностей, и семейных, и общественных, и финансовых. В чем дело — никто точно не помнит, и в родные места отец Яков

больше не жалуется. Было что-то со сбором на голодающих и с приютом для девочек — история стародавняя. Есть у отца Якова какие-то средства, постоянные и ничтожные, хватающие на билет третьего класса и на закусочную лавку. Жительствует больше по знакомым, не напрашиваясь, а по дружбе, со скромностью. Толст и слегка краснощек — но не пьет спиртного и не склонен к чревоугодию; просто — всякая жизнь и всякое питание ему на пользу. Сегодня он в Москве, завтра в Питере, через неделю в Вологде, в Уфе, в Рязани, зимой — по городам, летом — на Волге и Каме, третьим классом парохода от Рыбинска до Астрахани, от Нижнего до Перми. И всюду друзья и знакомые, временный приют, ласковый привет.

Никто не знает точно, зачем странствует отец Яков, и никто не удивляется его дальним перелетам.

— Откуда вы, отец Яков?

— Да вот ныне из Тулы. Хороший город, и люди приветливые.

— Что вы там делали, отец Яков?

— А смотрел, знакомился. Город самоварный и пряничный, хороший городок. И общество прекрасное.

Отец Яков хвалит все и всех. Дурного он не хочет видеть и говорить о дурном не любит. В каждом месте заводит добрые знакомства, все больше с местными интеллигентами, с докторами, с адвокатами; с духовными лицами мало, хотя не чуждается. Не брезгает и исправниками и очень интересуется революционерами, но о подобных встречах и знакомствах никогда не болтает: понимает, что нельзя.

Портфель отца Якова полон рекомендаций, бумажек с печатями, брошюрки земского и епархиального издания, его собственных писаний и визитных карточек с адресами. Кое-где, по городам, у верных и скромных людей, хранится его архивы: склады им же изданных книжечек и тетради его дневников, обернутые в бумагу, перевязанные аккуратной веревочкой и припечатанные его печатью. А пишет отец Яков преимущественно краткие исследования о местных обычаях, провинциальных памятниках старины, о кустарях, о ярмарках — и для газет, и для издания книжечкой в знакомой типографии. Пишет путаным, узорным почерком, со средней грамотностью, поповским стилем, со множеством пышных прилагательных, но вещи не глупые и не пустые. Это как раз те самые листовки и двухлисточки, реже — поболее, которые, выйдя из-под неведомого пера в неизвестных книгопечатнях, потом делаются библиографическими редкостями и собираются такими же, как отец Яков, странными и любознательными людьми. Отец Яков знает все типографии и всех маленьких издателей; и книжечек выпустил не меньше двадцати, а статей написал без числа. Любит и гонорар — конечно, маленький, соответственный его стилю и его неизвестности.

Главная страсть отца Якова — сидеть за чаем в обществе просвещенных людей и слушать их разговоры, своих замечаний не вставляя. Когда видит, что его стесняются, отходит или совсем уходит; но к нему скоро привыкают, и никогда никто не мог уп-

рекнуть отца Якова в нескромности: сам слушает, но о слышанном по чужим домам не переносит.

— Ну, а вы, отец Яков, как об этом думаете?

— Я-то? Мне думать не нужно, это дело не мое, дело светское, ваше дело!

Иногда проговаривается как бы невзначай:

— Был я в Питере и посетил знаменитого батюшку отца Гапона.

— Да что вы, отец Яков! Как же вы к нему добрались?

— Знакомые друзья помогли, отрекомендовали. Человек поистине любопытный. Поглядел на него, послушал.

— А не боитесь, отец Яков? Ведь за такое знакомство и нагореть может.

— А что же я делаю, я только полюбопытствовал. Все же — собрат по священной рясе, а его поступками я не интересуюсь, не мое дело. Я в прошлом году и у самого министра Плеве бывал, ныне убиенного.

— А к нему как попали и зачем?

— Путем протекции. Имел к нему дело, хлопотал за малышей, за приютских детей, о малой субсидии. Имел, конечно, записочку от сиятельной княгини, от покровительницы.

— Ну и что же?

— А ничего. Интересно. Человек был важный и основательный. Надо их смотреть, влиятельных личностей и правителей государства.

— Разговаривали?

— Разговор был малый, всего минутку побыл. А посмотреть любопытно. Знаменитая была личность, историческая.

— Как же вы это так, на обе стороны: и у Плеве, и у Гапона?

— Какие же стороны? Для меня сторон нет, дело не мое. Для меня все люди одинаковы. Это вы судите да сопоставляете, а мне все одинаково любопытно.

Все любопытно отцу Якову! Кипит Россия — и отец Яков стоит у котла со своей ложкой, вынутой из всевещающего портфеля. Вперед других не суется, а если возможно, тихонько и незаметно зачерпнет похлебки. Любопытно! Но в общем — его дело сторона, он только частный наблюдатель жизни, смиренный свидетель истории. В мемуарах своих, конечно, поместит все, но это уже для потомства, а не ради пустого разговора.

В девятьсот пятом году, перед самыми свободами, великим любопытством горел отец Яков. Всегда осторожный и осмотрительный, тут он позволял себе заглянуть в такие места и такие квартиры, куда раньше не решился бы пойти. На даче; под Москвой, спал ночами в одной комнате с человеком таинственным, наверняка — нелегальным, а может, и террористом — такое было время. Впрочем, на даче почтенной, у земляка и старого знакомого, большого либерала, помогавшего революционерам. Таинственного человека звали Николаем Ивановичем, и спал он не раздеваясь, даже и башмаков не снимая, у открытого окна, которое выходило на огород, а дальше — пустырь до самого леса.

Укладываясь спать, подолгу беседовали; отец Яков рассказывал, коротко, немногословно и без ярких красок, об уральских лесах и о верховьях Камы, как он там нашел русское племя, которое и про Бога не знало, и даже браков не имело,— так, жили, кто с кем хотел, и никому не молились. А его собеседник, оказывается, знал и эти места, и много других подобных, и сибирскую тайгу, но почему знал — не рассказывал, а отец Яков, конечно, не спрашивал.

Иногда Николай Иванович подшучивал над отцом Яковом:

— Вот заберет вас ночью полиция, святой отец, и будем мы вместе сидеть в тюрьме. Там, бывает, неплохой борщ дают.

— Меня забирать не за что, я — лицо духовное, светским не занимаюсь. Да и вас за что же трогать — вы человек достойный и почтенный.

— А зачем вы по свету бродите, отец Яков? Что вас носит?

— Брожу, по разным малым делам хлопочу. Ну, и так смотрю. Жизнь-то, Николай Иванович, лю-бо-пытна! Все суетятся, и каждому хочется, чтобы вышло по его.

— А вы, значит, со стороны смотрите?

— Я смотрю — никому не мешаю. Мне все интересно.

— А может быть, вы — опасный человек, отец Яков? Чем вы подлинно занимаетесь — никому не ведомо.

Отец Яков отвечал немного обиженно, но степенно:

— Дурным делом не занимаюсь, и многие меня знают. Болтать не болтаю, а и скрывать нечего. Если же кто не доверяет — не нужно со мною, с попом, водиться. Кто верит — тот и верит, насильно же ничьей дружбы, ниже доверия, не ищу.

— Я верю, отец Яков, вы не обижайтесь, я пошутил. Я знаю людей, много среди них околачивался. Тоже ведь и я про свои дела язык не распускаю.

— Ну вот и прекрасно.

За три дня сожителства под одним гостеприимным кровом так подружились, что даже поменялись обувью. Отца Якова, по летнему времени, прельстили новые легкие штиблеты Николая Ивановича, а тому оказались как раз по ноге, и впору, и удобны поповские полуслапожки.

По вечерам, за долгим чаем, Николай Иванович читал наизусть стихи — Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого, а отец Яков слушал с восхищением. Также слушал, сам порою подпевая, церковные молитвы и песнопения, которые Николай Иванович исполнял удивительно. При цыганских же романсах скромный поп немного краснел, но неодобрения не высказывал. И все, кто за чаем присутствовал, любовались их дружбой и тихонько посмеивались.

Когда Николай Иванович внезапно уехал, даже не попрощавшись, и куда — не говорили, а потом в газетах описывали наружность неопознанного террориста, убившего градоначальника,— отец Яков молча читал газету, смущенно бегал глазками и спрашивал хозяина:

— А что, видно, друг-то мой, Николай Иванович, надолго уехал?

Хозяин, который и сам догадывался, кому он давал приют, с деланным равнодушием отвечал:

— Не знаю, отец Яков, он не сказал. Да я и вообще его мало знаю, случайное знакомство. Попросили приютить,— ну, я его и приютил.

Отец Яков продолжал в раздумье:

— Видно, надолго! И в моих полсапожках уехал. Хороший был человек, веселый, а в душе как бы страждущий. Лю-бо-пытно!

Однако скоренько собрался, поблагодарил за гостеприимство и тоже уехал: то ли из опаски, то ли дальше смотреть мир, людей и события.

Впрочем, подолгу отец Яков не любил заживаться нигде.

«НАШИ»

Человеческая память дырява, как решето: на крутых поворотах истории она бесследно процеживает не только давнее, но и вчерашний день.

Он забыл, поседевший, изможденный, больно высеченный жизнью, сегодняшний историк, что прошлое, по которому он умиленно вздыхает, было не лучше нынешнего, что лишь перетасована колода тех же самых карт и короб человеческих страданий, иначе уложенных и умятых, по-прежнему полон, что несуществующий прогресс был только его собственной напрасной и неостроумной выдумкой.

Он забыл, пришибленный обвалом неоправданных надежд, как, благоговейно расточая признательность, он преклонялся перед жертвенностью неразумных и пылких юношей, им же соблазненных, которые оставляли детские игры, смех и учебу и шли убивать и умирать во славу миража — счастья будущих поколений.

Злостный банкрот, он с негодованием спрашивает: да как же могли они надеяться, что на крови вырастет благополучие и из преступлений родится справедливый закон? Он клянет их молодость и их поступки, видя в них источник нынешних зол. Но, строго их осуждая, он втайне мечтает о новых молодых мстителях, которые с такой же жертвенностью обрушатся на настоящее, если не во имя будущего, то хотя бы с мечтой о возврате прошлого; за дымной завесой нынешнего пожара это прошлое уже рисуется ему прекрасным потерянным раем.

В дни России, отодвинутые в историю великой войной и величайшей революцией, никто не спрашивал, почему простая и здоровая русская девушка, воспитанная не хуже других и не менее отзывчивая на доброе, бросала родной дом и ученье и уходила в ряды тех, кого одни называли преступниками, другие — святыми. Это было так же просто и естественно и так же мало, как подать копейку нищему или броситься в воду спасать утопающего. Даже не было подвигом: только проявлением душевной чуткости и сознания невозможности поступать иначе.

На снегу была кровь — как тогда была у крылечка, где Пахом раздавил щенка. Вечером к Наташе забежала подруга по курсам:

— Ты знаешь, что делается на Пресне?

— Стреляют?

— Пресня горит! Ее подожгли снарядами. Наши там едва держатся.

Н а ш и — приобщало Наташу к партиям восстания. Они обе чувствовали, что нужно куда-то идти, что-то делать, помогать с в о и м, может быть, стрелять или подставлять грудь под пули. Нельзя же читать книжку, пить чай или спать, когда рядом люди борются и гибнут. Но куда идти?

Затерянные в ночи пустынных улиц, тесно друг к другу, как орешки-двойчатки, в обход закоулками, по льду Москвы-реки, они пробрались на Пресню, где видно было зарево и слышалась редкая ружейная стрельба. Было жутко и необыкновенно. Не зная, куда идти, они держали путь на звуки выстрелов. Им рисовалось, что вот сейчас будут высокие баррикады с красными флагами, валы из трупов и силуэты немногих смельчаков, сражающихся против солдатских отрядов. Но и на Пресне, куда они наконец добрались, переулки были пусты, огни в домах потушены, и только на окнах верхних этажей отражалось зарево недалекого пожара.

В одном месте они натолкнулись на бежавшего юношу в студенческой фуражке, остановили его и спросили, где происходит бой. Он сначала не понял, потом указал в сторону и на ходу крикнул: «Да вы туда не ходите, там черт знает что творится, еще убьют вас!» Они с бьющимся сердцем пошли по указанию и совсем неожиданно, повернув за угол, оказались у какого-то заграждения, где несколько темных фигур наваливали снег на кучу пустых ящиков и поливали водой. Это и была баррикада, которую они так страстно хотели видеть и совсем иначе себе представляли.

Студент, которого они встретили, вернулся сюда. Сперва начальственно прикрикнул на них, зачем они понапрасну тут бродят и рискуют жизнью, — но, в сущности, риска было мало, и баррикада никем не обстреливалась; ее готовили на случай, что солдаты сюда пробьются.

— Пока еще наши держатся и на Большой, и на Средней Пресне; только оружия у нас мало.

Опять — н а ш и! Девушкам они рисовались молодыми великанами, грудью защищающими Пресню от натиска огромных солдатских масс. Если бы пробраться туда и хотя бы подавать им заряженные ружья!

— Но разве нет подмоги из города?

— Какая подмога! Дружинников мало, да сюда и не пройти. Пресня кругом обложена.

— Мы прошли.

— Там, пожалуй, всего и не знают.

— Мы можем вернуться и сказать. Только кому?

— А и правда, вам все равно назад идти! Не здесь же оставаться.

Он научил их, как пройти на Прохоровскую фабрику и как разыскать там либо Никодима Ивановича, либо товарища Оленя.

— Только там опасно! Уж не знаю, ходить ли вам...

— Мы не боимся.

— А уж они вам скажут, что нужно, и адрес дадут. Главное, что у нас и револьверов мало, а патронов и совсем ничего!

Теперь они пробирались с жутким и радостным сознанием важности поручения. Теперь они были участниками борьбы!

Дальше было то, что запоминается на всю жизнь: тени людей на фоне горящего здания, свист пролетевшего снаряда, суматоха революционного штаба, где долго никто не мог указать им, как найти нужных им людей. То, что им рисовалось страшным и величественным, оказалось живым, светлым и словно бы веселым. И было странно слышать в ответ на их расспросы:

— Лучше всего пройдите на кухню, там комитет собирается.

Все мелькало сказочным видением: даже едва запомнилось лицо товарища Оленя, которого они наконец разыскали и который, только минутку подумав, кинул им:

— Это хорошо. Вы там скажите, что нам держаться трудно и что пусть, если могут, посылают сюда и людей, и оружие. Люди есть, а главное — оружие. И нужны бомбы. Так и скажите.

Дал адрес и не велел записывать:

— Здесь не задерживайтесь, уходите!

Опять темными закоулками, сами плохо соображая дорогу, они пробрались через «кольцо войск», которого не было. По льду реки шли уже при первом рассвете. Между собой почти не говорили и друг дружке не сознавались в усталости. Страшным в пути оказалось одно: труп человека на снегу; может быть, замерз, может быть, был убит случайной пулей. Покосились, как лошади, и обошли подале. Но запомнили навсегда.

Рано утром явились по адресу, передали, что сказано, и были неприятно поражены, когда человек, к которому их послали, развел руками и недоверчиво ответил:

— Что за чепуха, откуда нам достать! Да и доставить невозможно!

Они горячо настаивали и вызвались доставить сами; бомбы так бомбы! Он спросил:

— А есть у вас в городе безопасная квартира?

Наташа предложила свою комнату. Он переспросил адрес и сказал, чтобы ждали весь день до вечера. Они ушли с чувством исполненного долга.

Вернувшись домой, Наташа, не раздеваясь, легла отдохнуть. Заснув, проспала до полудня, затем в волнении прождала весь день, — но никто не явился. Все равно, теперь она уже втянута в дело — участница вооруженного восстания! Не сегодня, так завтра ей могут доставить целый ящик динамитных снарядов, и ночью, скользя по льду, она будет носить их на осажденную Пресню или куда понадобится.

Только на следующий день зашла такая же, как она, молоденькая девушка с конфетной коробкой, трижды перевязанной крепкой лентой.

— Вы — Наташа?

— Да.

— Я от Павла Ильича. Он просит вас похранить эту коробку. Куда ее поставить?

— Куда хотите, все равно.

— Нет, так нельзя, нужно быть с нею осторожной.

Коробочку поставили на подоконник, прикрыв газетой.

— А что с ней делать?

— За ней зайдут или вам скажут. Главное — не ударьте обо что-нибудь. Вы понимаете?

— Понимаю. А разве не нужно отнести на Пресню?

Девушка сказала, что больше ничего не знает, что ей поручено только доставить коробочку. А Пресня, говорят, вчера взята войсками, много рабочих арестовано, есть расстрелянные, и теперь на Пресню проникнуть невозможно.

— Я там была прошлой ночью.

— Да, а теперь там сняты все баррикады и занята Прохоровская фабрика.

Теперь Наташа стала стражем не нужной больше небольшой бонбоньерки. Это и есть революция? Да, это и есть революция!

Как нянюшка, сидела и стерегла. Несколько дней не выходила из комнаты, но и не дотрагивалась. Уже не было в Москве стрельбы; уже набиты были тюрьмы и выходили газеты. Уже подошло Рождество.

Решилась опять пойти справиться по тому же адресу. Уходя, дрожавшими руками взяла с подоконника коробку, прижала к груди и, осторожно и несмело ступая, донесла до комода и спрятала в ящик, где были письма гимназических подруг, запрещенная книжка и пучок высохших колосьев ржи — память о минувшем лете в деревне.

ОТЦА ЯКОВА ЛЕТОПИСЬ

Пухлая, белая рука отца Якова — на каждом суставе по подушечке — писала слова с завитушками; если когда-нибудь дотошному историку пригодятся эти писания — намучается он над поповским почерком! А пригодиться могли бы, в особенности «Летопись отца Иакова Кампинского», куча тонких школьных тетрадей, с напечатанными на обложке словами: «Тетрадь учени... ..го класса», а на обороте обложки, на третьей и четвертой ее страницах, — таблица умножения, меры жидких и сыпучих тел и хронология царствований от призвания варягов до наших дней.

В этих тетрадочках, на обеих сторонах линованных страниц, отец Яков записывал ход лично им наблюденных достопамятных

событий, а также доверия заслуживающие слухи, с предпочтением — которых не было в газетах. Тетрадок с собой не возил, кроме последней, а, заполнив, оставлял, где в то время находился, на сохранении у верных людей, своих многочисленных знакомых: одна — в Москве, другая — в Рязани, а то — в Уфе, в Саратове, в Твери или в самом Санкт-Петербурге. Все подумывал собрать эти тетрадочки воедино и хотя бы шить вместе в одну обложку и передать самому верному человеку, — и все никак не удавалось.

В декабре тысяча девятьсот пятого года, после дней Рождества, почти под самый Новый год, записал:

«Ныне стрельбы на улицах города Москвы более не слышно, и можно полагать, конец происшедшим чрезвычайным волнениям. Сказывают, убито побольше тысячи человек, ежели не все две, особенно на Пресне, где рабочий люд с помощью студенчества понастроил заграждений, впоследствии сожженных и разрушенных с пролитием крови.

Самые же декабрьские дни начались осаждением училища господина Ивана Ивановича Фидлера, где и заперлись ученики и посторонние лица из числа бастующих и революционных вожаков. И впервые в первопрестольной столице били по дому пушками! Но те не сдавались, а бросали из окон начиненные динамитом разрывные бомбы страшной силы, что видел своими глазами и слышал ушами, находясь в одном из близлежащих домов. Повечеру разрывались как бы синим огоньком с потрясающим грохотом. Зрелище страшное и трудно забываемое! А когда помянутую молодежь выпустили на честное слово, если выйдут без оружия, то окончилось для них избием и многочисленными арестами, а некоторых зарубили на улице. Женщины, присутствовавшие в их числе в училище, советовали, чтобы не выходить и до конца сопротивляться; мужчины же, а точнее, еще совсем мальчики и юноши возмнили обмануть бдительность и пробиться, что лишь немногим и удалось. Предварительно же Ивану Ивановичу, коего знал лично, свои же ученики подстрелили из револьвера ногу за то, что, поднявши белый плат, хотел за всех сдаться, жалея собственный дом.

А вслед за сим было взорвано на воздух, но не вполне, Московское охранное отделение, что в Гнездиновском переулке. А именно двое мальцов подошли пешком под самые окна и бросили жестянки с динамитом, зажегши фитили от раскуренных папиросок. После чего оба скрылись. Так что все рассказы о налете на лихачах чуть ли не целым отрядом дружинников не соответствуют действительности, о чем знаю достоверно.

Заграждения и баррикады видал лично и своими глазами повсеместно. Под прикрытием рясы иерея, но и без должной опаски наблюдал на Садовой улице, как десяток юных смельчаков с неописуемой дерзостью отбили у солдат пушку, а что делать с той пушкой, не знали, почему и послали одного посмотреть в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, как отвинчивать замок, но ответа не дождался, да так и бросил, вовремя убежавши. На другой день будто бы раздобыли нужные

чертежи, но уже нового случая отбить пушку не встретилось.

Слышал также, но без ручательства, что по снегу вдоль Тверского бульвара катились двое в простынях, понеже на снегу менее заметно, в намерении подкатиться этим способом к самому дому господина градоначальника и взорвать. Однако докатиться не удалось, ибо, начав с неудобного конца, приходилось катиться вверх.

Встретил на Арбате, близ Серебряного переуллка, где церковь Николы Явленного, отряд кавалеристов, и все ехали с ружьями наперевес, направляя дуло в прохожую публику из опасения бросаемых бомб. Я же миновал благополучно, поднявши вверх обе руки, как было приказано, а портфельчик придерживая бородой на весу. Полагаю, и тут был спасен саном священника. Офицер крикнул: «Эй, батюшка, сидели бы дома, а то не ровен час — подстрелят!» Я же поспешил пройти мимо, избавясь от опасности.

На Пресню, однако, пройти в те дни не удалось, но и в самом городе видел неубранные трупы убиенных, а посреди прочих старуху, очевидно к беспорядкам непричастную, но солдаты из опасения стреляли без различия пола и возраста.

Тюрьмы, сказывают, полным-полны, равно как и участковые помещения для задержанных. Из других городов известия, что ничего особенного не происходит, так что главным образом взволновалась только наша матушка-Москва. На праздник Рождества Христова утихло, хотя народу в храмах было помене обычного, не по неверию, а из опаски».

Перечтя записанное и подумав, отец Яков закончил так:

«Сей бурный и событиями несчастливый год закончился обильным пролитием человеческой крови. Не мне, скромному созерцателю событий, изыскивать оных причины. Потрясенная военными неудачами, больна и страдает духом наша возлюбленная родина. И грядущее неясно! Возьмет ли верх благоразумие или продлятся неурядицы и смятение? Одно скажу — пожелаем народу русскому успокоения и возврата к мирному труду, основе благосостояния! И да извлекут из происшедших достопамятных событий поучительные выводы и правящие и управляемые!»

Тут опять задумался отец Яков, свидетель истории. В своих скитаниях он видел правящих и жил среди управляемых; и опыт жизни говорил ему, что и те и другие не проявляли склонности к поучительным из событий выводам. И еще он знал, что во глубинах уездной России столичные дела не имели ясного отзвука и что разговоры о свободах, о народном представительстве и ответственном министерстве были и чужды, и непонятны крестьянской России и толковались ею по-своему: «Правда ли, будто царь отымет землю у господ и отдаст мужикам?» Все же прочее скользило мимо уха и не западало в память.

Поэтому свою декабрьскую запись отец Яков окончательно заключил отвлеченным рассуждением и поэтической картиной, а именно:

«Сидя ныне у окна, наблюдаю падение густого снега, между тем как до сей поры зима была повсеместно малоснежна. Не могу нарадоваться летящему белому пуху, способнику грядущих урожаев. Не важнее ли сие всяких собеседований и споров о высокой политике? Вспоминаю белые пласты снеговых покровов наших прикамских и приуральских местностей, где был рожден и откуда пустился в странствие по стогнам российским не в качестве священнослужителя, но как бы вечный путник, любопытствующий о жизни возлюбленной Родины! На этом и закончу, уступив временно лирическому подъему, объясняемому настоящим моим одиночеством и значительностью переживаемых дней!»

Последние строки летописца отца Иакова Кампинского переехали со страниц ученической тетради на розовую ее обложку и заняли промежуток печатных строк, утверждавших, что в версте пятьсот сажен, а в сажене три аршина.

Дописавши, отец Яков довольно и не без хитрецы улыбнулся, крупно проставил число, месяц и год, а на лицевой обложке тетради подправил чернилами ее номер.

Был отец Яков аккуратен и любил во всем систему и порядок.

ПОД НОВЫЙ ГОД

В ночь под Новый год в селе Черкизове, под Москвой, в домике учителя, собралось несколько молодых людей. Новогодний пир не отличался пышностью: студень с хреном, картошка со сметаной и вместо шампанского две бутылки красного удельного номер двадцать два.

Хозяин, пожилой учитель, говорил:

— Нынче, товарищи, опасаться нечего. Под Новый год обысков не делают, тоже ведь и охранники празднуют.

Гостей шестеро, в том числе две девушки. Все одеты так, чтобы не очень выделяться из обычной рабочей толпы поселка,— и по всем лицам видно, что это не рабочие. Больше всех похож на рабочего парня тот, которого называют то Алешей, то Оленем. Он — высокий, красивый блондин, с лицом мужественным и очень нервным; к нему, широкогрудому и стройному, кличка Олень очень пристала, и, по-видимому, он к ней привык. Меньше всех мог бы сойти за пролетария маленького роста еврей, с обезображенными и исковерканными кистями обеих рук; у него большие, слегка навывкате удивленные глаза, редкая борода, слабый голос и острый, ядовитый язычок; его называют Никодимом Ивановичем, он — старый партийный работник, и все знают, что его руки обожжены взрывом, когда он заведовал эсеровской лабораторией. Третий гость учителя — невеселый и задумчивый юноша Морис, студент, успевший еще до московских событий дважды посидеть в тюрьме и освобожденный в дни «свобод». Четвертый гость — товарищ Петрусь, студент-лесник, румяный, приятный, веселый, общий любимец; в дни

ноября он, в высокой папахе и с револьвером в руках, единолично разгонял толпы черносотенных демонстрантов: врывался в середину толпы и кричал: «Честные люди, расходитесь, а жуликов пристрелю!» Стрелять ему не приходилось, так как толпы разбежались, оставляя на снегу царские портреты и иконы Серафима Саровского. На эти свои подвиги Петрусь смотрел как на легкий спорт и забавное развлечение. Но в декабрьские дни он так же весело валил фонарные столбы, заграждая путь семеновцам, и перестреливался с ними из-за слабого прикрытия.

Одну из женщин, постарше, зовут Евгения Константиновна. Она некрасива, но так родовита и барственна лицом, что никакой головной платок не превратит ее в заводскую девушку. Поговору — не москвичка, так как отчетливо говорит «конечно» и «скучно», а не «конешно» и «скушно», как полагается говорить москвичам; скорее всего — петербурженка, к тому же привыкшая и к иностранным языкам. Другая, наоборот, похожа на молоденькую крестьянку, крепко шитую, бойкую, но с тем выражением ранней степенности, которая свойственна рязанским девушкам и бабам. Это — Наташа. К ней все относятся с особым вниманием и несколько подчеркнутой участливостью, потому ли, что она младшая, или потому, что меньше всех похожа на заговорщика.

— Вы, Наташа, собственно, напрасно рискуете, — говорит Олень. — Вам и нет смысла и не нужно переходить на нелегальное положение.

— На квартире я рискую больше; вы знаете, что у меня хранится в комнате?

— Это нужно завтра же ликвидировать. Кто-нибудь к вам явится и унесет.

Евгения Константиновна говорит спокойно:

— Я завтра унесу. Только куда? Чистых квартир больше нет, а к себе я не могу.

— Придумаем. Я скажу вам куда. Вы только будьте осторожны, Евгения Константиновна!

Она подымает брови: разве нужно давать ей советы?

В самые горячие дни московского восстания она, всегда прекрасно одетая, в дорогих мехах, не раз доставляла «конфеты» — изящно упакованные коробочки с ударными бомбами. Это сделалось как бы ее основной специальностью. Однажды у выходных дверей большого дома она встретила с молодым жандармским офицером, который бросился к дверям, распахнул их и придержал, пока элегантная дама выходила. Он был олицетворением офицерской любезности, и она подарила его благосклонной улыбкой. На улице он некоторое время, впрочем осторожно и почтительно, шел за ней. Она взяла извозчика и уехала, держа коробочку на весу — чтобы не взорваться, если споткнется лошадь или подбросит санки на снежной уличной колее. Когда извозчик пересекал Садовую улицу, неподалеку у Красных ворот, выпалило подвезенное солдатами орудие — так, вдоль ули-

цы, на всякий случай, картечью. Лошадь дернула, испуганный извозчик еще подстегнул ее кнутом, и санки понеслись по ухабам запущенной в эти дни улицы. Она откинулась, но руки со страшной коробочкой остались на весу, над полостью сани, а пальцы крепко держали прочную веревочку. Когда отъехали подальше, извозчик повернулся к ней:

— Ну, барыня, и испужался я! Вот как палят в матушке-Москве.

Она равнодушно спросила:

— А почему это стреляют?

— Кто ж их знает? Про то известно начальству. А люди говорят: леволуция!

— Что это такое — леволуция?

— Господа бунтуют. А сказывают — и рабочие недовольны. Дело не наше, мы — извозчики.

Доставив коробочку в условленное место, она вернулась домой, где ее дядя, генерал, обрушился с упреками за ее прогулки по беспокойной Москве.

— Тебя могут случайно подстрелить!

— О, дядя, я осторожна. А почему вы дома? Вы не усмиряете мятежников?

— Бог милował! Недоставало, на старости лет, воевать с народом. Мы, к счастью, избавлены; на это есть Семеновский полк.

— А вы не сочувствуете мятежникам, дядя?

Ей, недавней институтке, дядя прощал любые неразумные слова. И теперь он только потрепал ее по щеке:

— Я служу царю, моя милая! Надеюсь, что и ты им не сочувствуешь.

И он добродушно рассмеялся.

Олень говорил:

— Наташа, явочную квартиру придется пока оставить у вас. Но не держите дома ничего, никаких бумажек, никаких адресов и людей не собирайте. Как можно осторожнее! Ну а вам, товарищи, необходимо на время из Москвы исчезнуть. В случае чего — сноситесь через Наташу.

— А ты, Алеша?

— Я останусь.

— Тебя заберут, тебя хорошо знают по Пресне.

— Заберут, не заберут, а я сейчас уехать не могу, и говорить нечего. Живым меня не заберут.

Учитель сказал:

— Через три минуты — Новый год. Давайте хоть вина выпьем, а уж потом договоримся обо всем.

Налили вина в толстые стаканы. А когда чокнулись и выпили, — на добрый час исчезли заговорщики и загнанные революционеры и остались молодые люди, счастливые тем, что все они еще на свободе и что в их среде две милые девушки, одна строгая и немного чопорная, другая — совсем еще не опе-

рившийся птенчик революции, совсем девочка, простая и ясноглазая.

— Вы, Наташа, петь умеете?

— Я по-крестьянски, как у нас в Федоровке. Хотите ча-
стушки?

— Спойте, Наташа.

Она встала, подбоченилась, выбила каблучками дробь:

Говорили про меня,
Што баловлива больно я.
Где ж мне быть баловливой,
Строгий папа у меня.

— Нет, у меня веселое не выходит. Давайте споем хором, я буду запевать.

Они спели сначала «Стеньку Разина», потом «Ой, у лузи», но хор составил плохо. Только Петрусь хорошо тянул тенором, а женский голос один — Наташи.

— А вы не поете, Евгения Константиновна?

— Я не знаю русских песен. Меня учили романсам, да и то французским.

Учитель посмотрел удивленно. Он знал Евгению Константиновну как члена эсеровской партии и слышал о необыкновенном ее хладнокровии и выдержке, — об этом знали все. Знал еще, что через нее партия получала сведения о настроении военных кругов и о составе Московского гарнизона, который в дни революции оказался малочисленным и непрочным, почему и были присланы в Москву семеновцы. Но биографии ее он не знал, как и большинство; не знал и ее настоящей фамилии. Хорошо ее знал только Олень.

В третьем часу ночи она встала:

— Ну, я пойду.

— Куда же? Нельзя так поздно: вы не доберетесь до города.

Она улыбнулась:

— Я доберусь. И не очень боюсь. У меня есть защита!

Вынула из простенькой сумочки револьвер — маленький «велодок» с рукояткой, выложенной перламутром.

Учитель настаивал:

— Оставайтесь, товарищи, до света. Там разбредетесь. А сейчас очень опасно.

Решил Олень. Другие привыкли ему подчиняться:

— Идем все. До города — вместе, в городе поодиночке. Новый год, да и ночь чудесная, снег идет — прогуляемся.

Мужчины были в сапогах, женщины в глубоких ботах. Вышли веселой гурьбой, и до края поселка провожал учитель.

Наташа потянула за рукав Оленя:

— Отстанем на минутку.

— Слушаю, Наташа, в чем дело?

— Товарищ Олень, я хочу вам сказать, что я решила не возвращаться домой, к отцу, в Рязань. Он вызывает меня, но я не поеду. И еще что я решила, если вы меня возьмете, пойти в боевую организацию.

— Рано вам, Наташа! А затем — убивать и умирать не так просто.

— Убивать — да, а умирать просто. Ну, я вам все сказала, догоним их.

Он задержал ее еще:

— Сколько вам лет, Наташа?

— Мне? Двадцать, скоро двадцать один. Разве революцию создают старики? Вот и вы тоже молодой, и Петрусь, и большинство. Ну, это все. Когда будет нужно — вы вспомните.

МОЛОДОЖЕНЫ

У самого подъезда он напомнил ей, понизив голос:

— Не забывайте, Наташа, что вы — Вера, и называйте меня на ты. А я, конечно, Анатолий.

— Да-да.

— Ну, теперь идем. Кажется, это — второй этаж? Ты помнишь?

— Второй, дверь направо.

Отворила горничная:

— Пожалуйста. Я все приготовила, как сказали.

Они прошли в гостиную, обставленную богато и безвкусно. В большом зеркале отразились высокие фигуры: женщина, темная шатенка с очень приятным лицом, в кружевной накидке и модной шляпке, и ее муж, одетый с иголочки, широкоплечий, белокурый, здоровый, молодой.

— Вас зовут Машей?

— Да, барыня.

— Вы давно служите, Маша?

— Три года. Когда наша барыня уезжают, всегда меня оставляют здесь при квартире.

— Мы переедем сегодня к вечеру, Маша. Ужинать сегодня будем в ресторане, а с завтрашнего дня дома.

— Слушаю.

Они смотрели столовую, где было чисто прибрано и вся позанная посуда выложена на буфет. Потом заглянули в спальню с большой постелью, высоким крутобоким комодом, огромным зеркальным шкапом. И здесь зеркало отразило их лица: очень серьезное, деловое лицо мужчины и немного смущенное — женщины.

— Хорошо, Маша, спасибо. Нужно будет кое-что докупить, мы этим после займемся.

Собственно, докупать было нечего; скорее, было бы можно убрать множество ненужных предметов: скамеечки, пуфы, вазочки, безвкусные картины.

— Постель приготовить, барыня? Я простынь не постлала.

Надо было сказать, что «мой муж любит спать на диване», — но горничная смотрела на них с таким любопытством и вниманием, что Наташа не решилась.

— Да, конечно, к вечеру все приготовьте.

На столе в кабинете стоял громоздкий и ненужный письменный прибор: высокая чернильница с песочницей, разрезной нож, стакан для перьев, тяжелый пресс-бювар, пепельница, — все серого камня с аляповатой бронзой. Наклонная лира с гвоздиками — класть ручки и карандаши — и слишком коммерческого вида стойка для бумаг. Для книг была небольшая этажерка, и на ней толстая телефонная книга и «Весь Петербург».

— Напомни мне, Анатолий, купить чернил! И бумаги, конвертов.

Олень с уважением посмотрел на Наташу: «Какой она молодец, как славно себя держит! Как у нее хорошо вышло: «Напомни, мне, Анатолий...»

Он на минуту присел в мягкое кресло, похлопал ладонью по коленке и не знал, что нужно говорить.

— Тебе будет удобно тут заниматься?

— Да, ничего. Пойдем?

— Пойдем. Значит, Маша, до свиданья, до вечера. Мы приедем часу в восьмом.

— Слушаю, барыня.

Они вышли. До угла улицы молчали, потом он сказал:

— Да, немножко смешно. Уж очень парадно. Вы управитесь, Наташа?

— Управлюсь как-нибудь. Только не забыть бы купить чаю, сахару, печенья, чего еще? Варенья? Вы варенье любите?

— Вероятно, люблю. И чернил.

— Да, и чернил. Мы будем покупать вместе? Хотите, зайдем сейчас?

— Ну что же. Только уж будем вообще на ты. Нужно привыкать. Вы — Вера, а я — Анатолий. А башмаки немного жмут. И почему я в пальто — тоже неизвестно, и без него жарко. А вы все-таки удивительный молодец! Вы знаете!

— Что я знаю? Что нужно сахару?

— Ну да, и вообще: настоящая барыня.

— Нет, я плохая хозяйка. Как я буду заказывать обед — прямо не понимаю. Дома мне никогда не приходилось. Хотя, знаете, я умею готовить воздушный пирог. Ну, как-нибудь обойдется.

В восемь часов они приехали с большими, новыми и слишком легкими чемоданами. Один, потяжелее, с книгами. Он не знал, что купить, — и купил Полное собрание сочинений Достоевского, несколько сборников «Знания» и еще, по ее просьбе, поваренную книгу. В другом чемодане были ее вещи, тоже новые — три платья, немного белья без меток, коробка почтовой бумаги, туалетные принадлежности, — много ненужного, чего у нее никогда не было, но что сейчас необходимо иметь, чтобы казаться настоящей барыней. Коробка душистого мыла, хороший одеколон, пудра, духи. Ночные туфли с красным помпоном. Легкий капотик. В двух картонках — новые шляпы, одна красивая, другая безвкусная. Ему купили шляпу «панама», котелок, несколько

галстуков и тоже ночные туфли. И самое смешное — халат с пышными кистями. В халате Олень никак не мог себя представить.

— Сколько мы денег истратили!

— Это необходимо, Вера.

— Я знаю. Но жаль денег.

Костюмы, белье, галстуки, башмаки — все было новенькое, только что из магазина. Совсем не было случайных и старых вещей, которые сопровождают каждого, — милых, привычных и подержанных. Все было неношено, неудобно и ненужно.

Когда он протянул руку, чтобы снять чемоданы с извозчицкой пролетки, Наташа остановила его:

— Подожди. Мы вышлем взять вещи Машу, а ей поможет дворник. — Она знала лучше, и он подчинился. Дворник, получив хорошо на чай, решил, что господа стоящие. По их паспортам узнал, что из купцов, тамбовские, муж с женой, по фамилии — Шляпкины.

Пили чай с вареньем и, пока входила Маша, разговаривали мало. Олень чувствовал себя не столько «барином», сколько гостем. В одиннадцатом часу Маша ушла спать, получив на завтра не вполне точные, но толковые распоряжения. Видимо, господа едят просто — суп, телятина, компот. Из закусок велели купить вареную колбасу и сардинки. В запас — масло, вермишель, уксус, картошку — как обычно. Маша напомнила, что еще нужно соли, горчицы, перцу и кореньев. Барыня сказала: «Ну, конечно!» — и выдала денег на расходы. Ни водки, ни вина. Барин не пьет, а гостей не ждут; может быть, потом сами купят.

Когда они остались одни, оказалось, что разговаривать стало еще труднее; однако нужно многое решить.

Они, Вера и Анатолий Шляпкины, молодожены. Впрочем, по паспорту, женаты уже второй год.

— Кажется — все ладно?

— Вы удивительны, Наташа. Такая образцовая хозяйка!

— Только не «Наташа» и не «вы».

— Да, правда. Ты, Вера, совсем молодец.

— Нет, я не молодец. Я все никак не могу по-настоящему войти в роль; я, например, забыла, что для супа нужны коренья.

— Как коренья?

— Ну, там морковь, сельдерей. Хозяйство — пустяки, хотя я не умею шиковать. Ведь мы в Рязани скромно жили.

— Это все же нужно, особенно перед прислужгой. Вот вы заказали телятину, а пожалуй, правильнее индейку или там рябчиков, я не знаю.

— Пустяки. Я сказала Маше, что мы любим есть просто, а по пятницам всегда постное.

— Ну? Вот это ловко! Это правильно. Это прямо замечательно!

— А как теперь дальнейшее?

— Что дальнейшее? Спать — и все: утро вечера мудреней.

— Видите... видишь, Анатолий, а как, например, спать?

— А что?

— Да ведь спать придется в спальне?

— Конечно. Ах да...

— Мне неловко при вас раздеваться.

— Это же вздор, пустяки. Будьте выше этого, Наташа!

— И вздор, и не вздор. Как-то неудобно. Что-нибудь нужно придумать. Вы не можете спать в кабинете?

— Мне-то все равно. Только... пожалуй, неудобно перед прислугой. Там и не послано...

Они задумались — и думы их были сходны. Нужно играть роль до конца — а как ее играть до конца? То есть, конечно, только для виду!

— Вот что, Наташа...

— Не Наташа, а Вера, нужно привыкнуть.

— Да, конечно, Вера. Вот... ты иди и ложись спать. Ложись как следует. А я могу спать в кабинете, даже не раздеваясь. Мне это совершенно безразлично, я привык.

— Но нельзя же всегда так! И кроме того, эта девушка, эта Маша, встает очень рано. Она должна прибрать комнаты. Да и ночью она может случайно встать и прийти сюда.

— Это правда.

Они говорили тихо, почти шепотом, и сидели близко друг к другу. Увидав его растерянное лицо, Наташа весело рассмеялась.

— Слушай, знаешь что, не довольно ли нам говорить о таких глупостях? Вот нашли трудности!

— Мне-то не трудно, но я о тебе...

— Вот что, я пойду и лягу в постель. Раз нужно, так и нужно. А вы приходите позже, потушите свет и тоже как-нибудь ложитесь. Если нам стыдно друг друга, можно не раздеваться совсем. А утром я перетрясу постель, будто бы мы спали.

— Да, так хорошо.

— Ну и все, стоит об этом разговаривать.

Опять в спальне ее увидело зеркало. Ей было двадцать лет, и с детства она любила парное молоко. Она не была красива, но была здоровой и заметной девушкой.

Присев на край постели, она сняла туфли и сунула ноги в новенькие спальные. Потом подумала, скинула платье и сняла чулки. На открытой простыне лежала приготовленная Машей рубашка. Наташа надела ее и вспомнила, что купила ночные кофточка, каких никогда не употребляла. В кофточке было жарко, а тут еще одеяло. Но ничего не поделаешь. Затем она расчесала и заплела в две косы свои прекрасные волосы. Теперь она была красива и привлекательна — и это было глупо и совсем не нужно. Легла окончательно и расправила складки легкого одеяла, чтобы оно не облегло ее тела. После, ночью, можно будет немного откинуть одеяло, а утром, когда посветлеет, опять его натянуть. Как все это глупо!

День был трудный, Наташа устала. Свет тушился с ее сто-

роны,— но она его оставила. Можно потушить потом, когда он придет. Жрикнула:

— Можно, Анатолий!

Он вошел, белокурый, смущенный. Наташа подумала:

«Вот так входят к новобрачной, а впрочем, вероятно, совсем не так».

Олень взглянул на нее бегло, с доброй улыбкой:

— Вот и правильно. Можете свет потушить, я и так лягу.

Свет потушили. Слышно было, как он снял башмаки, пиджак. Затем он лег поверх одеяла.

— Да, я забыл запереть дверь на ключ.

Мягко ступая, подошел к двери, запер и вернулся, тяжело опустившись на большую и мягкую двуспальную кровать.

Она хотела сказать, что ведь есть туфли и что он мог бы раздеться и надеть халат, это удобнее, но промолчала. Сегодня как-нибудь, а после что-нибудь придумается.

С минуту они лежали молча. Потом он спросил:

— Вам, Наташа, спать очень хочется?

— Нет.

— Тогда поговорим. Вы, дорогая, будьте проще и о пустяках не беспокойтесь. У нас много серьезного. Я вам расскажу, о чем мы говорили с Петрусем. Вы знаете — он уже устроился газетчиком.

— Удачно?

— По-моему — удачно. Он — ловкий парень, настоящий артист. И знаете...

— Не говорите так громко; кто ее знает, эту Машу.

— Да, правда.

Повернувшись друг к другу, они долго шептались. Утомление подкралось незаметно, и над ними опустилась молчаливая и целомудренная ночь.

Одна

Наташа одна дома. Впрочем, теперь она не Наташа, а молодая купеческая жена Вера Шляпкина, приехавшая с мужем пожить в Петербурге.

Дождливый петербургский вечер. Еще не осень, но уже чувствуется, что лету конец. Наташа сидит в гостиной своей уютной квартиры и читает «Тьму» Леонида Андреева.

В этом странном рассказе революционер, которому негде переночевать, попадает в публичный дом; но он, как служитель и исповедник высокой идеи, не хочет «пасть». Его чистотелость и брезгливость оскорбляет и унижает девушку, одну из тех несчастных, ради которых, как вообще ради всех несчастных и обездоленных, жертвуют собой революционеры.

Иными словами — «нельзя быть хорошим», позорно выделять себя из общей массы грязных, грешных, ничтожных людей! Подло оставаться в их среде ангелом в светлых ризах!

Значит, что же? Значит, нужно самому опуститься на дно и лишь потом, по праву равного, пытаться пересоздать жизнь и уничтожить это дно? Иначе случится то, что случилось с героем рассказа Андреева: дно, оскорбленное высокомерием незванного спасителя, выдало его врагам; оно отвергло протянутую руку в белой перчатке.

Что в этом есть какая-то правда — Наташа чувствует; в белых перчатках революции не сделаешь; минувший год доказал это лишний раз. Но есть и другая правда, за которую уже многие положили свою жизнь: правда чистых, высоких идеалистов, отрехшихся от благ личной жизни, ради блага общего, и тем окруживших самую идею революции ореолом святости и красоты.

Разобраться в этом трудно, а нужно разобраться. Пока одни пытаются найти ответ — другие действуют. Таков, например, Олень. Он не тратит часов и дней на теоретические споры и рассуждения; ежеминутно рискуя головой, он готовит страшный удар власти, с которой борется, зная, что при этом могут погибнуть люди, ни в чем не повинные. Он следует приказу своей совести, не позволяя себе лишних рассуждений. И он имеет на это право, потому что всегда готов быть первой жертвой и за все понести ответственность.

Сегодня у Оленя свидание с членами его боевой группы, которых было бы неосторожным позвать сюда. Может случиться, что Олень не вернется, что чья-нибудь оплошность, а то и предательство погубят и его, и все дело. Тогда сразу разрушится и этот временно созданный быт и вместо мягкого кресла будет тюремная койка, а затем каторга или казнь.

Второй месяц Наташа живет вдвоем с Оленем — а знает ли она его? Кажется, все-таки знает. Но кто он для нее? Товарищ? Муж? С тех пор как они окончательно вошли в роль, а это случилось как-то уж очень просто, без долгих раздумий и объяснений, словно бы ради простоты и удобства, — строй их жизни, в сущности, не изменился. Стало проще перед горничной Машей — и это все. Жить чувством им некогда — иным переполнен их странный быт. На Олене лежит вся тяжесть революционной работы, вся техника, весь риск, а она ему помогает. Он — настоящий вождь и начальник. Другого такого Оленя нет, — такого цельного, сильного, не сомневающегося, умеющего вдохновлять других и думать за них. Погибнет он — и все погибнет; и Наташа, и все товарищи это понимают.

Именно вождя и верного товарища она в нем и любит, — хотя он умеет быть ласковым и нежным. Она узнала его в Москве, на Пресне, в дни восстания. Потом, под Новый год, в селе Черкизове она сказала ему, что готова пойти за ним в террор. До весны они почти не встречались, так как Олень скрывался и готовил новое выступление. Затем произошел знаменитый «экс», вооруженное ограбление московского банка; только Олень мог решиться на такой шаг, вызвавший осуждение партийных моралистов, которые, впрочем, не отказались принять

от него часть добытых им денег. Эти деньги были отданы на помощь сидевшим в тюрьмах, на устройство побегов из ссылки и на подготовку дальнейшей борьбы. Затем, весной, когда полиция усиленно искала Оленя, он однажды пришел к Наташе, почти без грима, только слегка зачернив волосы и в темном пенсне. Она устроила ему ночлег у знакомых на подмосковной даче. А последняя их встреча была в первомайский день в сосновом лесу — в день весенний, очень памятный и очень страшный.

Это был сбор остатков разбитой армии, подсчет сил и вместе с тем — маевка для рабочих. В чудесный солнечный день собрались в лесу. Место сбора не было точно указано, но был дан пароль, по которому человек с букетом подснежников, сидевший на траве на опушке леса, показывал тропинку к отдаленной поляне. Собралось человек тридцать, и среди них оказался Олень. Когда начались речи, кто-то заметил, что двое рабочих никому не известны. Их опросили, и они сказали, что попали на собрание случайно, гуляя по лесу. «Видим, как бы митинг, ну и подсели послушать, что говорят ораторы». Их обыскали — и убедились, что это крупные агенты московской охраны. Что было с ними делать? Они слишком многое услышали и видели всех! Отпустить их — значит, погубить всех, кто был на маевке. У революционеров нет тюрем для пленных.

И вот тут сказалоь то, что Олень называл интеллигентщиной. Революционеры умеют бросать бомбы и умирать на баррикадах; но расстреливать взятых в плен они не умеют. Одно — нападение, другое — казнь. Быть палачом, убить связанного — на это сил не хватает.

Олень сказал:

— Вот что, товарищи, таких вопросов не обсуждают. Прошу вас всех скорее разойтись, и не толпой, а разными дорогами, лучше поодиночке. А я останусь здесь. Только... может быть, хоть двое останутся со мной на время, чтобы решить...

Наташа видела общую растерянность. Никто не отозвался, все спешно и молча двинулись, кто по дороге, кто в глубь леса. Тогда она подошла к Оленю:

— Я могу остаться с вами.

Он взглянул на нее и резко ответил:

— Уйдите! Уходите отсюда!

Наташа видела, как дергалась щека Оленя и какое презрение было в его глазах. Неужели никто не останется с ним?

Новый резкий окрик Оленя:

— Слышите? Уходите немедленно. Вам тут нечего делать!

Она не смела послушаться и пошла за всеми. Отойдя шагов сто в глубь леса, обернулась. Было видно сквозь деревья, как в прежней позе стоит Олень, а подле него лежат связанные люди. Олень словно ждал, что она оглянется, — и несколько раз злобно махнул рукой в ее сторону: «Идите!»

Уже никого не было видно, все разбежались. Она шла, но все замедляла шаг и прислушивалась. Минут через десять до

нее донеслись револьверные выстрелы. Тогда, не выдержав больше, она пустилась бежать.

На другой же день прочла в газетах, что в лесу под самой Москвой найдено двое связанных и застреленных людей; один оказался мертвым, другой тяжело раненным: надеются, что его можно спасти.

Как и большинство бывших на маевке, она бросила свою комнату и была вынуждена скрыться. С большим трудом ей удалось установить связь с Оленем. Она послала ему короткую записку: «Готова быть, где укажете. Наташа».

Она получила его устный ответ через одного из участников группы; Олень просил ее приехать в Петербург и явиться по условленному адресу. Ей было поручено отвезти в Петербург большую сумму денег, добытых при «эксе». Наташа выехала немедленно.

С того дня, со страшного первого мая, жизнь перестала быть реальной. День сменялся днем, темные московские ночи сменились белыми петербургскими, — но в сознании все это отражалось неясно.

Она нашла в Петербурге Оленя в подавленном состоянии; он не мог простить себе ошибки: «Другой тяжело ранен». Он взял на себя всю ответственность и всю тяжесть ужасного дела, — и оказалось, что его рука недостаточно тверда. Теперь этот «другой» настолько оправился, что уже дает показания следователю. Тогда зачем было убивать первого и калечить этого «другого»? Но Олень не говорил об этом Наташе — он вообще не вспоминал о московских делах. Только подергивания скулы стали чаще, и он с трудом их сдерживал.

В Петербург перебрались постепенно и другие члены московской боевой дружины Оленя; группа пополнилась и здешними. Пока не было ни слежки, ни провалов, и нужно было торопиться действовать. Основная задача — центральный террор. Если он невозможен, то пока хотя бы такой крупный акт, который потряс бы правительственные ряды и взволновал бы всю Россию. И главное — скорее, пока налицо и силы и средства.

Была в корне изменена прежняя система конспирации, смешная и кустарная. Теперь члены группы встречались в отдельных кабинетах шикарных ресторанов, одевались у хороших портных, не жалели денег на добывание верных паспортов. В Финляндии была поставлена динамитная мастерская, в Петербурге снято несколько больших и хорошо обставленных квартир. В одной из них, по паспорту молодых супругов, поселились Олень и Наташа.

Теперь жизнь была непрерывным спектаклем, блестящим цирком, в котором акробаты ежеминутно рискуют ошибиться в математическом расчете своего воздушного полета — и разбиться насмерть. Внизу нет спасительной сетки, и ошибка на дюйм равносильна концу.

В этой страстной борьбе была забыта Москва и вообще ис-

чезло прошлое. Жизнь от сегодня — до завтра. Лишняя минута — выигрыш. В полусне — любовь, если это любовь. Странно — каждый день есть суп, рыбу, салат, фрукты, может быть, за час до смерти, — но сильным телам нужна пища. И нужна любовь — если это любовь.

И Наташа думает:

«Вот если бы в деревне, на берегу Оки, в сытном духе зреющей ржи или в теплую ночь, — а этот дождь и тревожное ожидание были бы только сном. Встряхнуть головой — и все бы исчезло. И если бы там был со мной Олень, круторогий и сильный...»

Тогда — это была бы, вероятно, настоящая любовь.

«Иллюзион»

Некрасивая девушка с веснушчатым лицом и жидкими прямыми волосами вошла в вагон второго класса; она могла бы ехать и в третьем, если бы не имела, по обыкновению, важного поручения, вынуждавшего ее ехать с удобствами. Она ни на минуту не выпускала из рук небольшого чемоданчика, хотя в нем было только мыло в жестяной коробке, зубная щетка, полотенце, чистый кружевной воротничок и подушка-думка в белой наволочке. Еще, впрочем, коробочка с мятными конфетами и — дань женственности — крошечный флакон духов «Иллюзион».

Едва усевшись в вагоне, она вынула этот флакон, извлекла из него притертую пробку со стеклянной палочкой, слегка смочила духами платок и положила флакон обратно. Сидевшая напротив дама повела носом и недовольно отвернулась. Духи были очень сильные, а в вагоне и без того душно. Дама подумала: «Для кого она старается? Такая морда!»

Когда поезд тронулся, в купе оказались трое: прибавился еще мужчина, по виду — торговый комиссионер. Плотнo усевшись, он тоже повел носом: сильно пахло духами и еще чем-то пряным и неприятным.

Ехать пришлось ночь. Дама вынула легкий плед и большую пуховую подушку и заняла весь диван. Мужчина приподнял верхнюю койку, грузно залез, обнаружив толстые нитяные носки, и, покашливая, разлегся с удобством. Девушка, для которой освободилась нижняя скамейка, вынула из чемодана свою думку и, убедившись, что дама лежит к ней спиной, опять извлекла флакончик и обтерла стеклянную пробку о наволочку подушки. Снова едкий аромат духов «Иллюзион» наполнил купе. Лежавший на верхней койке завозился и уткнулся в сложенный под головой пиджак. Затем девушка легла, пригнув коленки и закрыв юбкой ноги.

Все трое дремали, и все трое страдали от духоты и сладкого запаха. Несколько раз за ночь мужчина закуривал — и как будто от табачного дыма ему становилось легче. Каждый раз,

когда чиркала спичка, девушка пугливо приподымалась и подбирала под себя маленькую подушку.

Ей дремалось всех тревожнее: у нее кружилась голова. Кроме того, ей было неудобно лежать, и она все время поправляла и одергивала неуклюже сидевшую на ней кофточку, которая сползала и топорщилась. Девушка задыхалась от жары и от неудобной одежды, часто кашляла в кулачок, выходила в коридор подышать воздухом и снова пыталась заснуть.

На финляндской границе, в Белоострове, по вагону прошел жандарм, затем, один за другим, несколько штатских. Когда к купе приближались шаги, девушка закрывала глаза и притворялась спящей.

В Петербург прибыли благополучно и в срок. При выходе даму пригласили в особую комнату для осмотра багажа, а на девушку не обратили внимания.

Вот и еще раз она выполнила свою обычную миссию. Взяв извозчика, она велела ехать на Васильевский остров, сошла на углу 10-й линии, прошла пешком две улицы, убедилась, что герань на окне повернута цветком в левую сторону, вошла в подъезд и позвонила.

— Никого не завезли, Фаня?

— Никого. На улице пусто. Здравствуйте.

— Много привезли?

Она передала подушечку, оказавшуюся тяжелой, затем, отвернувшись, стала расстегивать кофточку.

— Не смотрите сюда.

— Ладно, ладно, я не смотрю.

Стесняясь, она сняла с себя что-то вроде плотного жилета, тяжелого и неуклюжего. К телу он прилегал резиновой стороной, а снаружи был простеган прочными шнурами. Когда снимала, протаскивая его через расстегнутую кофту, — в лицо ей пахло удушливым теплым запахом, смесью эфира и карболки. Сняв — радостно потянулась.

— Надышались, Фаня?

— Ужасно! Особенно тяжело было ночью. Мне все казалось, что щиплет тело.

— Чему щипать? Ведь подкладка резиновая.

— И все-таки казалось. А главное — согнуться невозможно, как в латах. Ну, ничего.

— Голова не болит?

— Она всегда немножко болит, но я привыкла. Вот только тошнит.

— Вам бы теперь прогуляться и проветриться. Или в бане попариться — вот хорошо! Мелинит — вредоносная штука! Что-то вы все кашляете?

— Ничего. Я вообще кашляю. И в вагоне дуло.

— Нет, это не годится. Надо бы вас кем-нибудь заменить.

— Некем. Да и не нужно. Я привыкла, а другому будет трудно. И я — незаметная.

Она вправду была незаметной: низенькая, невзрачная, с

худым лицом. Теперь, сняв тяжелый жилет, стала совсем тоненькой, и ее помятая кофточка собралась в складки.

— Ночуете в Петербурге?

— Нет, я в двенадцать еду обратно. Хотелось бы поспать, да уж лучше я пройдуся, времени всего два часа.

— Ну, как хотите. Да будьте осторожны!

Уж она ли не осторожна! В пятый раз привозит из Финляндии мелинит и динамит, дышит им целую ночь, отравляет себя через легкие и через поры своего худенького тела,— и даже слезки ни разу за ней не было. Делает дело маленькое, но очень важное и ответственное. Никого не видит, кроме двоих товарищей,— того, который передает ей посылки в Гельсингфорсе, и вот этого, который их принимает здесь. Больше ни с кем она видется не должна; она даже и не знает почти никого, и не хочет знать, хотя могла бы. Настоящих героев она не видит, только слыхала имена некоторых. И впредь будет так же, если только здоровье позволит ей и дальше быть маленькой участницей великого дела.

Робко спрашивает:

— Нужно еще привозить?

— Еще два раза по столько же. Вы там скажите, Фаня. И поскорее, хотя нехорошо вам часто ездить.

— Хорошо, я скажу. До свиданья, товарищ Максим.

— До свиданья, Фаня. Кланяйтесь, скажите, что пока все идет ладно.

— Я скажу.

Вот он, должно быть, такой же, из незаметных, хотя, конечно, не ей чета. Он должен знать больше. Хотелось бы поговорить с ним, а нельзя. Даже если он и захотел бы сам — все-таки нельзя.

Выйдя, она тихонько оглядывается и повертывает в первый переулочек. Потом еще делает несколько поворотов, на всякий случай, прежде чем выйти к мосту на Петербургскую сторону. С Тучкова моста она долго смотрит на воды Малой Невы, радуется прохладе и старательно — и потому, что это приятно, и потому, что это нужно,— дышит чистым речным воздухом. Вспоминает, что с утра ничего не пила и не ела. Нужно будет зайти в кондитерскую, и там можно себе позволить и кофе со сливками, и два, три, четыре сладких пирожных.

Ей велели хорошо есть и хорошо одеваться и вообще держать себя так, будто она никогда не знала нужды. Быть по виду буржуазной! Другие так и поступают, даже иногда кутят по настоящему. Но им это необходимо в целях конспирации, а ей непривычно и не нужно. Так лучше.

Все-таки, выйдя из кондитерской, она заглядывается на витрины магазинов. Новую кофточку нужно бы купить или хотя бы новый твердый воротничок к блузке. И еще она давно решила купить новую шляпу с большими полями, чтобы и лицо закрыть, и вообще изменить внешность — давно пора! Старая шляпка могла приглядеться шпикам за частые ее поездки. Она

холодеет при мысли, что вот — зайдет и купит дорогую синюю шляпу с лентами, падающими на спину! Денег ей дали много — но хорошо ли тратить деньги на роскошь? И она уходит от соблазна: еще раз можно проехать в старой, а купить что-нибудь подешевле в Финляндии, для новой поездки.

До часа отхода поезда, усталая и неспавшая, она бродит по улицам со своим чемоданчиком. Встречаются молодые и веселые лица, женщины в дорогих светлых нарядах, мужчины с дерзкими глазами. И дети, которых она так любит, — а у нее не будет, конечно, ни мужа, ни детей. Как и других, ее ждет арест и, может быть, ранняя смерть. И тогда узнают ее имя, и ее маленькое участие в важном деле будет отмечено в истории революции. Вот и оправдание жизни!

У самого вокзала она покупает в дорогу пакетик смородины. Днем ехать еще жарче, и теперь можно третьим классом. Зато не придется душиться из флакончика.

Когда она в толпе проходит через вокзал, человек в коричневом пиджаке и грязноватом воротничке толкает в бок другого:

— Эту вот, жишовочку, который раз вижу. Все взад-вперед ездит.

— Ты, с чемоданом?

— Ну да. Главное — жишовочка.

— Может быть, дачница?

— Нет, все с дальним поездом.

— Понаблюдай. Только одета плохо, а они теперь больше рядятся под господ.

— Как-нибудь вещи бы осмотреть, как опять приедет.

— Ты скажи.

Мимо проходит высокого роста господин с перекинутым через руку пальто на шелковой подкладке. Рыжий пиджак опять толкает соседа:

— Видел?

— Вижу. Ступай, скажи Земскому, чтобы принял.

— Он на платформе?

— Там. Гони живо!

И рыжий, расталкивая толпу, спешит на платформу.

В ВЫСОКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

— Портфельчик потрудитесь оставить здесь.

Отец Яков замялся:

— А у меня тут бумаги. В сохранности ли будет?

— Помилуйте, батюшка, в полной сохранности! Это только правило такое, чтобы с собой не брали ни палок, ни зонтиков, никаких пакетов.

Принимая портфель отца Якова, молодой человек, очевидно — помощник швейцара, подмигнул глазом и тихо сказал:

— У вас-то, батюшка, у лица духовного, ничего нет, а ведь другой человек мало ли что пронесет в залу. Может неприятность выйти!

— Разумно, разумно,— сказал отец Яков и подошел к зеркалу расправить бороду. Расчесывая ее гребешком, подумал: «Может быть, каких револьверов опасаются. Оно — предосторожность нелишняя».

И сразу стало и интересно и лю-бо-пытно! В Государственной думе этого нет, там проще. Там народ бывалый, да и толпа густа. А здесь — и пышность, и благолешие, ну и осторожность. Люди большие — Государственный совет! И министры, и бывшие министры, и будущие министры, коли их Бог доведет и сподобит.

Подошел опять к швейцару:

— А я в том портфельчике забыл свой билетик, свой пропуск.

— Да ведь уже предъявляли внизу, ваше священство, больше не потребуется. Извольте — достаньте сами.

Отец Яков распахнул пошире портфель, чтобы видно было, что там нет ничего неблагоразумного, достал «билетик» и вернул портфель.

— Все-таки, на случай, буду иметь при себе.

— Как угодно.

По широкой лестнице поднялся в места для публики, которой сегодня было мало, больше дамы, очень хорошо одетые. Были еще какие-то старички, а неподалеку от места отца Якова — молодая парочка: он — высокий, белокурый, в глазу монокль; она — под стать, тоже высокая и здоровая, очень молодая, шатенка, в черном платье, лицо простое и серьезное.

Отец Яков присмотрелся: «Где-то видал эту молодницу. А кто с ней — того не примечал. Хорошая чета, и молодые, и солидные».

Осмотрелся кругом — все люди приличные. Есть, впрочем, и из усачей: то ли военные в штатском, а то из наблюдателей. Понятно: охраняют. И опять перевел глаза на молодую даму.

«Похоже — не дочка ли рязанского доктора? Лицо ее, да уж очень парадно одета».

Подумавши, пересел поближе, поправил складки лиловой рясы, пригладил ладонью бороду и обратил лицо к парочке. Легонько кашлянул — и дама повернулась к нему. Отец Яков опять кашлянул и сказал:

— Очень роскошное помещение. Тоже пришли послушать? Конечно, лю-бо-пытно!

Господин с моноклем покосился, а дама спокойно ответила:

— Да, интересно.

— Родственников имеете среди членов Совета или так? Потому, извините, спрашиваю, что знавал одного члена по выборам, рязанского доктора, а вы мне его дочку напоминаете.

Лицо белокурого господина дрогнуло, и монокль повис на шнурке. Дама покраснела, затем решительно повернулась к священнику:

— Рязани? Нет, вы, батюшка, ошиблись. А какой это доктор?

— Калымов, Сергей Павлович. Прекрасный врач, всеми уважаемый, и человек почтеннейший. Значит, ошибся, прошу извинить. Часто бывает у людей сходство до поразительности. А я у них бывал в доме. Не часто, а бывал проездом.

— Не знаю. А вы, значит, не здешний, батюшка?

— Я — российский, повсюду катаюсь. В этом же высоком учреждении в первый раз, билетик себе выхлопотал.

— Мы тоже в первый раз, тоже приезжие.

— Из какой губернии будете?

На минуту она замаялась, потом ответила:

— Из Москвы.

— А, прекрасно, прекрасно. Первопрестольная столица, город городов. Хотя и Санкт-Петербург тоже прекрасный город.

Внизу, в зале, послышалось шуршанье ног и стук пюпитров. Господин с моноклем наклонился к уху дамы:

— Кто?

— Кажется, знаю его. Просто — священник, безвредный. Бывал у отца.

— Глупая случайность. Не лучше ли уйти?

— Нет, пустяки. Но неприятно. Хорошо, что папа не в Петербурге.

— Ну, тогда бы и нас здесь не было.

Они стали слушать. Заседание было неинтересное. Кое-кого узнавали по портретам. На министерских местах сидело трое.

Во время монотонной и скучной речи одного из членов Совета Олень вымерял глазами пространство залы. «Из конца в конец не перебросишь, — думал он, — такая громадина! Если сесть с той стороны, все-таки попасть в министерскую ложу трудно!»

Несколько раз его взгляд останавливался на грузной фигуре известного профессора-либерала. «Этот напрасно погибнет — но что же делать!»

Мысль его работала быстро и деловито. Было бы проще всего — взорвать снизу. Но такого количества не пронесешь. Почему они стали отбирать при входе сумочки и портфели? И даже зонтики! Чувствуют? Любопытно, что, где замешаны эсеры, там сейчас же пахнет провалом; лучше было обойтись без помощи партийных верхов и совсем не посвящать их в планы. Но теперь поздно. О снарядах, значит, нечего и думать. Остаются — мелинитовые жилеты. Но кто? Наташа?

Олень нахмурился. Правый глаз дернулся — монокль не помог. Олень боялся этого подергиванья, своей неприятной приметы. Осторожно оглянул публику — но все смотрели вниз, на говорившего.

Остаются жилеты. Наташа, конечно, потребует, чтобы ее дустили одну. Сила страшная, вероятно, обрушится потолок. В сущности, неважно, будет ли убит тот, а важен самый взрыв в Государственном совете. Это будет настоящим громом

и настоящим большим делом. Наташа настойчиво потребует, и она имеет право!

Он представил себе Наташу не такой, какой она сидит тут, рядом с ним, дамой в черном, — а милой, веселой и очень ему близкой, ласковой Наташей, просто — женщиной, а может быть, и любимой женщиной. И опять сжался и опять силой воли приказал себе: «Не смей! Она умрет завтра, я днем позже!» И еще подумал: «Почему позже, когда мы можем одновременно и это легче?» И почувствовал, как тяжело давит на мозг это твердое знание, что дни считаны и что важно одно: продать свою жизнь как можно дороже. Все равно — долго тянуть не хватит сил.

Значит, Наташа. А с нею вместе я, вот как пришли сегодня. Она не захочет, но она должна будет согласиться.

Оратор внизу продолжал свою медленную и тягучую речь. Олень подумал: «Сумасшествие! И этот, и все, и я, и мы — сплошное безумие! Все это должно погибнуть — и погибнет. Но распускать нервы нельзя».

В министерскую ложу вошли еще двое; впереди человек в черном сюртуке, большеголовый, лысый, с черной бородой и усами, закрученными кольчиком. При его входе сидевшие в ложе встали и почтительно поздоровались. За ним человек военной выправки; он обменялся рукопожатием с соседом и кивнул остальным. Их появление вызвало движение в зале: председатель расправил бакенбарды, члены Совета пошептались, пристава шевельнулись и застыли. Оратор, покосившись на вошедших, на минуту сбился, потом продолжал речь несколько более приподнятым голосом.

Господин в монокле опять наклонился к соседке:

— Это — он!

— Который? С бородой?

— Да.

Отец Яков заметил движение и тоже узнал вошедшего. Лицо отца Якова просияло — приятно лицезреть важнейшую персону государства! А ведь возможно, что доведется посмотреть и поближе и даже обменяться словом, если сиятельная покровительница сдержит обещание!

Едва вошел министр, как рядом с местами для публики появилось еще несколько личностей военной выправки, подвижных и внимательных. Интересовал их, по-видимому, не столько зал собраний, сколько места зрителей. Один долго всматривался в сидящую парочку, потом в ее соседа — священника, наконец перевел испытующий взор на других.

Олень, не повертывая головы, шепнул:

— Как хочешь.

Он прибавил громким шепотом:

— Как-то неинтересно сегодня в Совете. Идем?

Встав, она приветливо, но несколько жеманно кивнула сидевшему рядом священнику. Отец Яков учтиво откланялся, проводил чету взглядом, вскользь подумал, что вот ведь какое бы-

вает сходство,— и снова с живым интересом стал вслушиваться и всматриваться. Ему, свидетелю истории, все было одинаково интересно и лю-бо-пытнo! И он уж, конечно, просидит до самого конца — и ничего не упустит!

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Как и в тот раз, билеты на заседание Государственного совета достала и принесла Евгения Константиновна. Теперь пропуски были на новые имена. Олень поинтересовался, не может ли случиться, что носители этих имен будут замешаны в дело? Евгения Константиновна спокойно отвечала:

— Во-первых, их нет в Петербурге, а во-вторых, такие персоны пострадать не могут. Но кое-кто другой — пожалуй.

— Кто же?

— Один из членов Государственного совета, очень любезный человек, хотя и не очень хорошей репутации. Он устроил мне получение пропусков.

— Он вас выдаст?

— Вероятно. Но дело в том, что он ведь сам будет в заседании Совета, так что ему будет, пожалуй, не до того. Конечно... *са dépend* ¹...

Наташа и Олень с удивлением посмотрели на Евгению Константиновну. Какое самообладание! И оба заметили, что, несмотря на спокойствие тона, на французские словечки и даже на внешний цинизм, Евгения Константиновна взволнованна и грустна, но она прекрасно собой владеет.

Провожая ее в переднюю, горничная Маша все глаза проглядела на ее изящный летний костюм, дорогой белый кружевной зонтик, маленькую модную шляпку и легкую сумочку. Своя барыня нравилась Маше простотой обращения и румянцем лица, но настоящей барыней была только эта гостья.

«Наши купеческого звания, а уж эта, наверное, из знатных. И лицо важное и белое».

Олень говорил Наташе:

— Я боюсь одного, это — участия эсеров! У них нехорошо, подозрительно. Все их планы в последнее время проваливаются. И заметь — стали отбирать при входе портфели именно с той поры, как мы приняли общий с ними план.

— Но ведь нельзя же подозревать Евгению Константиновну!

— Ее нет, но она действует с ведома эсеровского центра.

— Она иначе не может.

— Я знаю. Без них было бы невозможно. Но я не удивлюсь, если что-нибудь случится. У них есть провокация.

¹ Будет видно (*фр.*).

— Так нельзя работать, Олень! С таким сомнением.

— И все-таки приходится. Отступать теперь поздно.

Весь этот день прошел как бы в тумане. Говорили о мелочах, о возможных случайностях. Говоря — думали каждый о своем, очень трудном и сложном, чего высказать нельзя. Оба жили двойной жизнью, боясь неосторожного слова, которое может нарушить странный гипноз наружной деловитости и вызвать вопросы, с которыми уже не совладаешь.

Спасались мелочами: перебирали вещи и вещицы, которые останутся здесь; еще раз пересмотрели, не остались ли на белье и одежде пометки фирм и магазинов, не запала ли в книгу случайная записка. Суетились без особой надобности. Украдкой Наташа взглядывала на Оленя, который был нервен и задумчив и как бы смущен, но старался сдерживаться. И чем нервнее становился Олень, тем спокойнее чувствовала себя Наташа. В ней свершалось то, что бывает у верующих незадолго до кончины: маленьким пламенем уже разгоралось важное и серьезное спокойствие, внутреннее сияние обреченного.

Вечером, когда они решили лечь и заснуть, Олень сказал:

— Наташа, у нас два пропуска.

— Нужно другой уничтожить.

— Нет, нужны оба. Я иду с тобой.

Она была поражена.

— Как со мной? Что ты говоришь?

— Я пойду с тобой, так лучше.

— Ты не надеешься на меня одну?

— Просто — я не могу иначе. Вместе жили, вместе и умрем.

Она забыла, что их может слышать Маша, покраснела, схватила себя руками за виски и закричала:

— Что это значит?

Он, большой, решительный, железный, бестрепетный, — вдруг предстал перед ней маленьким и жалким. Она почувствовала, как всю ее охватил жар негодования. Где же подвиг? Маленькая мещанская любовь? Он, их признанный вождь, не может победить в себе жалость к ней, не может возвыситься над общей постелью!

Ей хотелось рыдать. Сказочное рассеялось, и из волшебного тумана, в котором они жили, проглянуло слезливое лицо мужчины, который не умеет жертвовать.

— Ты не смеешь! Ты обещал послать меня! И ты не смеешь меня жалеть!

Олень ответил тихо:

— Я себя жалею, Наташа.

Она резко рассмеялась ему в лицо, с жестокостью, какой в себе не знала.

— Ты в меня влюблен? Или на правах мужа? Но ты мне не муж, и я тебя не люблю. Ты только мой конспиративный сожитель, купец Шляпкин!

Он не оскорбился и просто сказал:

— Зачем эти слова, Наташа? Если даже люблю — зачем эти слова?

Она могла бы броситься ему на шею. Но тогда рушится весь уклад мирозерцания, которое она себе создала и без которого уже не может обойтись. Если принять это — тогда они оба должны изменить делу, бежать, устроить свою маленькую частную жизнь, ненужную и стыдную. Тогда, значит, все это вообще было ложью, а оба они — молодые супруги, проживающие награбленные деньги! Рядом в постели — и рядом умирать. Выиграть любовника — и проиграть Оленя. И проиграть, конечно, себя.

Наташа ушла в спальню и бросилась на кровать. Слез, конечно, не будет. Она не погасила свет и в пуганице мыслей смотрела на потолок, где дрожали тени стеклянных висюлек. По углам комнаты тихо пересмеивались Зенон, греческие стоики и немецкий Ницше. Внутри был холод: через сердце Наташи катила свои волны Ока. В сущности — это была уже смерть... но ведь смерти нет?

Она закрыла глаза. Волны Оки потеплели и смешались с горячей кровью. Стало легче дышать, и она вспомнила, что в соседней комнате остался Олень, вчерашний силач и сегодняшний слабый человек. И тот и другой были ей равно близки: тот посылал ее, этот шел вместе с нею. Она окликнула Оленя, назвав его настоящим именем, как почти никогда не называла:

— Алеша, иди сюда!

Он вошел совсем не робко и без тени смущения; подошел к кровати вплотную.

— Кажется, я устроила тебе семейную сцену?

Он улыбнулся и погладил ее по голове.

— Ты меня поразил. Я не думала, что ты бываешь слабым.

— Конечно, бываю. Но это — не слабость, это — обдуманное решение.

— Но ты не пойдешь? Ты не можешь менять план!

— Я, Наташа, пойду, потому что считаю это нужным. Двое — двойная сила. А ты должна примириться с этим и успокоиться, иначе я пойду один.

И вот — она уже только девочка, а он — прежний Олень, которому нельзя не подчиняться; вождь, который все может и все освещает своим личным участием. Это и есть его высокая любовь, и в этом страшная его сила.

Снова у каждого промелькнула своя — и все-таки общая — дума о том, что это не подлинная жизнь, а очень страшная и ничем не оправдываемая сказка, навязчивый сон, который когда-нибудь исчезнет. Ведь не может же быть, чтобы завтра их не стало? Этого никак не может быть! И все-таки это будет, но только в какой-то иной, не настоящей жизни. И сон, который они оба видят, не уйдет; и проснуться они не могут, потому что час пробуждения уже пропущен.

Они не говорили больше о завтрашнем деле; на них снизошел покой, и до света Наташа рассказывала Оленю о своем

детстве, о деревне Федоровке, кучере Пахоме, о ледоходе на Оке — и с радостью слушала его ответные рассказы. До сих пор она очень мало знала про его жизнь, и каждая новость и любая мелочь ее волновали и занимали. Иногда, увлекшись рассказом, они перебивали друг друга, спеша высказать свое. Их последняя ночь была такой же целомудренной, какой была первая, и они не заметили, как оба задремали, забыв о том, что ждет их завтра.

Олень проснулся первым. Был поздний утренний час, в столовой лежали газеты, и Маша уже несколько раз подогривала самовар. Когда он разбудил Наташу, она неохотно открыла глаза, поморщилась от света и, еще не придя в себя, потянулась и спросила:

— А который час?

— Скоро девять. Слушай, Наташа, случилось странное...

Она вспомнила все и вскочила:

— Что случилось, Олень?

Он протянул ей газету и указал место. Это был краткий указ о роспуске на летние каникулы Государственного совета — без мотивов и объяснений. Совет был распущен накануне важного заседания и раньше предположенного срока.

ДНИ ИДУТ

Отец Яков лоснился радостью: одним из первых он узнал, что депутаты разогнанной Государственной думы поедут в Выборг. Отец Яков рискнул — и примостился со своим портфелем в вагоне третьего класса, так что к общему съезду был уже в Выборге, в самом дешевом номерке самой дешевой гостиницы. Пот катился по нему потоками, когда на июльской жаре в широкополой поповской соломенной шляпе он стоял в толпе любопытных и смотрел на приезжавших. Сам не из смельчаков, хотя и озорной по жгучему любопытству, свидетель истории отлично понимал настроение депутатов.

«Вот и улыбаются, а самим боязно. Народ немолодой, почтенный, в большинстве семейный, а приходится как бы играть в революцию. С другой же стороны — оскорбительно им, разогнали, как мальчиков, а ведь считались вроде заправских народных представителей».

Несмотря на добрые знакомства, отцу Якову не удалось попасть на заседания, и было это очень обидно. Но все же в самые замечательные дни он оказался близким зрителем исторических событий и даже на одной фотографии был запечатлен вместе с кучкой «выборжцев», гулявших по главной улице финляндского городка. Ряса отца Якова вышла очень хорошо и ясно, лицо же он сознательно, на всякий случай, затемнил, надвинув широкополую шляпу на самые глаза. Позже тихо радовался предосторожности, — когда в знаме-

нитом «выборгском воззвании» прочитал весьма дерзостные слова: «...не платить налогов, не давать солдат, не подчиняться властям»,— и посмеивался в бороду, когда столь смелые буяны трепетно покупали обратные билеты у окошечка кассы, старались держаться кучкой, а вскоре по возвращении в Питер смиренхонько подчинились властям и отправились принять тюремное испытание.

Событиями был полон месяц июль шестого года. В первых числах случился еврейский погром в Белостоке и тянулся целых четыре дня. Сам родом из Приуралья, где евреев мало и вражды к ним никогда не было, отец Яков не страдал антисемитской болезнью. «Все люди, все человеки». «Несть элин, ни иудей, но всяческая, и во всех Христос». Конечно, распяли Христа евреи, но было это давно, а к тому же еще в духовной семинарии его тревожила несомненность, что и сам Христос был из евреев. В Казани отец Яков имел близкого приятеля — еврея, присяжного поверенного, человека редкой души, а в Питере — думского журналиста Залкинда, который не раз устраивал отца Якова в ложе прессы, откуда всех видно и все хорошо слышно. Есть, значит, среди них люди почтеннейшие, а громить бедноту — великий грех и противно Христовым заповедям. Так и отметил отец Яков в тетрадочках своей летописи. Но все же, рыхлым своим телом чистый руссак, особого возмущения не испытывал. А вот думские события, и разгон, и «выборгское воззвание» возбуждали его до предельной степени. Еще больше — слухи о крестьянских волнениях и о поджоге помещичьих усадеб, а тут еще восстания в Свеаборге и Кронштадте — вся эта волна событий и слухов захлестнула и понесла отца Якова. Были бы деньги — побывал бы всюду и посмотрел самолично, отчего и как волнуются люди: «Лю-бо-пытнo!»

Но с деньгами было плохо, не набегал даже обычный маленький газетный гонорар, потому что в эти дни никто не интересовался ни бытом зырян, ни ассирийскими находками в Пермской губернии, ни детскими приютами, ни успехами кустарей в Пошехонье, ни пословицами и загадками, собранными отцом Яковым нынешней весной в Малоярославецком уезде, Калужской губернии. О политике он никогда не писал: и остерегался, и привычки не было. Однако о выборгских делах кое-что дал знакомой газетке за скромной подписью «Очевидец». Текст его писания сильно изменили, — но на это он никогда не обижался.

А события зрели, кипели и бурлили. Каждый волновался и негодовал по-своему, а все вместе продолжали есть и пить по-прежнему, между чашками чая и блюдами обмениваясь и новостями, и анекдотами. Что было полюбопытнее, то отец Яков записывал. В дни министерства Горемыкина записал на полях тетрадочки поговорку:

Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

Очень ему понравилось! Когда же старого министра убрали и заменили новым, решил отец Яков непременно добиться у него приема, чтобы воочию поглядеть на нового господина России. «Сподобился лицезреть самого Плева, ныне убиенного,— повидаю и этого». Повод всегда найдется: хлопоты о детском приюте. А пути к недоступному найдутся через сиятельную покровительницу Анну Аркадьевну, которой отец Яков аккуратно посылал свои книжечки и фотографии скуластых девочек в белых передниках, а в самом центре снята и благообразная его, отца Якова, фигура в белой чесучовой рясе. Надпись исполнена тушью «рондо» и гласит: «Ее Сиятельству Анне Аркадьевне, заступнице и покровительнице Кампинского приюта сирот женского пола».

Хоть и не уверен был отец Яков, что этот приют, им основанный и из его ведения давно изъятый, продолжает существовать, а скуластые девочки остались маленькими за истекшие десять лет, с момента несколько скандального ухода отца Якова! Уход-то был скандален, но бланки приюта и большую печать отец Яков не оставил своим гонителям. Теперь, никаких явных материальных выгод не извлекая, он в нужных случаях пользовался и бланками, и печатью, адреса благодарности и ходатайствуя о высоких рекомендациях.

Наступил месяц август, ясный, еще жаркий, но уже с уклоном к осени. События как будто затихли — чувствовалась сильная рука нового правительства.

В двух газетах, одной правой и одной левой, отцу Якову все-таки удалось пристроить петитные статейки об архангельских сказителях; один журнальчик поинтересовался и ассирийскими серебряными блюдами, а в другом охотно напечатали «новое о старце Кузьмиче». Может быть, наступил покой перед новой бурей, а может быть, народ не внял выборжцам и скромненько платил налоги, давал солдат и подставлял свою шею предрержавшим властям. Сиятельная покровительница обещала отцу Якову устроить прием у нового высокого вершителя судеб России, доступ к которому был очень труден.

Счастливым этой надеждой, отец Яков побрел с Литейного пешочком на взморье, подышать природой. Когда добрел — вода Невы была спокойна и ветер с моря легок и приятен; а полчаса спустя потянуло морским сквозняком, вода посерела и вспенилась.

И думал отец Яков, что Нева — словно бы не русская река, не сестра Волге, Каме, Белой, рекам ласковым и задумчивым. Много в ней беспокойства и нет тихой мудрости и созерцательности. Может быть, это и неправильно, что столица России в Петербурге, в городе, слов нет, красивом, но холодном и неудобном, самое имя которого редкий мужик выговаривает правильно. Тут и царь, и Дума, и министры — и все это с краю, на отлете, все это для настоящей России, для срединной, непонятно и не очень нужно. Царство наше сонное, в меру работающее, молится лениво, равно Богу и лешему, и нет ему

дела до «выборгских воззваний», и никаких оно не знает имен, и шум столиц в глубь его доносится досадным комариным гудом. А велико оно до безграничности, и города по нем — точно редкие мушья точки на домотканой холстине, так себе — малозаметная досадная нечистота. Был бы дождь по весне, и солнце к Петрову дню, и по осени были бы грибы — грузди, белые, рыжики, а на крайний случай — кульбики и акуленина губа, в хорошем засоле и они годятся к посту. И был бы зимой обильный снег, великих рек кормилец, а по нему — заячьи следы, хотя зайца не всякий мужик ест, иные считают поганью. Что еще? Было бы лыко на лапти, и была бы ель на новый сруб. Не драл бы поп за крестины и похороны с бедняка, а драл бы с кулака, да реже наезжали бы начальство и просветители. А там — как-нибудь промаемся. Темный народ, точно; а кому какое дело? Темному и жить проще, ближе к зверю и мало требуется! Поменьше бы вши, клопа, и ни с какой Европой играть в пятнашки не желаем.

А тут, на Неве, белые барашки, пахнет не нашим морем, люди одеты смешно и говорят непонятно, а газеты врут сами для себя. Нет ни работы настоящей, ни настоящего сна. Кто кого сменит, кто кого убьет, — все это не для России. А кто знает ее? Никто ее не знает! И сама она себя не знает, и знать ей не к чему.

И подумал отец Яков:

«Одначе нужно по домам, похолодало и словно бы идет к большой непогоде».

Нащупал в подрыснике монеты — можно пороскошествовать на трамвае. Зачем он, отец Яков, живет в Питере, и зачем он себя кипятит в котле, и зачем поповскими завитушками кудрявит бумагу ученических тетрадей? И когда уляжется в нем эта страсть все видеть, и все слышать, и все примечать?

Сам себе подивился, поправил волосы, сбитые ветром, отряхнул старенькую, многослужилую, хоть и добротную, рясу и окончательно решил:

«Быть буре! Поспешай, отец Яков, запрещенный поп, всея России любопытствующий замлепроход».

И зашагал в ту сторону, откуда скорее доберешься до трамвая.

РЫБАК

Купеческая чета Шляпкиных вернулась из пятидневной поездки на Ладожское озеро. В действительности Наташа уезжала на Финляндские шхеры, а Олень оставался в Петербурге, укрываясь по рабочим районам. Нужно было выяснить, можно ли и дальше пользоваться прежней квартирой и в какой мере полиция была осведомлена о плане покушения на взрыв Государственного совета. Никто из посвященных в этот план не был арестован; Евгения Константиновна, также на время

скрывшаяся, решительно заявила, что адреса квартиры она никому не давала, хотя об участии Оленя комитету эсеровской партии было, конечно, известно. Возможно, что роспуск Совета на неделю раньше был случайностью, в связи с общими политическими событиями; если же это было следствием провокации в центре партии, то не в интересах полиции выдавать источник своей осведомленности небрежными арестами. Все это надо было выяснять — и Олень взял это на себя.

На пятый день в квартиру вернулась сначала Наташа, а затем и Олень. Маша поздравила их с приездом и поставила самовар. Не было ничего подозрительного в поведении дворника, на улице незаметно наблюдения, и ночь прошла спокойно.

В связи с новой бурей российских событий Олень был возбужден и деятелен. Теперь уж не могло быть сомнений в том, что никакое мирное обновление страны невозможно: это доказано разгоном Думы, арестами нескольких депутатов, повсеместными вспышками восстаний, объявлением почти всей страны на положении чрезвычайной охраны. Казни не прекращались и за время заседаний думы, — теперь они удесятились. Тюрьмы были переполнены, газеты и журналы штрафовались и закрывались. Даже либералы, в лице бывших думцев, зывали к «неповиновению властям». Но путь воззваний был смешон, как и всякая безвредная устная и печатная болтовня; единственным настоящим и решительным методом борьбы был и оставался террор. У боевой группы Оленя не было ни достаточных средств, ни необходимых связей для «террора центрального» — для убийства царя. Оставалось разработать и выполнить план убийства главы правительства, и в этом направлении работал теперь Олень.

План не мог быть сложным. Давно устарели приемы выслеживания на улице, угадывания часов проезда министра на доклады и на заседания. У охранной полиции было несравненно больше сил и средств для того, чтобы иметь своих извозчиков, свои автомобили, своих выслеживателей под видом разносчиков, нищих, прохожих; все эти приемы она переняла у террористов и довела до совершенства. И была у нее еще одна страшная сила, революционерам недоступная: целая армия осведомителей и провокаторов, проникавших в революционную среду и производивших в ней разрушительную работу. У нее не было только одного: людей, готовых жертвовать жизнью бескорыстно и самозабвенно, без всякой надежды на спасение, с полной и наивной верой в то, что жертвой одного попускается счастье поколений.

Преимущество этой силы нужно было использовать — и планы Оленя были построены на ней. Он шел на смерть сам, и за ним шли другие. Для этого не нужна была долгая подготовка — нужен был только динамит. Против его страшного изобретения — мелниновых жилетов — была бессильна всякая полицейская охрана.

Только три человека допускались на квартиру, где жили

Олень и Наташа: Евгения Константиновна и «братья Гракхи», двое юношей, один — студент, другой — рабочий, тесно спаянные с Оленем участием в его прежних делах. Студент — тот самый Петрусь, москвич, который забавлялся, в одиночку разгоняя шествия черносотенцев; по природе — весельчак, румяный, здоровый, смотреший на жизнь как на ряд занятных и рискованных приключений. Второй — Сеня, сам рабочий и из рабочей семьи, был, скорее, мистиком, вечно в облаках мечты, красивых слов, с которыми он не мог справиться и которые в его устах звучали смешно и наивно, детскими стихами. Полтора года назад, девятого января, был убит его старший брат, пошедший за знаменитым священником Гапоном к царскому дворцу в толпе безоружных рабочих. Этот брат был в глазах Сени героем, — пока не выяснилась двусмысленная роль Гапона; теперь Сеня считал жертву брата напрасной, а себя — мстителем, который тоже погибнет, но не зря, не робкой овечкой, а бойцом революции.

Этих юношей Наташа прозвала братьями Гракхами. Из всей боевой группы Оленя только они двое были совсем близкими людьми, с которыми обо всем говорилось с полной откровенностью: ни в их преданности делу, ни в их осторожности не могло быть сомнения.

Был еще один старый соратник Оленя по московским баррикадам, который позже был арестован, бежал и только что приехал в Петербург. Олень должен был повидать его и выяснить, возможен ли возврат его в боевую группу. Это был Морис, про бегство которого из тюрьмы ходили неясные слухи; говорили даже, что его побег был организован охранным отделением. Для Оленя, близко знавшего Мориса, слух этот казался чудовищным; но, рискуя не одним собой, а многими и всем делом, Олень решил быть сугубо осторожным. Их свиданье было назначено на окраине Петербурга, на берегу Невы, в месте пустынном, куда должен был явиться Морис и ждать Оленя.

На бережку, перед закатом солнца, сидел пожилой бородатый рабочий, в высоких сапогах, совсем рваном пиджачишке, в кепке, низко надвинутой на глаза от солнца. Он методически забрасывал удочку: провожал взглядом поплавок, снова перебрасывал и не отчаивался из-за плохого клева. Рядом стояла жестянка с червяками и ведро, прикрытое тряпичей.

Городской шум совсем сюда не доносился. Жаркий день сменялся теплым вечером.

Морис, явившийся на свиданье с Оленем несколько раньше назначенного часа, с удовольствием убедился, что место выбрано хорошо: кроме одинокой фигуры рыбака, никого поблизости не видно. Он прошелся по берегу у самой воды, сел неподалеку от рыбака и стал следить за его ловлей.

Он не столько смотрел, сколько думал о своем. Свиданье с Оленем было очень важным для Мориса. Олень — близкий

друг, которому можно довериться вполне и до конца и слово которого для всех авторитетно. Оленя нельзя обмануть, но его и не нужно обманывать; он не из тех, которые во имя отвлеченной принципиальности выносят осуждение человеку, а в душу его не умеют заглянуть. И не умеют, и не хотят.

Морис знал, что про его побег ходят темные — и, по существу, справедливые — слухи. Он действительно бежал при содействии охранной полиции, которой он обещал свою службу. Его побег был устроен на риск и обставлен достаточно театрально: в него стреляли и — при неловкости — он мог быть убит; конвойного солдата, который провожал его из тюрьмы на допрос и упустил, присудили к арестантским ротам. Вся эта комедия была разыграна для того, чтобы залучить в тайные агенты видного боевика, какой угодно ценой, — и Морис сумел использовать страстное желание охраны иметь осведомителя в рядах неуловимых максималистов. Таким образом, он спасся от каторги, а может быть, и от смертной казни.

Но, такой ценой добыв себе свободу, он мог вернуться в ряды прежних товарищей только одним путем: искупив свою вину перед ними какой-нибудь услугой или жертвой, которая докажет, что он поступил так не в личных интересах, а для пользы общего дела.. А между тем... разве он не думал о самом себе, когда соглашался купить свободу ценой такого ужасного шага, давно и решительно осужденного революционной этикой? Снять с него тяжесть этого сознания мог только Олень.

Час, назначенный Оленем, уже миновал, а его не было. А вдруг Олень совсем не придет?

Побродив по берегу, Морис снова подошел ближе к рыболову и стал следить за его поплавком. Вода была спокойна, и было видно, как поплавок дернулся и исчез под водой. Рыбак неумело и неловко потянул, и у его ног на песке забилась небольшая рыбка. Затем Морис с удивлением увидел, как рыбак забеспокоился, наклонился над рыбой, осторожно снял с крючка и бросил обратно в воду. Морис крикнул ему:

— Выходит, товарищ, что зря ловите?

Рыболов обернулся и спокойно ответил:

— Выходит, что зря. Спускайтесь сюда, Морис. Я вас жду.

Узнав Оленя, Морис подошел.

— Так это вы? А я два раза подходил и не узнал.

— Здравствуйте, Морис. У меня руки грязные, не могу вам подать. Я давно вас видел, но переждал.

— Вы мне не очень доверяете, Олень?

— Я не имею права доверять, Морис.

— Я пришел вам все рассказать.

Олень снова закинул удочку.

— Ну, сядьте рядом и рассказывайте.

Хотя кругом было пустынно, но они говорили тихо, зная, что даже слабый голос далеко слышен на воде. Олень задавал вопросы, Морис на них отвечал.

— Как они решились вас освободить? Кого вы выдали, Морис?

— Им непременно нужно иметь провокатора в наших рядах. И я действительно выдал.

— Кого?

— Я выдал вас, Олень. Я рассказал про дело в лесу и про банк и назвал вас.

— Мою настоящую фамилию?

— Да. Но они ее знали.

— Они знают. А еще?

— Они просили выдать адреса. Я указал один в Москве.

— Наташи?

— Да. Я знал, что ее там уже нет.

— Еще?

— Больше ничего и никого. Я только говорил, что предполагается серьезный террористический акт, может быть центральный, и что я могу узнать все подробности, если мне устроят побег.

— Вы знали что-нибудь о наших делах?

— Ничего. Я просто врал, а они верили. Им очень хотелось верить.

— После побега за вами следили?

— Конечно. Вплоть до Петербурга. Я сам явился здесь в департамент. Мне кажется, что теперь они мне доверяют.

— Скажите, Морис, вы спасали себя?

— Вам я скажу: да, я спасал себя. Это слабость, но я оправдывал себя тем, что смогу служить у них и тем помогать нашим. Вы знаете, что в центре эсеров есть провокатор. Я решил узнать его имя.

— Ну?

— Я только что приехал, Олень. Если вы мне доверяете, я буду продолжать игру. И тогда я, может быть, узнаю.

— Товарищи не поверят вам, Морис.

— Лишь бы вы верили.

— А если и я не верю?

Помолчав, Морис сказал:

— Вы верите мне, Олень. Я сказал: это было слабостью. Но может быть, я клевету на себя! Меня увлекла не надежда на спасение, а страшная игра с ними. Первую ставку я выиграл. Если вы меня поддержите, я буду играть дальше.

Они долго молчали. Наконец Олень сказал:

— Знаете, Морис, я вам верю, хотя и не должен бы. Мы слишком много вместе пережили. Если вы предатель, то, значит, я дурак или сумасшедший. А я не дурак и в своем уме. Если я в вас ошибаюсь — тогда пусть уж лучше все идет к черту.

— Спасибо, Олень.

— Дело не в спасибо. Я мог вас сегодня убить. Но на чем же мы порешим?

— Решайте вы.

— Я и решил. Морис, вы явитесь к ним и будете, пока можно, водить их за нос обещаниями. Если нужно выдавать —

я сам дам вам материал для выдачи; конечно, это будет ерунда, которая их не удовлетворит. Попробуйте разузнать все, что нам полезно. Вы будете видаться только со мной, где я укажу. Всем товарищам я скажу, что верю вам по-прежнему и что вы наш. Вам довольно этого?

— Спасибо, Олень.

— А потом — вы искупите свою ошибку, потому что это было, конечно, страшной ошибкой.

— Я знаю. Я искуплю.

— Еще одно, Морис. Заведите лошадь и кучерский костюм, я вам дам денег. Но так, чтобы они не знали. Можете?

— Думаю, что могу. За мной следят, конечно, но я сумею. У вас новые планы?

— Планов много. Вы хотите знать?

— Не хочу. Когда вы скажете — я пойду за вами.

— Через неделю в этот же час увидимся здесь. Согласны?

— Спасибо, Олень.

— Бросьте это спасибо. Мы недолго продержимся, Морис, нам не стоит считаться.

— За доверие. Я мог ждать худшего.

— Худшее могло быть только одно. А теперь я пойду, а вы пока оставайтесь здесь.

Вытерев руку о подкладку пиджака, рыбак подал ее собеседнику, собрал свои снасти и поплелся в сторону рабочего поселка.

Морис остался и смотрел на морщинки воды и всплывавшие на воде пузыри. Уже темнело, облака потухли, — и кто мог сказать, стоил ли выигрыш жизни всего, что пережил Морис за последние месяцы? И еще всего, что пережить придется, а конец все равно один!

Когда он встал и пошел, рыбака давно не было видно.

МИШЕНЬ

В четверть седьмого утра пожилой камердинер согнутым пальцем с настойчивой робостью стучит в дверь спальни. Там, свернувшись калачиком и неудобно уткнув нос в пуховую подушку, спит председатель совета министров.

— Да-да, сейчас!

Камердинер отходит от двери на два шага и минут пять прислушивается. За дверью никакого движения. Согнутый палец опять стучит с той же настойчивостью. Сиплый голос несколько раздраженно отвечает:

— Ну да, слышу, ступайте!

Лакей уходит ждать звонка.

Председатель совета министров еще не стар, но его череп гол. В открытый ворот ночной рубашки свисает довольно большая черная с проседью борода. Первым сознательным жестом министр берет с ночного столика гребешок и расчесывает бо-

роду. Затем он откидывает одеяло, выпроставляет узловатую в коленке, худую и волосатую ногу; очертив привычный полукруг, нога попадает в туфлю.

Скинув рубашку, министр шаркает туфлями десять шагов до ванной комнаты; он не привык брать утром ванну, но заставляет себя обтираться холодной водой. Это тоже — не потребность, но своеобразная гордость министра: так полагается поступать решительным и энергичным людям.

В ванной большое зеркало, в зеркале виден голый профиль самой сильной и мощной фигуры государства, в котором сто семьдесят миллионов жителей, нуждающихся в непрестанной заботе, и которое занимает одну шестую часть земной поверхности. У голой фигуры нет мускулов и, при худощавом теле, выдающийся, смешной кругленький живот. На груди грядка волос, набегающих на обе стороны грудной клетки. Вытирая лысину мохнатым полотенцем, председатель совета министров косится на зеркало и подтягивает живот; выпрямившись, он кажется себе если не стройным, то, во всяком случае, приличным.

Так как министр курит, то он по утрам довольно долго откашливается. Умываясь — всхлипывает и делает губами бр-бр-р. После воды мочит бороду тройным цветочным одеколоном и сушит новым полотенцем, уже третьим по счету. Затем делает легкую гимнастику — по пять взмахов руками спереди назад и сзади наперед, два круговых движения в талии и три плавных приседания, при которых в ногах потрескивает. Подымая корпус в третий раз, министр рукой придерживается за край ванны.

С этой минуты лицо министра теряет все следы недавнего и недолгого сна и приобретает уверенную деловитость. Вернувшись в спальню, он надевает заготовленную камердинером с вечера чистую рубашку с крахмальной грудью, узкие, облегающие ногу египетские кальсоны и шелковые носки. Наконец, но не ранее, он звонком вызывает слугу, предварительно отомкнув дверь. Министр всегда спит, запершись на ключ.

Его туалет готов к семи часам без четверти. До семи он пьет кофе в маленькой столовой, причем ест довольно много варенья. К лежащим на столе четверо сложенным номерам «Нового времени» и «Правительственного вестника» он притрагивается только один раз: проглядев на первой странице список умерших, он смотрит на обороте список производств и назначений. Остальное доложит секретарь.

Перед тем как пройти в кабинет, министр подходит к окну и сквозь тюлевые занавески смотрит на улицу. Против его особняка обширный сад с небольшим домиком в глубине. В этом домике кто-то жил, но теперь домик — министр это знает — арендован от имени частного лица департаментом полиции; теперь там поселили семью будто бы приличных людей — муж, жена и брат жены, — а в действительности агентов охранной полиции. Против самых окон министра, на той стороне улицы, газетный киоск, а в киоске человек с неприятным, слишком

уж подозрительным лицом. Это, конечно, тоже полицейский агент. Извозчик, который как бы ждет клиентов у правого угла садов, тоже, вероятно, агент наружного наблюдения. В нижнем этаже дома министра три комнаты заняты дежурными агентами — целая маленькая казарма. Приказано, чтобы вся эта сволочь сидела в комнатах и по улице не шлялась. В вестибюле дежурят двое, один — швейцар, другой черт его знает под видом кого. Выбираются физиономии поприличнее. Есть и в этаже министра, в передней и в приемной. Нет только в верхнем этаже, где живет семья министра.

Печальная необходимость! Министр лучше всех знает, что вся эта обязательная охрана бессильна и не нужна, если нет хорошего осведомителя в среде революционеров. К счастью, эти анархисты (министр называет их огулом анархистами, хотя хорошо разбирается во всех тонкостях их отличий и партийных программ) — к счастью, они, при всей дерзости, до изумительности наивны и доверчивы. И неумны, даже недогадливы! Напуганная полиция содержит тысячу мерзавцев, которым иногда слепо доверяет. Безо всякого труда в эту тысячу могли бы проникнуть десятки революционеров — и тогда серьезная охрана стала бы немислимой. А впрочем — почему знать? Может быть, этот самый прохвост, сидящий в газетном киоске, может быть, при первом же выезде министра именно он и окажется...

Председатель совета министров никогда не был трусом. Как умный человек, он почти не сомневается, что будет убит. Может быть, это случится сегодня, может быть, через год, а может быть... Он даже не услышит разрыва снаряда, и его тело, правда не очень красивое (вспомнил живот в зеркале), но свое, родное... это тело разлетится в клочья. Его имя войдет в историю? Черт с ней, с историей! Быть в длинном списке жертв — Боголепов, Сипягин, Плеве... даже всемогущий Плеве! И еще сколько — не пересчитаешь! И вот прибавится еще и его имя. Удар — и в стороны разлетятся голова с черной бородой, манжеты, ступни ног в башмаках, обрывки кальсон с кусками мяса...

В соседней комнате сквозняком захлопнуло дверь. Министр вздрогнул, по-детски выбросил вперед руку, как бы для защиты, затем выпрямился и, слегка нахмурившись, проследовал в свой деловой кабинет.

Это казалось ему не простым, очень не простым, но все-таки понятным. Громадная площадь земли с точностью вычерчивалась на бумаге. Люди-единицы исчезали; люди-массы делились на горожан и на крестьян. Прежние, близорукие политики думали только о горожанах и об опасном сегодня; он учитывал будущее и реальную силу — крестьянство. У него был просвещенный ум и европейские знания. Там, в Европе, безумным мечтаниям противопоставлена мысль и массовая сила маленького буржуа; здесь, у нас, будет то же, когда на при-

горке вырастет у крестьянина свой хуторок и прочное хозяйство. Там это сделано годами опыта — здесь делается мудростью власти, ничем, по существу, не ограниченной. Простачок бомбометатель воображает, что крестьянин поклоняется земле ничьей, земле Божьей; а этот мужичок когтями и зубами вцепится в свою маленькую собственность и никого к ней не подпустит. Здоровый инстинкт! Конечно, нужно немало времени. Но хуторок спасет Россию!

Русский, министр очень любил Россию — вот эту землю, отлично изображенную на карте, с ее делениями на губернии, уезды и волости. Он мыслил ее правильно разграфленной, условно окрашенной и мудро устроенной. Разграфить, устроить и спасти ее мог только он, и для этого ему нужна была власть. Человек с лысым черепом и черной бородой громадным напряжением воли мог выполнить высокую миссию при царе-дурачке, при банде чиновной сволочи (Боже! какие мошенники!), при постоянной угрозе взлететь на воздух вместе со своими проектами и мудрыми реформами. Игра стоила свеч!

Если бы оставалось время для пустяков, для второстепенного, он разглядел бы на карте и рябого Кузьму с киллой, и путиловского пьяницу рабочего, и глупую либеральную даму, в салоне которой собираются доктора, присяжные поверенные и неопрятные литераторы, и свихнувшегося на книжках студента, и обиженных в своем надутым достоинстве думских болтунов — всю эту накипь на народе, то есть на будущих крепких хуторянах, в синих кафтанах, с окладистыми бородами, многочисленной здоровой семьей и необыкновенно упитанными коровами. Но строителю государства некогда рассматривать в лупу маленьких паразитов. Ими может заняться — ну хотя бы этот молодой секретарь, подающий надежды, его утренный докладчик.

И министр спросил нетерпеливо:

— А что в московских газетах? Все то же? Ну да, знаю, это неважно. Скажите, а кто на приеме из частных лиц?

— Пока записано двое, если вы лично примете: дама с рекомендацией от командующего округом и священник.

— Почему священник? Через кого?

— От Анны Аркадьевны.

— Ага, помню, она что-то говорила. По какому делу?

— По делу детского приюта в Вятке.

— Почему же ко мне? И больше никого?

— Остальных может принять заведующий канцелярией.

— Хорошо. Пусть он примет и даму. Попросите этого... как там... от Анны Аркадьевны.

— Слушаю.

Загрузив вход, хотя и боком, без подобострастия, но с подобающей почтительностью, в парадной лиловой шелковой рясе, с портфелем под мышкой (этот портфель вызвал некоторое беспокойство в приемной) в кабинет вошел отец Яков Кампинский, свидетель истории.

БРАТЯ ГРАКХИ

Братья Гракхи пришли с обычной аккуратностью, один пятью минутами позже другого. Обедали все вместе, ели шпинат с яйцами, курицу под белым соусом и лимонное желе. Сеня серьезно сказал, что такого обеда не едал ни разу в жизни.

— Я вот еще люблю гороховый суп с ветчинной костью. На Пасхе ел, очень понравилось!

Наташа хотела сказать, что как-нибудь закажет гороховый суп, но вспомнила, что уже не придется.

Разговаривали о пустяках. Петрусь вспоминал о рыбной ловле у них в Тульской губернии — как он однажды поймал на блесну судака фунтов на шесть; раньше, рассказывая про этот счастливый рыбацкий случай, он говорил «на пять», но сегодня судак вырос. Наташа рассказала, что однажды мужики поймали в Оке севшю на мель белугу, да такую огромную, что везти ее пришлось на двух связанных телегах. Потом пили кофе — все, как в хорошем доме. После обеда Машу отпустили до вечера, и тогда Наташа отперла комод и осторожно достала оттуда два тяжелых и неуклюжих стеганых жилета.

Когда принесла, братья Гракхи побледнели и старались улыбаться. Студент Петрусь сказал: «Мне выберите покрасивее!» — но на его шутку никто не ответил.

Олень ушел, пообещав вернуться через час.

— Не забудьте, Наташа, про занавеску на окне.

— Да, откинутый угол.

По его уходе она объяснила, как нужно нажать в коробке кнопку, которая и разобьет стеклянную трубочку.

— Сунуть палец поглубже в это отверстие и очень сильно нажать. Но не трогайте без надобности: если не трогать и ни обо что не ударять — не опасно.

Петрусь, губы которого побелели, сказал:

— А довольно сильный запах, даже голова кружится!

— Да, это мелинит. Можно надушить духами.

— Все равно, принимаемся.

Она заставила их осторожно примерить жилеты. Оба были не в пору и очень толстели.

— Ну, под платьем не будет так заметно. У вас, Петрусь, готова форма?

— Да.

— А все в порядке?

— От военного портного. Я — ротмистр; ошибки не будет. Широконышко, а вот с этим будет как раз. И фуражка новая, все по форме.

— Вы пока снимите, а уходя, возьмите с собой.

Они осторожно сняли жилеты и облегченно вздохнули. Но все еще были бледны. У Петруся вздрагивали губы, и он часто пил воду.

— И жарко же сегодня!

Наташа понимала их состояние. Спросила обоих сразу:

— Гракхи, вы можете? Потому что лучше раньше отказаться, чем отступить в последнюю минуту. И ничего стыдного нет — никто героем быть не обязан. Вы решились?

Первым ответил рабочий Сеня:

— Да уж раз сказано... Я пойду, решил. Двух смертей не бывает!

Наташа пожалала его руку. И Петрусь тоже ответил:

— Я, Наташа, не изменю. Мы оба пойдем.

Она поцеловала обоих и сказала:

— Сядем на диван, посидим. С вами пойдет Олень, а я скоро вас догоню.

— Разве и вы, Наташа?

— Не завтра, а скоро и я. Очень скоро, Гракхи, вслед за вами.

— Может быть, вам не придется. Может, завтра, после нас, все переменится. А уж вы живите с Богом, будьте счастливы!

Сказав эти слова, Сеня покраснел. Слово «Бог» сорвалось нечаянно — и нет Бога, и он тут ни при чем. Сеня прибавил:

— Ладно, там узнаем. А двум смертям все равно не бывать.

Наташа видела, что им обоим страшно, но что они не отступятся, не таковы Гракхи. Страшно и ей — но нужно им помочь.

— Смерти, Сеня, вообще нет. Ни тело, ни душа не исчезают. Вот сегодня мы здесь, а завтра переселимся — в землю, в дерево, в облако, в другого человека — и опять будем жить.

Сене эта философия непонятна, а Петрусь улыбнулся. Наташа продолжала:

— А если бы и была смерть... От того, что человек протянет свои дни до старости и болезней, — ничего он не выиграет. Вот вы работали на фабрике, потом женились бы на такой же работнице, народили бы детей, жили бы в вечном труде и бедности, — а там все равно умирать. Сейчас сами собой распоряжаетесь, а там вами распорядилась бы ваша старость и слабость. Или — арестуют, оплюют, избьют и все равно быть убитым; и это может случиться всякий день. А тут — нажать кнопку, и, может быть, вся Россия пересоздастся!

Петрусь сказал задумчиво:

— Я в вечную жизнь не верю, а здешнюю жизнь я люблю. И вот что я люблю, то и хочу отдать.

— Я понимаю вас. А я и эту жизнь люблю, и в вечную жизнь верю. То есть я верю в то, что смерти никакой нет, а есть превращенье. Ведь и дерево живет, и камень живет, все живет. Совсем исчезнуть ничто не может.

Им очень хорошо было вот так сидеть и разговаривать с Наташей. Олень — верный товарищ, с ним пойдешь куда угодно, но так поговорить с ним нельзя; а Наташа и сама поговорит, и выслушает, — ей можно во всем исповедаться, и она поймет сразу. Слушая ее, Петрусь думал, что, может быть, все это и не так и что ему, Петрусь, совсем не хочется превращаться в дерево или камень, а хотелось бы остаться Петрусем, юношей с пробивающейся бородкой, студентом, а потом — совсем взрослым человеком, хорошим работником; повернись жизнь иначе — так бы и было;

но сейчас на этом успокоиться нельзя, стыдно! Сколько погибло товарищей и сколько еще может напрасно погибнуть! У других силы не хватит, а он, Петрусь, пойдет, и смерть его не испугает. Слушал Наташу и Сеня и верил ей. Потому верил, что такой, как она, не верить нельзя. У нее голубые глаза, спокойная и ласковая речь, и уж если она, женщина, способна пойти на смерть и ничего не боится, то ему отступать нельзя. Если она что говорит,— значит, знает, чего не знают другие. И слова ее были для Сени как чудесная и незнакомая музыка.

Все эти месяцы оба они жили не в быте, а в воображении, не оглядываясь, не одумываясь, ежеминутно готовые к тому, что их природе, может быть, чуждо, но совершенно неизбежно и неизмеримо высоко. Когда подошел день — в грудь повеял холодок, но тумана не рассеял. И теперь было сладко слушать слова утхи, которым хотелось верить, без рассуждения.

Наташа это понимала и говорила для них и для самой себя, чувствуя в глубокой радости, что это сейчас — самое нужное, что это обволакивает и рассудок, и волю мягкой паутиной сказочности. Говорила долго, все, что сама для себя надумала, еще давно, еще на берегу реки, когда рядом на траве лежал элейский философ Зенон, а солнце грело и не жгло. Может быть, даже еще раньше, когда Пахом раздавил Мушку и Мушка превратился в синюю травку. Все слова, которых другим сказать бы не решилась, им сказала, как мать детям, как братьям старая и знающая жизнь сестра.

Такого полного слияния с людскими душами она еще никогда не испытывала и переживала то, что переживает поэт в самый возвышенный час творчества, когда он лжет себе и другим со всей силой страсти и искренности.

Вернулся Олень. Он тоже был сегодня взволнован и приподнят. Все было подробно обсуждено и переговорено раньше, всякий шаг рассчитан. Гракхов подвезет Морис; они войдут и попросят немедленно доложить министру; намекнут, что готовится покушение и что медлить нельзя ни минуты. Когда выйдет министр или их проведут к нему... А если министр их не примет? Если их не пустят даже в приемную? Ну, тогда придет очередь его, Оленя. Если долго не будет взрыва,— он вбежит в подъезд, и уже никакая сила его не остановит. Тогда они погибнут все трое,— а с ними все живое.

Его план был страшен. Но уже несколько смертей встретил Олень, а страшна только первая встреча. Только бы не опоздать на прием и не погубить дела случайной оплошностью.

Прощаясь с Гракхами, он обнял их и сказал:

— Товарищи, помните, завтра — не позже часу, а лучше — ровно в час. Я буду там ждать минута в минуту.

Они молча кивнули. Уходя, поцеловались с Наташей, и Сеня шепнул ей смущенно:

— Вот вам, спасибо за все! Совсем с вами, как с родной. Родная и есть!

Когда за ними захлопнулась дверь, Олень отвернулся, и щека его резко дернулась.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Они остались вдвоем, и Наташа сказала:

— Олень, у тебя между бровями молния!

Он улыбнулся своей замечательной улыбкой: детской и доброй на строгом лице.

— Вот теперь молнии нет.

— Ты поговорила с Гракхами?

— Да, мы хорошо поговорили. Какие они оба славные, чистые, честные. Как хорошо, что есть такие люди, — вот как ты и как они!

— Да, Петрусь и Сеня — прекрасные люди, таких у нас немного. Смелых много, но ведь и авантюристы смелы. А эти не от мира сего. Они оставили тебе письма?

— Нет. Сеня сказал, что сегодня ночью напишет сестрам и матери. А Петрусь только просил кланяться всем друзьям: у него ни отца, ни матери нет и вообще нет близких. О чем ты задумался, Олень? Не думай сегодня о деле.

— Я думаю о Морисе. Не все товарищи ему доверяют.

— А ты?

— Я в нем не сомневаюсь. Но он очень несчастен! Он продолжает вести игру с охранкой, но, кажется, ничего не выйдет: там ему тоже не очень доверяют, требуют от него чего-нибудь существенного, попросту — выдач.

— Слушай, Олень, пусть он выдаст меня; это создаст ему положение.

— Какой вздор, Наташа!

— Нет, не вздор. Я покажу, что работала с вами.

— Чтобы тебя повесили?

— Ну что ж! Вместе жили, вместе и умрем. Помнишь, как ты это говорил? А я не боюсь.

— Нет, Наташа, так дешево гибнуть нельзя. И Морис на это не пойдет. Да и уцелеет ли он завтра...

— Вы оба должны себя беречь. Завтра — день Гракхов.

Они спокойно обсуждали завтрашний день — точно речь шла об обыденном, а не о возможной смерти и многих смертях. За месяц игры со смертью они с нею сжились и привыкли к словам ужаса и безумия. Они на войне, сегодня — подготовка, завтра — выступление, нельзя быть всегда в нервном возбуждении и прислушиваться к своему пульсу и к полету пули. Главное, вопрос о ценности жизни, своей и чужой, давно решен, и подробности могут быть предметом спокойного суждения. Покой обманчив, под ним клокочет непотухший вулкан мыслей и чувств, — но разве не живут люди добровольно в вечном соседстве с кратером вулкана, любясь закатами, выращивая виноградную лозу и упрямо думая о будущем? Они были слишком молоды для такого фатализма, — но они жили в стране, судьбы которой не вычислены никакими астрологами, пути которой никому не ведомы, в стране великого ребячества взрослых и старческой мудрости юношей.

— Знаешь, сегодня я рассказывала Гракхам сказку — ведь

они словно дети, им это было нужно. Хочешь, и тебе расскажу, но только другую?

Она села в угол дивана, а Олень лег и положил ей на колени голову.

— Вот несчастье, я совсем неталантлива. У меня бесконечно много сказок в голове, а когда рассказываю — у меня выходит не поэзия, а какой-то деревенский расписной платок или вышитое крестиком полотенце. Скажи, почему тебя прозвали Оленем?

— Случайно. Как-то говорили, что у всякого человека есть сходство с диким или домашним животным. Перебрали всех и меня назвали оленем. За то, что я высокий и быстро хожу.

— Не высокий, а большой, сильный, ловкий, смелый! Ты и правда олень круторогий. Ну, слушай сказку, но только закрой глаза. Это даже не сказка, а вроде балета, очень русского, совсем даже нашего рязанского. Будто бы лежит, раскинувшись, такая огромная страна, затерянная, забытая, заснувшая, с лешими, русалками, колдунами. Русалки водят хороводы, и все они в настоящих деревенских, а не в театральных сарафанах. От хоровода к хороводу бегают леший, нескладный, волосатый, но только у меня он будет не противный, не такой — брекекекекс, а насмешливый, немного грустный, очень умный, очень талантливый, поэт. И потом что-нибудь вроде борьбы между сном и пробуждением, какая-нибудь девушка, которая ищет цветок Ивановой ночи и находит — ей леший помогает. Оба они потом гибнут, то есть, конечно, только исчезают в этих образах, но успевают найденным цветком пробудить землю, и тогда — новая жизнь, все изменяется, расцветает, и тут... одним словом, все ярко, блестит, сверкает, переливается... не знаю, как сказать, но я все это отлично и ясно вижу. Тут два мира, которые и прямо противоположны и оба одинаково, каждый по-своему, прекрасны, и один переходит в другой. Главное, чтобы сказка была бодрой, а все страшное — нестрашным и естественным, что-нибудь такое, понимаешь?

— Д-да, это бы хорошо.

— Что хорошо?

— А вот, что все это будет бодрым и... естественным.

— Ну конечно, Олень! Я сегодня немножко размечталась. Очень вспоминается лето в деревне. Липовый дух! Ты знаешь липовый дух?

— Еще бы!

— Когда липа цветет. И сиреневый хорош, весной, а липовый лучше. Сладкий, и гудят пчелы.

У него не дергалась больше щека, и он, закрыв глаза, видел и липу, и летающих пчел, и Наташу — тамошнюю, деревенскую. И, видя, думал о том, что она умеет завораживать и что она, может быть, сильнее его и сильнее всех других. Вся ее философия — простенькая, наивная и путаная, как и вся ее сказка, а сама она духом крепка, как сталь: гнется, а не сломится. И нравилось ему, что Наташа не хрупкая девушка, а настоящая большая женщина.

Не шевелясь и не открывая глаз, Олень спросил:

— У тебя не бывает сомнений, Наташа? Ты совсем уверена, что так нужно?

— Как же не бывает? Я часто и во многом сомневаюсь! Почти во всем. Но это не мучительно, потому что ведь истины никто не знает, а я ничего не боюсь.

— Даже смерти?

— Совсем не боюсь; и это искренно, Олень. Как бояться того, чего не можешь себе представить? Вот разве страдания? Но знаешь, как я всегда думала, с самого детства? Так думала: жизнь, сама по себе,— это вечная творческая радость, а страдание — это временное, внешнее, что ли. Вот как река, с обвалами берегов, с камнями, со множеством камней,— а ведь никто не скажет «это камни с рекой!», а всегда — «река с камнями». И вот, когда перед тобой смерть — обвалы и камни исчезают, а остается привольное и широкое течение реки, то есть русло нашей жизни и творческой радости. И значит, всякое страдание ничтожно и бояться его нечего — если только по-настоящему, всем нутром любишь жизнь. Поэтому я и не боюсь.

— А за других?

— Все равно. И они в последний момент поймут, хотя бы в самый последний.

— Я не про то; я говорю о праве убивать другого.

— Какое же право? Тут не право, а закон природы. Без насилия нет живого. Ступишь шаг — и раздавишь букашку. И даже когда дышишь. Не по праву, а потому, что так мир устроен. Насилие естественно и необходимо.

— А мы говорим, что боремся с насилием во имя свободы.

— Мы и боремся, но с чужим насилием и за свою свободу. Все борются. Так и нужно. Я и не верю ни к каким социализмам и правовым государствам. Все это — выдуманно.

Олень вслушивался больше в приятный голос Наташи и ее хорошее русское произношение, чем в смысл ее слов. Вот она говорит, а пожалуй, и сама плохо понимает слова «право», «свобода», «социализм». Она училась, была на курсах, но ум у нее от природы не интеллигентский, простецкий. А вера в ней искренняя и настоящая. Сама ли додумалась или вычитала и уверовала — и сейчас же прилагает к жизни и уж не свернет в сторону. Нищепанство в ней уживается с российским суеверием, как и модный европейский костюм — с белым на голове платочком или с провинциальным бантом. И при такой внешней путанице — изумительная внутренняя цельность и настоящее здоровье, хорошее, полнокровное. Если ей суждено жить — она чутьем найдет себе верную дорогу.

Думал о ней, не думал ни о себе, ни о своем завтра. Слышал, как Наташа от «умных» слов опять перешла к своему любимому разговору о закатах, о том, как прячется и умирает солнце, а ему на смену дрожащим светом загораются облака, и вместо ожидаемой темноты — новая яркая красота; и о том, как вечером над Окой, над самой водой, белым туманом летают

мотыльки, которых зовут поденками; живут они только несколько часов, рождаются только для любви и затем гибнут, вся вода ими покрыта, и их хватает рыба мелюзга.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ АВГУСТА

В дешевом номерке меблированных комнат у стола, накрытого твердой синей бумагой, молодой человек писал письмо. Он не был большим грамотеем, поминутно слюнил карандаш и лепил букву к букве с большим трудом и напряжением. В заголовке листика бумаги стояло:

«Драгоценная мамонька и любезные сестры!!»

А дальше корявыми и мыльными словами было сказано, что сын их и брат идет помирать за свободу и за весь русский народ, а когда они получат письмо, то на свете его больше не будет. И чтобы простили его за все огорченья. И чтобы верили, что иначе нельзя, а что он их всегда любил и жалел.

От вдавненных букв коробилось письмо, а оттиск карандаша остался на синей подстилке. Окончив письмо и подписавшись любящим сыном и братом, Сеней, молодой человек не знал, что дальше с этим письмом делать, потому что по почте его послать нельзя, — и решил, что передаст товарищу, который их повезет, а уж дальше письмо переправят матери, когда будет можно.

К половине первого дня, как было условлено, Сеня был готов: надел новую пару на тяжелый и душный жилет, поглядел на себя в тусклое и засиженное мухами зеркало и усмехнулся: что вот он какой барин! Одновременно подумал: как жалко, что совсем новенький костюм, за который заплачены большие деньги, пропадет; отдать бы его кому из прежних фабричных приятелей, — вот бы тот обрадовался! Смешнее всего был ему твердый котелок, краем резавший лоб: надвинешь его на брови — темная личность, а заломить на затылок — чистый забуддыга! Затем сел у окна и стал ждать.

Ждать было утомительно, потому что думать не хотелось, все передумано — поскорее бы кончить с этим делом. Бояться не боялся, а во рту было сухо и в глазах как бы легкий туман. Это оттого, что плохо спал ночью; ночью думается.

Ждал на полчаса дольше условленного. Томился — не случилось ли чего? И тогда, сквозь туман, проглядывала стыдная надежда, что не по его, Сени, вине план расстроится и что можно будет снять жаркий, мучительно прилипающий к телу жилет со страшной коробочкой.

Когда увидел подъехавшее к дому ландо, в котором сидел молодой жандармский ротмистр, сначала похолодел, потом догадался, что ведь это и есть Петрусь. Схватил котелок — и, забыв на столе прощальное письмо, торопливо сбежал по лестнице.

Стараясь незаметно вытирать на лбу пот, заведующий агентурным отделом докладывал:

— Никаких случайностей ожидать нельзя, и все меры приняты. Одно неприятно — ощущаем недостаток во внутреннем освещении. Боевая организация эсеров обезврежена точным освещением, а с максималистами дело хуже.

— То есть?

— Есть осведомители в Финляндии, но ничтожные. Мы знаем адреса некоторых конспиративных квартир, адрес динамитной мастерской.

— Даже?

— Так точно. Но этого мало.

— Почему же не ликвидируете?

— Этим только распугаем на время, а главарей взять не удастся.

— Кто это — главари?

— Во главе стоит некий Олень, конечно, кличка, участник террористических выступлений в Москве, человек, несомненно, большой силы и огромного в их среде влияния.

— Вы его не можете найти?

— Чрезвычайно искусно скрывается, хотя находится в Петербурге. Однажды его опознали в Гельсингфорсе, но тамошние законы...

— Ну да, знаю. А еще?

— Еще ряд дерзких преступников, в том числе женщин. Одну мы знаем. Это — дочь члена Государственного совета Калымова.

— Пикантно! Член по выборам? Кажется — из левых?

— Так точно. То есть, собственно, октябрист.

— Ага. Ну-с?

— Очень тщательно вожаки законспирированы, даже от своих. Необходимо усилить внутреннее освещение.

— Ну-с?

— Надежда есть. Один из ближайших друзей этого Оленя, соучастник вооруженного ограбления в Москве, был в наших руках и обещал сотрудничество.

— Почему был? Где же он теперь?

— Временно освобожден, именно в целях помощи, но остается, конечно, под наблюдением. Связей, однако, еще не установил.

— Как фамилия?

Заведующий агентурой замаялся: называть фамилии сотрудников было не обычаях департамента полиции, даже если осведомляется министр.

— Известен под кличкой Мориса.

— Так. Ну, а относительно... по поводу ближайшего плана... вы, помните, говорили...

— О попытке покушения на ваше высокопревосходительство? Выяснено, что пустой слух. Имелись сведения о двух автомобилях, начиненных, так сказать, динамитом, но это совершенно невозможно.

— Вы думаете? А как вот сейчас взлетим?

— Невозможно-с! Такого количества динамита, даже и на один автомобиль, у них нет и не может быть, об этом мы знаем точно. Да и психологически, так сказать, невероятно, чтобы преступники взорвались сами.

— Ну, это преступники особенные!

— Меры, во всяком случае, приняты, и даже подъезд огорожен рогатками. Но, повторяю, слух совершенно недостоверен.

— Так. Ну что ж, действуйте. А как сегодня жарко!

На лысине министра капельками выступал пот.

Ротмистр и штатский в котелке ехали молча. Сеня смотрел по сторонам и осторожно ощупывал сквозь одежду острые углы коробочки. Петрусь, очень красивый в форме жандармского ротмистра, смутно вспоминал, как в детстве его везла на экзамен мать, — тоже было жарко, и тоже было мутно в голове, сухо во рту и немного страшно. А впрочем, ведь это было в сентябре, значит, такой жары быть не могло. По улицам шли люди со свертками по своим маленьким делам, копыта лошади стучали о камни мостовой, все было обыкновенно и знакомо.

Бородатый кучер хорошо управлялся с парой лошадей, объезжал, где полагалось, городских и ловко перебирал в руках вожжи. Единственное, что его немного беспокоило, это то, что браунинг был не в кармане — кармана при кучерском наряде не полагалось, — а под сиденьем. Чтобы достать его, нужно было слегка приподняться. Подстегивая лошадь, кучер думал: «Олень волнуется, мы опаздали на полчаса!» Его беспокоило, не вызвала ли такая оплошность подозрений Оленя? Не подумал ли он, что напрасно доверился старому товарищу, запутавшемуся в своем революционном поведении? Но сегодняшнее участие в деле будет окончательно реабилитацией в глазах всех товарищей, — когда узнается, кто был кучером. А страшную и противную игру можно будет окончательно оставить!

На набережной Невки Морис даже прикрикнул на лошадей: «Но-но-о!», хотя приличному кучеру это совсем не полагалось.

Трехлетний мальчик и девочка лет двенадцати смотрели с балкона в сад. Мальчик спрашивал у сестры:

— А почему не гулять?

— Мама говорит — жарко.

— А почему жарко?

— Потому что солнце.

Мальчик поднял голову, но солнца не увидал, так как оно было за домом. Просунув головку сквозь перила балкона, мальчик увидал внизу сидящего на скамейке человека, который гладил пуделя. Пуделя звали Дэк, а человек просиживал на скамейке почти весь день. Дальше, за решеткой сада, тоже целый день прогуливался какой-то человек, а иногда их было двое. Мальчик спросил:

— А кто там ходит?

— Я не знаю. Это, верно, сторожа.

— Зачем они ходят?

Сестра не знала и не ответила. Ей тоже хотелось гулять в саду, так как в комнатах было душно, а на балконе нечего делать. Потом она вспомнила, что очень интересно пускать с балкона маленькие, узкие полоски бумаги и смотреть, как они вертятся и летят, пока не запутываются в листьях дерева или не упадут на дорожку; а иногда их уносит совсем далеко, за сад. Она принесла лист бумаги и ножницы, и тогда оба занялись делом.

Первая бумажка полетела неудачно, прямо вниз, и упала перед скамейкой. Пудель подбежал к ней, понюхал, а сидевший человек поднял голову, увидел на балконе детей министра и почтительно ослабилась. Потом он посмотрел на часы и подумал:

«Второй час. Нынче прием затянулся, народу много. Раньше чем через час и не кончится; значит, и смены не жди!»

И он зевнул долгим и протяжным зевком, так что даже лягнул зубами. Пудель оставил бумажку и с интересом поглядел на сидевшего человека.

Ландо подъехало к особняку министра и по знаку городского остановилось на некотором расстоянии от подъезда, отгороженного рогатками. Ротмистр и штатский вышли и быстрыми шагами направились ко входу. Ландо немедленно отъехало, и кучер подхлестнул лошадей. Проехав квартал, он свернул в боковую улицу. Медленно шедший по этой улице жандармский унтер с разносной книгой прибавил шаг по направлению к особняку. Кучер с унтером не обменялись ни взглядом, ни жестом.

Минут десять спустя тот же черноусый унтер, но без фуражки и без разносной книги, забежал в угловую аптеку неподалеку от министерского особняка. Весь персонал аптеки толпился у входа. Большое зеркальное стекло было выбито, и осколки его хрустнули под каблучком унтера. Были выбиты стекла и в соседних домах, и на всей улице царил смятение: люди у подъездов, у ворот и у окон, перепуганные лица, окрики извозчиков, звонки велосипедистов и гудок редкого по тому времени автомобиля.

Унтер попросил скорее перевязать ему руку, пораненную выше кисти; его рукав был в крови. На расспросы отрывисто отвечал, что его поранило при взрыве и что приказано вызвать докторов для перевязок и для помощи раненым, а что народу пострадало много, хотя ничего подробно рассказать не может, сам не знает.

— Как оно дернуло, я был у подъезда, меня швырнуло и, надо быть, доской ударило.

— Да что же там?

— Ничего не знаю, только взорвали дом и, сказывают, самого министра убило.

Ему быстро обмыли и забинтовали руку — рана была незначительной. Аптекарь, накладывая повязку, спросил:

— Больно вам?

— Ничего, бывало больнее, да не плакал.

Но, вероятно, боль все же была сильной, так как у унтера дергалась щека.

Еще раз повторив, чтобы немедленно и сами бежали и вызывали докторов, унтер поспешно вышел. На улице его остановил запыхавшийся околоточный, которому унтер что-то объяснил, сильно жестикулируя и указывая в сторону особняка. Выслушав на ходу, полицейский чин, поддерживая шашку, побежал дальше, куда указывал унтер. Еще два-три человека остановили унтера, и всем им он взволнованно и махая рукой что-то спешно пояснял. Пробежав так две улицы, он скрылся в подъезде большого дома.

Спустя еще немного из подъезда вышел безусый блондин в панаме и длинном пальто, наглухо застегнутом, несмотря на жару. Подозвав извозчика, сказал адрес большого отеля. Извозчик, едва отъехав, повернулся к седоку:

— А что, барин, слышали, сказывают — дом взорвали?

Седок хмуро ответил:

— Взрыв слышал. Думал, стреляют.

— Будто у самого министра!

— Не знаю.

Когда выехали на большую и людную улицу, господин в панаме велел остановиться:

— Ну и кляча у тебя! Мне к спеху, а этак никогда не доедем.

— Как, барин, не доехать. А лошадка ничего, да вон жара какая!

— Нет, милый, лучше уж получай деньги, мне некогда. Вон возьму того, на резинках!

И он пересел на лихача.

Несмотря на очень жаркий день, гуляющих в саду почти не было. На скамейке главной аллеи сидела дама и читала книжку. Когда в глубине аллеи показалась мужская фигура в длинном пальто, дама быстро вскочила, но сейчас же, сдержав себя, не спеша пошла навстречу. Не поздоровавшись и не разговаривая, они пошли рядом, пока не миновали няню с детьми и не свернули в боковую аллею.

— Ну?

— Я сам не знаю еще.

— Но что было?

— Я не ждал, что случится так быстро. Они опоздали, но потом проехал Морис, и тогда я пошел туда. И только подходил к крыльцу — меня отбросило взрывом. И вот — жив.

— А Гракхи?

— Гракхи... там. Взрыв был страшный, я оглушен. Половина дома разрушена, и, конечно, много убитых. На улице убиты лошади!

— А он?

— Может быть, ведь я еще не знаю. Слишком скоро случилось. Боюсь, что их не впустили. Но ведь это все равно, Наташа!

Он замолчал, так как им навстречу шла другая молодая пара. Замолчали и те, — вероятно, и их разговор был секретным и неудобным для постороннего уха.

Был последний теплый месяц, и людям молодым было естественно пользоваться солнцем и тенью для милых встреч и тайных разговоров.

РОЛИ СЫГРАНЫ

Молодая купеческая чета Шляпкиных исчезла. Горничной Маше не пришлось заявлять об этом в полицию: полиция явилась сама. Дом был окружен целым отрядом, и те, которым пришлось первым войти в подъезд, тряслись от страха и сжимали в руках револьверы. Позвонил дворник и в ответ на «кто тут?» сказал: «Это я, дворник Василий, отоприте». Она отперла — и не успела крикнуть: ее схватили и заткнули ей рот. Но квартира была пуста, и полицейский пристав, широкую спину которого уже щекотал холодок смерти, вздохнул облегченно: страшные птицы улетели.

Когда Машу допрашивали в участке, она все еще думала, что тут должна быть ошибка: ничего дурного она за жильцами не примечала. Между собой жили хорошо, гости бывали редко, и все люди приличные, водки за столом не бывало, от барина она не слыхала дурного слова, барин был вежливый, жалованье платили без всякой задержки и дарили подарки. А когда узнала, что молодые господа взорвали дом и убили двадцать ли, тридцать ли человек, да столько же поранили, не хотела верить: «Разве злодеи такими бывают!»

Целыми днями ее возили по городу, часами держали на вокзалах, надев на нее шляпку и модную мантилью, — но ни своих бывших господ, ни их гостей она не видела. Показывали фотографии — их признала. Но только барыня на карточках была по-молоде, совсем девочкой, а ее муж вышел черным, а не белокурим, и волосы длинные, каких этот не носил.

В квартире забрали белье, книги, коробку револьверных патронов, но ни писем, ни бумаг не было; только брошенные счета прачки, молочной и зеленой лавки. На белье не было меток. Нет, Маша не могла поверить, что почти три месяца прослужила у грабителей и убийц!

Дворник, читавший газеты и бывавший в участке, рассказывал: — Самого одним чудом не убили, он к им не вышел, а комната его дальняя. А деток ихних, девочку с мальчиком, покалечили; под ими балкон подломился. Третий-то этаж провалился во второй, а вместе — в нижний. И все стены упали, которые выходили в сад. Народу убито — нет числа. И сами убиты.

— Барин с барыней?

— Барин с барыней твои там не были, а убиты их приятели, из ихней шайки.

— Неужто молоденькие, что у них бывали?

— Уж этого не знаю. Насчет возраста неизвестно, потому — разорвало их на мелкие кусочки.

О том же читала в газетах Наташа, сидя в саду, на даче, и смотря, как с деревьев на дорожки падает желтый лист. Жалости

к убитым не испытывала: ведь и братья Гракхи погибли; смерть остальных — только плата за смерть юношей. Но когда прочитала, что двенадцатилетнюю дочку министра также звали Наташей, — сжалась и похолодела. Пойти бы и взглянуть... Или поступить в сиделки в больницу, где лежит раненая девочка. И ночи проводить у ее кровати, подавая ей пить, осторожно поправляя подушки, прислушиваясь ночами к ее жалобным стонам. Потом узнают, арестуют — и вот искупление.

В лесу, в условленном месте, встречалась с Оленем. Он был бледен, очень исхудал, не мог сдерживать нервных подергиваний, — но это был тот же Олень, сильный, весь захваченный страшной борьбой. От него узнала, что на другой день после взрыва эсеры убили командира Семеновского полка, усмирителя московского восстания. Значит, и им удаются выступления! Но все-таки Евгения Константиновна от них отошла и будет теперь с нами.

Ни об ужасах взрыва, ни о раненых детях, ни об оставшемся в живых министре Олень не говорил — только о новых планах, теперь уже о центральном терроре, для которого нужны большие средства, и эти средства нужно достать во что бы то ни стало. Еще рассказывал о массовых расстрелах матросов в Кронштадте, о том, как девятнадцать человек были привязаны к одному канату, протянутому между двумя столбами, как их же товарищи должны были их расстреливать; как по первой команде стрелки дали неверный залп, многих поранили, а потом, по приказу начальства, добивали штыками и прикладами... Как не выдержал канат и куча недобитых тел извивалась и корчилась на земле, а палачи, охваченные ужасом, то бросали оружие, то снова хватили и старались поскорее прикончить и чужие, и свои страдания. И как затем погрузили на пароход и повезли топить в море мешки с изрубленным человеческим мясом.

Олень, этот бесстрашный мужчина, дрожал и дергался, передавая об этом Наташе со слов очевидцев. И оба они чувствовали, что теперь уже не может быть мирной жизни, что они опутаны смертью и смертями, и что девочка с переломленными ногами и тяжело раненный трехлетний сын министра — только мелкие эпизоды беспощадной войны двух миров, и что все это кончится только в тот момент, когда они оба, с радостью и облегчением оттолкнув палача, накинута на шею намыленную веревку. Свидетелей не будет — но пусть это будет смело и красиво!

На свидании было решено, что всем уцелевшим участникам взрыва придется разъехаться и временно скрываться по дачам и по маленьким городам, чтобы отдохнуть и замести следы. Только лаборатория отдыхать не может: ее успели перенести в новое помещение. За это время Олень выработает подробный план экспроприации, а затем, при удаче, все силы и средства будут направлены на центральный террор.

— Значит, ты останешься в Петербурге?

— Я останусь, мне нельзя уехать. Здесь мне легче затеряться. Я, вероятно, хорошо устроюсь на заводе; есть верный и настоящий паспорт.

Наташа внимательно оглядела недавнего барина, с которым она пила чай в их буржуазной столовой и делила ложе в безвкусной спальней. Теперь перед ней был невзрачный телеграфный чиновник, с маленькими черными усиками, в фуражке со значком, в несвежем костюме, в дымчатом пенсне на черном шнурочке. Да, его нелегко узнать — только она может узнать Оленя под любой личиной.

Они разошлись, условившись о дне новой встречи и о всех возможных случайностях. Расставаясь, простились за руку. Прежние роли были сыграны — и как будто от прежних отношений ничего не осталось.

«ЭК»

Солдат-пехотинец, мирно стоявший на углу и козырявший офицерам, вдруг свистнул, бросился на середину улицы и схватил под уздцы лошадей проезжавшей казенной повозки. Сидевший на повозке человек в форменной фуражке ударил кучера кулаком в спину и истошно крикнул:

— Гони, черт!

Кучер хлестнул, лошади дернули, и повозка рванулась. Тогда солдат, отбежав в сторону, взмахнул рукой и сам бросился ничком на мостовую. Страшным взрывом подбросило лошадей и опрокинуло с козел кучера и конвойного солдата. Двое других конвойных и человек в чиновничьей фуражке, оглушенные взрывом и пораненные, клубками выкатились на мостовую.

В ту же минуту к повозке подбежало несколько человек, один — в матросской форме, другой в отличном городском костюме, еще несколько в рабочих блузах, все с револьверами в руках. Двое срывали брезент и шарили, остальные обезоружили очумевших конвойных и оттеснили их от повозки. На мостовую вылетела большая кожаная сумка, за ней кованный ящик, повисший на длинной цепи.

На улице было смятенье. По обе стороны в домах вылетели стекла. Случайные прохожие разбежались, несколько раненых ползло по панели. Толпа убежавших наталкивалась на тех, кто бежал к месту происшествия, вдали свистели городовые.

Один из возившихся около повозки крикнул:

— Олень! Ящик прикован!

Солдат, первым задержавший лошадей, командовал:

— Унесите сумку! Теперь отойдите в сторону! У кого снаряд? Разбить повозку!

Второй взрыв повернул повозку, у которой оторвало и далеко отбросило колесо. Осколками дерева и железа убило одного из конвойных и ранило двоих нападавших. Чиновник вырвался и с криком побежал по улице. Когда снова бросились к ящику, оказалось, что цепь по-прежнему держит его прикованным к железной обивке оторвавшихся козел.

Сумка по команде исчезла. Один из участников нападения добежал с нею до угла, ворвался в небольшую кондитерскую, швырнул ее сидевшей за столиком нарядно одетой даме и выбежал обратно.

Перед его входом дама пила молоко с пирожными и читала книжку. Услыхав первый взрыв, она вынула кошелек, положила на стол монету и не проявила ни малейшей растерянности, пока хозяйка и прислуга в страхе метались по кондитерской. Когда молодой человек бросил сумку, дама подняла ее, с брезгливой торопливостью завернула в широкий шарф и быстро вышла черным ходом во двор; отсюда прошла воротами, толкнув стоявшего у калитки мужчину и сказав «пардон». У самых ворот лихач едва сдерживал испуганную взрывами лошадь. Дама села в коляску, и кучер, ни о чем не спрашивая, пустил лошадь.

На первом повороте лихачу пришлось задержаться, так как навстречу летел отряд конных жандармов. При их приближении дама вынула из сумочки маленький револьвер с перламутровой рукояткой и прикрыла его снятой перчаткой. Отряд промчался мимо, и лихач тронулся дальше. Через минуту раздался новый взрыв, а спустя некоторое время донесся издали четвертый. Дама положила свою блестящую игрушку обратно в сумочку.

Топот лошадиных копыт заставил нападавших бросить ящик. Был отдан приказ разбежаться, но теперь уже нелегко было это сделать. С одного конца улицы бежали небольшой толпой городовые и дворники, с другой приближался конный жандармский отряд. Из пятнадцати участников нападения только шестью удалось прорваться и скрыться.

У остальных завязалась перестрелка с полицией. На мостовой лежало несколько убитых и раненых. В общей панике было невозможно отличить участников грабежа от случайно попавших в толпу прохожих, которым теперь некуда было скрыться, так как дворники ближайших домов захлопнули ворота и подъезды.

Когда из переулка показался конный отряд, все в беспорядке бросились в противоположную сторону. Олень, удержав за руку одного из товарищей, потянул его в сторону конных.

— Есть снаряды?

— Два.

— Один дай мне — и идем напролом. Может быть, задержим.

Отбежав в разные стороны улицы, они пошли навстречу отряду. Первым бросил бомбу товарищ, и Олень видел, как передние лошади поднялись на дыбы и три из них упали, дав раненых всадников. Ряды были разметаны, лошади не слушались, люди быстро спешивались и старались укрыться за крупами животных. Задний ряд жандармов повернул и помчался обратно в переулок.

«Трусы!» — подумал Олень.

Он подходил медленно, держа бомбу за спиной. Его солдатская форма отвлекла внимание. Он видел, как на товарища, бросившего бомбу, напали два спешившихся жандарма и зарубили его шашками. Слышал выстрелы и крики позади, где оста-

лись другие товарищи, помочь которым он уже не мог. Когда остатки отряда надвинулись на него, он схватился за грудь и упал на тротуаре, у самой стены дома, едва не выронив снаряд. Конные, стараясь сдерживать лошадей и со страхом озираясь, проехали мимо. Тогда Олень вскочил и бросился бежать. Он был уже далеко, когда услышал за спиной лошадиный топот; его заметили. Только бы добежать до следующего угла, где есть проходной двор,— может быть, ворота не заперты.

Но вот раздалось несколько выстрелов: это в него. Олень добежал до фонарного столба и укрылся за ним. Два жандарма, держа винтовки на прицеле, подскакали к нему. Тогда он взметнул правой рукой и бросил снаряд под ноги лошадей.

Он уже не оглядывался и ничего не слышал позади: он был оглушен взрывами. Теперь он бежал с револьвером в руке, громко крича: «Держи, держи!» Несколько человек шарахнулось в сторону, люди впереди разбежались. Наметив одного, спешно убежавшего, без шляпы, Олень устремился за ним, продолжая кричать. Он видел, как cyclist¹, очевидно полицейский агент, повернул и тоже погнался за убежавшим прохожим, который споткнулся и упал. Cyclist бросил велосипед и навалился на лежащего. Олень подбежал и крикнул: «Держи его крепче!» Затем, схватив брошенный велосипед, он сел на него и умчался, неистово звоня. Агент и упавший прохожий были далеко.

Лихач остановился у подъезда. Вынув кошелек, дама дала кучеру монету и тихо сказала:

— Слушайте, Морис, если Олень жив, скажите ему, что я могу хранить сумку только до девяти вечера. Если за ней не явятся раньше, я отвезу ее сама на Васильевский остров.

Бородатый кучер приподнял шапку.

Дама отперла дверь своим ключом. Пройдя в комнату, она приподняла заслонку камина и сунула туда сумку, завернутую в шарф. В дверь постучали.

— Войдите! Это вы, дядя?

— Я видел, как ты подъехала.

— Я очень устала. Если хотите — выпьем кофе или чаю. Я взяла билеты на завтрашний концерт. Вы пойдете, дядя?

— Если возьмешь меня.

— Возьму, и охотно. Очень хочется послушать хорошую музыку. В Петербурге шумно, пыльно и удивительно скучно.

— Тебе, кажется, везде скучно.

— Мне? Напротив, я умею развлекаться. Но сегодня, действительно, я устала от уличного шума. Так как же, дядя, чаю или кофе? Да вы еще не брились? Вы опускаетесь, ваше превосходительство!

¹ От французского слова *cycliste* — велосипедист.

МЫШОНОК

Девушка в синей шляпке робко позвонила.

— Можно видеть Евгению Константиновну?

— Как доложить?

Она не была подготовлена к такому вопросу: там, где она обычно бывала, никаких докладов не полагалось. Как сказать? Просто — Фаня? Или с фамилией? Или нужно сказать прислуге пароль?

— Скажите, что по делу... из магазина.

— Из какого магазина?

— Из шляпного.

Лучшего она не могла придумать: сама была похожа на модистку, а в руках ее была картонка. Ее попросили подождать в передней, потом проводили до комнаты Евгении Константиновны.

Обстановка не была ни парадной, ни богатой, — но Фане показалось, что она попала в необыкновенно блестящий дом: и зеркала, и ковры, и картины. Уж не ошиблась ли она? Но и адрес, и имя верны.

Они не были знакомы, и Евгения Константиновна не подала ей руки и не попросила садиться.

— Вас послали ко мне? Из какого магазина?

— Нет, я только так сказала, а я за сумкой.

Недоуменно поднятые брови:

— За какой сумкой?

Фаня смутилась: нужно было сказать не так, ведь учили же ее!

— С поклоном и за письмом.

Евгения Константиновна подала ей руку.

— А мы с вами не встречались. Вы, вероятно, Фаня?

— Да.

— Ну, так я вас знаю. Вы ведь настоящий герой!

Девушка удивилась.

— Может быть, вы меня с кем-нибудь спутали? Я ничего не делала.

— Вы жили в Финляндии?

— Да.

— Тогда не спутала; знаю, что вы много делали. А как ваше здоровье, Фаня? Вы были больны?

— Ничего, спасибо. Немножко хворала, теперь лучше. У меня слабые легкие.

Они были так несходны, и, казалось, между ними ничего не могло быть общего. А между тем — были тесно связаны их судьбы, и им могла грозить одна участь.

Евгения Константиновна достала из каминной сумки и помогла Фане уложить ее в большой шляпный картон.

— Выдержит?

— Да, он крепкий. Я в нем уже носила тяжелое; он так сделан.

— Лучше бы нести без сумки, но я не знаю, как ее открыть; вероятно, надо взломать замок. И притом мне некуда бросить эту сумку и невозможно уничтожить. Вы, Фаня, знаете, что тут?

— Нет. Мне только сказали, чтобы взять у вас и доставить. Верно, что-нибудь такое, как всегда?

Евгения Константиновна рассмеялась:

— Нет, не думаю. Тут, вероятно, бумажки, которые могут быть опасными или очень приятными, смотря по тому, что с ними делать. Толчков они не боятся, но поберегите их, потому что обошлись они очень дорого.

— О, я всегда осторожна! И больше ничего?

— Больше ничего.

Они простились, и Фаня унесла тяжелый картон. По привычке — несла бережно, как раньше носила динамит. Не знала, что на полчаса она — богатый человек и что эту сумку можно обменять не на три сладких пирожка, а на целую кучу бриллиантов, роскошных платьев, удивительных шляпок или даже на большой дом на Невском проспекте, на несколько больших доходных домов. Несла спокойно, иногда трогая дно крепкого, оббитого холстом картонка: хорошо ли оно держит?

По совету Евгении Константиновны она взяла извозчика и отпустила его за две улицы до указанного ей дома. Вовремя заметила, что картон все-таки, кажется, не выдержит: хорошо, что она такая внимательная! Уже с трудом внесла его на четвертый этаж и сдала тому, кто ее послал. Ее не пригласили отдохнуть, только спросили, не заметила ли она за собой слезки. Нет, все было благополучно. «Вы — молодец, товарищ Фаня!» Она покраснела от удовольствия и ушла, спеша выполнить еще одно маленькое поручение в другом конце города.

Что-то и еще было приятное... Да, это слова Евгении Константиновны: «Вы, Фаня, настоящий герой!» За что ее так любят и так хвалят? Конечно, она не герой, но ведь все-таки участница великого идейного дела. До сих пор она всегда справлялась со всеми поручениями, которые ей доверяли. Значит — нужна, и, значит, есть в общем деле и ее доля, пусть самая маленькая!

Теперь ей пришлось ехать долго трамваем, с пересадками, потом искать незнакомую квартиру в рабочем квартале, а найдя — позвонить, спросить Наташу и сказать ей, что «в девять вечера, где обычно». Передать непременно лично ей. И кажется, это та самая знаменитая Наташа, о которой так много говорили и которой Фаня еще не встречала. Совсем удивительная женщина, настоящий герой. Участница всех важных актов и близкий друг того удивительного и неуловимого товарища, которого тщетно ищет вся полиция Петербурга. Передать непременно лично, — значит, она ее увидит!

Дом она нашла легко. Внизу, в подъезде, встретила какого-то мужчину неприятного вида, но все-таки поднялась и позвонила.

Дверь отперли, и она отпрянула, увидав человека в полицейской форме. Успела сказать:

— Ах, я, кажется, ошиблась! Здесь живет зубной врач?

— Входите, входите!

— Но, кажется, не здесь?

Она повернулась, чтобы уйти, но поднявшийся вслед за ней человек, которого она видела внизу, заступил ей дорогу:

— Тут не тут, а пожалуйста в квартиру. У нас зубных докторов сколько хочешь! Разом вылечат!

И ее втолкнули силой. Полицейский сказал штатскому:

— Кто ни попадет — все зубных врачей спрашивают! А тут на всей лестнице и доктора никакого нет.

— Это у них всегда — очень зубами болеют!

За маленьким невзрачным мышонком, легкомысленно сунувшим нос в ловушку, захлопнулась железная дверка.

И сердце маленького мышонка забилося сразу и страхом, и радостью. Страхом — потому, что кругом были грубые люди с шашками и кобурами револьверов и что счастье изменило мышонку и порученья она не выполнит, — и в то же время большая и настоящая радость: вот и ему, как всем большим и сильным, с которыми он работал в одном великом деле, довелось пострадать за идею и приобщиться к лику мучеников. Вот оно — начинается! Теперь нужно до конца быть стойким и твердым, действительно — настоящим героем! Себя не жалеть — но ни одним словом, ни жестом не выдавать других! Пусть бьют и мучают — ни словом, ни жестом!

Ее ввели в комнату, где сидел за столом, разбирая бумаги, толстый полуседой человек в форме, на вид сонный и равнодушный; тут же ее обыскали, грубо и цинично, чуть не вызвав на ее глаза слезы; но она, конечно, сдержалась, только отталкивала мужские руки своими худыми пальчиками.

Толстый сонно спросил:

— Ну, вы к кому пришли?

Она молчала.

— Спрашиваю — к кому вы пришли? Отвечать нужно! Фамилия ваша как?

И тогда она, сверкнув невыразительными и слишком добрыми глазами, как-то визгливо и слишком восторженно крикнула:

— Я не желаю отвечать!

На толстого это не произвело никакого впечатления:

— А не желаешь, так посиди там, со всей честной компанией.

И ее перевели в угловую комнату, где сидело несколько человек, видимо арестованных, мужчин и женщин. Двоих она узнала, но не показала вида, даже не кивнула. Села на стул с все еще пылающим лицом и вся сжалась.

При ее входе все замолчали; но когда введший ее городской вышел и запер дверь, один из знакомых ей товарищей тихо спросил ее:

— Фаня, а вы-то как попали?

Она боязливо оглянулась.

— Тут все наши, не бойтесь. Вы зачем же пришли?

— Меня послали.

— К Наташе?

— Да. Она здесь?

Он покачал головой:

— Наташу увезли. И нас увезут. А вы что им сказали?

— Я отказалась отвечать.

Товарищ посмотрел на нее с легким удивлением:

— Так. Ну, значит, и вас увезут. Крышка нам, Фаня.

ЛЮЛЬКА

Рядом в комнате заплакал ребенок, и Олень, проснувшись, привскочил с постели и схватил руками пустоту.

Кошмарный сон прервался и стал быстро уплывать из памяти. Болела голова, и занемела шея, вероятно, от тонкой и твердой подушки. Растерев шею рукой, Олень нашарил на табуретке папиросу, чиркнул спичкой и осветил нехитрое убранство маленькой комнаты: постель, столик и проволочную вешалку, на которой висели шапка и полотенце.

Эту ночь он спал у знакомого рабочего на петербургской окраине; прошлую ночь — у состоятельного адвоката, гордого тем, что имеет смелость приютить нелегального; впрочем, адвокат не знал, что этот нелегальный — опасный террорист, усиленно разыскиваемый полицией. Где придется провести следующую ночь — еще неизвестно. Глупее всего было бы попасть случайно в облаву, как уже многие из его группы попали за последние недели.

Какой страшный разгром — и как раз в то время, когда нужно собрать все силы и когда опять в руках достаточно средств! Эти средства обошлись дорого: трое были убиты и семеро взятых казнено полевым судом. Пришлось бросить лабораторию, провалилась типография, страшно затруднена связь с финляндской группой. Большой глупостью был съезд, на котором, несомненно, было несколько провокаторов. Затем ряд случайных арестов, затем известие об аресте и казни Мориса, который уехал на юг и попался; и, наконец, последнее — арест Наташи. Самое тяжелое и самое непоправимое. Со дня ареста о ней нет никаких известий, это отчасти даже хорошо: значит, судить ее будут обычным военным, а не полевым судом; но конец один — ее жизни не пощадят. Если бы можно было самым дерзким и самым отчаянным набегом освободить Наташу, — на это пошли бы многие товарищи. Или огромной суммой подкупить стражу... Но это, конечно, только мечты. Все-таки нужно разузнать о судьбе Наташи все, что узнать возможно.

Он очень любил Наташу: и как товарища, и как женщину. Верным товарищем она была всегда, женщиной — только в ред-

кие дни сравнительного покоя, когда они жили вместе и были обязаны «играть роль». Эти дни ушли так далеко и отделены такой бездной волнений и событий, что Олень помнил в Наташе только ценного и близкого товарища в революционной работе. И вот теперь и ее, как уже многих, настигает смерть.

«Смерти, Олень, нет, есть только слово «смерть», а вопроса такого нет совсем. Есть слово «мысль», и я понимаю его, представляю себе, что это такое. Есть слово «смерть» — но я не понимаю его и не представляю себе. Я понимаю ощущение веревки на шее, сдавленного горла, красных и темных кругов в глазах — но это еще не смерть. Сердце перестанет работать, и я, вот такая, сегодняшняя, исчезну — но я буду жить в чем-то другом, телом и духом; может быть, мне удастся превратиться в зеленую травку весны девятьсот седьмого года... Или в свет электрической лампочки...»

Бедная Наташа! Ведь все это — слова, наивная философия! Бедная Наташа, так мало жившая!

Смерть есть, и сети ее кругом опутали Оленя. Вот уже год, как кровь и смерть цепляются за каждый его шаг. Московское восстание — и гибель сотни друзей, таких же, как он, молодых и верующих, и совсем иных, пожилых, семейных, серьезных рабочих, которые были вместе с ними. Потом — эти страшные минуты в подмосковном лесу, может быть, самые страшные в его жизни, когда он был вынужден застрелить связанных шпионов, стать палачом. Дальше — десятки убитых при взрыве особняка, и в их числе два славных парня, которых послал он и которым Наташа, накануне их смерти, внушала детскую теорию отрицания смерти. И опять — куча тел на улице и казни в застенке. И еще множество смертей, о которых он даже не знает подробностей, которых не может подсчитать. А Морис с его странной судьбой? Морис, многими осужденный и еще не оправданный, даже смертью! Вероятно, его пытали те, у кого было достаточно причин его ненавидеть, надежды которых он не оправдал и служебную карьеру разрушил.

Кругом образовалась пустота: много смелых уже рассчитались с жизнью, слабые разбежались в надежде скрыться и спастись. Главный план, ради которого принесено столько жертв и перейдена граница дозволенного чистому революционеру, — далек от осуществления; теперь есть средства, но не стало людей, и нужно все начинать сначала. И в то же время впервые Олень чувствовал, что в рядах его группы завелось предательство; кто-то в нее проник, выдал нескольких, вероятно, выдал Наташу и сумеет предать его. Круг сжимается, и откуда упадет удар — не угадаешь. Уже несколько раз Олень только чудом или своей необыкновенной ловкостью ускользал от ареста, как будто случайного. Меняя каждый день личину и ночлег, он чувствовал, что за ним идут по пятам и что малейшая оплошность и недоглядка приведут и его и все дело к гибели.

Опять заплакал ребенок. Скрипнула кровать, и было слышно, как мать качает люльку. Едва перестает качать — снова плачет

ребенок; и снова постукивают по половицам деревянные по­ лозья качалки. В комнате очень холодно, до рассвета еще да­ леко.

Мужской голос спросил:

— Ты чего? Не спит все?

— Не спит. Блохи его, что ли, кусают.

— Покормила бы.

— Кормила. Не спит. Этак всю ночь просидишь и не по­ спишь. Ты бы хоть покачал.

Олень подумал: «Что же он и правда ей не поможет?» Потом вспомнил, что они оба, и отец и мать, работают на фабрике и должны вставать до света. Как же тогда с ребенком — ос­ тавляют? И как они могут иметь ребенка при таких условиях? Вот дать бы им денег...

Подумал — и понял, что это — стыдная мысль. Дать денег им, потом другим — ходить по домам, как благотворительная дама. Потом еще ограбить, убить — и опять раздавать деньги. Сде­ латься благородным разбойником из старых романов!

Всегда готовый бежать по первой тревоге, Олень спал не раздеваясь. Закурив новую папиросу, он встал и вышел в со­ седнюю комнату.

— Вы ложитесь, а я его покачаю.

Женщина не удивилась, только сказала:

— Зачем вам, я уж сама.

— Вам ведь спать нужно, потом на работу, а мне все равно не спится.

— Вот муж спит как колода. Покачал бы...

— Ему тоже рано работать. Вы не смущайтесь, ложитесь. Говорю — мне все равно не спать.

Она не спорила, отошла и легла. Олень сел на табурет у люльки и стал покачивать ребенка. Непривычно и как будто смешно. Попыхивал папиросой и думал: «Правду говорят, что все террористы немного сентиментальны. Вон Каляев не бросил в первый раз бомбу, так как Сергей ехал с женой. А дети в особняке? Кажется, девочке ампутировали ногу, а может быть, нарочно рассказывают. Нет, я не очень жалостлив!»

Папироса докуривалась, ребенок спал. В темноте и в холоде комнаты Оленю казалось, что это не люлька, а лодка на реке, осенью, в безвременье, а он — старый и усталый лодочник. У времени нет ни конца, ни начала, и ничего не было и не будет. В постели не спалось, а здесь его объяла дремота и незнакомый покой. Иногда его рука останавливалась, и ребе­ нок сейчас же напоминал о себе плачем, — и тогда Олень опять ровно покачивал колыбель, ни о чем не думая, окруженный смутными и неясными мирными образами: не то — детство, не то — покой могилы, манищее и бестревожное небытие. Только раз оправил затекшую ногу — и не заметил, как рука пере­ стала двигаться и он задремал. Спал и ребенок. Рядом спали приютившие его люди, совсем ему чужие, хотя и знавшие, что укрывают у себя «товарища».

В пятом утра всех их пробудил фабричный гудок. Было еще темно. Очнувшись от своей глубокой дремоты, Олень задел люльку, вспомнил, где он, и тихонько ушел в соседнюю комнату.

АУТОДАФЕ

Каким образом случилось, что Александр Николаевич Гладков, известный политический защитник, состоятельный барин и человек «крайних левых убеждений», согласился похранить у себя огромную сумму денег, — он и сам не понимал. Согласился, потому что это было смелым и красивым жестом, а он любил смелые и красивые жесты.

В сущности — особенной опасности не было. Принес эти деньги молодой человек, безукоризненно одетый, лично Гладкову известный, через которого максималисты не раз передавали ему защиту своих товарищей в общих и военных судах. Пришел клиент — вот и все; человек, по-видимому, достаточно осторожный и осмотрительный, иначе ему не поручили бы такого дела. Притом Гладков решительным тоном ему заявил:

— Имейте в виду, мой дорогой, я не знаю и не хочу знать, что это за деньги. Я знаю вас и принимаю их на хранение от вас. И только на неделю, не дольше. Так?

— Даже меньше, дня на три. Потом мы их переправим в другой город.

— Это уж ваше дело. Я ничего не знаю! А сколько тут?

— Точно не подсчитали, но не меньше трехсот тысяч.

— Ого! Целое состояние! Расписки я вам, конечно, дать не могу.

— Я и не взял бы. Мы вам верим.

— Надеюсь!

Когда молодой человек ушел, Гладков вспомнил, что не договорился о том, как быть, если принесший деньги не сможет за ними вернуться или если случится внезапная опасность обыска. Хотя он далеко не беден, но все-таки такой суммы, да еще наличными, у него не может быть.

А что, если номера кредитных билетов где-нибудь помечены? Откуда эти деньги — ясно! Он не спросил, но догадаться нетрудно: ведь Петербург говорит о недавнем дерзком «эксе», стоившем жизни десятку людей!

Гладкову не раз случалось помогать революционерам — хранить нелегальную литературу и давать приют неизвестным. Это всегда было сопряжено с некоторым риском, не очень большим, при его почтенном положении в обществе и больших связях.

Во всяком случае, он не трус! Сам вне всяких партий; его сочувствие и помощь революции выражается в выступлениях по политическим делам. Многих спас от смерти, многих спасти не мог. Его знают, уважают, и сегодняшней визит к нему —

лучшее доказательство безграничного к нему доверия. Никто бы не согласился — а он согласился.

Но как он все-таки согласился с такой легкостью! Ведь это, в сущности, соучастие в преступлении, которое карается смертью! А вдруг номера кредиток отмечены? Да и без этого — дело ясно!

Но позвольте! Ко мне приходит клиент и поручает мне сохранить его деньги. Я кладу их в негоряемый шкаф, чтобы после внести на его имя в банк — вот и все!

А почему этот странный клиент сам не внес их в банк? И что это за случайный клиент с улицы, в портфеле которого триста тысяч рублей, как раз столько, сколько было на прошлой неделе ограблено при вооруженном нападении на Каменноостровской улице? Кому рассказывать такие басни!

Перед сном Гладков прошел в кабинет, запер на ключ двери и вынул из негоряемого шкафа тяжелые, небрежно связанные пачки денег. Преобладали «петры», было немало «катенок», а в небольшой связке была даже мелочь: уголком торчал желтый рубль. Деньги были уложены плотно, и все-таки их была целая груда: пачки заняли весь письменный стол. При всем своем достатке Гладков никогда не видал сразу такой суммы. В большинстве бумаги подержанные, номера подряд не идут. Принесший их опустошил большой портфель и еще несколько пачек вынул из карманов.

Вдруг Гладков испуганно взглянул на окно: ведь окно завешано только тюлевой занавеской! По ту сторону улицы живут люди, и может случиться, что кто-нибудь смотрит в бинокль! Заслонив стол, он наскоро связал веревочками распавшиеся пачки и перенес их обратно в шкаф. Игра опасная, и малейшая неосторожность...

Нервничать, конечно, глупо. Не следовало брать, а теперь уже поздно. Главное — время такое, что каждый человек независимо от его общественного положения, а особенно человек заведомо левых убеждений может ожидать случайного ночного обыска. Хотя почему бы могли ко мне прийти? Конечно — вздор! Не следует распускать нервы.

Он лег, вспомнил о непрочитанной статье в сегодняшней газете, прочитал ее, еще пробежал листочки и документы дела, по которому завтра выступает в суде, докурил папиросу и потушил свет. Сон поколебался, помедлил и опустился на сделавшего красивый и смелый жест либерального адвоката. Тикали часы, им отвечало ровное дыхание.

Он проснулся внезапно, среди полной ночи, не то от стука, не то от странного нервного потрясения — и дрожащей рукой зажег свет. Свет ударил в лицо и ослепил его. И с небывалой ясностью Гладков почувствовал, что нужно немедленно что-то сделать, принять какие-то спешные и решительные меры, иначе он — погиб.

Он едва попал ногами в туфли, набросил халат и вышел в свой деловой кабинет. Прежде всего он задержал тяжелые

гардины на окнах, чтобы не осталось ни щелочки. Затем вернулся в спальню за ключом от шкапа, принес его, отпер шкаф — и увидел страшные пачки денег. Их вид его не испугал, а скорее отрезвил: что, в сущности, случилось? В чем дело?

Не случилось ничего, но всякий маломальский разумный человек поймет, что так оставить нельзя, что, во всяком случае, нужно приготовить ко всякой неожиданности. Дело идет о жизни и смерти, а идти на смерть без всякой попытки спастись, по меньшей мере, глупо.

«Я, конечно, нервничаю, но я, несомненно, прав: нужно быть ко всему готовым!»

Он чувствовал, что его ноги дрожат и мысль работает слишком поспешно и как бы скачками. Значит ли это, что он струсил?

«Допустим, что я струсил. И это не позорно, а понятно: допущена безумная ошибка! Явится полиция, сделает обыск — и оправданий не может быть! Соучастие — и полевой суд! А чтобы не трусить, лучше всего принять все меры благоразумия. Все равно — заснуть не удастся».

На цыпочках, чтобы не разбудить прислуги, он вышел в коридор со спичкой, не зажигая электричества, добрался до кухни, нашарил там охапку дров, приготовленных для русской печи, принес в кабинет и по неопытности долго возился, прежде чем растопить камин.

«В наказание за легкомыслие, посижу здесь. По крайней мере, будет тепло, и живой огонек!»

В комнате и без того было тепло, но Гладков чувствовал себя зябко и тревожно. Ну — нервы так нервы! Это все от напряженной работы. Огонь мог успокоить. Кроме того, он знал, для чего затопил камин; это и означает, принять настоящие меры предосторожности на крайний случай.

Когда дрова ярко запылали, он придвинул к камину кресло, протянул ноги к огню и попытался задремать. Но сон больше не приходил, а нервная дрожь не прекращалась. Чтобы уж совсем успокоиться, он вынул из шкапа пачки денег и положил их на полу перед камином. В самом крайнем случае — деньги будут под рукой.

Он постарался, с адвокатской обстоятельностью, обсудить все спокойно и разумно. Ошибка, конечно, допущена: нельзя было впутываться в дело, само по себе безобразное и кровавое. Это уже не революция, а просто — уличный разбой. Одно — защищать на суде, другое — помогать личным участием в преступлении. Семь человек повешено! Завтра он заставит их взять обратно пачки денег; кажется, адрес юноши есть, во всяком случае, разыскать его можно. Отвезти деньги в банк и положить в сейф — невозможно; это было бы безумием!

Огонь камина бросал красный свет на пачки. Деньги добыты кровью; убиты конвойные, убиты часть нападавших, убиты полицейские чины и случайные прохожие. Семь человек повешено! И еще казнят нескольких. В Петербурге обыски, аресты, об-

лавы, засады на частных квартирах. Слава Богу — его квартира вне подозрений, хотя... все возможно, потому что полиция потеряла голову и делает глупости.

Дрова в камине допылали, лежала грудa горящих углей, и нужно было подбросить. Не то чтобы лень, а усталость мешала этому. Обогретый и немного успокоенный, он начал дремать.

И вот тут опять, с тою же внезапностью, среди сонных мыслей мелькнуло совершенно ясное и логическое соображение:

«Да можно ли в том сомневаться, что этого юношу проследили до самого дома! Пришел с полным портфелем и набитыми карманами, а вышел с пустым! Если его теперь арестовали, а это почти наверное, и если он даже не сказал ни слова, — нет ни малейшего труда открыть, кому он передал деньги!»

И едва эта мысль оформилась и выплыла в своей бесспорности, — раздался стук. Почти несомненно стучали во входную дверь, хотя передняя была за несколько комнат. Почему не звонят? Потому что звонок проведен в комнату прислуги, его не слышно!

Все эти соображения мелькнули огненной линией, как летящие искры камина, и рассуждать теперь было уже поздно. Первую пачку он бросил неразвязанной, но спохватился вовремя, выхватил ее из огня, распутал дрожащими руками и снова рассыпал по углям. Настойчивый стук повторился — Бог его знает где.

Камин снова ярко запылал. Выгибались, чернели и золотились прочные «петры»; иные, прежде чем обуглиться, свивались в трубочку, у других был виден насквозь весь рисунок, даже буквы серии и номер. Он швырял деньги неловкими руками и, не дав разгореться огню, бил каминными щипцами по страшным и уличающим бумажкам.

Одна пачка не распалась, и огонь словно перелистывал бумажки, словно нарочно их пересчитывал. Только бы успеть! Все еще стучат, значит, прислуга не вышла отпереть. Нельзя терять ни минуты!

Лихорадочно он продолжал работу. Жар камина обжигал лицо и кудрявил волосы на его руках. Стук давно прекратился, и он не заметил, что прошло уже не меньше четверти часа. Хуже всего было то, что пепел глушил огонь, а среди потухших углей могли завалиться несгоревшие куски бумажек. Русские кредитки печатаются в экспедиции заготовления государственных бумаг! Бумага прочная, она горит нелегко, а краска только обугливается, но остается на пепле. Наши деньги считаются лучшими! Тут любой сыщик догадается по кусочку пепла... Тяжело дыша, совсем обессилев, он тыкал щипцами и, наклонившись, старался раздуть пламя. Несколько бумажек еще в самом начале унесла в трубу каминная тяга — почти целыми. Черт с ними, только бы эти сгорели без остатка!

Он опомнился только тогда, когда все обратилось в серую кучу бумажного пепла, заглушившую угли, и в комнате запахло холодным дымом. Тогда он поднялся, схватился за голову: не

сошел ли он с ума? Кругом было тихо, и возможно, что стук был случайностью, где-нибудь по соседству.

Но нужно было делать что-то дальше. Присев на корточки, он стал спешно выгребать пепел из камина в полу теплого халата. Натыкаясь на горячее, он отдергивал руку — и опять совал ее в камин. Набрав дымящуюся кучу золы, он понес ее через спальню в уборную, неосторожно просыпая на пол. Во всяком случае, если даже сейчас не явятся, чтобы не заметила прислуга! В два приема перенес в поле халата почти весь пепел без остатка и с ним много мелких углей, от которых халат дымился. Спускаясь в уборной воду, прислонился к стене, чувствуя, что силы исчерпаны. Все-таки догадался и смог еще раз пройти в кухню, взять там половую щетку и неуклюже подмести рассыпанный пепел от камина до уборной. Может быть, и плохо подмел, но только бы не осталось явной улики. Мог жець старые дела — это его полное право. Успокоившись, можно будет еще раз подмести, уже начисто!

Когда все было окончено, он зажег в кабинете люстру и осмотрелся. Над камином было большое зеркало, а в зеркале совершенно непохожий на него, дикий, всклокоченный, перемазанный сажей и в прогоревшем халате — известный политический защитник Александр Николаевич Гладков. И не он — и все-таки он. Было бы приятнее, если бы все это было сном.

Машинально пригладив грязными руками волосы, Гладков опустил голову и закрыл глаза. Когда открыл снова — увидел на полу, рядом с брошенными каминными щипцами, затрепанную желтую бумажку, тот самый рубль, который незаконно затесался в славную и богатую компанию «петров» и «катенок». Те погибли, а он случайно выскользнул и уцелел.

Прижавшись к щипцам, желтый рубль не то чтобы с насмешкой, но с некоторой укоризной посмотрел на крайнюю растерянность лица и непростительный беспорядок одежды защитника по политическим делам, не раз оказывавшего существенную и важную помощь деятелям русской революции.

НИЩИЙ

Темнеть стало рано. Обычно Олень старался как можно меньше выходить до темноты из своих временных пристанищ; но иногда приходилось.

Пришлось и сегодня. В доме, где он ночевал, утром предупредили его, что дворник обходил жильцов и спрашивал, не ночует ли кто посторонний, в доме не прописанный. Значит — нужно уходить, полиция кого-то разыскивает.

Поблагодарив хозяев за ночлег, Олень вышел, нахлобучив старую и заношенную меховую шапку, уткнулся подбородком в воротник полушубка, осторожно осмотрелся и зашагал своим большим шагом.

Путь его лежал в центр столицы. Было два важных дела:

узнать новости по Наташиному делу и переодеться в хорошую шубу, чтобы часу в четвертом пойти на свидание с двумя из оставшихся товарищей и обсудить подробнее дальнейшую судьбу боевой группы; возможно все-таки, что удастся сплотить силы и подготовить план для будущего.

Было беспокойно на душе Оленя. Все больше чувствовал, что силы подорваны и что нет в нем прежней остроты внимания, в его положении необходимой. Несколько раз, подойдя к витрине магазина, обертывался назад — но ни разу не заметил, чтобы за ним следили; а уж его глаз был достаточно наметан. Часть пути проехал трамваем, слез в нелюдном месте, прошел пешком несколько улиц и, прежде чем зайти в нужный дом, миновал его крыльцо и вернулся. Сам думал: кажется, я слишком осторожничаю, так можно и пересолить! В окне был условный знак: детская игрушка на подоконнике, плюшевый медвежонок, видный и через двойные зимние рамы. Значит — все благополучно.

Зашел, позвонил, сжимая в кармане рукоятку револьвера. Ему отпер товарищ, давно его поджидавший.

Новостей о Наташе не оказалось — обещали только к вечеру. Все, что до сих пор было известно, не оставляло много утешенья; по-видимому, нет сомнений, что ее будут судить за участие в деле взрыва. Во всяком случае, она опознана, да вряд ли и сама скрывала свое имя. Следствие может затянуться, так как к тому же делу привлечены еще несколько товарищей, имевших к нему лишь самое отдаленное отношение. Здесь, в этой квартире, Оленю лучше не бывать. Хотя явного наблюдения нет, но какая-то опасность просто чувствуется в воздухе, как это бывает часто и так же часто оправдывается.

Опять с предосторожностями вышел Олень, теперь уже одетый большим баринном, в хорошей шубе и глубоких ботах. Отмахнувшись от зазываний извозчиков, пошел пешком с Петербургской стороны по направлению к Троицкому мосту. После ночи, проведенной почти без сна — и уже не первой такой ночи, — ему было нужно движение. День был морозный, и под ногами поскрипывал недавний, еще не убранный снег. Близ моста его охватил резкий ветер, и Оленю, закутанному в меховую шубу, это было только приятно. Отросшие за месяц усы заиндевели, иней связывал ресницы и щекотал глаза. Олень решил не брать извозчика и дойти пешком до Моховой. В этой шубе трудно его узнать, да и маловероятна случайная встреча.

Миновав мост, он почувствовал внезапное беспокойство, словно бы его кто-то догоняет или поджидает впереди. Он знал это ощущение человека, привыкшего отовсюду ждать опасности. Это — нервы. Стоит им поддаться — и погибнешь. Тогда в каждой стоящей на пути человеческой фигуре будет мерещиться полицейский филер, в каждом догоняющем извозчике — погоня. Так можно наделать глупостей и самому выдать себя неосторожным поступком.

На углу Моховой и Сергиевской, неподалеку от дома, куда лежал его путь, Олень опять почувствовал приступ беспокой-

ства. На перекрестке, спиной сюда, стоял городской, разговаривая со штатским. Тут же, около поджидавших санок, прыгал с ноги на ногу и хлопал рукавицами замерзший лихач. Впереди, у стены дома, протягивал к прохожему руку дрожащий нищий с подвязанной щекой. Все было обычно и не могло внушать опасений. Ничего не было подозрительного и в том, что к стоявшему лихачу подкатил другой, и из санок вышли два человека: один расплачивался, другой его ждал. Когда Олень проходил мимо, нищий протянул к нему руку:

— Милостивый барин...

Олень миновал нищего, но остановился, нашарил в кармане монету, вернулся и подошел к старику. Одновременно к нищему быстро приблизились двое подъехавших. Мельком взглянув на них, Олень внезапно понял, что сейчас что-то произойдет и что эти люди здесь не случайно. Увидел, что человек, разговаривавший с городовым, также бежит сюда. Быстро переложив монету в левую руку, Олень протянул ее нищему, а правую руку сунул в карман, где был револьвер.

Одно мгновение должно было решить его судьбу. На лицах подбежавших какая-то нерешительность — только бы не выдать себя волнением! Вот если этот подымет руки...

Вдруг Олень покачнулся: нищий, крепко схватив его за руку, дернул к себе. Еще чья-то рука впиалась в правый рукав его шубы. Одновременно двое подбежавших охватили его руками и старались отнять револьвер.

Пытаясь вырваться, Олень нажал курок. Он еще видел, как от стены, в которую ударила пуля, отвалился кусок штукатурки. Затем сильный удар по виску лишил его на минуту сознания. Когда он очнулся, его движения были связаны: револьвера не было, и напрягшиеся мышцы напрасно рвали за спиной цепь железных наручников. Он слышал взволнованный говор людей, его арестовавших, видел их раскрасневшиеся лица и уже не пытался сопротивляться. В его голове, нывшей от удара, внезапно родилась и во всей ясности стояла мысль: «Вот это и есть конец!»

Когда Оленя усаживали в санки лихача, он болезненно улыбался и искал глазами шапку, без которой голове было холодно. До него будто издали доносились слова одного из сыщиков, который возбужденно и восторженно тараторил:

— Я, брат, тоже сомневался! Думаю: он ли, не он ли? А как он повернулся да дернул щекой — ну, братец мой! Тут я и навалился!

— Ты навалился! Оба сразу навалились!

— Я и говорю — оба! А Мышкин по виску! А то бы и не сладить!

На узких санках кое-как примостились двое по обе стороны Оленя и еще один на козлах с кучером. Затем резкий морозный ветер от быстрого движения защищал нос и щеки Оленя. Шуба на груди была распахнута, хотелось потереть замерзшие щеки, но руки были связаны за спиной. Какое счастливое и радостное

лицо у агента, сидящего на козлах лицом сюда! И какое все-таки противное! Все это, однако, пустяки, а верно и несомненно одно: вот именно это и есть — конец!

И Олень, локтями оттолкнув державших его сыщиков, вдохнул полной грудью морозный воздух.

СОВЕЩАНИЕ

В редакции толстого журнала происходило совещание по поводу ближайшей статьи «внутреннего обозревателя». Статья должна быть так написана, чтобы факты, в ней рассказанные, были заимствованы из ежедневной прессы со ссылками на номера газет, лучше всего на «Правительственный вестник», на «Новое время» и на другие реакционные органы. А как эти факты осторожно осветить — об этом и совещались ближайшие сотрудники журнала.

Их было человек восемь. К ним не принадлежал, по малости своего журнального участия, отец Яков, сидевший скромно в сторонке за маленьким столом, заваленным бумажками и газетными вырезками.

Дела отца Якова шли плохо. Опять понизился интерес к этнографии, к быту раскольников, к архитектуре поволжских сельских церковок и вятскому кустарному музею. Опять откладывались любовно составленные заметочки отца Якова, так как газеты завалены обязательным политическим материалом. В таких случаях отец Яков не брезговал никакой выпавшей работой: сообщал о ремонте мостов, о перелете птиц, о пожаре в отдаленном монастыре. Случалась в редакциях больших изданий статистическая работишка — и ее не отвергал отец Яков.

Так и сейчас ему дали целый ворох вырезок и выписок для подсчета и сводки. И вот на большом разграфленном листе бумаги он писал столбики цифр, подытоживал и отмечал особо: «За год, с 17 октября 1905 года: убито по политическим мотивам 7331, ранено 9660, а всего... В том числе обывателей — 13 380, представителей власти — 3611...»

17 октября — дата начала российских свобод, день манифеста. С него как бы ведется исчисление времени новой — не то конституционной, не то все еще самодержавной России. Отцу Якову поручено собрать и подсчитать сведения столичных и провинциальных газет о политических убийствах, о казнях, а также о закрытии цензурным ведомством и администрацией газет и журналов. А раз поручено — он добросовестно выполняет за небольшое вознаграждение.

«Внутренний обозреватель», волнуясь и захлебываясь, доказывал:

— Вы понимаете, я не могу пройти мимо фактов. А раз мы приведем статистику, мы должны ясно выразить и наше отношение к репрессиям правительства!

— И к террору.

— Ну да, и к террору. Мы готовы осудить политические убийства, в особенности в той безумной форме...

— Не в той форме, а вообще!

— Да, и вообще.

— Тогда, значит, мы отрицаем право народа на сопротивление? Право революции?

— Да нет же! Я говорю: мы строго осудим выступления террористов, особенно вооруженный грабеж, хотя бы и казенных, денег, но мы обсудим и правительственные репрессии, военные и полевые суды...

Редактор перебил:

— Ну нет, знаете, об этом сейчас писать невозможно. Заикнетесь о полевых судах — и нас немедленно прихлопнут.

— Но должны же мы отозваться?

— Отозваться — да, конечно, осторожно, и очень осторожно, но прямое осуждение...

— Не осуждение, а несогласие!

— Вашего согласия, батенька, никто не спрашивает.

Прислушиваясь одним ухом, отец Яков продолжал свою работу. Теперь шла сводка казенных, «из коих повешено 215, расстреляно судами военными обыкновенными — 340, судами военно-полевыми за полтора месяца их существования — 221, убито карательными отрядами...».

Совещание пришло, в общем, к выводу, что статья необходима и что обозреватель должен ясно высказать и подчеркнуть принципиальное осуждение террористических актов при наличии народного представительства в России...

— Прибавьте: хотя бы и несовершенного типа.

— Да, конечно. Должна быть все-таки оговорка о безответственности власти.

Редактор опять вмешался:

— Ни-ни! О безответственности ни слова! Нас на этот счет предупреждали.

— Главное — подойти к предмету издали. В начале статьи что-нибудь о росте кооперации и рабочих организациях, а уж потом...

— Да, да, это я знаю, уж будьте покойны! Затем, осуждая акты революционного насилия, то есть принципиально их осуждая, мы в то же время считаем ненормальным тот порядок...

— Лучше: мы считаем, что именно неправомерность действий власти и вызывает...

— Не было бы слишком резко!

— Уж будьте покойны! Это я сумею сказать будет невозможно.

Опять редактор:

— Ну, придраться они ко всему сумеют. А вы, главное, ссылайтесь на статьи московских газет, там цензура полегче. И непременно вставьте, что это, мол, не наше суждение, а вот точно, в кавычках... Цитат побольше, а мы как бы в стороне.

Читатель сам разберется... И закончите чем-нибудь опять незначительным.

— Я думаю — вопросом о распадении крестьянской общины и о сравнительной легкости перехода к хуторскому хозяйству.

— Но, конечно, в порядке естественного экономического развития, а не в принудительном, а то примут за одобрение.

— Это я скажу.

— Но только — ради Бога, осторожнее! Я, господа, понимаю, что статья необходима, но на рожон лезть не следует. Главное — резкое осуждение красного террора, чтобы в этом отношении придирки не было. Да, господа, между прочим, есть слух, что убит и второй усмиритель, из этих, из карательных! Все-таки — молодцы эсеры!

— Кажется, не эсеры убили.

— Ну, все равно. Все-таки действуют, несмотря ни на какие полевые суды.

Совещание закончилось, и отец Яков передал обозревателю готовую страничку цифр.

— Вот спасибо, отец Яков! Это все?

— Еще подсчитаю репрессии печати.

— Ну, это не для меня, это отдельно печатается. А цифры ужасные, отец Яков!

— Печально, печально.

— Вы как на это дело смотрите, отец Яков?

— Я — что, мое дело подсчитывать. Религия же, все конечно, осуждает всякое смертоубийство.

— А если злодея убивают?

— Суждение относительное, у Бога же и злодей — человек.

— Вы в Бога-то верите, отец Яков?

— Будучи Его служителем, не веровать неуместно.

— А все-таки, по чистой совести?

— Без веры не проживешь, знать же нам дано не многое. «Хитрый поп», — подумал обозреватель и прибавил со вздохом:

— В тяжелое время мы живем, отец Яков, в кровавое время!

— Время, точно, не легкое. А и все времена нележки. И кровь всегда лилась, и люди всегда были недовольны. Уж так с испокон веков и до дней наших. Время наше, конечно, сурьезное, однако и прелюбопытное. Прошли не малый путь, а к чему идем — того не знаем.

— Ну, пойду писать, уж очень статья ответственная.

— Статеечка вам предстоит трудная. А читатель ждет, поджидает читатель искреннего слова.

Обозреватель покосился на собеседника и опять подумал: то ли хитер поп, а может быть, и глуповат.

Черновик статистической сводки остался у отца Якова: можно будет приложить к летописи достопамятных событий текущего года. Время воистину тяжкое и тревожное! Ныне и на улице

выйти не всегда безопасно: попадешь на шальную стрельбу, как было с прохожими на Каменноостровской улице! И в провинции малым лучше, а уж про деревню и говорить нечего. Вот она, цифирька: «Аграрных волнений одна тысяча шестьсот двадцать девять!» И в каждом таком месте либо драли, либо стреляли православного гражданина во имя справедливости и порядка!

И однако, тянет отца Якова прокатиться подалье от столицы, заглянуть в глушь — как там живут люди? Побывать в Пошехонье, в каком-нибудь Усть-Сысольске, а то заглянуть на Соловки по зимнему времени, — там еще никогда не бывал отец Яков. Как сейчас в сих медвежьих углах — вот что лю-бо-пыт-но! Тоже мечтатели или живут все по-прежнему, добро не приема и злу не противясь?

Укладывая бумажки в свой пухлый портфель, отец Яков подумал и о совещании, на котором в сторонке присутствовал. Подумал и скромно улыбнулся в ус:

«Принципиально, говорит, отрицаем; однако, говорит, полагаем... Статьи писать — дело нелегкое, дело ответственное. И чтобы все сказать — и придаться бы не к чему. Все бы поняли, а мне бы по шею не получилось. Это не то что про ассирийского серебра блюда или про курганы Пермского края! Требуется и благорассудочность, и великое искусство пера!»

Не то чтобы отец Яков завидовал такому искусству, а все же чувствовал разницу между людьми высокой политики и им, простым наблюдателем жизни, бесхитростным свидетелем истории.

«Принципиально, говорит, весьма резко отрицаем, а нельзя, говорит, не признаться... Лю-бо-пыт-но!»

СМЕРТЬ ОЛЕНЯ

Молодой помощник военного прокурора получил приказание выступить по делу вчера арестованного участника многих террористических актов. Заседание военно-полевого суда состоится в четыре часа дня; на изучение дела и подготовку обвинения остается пять часов.

Молодой офицер уже дважды выступал по подобным делам, оба раза успешно, но личность обвиняемых не представляла интереса: один был рабочим, другой евреем. Помощник прокурора спешно подготовил обвинительные речи, но перед самым заседанием председатель суда предупредил его, что дело совершенно ясно и что никаких «прений сторон» не может быть. И действительно, оба раза суд продолжался не более полутора часов. В ту же ночь обоих осужденных повесили.

И на этот раз дело не менее ясно, но личность преступника значительнее; он — главный организатор весьма шумевших злодеяний: взрыва министерского особняка и вооруженного ограбления. Если военный прокурор не выступает по этим делам

лично, а поручил обвинение ему, то это объясняется, очевидно, особым к нему расположением. Возможно, что его назначение явилось результатом влиятельного ходатайства о нем родственницы прокурора, которая, значит, не забыла своего обещания. Теперь его имя, как обвинителя по весьма важному делу, будет названо в военных кругах.

Содержание дела не очень интересовало молодого офицера: все подробности дела чрезвычайно просты, а преступники из числа так называемых революционеров облегчают роль обвинителя дерзким, но похвальным сознанием. Департамент полиции заготавливает весьма сжатый и вполне разработанный доклад, свидетелей бывает мало, и они прекрасно подготовлены предшествовавшими полицейскими допросами, защита чисто формальна, и исход дела тем самым предрешен. Роль прокурора не в том, чтобы подбирать доказательства виновности, а лишь в том, чтобы дать образец простоты, лаконичности и в то же время уничтожающей силы настоящего, вполне делового военного красноречия. Хотя на этот раз председатель может оказаться щедрее и согласиться на обстоятельную речь, — но именно поэтому следует удержаться от всякого увлечения и проявить чеканную скупость слова.

Изучение дела действительно не заняло много времени, и помощник военного прокурора, сделав нужные выписки и пометки, имел возможность вернуться домой, чтобы закусить и обдумать речь.

Нужно ли повторять в ней данные полицейского дознания и судебного следствия? Конечно — не нужно! Должны ли быть в ней эффекты вроде ссылки на количество жертв преступления, на его исключительную дерзость и на социальную опасность преступника? Да, но лишь в форме краткой и отчетливой характеристики злодея. Что еще? Больше решительно ничего! Спокойный и четкий перечень статей и параграфов закона и — без малейшего повышения голоса! — требование смертной казни. Десять минут, максимум четверть часа! Полная застегнутость чувств, никакого волнения, решительный контраст возможной чувствительности этих строевых полковников, случайно попавших в судьи. Но под простотой и суровостью филигранная чеканка слова!

Свои первые обвинительные речи помощник прокурора предварительно писал. Но этот раз он решил ограничиться записью схемы предстоящего краткого слова:

1. Несомненность деяния и причастности к нему обвиняемого.
2. Исключительность данных преступлений.
3. Настойчивые требования момента защиты государственного порядка.
4. На основании изложенных соображений, а также имея в виду статьи (тут цифры и пункты)...
5. Требование применения («долг военных судей» и пр.).

С бумажкой в руках помощник военного прокурора произнес свою предстоящую речь перед большим зеркалом, в кото-

ром поблескивали его здоровые белые зубы. Были запинки, но при повторном опыте исчезли. Даже статьи и параграфы он произнес наизусть. Последнюю фразу речи повторил несколько раз, причем так, чтобы ни один мускул лица не дрогнул, а брови, после точки, слегка насупились. Вышло эффектно: просто и хорошо. «К смертной казни через повешение». Точка. Брови (но без всякой театральности!). Обвинитель, не стигаясь в талии, спокойно опускается на прокурорское кресло.

Сегодняшний день можно считать началом доброй карьеры!

Спиной к двери камеры, с прикладом винтовки у ноги, часовой смотрел через пустой пролет тюремного корпуса на противоположный балкон, где так же спиной к двери камеры стоял его приятель по взводу и земляк. Иногда они оба бессмысленно перемигивались и, удерживая смех, строили друг другу рожи, предварительно оглядевшись, не видит ли взводный или тюремный сторож. Тюрьма была на военном положении.

Олень лежал на койке, закрыв глаза, но не спал. С момента, когда он понял, что «вот это и есть — конец!», на него снизошел странный покой. Как будто он на койке больничной, освобожденный недугом от обязанностей думать, рассчитывать, работать, суетиться; и будет еще проще и спокойнее. Даже досады не чувствовал, что ведь вот — попался, и так просто и глупо: все равно это должно было случиться. Когда захлопнулась и защелкнулась дверь тюремной одиночки, Олень перестал дергать щекой и все время проводил в полудремоте. День спутался с ночью, и новый рассвет подошел незаметно. Через дверную форточку подали в камеру какую-то похлебку; он принял, попробовал есть, но не было ни вкуса, ни желанья. Поел только хлеба.

Ночью его дважды водили в контору тюрьмы. Допроса, собственно, не было, потому что он отказался отвечать. В первый раз ему пригрозили веревкой; но он только устало улыбнулся, и следовательно понял, что смешно угрожать человеку, который знает, что ничто не может его спасти. Во второй раз его показали целому ряду людей, прошедших мимо него теньями; яснее мелькнуло только испуганное лицо горничной Маши, остальных он не знал или не помнил.

Лежа на койке, Олень не думал ни о близкой смерти, ни о том, что не завершено дело, которому он отдал жизнь. Да и может ли оно завершиться? Не есть ли жизнь — вечная борьба двух начал, борьба поколений и веков? И конца этой борьбе не может быть. Не думал он и о том, как держать себя на суде. Раньше, еще на свободе, он думал об этом часто. Боец революции должен держаться стойко, красиво и дерзко: бросить в лицо судьям свое презрение и свою ненависть к строю, которому они служат! А в момент расчета с жизнью — крикнуть свое проклятие миру и приветствие заре будущего! Так казалось. Теперь Олень отверг это без раздумий: кого поражать словом? Зачем этот театральный жест в последнюю минуту? Но и если

и было бы нужно — он слишком устал и слишком со всем и со всеми поквитался. Но и это все было не строем ясных мыслей, а лишь слабыми ощущениями, проходившими мимо, мелькнувшими смутно и серо.

Его вызвали в пятом часу дня, когда уже стемнело. Опять надели наручники, а вели его четверо солдат с молодыми и тупыми лицами. Когда ввели в небольшую комнату, где заседал военно-полевой суд, Олень на минуту очнулся от апатии и со вниманием оглядел людей, которые вот сейчас приговорят его к смерти. Но секретарь таким невнятным голосом, путая ударения и неверно произнося фамилии, читал обвинительный акт, что временное возбуждение Оленя упало. Сам того не сознавая, он пристально уставился на одного из судей, седусого полковника, и не сводил с него глаз до конца заседания. На вопросы председателя он отвечал негромко и односложно и только при упоминании чужих фамилий прислушивался внимательнее, но сейчас же снова терял нить. В общем, все его дело было изложено довольно правильно, хотя несколько усложнено наивными полицейскими догадками; в действительности было гораздо проще. Оленя только удивило, как мало, в сущности, они знают и как много вынуждены присочинять. Затем он совсем перестал слушать и не оживился даже при допросе немногих свидетелей.

Как ни старательно молодой помощник прокурора подготовил свою краткую речь, но все же не мог удержаться от соблазна вставить в нее несколько эффектных слов. Председатель посмотрел на него с удивлением, а седусый полковник даже поморщился. Но закончил обвинитель так, как решил заранее: поставил точку, опустил брови и сел, не согнувшись в талии. Вышло, в общем, хорошо.

Затем вынесли приговор, вполне удовлетворивший обвинение. Звякнули шпоры, приговоренного увели, и помощник прокурора, с тем же изученным солидным спокойствием, собрав бумаги, встал и подошел к секретарю:

— Куда вы отсюда? Если домой — я вас подвезу.

Но секретарь должен был немного задержаться, и молодой обвинитель уехал один. Было темно, и никто из встречных не мог оценить спокойную позу и чуточку надменную, но уверенную и приятную улыбку офицера, ехавшего домой после этого несложного, но все же заметного процесса, о котором в военной среде будут говорить. В газетах отчета, конечно, не будет, так как оглашать состав суда не разрешается.

Приговоры военно-полевого суда исполнялись немедленно; но все-таки пришлось выждать ночи, и Оленя увели обратно в камеру.

Когда опять за ним пришли, он крепко спал. На этот раз наручников не надели. На тюремном дворе все было готово. Всего одна лампочка, висевшая у тюремной стены, освещала виселицу; в полумраке хлопотало несколько человеческих фи-

гур, подаль стояли солдаты с винтовками и маленький, щуплый, озябший дежурный офицер.

Было очень холодно. Олень вывели во двор в штанах и рубашке без воротника. Ему указали место, где нужно стать; он стал прямо, по-военному развернув носки. Оказалось, что забыли мешок, и за ним послали. Все это делалось хлопотливо, но как-то по-семейному; двое придерживали его за локти, но слабо, будто опасаясь причинить ему боль, и в лицо ему не смотрели. Мешок долго не приносили, и Олень сказал:

— Нельзя ли поскорее, без этого, а то очень уж холодно?

Люди заспешили и зашептались, а голос за спиной Оленя произнес: «Ладно, чего ж там!» — и перед лицом Оленя качнулась петля. Увидав ее, он вздрогнул, дернул щекой, затем без порывистости, но очень уверенно освободил правую руку и отвел ею руку палача. Лишь на секунду в голове его мелькнули слова, которые он должен, кажется, крикнуть им всем перед смертью, — мелькнули и потухли в сознании как лишние. Повернувшись к стоявшему за его спиной, он сказал вежливо и строго:

— Не нужно! Дайте, я сам!

Твердая веревка холодом ожгла его шею; но он не знал, нужно ли и как подтянуть узел, и с улыбкой смущения спросил:

— Как это? Вот так?

И тогда внезапно взметнулось черное небо — и тусклая лампочка вспыхнула ослепительным солнцем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОБЕГ

«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

С крыльца, немного сутулясь, но за перила не держась, спустился крупный, ширококостный старик с большой бородой и нависшими седыми бровями. По-мужицки — прежде всего оглядел небо, слишком хмурое для летнего дня, по-хозяйски — палкой отбросил с дорожки кость, занесенную собакой, по-барски — раскрыл книжечку на заложенной странице и, читая, побрел в глубь сада на любимую скамейку.

Был ранний час, когда людских голосов еще не слышно, а птицы и пичуги орут как на базаре. Дойдя до скамейки, старик грузно на нее опустился — и сейчас же понял, что побыть одному не придется и что есть человек, вставший раньше его. Сам этот человек, может быть, не подойдет, но уж раз он мотается поблизости, то как не позвать его и с ним не поговорить?

Очень давно жизнь сложилась так, что быть одному удается

редко: приходится запирается в комнате и либо писать, либо делать вид, что пишешь; а как только вышел — становишься общим достоянием: жена, дети, секретарь, гости и разные проходящие люди, с которыми надобно разговаривать, то выслушивая, то поучая. Все, что они расскажут, до них рассказывали сотни; все, о чем спросят, известно заранее. Не ответить им нельзя, потому что они приходят за ответом издалека, иногда трепетно, иногда назойливо, то действительно из потребности, то из простого и очень обидного любопытства. Эти люди и беседы с ними — повинность Великого Учителя, каким прославили старика на весь мир.

Молодой человек, который слонялся неподалеку, будто бы стараясь не помешать и остаться незамеченным, а в действительности рассचितывая нечаянно попасться на глаза, — секретарь старика. Секретарь — это человек, который пишет и отсылает письма и должен заменять старику память. При нем всегда записная книжка, и в этой книжке он отмечает всякий вздор, никому не нужный и смешной: отмечает каждый шаг и каждое слово старика. Вот и сейчас, вероятно, пометил: «В среду такого-то числа великий писатель встал в шесть с половиной и проследовал в сад». Вечный ласковый, преданный и глупый надзор, сплошная прижизненная биография, неустанное напоминание о том, что вот ты, старик, скоро умрешь, и тогда мы личными воспоминаниями украсим твою память. И поделаться с этим ничего нельзя: как, не обидев, объяснишь, что такая любовь (если это любовь!) — насилие?

Заложив пальцем страницу, старик подозвал секретаря. И из первых слов, из ответа молодого человека, почему он в саду в такой ранний час, — понял, что тому надо в чем-то покаяться или что-то рассказать, а как приступить — не знает.

Сам навел на разговор — а у того уже готово в кармане.

— Это — человеческий документ, письмо, написанное одной девушкой в тюрьме перед казнью. Я знаю ее лично, с детства. Наша, рязанская.

— И убили ее?

— Ей казнь заменена вечной каторгой.

— Вы дайте, я после прочитаю.

— И особенно удивительно, что она принимала близкое участие в подготовке убийства и даже нескольких убийств, а сама — ведь я ее знаю хорошо, с детства! — сама хороший и очень чуткий, даже нежный человек. Мы ее очень любили, звали Натулей. Заботливая о других, к людям снисходительная, к себе очень строгая. Как это бывает — не знаю!

Старается побыстрее и побольше высказать. Старик слушает, смотрит ему в глаза и видит ясно, что вот человек — и скорбит о ее судьбе, и как-то особенно рад, что знал ее лично; и свою скорбь и радость свою должен непременно поведать, держать про себя не может. И ждет, чтобы старый писатель и учитель высказал свое слово, — как это случается, что человек и чуток, и нежен, и идет на убийство? Если выска-

зять слово, он, едва отойдя, запишет, чтобы именно через него дошло до потомства, потом, когда умрет старик, сейчас сидящий с ним на лавочке.

— А где же она сейчас?

— В Москве, в каторжной тюрьме.

— Такая молодая. Тяжело ей там?

— И вообще тяжело, и плохо их содержат. Она писала на волю, что иной раз так хочется есть, что даже тошно делается.

Старик сказал:

— Вот это — самое плохое. Но если в ней много внутренних сил — она выдержит испытание. Письмо я прочту. Вот я как раз сегодня, как встал, записал у себя в дневнике: «Когда ты встретишь жесткий камень и будешь его рубить, это будет неразумно; а если ты будешь об него точить, это будет разумно».

Потом прибавил:

— В доме-то встают. Вы бы шли пить чай, а я подойду.

Молодой секретарь ушел и, задержавшись у крыльца, записал в книжечку фразу, сказанную о камне великим учителем. Особенно важно то, что этой фразы еще никто не слышал, а когда будет опубликован дневник — смысл этой фразы, как будто и не особенно значительной, но сказанной Великим Учителем и уже тем самым замечательной, лучше всех растолкует он, слышавший ее из уст Учителя, с которым он имел сегодня, в среду, длинный разговор наедине в саду ранним утром, когда все еще спали. И молодой человек был очень счастлив.

Оставшись один, старик развернул тщательно переписанное письмо. Сначала пробежал глазами, потом прочитал все внимательно, иные места по два раза. Читал не как все, а видел тюремную камеру и в ней молоденькую девушку, не умную, не глупую, очень несчастную. Она пишет накануне ужасной смерти, а живучесть в ней такова, что она все старается сказать по красивее, выразить по-ученому, чтобы ее друзья дивовались ее поистине изумительному состоянию. Пишет искренне, всему верит, и пишет она правду, но правду здешнюю, житейскую, небольшую. Если бы не спасалась мыслью, что ее писанье прочитают другие, то должна бы кричать и биться головой об стол и о стены тюрьмы. А она не бьется и ищет в себе радость — и находит радость, может быть, и настоящую. Рада, что вот она может так чувствовать и так писать перед смертью и что об этом узнают и будут говорить.

Окончив читать, старик задумался. И подлинно — человеческий документ! Вот что делают люди и что делают с людьми! Правда спуталась с ложью, и сам человек, даже в тягчайший час жизни, не может разобраться, где его ложь и где его правда, и в которой его спасенье, и есть ли спасенье. Потом подумал: принесут с почты газету — и опять то же! Дня не проходит, чтобы не было казней. То убивают молодых людей,

вот как эта девушка, то стреляют и вешают по деревьям крестьян. Вчера писали, что на Стрельбицком поле в Херсоне повешены двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу помещика. И нашлись руки, тоже крестьянские, чтобы накинуть эти двадцать веревок на человеческие шеи! А люди читают и молчат. И не только молчат, а притерпелись, привыкли. Прочитавши эти строчки — легко переходят к другим печатным известиям. А ведь нужно бы голосом кричать на весь мир, потому что нельзя жить с таким сознанием!

Подумал — и вдруг со всей ясностью ощутил знакомое состояние, когда мысли, уже облеченные в готовые слова, бунтуют и требуют быть сказанными сейчас же, не откладывая, пока в них кипит сила и пока их сталь остра и жар не остыл. Если он не скажет — кто же скажет? Сказать могли бы, и осмелились бы, — но никто их голоса не услышит, и самых их пламенных строк нигде не напечатают. Только он, старик, и может и обязан крикнуть, и невозможно, чтобы его слово пропало напрасно!

Что бы ни сказать — он знал, что его не тронут, и такая неприкосновенность была ему тяжела. Вот если бы его посадили в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную и голодную! Тогда и сказанное слово прозвучало бы громче и сильнее! Но за его писанья пострадают другие, кто будет печатать и кто будет читать, — а его оставят жить спокойно. Это тоже род пытки, утонченной и жестокой. И через это ему приходилось часто молчать, чтобы не стать виновником чужих несчастий.

И тогда к уже готовым мыслям и написанным в уме горячим, справедливым и убедительным словам большими и отчетливыми буквами прибавился заголовок:

«Не могу молчать!»

Больше не слыша в саду человеческих голосов, опять слетелись птицы и пичуги и опять открыли базар. Солнце пробуравило облака, распахнуло листву — и на садовую дорожку упали светлые пятна.

Старый писатель заложил книгу страницами письма, оперся на палку и встал с лавочки.

БАНОЧКА ВАРЕНЬЯ

Будучи в Рязани, отец Яков счел и должным и любопытным навестить почтенного и уважаемого местного доктора Сергея Павловича Кальмова, о несчастьи которого только тут и узнал.

А несчастье большое: дочка Сергея Павловича еще три года тому назад попала в делах политических, так что даже была приговорена к смерти, долго прождала в тюрьме казни, а потом была помилована — если можно назвать милостью бессрочную каторгу.

Таких семейных несчастий было повсюду много, и о них

устали думать и говорить. Привыкли к тюрьмам и к казням как к явлению бытовому и естественному, имен не помнили, героизм окончательно вышел из моды.

За последние два года блуждания по России отец Яков всюду находил разительные против прежнего перемены: то ли огрубели человеческие сердца, то ли дуют иные ветры! Нет прежней доверчивости и простоты, люди стараются сами устроиться получше, о ближних не помышляя. Впрочем, бывало так и раньше, и удивительного в том ничего нет. Однако раньше человек от человека рознился, — ныне же все как бы стрижены под одну гребенку! И не то чтобы по слабости или в духовном борении, а уверенно, открыто и как бы ликуя, что вот — от всяких благоглупостей и идей завиральных освободился и живу в свое удовольствие, другим же предоставляю ломать дурака.

Сергей Павлович, знакомый неблизкий, но давний, был уже довольно стар, а теперь совсем ослабел. Раньше считался не то что опасным либералом, а все же человеком передовым, за что и был избран от Рязани в Государственный совет. Сейчас был вне политики, мало занимался и своей врачебной практикой, больше жил в имении. Отца Якова он встретил очень приветливо, как человека, с которым можно обо всем поговорить, который умеет слушать и не любит болтать.

— Года три не бывали в наших краях, батюшка!

— Для точности скажу — четыре года, как вашим городком не любовался.

— Все катаетесь, отец Яков? Все смотрите?

— Езжу по малым делам и, подлинно, смотрю. Есть ныне что поглядеть в российских городах и весях. А и в столицы заглядывал, и даже живал неподолгу. Живут люди и там.

— Про мое горе слышали, отец Яков?

— Ранее, по совести, не знал, только здесь и услышал. Большое вам, Сергей Павлович, ниспослано испытание. Ну, Бог поможет, образуется.

— Как же это образуется? Ведь дочка в бессрочной каторге, и то из милости.

— Слышал, слышал и искренно соболезную.

— А за что это мне, батюшка? Сам я революцию не проповедовал, детей старался воспитывать по мере средств, в свободе их не стеснял, да вот и дождался на свою седую голову. За что осуждена — знаете ли?

— Слышал, что по политике.

— А по какой политике? По участию в убийствах! Питерский взрыв помните, покушение на министра?

— Да ведь как не помнить! Перед самым событием денька за два самолично был там на приеме, удостоился.

— Вот она, значит, и вас могла взорвать. И меня могла убить, они хотели весь Государственный совет на воздух.

Отец Яков припомнил, как видел в совете молодую чету и как дама была похожа на докторову дочку. Но промолчал.

— За что же мне это, отец Яков? Как у вас там на этот счет в Священных писаниях?

— Испытание.

— Покорно благодарю. А за что? Я, как узнал, верить не хотел. Вы моей Натули не знали. Воспитана была в ласке и в цветущем здоровье. Девочка была нежная и добрая — мухи не обижала. Маленькой плакала трое суток, когда задавили ее щечка. Гимназисткой была — перестала есть мясо: не убий! Был у них такой кружок, вроде толстовского. Как же это так могло случиться? А я вам скажу, отец Яков: это ее увлекли, а ей самой всякое насилие чуждо.

— Возможно, возможно.

— Не возможно, а наверно так. Нужно тех наказывать, кто ее вовлек в преступные дела!

— Без наказания не останутся.

— Я, батюшка, писал и все объяснял. И на высочайшее имя подал. А она мне знаете что сказала, когда меня пустили к ней в тюрьму на свидание? «Мне,— говорит,— очень тяжело, что я тебе доставила столько страданий; но,— говорит,— я ни в чем не раскаиваюсь и прошу тебя не позорить никакими прошениями мою революционную честь!» Поняли? Это я опозорил ее честь!

— По молодости лет, Сергей Павлович. Молодой задор говорит.

Сергей Павлович как-то сразу переменяет тон:

— Знаю, отец Яков. Сам был молод, знаю. И сказать по чистой совести — горжусь! И скорблю, и горжусь, что моя дочь — другим не чета. Сама за себя ответила и ничьей милости не хочет.

Отец Яков не знал, нужно ли и тут поддакнуть или лучше помолчать. Ограничился словами:

— Ну, Бог даст — пройдет тяжелая полоса, и в политике полегчает. Может, будет амнистия или нечто подобное.

— Нет, батюшка, тут не амнистия, а нужно хорошенькую революцию!

Отец Яков кашлянул и не ответил. Трудненько беседовать с такими людьми, хотя и весьма почтенными. Разумеется — скорбь говорит в человеке! Чтобы продлить беседу, поинтересовался:

— А где же содержат теперь молодую особу?

— Какую особу?

— Разумею — дочку вашу.

— А, Натую! Она сидит в Москве, в женской каторжной тюрьме. Сейчас там, а верно, потом увезут куда-нибудь в Сибирь, в настоящую каторгу, неизвестно.

В памяти порывшись, отец Яков сказал:

— Той тюрьмы начальницу знавал. Особа почтенная, из знатных. Ранее имела девичий приют, каковой и осматривал, так что довелось побеседовать. Было тому назад лет шесть, а ныне стала начальницей.

— Везде у вас знакомства, отец Яков. А нельзя ли вот по вашему знакомству передать Натале посылку, баночку вишне-

вого варенья? Она очень любила вишневое, без косточек. Пишем мы с ней не пишем, да и не о чем, а варенье послал бы. Вы откуда в Москву?

— Обязательно. Ныне четверг, а ко вторнику в Москве. Могу и вареньице передать, если разрешают.

— Это разрешают свободно. Просто — сдайте в контору, тут и начальница не нужна. А почтой послать — еще пропадет.

— Могу, могу.

Нельзя в такой малости отказать огорченному отцу, хотя и не любил отец Яков соприкасаться с опасными учреждениями. Но ведь что ж: отец посылает дочери сладкое через духовную особу; ничего подозрительного.

Калымов предложил отцу Якову заночевать. Устроил его хорошо, в бывшей комнате Наташи.

— Вот здесь жила. Вон и книжки ее остались в шкапу, детские и разные учебники. Храню. А вы, батюшка, на сон грядущий в постели читаете?

— Сей привычки не имел от рождения.

— Ну, а я все-таки дам вам прочитать письмо Натуги. Писано ее приятелям, а мне дали копию. Писала, когда ждала казни. Вот вы людей изучаете, вам это должно быть интересным. Сам Лев Толстой читал, ему показывали. Прочитавши, будто бы прослезился. Вот и я, когда читал, ревел голосом, а понять ничего не мог. Тут бы с ума сойти надо — а она пишет философию. Такая у меня дочь, отец Яков! Вы непременно прочитайте.

— Прочитаю, прочитаю. И за доверие покорно благодарю.

— Тут, в ее комнате, и прочтете. А и плохо же мне, отец Яков! Стар становлюсь, а утешенья нет. Ну да что же грусть разводить. Сейчас принесу письмо, а завтра вернете.

Отец Яков с сомнением думал:

«Человек почтенный и истинно страждущий, однако — мало-понятный. С одной стороны, скорбь о потере любимого дитяти, а с другой стороны, странные слова о гордости. Гордиться-то словно бы и нечем, а скорее сожалеть, что вышла неудача в правильном воспитании. Несчастье же великое».

Прежде чем раздеться и лечь, отец Яков присел к столику, вынул очки, разгладил на столе исписанные листочки, подумал о том, что в этой самой комнате и жила девица, письмецо писавшая, а ныне в тюрьме, и, сокрушенно головой покачав, принялся за чтение.

ПИСЬМО ПЕРЕД КАЗНЬЮ ¹

«Из далекого туманного будущего смерть превратилась в вопрос нескольких дней и вырисовывается очень ясно, в виде обтянутой вокруг шеи веревки... Тот смутный страх, порой даже ужас,

¹ В этой главе — отрывки подлинного документа. (Примеч. авт.)

который я испытала перед смертью, когда она была за сто верст, теперь, когда она за пять шагов, совершенно исчез. Появилось любопытство к ней и подчас даже чувство удовлетворения от сознания, что вот скоро... скоро... я узнаю величайшую тайну».

Миновало только двадцать первое лето ее жизни, когда военный суд постановил прекратить эту жизнь «смертной казнью через повешение». Из зала суда конвойные доставили Наташу Калымову обратно в камеру Петропавловской крепости, где она несколько месяцев ждала и этого суда, и этого приговора.

Она чувствовала крайнее утомление, за которым не могло последовать ни отдыха, ни сна. Отдыху мешали внутренний холод и легкое головокружение. Невозможно было перестать думать, хотя теперь думать было больше не о чем. Было невозможно и резкое движение, потому что оно могло нарушить напряженность минуты и вызвать испуг, ужас, бурю слез, что-то несообразное с важностью переживаемого. Ухо, выслушавшее приговор, продолжало прислушиваться, точно вот сейчас раздастся спокойный голос, который скажет: «Ну, пора прекратить эту комедию! Иди домой и забудь о пустяках!» Шаги за дверью камеры означали: «Сейчас, подожди минуту — и все разъяснится». Сквозь оконную решетку проникал самый обыкновенный предвечерний свет, при котором еще можно читать, но гораздо лучше выйти и прогуляться по набережной Петербурга, полюбоваться на закат и силуэты зданий. На двадцать втором году жизни умереть — невозможно! Умирают старики и больные, и это естественно, хотя жаль и их.

Загрохотал дверной ключ, она сжалась и едва могла повернуть голову. К ней впустили защитника, единственного человека, который то сидел против нее на тюремном табурете, то оказывался на улице и у себя дома, среди свободных людей, как бы уничтожая легенду о непроницаемости тюремных стен и об отрезанном мире. Поэтому его приход всегда волновал. Теперь сам защитник был взволнован не меньше ее: у него был вид врача, который вынужден сознаться, что нужно решиться на смертельно опасную операцию. Защитник принес для подписи готовую бумагу — прошение на высочайшее имя.

Когда он ласково подсунул ей под руку лист и подал свое перо — торжественность минуты исчезла, и занавес снова поднялся: комедия продолжается! Опять нет настоящей Наташи, слишком молодой и здоровой, чтобы готовиться к смерти, — и опять выходит на сцену известная артистка Наталья Калымова, выступавшая и в предыдущем акте. Теперь, по тексту комедии, полагается отказ приговоренной к смерти подать прошение о помиловании. Роли обоих отлично известны: он должен ласково убеждать, она — гордо отталкивать бумагу и перо. Весь зрительный зал замер в ожидании ее слов. И она говорит:

— Никогда! Я этого не подпишу!

— Милая, да ведь это только формальности!

Не меняя тона, настойчиво и твердо она повторяет:

— Никогда! Пусть вешают!

Он был уверен, что она откажется, и, жалея ее со всей искренностью, он мысленно уже рассказывал своим знакомым и ее друзьям, как резко и решительно она отвергла всякую мысль об обращении к высшей власти. Он вообще гордился своей клиенткой.

Уходя, он сказал, что придет еще раз завтра днем и принесет текст кассационной жалобы. Поводов серьезных нет, но нужно затянуть дело, а тем временем... Надежда есть, прецеденты были... Ее отец хлопочет, и приговор может быть смягчен.

Она сказала, что напишет письмо друзьям и завтра ему передаст. Он оставил ей несколько листов превосходной белой и плотной бумаги, и она приготовилась писать. Она не дала занавесу опуститься, — иначе в полутемной камере заметалась бы в смертельной тоске молодая рязанская девушка, приговоренная к смерти. Сейчас над листами бумаги склонилась голова героини, стойкой террористки, которая расстается с жизнью без страха и с улыбкой.

«Величайшая тайна», которая возбуждает в ней любопытство, — конечно, только бодрая шутка. Сейчас она объяснит.

«Разумеется, ни в какие «будущие жизни» я не верю и знаю, что, когда я задохнусь от недостатка кислорода и сердце перестанет работать, — мое «я» исчезнет навсегда. Но эта уверенность в полном исчезновении почему-то совершенно меня не пугает. Не потому ли, что я не могу ясно себе этого представить? И все мои размышления о смерти никак не идут дальше ощущения веревки на шее, сдавленного горла и темных кругов в глазах».

Она пишет не только спокойно, но и внимательно подыскивая выражения, зачеркивая неудачные слова, заменяя их другими, подправляя неясно написанные буквы и ставя многоточие там, где мысль несколько задерживается или не договаривается. Она не выдумывает ощущений, а списывает их с портрета сидящей за тюремным столиком революционной героини, весь облик которой ей очень нравится и ее чарует. Она видит ее со стороны и боится неверным словом нарушить цельность и красоту ее образа, его простоту и привлекательность, а главное — его подлинность. Она не может отделаться от частого повторения слов «смерть», «сдавленное горло», «веревка», — но и эти слова, которые мурашками заползают под череп спрятавшейся девушки Наташи, — звучат совершенно иначе в письме той, которая сидит на авансцене перед публикой, замершей в ожидании финальной сцены. Ужаснейшим словам она возвращает их простое житейское значение, — и достигает этого легким усилием своей освобожденной от предрассудков воли. И вот это изумительное ощущение свободы — нужно непременно им рассказать и выразить ясно, — как ясно это слагается в ее душе.

«Новые, странные и удивительно хорошие ощущения я переживаю здесь, в этой большой полутемной камере. Господствующее ощущение — это всепоглощающее чувство какой-то особенной внутренней свободы. Эх, это очень трудно объяснить! Чувство так сильно, что, внимая ему, ликует каждый атом моего тела, и я испытываю огромное счастье жизни. Так странно сознавать, что именно в эти минуты ко мне вернулось давнее детское чувство жизнерадостности, — и вот она вновь во мне струится, как алая горячая кровь моего сердца, которая делает его живым, гибким, ликующим!»

Она вскакивает с табурета, эта бедная девушка, очарованная чувствами своей героини, и взволнованно шагает по камере. Да, именно — счастье и жизнерадостность! И ни малейшего страха! Они, эти палачи, думали, что она будет биться головой об стол и истерически рыдать, — а она улыбается светлой улыбкой и, любя жизнь, приветствует смерть! С улыбкой она подходит к страшному сооружению, светлым взглядом дарит и палачей, и весь мир, с которым она прощается, — и с той же улыбкой уходит в вечность, полная любопытства и полная любви к солнечному лучу, к каждой далекой звезде и каждой глупой мошке! Да, именно это испытывает она перед смертью, — как это чудесно и необыкновенно и как это легко и просто!

Она опять садится за письмо к друзьям и долго пишет, выбирая самые красивые слова и любясь удачными оборотами, то ясными и решительными, то нарочито туманными, иногда шутивными, почти кокетливыми. И она видит, как ее друзья, подавленные ее судьбой, читают это письмо с чувством благоговения перед ней, познавшей, пережившей, победившей и просветленной.

Она искренна до конца — и в то время, как подлинная Наташа Калымова, осужденная на казнь, объятая ужасом и жалостью к себе, забилась в темный угол камеры и лишилась сознания, — ее двойник, ее прекрасная героиня, ее идеал ровным почерком, строка за строкой исписывает листы адвокатской бумаги. Это уже не письмо, это — философская поэма, документ, который непременно должен войти в историю и который ненужной пышностью и красотой слов и безумием неосознанной лжи, чудовищной, святой и кощунственной, когда-нибудь исказит для историков образ простой, здоровой и искренней рязанской девушки, запутавшейся в сетях жизни...

ДЕНЬ ОТЦА ЯКОВА

Прямо с вокзала отец Яков пошел на Первую Мещанскую в надежде остановиться и провести два-три дня, а не будет неловкостью — и неделю у старого знакомого, букиниста и мелкого издателя Петра Хвастунова, владельца лавочки лубочных изданий у Ильинских ворот. Были в Москве и иные знаком-

ства — много знакомств, но отец Яков охотнее пользовался гостеприимством людей простых и приятных, не больших господ и не барствующих; и поговорить с ними проще, и обязаться им легче, и не приходится притворствоваться, отмалчиваясь на их шуточки и улыбаясь покровительственным замечаниям.

Петра Петровича Хвастунова отец Яков знал давно, еще когда тот был офеней и бродил с коробом листовок и цветных лубочных картин московского изготовления. Позже офеня стал оседлым мелким книготорговцем, открыл в Москве ларек, затем маленькую лавочку и мог бы выйти в люди, если бы в жизни был удачливее. Но ему не везло, и время от времени его начинавшееся благополучие рушилось: то нес немалый убыток из-за излишней доверчивости, то терпел от собственного риска — издавал книжечку с неудачным титулом, и она не шла ни оптом, ни в розницу. Не повезло ему и в семейной жизни: едва женившись — овдовел, и осталась на руках дочка. Больше не женился и двадцать лет провозился со своей крохотной лавочкой, покупая и продавая книжки, а изредка пытаюсь выйти в издательи.

Его дружба с отцом Яковом укрепилась в дни японской войны, когда Петр Хвастунов сделал ладное дело, издав по совету отца Якова и при деятельной его помощи несколько ходовых листовок — о Японии, о Корее, о русских военачальниках на Дальнем Востоке, а особенно ходко пошел яркий лубок, изображавший «Макарова под водой»: лежат на дне морском адмирал, офицеры, матросы, пушки, а над поверхностью бушующего моря летают белые ангелы в простынях и с цветками лилии. Картина очень понравилась, оптовики брали ее нарасхват и прозвали «хвастуновской». Разошлась во многих тысячах, и никто, конечно, не знал, что текст к картине, в отчаянных стихах, писал запрещенный поп Яков Кампинский.

К этому старому книжнику и другу и направился отец Яков после годичного отсутствия из Москвы. А придя к нему пешком с недавно отстроенного Рязанского вокзала, узнал новость: Петр Петрович Хвастунов ранней весной приказал долго жить, оставив дочку, пятьдесят рублей наличными, немного дешевого книжного товара и добрую о себе память у соседей на Первой Мещанской. Что было — ушло на похороны, но зато не осталось и долгов.

Эту печальную новость сообщила отцу Якову соседка Катерина Тимофеевна, приютившая дочь Хвастунова Анюту, девушку простую, трудолюбивую, но непристроенную. Конечно — лучшим исходом было бы ей выйти замуж; но она не только была бесприданницей, а и не блистала красотой: так себе, девушка как девушка, немного восторженная, так как прочитала целую кучу книжек из отцовского товара, тоненьких повестей и романов о благородных разбойниках и о маркизах, говорящих пышными словами о высоких чувствах. Катерина Тимофеевна временно устроила Анюту у себя, не то приемной дочкой, не то прислугой, и хоть не очень тяготилась ею, а по душевной

простоте хотела для нее лучшей участи. Сама живя на маленькую пенсию, хорошо содержать девушку не могла.

Обо всем этом, после первых ахов и вздохов, было подробно доложено старому другу покойного и почетному гостю. Отец Яков был вдвойне огорчен новостью: и жаль приятеля, и не оправдался расчет на отдых после долгого пути. Поэтому, посидев часок, обещал зайти завтра же, а пока побрел устраивать себе на день-два иной ласковый приют.

Назавтра действительно явился, и тогда, позвав еще двух соседок, устроили род семейного совета: как быть дальше с Анютой? Пока нет в виду хорошего жениха, найти ей постоянное место: либо к детям, либо вроде скромной службы. Отец Яков обещал постараться и поспросить добрых знакомых. Хорошо, что Анюта и читает, и пишет, была в двухклассном и способна к рукоделью: что-нибудь да наладится. И первым делом отец Яков попробует замолвить словечко одной из своих московских покровительниц по приютским делам.

Его угостили чаем с ватрушками и проводили надеждами и благословениями. Он и сам растрогался:

— Покойника, Петра Петровича, я знал смолоду. Прекрасный был человек и справедливый. Полагал его за лучшего друга и неоднократно пользовался его гостеприимством. Так что уж это как бы мой долг перед его памятью,— а свет не без добрых людей. Похлопочем, похлопочем.

С вечера вынул из чемодана и развесил расправиться лиловую рясу — выходной костюм по просительным делам. Рясе то ли семь, то ли все десять лет, а еще служит за новую и парадную. Великое дело — аккуратность!

Затем по списочку перебрал адреса знакомых почтенных домов, куда можно будет заглянуть без опасения плохого приема. В одном месте не удастся — в другом будет больше удачи. Адресков много, все дело во времени. А в двери стучаться — привычно и незасторно.

Так порешив, отец Яков сел за работу: написать заметку о бабушке-сказительнице, которую встретил в своих недавних блужданиях по северным губерниям: на случай, что какая-нибудь газетка согласится передать тиснению. Было бы это очень полезно, потому что издержался отец Яков до крайности, а по долгу обязываться чужим людям он не любил и стеснялся.

«И времена сейчас не те! Раньше люди были и проще, и приветливее. Ныне же улыбаться улыбаются, а смотрят словно бы косо. Убыло в людях простосердечия. Каждый стал жить для самого себя, о ближнем помышляя мало. Главное — нет прежней простоты, что вот пришел человек навестить, пообедал и заночевал. Ныне это считается неудобным, и хороший обычай выводится, особенно в столице. И жить все хотят по-европейски, и даже одеваться стали чище и параднее».

Это замечание — об изменении природы русского городского человека — отец Яков внес в свой дневник и объяснил так:

«Наблюдается разочарование человека в достижении высоких

идеалов, каковыми увлекались тому назад три года, и, однако, кончилось поражением надежд и тайных мечтаний. В особенности следует сказать о молодежи обоего пола, как о том свидетельствует даже изящная литература, подстрекающая к соблазнам плоти, чего раньше в подобной степени не примечалось, а также случаи юных самоубийств. Иные объясняют политическую реакцией, обвиняя в сем правящие классы. Сам судить не берусь и лишь выражу надежду, что данное явление скоропреходяще».

ДВЕНАДЦАТЬ

Камера номер восемь московской женской каторжной тюрьмы отведена осужденным по делам политическим; это — тюремная аристократия: двенадцать девушек и женщин, из них старшей нет тридцати лет. С ними вместе посажена только одна уголовная арестантка, так как при ней двое детей.

Двенадцать молодых женщин безмерно опасны для государства, в котором сто семьдесят миллионов жителей. Все они не только мечтали об изменении в этом государстве политического строя, но и пытались добиться этого личным участием в перевороте. Если некоторых из них продержат в каторжной тюрьме до старости, а других — всю жизнь, то государство может спастись и его политический строй остаться неизменным.

Конечно, было бы еще проще их убить, как и было поступлено со многими другими. Но правосудие великого и просвещенного государства полно тонких оттенков. Сотни ученых юристов и чиновных мудрецов разработали и применили к жизни лестницу преступлений и наказаний. Так, например, девушка Надя Протасьева, которая неудачно стреляла в полковника, удачно расстрелявшего сотню бунтовавших крестьян, может быть обезврежена и исправлена в десять лет. Ее подруга, Верочка Уланова, худая и некрасивая, осужденная за хранение взрывчатых веществ в квартире родителей (а эти вещества полагаются хранить в особых казенных складах), одумается в какие-нибудь восемь лет. На исправление двадцатилетней Наташи Калымовой (теперь ей уже двадцать три), участницы взрыва министерского особняка, нет никаких надежд; если она проживет еще полвека и семидесятилетней старухой появится на воле, государство может в тот же миг взлететь на воздух; поэтому ее заключение бессрочно. Иное — девица Елена, молодая восторженность и жертвенность которой потухнут ровно через пятнадцать зим. И мудрое правосудие поделило между ними эти сроки.

Ни одна из осужденных не отрицала на суде своей вины; напротив, все они с дерзкой откровенностью объясняли суду мотивы своих преступлений, не высказав ни малейшего раскаяния. Но мудрое правосудие не может руководиться одним

сознанием обвиняемых. Поэтому над обоснованием преступности их воли поработало немало народа: тысячи чиновников полиции в обстоятельных докладах, подтвержденных множеством документов и показаний, осветили деятельность Нади, Наташи, Сони и их сообщников и сообщниц. Сотни секретарей заготовили бумажки для подписи десяткам начальников отделов; пришлось побеспокоить важных особ, высокие учреждения гражданского и военного ведомств; пришлось содержать на окладах целую бригаду специалистов по шпионажу, жандармов и тайных агентов внутреннего и наружного наблюдения, людей преданных, продажных, образованных, полуграмотных, умных, идиотов, воздержанных, пьяниц, честных, получестных и явных негодяев. Когда, наконец, были найдены, схвачены и посажены в тюрьму Надя, Верочка, Наташа, Оля и их однолетки, решение их дальнейшей участи было поручено седоусым полковникам и армейским офицерам, долгое время обучавшимся обращению с оружием для охраны и защиты границ страны. Руководясь статьями законов и томами к ним комментариев, а сверх того соображениями личной карьеры и прямым устным приказом высших начальств, этот суровый военный люд вынес резолюцию об уничтожении или обезврежении неприятеля: Сонь, Елен, Наташ и Верочек. Отряды конвойных солдат, убежденные, что им поручены отвратительные и развратные женщины, отвели страшных преступниц обратно в тюрьму и сдали отрядам сторожей, смотрителей и исполнителей.

Каменные стены тюрьмы были воздвигнуты не зря, а по планам, выработанным лучшими знатоками пенитенциарной системы, при которой строгость к преступнику сочетается с высшим милосердием и гарантирует государству — покой, а самим осужденным на вечное заключение — возможно длительную жизнь. Захлопнуты двери, защелкнуты замки, правосудие торжествует, порок уличен и наказан, шестая часть света может спать спокойно, потому что все это проделано не как-нибудь, а со всеми гарантиями законности и судебной справедливости.

Она бы и спала спокойно, если бы за время всей этой суматохи у полковника, подписавшего приговор, и у путиловского рабочего, прочитавшего о суде в газетах, не народились и не подросли ребята — мальчики и девочки, Гриши, Алеши, Пети, Нади, Лели и Наташи, с которыми тоже предстоит возня и родителям, и охранителям государственности и правосудия. Идут годы, сменяются люди на высоких постах и на аренах преступности, ускоренная тюремная смертность с избытком покрывается рождаемостью в благополучной стране — и место свято не бывает пусто.

В мягких туфлях начальница тюрьмы идет по коридору мимо камер; так же мягко ступая, за нею следует дежурная надзирательница. Время от времени едва слышно щелкает дверной глазок.

В дни свобод, теперь уже отдалившиеся, когда осмелевшая печать громила власть за тюремные беспорядки, с полным убеждением, что образцовые тюрьмы делают честь культурному государству, — была сделана попытка вручить начальствование над видными столичными тюрьмами людям почтенным и уважаемым, которым одинаково могут верить и власть, и общество. Таких точно людей, правда, не нашлось, но смена лиц все-таки произошла. Именно тогда и для каторжной женской тюрьмы удалось найти подходящую солидную начальницу, женщину в годах, но еще не развалину, с очень сомнительным прошлым, но зато с отличной польской дворянской фамилией. Долгим опытом было установлено, что если сыны остзейского баронства проявляют отличные качества усмирителей и карателей, то представители польского панства незаменимы на постах полицейских и охранительных.

Новая начальница оказалась хозяйственной и распорядительной, даже с немалым навыком, так как раньше она держала пансион для девиц. С пансионом вышли крупные неприятности, заинтересовавшие полицию. Откупившись от излишнего внимания полицейских чинов, хозяйка пансиона приобрела их дружбу и протекцию; пансион пришлось закрыть, но добрые связи и дух времени открыли перед деловой женщиной новую и спокойную карьеру: она была поставлена во главе каторжной тюрьмы.

Она была отличной начальницей, в меру строгой, педантичной, выдержанной, самостоятельной. Сверх служебного оклада она довольствовалась небольшой хозяйственной экономией, сама жила хорошо и никогда не доводила своих новых пансионеров до открытого ропота. При ней не было в тюрьме ни массовых голодовок, ни вынужденных скандальных ревизий. Уголовные питали к ней должный страх и неизменное уважение; политических она содержала отдельно и не раздражала приказами вставать при ее появлении и называть ее «ваше сиятельство». Небольшой штат тюремной прислуги она подбирала тщательно, не давая заживаться подолгу, чтобы между ними и заключенными не возникало дружественных отношений. Во внутреннее помещение тюрьмы она являлась не часто, но почти всегда внезапно, охотнее всего по ночам.

Именно для такого ночного обхода она явилась и сегодня. Отворив дверь из конторы в тюрьму ключом, который сдавался ей каждый раз после вечерней поверки, она сделала знак дежурной при входе и в ее сопровождении прошла нижний коридор и поднялась по лестнице.

Шаги заглушались войлочными туфлями. Около некоторых камер она останавливалась, приоткрывала заслонку глазка и всматривалась в полумрак камеры; в тусклом круге света от лампы, висевшей в клетке под потолком, серыми пятнами лежали на койках женщины: одни — закрыв лицо одеялом, другие — раскинувшись в беспокойном сне. Случалось, что кто-нибудь из заключенных не спал и, сидя на койке, тупо смотрел на свет или искал насекомых. В таких случаях начальница

слегка ударяла по стеклу глазка согнутым пальцем и вполголоса говорила: «Спать!»

Два верхних коридора сходились под углом. Обогнув угол, начальница чуть не споткнулась о лежавшее у первой двери тело. Отступив на шаг, она ногой толкнула тело в бок. Тело зашевелилось и быстро вскочило, протирая глаза.

— Спишь на посту?

Дежурная по коридору испуганно молчала.

— Мало спать днем, нужно и на службе?

— Виновата, ваше сиятельство!

— Утром, после смены, дождись меня в конторе.

Это означало — расчет. Начальница была неумолима, все это знали. Задремать на табурете — дежурство вне очереди и лишение свободного дня, уснуть на посту — потеря места. Оправдываться бесполезно.

Весь краткий разговор вполголоса; срок его — полминуты. Не обернувшись, начальница идет дальше, за ней, как тень, старшая дежурная. У камеры номер восемь — новая остановка. В глазок видно, что спят все, кроме одной каторжанки, которая, лежа на койке, пишет, подложив книгу под узкий и длинный листок бумаги.

Это, конечно, непорядок; но начальница не любит раздражать политических выговорами. Она знает их всех не только по фамилиям, но и по именам. Та, что пишет, бессрочная и уже третий год отбывает наказание. В камере она за старосту, хотя ей только двадцать три года; но они все безобразно молоды. У нее прекрасные волосы и ясные глаза, которые она никогда не опускает перед тюремным начальством. Вот она подняла их и смотрит на дверь: заметила, что глазок открыт; смотрит, не делая попытки спрятать записку или притвориться спящей. Если ее окликнуть, она точно так же не переменит позы и не опустит глаз. К таким, как эта, начальница чувствует невольное уважение и, пожалуй, некоторый страх. Они непонятны и непостижимы. Молодая и красивая девушка, избравшая своим уделом вечную каторгу и не поддавшаяся отчаянию и не утратившая силы и уверенности! Она что-то знает, что неведомо другим. Она не верит, что эти стены — ее могила. Может быть, она права!

Опустив заслонку, начальница идет обратно, не взглянув на провинившуюся дежурную по коридору. Вернувшись в контору, она сама запирает за собой дверь внутренней тюрьмы, вынимает и уносит с собой ключ. В конторе — другая дежурная, которая всю ночь должна сидеть у стола перед телефоном. В боковой комнате спит привратник; ему спать разрешается, и ночью ключ от выхода из конторы на улицу остается у дежурной по конторе или просто в дверях. Без ведома начальницы ночью нет сообщения между тюрьмой и конторой; если что-нибудь случилось — начальницу вызывают по телефону или посылают за ней привратника. Она живет рядом, в большом доме, примыкающем к тюрьме.

Кивнув дежурной, она выходит на слабо освещенную фонарями улицу.

ВЕЧНОСТЬ

Уже третий год в тюрьмах! Три года, а впереди они обещали вечность. Они слишком щедры — поверить в вечность невозможно!

Дни так однообразны, что счет их путается. На стене камеры карандашом расчерчены квадраты с цифрами — дни, недели и месяцы. Каждый вечер перед сном Наташа зачеркивает цифру в заготовленном на месяц вперед календаре. Это не имело бы смысла, если бы она и другие верили в вечность; но они не верят, на то они и молоды.

В семь утра, после поверки, приносят большие чайники с кипятком. Хлеб должен оставаться с вечера, свежий дадут только в обед. В большой медный чайник кладут две плитки кирпичного чая, и бурая жидкость разливается по таким же медным кружкам. В три часа дня в дверное оконце подается корзина нарезанного хлеба, а затем приносят обед: знаменитые тюремные щи, в которых серая капуста пахнет пареным бельем; в щах листы и нити вываренного мяса, отдельно — гречневая или полбенная каша. По воскресеньям бывает третье — кусок арбуза, яблоко, зимой — печеная репа или брюква. Это вкусно! В большие праздники и по царским дням — кусок белого весового хлеба. Вечером опять чай с куском черного хлеба, но от этой порции нужно экономить на утро.

Для молодых — голодно; но тюрьма — не санаторий, тюрьма — тюрьма! Не работая, заключенные питаются за счет государства, которое они хотели разрушить своими бреднями и своими преступными действиями. Они должны быть довольны, что им пощадили жизнь.

Иногда доставляют посылки с воли; обычно — сладкое, но в количестве умеренном, на одного. Сладким делятся со всеми и уж, конечно, не забывают детей женщины, убившей мужа, которая сидит вместе с политическими. Ее зовут Марья Петровна; она богомольна, тиха и испуганна; пожалуй, что вот эта в вечность верит. Трудно представить себе, что она могла убить человека, да еще отца своих детей, и, однако, она убила. К ней относятся участливо, ей отвели в камере угол получше, с нею всегда говорят ласково и как бы почтительно. Но ее жизнь — особая, если можно говорить о жизни в доме мертвых.

Наташа — за старосту, бессменно или, как она говорит, пожизненно. Это значит, что она обязалась следить за порядком в камере, председательствовать на совещаниях, принимать и раздавать хлеб, объясняться с начальницей, записывать больных и распределять работы по камере: кому подметать, кому мыть пол, кого освободить по слабости и болезни. В ее ведении календарь и выписка книг из тюремной библиотеки.

Естественно, что на этот высокий пост выбрали ее: пройдет

восемь, десять, пятнадцать лет, и сроки большинства окончатся; только она и еще одна девушка должны пробыть в тюрьме вечно. Трудно найти более смешное слово! Но стенной календарь растет, и уже почти тысяча дней зачеркнута карандашом; в сравнении с вечностью все же пустяк!

За пределами тюрьмы люди думают, что в ее стенах жизнь только теплится. Они не знают, что именно здесь вырастают и распускаются лучшие цветы фантазии и закаляется воля к свободе и полноте бытия. Ведь только толща стены в три кирпича отделяет выдуманную вечность от прелести временного. Приналечь плечом, пробить эту стену — и расчистится путь к обоим полюсам и экватору. Только три кирпича — какой пустяк! Разве можно связать живую душу!

В оконную форточку проникает воздух улицы. С воли залетает муха и заползает крыса. Через стекло может скользнуть на стенку световой зайчик от кем-нибудь наведенного зеркала. Никто не в силах пресечь чудесное общенье живых и мертвых, тайную летучую почту, о которой знает начальница, знает каждая надзирательница, знают все. Пусть вспарывают швы тюремного белья, ломают хлеб в мелкие крошки, следят за каждой подчеркнутой буквой в книге, отбирают бумагу и карандаши. Пусть обыскивают тюремную прислугу и всех уголовных, выпускаемых на волю, и пусть дают свидания с родными только через две решетки и в присутствии надзирательниц, — это решительно ничего не изменит. Внимание тюремщиков утомляется — гений арестантов неутомим. Строжайшая начальница может не подозревать, что в складах собственного платья она унесла записку или принесла ответ, или что в прическе заслуженной и грубой старшей надзирательницы, которая вечно на всех доносит, скрыт целый почтовый ящик, или что в высоком доме, удаленном от тюрьмы, от которого видна только крыша, в чердачном окне невидимая рука в ночной час водит пламенем свечки справа налево и вверх и вниз. Еще не выстроена и не изобретена та тюрьма, — а уж на что мудры люди в жестокости! — через стены которой не проникала бы воля. Дух светлый и свободный находчивее духа тьмы; в этом его единственное утешенье.

В камере номер восемь меньше всего думают о вечности. В ней живут интересами ближней недели или, во всяком случае, недалекого будущего. У Нади Протасьевой есть на воле жених, который кончает университет; они переписываются, причем письма читает прокурор и ставит на полях разрешительную пометку; они не стесняются прокурора, потому что глубоко его презирают и не считают за человека, хотя никогда его не видали и не знали, — но ведь порядочные люди не читают чужих писем! Кроме этих «казенных» писем, летают из тюрьмы на волю записочки, в которых больше слов любви, чем вопросов о здоровье. Срок Нади — десять лет, затем, после каторги, поселенье.

Неужели жених будет ждать ее? Ведь в любви десять лет — вечность!

Но в том-то и дело, что они не верят ни в вечность, ни в десять лет!

Они живут сегодня и думают о завтра!

Курсистка Вера Уланова выписала учебники и занимается высшей математикой, чтобы «не потерять времени». Ей сидеть восемь лет, а затем тоже — поселение в Сибири; но так как она в это не верит, то не хотела бы отстать от сверстниц по курсам. Две «вечных», Маруся Донецкая, сообщница убийства военного прокурора, и Наташа, изучают итальянский язык, который, конечно, даже в вечности не станет языком их тюрьмы; они изучают его не для того, чтобы читать Данте и Леопарди в подлиннике (хотя мечтают и об этом), а потому, что приятно говорить на таком красивом языке, если придется быть в Италии.

Как могут они надеяться из стен своей вечной тюрьмы попасть на Палатинский холм, или в Неаполь, или в каштановые леса Тосканы?

Но это так просто — ведь они не верят в вечность, для этого они слишком молоды! Что-то случится, как случилось в девятьсот пятом году, — двери камер распахнутся, и они будут свободны. Если бы они могли думать иначе — жизнь перестала бы быть возможной.

Страшна не вечность — страшна напрасная потеря еще года, еще нескольких лет, пока там, на воле, с в е р ш а е т с я. И уже одной этой жалости к дням и неделям достаточно для страдания. И они страдают, спасая себя только надеждой, что вот еще немного, еще неделя и месяц, пусть даже год — и придет то, что прийти должно, если на небе действительно есть солнце и зима подлинно сменяется весной! Ради непрременной и неизбежной радости можно и потерпеть, — тем слаще будет свобода!

И только одна женщина в камере номер восемь знает, что вечность есть и что жизнь окончена; но у нее двое маленьких детей, которые скоро подрастут. Ее жизнь кончена, их жизнь только началась — и началась страшно. Она гладит их по головкам, укладывает спать и знает, что завтра они станут на день старше, а она еще на день приблизится к вечности. Уложив детей, она тупыми и непонимающими глазами смотрит на своих товарок по заключению, о чем-то спорящих, чего-то ожидающих и по-своему счастливых.

СИРОТА ПРИСТРОЕНА

Отцу Якову повезло, и всему причиной оказалась баночка вишневого варенья, которую он занес в контору тюрьмы.

Перешагивая порог конторы, он подобрал рясу, как бы во свидетельство того, что он тут, собственно, ни при чем и даже прикасаться к стенам тюрьмы не хотел бы, но по сану своему вынужден бывать везде. У привратника спросил:

— А что, нынешний день посылочку заключенной передать можно?

Привратник поклонился ему очень вежливо, но твердо сказал:
— Нынче, батюшка, день не приемный, надо бы вам прийти в четверг либо в воскресенье.

— Так. Дело плохое, в воскресный день мне менее доступно. Имею поручение от страждущего отца передать его дочери малую баночку варенья. И в четверг не знаю, удосужусь ли, как лицо занятое.

— Как изволите. Может, попросите саму начальницу, она здесь, в конторе.

Достойно погладив бороду, отец Яков сказал:

— Ее сиятельство имею честь знать лично, но можно ли беспокоить?

— Конечно, они заняты, а все же пройти можно. И духовное лицо, и ежели еще лично известны.

Отца Якова провели к начальнице. Она сидела за столом перед конторскими книгами, счетами и бумажками. Рядом стояла дежурная по конторе надзирательница, а другая, заплаканная, столкнулась с отцом Яковом при выходе. Отвесив приличествующий поклон, отец Яков скромно и степенно приблизился:

— Осмелился побеспокоить малым делом по поручению страждущего родителя. Если изволите припомнить, имел честь встретиться у ее светлости достойнейшей тюремной патронессы.

Начальница приняла довольно приветливо и даже узнала.

— А какое же у вас дело, батюшка?

— Дело малое. Будучи в Рязани, навестил тамошнего почтенного и уважаемого старожилы и врача Калымова, Сергея Павловича, сраженного горем по случаю дочери. А дочь его заключена в сем месте. Ну и принял поручение передать скляночку варенья. Не знал, что полагается в четверг либо в воскресенье, и занес в день неурочный.

К удовольствию отца Якова, посылочку приняли. Начальница пошутила:

— Тут, батюшка, в варенье никаких записок нет?

— Знать того не могу, брал без ручательства, однако мысли не допускаю. Отец о дитяти истинно страдает, как то и естественно при возрасте и положении. А уж проверить извольте сами.

Начальница пожаловалась на неприятности. И за преступлениями смотри, и хозяйство большое, и хлопоты с тюремным персоналом. Вот сейчас должна была рассчитать надзирательницу за крайнюю небрежность. Какой народ пошел! Ни на кого нельзя положиться.

Отец Яков поддакнул:

— Хлопотно, хлопотно. Нынче нравы не на высоте.

— Эта на дежурстве заснула, а наймешь другую — опять что-нибудь. Пожилые устают, а на молодых нельзя надеяться. Работа трудная, и на небольшое жалованье идут неохотно. Где взять?

Отец Яков вспомнил, что обещал найти место для Анюты, дочери покойного друга-книжника. Не выпал ли случай?

— Скромную особу, однако весьма молодую, мог бы рекомендовать. Притом — круглая сирота и в большой нужде.

— Приютская? Боюсь я этих приютских.

— Нет, дочь честного торговца, а сам недавно скончался, и жизни был беспорочной, хороший был человек.

— А что ж, батюшка, пришлите ее, может быть, подойдет. Вы хорошо ее знаете?

— Знал дитятей; ныне ей двадцать лет, грамотна и работяща, а по полной бедности живет из милости у соседки.

Вышло случайно и хорошо. Отец Яков покинул тюрьму в прекрасном настроении духа и в тот же день побывал на Первой Мещанской. Там поохали, хорошо ли молодой девушке поступать в тюремщицы, но отец Яков заверил, что всякий честный труд почетен и все зависит от усердия в работе. Сама Анюта даже обрадовалась: в тюрьмах сидят люди особенные, убийцы, разбойники, несчастные! У каждого в жизни столько удивительных историй! И жутко, и интересно. И уж, конечно, лучше, чем стирать белье или стирать в чужом доме.

Было решено, что завтра же Катерина Тимофеевна лично сведет Анюту в контору тюрьмы к начальнице. Отец Яков дал записочку и на конверте особо крупно вывел слова: «Ее Сиятельству». И хотя были у него сегодня малые дела, согласился остаться пообедать. Приятно оказать помощь хорошим людям — и приятно, когда ценят услугу и оказавшего ее человека.

И вот Анюта в первый раз на дежурстве. Она в сером форменном платье и в белой головной косынке, — сразу стала старше и почтнее. Все серьезные, и она серьезна. В старшей надзирательнице она чувствует власть, а в присутствии высокой, сухой надменной начальницы сердце Анюты замирает. С первого дня попала в ночные; придется так поработать неделю, потом неделя дневного дежурства, потом опять по ночам. Работа простая и не очень трудная, но нужно помнить и строго исполнять тюремные правила: с заключенными никаких лишних разговоров, никаких записок не принимать и не передавать, ничего в тюрьму не приносить, не позволять подходить к окнам и о всяком беспорядке или непослушании докладывать старшей, а та — начальнице. При смене дежурных иногда бывает легкий обыск: старшая проводит ладонями по платью, не спрятано ли что-нибудь запрещенное; это только для формы, а настоящий обыск делают при начальнице, всегда неожиданно — и тогда дежурных раздевают до рубашки. Все это не столько обидно, сколько таинственно и необыкновенно.

В первую смену старшая пробыла с Анютой целый час на дежурстве, показала, как глядеть в глазок и как открывать дверную форточку. Дверь камеры без особой надобности не отпирать, ключ держать на поясе. Рассказала, что делать при случае тревоги, и объяснила, что вот это все — камеры уголовных, а в восьмом номере — политические, — хоть и неясно было Анюте, в чем различие.

— Их особо держат?

— Особо, в своих платьях.

Затем старшая ушла вниз, а Анюта осталась. Прошла по коридору, тихонько и еще неумело отодвигая заслонки дверного стеклышка. Все спят. Странно подсматривать, как спит чужой человек! Есть одиночки, другие по нескольку в камере, на койках, приделанных к стене, и на нарах. Худые соломенные тюфяки, тощие серые подушки, а закрыты кто одеялом, кто арестантским халатом. С особым любопытством заглянула в камеру номер восемь. Там было больше порядка, белье почище, а на столе книжки. Но те же, как и у всех спящих, серые и невыразительные лица.

Не страшно в тюрьме. А что делать целую ночь? Нужно будет спросить, можно ли брать на дежурство книжку и читать под коридорной лампочкой? Работа здесь, как всякая другая, вроде как больничной сиделкой, только, верно, очень скучная.

Среди ночи заслышала шорох в конце коридора и вскочила с табурета — не начальница ли? Но это пришла соседка по дежурству из другого отделения.

— Привыкаешь?

— Привыкаю.

— Спать-то хочется?

— Нет, спать не хочу. А скучно тут у вас?

— Еще бы не скучно. У нас — ровно в могиле! А ты совсем молоденькая! Ты как же к нам определилась?

Полночи шепотом проговорили, стоя на повороте из коридора в коридор, так, чтобы видеть каждой свое отделение, а главное — успеть разойтись, если покажется старшая или начальница. Анюта рассказала про себя — та про свои дела. Соседка по дежурству была постарше и поопытнее, служила уже второе полугодие. И от нее Анюта узнала не только все тонкости тюремных правил, но и о том, как эти строгости обходить, с кем дружить, кого опасаться. Узнала и разные истории про арестанток, — которая убила двоих, а которая сидит, может быть, и понапрасному; есть тут из богатых семейств, а по большей части из гулящих. А когда Анюта спросила про политических, новая приятельница ответила уклончиво:

— Кто их знает! Кто говорит, что шли против царя, а кто — что будто сидят за правду.

— Как же это — за правду?

— А так, что были за народ, за бедных. И все молодые, вот как мы с тобой. Только ты с ними много не разговаривай. Узнают — прогонят.

Тяжелее всего были последние часы дежурства. А когда после смены Анюта шла домой — Москва только что просыпалась. Дома и рассказать ничего не могла, — заснула как мертвая и спала до полудня.

ПОДРУГИ

Новая надзирательница — событие не малое!

Это только кажется, что быт тюрьмы однообразен и не зависит от того, кто дежурит за дверью камеры, кто следит, как прислуживающий уголовный арестант разносит обед и кипяток, и кто смотрит в дверной глазок. Здесь дорого каждое слово и оценивается каждый жест. Невидимыми нитями тюрьма связана с волей, и эта связь налаживается годами, а разрушается в один день. Чем устойчивее быт, тем лучше прорастает в нем зерна скрытых, с виду невинных отношений, тем меньше оглядки, тем проще обходы разных утомительных и связывающих правил, тем полнее и любопытнее внутренняя жизнь тюрьмы.

— Вам придется заняться новенькой, Наташа!

— Я займусь. Кажется, она — ничего. Совсем молоденькая, только еще очень пуглива. Вчера я ее спросила, зачем она пошла служить тюремщицей, — и она смутилась, что-то пробормотала и захлопнула форточку. Кажется — хорошая девушка.

После обеда разносят по камерам книги из маленькой тюремной библиотеки. Большинство уголовных неграмотны или непривычны к чтению. Главный потребитель книг — камера номер восемь. Впрочем, библиотека так скудна и ничтожна, что все давно перечитано и читается теперь по второму разу. Книги надзирательница подает через дверное оконце.

— Спасибо! А вы сами читаете?

Посторонние разговоры воспрещены, но Анюта отвечает:

— Читаю.

— Как вас зовут?

— Меня? Анной.

— А ваша мать как вас зовет?

Девушка наклоняет лицо к оконцу, встречает голубые глаза арестантки и отвечает:

— У меня матери нет.

— А отец?

— Отец помер недавно.

— Значит, вы сирота, Анюта? Верно, трудно вам жилось, что пошли сюда?

Посторонние вопросы воспрещены, но как не ответить на простой и ласковый вопрос?

Послеобеденный час тихий; арестантки спят, обходов не бывает. Разговаривать через оконце неудобно, приходится низко наклоняться. Голубоглазая арестантка садится на корточки; надзирательница, оглядевшись, устраивается за дверью так же. Она могла бы открыть дверь и войти, но это разрешается только в час уборки камеры и по редкой надобности. Ей самой хочется поговорить и расспросить, за что сидят в тюрьме такие молодые, уютные и, вероятно, образованные барышни.

— А вы, барышня, давно сидите?

— Третий год.

— Вон как давно! И еще долго осталось?

— Меня, Анюта, присудили к вечной каторге.

— Да что вы! По политике?

— Да.

— Поди, по дому скучаете?

— Я по деревне скучаю, особенно вот сейчас, весной.

Наташа рассказывает о Федоровке, о катанье на лодке, о том, как там, в деревне, чудесно весной и ранним летом, да и осенью, там всегда хорошо, не то что в городах. Воздух легкий, и все цветет! А тут, в тюрьме, даже нет и окна раскрытого — решетка! И вот так придется, может быть, просидеть до старости и смерти.

— Вам тоже, Анюта, не хорошо тут быты! Вам бы выйти замуж и бросить службу.

Долго шептаться нельзя — могут заметить. Заслышав шаги, Анюта тихо прикрывает дверцу и подымается. Хорошо, что поговорила, — очень уж сиротливо в полутемном коридоре между рядами молчаливых дверей. С уголовными не поговоришь, они грубы, да и не о чем. А эти такие ласковые.

Миновала неделя — и опять ночные дежурства. Служба не так страшна, как раньше казалось. Понемногу стали привычны все порядки и все шорохи тюрьмы. Ее законы слишком строги, чтобы быть исполнимыми. Они нарушаются сегодня в мелочах, завтра в более серьезном, — и нарушаются всеми служащими, даже самыми аккуратными и осторожными; да и не могут не нарушаться. Время от времени тюрьма подтягивается, затем снова возвращается быт, в котором и арестант, и надзиратель — под одним замком и в одной неволе.

На ночном дежурстве, долгим и томительным, хорошо отвести душу тихим разговором. Это только тем, которые дремлют, страшен внезапный обход начальницы; ухо бодрствующих ловит каждый приближающийся шорох. А как много занятого могут рассказать молодые арестантки из восьмого номера! Они все видели, все читали и все знают. И сидят они не за злодеяния, как другие, а за то, что хотят, чтобы в мире была правда и всем одинаково хорошо жилось. За это они шли на смерть и за это осуждены загубить свою молодость в каменных стенах. Так они сами говорят, и не поверить им невозможно.

Теперь служба уже не была тягостью для Анюты. Были полны интереса часы бесед, она знала по именам всех сидевших в восьмом номере, а ближе всех сошлась с Наташей. Сначала звала ее барышней, потом узнала имя: Наталья Сергеевна; но та сама попросила: «Зовите меня просто Наташей». И Анютаверяла ей свои думы и заботы, рассказала свою жизнь, советовалась с ней по своим девичьим делам, а больше всего старалась выспросить у нее все, что от других не услышишь: для чего люди живут на свете, почему одним хорошо, а другим плохо, как устроить, чтобы всем было хорошо. От нее узнала, что есть такие люди, которые бросают свою семью, отказываются от легкой и обеспеченной жизни и идут бороться за правду и за лучшее будущее рабочего народа. Их, конечно, хватают, сажают в тюрьмы, казнят, но на смену им приходят другие,

продолжают их дело, учат народ защищать свои права, действовать сообща,— и так будет, пока эти люди не победят и не устроят жизнь по-новому, для всех счастливо и справедливо.

Все это не очень понятно, но очень таинственно и красиво. Другому кому Анюта, пожалуй, и не поверила бы, но тут перед ней сами страдальцы за правду, молодые, вежливые, приветливые, даже веселые, несмотря на все лишения. Их заперли под замок, а они по-прежнему верят, что долго такое положение не продержится и что скоро придет революция и народ их освободит, как было в Москве в девятьсот пятом году. Только на этот раз будет победа полная, и народ своей победы назад не отдаст.

Слова новые, незнакомые и раньше неслыханные. Было что-то такое же в читанных Анютой романах про благородных разбойников,— но там была явная выдумка, а тут сама жизнь. И таинственного и загадочного тут, пожалуй, не меньше. И если бы девушки из восьмого номера не сидели за решеткой, а были на воле, они показали бы Анюте, как живут и действуют борцы за свободу, и сама Анюта могла бы делить с ними жизнь как равная и как их подруга,— а не несчастная тюремщица, обязанная держать их под замком и доносить на них старшей и начальнице. Только уж она доносит, конечно, не станет!

Как-то, разговаривая с Наташей, Анюта сказала:

— Уж так мне вас всех жалко, так жалко, что я бы для вас все сделала! Хотите — буду передавать записки и принесу вам с воли все, что попросите?

— Спасибо, Анюта. Потом, может быть, а сейчас я вас об одном попрошу: будьте осторожны, ни с кем про нас не говорите, а себя ведите так, как будто вы к нам — строже всех. А вот когда совсем в тюрьме обживетесь, вы нам многое можете сделать. Нужно только, чтобы вы у начальства были на самом хорошем счету и чтобы вам доверяли.

— Мне и сейчас доверяют. Я со всеми служащими хороша, ни с какой не ссорилась. Они друг дружку подозревают, а мне все верят, потому что я ни на кого не наговариваю и не жалуясь.

— Вот и хорошо.

— И начальница довольна. Я ей относилась вечером ключ, и она мне сказала: «Будешь служить аккуратно, выйдешь в старшие, даром что молода».

— Вы ей носите ключ?

— После смены, когда моя очередь.

— Ну вот и отлично, Анюта. А придет время — я вас сама о чем-нибудь попрошу.

— Я все сделаю, я не боюсь.

Совсем шепотом прибавила:

— Я все думаю: вот возьму да и выпущу вас всех из тюрьмы, ей-Богу! И сама уйду с вами!

Так же шепотом Наташа ответила:

— Это просто не делается, Анюта. Выпустите — а нас всех опять переловят и вас тоже. И будет еще хуже прежнего. О таких вещах нужно много думать, а говорить сейчас не нужно.

Они разговаривали, по обыкновению сидя на корточках перед дверным оконцем, чтобы не устать и чтобы лица были ближе. Просунув голову в оконце, Наташа шепнула:

— Дайте я поцелую вас, Анюта. Спасибо вам. Потом мы с вами еще о многом поговорим. Ведь мы подруги, правда?

Анюта просияла радостью:

— Правда. Вы мне все равно что родная сестра.

— Ну вот. Я тоже вас сразу полюбила, и все наши вас любят. Вот увидите, Анюта, мы что-нибудь с вами придумаем. А пока — будьте очень осторожны! Чтобы ни-ни! Будто бы вы — наш враг! Понимаете, Анюта?

ТЮРЕМНЫЕ ЗАБАВЫ

По вечерам камера номер восемь забавляется новой игрой: на одну из каторжанок, которая повыше и посильнее других, набрасываются по двое или по трое и стараются быстро и ловко повалить ее на пол и связать длинными полосами, сделанными из простыни. Та, на которую набросились, — часто это бывает рослая и сильная Наташа, — должна отбиваться, но, конечно, не должна кричать; предполагается, что ее рот заткнут платком. Связав, ее укладывают к стене и смотрят, может ли она освободиться.

— Ну, конечно, могу! Вы, Маруся, опять не перекрутили узла! Вот я делаю руками так и так... подождите... вот еще так, — и теперь эта рука может легко выпутаться. Не сразу, а все-таки можно.

— Я не хотела делать вам больно.

— Вот глупости! И совсем не больно. Нужно же научиться.

Игра повторяется, теперь уже на новой жертве. На нее накидываются с двух сторон, хватают за локти, выкручивают руки назад, быстро связывают мертвым узлом. Она отбивается босыми ногами (чтобы не ударить больно), но ей связывают ноги у щиколоток и выше колен. Пока трое работают, остальные критически обсуждают быстроту и ловкость их действия.

— Все-таки долго, почти шесть минут! Нужно в три минуты, не дольше!

— Надя очень сильная, ее трудно. И очень отбивалась.

— Так и следует! А вы думаете, что кто-нибудь не станет отбиваться? И может быть, гораздо сильнее.

— Особенно — мужчина!

Снаружи легкий стук в дверь. Связанной быстро помогают лечь на койку, прикрывают ее одеялом, и все разбегаются по своим местам. Камера спит.

Через несколько минут дверное оконце открывается, и голос Анюты спокойно говорит:

— Ничего! Внизу дверь хлопнула, я думала — старшая идет. Уж очень вы шумели!

Дверца захлопывается, и игра продолжается.

— Знаете, Надя Протасьева, вы так больно меня ударили, что я чуть не закричала. Будет на руке синяк!

— А вы держитесь сбоку, чтобы нельзя было задеть вас ногой.

— Нужно повалить ничком, тогда не опасно!

— Если дать подножку...

Вопрос о подножке горячо обсуждается. Большинство высказывается положительно.

— Я думаю, — говорит Наташа, — что следует сначала набросить на голову наволочку. Тогда и отбиваться труднее, да и не видно, кто связывает.

Наволочка принята.

— Ну, теперь спать! Не забудьте о гимнастике.

Две девушки, неизменно выступающие в роли нападающих, так как они физически сильнее, от гимнастики освобождаются: и без того очень устали. Но завтра утром — непременно.

Гимнастика — общее увлечение. И вообще полезна, и может всегда пригодиться в жизни. Староста камеры, Наташа Калымова, строго следит за точным выполнением всех номеров: перегибание корпуса, круговые движения, приседание — все по команде, хотя места в камере очень мало. И утром и вечером! Две недели опыта показали, что и мускулы укрепляются, и развивается ловкость. Даже самая слабая из заключенных, восемнадцатилетняя Елена, только в этом году осужденная на каторгу, больная легочным процессом, теперь продельвает все нужные движения шведской гимнастики и уверяет, что чувствует себя гораздо лучше и что по вечерам у нее не так повышается температура; она делает гимнастику только раз в день, утром. Одно плохо — у всех улучшился аппетит, а это в тюрьме очень невыгодно.

Все укладываются и, утомленные, скоро засыпают. Не спит только «комитет», состоящий из двух «вечных», Наташи и Маруси, и из чахоточной Елены, которой по ночам всегда плохо спится. Их койки рядом, и они шепчутся до полуночи. Если на дежурстве новая надзирательница, — они подползают к окошечку и шепчутся также и с ней: что-то обсуждают, о чем-то шепотом спорят, так, чтобы другие не слышали. Комитету поручены все дела, и он полномочен выносить решения по специальному делу без общих собраний.

Елена — секретарь. Она умеет писать мельчайшим почерком и хранить в памяти шифр. Ее записочки, свернутые в плотную трубку, можно легко спрятать во рту за щекой, а при опасности — проглотить. Ответные записки с воли читает только «комитет»; затем записки рвутся на мельчайшие кусочки и исчезают в параше.

На койке, ближайшей к окну, спит с двумя детьми уголовная Марья Петровна, безответная и ко всему равнодушная.

Ее история в подробностях неизвестна,— нельзя о таких делах расспрашивать. Ее не сослали в дальнюю каторгу, а оставили в Москве, и через год истекает ее срок; тогда ее, конечно, угонят на поселенье в Сибирь. Сидеть в камере с дюжиной молодых, опрятных и образованных женщин ей хорошо и покойно. За доброе отношение к себе и детям она платит им тем, что старается быть незаметной. Она, конечно, знает, что девушки уже месяц бредят побегом и что с ними в сговоре новая надзирательница; но ее, как уголовной, это не касается: ей бежать нет смысла да и некуда.

Часто ей кажется, что она попала в кружок школьниц, которые днем учатся, читают книжки, а по вечерам резвятся. Все они тоже приговорены к каторге и на долгие сроки, а две даже к бессрочной,— но как-то трудно этому поверить: словно бы и это только игра. Будто бы и они убивали людей, но и это похоже на выдумку. Верно только, что их жизнь совсем особая и непонятная, как малопонятны их речи и их споры между собой — о каком-то народе, о какой-то экономике, о каких-то партиях и комитетах. В последнее время не спорят, а все шепчутся. Нынче прятали что-то под тюфяк; должно быть, принесла надзирательница. Лича были радостны и оживленны. Неужто они и впрямь думают убежать из тюрьмы? И правда — такие могут!

С ней ни о чем не говорили,— и о чем с ней говорить? Если бы ее вызвала начальница и стала допрашивать, она бы по чистой совести сказала, что ничего не знает. Уж, конечно, не взяла бы на душу греха и не подвела бы девушек, всегда к ней добрых и ласковых. Дело это не ее. Ее дело — искупать свой тяжкий грех да выходить маленьких детей, ни в чем не повинных и ничего еще не знающих. Когда вырастут и узнают — может быть, осудят ее, а может быть, и простят.

ГОТОВЯТСЯ

Анюте не терпится: ну что может быть проще! Подделав ключ из тюрьмы в контору, подпоив привратника,— она выведет на волю всех своих новых подружек, и они разбегутся. А с бабами, с надзирательницами, десятерым справиться не трудно. Сама она тоже уйдет. Если ее поймают и будут судить — ну что же! Вот и она пострадает за правду, даром что она простая, не ученая, столько книжек не прочитала и ни в каких партиях не записана. Только бы поскорее, пока не пронюхала начальница или кто-нибудь не донес про ее дружбу с восьмым номером.

Ее жертвенный порыв сдерживает Наташа.

— Так нельзя, Анюта! Нужно все хорошо подготовить, чтобы не было неудачи. Ну, выйдем мы — а дальше? Ни денег, ни ночлега, ни одежды. Всех переловят, и вас заберут, и уже второго случая никогда не дожидаться.

О плане побега извещены на воле верные люди. Уже целый месяц идет подготовка дела. В те дни, когда Анюта дежурит в их

коридоре, сношения с волей быстры и правильны. Но иногда приходится выжидать по неделям. Сделано немало: передан на волю слепок ключа, получены адреса, по которым должны разбежаться каторжанки. Денег достаточно, и еще добудут. Плохо с лошадьми: только для двух будут приготовлены лихачи на соседней улице; решено, что ими воспользуются Наташа и Маруся, как бессрочные. Главное, чтобы весь план был выполнен точно.

А план такой. Анюта уже рассказала надзирательницам, что скоро она выходит замуж. Перед свадьбой она угостит всех в свободные часы перед дежурством. Будет наливка, водка, закуска и сладости. Как раз перед этим днем получка жалованья. И чтобы непременно пришел и Федор Иванович, привратник: все-таки мужчина, веселее. А денег ей не жалко: все равно, когда выйдет замуж, в тюрьме не останется. Кто жених? А тот самый, черноусый, с которым ее однажды видели на улице. Он на пирушке не будет, ему неудобно. Это будет девичник, только с Федором Ивановичем — с ним смешнее. А в другой день она угостит и остальных, кто в этот день не может.

Ночью, после поверки, когда тюрьма заснет, Анюта откроет восьмую камеру. Сначала выйдут трое, тихо, в одних чулках, и свяжут дежурных в соседнем коридоре; считая со старшей, их всего три. Потом выведут всех, спустятся к двери конторы и эту дверь быстро поддельным ключом отворят Анюта и Наташа. Только бы дежурная по конторе не успела поднять тревогу; главное — она пить не любит, и справиться с нею трудно. Как дверь откроют, первой выйдет Наташа в черном платье, будто бы начальница, хотя и неоткуда взятая начальнице; все-таки та испугается, и тогда можно на нее накинуться. Сторож будет, как всегда, спать в своей комнате, и он, конечно, будет пьян, об этом уже позаботится Анюта. Если ключ у него, тогда придется и его связать; но он, верно, и не проснется.

Сделано и самое трудное: Анюта пронесла в тюрьму по частям нужные одежды: черное платье для Наташи и два мужских костюма для стриженных; больше пронести не удалось, и это — с трудом, под платьем, рискуя нечаянным обыском. Близ тюрьмы будут ждать товарищи, и дальше — вопрос удачи и счастья.

А сама Анюта? Ей все равно, на первую ночь ее приютят, а дальше ей укажут, куда скрыться из Москвы. Ей очень хотелось бы убежать с Наташей, но это нельзя, опасно. Во всяком случае, они встретятся после, в другом городе или за границей. Через Наташу она полюбила других, и ей она готова доверить всю свою жизнь.

— Только не спешите, Анюта! Нужно, чтобы на воле все было готово. А пока старайтесь больше дружить с надзирательницами, рассказывайте им про жениха, про его подарки.

— Я им много насакала! Они меня любят, я веселая.

— Вас нельзя не любить, Анюта!

Для Анюты такие слова — лучшая награда!

Готовятся и на воле, где план побега двенадцати каторжа-

нок встречен с радостью. Уже нет прежних прочных и деятельных революционных организаций: силы ослаблены арестами и подточены предательством. Одни в тюрьме, другие за границей, приток новых сил ослабел. Нет прежней веры, и молодежь уже не та. Среди студенчества нет прежней жертвенности, и вместо нее — исканье «красивой жизни», «сладких грехопадений», поэтического наркоза. Идеалисты не в моде — они устарели и исчерпались. Высшая ценность — личная жизнь, а самопожертвование — бред, и чистота идеалов — глупость и наивность. Половой вопрос важнее аграрной программы, эстетика выше морали. Разве революция не доказала своей несостоятельности? Разве «светлые борцы» не оказались игрушками в руках полиции, заполнившей ряды революционеров своими агентами? Кому сейчас верить, когда и самому себе человек плохо верит!

Остатки стареющих бессильны продолжать дело; для них наступило время воспоминаний и легенд да надежды на за границу, где будто бы строятся новые мирозерцания и вырабатываются новые программы. Невозможно увлечь кого-нибудь планом нового дерзкого нападения на власть. Иное дело — устройство побега: здесь двух мнений не может быть! На этом, и только на этом, легко сговориться разным партиям и группам и легко найти средства даже в самых умеренных кругах. Ненависть к тюрьме объединяет всех, и любой побег — радость.

Беглянкам нужно заготовить безопасные убежища, как можно больше, чтобы провал одних не повлек за собой ареста многих. Нужно замести следы, одних укрыть в России, других сплавить за границу, всем достать паспорта и денег. Малейшая нечеткость плана — и все может погибнуть. Нужно торопиться, потому что уже слишком многие знают о готовящемся побеге; но и излишняя торопливость может привести к катастрофе.

Шифрованные записки летают из тюрьмы на волю и обратно. Свиданья в разных местах измучили неопытную в этих делах Анюю. Сроки сменяются сроками, дольше откладывать нельзя.

Стоит июль, время, удобное тем, что бдительность притуплена жаркими днями, Москва на дачах, скрыться легче. Два месяца ушли на подготовку — пора.

Молодой человек франтоватого вида, но в стоптанных башмаках скользнул в подъезд, поднялся на второй этаж и позвонил. Ему отворил широкогрудый высокий господин с усами и бритым подбородком. Молча впусив, запер дверь.

— Вы что же опаздываете?

— Я задержался на собрании.

— На каком собрании?

— Не то что собрание, а кое-что обсуждали.

— Ну?

— Да опять ничего особенного, сейчас никаких важных дел нет.

— Дела-то всегда есть, а только вас к важным делам, вероятно, не очень подпускают. У кого были?

— У Николаева.

— Кто да кто?

Молодой человек назвал несколько фамилий, а его собеседник записал, добавив и фамилию рассказчика.

— Ну, а кроме этой ерунды ни о чем любопытном не говорили?

— У нас сейчас конспирируют, так что даже своим не рассказывают.

— О побеге больше не говорили?

— Прямо о побеге не говорили, а насчет заготовки паспортов скользь разговор был. Будто бы на всякий случай, что у нас их мало, а могут понадобиться.

— Женские паспорта?

— И женские, и всякие.

— Ничего вы, Петровский, не знаете! А вы был расспросили кого-нибудь из товарищей, кто осведомленнее.

— Это не очень удобно. Да и не знает никто, кроме тройки. Станешь расспрашивать — еще заподозрят.

— Это, конечно, верно. Да правду ли вы тогда слышали про тюрьму? Может быть, одна болтовня, предположения?

— Нет, будто бы готовят.

— Кто же готовится? И как? С воли готовят или тамшние? Кто должен бежать? Там сидит несколько политических.

— Я постараюсь узнать.

— Отвратительно вы работаете, Петровский! Все эти теоретические разговоры мне не нужны, знаю лучше вас. А вы бы дело делали, добывали факты. Услыхали что-нибудь — и проверьте, постарайтесь разузнать подробности. Конечно — с должной осторожностью, если уж вам не очень доверяют.

— Я доношу, что знаю, не выдумывать же мне...

— Эх, уж лучше бы выдумывали! Горе с вами! Прямо вам говорю — так у нас ничего не выйдет. Я докладывал полковнику, он вами доволен. А вы еще о прибавке.

— Мне прибавка нужна на расходы.

— Бросьте это! Что вы меня морочите! Расходы, если действительно нужные, мы всегда оплатим, хоть тысячи; а зря и копейки не желаем вам давать. Платят за работу, а не за прекрасные глаза. Я вам вот что скажу, Петровский. Хоть я и не очень верю в этот побег, а все-таки нужно узнать точно. Мы тюрьму, конечно, не избегаем, чтобы там не напутали и напрасно не распугали. Да и вообще — это дело должно быть нашим, понимаете? Если мы с вами это раскроем, да так, чтобы поймать на месте, когда ни полиция, ни тюремное начальство ничего не знают, — вот это — настоящее дело, Петровский! И вы мне извольте к следующему свиданию точно узнать, насколько все это серьезно, а не брехня. Значит — о ком из заключенных идет речь, через кого с тюрьмой сносятся и на какой приблизи-

тельно день намечают. Вот. Узнаете — ваше счастье, тогда выйдете в люди. А если проморгаете — плохо вам будет. Но только факты, а не выдумки.

— Я никогда не выдумываю.

— Ладно. Ну, а теперь относительно рабочего кружка. Были там?

Они говорили еще с полчаса. Провожая посетителя, господин с бритым подбородком подал ему руку:

— Ну, Петровский, будьте молодцом. Главное — войдите в доверие. Предложите, например, достать паспорт, — а уж я вам помогу, будет настоящий, хороший. И еще там что-нибудь, чтобы вас считали своим, деятельным, а не сбоку припекой. Ну, до вторника!

Оставшись один, он просмотрел записи и покачал головой:

— Всему три копейки цена! Коли не врет — любопытно. А вернее — одна брехня, как часто бывает. Раз дело идет о бабах — языка бы не удержали. Ну, увидим.

У НАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

Хлопнула последняя дверь — начальница окончила вечерний обход. Сегодня она в дурном настроении: охранка дала ей знать, что, по сведениям агентуры, политические каторжанки усиленно переписываются с волей; значит — слаб надзор.

Нужно принять меры. А какие меры? Прогнать половину служащих и нанять новых? Она и без того часто меняет надзирательниц. В этом есть плюс и есть минус. Плюс тот, что новые не делают поблажек заключенным и боятся вступать с ними в приятельство; а минус тот, что еще неизвестно, на кого попадешь, и новые слишком неопытны.

Что политические каторжанки переписываются с волей — она и сама знает. Это неизбежно, и важности в этом никакой нет; плохо только, что об этом помимо нее, начальницы, знает охранка. Можно устроить обыск по камерам или разом обыскать всех надзирательниц. Такая мера ничего, вероятно, не даст, кроме общего раздражения, и в дальнейшем ничему, конечно, не помешает.

Уходя, она говорит старшей:

— Уголовным носят водку, я знаю. Если еще услышу — всех выгоню. А в восьмой номер таскают записки. Пьюмаю — и всех под суд! Скажите там.

Старшая молчит в страхе. В своем раздражении начальница не видит, что и старшая, и коридорные бродят сегодня как тени, а привратник еле держится на ногах. Одно хорошо, что начальница лично делала вечерний обход; значит, хоть ночью не явится, старая ведьма!

Она уносит с собой ключ, и тюрьма отрезана от конторы. Привратник, стараясь держаться крепче на ногах, распаивает перед ней дверь на улицу. Когда она выходит, он пьяно подмигивает дежурной:

— Г-гроза нынче!

Дежурная по конторе, единственная, не бывшая на попойке, устроенной Анютой, говорит с укором:

— Уж ступайте спать, Федор Иваныч! Едва на ногах стоите. Заметила бы — всем бы за вас досталось!

— А что я? Я — ничего!

— Уж идите. Я сама запру!

Она садится у стола перед телефоном, с тоской думая, что смена будет только в шесть утра, а сейчас десять. За день выпалась, но в тишине снова дремлет. В конторе нет лавки и негде прилечь. Дремать можно, только сидя на стуле и опершись локтями о стол. С потолка раздражающе светит лампочка, из незапертой комнатки привратника доносится пьяный храп.

Она — пожилая женщина, простая и хотя грамотная, но не обученная коротать ночи за чтением книг. На службе она четвертый год, а перед тем была больничной сиделкой. Привыкла к чуткой дреме — лежа, сидя, даже стоя. Во сне думается, а в думах спится. И тогда время ползет с привычной размеренностью, пока не забелеют окна и не потускнеет свет лампочки.

В полусне она, не видя, знает часы. Вот миновала полночь, а вот уже час. Обычные ночные шорохи. Скребется — словно бы крыса; крыс в тюрьме много, не могут вывести. Не то крыса, не то ключ: где-то дверь отворяют. Ключ долго цепляется в замке и совсем близко слышен нетерпеливый шепот. Нужно проснуться — и она действительно просыпается, но не сразу понимает, где же это? И только когда за ее спиной скрипит дверь, она вскакивает со стула и вглядывается сонными глазами. Перед ней высокая дама в черном платье — как будто начальница. Да как же она могла войти? Рядом с начальницей одна из дежурных по коридору, Анна Хвастунова, а за ними еще двое или трое.

Совсем проснувшись, она смотрит с удивлением, потом догадывается, что это не начальница, а кто-то переодетый — и в это время резко звонит телефон. Не зная, что делать, она повертывается к телефону, но ее хватают, затыкают ей рот платком, скручивают руки и вяжут ноги. Поваленная на пол, она слышит, как ровный и спокойный голос говорит:

— Да, я слушаю. Это откуда? Говорит дежурная по конторе. Это из Новинской части? Слушаю. Нет, у нас все спокойно, а что? Нет, этого у нас не может быть. Слушаю, я вызову начальницу, а только у нас все в порядке, как всегда. Сейчас я пошлю за ней.

Наташа кладет трубку и шепчет:

— Скорее! Там что-то проведали и могут явиться! Будто был приказ из охранки усилить надзор!

В конторе теперь собрались все: двенадцать беглянок и Анюта. Из помещения тюрьмы — ни звука, план выполнен блестяще: надзирательницы связаны, и путь открыт. Анюта машет рукой:

— Не нужно его! Он спит как убитый, совсем пьян. Вон храпит! Теперь скорее!

Им изумительно везет: даже ключ от выходной двери лежит на столе около телефона. Только без напрасной суеты! Выходить по двое и по трое, как условлено. За командира Наташа — и она уйдет последней, как капитан корабля. С нею Анюта. Но только не бегите, выходите спокойно и идите по улице, как будто гуляете!

После каждой пары или тройки дверь притворяется, и ждут две-три минуты. Все молчат, и сердца бьются согласным оркестром, а ухо ловит каждый звук. Наклонившись к связанной надзирательнице, Анюта тихо говорит ей на ухо:

— Ты так и лежи, не развязывайся! Тебе же лучше, что связана, не будешь в ответе! Потерпи!

Та смотрит испуганными глазами и тяжело дышит.

Теперь следующие — ты и вы две, скорее! Выходите спокойно!

Опять минуты выжиданья. На улице никакого шума, в каморке бормочет со сна привратник. Анюта с торжеством шепчет:

— Вот напился-то! Я ему подливала, не пожалела.

Ее слушают, нервно улыбаясь, но вряд ли понимают. Три ждут в очереди у двери, точно перед выходом на сцену. Анюта подбегает к тюремной двери: нет, там все благополучно, ни шума, ни голосов!

Уходят последние, и дверь за ними тихо притворяется. По улице проехал извозчик — нужно выждать. Стук колес замирает.

— Теперь — мы!

Наташа крепко обнимает и целует Анюту:

— Анюта, спасибо тебе! Мы еще увидимся.

Анюта со слезами шепчет:

— Ну, дай Бог, благополучно!

Они вместе выходят в ночь, плотно притворив дверь. Наташа машет рукой, и они расходятся направо и налево.

На улице полная пустыня и слабый свет газового фонаря. Наташе нужно пройти эту улицу и еще переулок — до бульвара; там на углу должна ждать лошадь. Сотня шагов — как сотни верст. В черном платье и черной шляпе она слилась с темнотой, но ноги дрожат и спешат — нужно себя сдерживать.

На углу бульвара свет фонаря падает на кивающую голову лошади. Человек на козлах вглядывается в темь. Наташа несмело окликает:

— Товарищ Андрей?

— Я, полезайте скорее!

Лошадь разом рвется, и копыта стучат в июльской ночи.

МАЛОДУШИЕ СВИДЕТЕЛЯ ИСТОРИИ

Летним утром Москва проснулась, зевнула и протянула руку к газетам: нет ли повода для гражданского возмущения или для тихой радости?

Поводов для ленивого раздражения всегда достаточно. Ста-

рательно, ядовитыми словами, языком Эзопа либеральные газеты поддерживают коптящий огонек гражданского недовольства; яркого пламени давно нет и в помине — костры потухли; но из-под житейского мусора все же пробивается дымок от искры, тлеющей по старой привычке. И читатель, заспанным глазом проглядывая политическую и общественную хронику, по чувству долга вздыхает.

— Возмутительно!

И вдруг — оба глаза открыты: есть повод для тихой радости! Побег двенадцати каторжанок!

Их имена незнакомы или давно забыты; их судьба занимала только их близких. Но не в том дело! Среди ленивых ощущений русского обывателя есть одно поистине святое: искренняя радость всякой полицейской неудаче, полное сочувствие каждому, кто сумел перешить закон, правосудие и исполнительную власть. Европейский гражданин помогает агентам полиции ловить карманника, — русский радуется, если агент споткнулся и разбил себе нос. И если он узнал, что некто дерзкий, кого держали в каменном мешке с семью замками, сумел пробуровать стены, сломать замки и уйти невредимо, то безразлично, преступник он или несчастная жертва, — нет большей радости для русского человека! Радости тихой, чистой и бескорыстной! Прекрасного сознания, что вот, если не я сам, то кто-то другой — большой молодец!

И какой побег! В центре Москвы, в летнюю ночь, без выстрелов, без насилия — и без следа! Канули как в воду! Просто и красиво до гениальности! Двенадцать женщин опрокинули и оскандалили целую полицейскую систему, — а уж она ли не слава в полицейском государстве!

Тихая радость обывателей выросла в бурную, когда обнаружилось, что о предстоящем побеге полиция была предупреждена. Был донос, и был указан день побега, и только час оказался неточным: думали — уйдут под утро, а убежали раньше. Помогла делу конкуренция ведомств: охранному отделению хотелось доказать свое всезнайство внезапным набегом, без предупреждения тюрьмы, чтобы не распугать заговорщиков и напасть врасплох. Все было рассчитано точно — и упущено только одно: что в день святого Владимира пристав части праздновал свои именины. Был нетрезв телефон, и были медлительны участковые служащие. Зачем-то посылать наряд к тюрьме, где никакой опасности нет, где всегда был порядок, да и сидят только бабы, — чего не выдумают эти беспокойные жандармы, любители таинственности! Испорчены именины, обижены гости. В чем дело? Не проще ли запросить тюрьму?

Оттуда ответили: «У нас все в порядке!» Даже обиделись: «У нас этого не может случиться!» Но служба службой, и только полчаса промедлил именинник, тезка равноапостольного князя, крестителя Руси.

Возможно и даже несомненно, что тихую радость Москвы отметил бы в своих скрижалях и наблюдательный свидетель истории. Но на этот раз отцу Якову было не до записи достопамятных событий.

При чтении утренней газеты он, как и другие, расплылся улыбкой в широкую бороду: «Лю-бо-пытно, лю-бо-пытно!» Приятно было прочитать, что в числе бежавших была и дочка рязанского знакомого, та самая, которой он передал от отца баночку вишневого варенья. Немножко обидно, что от этого должна пострадать почтенная и титулованная начальница тюрьмы, особа весьма любезная, — но с этим приходится мириться. Из ничтожества люди подымаются по высоким ступеням к власти и значению, но судьба человеческая капризна, и рушатся не только графские, но и королевские троны!

Когда же, в газете вечерней, появились некоторые подробности побега и было названо имя Анны Хвастуновой, молодой надзирательницы, скрывшейся вместе с беглянками, — отец Яков не только смутился, но и похолодел.

Дело плохо! А если пожелают дознаться, кто рекомендовал преступную молодую особу? Кто поручился за ее ангельскую невинность и доброе поведение? И вот тут приобретает особый, хотя и ложный, смысл визит отца Якова в тюрьму и даже баночка вишневого варенья!

«А сами вы, батюшка, чем занимаетесь?»

Сказать: «Странствую по Великой Руси, любопытствуя, как живут люди», — кто поверит? И не должен ли каждый человек быть при месте: служить обществу и государству в установленном звании и на законном определенном окладе? Не одинаково ли предосудительно пустое любопытство, равно как и бесцельное блуждание по стогнам российским? А ваше прошлое, батюшка? А что это за приютские бланки и что это за приют? И за что вам, святой отец, запрещено служение, хотя и с оставлением сана? И не есть ли вы соучастник убийств, грабежей и побегов? И с кем вы менялись сапогами? И почему посетили министра за неделю до покушения на него злодеев, из коих одна злодейка ныне бежала? И что это за тетрадочки с описанием событий не в духе указаний Святейшего Синода и правительствующего Сената? И не лучше ли тебе, зловредному попу и тайному смутьяну, внити в узилище, где и скорогашешь ты останные года, — за безмерное и неузаконенное любопытство к жизни!

Отец Яков перетрусил не на шутку! А поделиться своими опасениями не с кем — не идти же судачить на Первую Мещанскую! Храни Боже, там теперь полиция роется в девичьем сундучке! Лучше всего — от сих мест подальше. И, если возможно, подальше от Москвы.

С вечера отец Яков прибрал свой портфельчик, занес к знакомому человеку последние тетрадки летописи, уложил парадную лиловую рясу, выложил на стол, на видное место, требник и долго сожалеет, что не теплится лампадка перед иконой, тем более что нет и иконы в номере гостиницы, им снятом. Так приготовился к ночи, но спал ночь тревожно, не по-обычному, и наступившему утру обрадовался чрезвычайно. Расплатившись за постой, взял портфель под мышку и чемоданчик в руку — и отправился в обход по знакомым редакциям. Прямо и откровенно везде го-
ворил:

— Покорно прошу — не задержите с гонорарчиком, а взял бы малость и вперед! Ибо истинно стеснен необходимостью спешного отъезда по малым моим делам.

Рассчитал так: сколько будет в кармане к вечеру, на столько и отдалюсь от столицы. И если возможность будет — продлю путь даже до Сибири, сам себя сошлю! И побывать там, кстати, небезлюбопытно, ибо край богатый и гостеприимный, и также имеются газетки, противу здешних много посвободнее, не столь стеснены цензурным наблюдением, а потому живые и занимательные. Как-нибудь проживу и выжду забвения сей крайне неприятной истории.

Так и сделал, а ночью уже трясся в вагоне третьего класса, заняв верхнюю полку. Когда, укладываясь на покой, вздымал свое грузное тело на полку, она поскрипывала в железных скрепах, а нижний пассажир, смотря на закинутую над ним ногу, думал: «Штанов попы не носят, а белье, как у нас, мужское!»

Отец Яков Кампинский был и хотел быть неложным свидетелем истории; но быть ее участником не входило в его жизненные планы. Со стороны всегда виднее, и суждение человека стороннего всегда спокойнее и справедливее.

ИТОГИ

Подошла к концу третья неделя изумительного отдыха. Самое простое казалось Наташе сказочным: березовые рощи, где только что появились грибы — крепкие, малоголовые, толстоногие, которые и брать жалко, и не брать невозможно; красно-золотые листья на лесных опушках, летящая нить крепкой паутины и деревенский покой, ничем не рушимый.

Раньше это было обычным и знакомым — но раньше, до отлета из родного дома и до выхода на подмостки жизни; затем все, что в детстве было любимым, внезапно и будто бы навсегда завалилось мусором обрушенных зданий и обрывками страшных, недоговоренных слов, затянулось топкой тиной недобрых чувств и покрылось пеплом жертвенных костров. Потом — долгая тюрьма — как сон без надежды на пробужденье. Потом — новое чудо, но все еще в плоскости той же суетливой и суматошной пляски на краю кратера. И вот, на исходе последнего напряжения сил, — вдруг сразу — тишина, ничем не возмутимый покой и твердая уверенность, что край бездны остался позади и свершилось чудо возврата к простой, полноценной, настоящей жизни — к природе, ласковости леса, легкому духу полей и ясности бытия.

Что дальше?

Дальше — новый путь в неизвестное, но не по мостовым города и не через толпу людей, а через мудрые пространства России — к сказкам чужих земель. Остановить на этом пути никто не может: если чья-нибудь рука подыметься на такое преступле-

ние,— тогда эта, здешняя, жизнь пресечется и путь отклонится в полное небытие. Ни минуты не медля! Ни о каком ином выходе не думая! Не надеясь ни на какую новую удачу! И потому не страшно: пережитое не вернется.

Заботиться и думать не о чем: теперь о ней должны заботиться друзья. Наташа знала, что часть беглянок уже сплавлена за границу, с ними Анюта. Трех не повезло: они были арестованы в первые же дни, в их числе младшая из всех — больная Елена. Этот арест так напугал, что для Наташи готовили самый дальний и сложный путь, на котором труднее ждать роковых случайностей. О том, где она скрывается теперь, знал только один верный человек; пока ее запрятали во владимирскую деревню, и она жила здесь в семье простых, далеких от политики людей, пила молоко, уходила в лес по грибы, а больше лежала на траве и вела беседы с небесными барашками.

Наташа с удивлением вспоминала, что за все три года тюрьмы ей не пришлось думать о себе, о своем прошлом, о возможности какого-нибудь будущего и вообще о том, что же за жизнь она себе создала и как это случилось? Только в дни ожидания казни в Петропавловской крепости ее мысль работала поспешно и отчетливо, но как-то уж слишком отвлеченно, почти литературно, не столько для себя, сколько для других. Годы тюрьмы прошли в незаметном однообразии, бездумно, на людях, без всякой пользы и без всякого смысла. Принималось за несомненное, что вот она, как и все они, как еще многие,— жертва безобразного и жестокого произвола властей и что когда-нибудь эта власть будет свергнута, и тогда для них и для всех начнется новое и светлое существование. Так что судить себя не приходилось и, уж конечно, не приходилось в чем-нибудь каяться и о чем-нибудь в прошлом сожалеть.

Теперь ей двадцать четвертый год, и она опять на свободе. Лишить ее этой свободы нельзя, потому что тогда она лишит себя и жизни. Ну хорошо. А зачем ей жизнь и что будет дальше?

Опять партия, подпольная работа, террор, тюрьма и ожидание казни? Это совсем невозможно! Не потому, что не хватило бы сил, а просто потому, что все это уже было, и повторенье не принесет ничего, не даст даже тени прежних ощущений. Побег приподнял и расшевелил нервы; это было и ново, и очень красиво, почти гениально по своей кажущейся простоте. Чувство победы — почти наслаждение искусством! Но прошло и это. Дальше? «Кто я такая и чего я хочу?»

Она не могла найти в себе ни одного определенного желания. Знала только, чего она не хочет и не может: опять лишиться свободы.

Тогда она стала думать о прошлом, и не о себе, а о людях, с которыми связывала свою судьбу. Первым вспомнила Оленя, с чувством глубокой приязни и настоящей благодарности. Может быть, и не сложный, слишком прямолинейный и уверенный, — но какой он был цельный, верный, какой настоящий человек! Вокруг него — все на голову его ниже; одни были преданы ему,

другие шли вслепую, и еще иные могли быть с ним или против него. Были революционеры, обыватели и авантюристы. Иные аскеты и великомученики, другие — прожигатели жизни и игроки. От святых в своей вере и верности, как погибшие Сеня и Петрусь, «братья Гракхи», — до стоящих на границе между подвигом и предательством, как тоже погибший Морис, и дальше — до тех, которые под предлогом конспирации кутили по ресторанам, сорили деньгами и прикрывали лозунгами революции и максимализма личную распущенность. Между нравственно допустимым и недо-зволненным стерлась граница; одни из разбойников сораспята со Христом, а другие, катясь дальше по наклонной плоскости, дошли до предательства.

Из сподвижников Оленя уцелели очень немногие; часть их пыгается теперь раздуть последнюю искру некогда пылавшего пламени. Но их судьба предопределена: или гибель, теперь уже напрасная, или уход в обывательщину. Нет за ними ни массы, ни общественного сочувствия, ни даже прочной группы: последние могикане!

И еще думала Наташа о том, что и сама она была увлечена не далекими мечтаниями о счастье человечества (какого такого человечества?) или о благе русского народа (она знала только крестьян деревни Федоровки!), а тоже игрой в жизнь и смерть, красотью очень уж неравной борьбы. Ей были скучны отвлеченные рассуждения — ее влекло действие. В девятьсот пятом году она видела в Москве баррикады — это было изумительно, совсем как в исторических романах! И на тех же улицах видела жестокую расправу с защитниками баррикад, пожилыми и молодыми рабочими, и со случайными обывателями. На льду Москвы-реки видела много трупов и видела пожар Пресни. Нельзя смотреть на это равнодушно, можно быть либо с теми, либо с этими! Но и вопроса о выборе не могло быть для нее — он был заранее решен молодостью и прямотою: с сильными духом — против сильных оружием! С бунтом против того «порядка», который делает бунт неизбежным и идейно его оправдывает!

И дальше — как со снежной горки, без возможности оглянуться и остановиться, — день за днем и словно бы в ясном сознании, — а в полусне, в ненастоящем, — пока санки не перевернутся и не перекувырнется мир. Так и случилось. И вот она повисла над пропастью, где уже лежали разбитый Олень и еще многие.

Она спаслась и живет — но это уже совсем другая Наташа! От рязанской девушки — только темная коса и голубые глаза. Ощущение такое, словно между бровями врезалась глубокая морщина, а за плечами мешок, наполненный песком. Уже нельзя вполне слиться с миром и в нем раствориться, как бывало раньше. Теперь мир — особо, и она — особо и смотрит на него издали и с недоверием.

Может быть, теперь начнется жизнь новая. Но пока она придет, нужно долго пробыть только зрителем, не делаясь участником.

Как хорошо начинать с деревенского отдыха! Еще несколько дней — и он кончится. Тогда — в путь!

В ПУТИ

Даму в черной вуали, молодую вдову, никто не провожает. Она едет в отдельном купе спального вагона и выходит в Нижнем Новгороде. Носильщик несет за ней небольшой чемодан, обернутый в парусину. Извозчик везет ее на пристань пароходства Курбатовой, где она занимает каюту первого класса.

Прекрасный и сильный пароход, но буксирный: за ним бежит огромная желтая баржа — от Нижнего до Перми. Такими пароходами плывут только те, кто не торопится или очень экономен. Поэтому классных пассажиров почти нет. Зато превосходный буфет — гордость пароходства. Стерлядь подается на большом блюде, по желанию — разварная или кольчиком. На пристанях долгое ожиданье: сначала пароход с необыкновенным искусством и точностью подводит к пристани баржу, затем пристает к барже сам. У пассажиров достаточно времени, чтобы погулять по берегу, побывать в приречном городке или местечке, купить полную наберушку ягод, выбрать не спеша арбуз с красным вырезом.

Траур дамы — невинный маскарад, привычка к таинственности. Здесь никакой маскарад не нужен, так как не от кого прятать лицо. Поэтому, пользуясь последними теплыми днями, дама оказывается в летнем платье, совсем не модном, из домотканой холстинки с вышивкой крестиком; платье ей очень идет и молодило бы ее, если бы и без того она не была очень молода. На шее простые бусы, на голове голубой шарфик, под цвет глаз — чтобы ветром не трепало волосы.

С первого момента в нее влюбились два пассажира первого класса: судебный следователь и старший приказчик чайной фирмы. Следователь едет с женой, которая его ревнует; приказчик одинок, свободен, но застенчив; за обедом, за ужином и среди дня ему подают замороженный графинчик водки и на закуску раков. Он пьет, но застенчивость его не проходит.

В Нижнем дама, еще не расставаясь с вуалью и не выходя на палубу, из окна пароходной рубки простилась с берегами своей родной Оки; теперь пароход режет желтоватую и радужную от нефти Волгу; затем будет Кама — стальная, многоводная и немного мрачная. Вместо обычных трех суток буксирный пароход тратит на перегон пять. Для того, кто не спешит, не любит тесноты и ценит хороший буфет, такой неторопливый путь по реке — настоящее наслаждение. По вечерам уже холодно, но днем, при солнце, не хочется уходить с палубы. Пароход делает один из своих последних рейсов.

В Пьяном Бору трехчасовая остановка. С палубы влюбленный приказчик видит, как дама в голубом шарфике по-мальчишески карабкается вверх по обрыву крутого берега — к лесу. Робость

не позволяет ему последовать за ней, да это и неудобно для представителя известной чайной фирмы. Следовательно покупает на пристани наберушку белых грибов — повар приготовит. За следователем зорко следит жена.

Наташа наверху, над рекой, на опушке векового бора. Оттуда пароход кажется маленьким, а река — беспредельной направо и налево. Целый лесной и водной мир, удивительно красивый. Это уйдет и, может быть, никогда не вернется.

Она ложится на нагретую солнцем и все-таки прохладную осеннюю траву и не знает, плакать ей или смеяться. Она сразу и несчастна, и счастлива, и она ужасно одинока. Она рада, что путь ее долог — через Сибирь и Китай, океаном и морями в Европу — совсем необычный путь, на котором теряются всякие следы. Может быть, такая предосторожность излишня или даже опасна — путь дальше, и в нем больше случайностей, — но зато можно долго прощаться с Россией, которую она так плохо знает и впервые видит по-настоящему. Она, пожалуй, согласилась бы ехать так всегда и ехать никуда; но радостью созерцания не с кем поделиться, а в минуту раздумья — некому поведать сомнения.

Она входит в лес и слушает тишину. Много грибов и целые заросли брусники. Лес хвойный и стоит, как стоял всегда, никем не чищенный и не рубленный. Вероятно, тут много зайцев, а может быть, водятся медведи. Лес не ласковый, как в средней России, а строгий и серьезный.

Она повертывается, чтобы идти обратно к обрыву, — но не уверена, правильно ли идет: в густой заросли нет просветов, а солнце стоит высоко над верхушками деревьев. А вдруг она заплуталась? Как все прикамские леса — и этот тянется на сотни верст без единого жилища. Но если даже она выберется — тем временем пароход уйдет, и она останется без денег, без бумаг и в невозможности открыть, кто она такая и куда едет.

Она, всегда такая смелая и спокойная, пугается безмерно и хватается за грудь. В эту минуту слышит первый свисток парохода, совсем слабый и отдаленный. Это — спасение! Она бежит на звук — и деревья редеют просветами; она была только в сотне шагов от опушки и обрыва. Как страшны здешние леса!

Пароход снова гудит, созывая пассажиров, и Наташа, еще раз оглядев горизонт, почти скатывается вниз, презирая крутизну, и приходит на пристань одной из последних, — перепачканная травой и глиной. Приказчик, набравшись храбрости, заговаривает:

— Изволили побывать на самом на верху-с?

Наташа весело отвечает:

— Изволила. Там так хорошо, что уходить не хотелось.

— До Перми едете?

— Еду до Перми.

— Катаетесь для-ради удовольствия?

— Катаюсь.

Приказчик хотел еще прибавить «погода отменная» или «прекрасный воздух», но передумал и сказал:

— Нынче можно кушать пьяноборских!

— Кого?

— Пьяноборских! Здесь раки первый сорт, на всю Россию. Наташа, думая о своем, говорит:

— Да, это хорошо!

— Да уж чего же лучше-с! Сейчас икра внутри!

Чтобы не рассмеяться, Наташа спросила:

— А откуда такое название — Пьяный Бор?

— От горы-с. Такая тут гора, по-татарски Пень-джар. А по ту сторону реки другая гора, и называется Девичья гора. Будто жили две девицы, одна на этой горе, а другая на той, и будто по утрам они передавали друг дружке гребень. Такие богатырские девицы. Однако одни только рассказы, а быть того не могло.

— А почему же все-таки — Пьяный Бор?

— Вернее всего, от ягоды. Тут растет такая ягода. Кто поел, тот и пьян. Вроде дурмана. Конечно — название несообразное.

Ночью на перекатах красные огни, а иногда из темноты рождается костер встречного запоздалого плота — гонят его откуда-нибудь из Чердыни, и он вьется по реке змеей. Или беляна, огромный плавучий замок, сложенный из свежего теса, — и вот, осветившись за минуту пароходными огнями, он ныряет в темноту белым кружевным призраком.

На пятые сутки — Пермь, и, без передышки, опять поезд. Жалко проститься с рекой, но впереди Урал, и в этом большое утешение.

Сдав свой чемодан носильщику, дама в трауре сама берет в кассе билет до Иркутска. Рядом с окошечком кассы стоит жандарм. Очередь невелика, и жандарму нечего делать; он рассматривает даму и лениво думает: «То ли по мужу, то ли маменьку схоронила; видно — нездешняя; сейчас публика с парохода».

Вагон ровно постукивает на каждой скрепе рельс. Рельсы проложены то по черной и жирной земле, то по горным породам. Все, что есть на земле дорогого и прекрасного, — все родилось и добыто из земли: деревья, цветы, алмазы, платина, мрамор — все, что живет и что считается неживым. Рельсы бегут над источниками жизни и неисчислимых богатств. Земля вздрагивает, и в ней вздрагивают руда и каменный уголь, откалывается многоцветная яшма, круглятся почки малахита, слоятся слюда и, притворяясь серебром, крошится свинцовый блеск. Рядом с топазом поблескивает зелено-золотистым огнем красивейший из камней — мягкий хризолит и вдруг вспыхивает в своей порочной трещине красным заревом, более красным, чем блеск граната. Все это попрыталось под корни кедров, елок, пихт и кустарников, купается в подпочвенных водах и мелким песком сбегает по руслу бесчисленных ручейков.

Это — Урал. Это — Россия, знакомое слово огромного и неясного смысла. Наташа смотрит в окно вагона, и перед ней быстрым парадом мелькают лиственницы и старые ели, а за ними,

на дальних планах, не спеша проходят и округло повертываются отряды других хвойных.

И в первый раз с полной ясностью Наташа понимает, что ее молодость была погоней за ничтожным, незначущим и ненужным. Потому что все равно, какой человек подписывает листок бумаги в комнате большого города и что в этом листке написано казенным канцелярским языком. И совсем неважно, о чем совещаются люди в обширной зале и кто кого берет за горло и швыряет в яму. И неважно это, и ненужно, и смешно. Можно закрыть глаза, лечь, спать день и ночь, дни и ночи,— а деревья будут так же мелькать, горизонты медленно меняться, вершины холмов и гор поворачиваться на оси и уходить за край оконного просвета. Извиваясь, поезд сойдет в низкую долину, скользнет мимо жилых мест, задержится у станции — и побежит опять, звонко отсчитывая мосты и ныряя в туннели.

Это и есть Россия, придуманное имя, не народ, не государство, а необъятное пространство лесов, степей, гор, долин, озер и рек.

Кто-то простер руки в пространство и говорит: «Оно мое!» Но он не может обхватить даже ствола одной сосны, его пальцы не сойдутся! И если все миллионы людей, живущих в стране, возьмутся за руки и образуют цепь,— они охватят только один из ее лесов!

И вот этот бескрайний край хотят осчастливить, обнеся его точными границами, назвав его государством, посадив над ним правителей, дав ему парламент, оскорбив его сравнением с европейскими карликами! Разве можно им управлять, писать для него законы, строить тюрьмы и думать, что вот именно этот костюмчик ему впору и к лицу! Детская наивность! Как странно, что ни она, Наташа, ни Олень, никто из их друзей и их врагов об этом не подумали! Может быть, тогда они не захотели бы умирать и убивать, удобряя телами слишком ничтожный кусочек земли?

От Челябинска, где пересадка, начинается Великий Сибирский путь. За Уралом чувствуется близкая зима. Поезд из России пришел, но до его отхода еще много времени. Дама в пальто и траурной шляпе рассматривает в станционном киоске вещицы кустарного изделия: литые из чугуна фигурки, тарелочки, пепельницы, статуэтки, подсвечники. Рядом с ними — коробочки из яшмы и малахита, печатки из горного хрусталя и дымчатого топаза, горки уральских камушков, Евангелие из куса соли, мужичок из мха и еловых шишек, сибирские туеса из бересты с блестящими фольги и еще много красивого и любопытного. Нужно купить что-нибудь на память и потом, за границей, смотреть с умилением. Наташа берет ажурную тарелочку и чертика с необычайно длинным хвостом, показывающего нос. За спиной слышит мужские голоса:

— Это — каслинских заводов?

— Тут и каслинских, и кусинских. Все наши кустари, а отливают по хорошим моделям. Не бывали в тех краях?

— Проезжал, а бывать не случилось.

— Ежели доведется — обязательно загляните. Простые мужики — а вон как работают. И в Европу посылают! Любопытно!

Разговаривают высокий пожилой человек в теплой дорожной куртке и сапогах и толстый священник в какой-то несообразной хламиде поверх рясы: не то — пальто, не то — дамский салоп. Лиц Наташа не видит.

— А вы, батюшка, видно, хорошо знаете Россию?

— Хорошо ее знать невозможно, велика. А конечно — много покатался по малым моим делам. Вот и в Сибирь еду, и там живут люди. Мир велик, а жизнь наша коротенькая, всего не перемотришь. А вы в Иркутске не задержитесь?

— Только на неделю; меня ждут за Байкалом члены нашей экспедиции.

Расплатившись за вещицы, Наташа отошла от киоска. Господин в куртке вежливо посторонился, потом сказал собеседнику:

— Приятное лицо! И довольно красивое.

И вдруг с удивлением заметил испуганные глаза и открытый рот священника.

Слово замерло на устах отца Якова. То ли ошибка, то ли подлинный кошмар, а то ли — она и есть, Сергея Павловича беглая дочь!

Сильно покраснев, отец Яков пробормотал:

— Лицо... действительно, поистине примечательное! Особа заметная!

Распахнул хламиду, вынул клетчатый платок и вытер нос, повлажневший на холодном воздухе.

СПУТНИК

В купе второго класса спутником Наташи оказался господин в серой дорожной куртке и высоких сапогах. Сразу познакомились, и он назвался Беловым Иваном Денисовичем. Едет в Иркутск, потом в Монголию. Наташа сказала, что едет тоже в Иркутск к родственникам и что в Сибири она в первый раз.

— А вы — сибиряк?

— Нет, я родом саратовец, а еду в командировку, с научной экспедицией.

— Вы — профессор?

— Да, я геолог.

Рассказал, что в Сибири бывал много раз, бывал и на Амуре, и на Крайнем Севере, и в ведомых и неведомых местах; а теперь предстоит очень интересное путешествие: в Среднюю и Южную Монголию, через Центральную Гоби на озеро Куку-Нор.

— Вам эти имена ничего не говорят?

Наташа призналась, что ничего.

— Места удивительные и почти совсем не обследованные.

— Гоби — это, кажется, пустыня?

— Это, скорее, целая область пустынь в Нагорной Азии, от Памира до Китая.

И он словоохотливо объяснил, что есть большие пространства песков, называемые Та-Гоби, и есть малые — просто Гоби, и еще есть Гоби с особыми названиями. Но не вся Монголия — пустыня; есть в ней степи, горы, озера, места по природе прекрасные. И есть в ней мертвые города, где когда-то жили люди, а теперь одни развалины. И культура там была довольно высокая.

Рассказывал интересно, и было видно, что для него в таких путешествиях и изучениях — основной смысл жизни и главная ее приманка. Ему было приятно, что нашел внимательную слушательницу, хоть и совсем несведущую, но способную понять.

С деликатностью человека, вообще не привыкшего болтать о личных делах, Белов не расспрашивал Наташу, почему она едет в Сибирь и кто ее родственники в Иркутске. О себе упомянул вскользь, что есть у него жена и уже взрослые дети. Зато много говорил о местах, через которые проходил поезд: о сибирских реках, о тайге, об охоте, о характере здешних людей — совсем особенном, более открытом, предприимчивом, широком. Мимо окон вагона пробегали горы, которые он знал, мелькали леса, о которых он мог все рассказать, и не как старый путешественник, а как ученый, который со всем этим так же сроднился, как Наташа с деревней Федоровкой и берегом Оки. Старался говорить понятнее и следил по лицу слушательницы, занимает ли ее такой разговор, — и видел, что она слушает с живым интересом.

За путь от Челябинска до Омска успели подружиться и оценить друг в друге: он — ее внимательность, она — его знания и милую простоту человека, который никогда не бывает назойливым и рад быть полезным. По возрасту он годился Наташе в отцы, но ни разу не позволил себе покровительственного тона.

На станциях Наташа выходила из вагона неохотно. В Омске была долгая остановка, и они вышли вместе и пообедали в станционном буфете. Заметно холодело, по ночам слегка морозило. Наташа была одета легко, рассчитывая обзавестись всем нужным в Иркутске. Вероятно, она была единственным пассажиром, который ехал в такое дальнее путешествие с таким легким багажом: точно переезжала с дачи в город.

У самого вагона с ее спутником раскланялся толстый священник. Белов его окликнул:

— Ну как, батюшка, хорошо ли едете?

— А прекрасно, прекрасно! Вагон теплый, удобный вагончик. И местности прелюбопытные! Страна наша обширная!

Отец Яков говорил издали, близко не подошел. Наташа взглянула на него — и в ее памяти мелькнуло то же лицо, но в совсем иной обстановке. Что это за поп? Где она его видела? И не только его лицо, а и голос его как будто знаком. Меньше всего она хотела бы встретить здесь знакомого человека; но решительно не вспоминала среди своих знакомых священника.

Войдя в вагон, села у окна. Под окном ее спутник разговаривал с подошедшим священником, и до ее слуха донеслись слова:

— До новых мест я действительно жаден! И до мест новых, и до новых человечков! Жизнь-то коротка, все нужно посмотреть!

И внезапно Наташа вспомнила огромный зал Государственного совета, места для публики, рядом — Олена с моноклем в глазу, а по другую сторону попа в лиловой рясе, с живыми любопытствующими глазками на плотном и мужиковатом бородатом лице.

«Неужели — тот самый? Почему он тоже едет? Что за странная случайность! Во всяком случае, неприятная!»

За долгий кружной путь Наташа привыкла к мысли, что теперь она уже вне опасности. Ее могут искать где угодно, но, конечно, не в Сибири! Еще может быть опасность на границе, хотя и далекой, но случайность в пути как будто исключена: слишком велика Россия!

Голос ее спутника говорил под окном:

— В Иркутске будем только в среду, батюшка.

— А мне что ж, я кататься люблю!

— На Байкал не собираетесь?

— А уж обязательно. Побываю, полюбуюсь красотой!

— Заходите в вагон поболтать.

— Забегать можно, хотя по положению моему — третьеклассный пассажир. А зайду, зайду уже в пути.

Белов вернулся в купе, улыбаясь.

— Курьезный попик! Каких только у нас нет людей!

— Вы его знаете?

— Я с ним еду от Самары, и на станциях беседуем.

То ли — бесприходный, то ли едет по делам. Говорит — любит кататься и смотреть русскую землю. Дал мне несколько брошюрок своего пера; с собой возит. Занимается фольклором, разными местными примечательностями. Написано плоховато, а занимательно; видимо, много перевидал и все это любит. Вот придет сюда — поговорите с ним, любопытный поп!

— Я не люблю духовенства.

— Да ведь что ж его любить... Но знаете, попадаютя среди провинциальных, особенно среди сельских батюшек, и хорошие, и очень интересные люди. Есть даже замечательные ученые. Вы вот проезжали по Пермской губернии; там в одном селе живет простой священник, которого даже в Европе знают как талантливейшего математика. А вот вы, русская, вряд ли имя его слышали...

Поезд опять тронулся, и Наташа подумала, что с таким спутником дорога не может быть утомительной.

ДОРОЖНЫЕ БЕСЕДЫ

Отец Яков мог бы чувствовать себя совсем счастливым: новые места, новые люди и красота природы несказанная — все,

что требовал его беспокойный, бродяжнический дух. В Самаре, куда он попал прямо из Москвы, он отлично устроил свои малые дела и раздобыл денег гораздо больше, чем мог надеяться. Там в земстве оказался пре-вос-ходный и про-све-щенной-ший человек, сам по природе бродяга и страстный любитель разных бытовых примечательностей, которыми занимался отец Яков. Два вечера проговорили о Пошехонье, о тульских медниках, вяземских прянишниках, уральских кустарях, архангельских сказителях, владимирских офенях, серебряных блюдах сасанидской династии, найденных в прикамских курганах, о теплоуховской коллекции, зырянах и вогулах, старце Кузьмиче и еще о многом, что им было ведомо и дорого и о чем ученые узнают только от местных простачков. В заключение отец Яков не только пристроил готовые статьи, которым не нашлось места в столичных изданиях, а даже получил аванс за две книжки, написать которые обещался незамедлительно: одна «По местным музеям Севера», а другая — «Дурачки, юродивые и кликуши по теченью Волги от истоков до устья». Удача исключительная! Впервые труды отца Якова были оценены знающим и про-све-щенной-шим человеком! И еще было ему обещано устраивать в трех газетках, в Самаре, Казани и Нижнем, его будущие «Заметочки землепрохода». Наконец, новый знакомый предложил свидетелю истории хранить в своем архиве, в полнейшем секрете и в неприкосновенности, все тетрадошки «Летописи отца Иакова Кампинского», каковые он и должен отовсюду выписать, привести в порядок и передать в запечатанном виде, чтобы, в случае какого несчастья, все полностью осталось для потомства.

Это уж не просто удача, это — истинное счастье! И с деньгами в кармане широкой рясой отец Яков погулял в поезд и направился по Великому Сибирскому пути. А в портфеле его прибыло много новых и самонужнейших адресов и рекомендаций.

И в пути повезло: познакомился с отменным ученым и приятнейшим человеком, членом экспедиции в Монголию от Географического общества. Ехали, правда, в разных вагонах, но на многих станциях встречались и вступали в беседу.

И лишь одно омрачило прекрасное настроение отца Якова: в тот же поезд села в Челябинске молодая особа, как будто та самая, которую он видел в Петербурге в высоком учреждении и которая очень уж была похожа на преступную дочь рязанского доктора, ныне находящуюся в бегах. Вот странная судьба! От чего бежал — с тем и встретился! А если это она, и если ее в пути обнаружат и заберут, и если окажется тут же поблизости запрещенный поп, передавший ей в тюрьму баночку варенья, и если сопоставят, что это он и пристроил в ту же тюрьму сироту Анюту, — хотя и не виноват он, а кто поверит, что все это является делом чистого случая? И так как безумная храбрость не была в числе добродетелей отца Якова, то на душе его было несколько тревожно: как бы не вышло неприятной истории!

И тревожно, и, однако, весьма пре-лю-бо-пытно! Можно бы

без труда задержаться в пути денек и поотстать,— но и загадку разгадать очень хочется! Может случиться, что раскроется она без всякого риска и жизненных осложнений. Впрочем, отец Яков и без того почти не сомневался, что с ним в поезде, печальным трауром прикрывшись, едет страждущего родителя отчаянное дитя. Кого видел раз, того отец Яков не забывал; а дочку Калымова, когда она была, правда, еще помоложе, отец Яков видел не раз, это только она могла его, попа, запомнить, а он не из таких. И в Питере была она же парадной барыней, и тут она же в черной вуали! Ошибиться трудно!

После Омска, выждав контроль, отец Яков, всегда осторожный, спросил кондуктора:

— А что, милый человек, если пройду я в помещение второго класса повидать приятеля,— с билетиком недоразумения не выйдет?

— Отчего же не пройти, батюшка, пройдите, у нас не строго.

— То-то я думаю, чтобы штрафа не уплатить потом!

— Проходите свободно. Это которые едут зайцем, а вы лицо духовное.

Сообщения между вагонами не было, и на ближайшей станции, подобрав полы ряс, отец Яков занес ногу на лесенку вагона второго класса.

«Сам ты, поп, в огонь лезешь! А впрочем, может статься, что ничего особенного, а одно недоразумение».

В купе было двое — Белов и дама. Отец Яков поклонился, в глаза даме не глядя, и произнес с пермяцким оканьем:

— А роскошно, роскошно живете! Диваны мягкие и все удобства. Хороши наши дороги, говорят — лучше европейских.

— Присаживайтесь, батюшка. Вот и со спутницей познакомьтесь, тоже в Иркутск едет.

— Очень приятно! Яков Кампинский, священнослужитель и землепроход.

Наташа поздоровалась без особой приветливости.

— Удовольствия ради или родственников имеете в сибирской столице?

Спросил совсем как тогда: «Родственников имеете в Государственном совете?» И она ответила:

— Еду ненадолго к родным.

— А откуда изволите ехать?

Что она ответила ему тогда на такой же вопрос? Кажется, что она москвичка!

— Еду из Москвы.

Отец Яков прикинул в голове, что путь из Москвы словно бы попроще и нет надобности пересаживаться в Челябинске с северного поезда. Но дело не его, могли быть у молодой особы заезды в другие города.

— Вопрос нескромный — имели тяжкую потерю? Говорю в рассуждении печального наряда.

Назойливый, однако, поп! Наташа сказала, что у нее умер муж. Отец Яков выразил соболезнование, прибавив, что людям

посылается испытание, но что годы приносят если не забвение, то утеху в невознагражденной потере. Еще поллюбопытствовал:

— По имени-отчеству как звать прикажете?

— Ольга Сергеевна.

«Сергеевна — это точно, — подумал отец Яков. — Но помнится, что скорбный родитель называл Натулей, значит, Наталья. И одно-ко, возможно и недоразумение. Держится уверенно молодая особа!»

И вдруг она сама, прямо и без робости, сказала:

— А я вас, батюшка, кажется, раньше встречала, только не помню где. Словно бы в Петербурге на каком-то заседании. В Петербурге вы не бывали?

От неожиданности отец Яков смутился и ответил уклончиво:

— Кто же не бывал в сей столице! Град Петров и окно в Европу. По малым моим делам бывал повсюду, а где не бывал — норовлю побывать.

А про себя подумал: «А смела, смела!»

Прогромыхал мост, и заговорили о сибирских реках, об Енисее и Оби, и о том, что река Лена в своем устье достигает ширины в несколько сотен верст, так что, собственно, и представить трудно: на таком пространстве в Европе уместается целое государство. Белов рассказывал про озеро Байкал, как в большие морозы на нем замерзают при всплеске волны, да так и остаются замерзшими громадами до оттепели. Говорили о рыбе кете, которая поднимается вверх по течению рек в таком несметном количестве, что вываливается на берега и служит пищей разному зверью, о Приамурье, где зима суровая, а летом растет виноград и где в кедровых лесах, увитых лианами, водятся тигры, — и вообще о чудесах и богатствах Сибири. Все это Белов видел, а Наташа и отец Яков постигали русейшими своими сердцами и, постигая, — гордились, что вот она какая, Россия, шестая часть света! В разговорах забыли про малые свои дела и личные беспокойства: И совсем нечаянно, увлекшись, Наташа сказала:

— А вот у нас, на Оке...

Спohватилась и добавила, что это ей рассказывали, как однажды на Оке, под Рязанью, поймали мужики огромную белугу. Отец Яков и глазом не моргнул, только погладил бороду:

— Бывает на российских реках всякое, и однако, супротив сибирских они много помене.

Но в дальнейшем замолчал, а на ближайшей станции, попрощавшись, пересел в свой вагон.

— Портфельчик там у меня остался, а народ садится всякий. И дело к вечеру — подремать в пути не грешно. Прощенья просим!

В стороне остался Томск, миновали Красноярск, Канск. Нижнеудинск и к концу многодневного пути подъезжали к Иркутску. Совместное путешествие сближает, и Наташе казалось, что она давно и хорошо знает Ивана Денисовича. Он не только

интересный человек, а и удивительно тактичный. Много раз имел повод задать ей какой-нибудь вопрос, на который ей было бы трудно ответить, пришлось бы выдумывать ответ, — и ни разу он этого не сделал. Спросил только, где она училась; она ответила, что была на курсах в Москве и Петербурге, и больше он не расспрашивал. А между тем именно такому человеку можно, по-видимому, во многом довериться.

За час до приезда он спросил:

— Вы что же, останетесь в Иркутске надолго?

Она помедлила с ответом, потом сказала:

— Я и сама не знаю, Иван Денисович, это не от меня зависит.

Открыться ему? Наташа вдруг почувствовала, что здесь, в огромном крае, под чужим именем, без верных друзей, с одним каким-то адресом в памяти (она не смела записать адреса), она одинока и незащищена. А если адрес неверен, или этот человек уехал, или, еще хуже, арестован? И вдруг, от простой случайности, сибирские просторы сузятся до четырех стен камеры, граница опять станет смешным мечтанием, и опять появится на стене календарь с зачеркнутыми цифрами! И чудо исчезнет и окажется сном!

Она повторила:

— Да, к сожалению, это зависит не совсем от меня. Сама не знаю, что со мной будет.

Он промолчал, не расспрашивал, но посмотрел с любопытством. Наташа продолжала:

— Мне бы нужно ехать дальше, совсем дальше!

— Да куда же дальше? Во Владивосток? Или прямо в Китай? Вы и так далеко заехали от Москвы.

— В Москве мне делать нечего. Мне и нельзя возвратиться в Москву. Можно вам открыть одну личную тайну?

Он очень серьезно и очень участливо ответил:

— Пожалуйста, если вам нужно и если доверяете.

— Я вам вполне доверяю. Мы с вами знакомы мало, но вы такой человек, что невольно доверишься. Дело в том, что у меня в Иркутске никаких родственников нет и сама я не та. То есть я вовсе не вдова, и зовут меня иначе, и вообще... Одним словом... Вы не слыхали про побег двенадцати каторжанок из московской тюрьмы?

— Я в политических делах слаб. Но что-то, кажется, читал. Это было нынешним летом?

— Да, в июле.

— Кажется, с помощью надзирательницы? Что-то довольно эффектное и очень удачное?

— Ну вот. Я, Иван Денисович, одна из них.

Белов посмотрел с еще большим любопытством.

— Так. На каторжанку вы не похожи. Вот какая история...

— Теперь мне нужно уехать за границу. Там меня не решились переправить, а здесь хотят попытаться через Китай. Но у меня еще нет даже заграничного паспорта.

Помолчали. Потом он рассмеялся:

— А зачем вы об этом рассказываете? Пожалуй, не следовало бы!

— Я и сама не знаю зачем. Просто мне захотелось вам довериться. Вы такой человек...

— Болтать я, конечно, не стану. А вот чем же вам помочь? Средства у вас имеются на поездку?

— Да, денег у меня достаточно, даже много. А мне нужно....

Что, собственно, ей нужно? Ей было нужно рассказать о себе этому пожилому, уверенному, внимательному и верному человеку — вот и все. А зачем нужно — она и сама не знала. Действительно, она поступила как девочка, взяла и покаялась! Все время одна со своими думами и опасениями, а тут еще этот поп... Что ждет в Иркутске — неизвестно, и рядом ничьей дружеской поддержки и помощи. Наташа смущенно молчала.

— В Китай, видите, проехать нетрудно, но каким путем? Вы как предполагали?

— Я ничего не предполагала. Я думала — просто с паспортом.

— Но ведь на границе есть же наблюдение. Может быть, вас узнают! Есть там своя полиция.

— Вот я этого и боюсь, хотя говорят, что здесь легче. У меня есть явка в Иркутске, может быть, мне устроят.

— Ну что ж, давай Бог. Вы, я вижу, смелая!

— Была смелая, а сейчас и сама не знаю.

— В случае чего, если не устроитесь, попытайтесь найти меня. Я пробуду в Иркутске неделю, затем в Верхнеудинск, а оттуда наша экспедиция двинется в Монголию. Вы запишите мой адрес.

— Я запомню, я ничего не записываю.

— Ну, запомните. И в случае чего... Надо вас как-нибудь вывозить.

— Вы правда мне поможете, Иван Денисович?

— Это уж не знаю, но ведь не пропадать же вам!

Подумавши, прибавил:

— Может быть, на Кяхту. Вы физически здоровы?

— То есть как? Я ничем не больна.

— Я насчет выносливости. Верхом умеете ездить?

— Да, я ведь жила в деревне.

— Ну, деревня — это не то. Так вот, в случае чего — наведитесь. А пока — не очень откровенничайте. Вы и отцу Якову думаете исповедоваться?

Наташа ответила серьезно и озабоченно:

— Ему — нет. Но я боюсь, что он знает больше вашего. Во всяком случае, я его знаю, он хорош с моим отцом и знал меня еще девочкой.

Как ни был удивлен почтенный геолог признанием спутницы, но при этой новой неожиданности удивился еще больше:

— Вон как! Ну, знаете...

ГОРОДОК БОЛТЛИВЫЙ

В Иркутске первый снег, хотя еще тепло. На другой день по приезде Наташа отыскала нужных людей и была встречена не просто приветливо, а почтительно, как героиня и революционная знаменитость. Ее неприятно поразило, что об ее приезде знали многие и, очевидно, большой тайны из этого не делали. Конечно, Иркутск не Москва, полицейский аппарат действует здесь медленнее, но и город меньше, так что новый человек больше на виду.

Прежде всего пришлось позаботиться о теплой одежде; в краю суровых морозов и пушного зверя это не оказалось трудным. Зато о главном, о хорошем заграничном паспорте, ей прямо ответили:

— Да откуда же взять? Здесь у нас невозможно, нужно было раньше позаботиться! Попытайтесь как-нибудь так проехать, но нужно хорошо знать дорогу, а зимой трудно. Да почему же вы избрали такой сложный кружной путь, через Азию?

— Ничего я не избирала, за меня избрали другие. Было несколько арестов при переходе границы, связи порвались, а ехать под чужим именем обычным путем мне нельзя, меня легко узнают. Вот и придумали, что я поеду через Дальний Восток, где уж, конечно, никто меня не выследит, и что вы достанете мне хороший паспорт.

— Невозможно! У нас теперь совсем другие условия! На восточной границе надзор строгий, многие бегут с каторги и с поселения. А главное — зима, время неподходящее.

Наташа не на шутку рассердилась: выходит, что товарищи ее подвели и только сбывли с рук. Не оставаться же в Сибири и ждать здесь ареста! При здешней простоте революционных нравов через неделю весь город узнает о посещении его такой «важной особой!» Или ехать дальше по таким же адресам, от этапа к этапу, пока не окажешься в ловушке.

В хлопотах прошло дней пять, и дело не двинулось. Мало того, ее предупредили, что нужно быть осторожной и меньше показываться на людях; и относительно ночлега затруднительно. Жить в гостинице, конечно, нельзя, а частные квартиры тоже небезопасны. Это прежде было просто, а сейчас все переменялось. Главное — нельзя вполне доверяться людям.

Однажды встретила на улице своего попутчика, отца Якова, который сразу ее узнал, хотя она и прятала лицо в мех новой шубы.

— Вот Господь-то и привел встретиться. Каков город-то, прекрасный городок! И, однако, морозно-морозно!

На отце Якове была огромная, не первой молодости доха и высокая меховая шапка. Нос его был краснее обычного.

Наташа, поздоровавшись, хотела пройти, но отец Яков преградил ей дорогу и быстро и путано заговорил, опасно оглядываясь по сторонам:

— И не велик город Иркутск, а все же — сибирская столи-

ца! Народец хорош, основательный, но и поговорить любит. И лишнего тоже немало говорят! Сейчас посетил редакцию местной газетки и наслушался там всякого. И знают все, и болтают про все: кто приехал, да зачем приехал, да кто куда собирается,— народец любопытствующий и болтливый. Осуждать не хочу, однако нехорошо!

— Про кого болтают, батюшка?

— Про разных людей, про всякого человека. Мне-то ничего, а иному, например, и неудобно. Иной, может, и не хотел бы. И не со зла болтают, а по крайнему легкомыслию, один другому по секрету, а тот следующему. Такой городок — провинция! А глядишь — что-нибудь неприятное и выйдет. Хотя дело, конечно, не мое. Ивана-то Денисыча, содородника нашего, не видали?

— Нет. А он еще не уехал?

— Должен быть здесь, а точно знать не могу. И однако — прошу прощенья, что задержал. Приятно было встретиться! Городок, говорю, хороший, а заживаться в нем не для всякого интересно.

Низко поклонился, сняв и снова нахлобучив шапку, и заспешил, шаркая огромными кожаными ботами.

Наташа удивилась: «Зачем он рассказал про какую-то болтовню? О ком? Не обо мне же? Странный поп!»

Вечером пошла по адресу, который дал Белов. Застала его дома за укладкой чемоданов и каких-то вьюков. Он встретил очень приветливо.

— Ну, как ваши дела?

— Плохи, Иван Денисович. Потому и пришла к вам.

— Без этого не пришли бы?

— Мне по гостям ходить неудобно, вы знаете.

— Но все-таки — как же?

— Помогите мне.

— Я так и ожидал. Геройские подвиги — это одно, а деловые хлопоты — другое. Значит, окончательно ничего не получается?

— Окончательно. То есть ничего определенного. А ждать я не могу.

— Понимаю. Тут, между прочим, ко мне забежал этот поп, отец Яков, и что-то болтал не очень связное насчет городских сплетен, что иной и под чужим именем не может скрыться и что таким людям лучше здесь и не жить. Я подумал — не про вас ли он говорит? Может быть, что-нибудь слышал, а прямо сказать не может.

— Он и мне то же говорил, я его встретила.

— Ну вот видите. Это он неспроста — поп хитрый. Болтает по редакциям, а там всякие слухи ловит. Лучше вам уехать.

— Я затем и пришла.

Подумавши, Белов спросил:

— А вы языки-то знаете?

— Только французский.

— Ну, хоть это. Как же я вас должен теперь звать?

— Зовите меня просто Наташей, конечно, не при других.

— Ну, Наташа, только условие: чтобы никто ничего не знал, особенно из ваших здешних друзей-заговорщиков! Обещаете?

— Конечно.

— Это — в ваших же интересах. Я о вас тут думал и соображал. Окончательно выясним по пути; может быть, до Кяхты выдадим вас за иностранную туристку, там увидим. Но вам нужно хорошо экипироваться, путь трудный; это стоит недешево.

— У меня денег хватит. Значит, вы меня берете с собой?

— Да ведь куда же я вас дену иначе? Приходится. Выедем завтра, пробудем неделю в Верхнеудинске и — в окончательный путь.

— Куда?

— Как куда? В застенный Китай, через Гоби,— а там, куда хотите.

— Как же я проеду?

— Проедете просто, с экспедицией. Вам об этом думать не придется и беспокоиться нечего. Только — полнейшая тайна, чтобы и об отъезде вашем никто не знал! Решено?

— Я вам так благодарна!

— За это вы мне потом все о себе расскажете.

— Хоть сейчас!

— Нет, потом. Ну — давайте руку. А теперь поговорим серьезно о делах хозяйственных.

Минут за десять до отхода поезда по станции металась грузная фигура в допотопной дохе и боярской меховой шапке; пробежала всю платформу, стараясь заглянуть в окна вагонов. Но окна внизу были покрыты морозным узором, и фигура напрасно подпрыгивала, распахивая полы шубы. Наконец не без труда, едва не потеряв глубокую кожаную калошу на обледенелой ступени, отец Яков проник в вагон второго класса.

— А успел все-таки, успел! Думал — уж и не найду, а успел. Почтенному ученому пожать руку на дальний путь и пожелать удачи в достижениях.

— Спасибо, батюшка. А вы что же, остаетесь? Или на Байкал?

— Побываю, побываю, если Господь доведет, но сейчас неспособно; а попросту сказать — малоденежно. Вот на вас же заработаю, тогда и прокачусь.

— Как это, на мне заработаете?

— Опишу счастливую встречу для газеток. Публика-то интересуется экспедицией, а мы, газетчики, пользуемся. Дурного не напишу, а приятным знакомством похвастаюсь и кое-что из разговоров, если не воспретите.

— Сделайте одолжение, батюшка, мы из поездки секрета не делаем.

Второй звонок. Отец Яков еще раз жмет руку геолога и растерянно оглядывается.

— То ли показалось, то ли и вправду видел издали нашу прошедшую спутницу. Думал и ей откланяться.

— Разве? Не знаю, не заметил.

— Значит, ошибся!

Еще есть минут пять времени. Тяжелая доха бежит бочком через соседний вагон. У окна — фигура женщины, закутанной в серый мех.

— Боюсь обознаться, а кажется, и не ошибся?

Наташа недовольно повертывается.

— Ах, это вы, батюшка? Тоже едете?

— Ехать не еду, а вот провожал бывшего содорожника в дальний ученый путь да и вас увидел случайно. Пожелаю и вам желаемых достижений и приятного путешествия.

Наташа протягивает руку:

— До свиданья, батюшка!

— Уж где же до свиданья, правильное сказать — прощай, надоедливый поп Яков! И, однако, хотел при последнем моменте знакомства нескромно спросить, изволили ли в свое время получить баночку вишневого варенья?

— Какую баночку?

— Малая баночка, вишня без косточки, ваша любимая! А привез ее единожды из города Рязани запрещенный поп Яков Кампинский от страждущего родителя.

— Я не понимаю, батюшка.

— А понимать сейчас и не нужно, потом поймете. От страждущего родителя Сергея Павловича — родной дочери в мрачную темницу. Тому назад месяца четыре. Однако лишь к слову напомнил, чтобы знали, что встречный поп — не враг, а истинный друг. И затем — прошу принять прощенье!

Наташа растерянно опять подала руку.

Послышался третий звонок. Отец Яков совсем заторопился, подобрал полы и уже на ходу крикнул:

— Анюте-то, Анюте кланяйтесь; ежели встретите где! Покойного друга дочь, знавал дитятею!

Неуклюже вывалился на площадку вагона и сошел почти на ходу, шаркая калошами по холодному камню.

Вагоны прошли мимо него, но в окна ничего видно не было. Отец Яков постоял, пропустил весь состав поезда, запахнулся потеплее и побрел к выходу.

«А успел, успел. Конечно — не сдержался поп, выдал себя с головой! И все-таки — будет приятно узнать страждущему родителю, если еще доведется с ним свидеться. А по совести сказать — случайность передкостная! Лю-бо-пытно!»

РУБИКОН

Красота мира открывается человеку один раз; только очень счастливому — повторно, и очень несчастному — никогда. И когда она предстанет перед глазами, — человек уже не тот: из профана он стал посвященным.

С этой поры мерилом всех ценностей будет для него виден-

ное: для высоты — гора, для дали — море, для игры света — прозрачный воздух. И это на всю жизнь: вспоминать в счастье, в несчастье, в праздник и в серые будни, с открытыми и с закрытыми глазами. Единственное богатство, которое не растрачивается.

Холодная Ангара, изумительный Байкал, потом сразу — кочевья, значит, бывает и такая жизнь, а номалы — тоже люди; дальше — живая картина застывших в недвижности веков и культур; человечки, живущие крохами быта и безграничного созерцания, и их трупы, выброшенные голодным собакам; серые куропатки вблизи монгольских жилищ, налетающий на них в безмолвии хищный сокол, и снова снеговые дали, окрашенные огненным золотом, и на песках, кажущихся в морозе горячими, странное священное сооружение из камней и сухих древесных ветвей с нанизанными на них бараными лопатками и лоскутами цветных материй.

Горные хребты, томительные перевалы, однообразный путь, ночлеги, каких никогда не представляло воображение, длинная цепь верблюдов, непонятная и неодолимая сонливость при легком, здоровом дыхании, спуск, подъем и опять — спуск, подъем, и вдруг, с высоты Толой-готу, открывается строгая красота горы Богдо-ола, в восьмидесяти ущельях которой, в высокоствольных лесах и на пестрых полянах — рай зверей и птиц, охраняемых строжайшим запретом их касаться и нарушать их покой и радость. Поверить ли? Человек, тот самый человек, который убивает и уничтожает все живое и называет это культурой, — вдруг этот человек, пав ниц перед красотой, понял, приказал и исполнил: да будет жизнь лесов, птиц и зверей священной горы — свята и неприкосновенна! Это случилось два века назад — и осталось донныне. В глубине горы Богдо-ола монастырь в честь Манчжурши — бога мудрости.

Все необыкновенно — с минуты выезда до конца пути, так ярко, что не может быть сном, хотя разве это — действительность? Все совсем иное, а той, прежней жизни нет и словно бы не было: когда учились по книжке, питали в себе любовь и ненависть по указанному трафарету, гибли по программе и мечтали о том, что не стоило мечтаний; жили без мудрого углубления и без расчета по векам — только злом и благом сегодняшнего дня.

Выехали в морозный день, в кибитке, на быстрых лошадях, и так — до пограничного китайского городка, откуда выплыли уже кораблями пустыни. Заиндевелые, укутанные в меха фигуры на спинах маленьких выносливых лошадей, тоже белых от инея. Позади караван верблюдов с огромными, мерно качающимися вьюками. Разговаривать и не о чем, и невозможно: только на привалах, если сон одолеет не сразу.

О чем они говорят? О горных породах, о барометре, о том, что нынче видели орлов и грифов, жестоко дравшихся из-за добычи, и что огромная стая птичек на свободных от снега лощинах — несомненно жаворонки. Как? Та самая невидимая птичка,

которая в знойный день поет высоко в небе над полями ржи? Наташа на минуту вспомнила свою Федоровку — но только на минуту. Тот мир ушел — и был он совсем маленьким и ненужным. А еще на стоянках разбирали и рассматривали находки, подарки и покупки: ходак — плат счастья, подаренный в напутствие экспедиции буддийским хамболамой, целый мешок палеозойских окаменелостей, найденных в урочище Шара-Хада, чучело белой полярной совы и с трудом приобретенный буддийский молитвенный колокольчик. Как дети любовались вещами и вещичками, а говорили о них серьезно и знающе.

До границы застенного Китая была еще Россия — та самая, что на запад уходила за Варшаву. Но Наташа уже не испытывала беспокойства: прежняя жизнь ушла. Даже и не расспрашивала, как это будет? Еще в поезде, когда ныряли в туннели, оглябая Байкал, Белов сказал ей:

— Вам вообще не о чем думать и беспокоиться. Вы — под нашим высоким покровительством!

— А не доставлю я вам неожиданных хлопот и неприятностей?

— Говорю — не думайте. Проедете не только просто, а и с почетом. Смотрите по сторонам, а думать и говорить за вас буду я.

И действительно — никто ни о чем ее не спросил, и она даже не заметила, в каком месте форма русских чиновников сменилась красным шариком на шляпе монгольского цзангина, начальника почтовой станции. Всю первую неделю, от Верхнеудинска до Кяхты, она ехала в нанятой для нее кибитке, как случайная попутчица экспедиции, в огромной шубе сверх полушубка и в сибирских пимах. Дальше, уже на монгольской земле, Белов познакомил ее с товарищами по путешествию, и никто не удивился, что она — русская и едет через Ургу куда-то к своим родным, живущим под Пекином. Эти люди, занятые каждый своим делом, привыкшие ко всяким случайностям и встречам, были вежливы, приветливы и не досаждали расспросами. Каждый едет, куда хочет и куда ему надо; если он достаточно вынослив — почему ему не проделать путь, несколько необычный? Для них, направлявшихся в неисследованные местности на целые два года, — через Центральную Гоби, мимо много веков тому назад умерших городов и поселков, — для них простой караванный путь через Ургу и дальше казался обычной проезжей дорогой, а их сравнительно недалняя спутница — обыкновенной путешественницей.

На первой монгольской станции Белов ее поздравил:

— Ну, Рубикон перейден! Вы довольны?

— Я должна быть довольна, но главное — я вам благодарна.

— Прав был я, что все это довольно просто?

— Да, я даже не заметила. Кто тот господин, который провожал нас в Кяхте и так почтительно со мной раскланялся?

— Это был русский консул, милейший человек.

Оба они рассмеялись.

— Когда же будете рассказывать о себе?

— Когда хотите.

— Много страшного натворили?

— Много: на мне кровь.

— Тогда не нужно рассказывать. Да и вы лучше не предавайтесь воспоминаниям, а больше созерцайте. Мы — в стране созерцания. То, что вы сейчас видите, вам вряд ли придется еще раз видеть. Здесь все — особенное, и природа, и люди; все нам непонятное. Вы поедете с нами до Урги, а дальше ваш путь прямо, а наш в сторону, но оба — через настоящую пустыню, через Гоби.

— А что такое Урга?

— Священный город, духовная столица Монголии, где живет сам хухухта, безгрешный перерожденец, восьмой по счету.

— Это кто?

— А вы не знаете? А вообще о буддизме что-нибудь читали?

— Мало. Помню что-то... нирвана, небытие...

— Почему небытие? Напротив — абсолютное бытие, вечный покой. Религия удивительная: в ней нет ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли, — но высокая религия, может быть, высочайшая и совершеннейшая. Ее конечный идеал — угасание жизненной суеты. Я думаю, что вам, после пережитого, это должно быть близким?

В раздумье Наташа сказала:

— Я сейчас и сама не знаю, что мне близко и что мне чуждо. Я слишком много и слишком рано пережила. Может быть, жизненная суета меня утомила, а может быть, завтра опять меня потянет. Ничего я не знаю.

— Вот буддисты и говорят, что незнание — скрытый корень мирового страдания. Именно — незнание четырех священных истин: истины о страдании, о его происхождении, о его уничтожении и путях к уничтожению страдания. А страдание — это и есть жизнь: рождение, старость, смерть.

ТАК ГОВОРИЛ СОВЕРШЕННЫЙ

В Урге, священной столице Монголии, Наташа рассталась с караваном русской экспедиции, путь которой лежал на монгольский Алтай. Добрый спутник Белов говорил ей, прощаясь:

— Ну, милая беглянка, дальше вы будете путешествовать самостоятельно; но я за вас не боюсь, вы молодцом выдержали трудный путь.

Ее пристроили к торговому каравану, где только двое сносно обьяснялись по-русски. Она была единственной женщиной в караване и была одета, как все, в тяжелые меха, кожаные штаны, валяные сапоги, ушастую шапку и башлык. Никто не спрашивал, кто она такая и зачем едет: пустое любопытство чуждо равнодушному и сосредоточенному монголу. Большую часть пути приходилось ехать верхом.

Теперь начиналась настоящая Гоби, бескрайняя пустыня,

песчаная скатерть со складками мягких и скалистых холмов. От Кяхты до Урги в пути еще попадались населенные места, станционные домики, небольшие монастыри, и было немало встречных; за Урой все это исчезло, и резко изменилась не только природа, но как будто и самая раса редких кочевников.

Здесь был вековой покой, отрицанье волнующей жизни, тупая сосредоточенность и покорность величью немой пустыни. Не было счета дней — был только счет истекших и предстоящих столетий, которые не знали событий и не грозят ими в будущем. У порога Гоби остановилась в раздумье наступающая цивилизация — и убоялась вступить в ее пески.

Последним впечатлением Наташи был небольшой монастырек, обнесенный стеной, перед которой стаей бродили голодные собаки-людоеды. Они ждали, когда лама, выполняя обычай, с равнодушием и презреньем к падали, велит выбросить им тело умершего. Это будет их недолгим праздником: с окровавленными мордами они будут рвать на части человеческое тело, драться из-за лучших кусков и, закинув головы, с наслаждением чавкать; потом разнесут кости и будут грызть их, держа в лапах и ревниво озираясь. Потом опять — долгий голод и тупое ожиданье.

Как во сне, не спеша уходили часы и дни, подъемы, спуски, недолгие привалы. Ровный шаг верблюдов, мягкий топот верховой лошади, мерное покачивание, смена света сумерками, редкий говор на непонятном языке, даль впереди и даль позади, — точно не караван движется, а уходит под ними песок и заменяется новым. Время рождается в вечности и в ней теряется.

Иногда вокруг солнца появлялось кольцеобразное сиянье; иногда впереди внезапно вставала возвышенность, покрытая лесом, и сначала казалась очень близкой, потом отдалялась и бледнела, наконец, исчезала совсем, — но и к миражам привыкли глаза, и этот злой дух пустыни не нарушал странного впечатления остановившегося бытия: часы шли, а стрелки часов не двигались.

Было очень холодно, но ощущение холода, вначале сильное, в пути замирало и исчезало. Можно было замерзнуть и незаметно умереть, не испытав никакого страдания. И можно было так же незаметно испепелиться на ослепительном солнце: между холодом и зноем не было определяющей границы. И совершенно не думалось о том, что была такая-то жизнь за плечами и предстоит такая-то впереди и что этот путь — только переход. Напротив, вот этот песчаный мост между жизнями и есть реальность, а бывшее и будущее — только мираж. И все это — вне понимания и выше понимания, это существует, но нет вопроса: почему?

Никто не толкнул потока жизни, никто его не остановит. За пределами пустыни, где люди живут тесно и бьются за клочок земли, которая их кормит и будет их могилой, — существует вопрос: зачем? Здесь такого вопроса нет. Без причин и цели возникло и существует бытие. Нет бытия без страдания, и нет страдания без бытия. И бытие и страдание — безначальны.

И сказал Пробудившийся, Познавший, Возвышенный, Совершенный великий Готама Будда:

«Такова святая истина: рождение есть страдание, старость есть страдание, болезнь есть страдание, смерть есть страдание, соединение с немилым есть страдание, разлука с милым есть страдание, недостижение желаемого есть страдание. Все, что привязывает к миру, есть страдание!»

Чем порождается страдание? — Жаждой бытия и земного наслаждения, жаждой творчества, жаждой власти.

Чем победить страдание? — Искоренением в себе этой жажды, полным отказом от желаний.

Человек, чувства которого свободны от желаний, который живет без стремлений среди стремящихся, без вражды среди полных вражды людей, без имущества среди имеющих, без жажды бытия и без привязанностей к преходящему, — тот человек живет в покое и радости, и ему, Совершенному, завидуют боги!

Иногда, совсем зачарованная пустыней и своим необыкновенным путешествием, Наташа пыталась сбросить с себя сон и вслух себя спрашивала:

— Что это такое? Как это случилось? Где я? И неужели это действительно я?

Когда она переступила порог тюрьмы, она была полна радости, но радости земной и животной: спаслось тело! Теперь свершалось совсем иное — гораздо более значительное и важное: освобождался дух. Никаких прежних связывающих верований, обязательных идей и выдуманных программ! Полная и совершенная свобода! Тоже радость — но особенная, без прежнего ощущения себя, и только себя, как центра вселенной, для которого все только и существует. Теперь она — песчинка в беспредельности, лишенная ясных желаний и жизненных привязанностей. Ни прошлого, ни будущего, а в настоящем — мерный шаг лошади и остановившееся время. И вокруг — миллиарды песчинок, несчитанных и не имеющих особого существования, но тоже живущих. Все это и идет — и неподвижно, и живет — и не существует. Понять это невозможно, объяснить нельзя, как нельзя в этом и усомниться.

Совершенный сказал:

«Существует, ученики мои, прибежище, где нет ни земли, ни воды, ни воздуха; где нет ни бесконечности пространства, ни бесконечности разума, ни представлений, ни их отсутствия, ни чего бы то ни было; где нет ни этого мира, ни другого мира, ни солнца, ни луны. Это, ученики мои, не появление, не уничтожение и не постоянное существование. Это не умирание и не рождение. Это существует без основы, без названия, без опоры: это есть конец страдания.

Где нет ничего, где не существует никакой привязанности — там это единственное прибежище, — Нирваной называю я его. И кто достиг его — тот не знает никаких страданий!»

Так говорил Совершенный.

КНИГА О КОНЦАХ

Роман «Книга о концах», при самостоятельном сюжете, связан общностью эпохи и некоторыми именами с романом «Свидетель Истории», вышедшим в 1932 году, и может считаться его продолжением.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ

Это началось в Застенном Китае, когда Наташа Калымова пересекала с караваном пустыню: мерный шаг верховой лошади продолжался, но ни лошадь, ни верблюды каравана не двигались, а на них наступали пески Гоби и однообразный кругозор. Продолжалось на океанском пароходе, который стоял на месте, не отзываясь на быстрый набег спокойной воды; а за кормой вода собиралась в огромные валы пены. То же было с берегами Суэцкого канала, и так же мимо окон дрожащего, но неподвижного вагона круговыми движениями проходили заплаты и скатерти полей, а ближе, по скользящей прямой, мчались голые деревья с пучками омель, — Наташа принимала их за пустые вороньи гнезда.

Европа надвинулась Ривьерой и марсельским портом, затем Францией, наконец, предместьями Парижа. Когда поезд остановился на неприветливом вокзале, — мертвая точка была перейдена, и теперь уже сама Наташа ехала в маленьком дребезжащем такси по неподвижным улицам Парижа. Мир потускнел, снизился, переполнился тревожными мелочами. Люди стали оседлыми, связанными со множеством улиц, поворотов, вывесок и предметов быта. В этой тесноте и озабоченности нужно было отыскать свой угол. И Наташа сказала шоферу:

— В какой-нибудь отель близ улицы Сен-Жак. В недорогой!

У нее был единственный адрес, полученный в России, — Тургеневская библиотека на Сен-Жак; название улицы вызывало в памяти романы Дюма и потому хорошо запомнилось. Стекла такси перестали дребезжать у дверей отеля, а служитель, в жилете и зеленом фартуке, внес чемоданы на четвертый этаж и по-

ставил большой у камина, а поменьше — на железные козлы, скрепленные плетеными тязами.

Так она приехала для новой жизни. В складе неразобранных воспоминаний остались московская каторжная тюрьма, побег двенадцати, изумительное путешествие через Урал, Сибирь, Монголию и над безднами двух океанов.

Аббат Шарль-Мишель де Л'Эпэ, родом из Версаля, изобрел азбуку для глухонемых. За год до его смерти родился ученый Жозеф Луи Гей-Люсак, который открыл закон единообразия расширения газов. Их именами названы улицы в Латинском квартале.

Улицы сходятся под углом. Из верхнего углового окна виден прекрасный купол, до которого глаз добирается по унылым крышам домов, запинаясь за перевернутые цветочные горшки. Над этим куполом — другой, небесный, серый, цвета дождя и скуки; он взора не радуется, и на него никто в Париже не смотрит.

Аббат облагодетельствовал самую обездоленную часть людей: лишенных Слова и Музыки. Его ученый сосед дважды поднялся над землей на воздушном шаре, проверяя то, до чего додумался на земле.

Судьба великих завидна! Но, конечно, их имена уже ничего не говорят прохожим и проезжим: почтовому чиновнику, модистке, содержателю кабачка, даме с собакой и могильщику на дрогах второго разряда, возвращающемуся с работы восвояси.

Имена ученых неизвестны и женщине двадцати пяти лет, из которых последние пять — неправдоподобны, без оглядки, всегда накануне смерти и в круге смертей чужих. Вот так сходятся углом улицы, вот здесь окно, вот там купол, о котором она еще не знает, что это купол Пантеона. Усталая от долгой дороги, неизвестно для чего родившаяся в стране снегов и равнин, неизвестно зачем попавшая в мировую столицу. Возможно, что она останется в кругу глухонемых, но возможно, что ее судьба — подняться к небу на воздушном шаре.

Серый купол над Парижем грязнеет, купол Пантеона обращается в силуэт. По улице от фонаря к фонарю бежит черный человек из сказки и таинственной палкой зажигает газ. В отеле газ горит только в узких изломанных коридорах, а в комнате Наташи свеча и керосиновая лампа с узким стеклом, по которому лениво ползет книзу картонный колпак, пока не наткнется на пузырь. На колпаке, в овалах, Нотр-Дам и лицо неизвестного с неестественной бородкой и выставкой орденов. Очевидно, жизнь начнется только завтра, а пока лучше всего спать. Даже есть от усталости не хочется и не хочется считать ступени узкой лестницы и искать на незнакомых улицах неизвестный ресторан.

Она не слышит, как до поздней ночи хлопают двери и шаркают ноги, как по трубам порывами течет вода, на улице громят колеса и топают подковы битюгов. Она спит, как всегда, мирным и здоровым сном. Но и в глубоком сне не отделаться от привычной качки — спина верблюда и лошади, море-море, ва-

гонное титата-татата и смена образов: пески-пески, волны-волны, необычный говор на остановках и пересадках — от прошлого дальше, а в будущее глубже. В потоке песков, волн и людей — затерявшаяся щепочка. Сосед по купе, француз, очень вежливо и слишком ласково спрашивает:

— Мадемуазель путешествует одна?

Если ему ответить: «Да, на верблюдах через Гоби, на щепке по океанам, и сама я — щепочка, отколовшаяся от русской ели», — он сделает круглые глаза: «Возможно ли? Но это — героизм!» Затем, приоткрыв в мозгу клеточку за номером и справившись, — все объяснит загадочностью славянской души, хотя все души для него одинаково загадочны, за исключением латинской, одетой в двубортный пиджачок.

Рано утром опять бежит вода по трубам и шаркают ноги за дверью. За окном каменный грохот.

Она раскидывает пропыленные и липкие занавеси окна — и опять купол над неприветливыми крышами. Но небо сегодня живое и ясное, только в комнате брр... как холодно! Больше всего хочется облиться водой. Как они здесь это делают? Вчера вечером спросила про ванну, и коридорный смотрел долго и удивленно. Ну, после все устроится. Где-нибудь выпить кофею с булочкой, с двумя, с тремя булочками, и пойти по адресу: улица Сен-Жак, русская библиотека. Сегодня же увидеть подруг и товарищей, ее опередивших и уже здешних. И Анюта должна быть в Париже, — простая девушка с Первой Мещанской, надзирательница тюрьмы, всех их спасающая. Чудно: Анюта — и вдруг в Париже!

С живостью Наташа спускается с четвертого этажа, слышит напевное «бонжур, мадам» еще не причесанной хозяйки, отдает ей ключ и выходит из подъезда.

Куда? Направо или налево?

С минуту стоит и улыбается, потому что все-таки хорошо. Вообще хорошо! Потом идет... ну все равно, хоть налево!

НОВЫЙ ДРУГ

Комната большая и светлая, но холодная; еле согревает ее камин. Две кровати; у Наташи большущая, в полкомнаты; стояла посредине, но отставили к стене; а для Анюты нашли небольшую железную. И совсем маленький стол с шаткими ножками. Культ письменного стола, какой в России есть у доброго студента, французам незнаком, — только культ кровати.

Анюту больше всего удивляет, что в здешних домах нет двойных рам и нет, стало быть, подоконников; впрочем нет и настоящей зимы, так, слякоть какая-то. И вообще живут неуютно.

Было много радости, когда Наташа их всех разыскала в Париже. Помогла, конечно, библиотека, эмигрантский справочник. В тот же день вместе обедали в дешевом ресторане на Бульваре Мише, — четыре участницы побега, эмигрант Бодрясин и недавно

приехавший из России Петровский. Этот приехал легально, с заграничным паспортом, своим собственным, будто бы кончать учебу; но он был из московской революционной группы, имел некоторое отношение и к побегу, и через него тут рассчитывали держать связь с Россией.

За обедом Наташа шепнула Анюте:

— Зайди ко мне в отель вечером; только зайди одна. Ты найдешь?

Из всех московских подруг Наташа выбрала ее, простую девушку, которой была, правда, обязана свободой. Выбрала сразу, не раздумывая. В чужой стране нужен преданный друг — и лучшего не найти.

А через день, с помощью опытного в этих делах Бодрягина, жившего в Париже третий год, нашли комнату в том же Латинском квартале и поселились вдвоем.

Закутавшись в теплую шаль, купленную в Сибири, и смотря на синий огонек угля, Наташа сидит в любимом и уютнейшем месте — в углу обширной кровати, поверх одеяла, подобрав ноги и локтем на подушках. Читать не хочется, а думать — о чем думать? О том, что следовало бы слушать лекции в Сорбонне и вообще чем-нибудь заполнить жизнь? Или работать, зарабатывать немного денег, чтобы жить без чужой помощи? Вот Анюта, не в пример прочим, уже добилась этого: она шьет белье и может этим кормиться. А сейчас читает, заняв уголок стола у лампы. Анюту «развивают» книгами, ей надо догонять других, раз ее жизнь так переменялась. А ведь в сущности ей просто нужно бы мужа, хорошего, дельного и работающего. Мужа и детей.

— Анюта, тебе хотелось бы выйти замуж?

Анюта подымает голову и смотрит удивленно. Уж очень труден переход от скучной и малопонятной книжки к такому житейскому вопросу.

— Замуж? А почему?

— Просто, чтобы муж и дети.

— А мне и так хорошо. Да и кто меня возьмет-то! Это вам бы замуж, Наташенька.

Анюта не может привыкнуть говорить с Наташей на ты.

— Вы красивая да интересная, вас всякий полюбит.

— Я всякого не хочу, Анюта. Да я и была замужем, только недолго.

— Я знаю, мне рассказывали. А правда, что его звали Оленем?

— Да. А по-настоящему Алексей, Алеша. Но я тоже звала его больше Оленем. Он был... замечательный.

Анюта смотрит на Наташу сострадательно. Знает, что этого Оленя в Петербурге арестовали и на другой день казнили; а Наташа тогда была в тюрьме.

Уж как она любит Наташу, как любит, совсем как родную, — а понимать не умеет. О таком горе вспомнила — а ни слезинки, еще даже улыбается. То ли в ней такая сила, то ли раньше выплала все слезы.

Стучит и входит Бодрягин, частый гость. С Анютой здоро-

вается просто, приятельски, а с Наташей с развязной застенчивостью:

— Здравствуйте, товарищ героиня!

Анюте пора уходить; к шести часам она носит в мастерскую готовую работу. Бодрясин подшучивает:

— Обычная история! Как я в дверь — так Анна Петровна исчезает!

Бодрясин сильно заикается. Ему под сорок лет. Он не только некрасив и неуклюж, но и обезображен глубоким шрамом со лба через переносицу до нижней челюсти. И плохо владеет левой рукой. Все это — следы сибирского этапа, когда его и других били прикладами и рубили шашками конвойные. Бодрясин на этапе ударил офицера — и это кончилось страшным избиением его и товарищей. Один от ран умер, и дело было замято, иначе грозила Бодрясину смерть по суду.

— Зашел по обычаю на огонек. Посидеть можно?

— Какие новости?

— Новости пот-трясающие! Раскол в п-парижской группе, и на много кусков.

— Идейный?

— Б-боже сохрани! Чисто тактический. В кассе взаимопомощи кого-то записали под полной фамилией, а не под партийной кличкой. Он-то ничего против не имеет, и всем его фамилия известна, как и кличка, но п-получился скандал: н-нарушение к-конспирации! Сначала п-прения сторон, затем т-товарищеский суд и заседания правления в порядке об-ычном и в порядке ч-чрезвычайном. Весь Париж взолнован. Разбились на две группы, потом на четыре, а завтра на столько, сколько есть членов. И поднят п-прин-ципиальный вопрос, несколько отдаленный от темы, о соответствии личной жизни членов правления кассы их обязательным партийным убеждениям, а также о к-к-кооптации.

— О чем?

— О к-кооптации. Можно ли к членам избранным приобщать членов к-кооптированных. П-преинтересный вопрос!

— Охота этим заниматься!

— А! Вон вы какая! А у нас п-полагают, что от этого зависит судьбы неб-благодарного отечества! Я лично стою на почве в-возможного несоответствия личных убеждений личному п-поведению, и меня, кажется, исключат из партии.

Бодрясин, конечно, шутит. В партии его уважают и побаиваются, как человека умного, прямого и преданного революционному делу.

— Неужели и Надя Протасьева, и Вера, и Петровский этим заняты?

— А непременно! Они, кажется, примкнули к антик-к-кооптаторам и соответственникам. Впрочем, Петровский, я думаю, воздержался; он сегодня купил новый костюмчик, довольно х-хорошенький, только рукава коротки.

— Вы его не любите?

— Петровского? Я вообще любви по мелочам не расточаю, а на большую не имел еще случая.

— Как людям не скучно!

— А чем же, Наталья Сергеевна, заниматься?

— Да уж лучше, вот как я, валяться на постели.

— Вам хорошо, вы — отставная героиня на покое. А мы — люди п-подначальные и обязаны заниматься самоусов-вершением. Отличное слово, только очень трудно произносится. Попробуйте-ка.

— Что? Самоусовершенствование?

— У вас хорошо выходит. А я больше раза в день не могу выговорить.

Бодрясин недавно вернулся из России, куда ездил нелегально, будто бы по делам перевозки литературы. Но Наташа знала, что дело шло о пополнении рядов эсеровской боевой организации, сильно обескровленной и нуждавшейся в притоке новых сил. О российских настроениях он рассказывал:

— Люди сведущие утверждают, что сейчас в России д-дураков осталось чрезвычайно мало, и все очень торопятся наверстать п-потерянное в смысле личных переживаний. Я, конечно, не осуждаю, но с удивлением смотрел, как быстро люди меняются, особенно молодежь. В Ярославле, например, была небольшая группочка, хорошо подобранная. Ну и оказалось, что все заделались п-поэтами-символистами, а также изучают п-половой вопрос. И убедили меня, что я чрезвычайно отстал от века. И я понял, что действительно отстал. Однако в-водку мы п-пили, и я, знаете, всех п-перепил, а они ослабели и стали тихо скандалить, так что я п-предпочел скрыться.

Бодрясин любит притворяться циником — но никого этим не обманывает. С Наташей он откровеннее, чем с другими.

Они молчат и смотрят на огонь камина. Бодрясин не спрашивает, но Наташа знает, что он ждет, когда она заговорит о деле.

— Я вам сегодня обещала ответить.

— Это не спешно.

— Все равно нужно. Я все-таки сначала хочу осмотреться и отдохнуть.

— Од-добряю.

— Вы вправду одобряете?

Бодрясину поручили поговорить с Наташей об ее вступлении в боевую группу Шварца. Он выполнил поручение с неохотой, но выполнил. Не убеждал, не советовал, не отговаривал, — просто передал о желании Шварца и других. Даже не сказал, что сам с этой группой тесно связан. Она обещала ответить сегодня.

По-видимому, такого ответа он и ждал.

— Одобрю искренне. И не потому, что не верю в дело или не верю в вас, а потому что так для вас лучше, торопиться не нужно.

— Я себя здесь еще как-то не определила.

— Вот именно. А тут нужно либо слепо, либо по х-хладному разуму, как мы, грешные.

— Вы — по хладному разуму?

— А как же! По чувству, Наталья Сергеевна, я и мухе зла не желаю, хотя она кусается. Ей, мухе, тоже жить хочется. А по х-хладному разуму — готов ей обломать крылышки, пожалуйте! Одним словом — дело конченное. Хотите, я вам п-прочитаю апостола?

— Слушайте, Бодрясин, почему вы такой не простой?

— А нет, я, собственно, простой. Но скажу вам прямо — вы меня даже обрадовали. А почему — потом вам расскажу, сейчас не в ударе. Что же до апостола...

— Какого апостола?

— Ну, как в церкви читают. Вы давно в церкви не бывали? А я, вы знаете, из семинаристов. Могу апостола или многолетие. Иногда упражняюсь — и выходит весьма в-велегласно. У меня к-консьержка в ужас приходит, они ведь не понимают всей к-красоты.

— Вы, значит, серьезно говорить не хотите?

Бодрясин повернул лицо к Наташе, и лампа осветила уродливый рубец на его скуле.

— Слова, Наталья Сергеевна, не серьезны, а мысли мои серьезны. И от этих мыслей иногда хочется уйти подальше. Совсем далеко! Так что не сердитесь.

— Я не сержусь, а мне иногда вас жаль.

— Чувство хорошее. И мне тоже. Я себя, в общем, люблю и жалею, но нельзя же в этом п-преувеличивать! Вы обедать пойдете?

— Нет, Анята купит и принесет чего-нибудь. Оставайтесь с нами.

— Тогда, знаете, я спущусь и куплю вина и чего-нибудь там вроде сыру. Мы устроим дружескую трапезу, и я п-подробно расскажу вам о к-кооптации и несоответствии. А вы расскажете о п-пустыне и верблюдах. Можно? И будет прек-прекрасный вечер!

МАМЕНЬКИН СЫНОК

У Петровского, действительно, новый костюм, и неплохой, из английской материи. Но быть элегантным Петровскому не удастся, как не удавалось и в России, даже не помогает хорошо заглаженная складка брюк. Неудачен цвет галстука, недостаточно блестят башмаки, форма мягкой шляпы выдает русского. Нужна еще уверенность в себе, и этой уверенности у Петровского нет.

А между тем ему положительно везет. Это уже не тот неудачливый юноша Петровский, которому жандармский ротмистр говорил в Москве на конспиративной квартире: «Отвратительно вы работаете, Петровский! Прямо вам говорю — так у нас ничего

не выйдет. А вы еще о прибавке!» Теперь и опыта больше, и положение совсем иное: он действительно свой человек в партийной среде, и Москва возлагает на него надежды. Нет и в деньгах прежней нужды — Петровского не стесняют, только бы работал честно и усердно.

Для вида он — студент Сорбонны; как легальный, имеет возможность ездить в Россию. В партии ему не дают серьезных поручений, но могут и дать. Он ждет, осторожно укрепляя связи, не проявляя особой воинственности, не измышляя никаких «событий», ограничиваясь осведомлением своих московских покровителей. Им довольны — доволен и он. Его карьера зависит от выдержки — и он готов ждать.

Недавно он познакомился со Шварцем и, кажется, Шварцу понравился. Что такое Шварц — отлично известно Петровскому: глава боевой организации, будто бы распущенной после провала в Петербурге, — но разве может Шварц оставаться бездеятельным? Где-то и что-то Шварц готовит! Спрашивать об этом, конечно, нельзя не только Шварца, но и других, к нему близких.

Петровский — добрый товарищ, скромный, всегда готовый помочь в нужде. Сам не нуждается: у него в Москве мать, небогатая, но с достатком. Материнские письма Петровский охотно читает вслух. Она пишет: «Ради Бога, учись хорошенько и береги здоровье!» В шутку Петровского называют маменькиным сынком, но в общем любят.

Может быть, у Петровского и нет в Москве никакой матери, ни бедной, ни богатой; но ведь письма от нее приходят и деньги получают! И сам он пишет ей аккуратно, опуская письма по вечерам в почтовом отделении на улице Клод Бернар.

В последнем письме Петровского к матери были строки:

«Дорогая мамочка. Деньги получены, спасибо. Я писал тебе, что познакомился с милым Ш. На днях опять с ним виделся. Он очень участлив. Покаялся ему, что наука меня не удовлетворяет и что хочется живой и настоящей работы. Он сказал: «подождите, придет и ваше время». Потом спросил, мог ли бы я съездить в Россию по маленькому делу. Я ответил, что конечно».

Дальше писал о других встречах — все в том же откровенном тоне преданного сына, уверенного, что мать его одобрит.

И правда, в ответ он получил:

«Старайся, милый, подружиться с таким дельным и нужным человеком. При надобности приезжай повидаться. На расходы вышлю, но будь умереннее, позже это окупится. Сообщи, как твой новый друг думает проводить лето».

Получив письмо, Петровский с довольным видом гулял по бульвару Сен-Мишель. На него приветливо смотрели окна магазинов, — превосходные воротнички и яркие галстуки. Сам он смотрел на лица проходивших женщин — как это и понятно в молодые годы — и думал о том, что, при житейской удаче, все делается доступным человеку: и предметы, и рестораны, и женщины.

На повороте встретился с Бодрясиным, который спешил

и только кивнул. Петровский подумал: «Вот этот мне не очень нравится! Шварц гораздо лучше».

И решил — хотя это нелогично — чаще видаться с Бодрясиным и, если можно, посидеть с ним и выпить, притвориться опьяневшим и покаяться и ему в том, в чем признался Шварцу: что спокойная жизнь и ученье наскучили и что душа просит иного, если нужно — бурь, подвига, самопожертвования. Потому что ведь нельзя же сидеть за границей без дела, когда там, в России, гибнут последние герои, а деспотизм поднял голову! Но только нужно покаяться в этом осторожно и тонко, потому что Бодрясин — человек грубоватый и недоверчивый.

Втянутый в большую игру — игру своей и чужими жизнями, — Петровский пытался чувствовать себя героем или, по крайней мере, большим авантюристом. Но гораздо чаще он испытывал страх: а вдруг узнают, что у его мамы седоватые полковничьи усы и жилстая шея, а ее интерес к заграничным товарищам сына преувеличен? Не так же ли провалилось много больших и малых деятелей, которых в разговоре сам Петровский называл предателями и провокаторами. Придет день — и на шею неожиданно затянется веревка! Затянут ее те же Бодрясин или Шварц, и тогда не спастись, а если и ускользнешь — все равно окончена житейская карьера. И тогда никакая мама не поможет; напротив, эта мама первой отвернется и бросит его на произвол судьбы.

В минуты такого малодушия Петровский робкими шагами входил в ресторанчик или в библиотеку, где встречались эмигранты. Подходя, наблюдал, нет ли на лицах вопроса или подозрения, и успокаивался, услышав приветливое: «Куда вы запропастились, Петровский?» или: «А вот и он в новом костюмчике!». На улыбки он отвечал улыбкой и усаживался рядом, уверенный, что еще день выигран.

Никаких особых «сомнений» или раскаяний Петровский не испытывал; случалось это в Москве в начале его знакомства с «мамой», но давно прошло. Маленький и неопытный шулер возмужал, втянулся в игру, имел от нее достаток, даже иногда любовался своей двойной жизнью. Товарищи считали его парнишкой средних способностей, малым — простаком; но простаками были они сами, — и это доставляло Петровскому и удовольствие и оправдание: пусть так думают!

И он не обижался, когда его называли шутя маменькиным сыночком; только принимал смущенный вид и неловко отшучивался.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕЮ

Сидя у Наташи перед камином и пристально глядя на горящие угли, Бодрясин говорил:

— За эту неделю, что я у вас не был, со мной вышел прек-курьезнейший случай. Хоть это и т-тайна, но вам могу рассказать. Был я только что в Бельгии и ездил туда уб-бивать ч-человека.

Сразу не поймешь, когда Бодрясин говорит серьезно и когда шутит. Судя по тому, что он больше обычного заикается, нужно думать, что за шуткой кроется серьезное.

На своем обычном месте, в уголке кровати, опершись локтем на подушку и подобрав ноги, Наташа голубыми глазами смотрела на его освещенное отблеском камина и обезображенное шрамом лицо.

— Нужно вам сказать, Н-наталья Сергеевна, что я до сей поры человека не убивал, не приходилось. И как-то не собирался, потому что я — личность с яркими приметам, неудобная для выступлений.

Рубец на щеке казался розовым. Наташа слушала, не шевелясь.

— Ну-с, а за последнее время у нас все возмущены, что упустили Азефа. Но убивать я ездил не его, это было бы неблагоразумным, так как он меня хорошо знает. А получили мы известие, что в Бельгии проживает, и даже очень открыто и нагло, под собственной фамилией, бывший начальник д-департамента полиции, с которым Азеф работал. Меня и послали его убить.

— Почему вас?

— Почему именно меня? Я думаю потому, что дело это н-незначительное и отнюдь не героическое. Одним словом, больше было некому, и я согласился. Дали мне адрес и инструкцию, как уб-бивать. Потому что я в этих делах неопытен и мне это, откровенно говоря, не очень свойственно, даже д-довольно п-противно. Тут ведь и особой опасности не было, вроде простого убийства. Но это неважно.

Внимательно слушая, Наташа думала: «Что за человек Бодрясин? И сильный, и хороший, и непонятный. Повторяет слова «убивать», «убийство», как будто шутит и играет словами,— а в тоне его речи и в его кривой улыбке чувствуются печаль и горечь».

— П-поехал и п-приехал. Разыскал адрес. Не отель, а частная квартира в б-буржуазном старом доме. Здесь живет такой-то? Здесь! Звоню. А в кармане у меня браунинг. Долго не отворяют, потом слышу — тóфли шаркают, щелкает ключ, дверь отворяется,— и передо мной пожилой человек, всклокоченный, в халате. Правда — было рано, девятый час. «Вам кого?» Я называю. «А вам зачем?» — «У меня дело из Парижа». — «Пройдите,— говорит,— сюда, а я сейчас выйду». — Повернулся спиной и ушел куда-то, в спальню, что ли.

Бодрясин наклонился, взял каминные щипцы, поковырял ими в углях, и Наташа видела, что у него прыгает мускул в лице. То ли он волнуется, то ли смеется.

— Вошел я в небольшой кабинет, весь застланный книжными полками, такой уютный и приятный,— и ничего не понимаю. Почему же я его, с-собственно, не убил? Правда, стрелять в спину как-то неудобно, а раньше, как только он показался, я не был уверен, что это он сам и есть. В лицо я его не мог знать, даже и фотографии у нас не было. Н-ну-с, жду его в кабинете, рассмат-

риваю книги. На всех языках книги, и на русском много. И лежит русская газета. Должен вам сказать, что я был немного в-взвол-взволнован, так что соображал как-то плохо. Жду с четверть часа — нет его. Сначала слышал, как за стеной плещется и фыркает, а потом наступила тишина. Еще минут пять — все тихо. И тут я исп-пугался, не убежал ли он, догадавшись, что я пришел его уб-бивать. Б-было бы очень глупо! И ясное дело — меня арестуют. Подумал об этом, вскочил, вынул браунинг и бросился к двери. И как раз в эту минуту дверь отворилась, и он входит с кофеем.

— С чем?

— С двумя чашками кофею, на п-подносе. И там сухарики или что-то. Это, знаете, было немножко н-неожиданно.

Из камина выпал уголек, и Бодрясин аккуратно подобрал его щипцами.

— Между прочим, Наталья Сергеевна, вам нужно бы попросить у хозяйки железный лист и положить тут, а то может п-произойти п-пожар. Так вот, входит он с подносиком, по-прежнему в халате, только причесавшись. Х-халат с кисточками. И я опять спл-плоховал, даже п-попятился. Револьвер за спину, потом незаметно в карман. Может быть, он и видел, не знаю. Говорит: «Простите, я не совсем здоров и только что проснулся. Может, выпьете со мной кофею? Вы, кажется, не француз?» А говорили мы по-французски. Я говорю: «Нет, я русский». — «А вы от какого же издательства ко мне?» Глупое положение! Как-то я усумнился, он ли это. Спрашивает, а я молчу и смотрю д-дураком. Потом, вижу, он улыбается, и довольно добродушно, вообще — симпатичный такой... говорит: «Вы чего же смущаетесь? Может быть, ошиблись? Вы уж не убивать ли меня пришли?» Я говорю: «П-почему вы такое думаете?» — «Да потому, — говорит, — что у вас вид интеллигентный и вы как будто взволнованы, а у меня такая фамилия, что вы могли спутать. Да и имя, кажется, совпадает. Я уж давно жду, не пришли бы меня уничтожать». И сам, п-представьте, смеется. Я тогда вскочил и кричу в упор: «Вы кто? Чего вы меня морочите?» А сам тряусь от ужаса — откровенно вам, Наталья Сергеевна, п-признаюсь! Он говорит: «Я даже не родственник и живу в Бельгии двадцать третий год на этой квартире; я — старый эмигрант и библиофил. Потому и думал, что вы от издательства или от какого букиниста».

Наташа невольно рассмеялась, а Бодрясин захватил лицо руками и затрясся, не то от смеха, не то от слез. Когда отнял руки — лицо было спокойным, но шрам на скуле особенно ярко выделялся.

— Ну?

— Да что же — ну! Упал я в кресло и так хохотал — и он тоже хохотал, — что весь дом т-трясся. Он меня даже водой отпаивал, так как у меня отчего-то стучали зубы; едва отпоил. Должен сказать, что я обнаружил чрезмерно большую нервность и с-совершенную неспособность уб-бивать ч-человеков.

— Слушайте, это не анекдот?

— К сожалению — печальная истина. Когда я вернулся в Париж, я пришел к нашим и сказал: вы — д-дураки и ид-диоты. И даже не объяснил почему. Просто: д-дураки и идиоты! В-вероятно, на меня обиделись.

— А не могло случиться, что он вас просто обманул?

— Кто? Старичок? Он мне потом даже свои документы показал. Бельгийский подданный и старожил. Дал на память отгиски своих статей по библиографии, довольно интересно. Я у него и обедал. Вот какой любопытный случай.

И опять Бодрясин закрыл лицо. Наташа больше не смеялась.

— Кто же дал его адрес?

— Прислал один наш умник из Бельгии. Сообщил под большим секретом и советовал поспешить, пока птица не улетела. Мы и п-поспешили. Ид-диоты!

Потом Бодрясин говорил:

— Конечно, террор — это все, что нам остается. Я не из кровожадных и, пожалуй, согласился бы даже на кудую конституцию, да ведь что поделаешь, если ее нет. Думская говорильня — оскорбительное учреждение, а расход на веревки не сокращается в г-государственном бюджете. И значит — остается террор. Вы знавали в Москве Володю Мазурина?

— Знала.

— Вот. Он, Володя, больше всего мечтал быть народным учителем. В знаменательные «дни свободы» говаривал: «Как чудесно! Брошу я университет и уйду в деревню учить ребятишек!» А полгода спустя его ловили, как самого отчаянного террориста, за которым немало числилось чужих жизней. П-поймали, однако. Его братан, Сергей, был у него в тюрьме на свиданьи, перед самой казнью, и потом мне рассказывал. Володя, говорит, совсем стал кротким, просветленным, сидели мы у стола, а Володя, за разговором, рвал на кусочки чистую бумажку. Потом его увели, а сторожа и конвойные солдаты подобрали бумажки и посовали по карманам. Я спросил: «Зачем это вам? Или — примета?» — «Нет,— говорят,— а на память. Уж очень человек приятный, вроде как бы святой!» Это про убийцу! Значит, что-то в нем почувствовали!

Бодрясин отвернулся и смешно всхлипнул. Потом встал и прошелся по комнате.

Наташа будто бы не заметила и, чтобы не молчать, сказала:

— Он был чудесный, Володя!

— Г-говорю — святой! Б-бумажки на память... Может, потом на божницу положили. А может, рядом клали, когда в карты дулись, в носки или в свои козыри. Говорят — п-помогает. С ума сойти!

Наташа, как всегда, с ногами в углу огромной кровати, на плечах сибирская шаль, под локтем подушка. Темнеет, и на фоне камина Бодрясин — как темный и неуклюжий силуэт.

Силуэт повертывается и с трудом выговаривает:

— П-п-путаница!

— Что?

— П-путаница во всех головах! Вы, милая женщина, подождите со всякими решениями. А обождавши — как-нибудь все-таки распутаемся.

— Да я и жду.

— Вот. Нужно п-прежнюю веру догнать и поймать за хвост.

— Я веры не теряла. Я просто как-то не вижу, что дальше делать.

— Не теряли? Ну, вы счастливая. А впрочем, и я в этом счастливый, только не очень. Н-ну, увидим.

Долго молчали. Потом Бодрясин, улыбнувшись широкой улыбкой, еще рассказал:

— Между прочим, он такой любопытный, наивный немножко...

— Кто?

— А этот б-бельгийский подданный. Мы с ним обедали, курицу ели. Он ел с ап-петитом, а мне было не по себе. Разговорами все занимал. И вот говорит: «Вы старой книжкой интересуетесь?» — «Ничего себе, только времени нет». — «А то у меня есть одна как раз по вашей части». — «По какой, — спрашиваю, — по моей?» — «А насчет казни Людовика Шестнадцатого, русское издание того времени, очень редкое». — «Почему же, — спрашиваю, — по моей части?» — «Да, — говорит, — действительно, это я зря сказал, вы не обижайтесь!» — «Ничего». Потом ели сладкое, блинчики, что ли, уж не помню. Их я ел, люблю.

Бодрясин совсем повернулся к камину, руками уперся в колени, голову сжал ладонями и так сидел, пока в комнате совсем не потемнело.

ПЕРЕПУТЬЕ

Прошли первые месяцы парижской жизни. Люксембургский сад стал как бы своим: удивительный фонтан с завистливым великаном, детские кораблики на круглом водоеме. Знакомы и профили зданий на сенских набережных, и кружевная розетка Нотр-Дам. Все, что нужно, просмотрено в Лувре; Анюту смутила нагота статуй, а Наташа не нашла в себе восхищения перед Монной Лизой, которая улыбнулась ей со стены выцветшей и лживой улыбкой.

С серьезностью студентки, которая по долгой болезни пропустила большую часть курса, Наташа пыталась слушать лекции в Сорбонне. Чужой язык не смутил, но испугало другое: «зачем ей это нужно? С обычной правдивостью спросила себя и себе ответила: Совсем не нужно, только надуманный интерес!» Стала ходить реже — и совсем перестала.

А что же нужно?

Если бы начать всю жизнь снова: детство в Рязани и деревне Федоровке, гимназия, курсы. Но тут неизбежно приходит девятьсот пятый год — революция, московское восстание. И как ни пыталась Наташа представить себе другую судьбу — все воз-

вращалось именно таким, как было: резко пресекался спокойный быт — и крутилась воронка революционного бытия. Пожалуй, многое хотелось бы забыть и даже вычеркнуть из жизни и памяти, но нельзя расстаться с образом Оленя и чувством спешной большой любви, которая тогда почти не замечалась, была только подробностью огромных и необычных переживаний, а теперь в памяти выросла превыше всего и стала святым прошлым. А братья Гракки, славные юноши, которых она своими руками обрядила в саваны самопожертвования и смерти и которые, прощаясь, говорили:

— Спасибо вам. Вот уж и впрямь — родная.

Нет, этого изъять из жизни и воспоминаний нельзя. Что же тогда останется?

Вот она прочитала прекрасный и взволновавший роман. Можно ли дальше перейти к чтению маленьких бытовых рассказов, забавных житейских анекдотов, стихков и сказок? Самое главное случилось; сложнейшее свершилось на пороге жизни. Такого больше не может быть — иное не придумано. Странно и немного страшно не иметь желаний.

Утро. Начинается день в ряду других таких же. Заботливая Анята прибрала их общую комнату. У Аняты всегда множество дел: куда-то сбежать, кого-то навестить, выкроить рубашки и лифчики, написать записку, переменить в библиотеке книжки. Анята все умеет и всем нужна; со всеми ладит и каждому всегда готова помочь. Бодрясину она вывела на рукаве пятно. Почти не зная языка, она легко объясняется и с консьержкой и в магазинах, знает, где покупать дешевле и в какие дни в нашем квартале рынок. И успевает читать книжки и брошюры, которые ей дают приятельницы для скорейшего «развития». Не спрашивает, зачем это нужно, не сомневается: верит. Наташа смотрит на нее с завистью — но все равно Анятой ей не быть.

Вечер. Обычно является Бодрясин. С ним просто и легко, — он по-настоящему добр, ни о чем не допытывается, понимает. Но и Наташа понимает его женским чутьем: Бодрясин несчастлив. Он может быть верным, преданным, и он достаточно сильный. Его нельзя не уважать и можно ценить в нем прекрасного человека, друга. Но полюбить в нем мужчину нельзя — и Бодрясин это знает. Вероятно, оттого он и несчастен. Говоря с ним, забываешь об его физическом уродстве; но не может родиться желания приласкать Бодрясина, — а ему больше всего нужна ласка. И, подавая ему при прощании руку, Наташа чувствует себя словно бы виноватой за себя и за всех молодых и здоровых женщин, которые вот так же дружески и приязненно отвечают на его пожатие.

Ночь. Анята засыпает в ту минуту, как ее голова касается подушки. Эта счастливая способность знакома и Наташе и даже в тюрьме ее отличала от других каторжанок. Но в последнее время она спит хуже и часто, проснувшись ночью, смотрит на светлое пятно на потолке от уличного фонаря и не думает, а просто не может прогнать начинающуюся и обрывающуюся мысль, несвязную и утомительную, главное — напрасную. Не тре-

можно, а скучно — даже во сне скучно. Нужно бы что-то обсудить и решить, а чего начать и для чего продолжать? Так и откладывается с часу на час и со дня на день — безответно. По своей здоровой природе Наташа никогда не умела мечтать, как это делают женщины, — мечтать со вкусом, подробно и образно. Но рождалось беспокойство тела — и оно прогоняло сон. Чтобы унять его, она откидывала одеяло и простыни и старалась остыть до дрожи; тогда, снова закутавшись, засыпала.

И опять утро, новый лишний день.

В один из таких дней Бодрясин неожиданно пришел со Шварцем, которого Наташа почти не знала — встретила не больше двух раз. Бодрясин был хмур, неуклюже резок и неостроумен; таким остался весь вечер. Шварц, наоборот, приветлив, выдержан и умен. Разговорился — и оживил Наташу, хотя ей не понравился. Говорили больше о России, о печальных оттуда вестях. Не в пример другим эмигрантам, Шварц не говорил праздных фраз, не отрицал в России все живое, даже какие-то надежды возлагал на Думу, на деятельность земств; и о литературе говорил охотно и знающе; и молодежь не осуждал за уход от революционных мечтаний. Но у других фразы вырывались от любви и отчаяния, а Шварц как будто писал серьезную и обоснованную статью, нисколько ею не волнуясь. Вывод все равно был для него предreshен, и не событиями, а тем, что он, Шварц, назначил себе и другим поступать так, а не иначе. Этого он не говорил — но это чувствовалось.

Уходя, Шварц спросил Наташу:

— Ну что же, вы отдохнули и осмотрелись в Париже?

— Да я и не так устала.

— Вот Бодрясин вас оберегает, а я все хочу звать вас работать с нами. Конечно — подумавши. Как-нибудь поговорим?

На этом и простились. А когда они ушли, Наташа вспомнила, как было когда-то просто и естественно предложить Оленку, что бы он ни задумал, свою молодую силу и свою жизнь. Тогда она верила, и все верили, и было невозможно остаться в стороне. Тогда тянуло на жертву и на отказ от всяких радостей личной жизни; жертва и была радостью! А вот теперь Шварц пришел за ней, как за какой-то профессионалкой в терроре; он как бы оказывает ей честь. Может быть, он и прав — иного пути нет. Но ни радости нет, ни малейшего ощущения жертвенности. Самое большее — обреченность.

Вернувшейся Анюте она сказала:

— Я, может быть, поеду в Россию, Анюта.

Та как будто давно ждала и спокойно ответила:

— Ну что же, Наташенька, и я с тобой! Если возьмете...

СТАРЫЕ ПРИЯТЕЛИ

Про шестую часть света нельзя сказать, что «вот ее люди спят» или что «вот они бодрствуют»; нельзя сказать — «в ней

зима» или «в ней лето» или еще — «она сыта и счастлива», «она голодна и бедствует».

В одном из ее городов утро, в другом ночь; в одной области вечная мерзлота, оберегающая от тления не только кости, но и мясо мамонта,— а в другой темнотицей южанин голыми ногами выдавливает сок виноградных гроздей. У нее нет одной мысли или одной любви, как не может быть одной веры и одного закона.

Время от времени кучка мудрых и многотумных выкладывает на счетах и выписывает на бумаге ее судьбу. Ветер несет слова, телеграф искру решений, почта пакет приказов. Ветер натывается на горы, искра тухнет в болотах, в пакете доходит труха и бумажный червь. Если бы не так,— тайный советник или народный комиссар и вправду могли бы приказать персикам расти на могиле мамонта.

Шестая часть света лязгает во сне челюстями, смальзует тупыми зубами историю, политику и прекрасный переплет учебного труда. Солнце спокойно обходит свои владения, в одном городе ночь, в другом утро, зябко на мысе Челюскина, знойно на Каспии, а счастье и несчастье не вписаны в книгу человеческих законов. Кучка многотумных давно сгнила, тело мамонта нетронутым покоится в мерзлоте. Одной судьбы и одной истории нет: есть тьма судеб и тысяча историй.

Если прилично так выразиться о грузной и почтенной фигуре землепрохода и свидетеля истории,— отец Яков завертелся на сибирском приволье. Побывал на славном море Байкале, подивовался его красотам, прокатился и до Владивостока, побывал и на Амуре, и в Северной Монголии, и на всех великих сибирских реках — на Лене, на Оби, на Енисее. Людей перевидал множество, приятелей приобрел без конца и повсюду и написал статей и статейек столько, что и трети написанного не могли вместить дружественные издания. В Тобольске случайно сведя знакомство с проезжим английским ученым, коекак маракавшим и по-русски, отец Яков заготовил и поднес ему описание некоторых ссыльных и каторжных поселений, частью по личным наблюдениям, больше по чужим рассказам.

На что другому нужны года — отцу Якову достаточно месяцев. Багаж его мал, потребности скромны, охота путешествовать велика и непреборима.

В одном из дальних путешествий произошла совсем неожиданная встреча отца Якова со старым приятелем Николаем Ивановичем, тем самым, с которым некогда он обменялся обувью: ему отдал легкие сапожки, а от него получил штиблеты на резинке, приятные для поповской ноги в жаркое лето. С тем самым, который потом внезапно исчез, не попрощавшись,— а неделей позже неизвестный террорист стрелял в московского градоначальника, убил его, был осужден на смерть, но по случаю «эпохи доверия» помилован и сослан в каторгу.

Еще тогда отец Яков в тайных думах сопоставил личность

неизвестного террориста с личностью своего случайного друга и много позже в своей догадке убедился. Теперь он встретил его совсем случайно на пристани парохода, — и только зоркий глаз свидетеля истории мог отличить старого знакомого в грузчике, согнувшимся под тяжестью чайного цибика.

На погрузке работала сибирская шпана, люди без имени и без звания, из тех, что сегодня здесь, а где завтра — неизвестно. Один такой грузчик, как все — рваный и засаленный, был в очках, чем и обратил на себя внимание отца Якова. Пароход задержался на часы, и в обеденное время отец Яков сошел на берег, где сидел на бревнах оборванный человек и заедал черным хлебом пучок зеленого лука.

Спокойненько и скромненько подсев рядом, отец Яков спросил грузчика:

— Часика два еще проработаете? Товару непечатый угол!

Грузчик покосился, что-то пробормотал, вынул из кармана обшарпанный футляр с очками, надел и оглядел собеседника. Отец Яков взора не отвел и с улыбкой, голос слегка понизив, хотя никого близко не было, продолжал любопытный разговор:

— Иной раз вот так едешь по новым местам да и встретишь знакомого человека. А ему, может быть, и узнавать не хочется. Дела!

Грузчик прожевал кусок, обтерся и сказал:

— Узнавать можно, да лучше держать про себя. Путешествуете, святой отец?

— Заехал по малым делам, все на мир смотрю. Мир-то велик, а людям тесновато. По очкам только и признал вас, Николай Иванович. А в былое время вместе в комнате спали.

— Отец Яков?

— Смиранный пастырь без стада!

Грузчик задумчиво почесал в голове.

— По старой дружбе помалкивайте. Вы, помнится, не из болтливых. Я тут не совсем законно, только проходом.

— Дело не мое, а встрече рад. Сожалею лишь, что нахожу вас за трудным занятием.

— Это не беда. Не всякому петь «Исаия ликуй». Капитал наколачиваю.

Мысленно прикинув, чем можно бы поделиться с давним знакомым, отец Яков намекнул, что хоть сам он не в достатке, но рубликов пять его не разорят. Николай Иванович хорошо посмотрел на попа, расплылся улыбкой, помешкал и протянул руку:

— Давайте, ваше священство. Скажу по совести — очень сейчас пригодится, пора ноги уносить. А главное — надеюсь вернуть, если буду знать адрес.

— Это ни к чему, дело житейское, как бы доплата за ботиночки. Хороши были ботиночки. Однако надеюсь, что и мои полусапожки ладно носились?

Николай Иванович, давно переименовавший больше имен, чем

обуви, рассмеялся со знакомым отцу Якову добродушием. И опять, как бывало, подивился отец Яков, до чего же изумительно менялось лицо у этого странного человека, — от сугубой серьезности до детской улыбки. Сейчас был заправским сибирским варнаком — и вот милый интеллигентный человек, только, видимо, дошедший до великой усталости тела и духа. Совсем как был на подмосковной даче у общего знакомого. Зачем он здесь, откуда и куда пробирается круглыми путями — спросить невозможно, а лю-бопытно до крайности! Но, конечно, отец Яков сдержался. Об общих знакомых не вспоминали, да и попросил Николай Иваныч:

— Много беседовать нам вредно, еще внимание обратят. Тут тоже всякий народ может случиться. Вы уж лучше уйдите.

За руку не простились, кивнули головами. А на прощанье бывший Николай Иваныч опять с хорошей и даже веселой улыбкой сказал:

— Должок, если будет в делах удача, пришлю вам из Парижа. Городец хороший. Не бывали?

Отвыкнув удивляться, отец Яков, уже на ходу, ответил:

— Не довелось побывать, а описания читал. Поистине — любопытно! Значит — успеха в предприятиях!

Грузчик встал, поклонился и громко сказал:

— Благословить, батюшка, забыли.

Отец Яков замешкался, покраснел, однако подошел, положил левую руку на сложенные ладони босяка, совершил правой крестное знамение и с настойчивой серьезностью произнес:

— Молитвами недостойного иерея, да благословит Бог твои дни и даст тебе покой и забвение всяких зол. Иди путями бедных и страждущих, а куда идешь — сам знаешь. Бог тебе судья, а я, смиренный его служитель, грехи твои разрешаю.

Целовать руки не дал, оттянув ее книзу и пожав, и отошел походкой степенного пастыря. Грузчик низко поклонился ему в спину и опять громко сказал:

— Спасибо, батюшка! Вы наши отцы, мы ваши дети!

Улыбнулся, надел просаленную, как блин, каскетку, ловко сморкнулся в сторону и пошел к цыбикам, около которых толпилась сибирская шпана.

В тот день, сидя на палубе парохода и любуясь берегами, отец Яков много думал о людской судьбе и живучести людской. Было ему ясно, что вот этот самый Николай Иваныч бежал с каторги, либо с места поселения, и пробирается в российскую сторону. По пути работает, где доведется, и, конечно, рискует ежечасно попасть снова в полицейские лапы. Памятуя же о прежних с ним беседах, трудно усомниться, что это уже не первый его побег: и в Москве рассказывал про тайгу, и про сибирские реки, и про Урал, — человек бывалый. И хоть седина в голове, а лет ему, надо полагать, лишь немногим за тридцать, еще очень молод. Жизнь пережил за пятерых, а то и боле. И бодр, смел, силен и хитер.

И однако, — по-прежнему думал отец Яков, — на сем смелом

челе, под личиной великого задора, даже продерзости, и энергии исключительной,— видна и иная печать, как бы страдания и подвижничества. Он тебе и бродяга, он тебе и анархист и убийца,— а если есть на небе Бог, которому многожды, привычно кадилом махая, пел отец Яков молебны, то этот Бог должен обязательно Николая Иваныча простить и помиловать за великую его муку и за жажду счастья человеческого,— не себе, а всем людям.

И как это бывает, что в одном человеке столько зла, столько добра и разом — столько любви и ненависти? А что бывает — сомнения нет. И кто свят? И кто грешен? Кто преступник и кто праведник? Разобраться в том мудрено, по виду судить нельзя, по поступкам трудно, а в душу не всякому заглянешь.

Потом думал: «Не может того быть, чтобы только для насмешки попросил благословенья, не таков человек! Вернее так: сам не верует, а священнику хотел доставить удовольствие. И не отведи я руку — поцеловал бы. Или же просто ласки возжелал, взгрустнул по теплоте благого жеста, детство вспомнил. А чтобы только ради лишнего фокуса, для театра, этого быть не могло!»

И много еще думал отец Яков, смотря, как за кормой парохода бегут две гряды волн с белой оторочкой. Думал мудро, не спешно, без улыбки и без поповской хитрости.

Тоже и его — страстного любителя жизни и всего живого — начало утомлять путаное, занятое, неумное и тревожное, аховое и в великих грехах святое российское житие.

МАТЕРОЙ ВОЛК

Широко размахивая правой рукой, а левой придерживая веревку заплечного мешка, Николай Иваныч шел с востока на запад. Остальное неважно: какие на пути леса, горы, болота, броды, поселки, города. Важно быть всегда спиной к месту выхода — акатуйской каторге, а лицом сначала к Москве и Петербургу, потом, если повезет, к Европе.

С каторги он ушел после того, как осколком стекла зарезался его старый друг, оставив записку: «Товарищи, нельзя пережить оскорбленье». Накануне начальство подвергло порке нескольких политических каторжан. Николай Иванович, носивший там другое имя, наскоро собрал давно заготовленный мешок с хлебом, луком, солью, сменой белья, табаком и серничками,— и исчез, никому не сказавшись, способом и путем, никому не ведомым.

Бывали побег и раньше, и подготовка была сложной и долгой. Беглецов вывозили в капустной бочке с двойным дном, снабдив всем нужным для долгого пути, на этапах которого им заготовлялась помощь ссыльно-поселенцев,— и лошадь, и лодка, и паспорт, и деньги. За них отвечали на перекличках, их побег скрывали, сколько могли. Даже и при таких условиях риск был огромным и исход побега очень сомнительным. Ни-

колай Иванович ушел просто, без чужой помощи и сговора, никому не открывшись, в сторону неизвестную, надеясь только на свой опыт и слепое счастье. Вернее — это был другой способ самоубийства: его друг зарезался стеклом, — он решил поиграть с судьбой подольше.

Никто не поддерживал его на лесных тропах, не перевязывал ран на его ободранных ногах, не держал на коленях его воспаленной головы, когда он метался в жару на куче хвороста и сухих листьев. Шел на глаз и по звезде — без карты и компаса, на память. Неизвестно, как случилось, что на втором месяце пути он помогал поселенцу конопатить избу и за неделю прибавился в теле на его хлебах, как на третий месяц весело похлопывал сорванной веткой по новым сапогам, как, вылив крестьянину лошадь, заработал старые плисовые штаны и две смены портянок, а рванный до последней степени пиджак, на смену своего, истлевшего и свалившегося с плеч, приобрел путем экспроприации — снял с огородного чучела. Полумесяцем позже он продал лодку, на которой сплыл верст сто, и стал «сколачивать капитал», работая грузчиком на пристани. И только острый и любопытствующий глаз свидетеля истории мог признать давнего знакомого в загорелом и обросшем коростой сибирском варнаке.

Дальше путь был легче и опаснее — участились поселки и города, народ попадался менее приветливый, полиция пошла гуще и дотошнее. На одном перегоне удачно затесался в компанию бродяг последнего разбора, с ними устроился в парходном трюме, и когда случился в пути полицейский досмотр, — нет ли бежавших политиков, — Николай Иванович, вниманьем не дая, зверски дулся с товарищами в засаленные карты, ругался последними словами, — и полиции не пришлось в голову пошарить среди шпаны и выудить интеллигента.

Так добрался до Томска, с опаской и риском нашел нужного человека, а дальше, побрив бороду и хорошо протерев бережно сохраненные очки, ехал в поезде сельским учителем, с малыми деньгами, но ладным, наизусть заученным паспортом, — чтобы, при надобности, ответить без промаха и ошибки.

Слушая стук колес, вспоминал пройденный путь и дивился, что жив и здоров; считал это как бы вторым рождением и любовно рассматривал свои огрубевшие, в мозолях и рубцах, с поломанными ногтями руки. На нем была чистая голубоватая рубашка с мягким воротником и тонким плетеным галстуком и пиджачная пара, в которой можно даже и в большом городе не привлечь праздного внимания. И он читал газету, купленную на станции. Значит, действительно — есть и такая жизнь.

В Москву Николай Иванович приехал с удобным для него ранним поездом, — весь деловой день впереди. Не мешкая, явился на утренний прием к врачу на Каретной-Садовой, пробыл недолго, получил новый адрес и до вечера успел побывать и там. Но, конечно, сразу ничего не делается, задержки неизбежны: и денег мало в партийном комитете, и сугубая осторожность.

и много новых и незнакомых людей, так что с заграничным паспортом придется обождать, если не хочет Николай Иванович перебраться за границу тайными путями, а это сейчас очень неверно и опасно.

Пройти такой путь и быть арестованным на самом пороге Европы — это не улыбалось Николаю Ивановичу. Лучше повременить, меньше показываясь на улице. Кое-как протянул и эту неделю, спутешествовал пешком в Троице-Сергиевскую лавру усердным богомольцем. К назначенному дню вернулся в Москву, уверенный, что никакого хвоста за ним быть не может, и в условленный час пошел на конспиративную квартиру.

На улице никого, даже не видно дворника. Час ранний, в доме, наверное, только-только встали. Так и удобнее.

Шел неделями тайгой — и не боялся; спал со шпаной вповалку на заплыванном полу — и было не хуже, чем в мягкой постели. В поездках вел степенные речи со спутниками, ни в ком не возбудив подозрения. А вот тут, где все просто, да притом и последний этап мытарств, за которым — настоящая воля и отдых, может быть Париж, а то и Италия, — тут какая-то нелепая опаска, даже слегка дрожат ноги. Правда, там везде оберегал себя сам, выбирая пути и тропинки, а здесь, хочешь не хочешь, нужно довериться другим.

Пониже надвинув кепку, Николай Иванович зашел в подъезд. А когда поднялся на второй этаж, внизу дверь подъезда с силой захлопнулась. Постояв минутку, решил не быть младенцем, а сначала вернуться и посмотреть, почему хлопает дверь, когда никого у подъезда не было. Спустился, тронул ручку, осторожно приотворил, — а обратно затворить уже не мог. За дверью ждало трое, а сверху послышался топот ног. В отчаянии ринулся на улицу — и попал в недружеские объятия. Успел только пожалеть, что револьвера ему так и не добыли московские товарищи, — иначе его новый плен обошелся бы дорого похитителям свободы. Со всей силой грузчика и сибирского бродяги бил по зубам, кусался, отбивался ногами, — но с пятерыми совладать не мог. Когда навалились и подмяли, Николай Иванович ослабил мускулы и, как мог спокойнее, крикнул:

— Ладно, ребята, не натружайтесь! Ваша взяла!

Запыхавшись, они больно скручивали ему руки. Он не стоял и не напрягался. Смотрел своим тамошним, хмурым и насмешливым взглядом, как один из агентов, корчась от боли, потирал укушенную руку, — смотрел на них всех взглядом каторги и тайги. И тот, кто был среди них старшим, уверенно сказал:

— Этот тебе не жидовская слизь! Видать сразу — наш, православный, *матерой волк!*

ПРЫЖОК

Сильного мужчину втокнули в извозчичью пролетку, голову пригнули к ногам, двое навалились, третий погонял ис-

пуганного извозчика. Везли в арестный дом при полицейском участке. Кого взяли — сами не знали. При засаде, устроенной в доме по доносу, за два дня взяли добрый десяток.

Едва дыша под полицейскими сапожницами, Николай Иванович «принимал меры». В согнутом положении это оказалось даже удобнее. Оттянув жилет связанными руками, достал из карманчика бумажку с адресами и три рубля: бумажку съел а три рубля засунул за голенище сапога. На такую тайную кропотливую работу хватило всего пути.

В пречистенской части допрос краток: кто такой, к кому приходил? Николай Иванович отвечал степенно, толково и почтительно:

— Нешто можно, ваше благородие, сначала брать человека, а потом спрашивать имя? Имя надо раньше знать, тогда и спрашивать не придется.

Помощник пристава сердито:

— А ты не учи и не вертись. Спрашиваю — отвечай!

Николай Иванович с прежним дурашливым достоинством:

— Несправедливость какая! Так не по закону!

Сразу понял, что взяли его оптом, по засаде, вместе с другими, пришедшими на конспиративную квартиру, а имени не знают. Сейчас не знают, а могут скоро установить, и тогда плохо!

Его обыскали, отобрали кошелек с деньгами, но трехрублевки не нашли. Не было и паспорта: опытный человек, идя на свидание, оставил его в чемодане, сданном на хранение.

Главное — не терять присутствия духа. Жалел, что при аресте дрался — лучше было разыграть невинность. А теперь самое важное — сохранить здоровье. Когда его заперли в одиночную камеру, он прежде всего разделся донага, обтерся холодной водой, проделал гимнастику и стал изучать обстановку.

Арестный дом — шуточная тюрьма для человека, знакомого со всеми сибирскими этапами и с каторгой. В окнах решетки, но из окон видны соседние дома. За низенькой стеной участка двора — улица; прямо против участка — ворота частного дома; дальше — церковный двор и опять улица. Забор стеклами не усыпан и гвоздями не утыкан, и это очень хорошо. Во двор выводят гулять арестованных весь день поодиночке. Рядом с арестантом ходит надзиратель с револьвером, у ворот городовик с винтовкой, но ворота не на запоре: постоянно проходят люди в участковую канцелярию и в камеру мирового судьи.

В первый день на прогулку не водили, но обед дали. Николай Иванович съел все до крошки — для сохранения здоровья и бодрости духа. Под вечер кто-то выстукивал в стенку по тюремной азбуке, вызывая на разговор, — но новый арестант не ответил: не время заниматься пустяками. И вообще — спасибо московским товарищам! Посадить сумели!

Весь день до темноты провел у окна, изучая быт двора, а по крышам домов — расположение улиц. Никакое знание излишне, а эту часть Москвы он знал плохо. Все обстоятель-

но обдумав, решил, что нужно торопиться бежать, пока по фотографиям не установили личности. Ждал, когда поведут на прогулку.

Утром его вывели во двор. Пробовал заговорить с надзирателем, но тот только сердито буркнул: «Ходи не разговаривай!» Минут десять гулял вдоль двора по самой середине, заложив руки в карманы. Надзиратель не отставал ни на шаг, а часовой наблюдал внимательно. Значит — сегодня не судьба, а зря рисковать не стоит.

Еще прошли сутки без перемен. На допрос не вызывали, очевидно, не дошла очередь. Но дальше третьего дня оставаться под арестом нет никакого расчета: могут перевести в настоящую тюрьму.

На третьи сутки, ожидая вызова на прогулку, привел себя в полный порядок, крепче подпоясал штаны, проделал руками гимнастику, поиграл мускулами, подтянул сапоги, застегнул пиджак, даже пригладил волосы и прочно надел кепку. Вышел на прогулку бодро и весело, напевая песенку, так что даже надзиратель сам заговорил:

— Чему рад?

— А как не радоваться! Ноне на выпуск!

— Жди!

Тот же вчерашний надзиратель сегодня несколько рассеян: надоело ему целый день шагать по двору рядом с арестантами. Отстал на три шага, а на повороте оказался впереди арестанта, к нему спиной. И в то же время к часовому у ворот подошла девочка с корзинкой, наверное, дочка. Николай Иванович быстро провел рукой по борту пиджака, все ли пуговицы застегнуты, другой рукой нахлобучил кепку — и исчез.

Он исчез внезапно, сам не рассчитывая на такой успех. В три легких прыжка оказался у забора, подскочил, подтянулся, едва коснулся забора коленкой — и ветром перебросил тело. Перепрыгнув, быстро пересек мостовую и вбежал в калитку ворот противоположного дома. Двор был пуст, и было и там нетрудно прыгнуть через забор во двор соседний — но на той же самой улице. Дальше было хуже — и сразу план рушился: на высоком заборе целый частокол гвоздей. Пока думал, как быть, подбежал дворник:

— Что за человек? Чего надо?

Николай Иванович жалостливо посмотрел и потер живот:

— Нужно, братец мой, пристроиться. Очень гороху поел, сил нет!

Но дворник неглуп:

— Живот болит, а через заборы прыгаешь! Много вас тут шатается.

Николай Иванович выхватил из кармана футляр от очков и направил в голову дворника:

— А ты молчи, убью — и не пикнешь!

Тот оробел и попятился в сторожку. Еще пригрозив футляром, Николай Иванович отступил к воротам, вышел и огля-

нул. Он был наискосок от ворот участка. У ворот была суета, выбежал часовой, вылетел растерянный надзиратель, выскакивали городовые, озираясь по сторонам. На углу улицы топтался с револьвером околоточный надзиратель.

Если бежать — увидят и поймают. Николай Иванович, поигрывая футляром, тихо перешел улицу обратно к воротам участка. Все глядели по сторонам и на него не обратили внимания. Тогда он, так же тихо и степенно, вытирая нос платком, пошел к углу улицы, где все еще стоял околоточный, не знавший, куда направить погоню. Несколько городских обогнало Николая Ивановича, один даже толкнул его на бегу локтем. Спокойно дойдя до угла, Николай Иванович приостановился около полицейского чина и вежливо спросил:

— В чем дело, ваше благородие?

Околоточный, не оборачиваясь, отмахнулся:

— Проходите, господин, проходите!

Николай Иванович послушно, не ускоряя шага, повернул направо. На его счастье, по улице шел трамвай. Он выждал минуту, прыгнул на ходу. Трехрублевка оказалась засунутой за подкладку пиджака. Кондуктор дал сдачу, но пассажир ехал недолго — сошел на второй остановке прямо у казенной винной лавочки.

Из винной лавочки, держа в руках полбутылки водки, вышел веселый загулявший мастеровой, у забора отбил сургуч, хлопнул по доньшкуну, отхлебнул. Душа нараспашку, пиджак на одном плече, кепка на затылке, на лице радость и радушие, но ноги действуют исправно.

У торговки купил фунтик земляники, перемазал весь рот и быстро зашагал, мурлыча песенку, лица не скрывая, по улицам гостеприимной Москвы. Хотя она и гостеприимна, а все же лучше, ради приятной прогулки, забраться куда-нибудь подальше за Москву, в дачную местность.

Погода была хороша, а Николай Иванович, пешком пройдя Сибирь, не стеснялся дальних расстояний.

ГОВОРЯЩИЙ ПУДЕЛЬ

Человек небольшого роста и дурной наследственности, слишком неразвитой, чтобы понять безумие роли, которую ему приходилось играть, приехал из Петербурга в Гессен-Дармштадт, в замок Хобург. Хотя в личных качествах этого человека никто не заблуждался, но каждый его шаг вызывал внимание всего мира и толковался тонкими политиками. Объяснялось это тем, что и сам этот человек и несколько его предков были русскими царями.

Совершенно особый интерес к приезду Николая за границу проявила группа молодых людей на острове Олерон, во Франции. Небольшой остров покрыт сосновым лесом, его северная часть выдвинута в океан и слабо заселена, а в южной части, близкой к

материку, небольшие курорты. Группа русских обзавелась большой дачей в отдаленном конце, где на километры тянется пляж, море в отлив уходит недалеко, дачников почти нет, а население занято добыванием сосновой смолы и работой на устричных промыслах.

В том, что маленького человека нужно убить, никто не сомневался. Для его убийства были собраны небольшие средства, и целый ряд молодых людей высшим счастьем для себя полагал погибнуть за это на виселице. Но странность этих людей была в том, что каждое свое действие они согласовали с принципами, выработанными для них революционной партией, иначе говоря — другой кучкой молодых и старых людей, менее решительного поведения, но признанных особо авторитетными в нравственной оценке человеческих деяний и их целесообразности. Центральный Комитет принципиально был против, а практически колебался, можно ли убить царя за границей, которая дает безопасный приют революционерам и эмигрантам.

Пока вопрос обсуждался, группа на острове Олерон торопилась изучить положение и выяснить возможности. И, конечно, ни международная полиция, ни сам гость замка Хобурга никогда бы не догадались, что для изучения поставленного вопроса избранное лицо немедленно выехало в Лондон для занятий в Британском музее.

В Лондоне Бодрясин покупал ворохи газет, прочитывал все заметки о первых днях пребывания царя в Гессен-Дармштадте и по несколько часов проводил в библиотеке за изучением планов и чертежей, имеющих отношение к Гессен-Дармштадту, и в частности к замку Хобург. В его распоряжении был пятидневный срок, — и этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы решить судьбу Николая: выяснилось, что убить его можно и, конечно, несравненно легче, чем в Петербурге. Судя по газетам — царь даже ходит по улицам! На шестой день Бодрясин, всегда в делах аккуратный, вернулся во Францию, в старый гугенотский городок Ла-Рошель, откуда трижды в неделю уходил пароход на остров Олерон.

Он вернулся вечером, а пароход уходил рано утром. В большом коммерческом отеле, поблизости от порта, он занял комнату и лег спать.

Окна комнаты выходили на площадь, где немолчно гудела карусель, срывались и грохотали вагонетки американских гор, визжали и трещали лотерейные диски, в каждом праздничном балагане гремела своя музыка. Все эти звуки одновременно врывались в окно. Площадь была залита светом электрических рефлкторов, и ни ставни, ни занавеска не могли преградить доступ в комнату световым зайчикам. Бодрясин провалялся в постели до полуночи, а когда огни потухли и шум стих, распахнул окно и стал смотреть на площадь, где рабочие не спеша убирали праздничные балаганы.

Сна не было.

Бодрясин был сыном сельского батюшки и родом из Уфим-

ской губернии. Ему повезло: из семинарии он попал в Казанский университет. Дальше — довольно обычный путь «мыслящего»: участие в студенческом движении, временная ссылка, возврат, опять беспорядки, тюрьма, бегство, опять тюрьма, Сибирь, где его искалечили на этапе, опять бегство, революция, жизнь в Финляндии и эмиграция. За четыре года эмиграции он трижды побывал нелегально в России по партийным делам, вошел в боевую группу Шварца, но «особые приметы» — шрам через все лицо — ограничивали его боевое участие малыми услугами, вроде последней лондонской командировки.

Глядя на уснувшую площадь, Бодрясин продолжал думать о том, о чем думал все эти дни. Шварц лично выступить не может, он — командир, а не исполнитель. И тут уместнее всего женщина. Которая из четырех? Конечно не Дора, преданная и недалекая уже не молодая девушка, пригодная на роли хозяйки конспиративной квартиры. Ксения Вишневская, партийная «богородица», неизвестно зачем остается в группе: она совсем больна. Значит — либо Наташа, либо Евгения Константиновна. Наташа не знает ни немецкого, ни английского языка и на роль дамы-туристки совсем не годится; и Наташа, привлеченная Шварцем, собственно, еще не может считаться членом боевой группы. Евгения Константиновна, если захочет, будет лучше всех у места. С нею должен ехать, конечно, Шварц и еще хоть один помощник, но, конечно, не Петровский, юноша не испытанный и пустоватый, неизвестно зачем обласканный Шварцем.

При свете фонаря старый сторож беседовал с пуделем. Старик что-то жевал, вынимая из свертка, а пудель ждал, когда и ему перепадет кусочек. От нетерпения он повизгивал, топтался ногами и быстро махал хвостом. Шамкая, старик говорил наставительно:

— *Veux-tu taire?*¹ Помолчи! Первым делом — сам хозяин; а потерпишь — получишь остаток.

В тишине площади голос старика доносился с гулкой отчетливостью.

Бодрясин, наблюдая мирную картину, думал:

— «Сам хозяин» и распорядится. Шварц умен и смел. Но последний петербургский провал группу обескровил! Разве это те люди! Пожалуй, только Ринальдо, свежий и здоровый человек, напоминает прежних. Ринальдо нужен для России, если здесь не будет удачи. Остальные — осколки разбитой армии. Нужны молодые и сильные. — а где их взять? Ринальдо и Наташа?

Закрыв глаза, Бодрясин представил себе красивого молодого ученого, которого называли то Ботаником, то Ринальдо и имени которого никто, кроме Шварца, не знал. В группу Ринальдо вошел недавно, бросив ученую командировку и превратившись в испанца. В планах Шварца Ринальдо была отведена особая роль, если, конечно, удастся вернуться к террористической работе в России. А рядом с Ринальдо — Наташа, загорелая, надышав-

¹ Замолчишь ты? (Фр.)

шаяся сосновым воздухом, не похожая на всех остальных женщин группы.

Старик на площади отчетливо наставлял пуделя:

— Вот ты теперь поел и улегся штопором. А какова твоя обязанность? Ты — мой помощник, ты — сторож. И тебе спать не полагается. Хозяину подремать можно, а ты должен смотреть, все ли в порядке.

Прохладный морской воздух и тишина звали дремоту, мысли и образы ленивее шевелились в голове Бодрясина. Мирная болтовня старика-сторожа, гулькие, гравированные на камне шаги. Бодрясин даже не сразу удивился, когда пудель, в ответ на наставленья, ответил по-русски:

— Как видите — стараюсь.

Измененным голосом, тоже по-русски, старик сказал:

— В такие моменты, мой дорогой, карьера делается, не упустите!

Бодрясин очнулся, перевесился за окно и взглянул вниз. У подъезда отеля прощались двое мужчин. Говорили тихо, но каждое слово доносилось печатным.

— Ну, — желаю успеха. И будьте осторожны прежде всего.

Знакомый Бодрясину голос ответил:

— Не беспокойтесь.

— И помните — в случае чего...

— Ну конечно.

Стукнула дверь, и они поспешно простились. Один вошел в отель, другой помахал ему рукой и пошел обратно через площадь, оттискивая шаг.

Его фигура и походка были Бодрясину незнакомы. Боясь, что он обернется, Бодрясин отошел от окна в глубь комнаты. Затем подошел к двери, тихо ее приотворил и прислушался. Шагов слышно не было, но в одном из этажей отпирали дверь ключом.

Бодрясин завесил окно, лег в постель и шепотом сказал вслух:

— К-каждый имеет право на таинственные з-знакомства. Ч-черт возьми!

ДАЧА НА ОСТРОВЕ

Остров Олерон приблизился к матерiku южным концом, а северным ушел в океан. На южном курорты, на северном сосновый лес и невзрачные селенья рыбаков. Пляж тянется на много километров, но пользуются им немногие — только по праздникам. Дачников почти нет. Этим летом поселились в самом лесу, в большом деревянном доме, вытянутом в барак, русские. Живут барственно, купаются дважды в день, играют в крокет и теннис, по утрам сами ходят на почту за письмами. Не часто, то один то другой, ездят на пароходе в Ла-Рошель.

К ним пригляделись. Запомнили высокого бритого господи-

на, другого со шрамом на щеке, даму в отличных летних костюмах, которая по утрам уходит рисовать с ящиком красок, а живет от других отдельно. Недавно подъехали еще двое: молодой человек в широкополой шляпе и полная голубоглазая барышня. Всех теперь живет человек десять, а то и больше.

Бритый господин — Шварц, глава боевой группы. Дамухуджница — Евгенья Константиновна, участница «экса» в Петербурге на Каменоостровском. Последними приехали Наташа Калымова и тот, которого называли то Ботаником, то Ринальдо. Раньше других здесь поселились Ксения Вишневская и Дора.

Ксения — высокая, худая, с большими черными глазами и синевой под ними, с медленными движениями скрытой истерички, женственно-недоступная, умная, чистоплотная до щепетильности, всегда в гладком платье без лишней морщинки и всегда столь же гладко, без единого локона и без единого отставшего волоса причесанная. Неизвестно, любил ли ее кто-нибудь — осмелился ли любить. За исключением Бодрясина, все ее стараются уважать, а то и впрямь уважают. Только Бодрясин позволяет себе называть ее в глаза «товарищ богородица», а за глаза «догма ивановна». Он же не раз говорил, что хорошо бы посмотреть в щелку, какой она бывает наедине:

— Может быть, откроются новые мощи, а в-возможно, что и т-тайный грех.

У Ксении большое революционное прошлое, а в нем близкая дружба с несколькими «святыми», — и, кажется, ни одного друга в числе живых.

Дора — некрасивая, бесцветная еврейская девушка, преданнейшая эсерка, партийная от смугловатой и нездоровой кожи до мозга костей. Никогда не позволяла себе никаких уклонов в мыслях и поступках, не понимала и не одобряла шуток. Одна из тех, неспособных на критику и на самостоятельность действий, без которых нельзя обойтись в заговорщических делах и которым доверяют, как таблице умножения, химической формуле или старой испытанной прислуге.

Малозаметным членом группы из новых был Петровский, привлеченный Шварцем с намерением использовать его, как еще легального, для связей с Россией.

Убедив Наташу приехать на остров, Шварц не связал ее никакими обещаниями:

— Побудьте с нами, приглядитесь и тогда сама решите, что будет дальше.

Это было знáком особого и исключительного доверия, каким Шварц дарил немногих.

Наташа не ожидала встретить здесь Евгенью Константиновну — и ей искренне обрадовалась. И понятно: ведь это из той, петербургской, волшебной и страшной жизни!

— Даже не знала, что вы за границей.

— Я здесь недавно. Обитала в Финляндии, но все-таки заглядывала в Петербург, пока там жил дядя.

— И ни разу не...

— Не попадалась? Нет, все же раз меня арестовали, но дядя устроил грандиозный скандал — и меня выпустили. И затем я уехала.

Все та же: выдержанная, внешне холодная, немного насмешливая, неизменно аристократичная в повадках и костюме. С Наташей была откровеннее: «Скучно мне, да и все не то!» Наташа ей говорила:

— Никогда я вас не могла понять до конца! Слово бы вы не наша, а между тем...

— Я, Наташа, ничья. Ни того, ни этого берега. И такая я с детства. Если меня не повесят, то уйду в монастырь и буду игуменьей.

— Но вы в группе Шварца?

— О да, Шварц—явление замечательное. Это, конечно, не Олень, но все-таки исключительный человек. У меня к нему художественная склонность.

По-прежнему скрытна и уклончива, но в глазах новое — уже не огонек, а усталость.

Живописью не то занималась серьезно, не то шутила. Наташе показала только «фреску» на косяке окна:

— Вот думают, что это не картина, а только проба красок или что я вытираю кисть о штукатурку. А я утверждаю, что это — лучшее мое произведение. Видите — красочная буря, вроде спирали; а тут фиолетовый зигзаг. Изображение моей непокорной и непристроенной души. А может быть — мировой хаос. Во всяком случае — никакой гармонии.

Шутит, вероятно...

Всех этих разных людей связывала одна уверенность: если революция еще возможна, то путь к ней един — террор. Можно бросить все и уйти в личную жизнь, как сделали уже многие. Но если остаться верными себе и своему отречению от личного, — иного пути нет.

У каждого были свои призраки и свои воспоминания о первых шагах молодой жизни. Была связь крови с близкими, которых казнили или умучали в тюрьмах. Было сознание тяжело легкой на плечи ответственности. И была отравка прошлым — теперь уже всякий спокойный быт стал пресным: кто заглянул раз в таинственное и в пропасть, тому возврата к спокойной жизни нет.

СОБОРНАЯ ИСПОВЕДЬ

На остров вернулись Бодрясин и Петровский. Встретились случайно: Петровский ездил в Ла-Рошель купить себе рубашек с откидными воротниками и купальный костюм. Лето стоит исключительно жаркое.

— Обидно, что не запасся в Париже. Здесь дрянь, а на Олероне совсем нет. Купил какой-то полосатый.

Бодрясин съязвил:

— В полосатом вы будете совсем кр-красавчиком! А где вы ночевали?

— В «Коммерческом».

— Жаль — не знал. Я т-тоже там переночевал.

Петровский посмотрел с некоторым беспокойством.

— А вы когда приехали, товарищ Бодрясин?

Вечером. И сразу завалился спать. На площади музыка, а я спал, как барсук. И всю ночь видел во сне говорящего пуделя. Т-такая ч-чепуха.

В «малом совещании» группы участвовали, по обычаю, Шварц, Бодрясин, Евгения Константиновна и Данилов, уже старый человек из народовольцев, приехавший на остров по вызову Шварца; Данилов был представителем центрального комитета партии.

Комитет высказался против покушения в Гессен-Дармштадте. Шварц негодовал и грозил отколоться и действовать самостоятельно. Неожиданно Бодрясин, перед тем обстоятельно доложивший, что имеются все шансы на успех, высказался также против:

— П-принципиальное решение комитета п-поистине нелепо, вы уж простите меня, товарищ Данилов. Но хуже всего то, что нас, по-видимому, уже поджидают в Гессен-Дармштадте, а м-может быть, и ближе. Так что дело все равно прогорело.

О говорящем пуделе Бодрясин не рассказал; он был слишком осторожен и боялся возбудить напрасные подозрения. «Каждый имеет право на т-тайнственные знакомства». Но сказал, что заметил в Ла-Рошели что-то вроде слезки на вокзале и в порту.

— А может быть, мне и п-померещилось, хотя глаз у меня на этот счет достаточно наметан.

Малое совещание затянулось. Данилов напомнил, что все последние начинания группы проваливались. Что это, недостаточная осторожность или провокация? Шварц ручался за свою группу, но после разоблачения Азефа и еще десятка провокаторов, — кто и за кого может поручиться? В группе несколько новых членов — и не все они испытаны в деле.

В тот же вечер собрали всех. Шварц сказал:

— Товарищи, нам придется выполнить не совсем приятную обязанность взаимной проверки. У центрального комитета есть подозрения, не против отдельных лиц, а вообще против чистоты организаций, в том числе и нашей. Предлагают соборную исповедь, чтобы каждый ознакомился с каждым.

Дора подняла испуганные глаза. Ксения Вишневская оглядела всех святым испытующим взором. Наташа не поняла:

— То есть в чем же исповедоваться? В убеждениях?

— Нет, главное, конечно, рассказать подробно всю свою биографию.

Не в тон собранию Бодрясин добавил:

— Кроме слишком уж ин-нтимных страниц жизни.

Соборная исповедь прошла не столько оскорбительно, сколько томительно и скучно.

Данилов предложил начать с него. Длинно, обстоятельно, останавливаясь на мелочах, он изложил свою биографию, и без того большинству известную, перечислил все свои аресты, тюрьмы, этапы, развил свою политическую программу, во всем согласную с общепартийной. На какие средства живет. С кем особенно близок. Где жил и какие нес обязанности по партии.

Его слушали внимательно и почтительно. Жизнь подвижника, без пятнышка, без малейшего повода для сомнений.

За Даниловым говорил Шварц:

— В сущности, на мне, товарищи, лежит главная ответственность, и мне приходится быть строго конспиративным, и мой рассказ проверить шаг за шагом невозможно. Притом меня, очевидно, оберегал Азеф в каких-то своих соображениях; много раз могли меня арестовать, а не арестовывали. Так что уж судите сами.

Он тоже изложил свою жизнь. Он был талантливым рассказчиком, и жизнь его стоила фантастического романа. Все последние годы ходил по краю пропасти, и не всегда мог объяснить, как остался цел и невредим. В рассказе прибавлял: «Вот тут обдумайте и обсудите. Мне самому не все понятно, и, кроме того, не всех могу назвать».

Слушали и видели, что Шварц — необыкновенный человек, предельной смелости, страшной воли. Он далеко не так скучно-несомненен, как Данилов; в нем есть что-то от авантюриста. Но если Шварц изменник — тогда революция и террор вообще невозможны.

Очередь Бодрясина. Он долго трет лоб и пытается преодолеть первую согласную:

— К-к-как уж и рассказывать — не знаю. Н-ничего в моей жизни нет интересного и замечательного. Единственно должен сказать, что мне неоткуда было стать мерзавцем. Родом я из мужиков, отец был сельский попик, но оч-чень хороший. Воспитан попросту, к-карьеры не искал, учился ничего себе, а потом прямо в тюрьму. Ув-влечений не имею и к деньгам д-довольно равнодушен. Главное, что жил среди порядочных людей, даже отличных, так что не было случая заразиться п-под-подлостью. А больше и рассказывать нечего. Я в-вообще в п-провокаторы как-то не гожусь.

Когда говорил Бодрясин, все чувствовали, что есть в этой всеобщей исповеди ложь. Что должен доказать Бодрясин? Что он не украл собственных вещей? Что он не продает своего святого? Разве Бодрясин — не сама революция? И разве не кощунственно в нем усумниться? Все были смущены.

Евгения Константиновна доложила о себе кратко:

— Я, наоборот, и родилась и жила в обществе вполне сомнительном — и аристократическом и нравственно безответственном. Из всех присутствующих я — самый подозрительный человек. Партийные взгляды разделяю с большими оговорками. Работала с эсерами и с максималистами. Больше всего люблю независимость. Не уверена, останусь ли с вами или уйду в мо-

настырь. По брезгливости не могла бы предательствовать, но уверена, что водить за нос честных и доверчивых людей очень просто и легко.

Наташа сказала просто:

— Мне не нравится эта исповедь, я не стану говорить. И по моему, все это напрасно. И даже как-то гадко!

— Но ведь все...

— Пусть все, а я не хочу. Лучше я уеду.

Опять смущение. Но положение поправила Ксения Вишневская. Ее исповедь была скорее проповедью. С недостижимой высоты маленьким людям вещала о красоте революционной души. «Вы хотите знать меня? Ну что же — слушайте и казнитесь!» Хотелось, чтобы скорее окончила, но ее речь, плавная и образная, была подготовлена. Слушали мучительно и не любя партийную богородицу и подвижницу.

Приятное впечатление произвел Петровский.

— Я, товарищи, здесь новичок, никаких революционных заслуг не имею, так что должен исповедоваться подробно.

И действительно подробно рассказал о себе, что могло быть любопытным. Кто родители, как учился, под чьим влиянием пошел в революцию, чем ей помогал. Рассказал и о своем небольшом участии в организации побега двенадцати — добыл несколько паспортов и переправлял в тюрьму деньги. Об этом знала и Наташа. Живет на средства матери.

— Я, товарищи, на боевые выступления вряд ли гожусь; я говорил товарищу Шварцу. Но если могу помочь хотя бы в пустяках — располагайте мною.

С интересом слушали Ботаника. С революционерами он сблизился еще студентом, участвовал в московском восстании, но арестован не был. Избрал дорогу ученого, был два года в командировке, жил в Италии и Испании. Теперь решил все это бросить. Почему? Да потому, что из этого ухода в науку ничего не выходит. От себя не уйдешь! И не то сейчас время. А может быть, все дело в темпераменте. По убеждениям — анархист, но России достаточно пока и малой программы; ей пока нужен воздух, а чистого воздуха в России нет.

Предложил спросить, задать вопросы. Данилов спросил о средствах к жизни — Ринальдо ответил обстоятельно и подробно. Больше никто вопросов не задал. На Ринальдо смотрели и любовались; он был красив, умен, прост, улыбался доверчиво, не говорил фраз, не обижался, что приходится раскрывать душу перед людьми, еще мало ему знакомыми. Шварц, единственный, знавший Ринальдо с детства, заявил несколько подчеркнуто:

— Товарища Ринальдо привлек в группу я, и если он чего не договорил — я за него отвечу.

Последней говорила Дора, старая партийная работница, преданнейшая, несомненная, незначительная и столько же необходимая. Запинаясь, как бы протестуя против обвинений, на нее возведенных, доказывала свою непричастность к провокации. Данилов даже остановил ее:

— Да вы не волнуйтесь! Никто ведь вас не подозревает, это только для формы, мы все исповедуемся.

Дора закончила с покрасневшими глазами:

— Я предпочитаю, чтобы меня убили, и даже готова сама...

Ее успокоили и обласкали. Бодрясин смотрел угрюмо и брезгливо — черт знает, какая противная история! Только Данилов мог придумать такую пытку и такую глупость! И так плохо — а тут еще ввозить к нам парижские настроения!

Трое — Данилов, Вишневская и Дора — были избраны в комиссию: обсудить исповеди и, если нужно, поставить дополнительные вопросы; было прибавлено: «не от недоверия, а ради полноты и равенства всех исповедей». Все устали, и было тяжело и противно.

Бодрясин позвал Петровского:

— Пойдем на пляж освежиться? Не боитесь ночью?

Петровский охотно согласился: Бодрясин редко был с ним приветлив и разговорчив.

Шли к морю через лесок, при луне. Петровский заговорил о том, как странно он, человек все-таки новый, чувствует себя в таком спянном кружке:

— Вы мне, скажем, доверяете, а другие свободно могут сомневаться. И ведь они правы: сразу человека не узнаешь.

Бодрясин добродушно сказал:

— Г-глубокая правда! Люди недоверчивы. А вам деньги маменька присылает?

— Какие деньги?

— На те, которые живете? От маменьки?

— Да, мать посылает. Не очень много.

— Она богатая?

— Нет. Она получает пенсию. Да еще немного от нашего имения.

— Значит — из помещиков?

— Да, отцовское, небольшое.

— Губерния?

— Что?

— В какой губернии имение?

— Оно у нас в Пензенской.

— Уезд?

— Да, собственно, нельзя считать и имением. Так — остаток прежнего благополучия. Дом хороший, а земли совсем мало.

— Уезд какой?

Петровский искусственно громко рассмеялся.

— А вы прямо как следователь! Какой уезд? А черт его знает, я там только маленьким и бывал. Вот чепуха — какой в самом деле уезд? Знаю, что Пензенская губерния... Да вам за чем? Думаете, не вру ли?

Бодрясин сказал с серьезностью:

— В-видите ли, Петровский, нужно все это хорошо подготовить. А то люди злы и подозрительны. Вы припомните, какой уезд, могут спросить. И до чего же люди подозрительны,

даже глупо! Надо бы любить друг друга, доверять друг другу, а вместо того — ч-черт знает к-какое отношение! Письма-то от маменьки вы храните? Можете п-предъявить?

Петровский окончательно изумлен:

— Вы это серьезно? Конечно, могу. Всех не сохраняю, а могу поискать. Нет, скажите, вы это серьезно?

— Очень серьезно!

— Я поищу. Хотя и неприятно: все-таки материнские письма. Я не обижаюсь, но все-таки неприятно.

До пляжа дошли молча. Море было тихим и в отлив. Петровский мучительно старался вспомнить, какие уезды в Пензенской губернии — хоть бы один вспомнить, — и ветерок с моря его не освежал. Неужели Бодрясин его заподозрил? И зачем было говорить об имени — никакого имени нет.

Бодрясин его волнения не замечал. Бодрясин любил море и был страстным рыболовом.

— Только на удочку! Сеть — вздор, промышленность. Но лучше всего на небольшой реке. Каких щук я лавливал еще мальчиком в деревне. Я ведь и сам п-пензенский.

Петровский испуганно промолчал.

Бодрясин возвращался веселым, на него отлично действовал морской воздух. Даже расшалился, ухватил Петровского под ручку, раскачивал, натянулся в темноте на деревья, пел марсельезу и рассказал Петровскому анекдот, не смешной и не совсем пристойный. Простился с Петровским дружески:

— Ну, спите спокойно. Сегодня мы намучились, и, конечно, зря. Продолжения никакого не будет. В Ла-Рошель больше не собираетесь?

— Нет.

— Ну, прощайте, земляк! Хотя я, собственно, не Пензенской, а Уфимской губернии. А уезд — Б-белебеевский. Покойной вам ночи!

ОГОНЬ

В северной своей части, выдвинутой в океан, остров Олерон зарос соснами. Смолу здесь гонят просто и губительно: подвязывают банки под надрезами. Смола течет по желобку, переполняет банку, а излишек впитывается землей. Воздух от этого пьян и здоров. Редкий кустарник — почва затянута мохом и белым лишаем.

Побережье — наклонный паркет на много километров. Океан в отлив далеко не уходит, можно купаться в любой час.

Второй месяц не было ни капли дождя. Трава выгорела, мох хрустел. Через лесок ходили купаться трижды в день — единственное спасение от жары. Неизвестно, куда судьба забросит завтра: сегодняшней день — чистый выигрыш.

Записные купальщики — Наташа и Ботаник, он же Ринальдо; оба пловцы и поклонники горячего пляжа. Ступая

босыми ногами по увлажненному песку у самой черты океана. уходили далеко, а домой возвращались, блестя бронзой лба и носа, черные, пьяные от солнца и смоляного духу. Ринальдо говорил:

— Ну, в Питер я приеду настоящим испанцем!

Наташа улыбалась:

— А вот я, хоть в уголь почернею, все — рязанская баба.

Она смотрела на испанца, он — на русскую бабу, и оба, не думая много, радовались своему здоровью. В последние дни — всегда вдвоем, так уж вышло.

Щурясь и вглядываясь в островок с крепостным сооружением, может быть, тюрьмой, и с странным для русского уха именем «Бояр», Ботаник лениво и убежденно тянул:

— Про свое время каждый думает, что оно исключительно, что такого в истории не было. А история, она тем только и занимается, что повторяет события. Это как фотографии и портреты предков: наряды разные, а носы и подбородки те же. Вот сейчас в России реакция, казни, упадок общественного настроения, — и все это уже было, и еще будет, и мы ничего изменить и поправить, в сущности, не можем.

Наташа, опершись на руку, так что локоть ушел в песок, а песчинки щекотно впились в локоть, наблюдала за девочкой, ловившей сачком креветок в мелководьи у берега. Летели мимо уха, глубоко не заглядывая, слова:

— И было, и будет, и все-таки нельзя оставаться только созерцателями. Нельзя вечно смотреть в микроскоп, — я это лучше других знаю, долго глаза портил. И так жить тоже нельзя — барином на французском бережку.

Девочка, ловившая креветок, пробежала близко, держа мокрый сачок с добычей. Наташа ее подманила и усадила около себя. Влажный костюм, от воды красно-темный, был узок, и детское тело под ним круглилось вкусными валиками. Наташа погладила девочку по выгоревшим волосам, потом не удержалась и пощекотала, а когда та залилась и зазвенела смехом, Наташа сгрела красный комочек, прижала к себе и стала целовать в соленую складку у шеи.

Захлебываясь смехом, девочка отбивалась, упираясь руками в Наташину грудь. Две женщины, большая и маленькая, свились на песке в клубок. Наконец маленькая вырвалась, подхватила свой сачок и убежала к воде, да не просто, а прыжками.

Оправив костюм, Наташа повернулась к Ринальдо — и увидела, что он смотрит особенно и хочет скрыть смущенье.

— Да, вот вы на обреченную не похожи! Вам бы матерью быть, вы, верно, очень любите детей.

— Люблю. А почему — обреченная?

— Как все мы.

— А зачем говорить об этом, да еще у моря. Ничего мы не знаем. Я, по крайней мере, ничегошеньки, да и не хочу знать.

— На ближнее время все же знаем. Я вот знаю, что через две недели буду в Петербурге. И Шварц знает. И что будет дальше — тоже угадываю.

— Сейчас об этом не нужно.

Замолчали, и Наташа представила себе улицу в Петербурге, духоту, движение, непрерывную тревогу. Но неясную картину залило солнце, а с воды потянуло прохладой. Наташа встала и пошла к воде.

Отплыли далеко, лежали на воде, показывали друг другу, как держаться, подняв над головой руки, и как плыть на спине, не помогая взмахами. Освежились, продышались, устали и, набросив халаты на мокрые костюмы, печатая на песке сандалиями, в которые с ног стекала вода теплыми капельками, пошли через лес.

Умершая от жары трава колюче задевала ноги, мох похрустывал, воздух сытно смолил легкие. Говорить было не о чем — и не стоило. Ни тени, ни прохлады. На небольшой полянке, обставленной сосенками, сделали привал, разлеглись на еще влажных халатах. Здесь, без близости воды, солнце жгло еще жарче, воздух шевелился вяло и кожи не ласкал.

Лежали на спине, лицом смело в зенит, и под закрытыми веками перекатывался пушистый клуб сгущенного света. Наташа сушила волосы, Ринальдо курил. Если и думали, то не о России и не о своей обреченности.

Надвинулись сосны своим горячим духом, и было тихо, далеко ото всех и уединенно. И оба одновременно почувствовали, что иногда, как вот сейчас, глупо и напрасно размышлять и держать на поводу желанья. И, кажется, уже невозможно. Когда случайно коснулись друг друга плечом, и плечо оказалось прохладным;— ощущение стало ясным и требовательным. Опять коснулись уже не случайно, и Ринальдо отбросил папиросу.

Нестерпимо светлую, пылающую неслышным огнем лесную тишь нарушал только мирный стук; они были очень молоды и боялись себя, и стук слышался из груди, из-под влажного костюма. Прижавшись, еще осторожно и почтительно, с проверкой и выжиданьем,— как будто еще можно одуматься или не нужно ли что-то друг другу объяснить? — они замерли в чуткой неподвижности.

Затем и окружные сосенки, и высокие старые сосны, которых уж ничем не удивишь, и воздух, и небо, от палящего жара потерявшее синеву,— стали над ними склоняться. Но раньше, чем пройдена была мертвая точка и будни стали праздниками,— за их головами раздался сухой треск, будто от шагов. Они отбросили друг друга и испуганно вскочили.

В солнечной слепоте глаза сначала искали напрасно. И вдруг низкое сухое деревце взвилось и стало терять листья; на далекой тени отразился и лизнул дымком язык пламени. Наташа поняла первая — и крикнула:

— Горит!

Невидимый пожар был в двух шагах — там, где упала недокуренная папироса Ринальдо. Без пламени тлел и чернел сухой мох, без дыма свертывалась и никла трава, потрескивали сосновые иглы.

Наташа схватила халат и широкими взмахами стала бить там, где трещало или дымилось. Ринальдо растерянно топтал ногами ползущий черный кружок моха и чувствовал, как накаляются подошвы сандалий; затем и он бросился к халату. Посылая в лицо друг другу вихрь жгучих иголочек, кусавших голую грудь и ноги, они молча, методично и ожесточенно били халатами по стволу дерева, в ярком солнечном свете горевшему без пламени. Главное — чтобы огонь не перекинулся на соседних великанов, — тогда борьба невозможна.

Теперь, далеко разлетаясь, искры западали в мох и лишай, готовя новые очаги огня. Затушив здесь, они бросались к другому месту, ударяя халатами и по траве и по телу. Была минута, когда Ринальдо, опалив лицо близ нового вспыхнувшего куста, закричал:

— Невозможно! Нужно бежать, Наташа!

Она ответила необычным ей грубым окриком:

— Вы сошли с ума! Сгорит весь лес, а там люди!

Он не знал того, что знала она, родившаяся и жившая на Оке, где лесные пожары часты и страшны: горит неделями, и воздух на сотню верст повисает желтым и смрадным дымом.

Им удалось победить огонь; но при первой передышке ухо ловило новое потрескивание. Нюхая воздух, находили новый очажок огня, хотя горелым пахли и халаты, и волосы, и тело. Пока Наташа затаптывала мох, Ботаник ползал по земле, обжигая колени, и скрюченными пальцами, как цапками, счесывал до земли мох и лишай на всем пространстве полянки и под кустами. Он был прав: пожар бежал и растекался скрыто, понизу. Горстями взрытой земли и песку они забрасывали истлевшую траву, ногами затаптывали искры.

Они бились больше часу, изнемогая от усталости и возбуждения. Падали в бессилье — вот разорвется сердце! — и снова заставляли себя подняться, хотя подгибались ноги, а руки, повиснув, болтались в суставах. Вот — кажется, все кончено. Они сидят рядом на горячей и взрытой земле, опираясь друг на друга, соприкасаясь плечами без всякого стыда и желанья, нюхая воздух и прислушиваясь. И опять в полной тиши — легкий шорох огня или тняет свежим дымом. Расползались на четвереньках и придушивали искру руками и голым коленом.

Была тишина полная уже много минут. Воздух очистился, снова пахло смолой, а струйки горелого были холодны. Они разошлись и поодаль друг от друга распластались на земле, ища тени или хоть призрака тени, все продолжая слушать. Они были победителями. Домá останутся целы, ничто не грозит девочке, ловившей кресток. Прекрасный лес спасен.

И тогда оба разом почувствовали боль в руках и слабость обожженных тел. У Наташи опалились наскоро закрученные и забитые под купальный чепчик волосы. У Ринальдо закопались от огня кончики ногтей, распухли пальцы, закудрявились золотые волосы на ногах. Халаты были грязны и полу-

сожжены, купальные костюмы в дырочках. Изумительно, как до сих пор они не чувствовали обжогов.

Наташа сказала:

— Надо бы идти, но страшно оставить. Вдруг где-нибудь тлеет.

Прождали еще с полчаса. Обошли кругом поляну, топчя мох, заглядывая под каждое деревце. Нет — все покойно.

Тогда набросили свои дырявые хламиды — и в первый раз рассмеялись: лица черны и перемазаны, ноги в ссадинах и красных пятнах. Только что перед этим метались по лесу и боролись со стихией два полуголых божества, — и вот стоят в смущении и усталости два инвалида!

Был в этом какой-то тайный смысл: может быть, предупреждение, что в судьбы обреченных не вписана страница личной жизни? И нелепо, и все-таки странно. Минутой позже было бы иное.

Очень хотелось сказать друг другу естественную фразу:

— Не нужно в лесу шалить с огнем!

Они не сказали. Если бы не крайняя усталость — может быть, жалели бы, что так случилось. Своим поражением и своей победой не гордились. Теперь шли равнодушно, довольные только тем, что кончилась трагедия.

— Знаете, Ринальдо, нужно будет, когда отдохнем, вернуться сюда и взглянуть; я еще не спокойна; а вдруг где-нибудь тлеет?

Он, усталым голосом и морщась от боли в пальцах, ответил:

— Можно. Но только ничего не осталось: мы затоптали все искры.

И дальше шли молча, думая свое.

ПРОФИЛИ

Шварц сидит за столом перед листом бумаги. Шварц чертит профили. Он до удивительности лишен малейшей способности к рисованию, но, к счастью, это ему не нужно.

Профили Шварца однообразны, с низкими лбами и выдающимися подбородками. Если бы ученый, разрыв курган, открыл череп, подобный нарисованному Шварцем, — ученому пришлось бы написать книгу о своей необычайной находке. Волнение пробежало бы по рядам антропологов: пало бы все, до сих пор признаваемое несомненным и доказанным. Но никогда ни один ученый такого черепа не найдет. Шварц прибавляет несколько завитушек к затылку профиля, рисует шею с кадыком и принимается за новый.

Уменьше рисовать Шварцу ни к чему. Нужно совсем другое: нужно сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. Два месяца его группа живет на острове Олерон. По планам Шварца, здесь, в уединенном месте, должна быть только штаб-квартира и место сбора. Отсюда, разными путями, кто на Фин-

ляндию, кто на Марсель и Одессу, часть товарищей поедет в Россию. Решающим месяцем будет август.

Это будет вторая попытка. Первая, ранней весной, окончилась полным провалом: едва основавшуюся в Петербурге боевую группу пришлось снять с работы, семь человек скрылось, четверо были арестованы и казнены. Из скрывшихся один оказался провокатором.

Шварц комкает лист бумаги и заменяет чистым. Новый профиль совершенно похож на прежние, за исключением подбородка, в котором нет ни энергии ни упрямства. Такой подбородок может быть у Петровского.

Бодрясин рассказал Шварцу о своих сомнениях. Именно после этого Шварц проявил крайнее легкомыслие, недостойное революционера: завязал летнюю интригу с некрасивой французской барышней из почтового отделения. В часы, свободные от дежурства, барышня гуляла со Шварцем в лесу, поодаль от селенья, чтобы не попасть на глаза родных или соседок. Шварц также не хотел, чтобы его видели с нею товарищи. Через неделю в его руках было письмо Петровского к его «маменьке». Шварц снял копию и возвратил французке письмо, сказав, что может только иметь доказательство ее доверия и привязанности. Может быть, она и не поверила, но каяться было поздно.

Все это глубоко противно и пошло. Думая об этом, Шварц заметил, что ни у одного профиля нет уха — и пририсовал разом у нескольких ухо, там, где полагается быть виску.

Сегодня вечером беседовали втроем, он, Бодрясин и Евгения Константиновна. Бодрясин настаивал на том, что группу нужно временно распустить, всем разъехаться, а о предательстве Петровского опубликовать в партийной газете, как уже было сделано со многими. Евгения Константиновна не сказала ни слова, только внимательно прочитала копию письма. Когда же ушел Бодрясин, она сказала Шварцу:

— Пошлите его со мной в Париж.

— Кого?

— Ну, Петровского.

— И потом?

— А потом я исчезну.

— А он?

— Он исчезнет несколько раньше.

В Париже у нее была квартира, гарсоньерка¹; Евгения Константиновна любила если не комфорт, то удобства, она и на острове жила отдельно ото всех. Сама называла себя буржуйкой. Она не была богата, но ни в России, ни за границей в средствах не стеснялась. Шварц знал, что она помогает товарищам.

Решили, что никто, даже Бодрясин, не будет посвящен в план ближайших действий. Но группу, конечно, нужно немедленно распустить.

¹ Холостяцкая, для одиноких.

Это опять равносильно провалу, тем более что Петровский, хотя он, как новичок, был мало осведомлен, мог сделать некоторые выводы и о них сообщить «маменьке». Вероятно, он сообщил даже больше, чем мог знать. Все же совсем отказаться от плана Шварцу не хотелось, — достаточно изменить сроки и попытаться привлечь новых людей, на смену убывающим. Шварца пугали не жертвы, а бесплодность его попытки доказать партии, что он, Шварц, вернет боевой организации ее былую славу, помраченную обнаруженным в центре предательством.

Он комкает и второй лист, весь исчерченный профилями. В отворенное окно влетела ночная бабочка и ударилась о стекло лампы; электричества нет в бедном поселке. Осторожно и брезгливо, неумелыми пальцами, Шварц взял бабочку за крыло и выбросил за окошко. На пальцах осталась скользкая серебристая пыльца.

Если бы он хотел и умел вспоминать — воспоминанья заполнили бы его ночь. Много разбитых жизней и обжегшихся мотыльков, много напрасных жертв, — и так мало смертей оправданных и нужных. Его личная жизнь окутана мрачной поэзией и кажется выдумкой.

Рядом с ним — десяток таких же, ходящих по краю пропасти. Сегодня все они живут в сосновом лесу, купаются в океане, шутят, спорят, придают значение мелочам; завтра, замешавшись в толпу людей самых обыкновенных, идут на дела, в глазах этой толпы — страшные и преступные, на убийство и на участие в убийстве, и не знают, сколько дней еще отведено им самим для жизни. А он — мастер боевых дел, капитан корабля мести.

Но для дум и воспоминаний Шварц еще слишком молод.

Он никогда не ложится спать, не обтершись мокрым полотенцем и не выложив на столик у постели револьвера, — два жеста, нужные для его спокойствия. Завтра — день подготовительных действий; он уже придумал объяснение для отъезда в Париж двух членов группы: сначала уедет Евгения Константиновна, за ней Петровский. Получив телеграмму, он распустит и других. Раз это необходимо — подчиняться все. Затем немедленно новый сбор, большинства — в Финляндии. Вместо океана — северные шхеры. И ближе к России.

Он ложится и тушит свет. Сон никогда не заставляет его ждать.

Поодаль от общей виллы, в комнате домика, похожего на барак, но в комнате удобной и умело обставленной, свет давно потух. Там лежит в постели женщина, молодая и некрасивая, обещавшая исчезнуть вслед за Петровским, хотя такого условия никто ей не ставил. В лабиринте ее мыслей не разобраться никому — да никто и не ищет этого. Среди своих — она чужая, не скрывает этого. Но она с ними, потому что иначе оказалась бы совсем одинокой. Кажется, однако, без веры нельзя оставаться с верующими: безверье заразительно. И потому она отойдет к стороне. Она не так счастлива, как Шварц: скорого сна не ждет.

Спит Петровский сном спокойнейшим. Спит вся маленькая колония русских, в жизни которых этот остров — случайный этап, место минутного отдыха от бурь, незнакомых даже океану. Если бы иногда не было вокруг настоящей красоты, рассеивающей вечное напряжение мысли, — краткие сроки их жизни казались бы слишком долгими и мучительными.

На полу, близ постели Шварца, за всю ночь не смыкают единственного глаза скомканные профили с ухом не на месте и с однообразными, слишком несерьезными для их низких лбов завитушками на затылке.

CORDON s. v. p.!

Петровский в Париже с первым важным поручением от Шварца. С очень таинственным: явиться по данному адресу к мадам Ватсон (англичанка?), а дальнейшее скажет она. Петровский любит Париж — здесь свободнее. Он хорошо пообедал, но ограничил себя бутылкой анжу и одной рюмкой ликера.

Едва позвонил у двери мадам Ватсон — внезапно таинственность рассеялась: ему отворила Евгения Константиновна.

— Как?

— А я вас ждала раньше.

— Но... она дома, мадам Ватсон?

В ответ самый приятный смех:

— Дома, потому что это — я. Я в Париже живу под этим именем.

— Шварц не сказал мне.

— Шварц любит таинственности! Входите и будьте как дома.

Петровский немного разочарован, тем более что только завтра Евгения Константиновна может передать ему нужное.

— А пока вы — мой гость, если не имеете лучшего. Жаль, что пообедали.

— У вас квартира?

— Гарсоньерка. Видите — тут все: одна комната и закоулок, где все мое хозяйство, газовая плита, ванная. Живу по-буржуазному. Не осуждаете?

В Париже Евгения Константиновна совсем особенная: прекрасно одета, даже светски-любезна. На острове она почти не замечала Петровского.

— И вино есть. Хотите кофе с коньяком? И я с вами выпью. По крайней мере ближе познакомимся; и вы меня совсем не знаете, и я вас плохо.

Развалившись в кресле, Петровский чувствует себя гостем и баринном. Он даже готов предположить, что его присутствие приятно этой самой удивительной и непонятной женщине из всех его революционных товарищей. Она некрасива, но куда же больше женщина, чем все эти Ксении, Доры; и видно, что из особого круга, не как те.

— Разве революционер должен быть аскетом? Вы аскет, Петровский.

Туман в голове не мешает ему понимать, что это, собственно, и есть настоящая жизнь, ради которой стоит рисковать. Но туман колеблется и рассеивается, когда он слышит слова:

— Как хорошо, что мы ближе познакомились. Я ведь давно знаю, что вы не совсем то, за что себя выдаете.

Он хочет спросить: «То есть как не то?» — но она, налив ему и себе, продолжает:

— И вы не то, и я не то. И проще всего в этом откровенно признаться.

Он хочет встать, но туман мешает, а она живо смеется:

— Испугались чего-то? А вы не бойтесь, Петровский! Мы здесь одни.

Он сильно опьянел, но отлично помнит, что ничего не сказал неосторожного. Или она просто шутит? Действительно, она смеется; он слышит также и свой смех, преувеличенный, но солидный и веселый. Смеясь, он говорит:

— Ну и какая же вы! Вот вы какая! Это замечательно.

— Как поживает ваша пензенская маменька?

— Моя маменька?

Его маменька поживает ничего себе, хорошо. Какая маменька? А впрочем — кому какое дело! Все это очень забавно, а Евгения Константиновна — остроумнейший человек! И он продолжает радостно смеяться.

Никогда еще коньяк так его не туманил: это от парижской духоты. Голос Евгении Константиновны вдруг делается серьезным, и не сразу доходят до его сознания ее странные слова:

— Слушайте, Петровский, ведь не настолько же вы пьяны? Или хотите притворяться? Все равно — иного выхода для вас нет. Если в вас осталась капелька чести... да вы понимаете меня? Или вы окончательно пьяны.

Он слышит и понимает, хотя все и застлано туманом. Но то, что он понимает — этого не может быть! У него стучат зубы, а рука его пытается взять рюмку. Может быть, все это — шутка... Она отнимает у него рюмку и раздельно говорит:

— Я оставлю вам револьвер, вот этот, видите? Если вы не застрелитесь, Петровский, вы слышите? — вы все равно будете убиты.

Он качает головой, затем сползает с кресла к ее ногам и заплетающимся языком что-то бормочет о прощении и о своей молодости. Она гадливо отстраняется — и он целует землю.

Тогда она быстро выходит, приносит стакан, наливает его коньяком до краев и повелительно говорит:

— Ну, тогда пей еще, трус.

Косясь на револьвер, он пьет с ужасом, ожигая горло; в сразу ступившемся тумане блестящая игрушка исчезает в ее сумочке: значит, это была шутка!

Последнее, что он чувствует, вызывает на его пьяном лице улыбку: под его голову подкладывают подушку. Самое важное — заснуть, чтобы потом все решить сразу. Его отяжелевшие ноги

сами подымаются и ложатся на широкий диван. Кружится голова, но все остальное прекрасно и благополучно.

С той же брезгливостью она вынимает из его кармана паспорт и бумажник. В бумажнике только деньги, и она кладет его на столик рядом со спящим. Затем она моет руки и освежает лицо. Чемоданчик на стуле у двери. Она смотрит на часы, надевает у зеркала шляпку, затворяет окно, задергивает тяжелые гардины и с минуту думает. В комнате душно и слышен храп спящего. У самой двери она резко поворачивается, возвращается в боковую комнату, где газовая плита, и поворачивает оба крана. Отсюда, не взглянув на лежащего, она медленно, слушая шипенье газа, идет к выходу и запирает за собой дверь на два поворота ключа.

Знакомый голос мадам Ватсон окликает консержку, только что видящую первый сон:

— Cordon s. v. p.! Merci! ¹

ГЕОГРАФИЯ

Карта Европы исчерчена линиями поездов и водных путей. В Финском заливе сильно качает пароход, и Ксения Вишневская жестоко страдает. Шварцу морская болезнь незнакома.

У стойки вокзального буфета в Вержболово молодой человек, явный иностранец, колеблется, взять ли ему бутерброд с ветчиной или два крутых яйца; стесняясь за свой акцент, он просит буфетчика дать ему «одна тарьелка» и долго рассматривает сдачу с десяти рублей. Две девицы поспорили: кто он может быть, француз или итальянец? Доедая бутерброд, Ринальдо смотрит на девиц с уверенностью красивого мужчины.

В третьеклассном вагоне из Франции в Италию едут две русские девушки, кто хоть немного разбирается в национальностях, тот ни на минуту не задумается. Наташа не сводит глаз с бегущих мимо окна деревьев, Анюта дремлет. Не вытерпев, Наташа будит Анюту:

— Ты посмотри, какая прелесть! Начинаются горы. Ведь это Савойя!

В Базеле меняет дальний поезд на местный дама, по выдержанности — англичанка, по языку как будто немка. Носильщику она называет станцию Дорнах — антропософское гнездо. Носильщику это совершенно безразлично, но ему нравится, что дама не пытается нести сама свой легчайший чемоданчик. За неделю перед этим дама заперла на ключ свою парижскую квартиру, открыв газовый кран.

В Гельсингфорсе оставила вагон невзрачная женщина с еврейскими чертами и, без помощи носильщика, несет к выходу объемистый багаж. В одном поезде с Дорой, но в другом вагоне, как незнакомый, приехал товарищ Сибиряк, член преж-

¹ Отворите, пожалуйста! Спасибо (фр.).

ней, распавшейся группы Шварца, вернувшийся в боевую организацию. Через две недели он должен будет встретиться в Петербурге, в среду, в четыре часа, в столовой на Литейном, с тем молодым испанцем, который сейчас доедает бутерброд у стойки в Вержболово.

Водным путем на Ганге и Гельсингфорс, лишь тремя днями позже, по более спокойному морю, едет человек со шрамом на лице. Паспорт у него русский, но пассажиру первого класса паспорт не нужен. Со шведами он объясняется плохо по-немецки, с русскими не заговаривает и с большой охотой болтает по-французски со старой дамой-туристкой. Дама, улыбаясь акценту и добродушию спутника, слушает Бодряси́на с приветливой улыбкой, немного страдая от его заиканья. Бодряси́н расписывает ей прелесть Иматы и советует провести лето на шхерах. Дама уже знает, что ее собеседник — русский коммерческий агент, женат, отец троих малюток, ранен в лицо на войне с Японией, любит Париж, где бывает ежегодно, а дела ведет преимущественно с Германией и северными странами. За табльдотом дама сидит между ним и капитаном парохода, грубоватым шведом, с которым говорить не о чем и нет общего языка.

На пароходе Бодряси́н курит сигары, не столько из конспирации, сколько по привычке ломать вкусы и привыкать ко всему. По той же причине он пьет много пива, которого не любит, и воздерживается от шведского пунша, который ему по вкусу.

В курильной, протянувшись в кресле, он сначала думает о том, что в рассуждении стиля его носки критики не выдерживают, а потом переходит к незавершенному вопросу о полной ненужности его поездки в Финляндию. Шварц уверяет, что он, Бодряси́н, необходим в деле, что без него в опасный момент группа наделает ошибок, так как оставить ее не на кого. Партия также обязывает Бодряси́на «состоять» при Шварце, непосредственно в выступлениях не участвуя, — да это и невозможно при его физических приметах. Но в чем, собственно, эта необходимость, никто точно определить не мог бы. Поездки же, вроде этой, обходятся дорого.

Дора, конечно, необходима. Может пригодиться и Ксения, если дело в Петербурге затянется и придется изменить план. Ринальдо и Сибиряк — исполнители. Шварц — командир. Из прочих участников, живущих в Петербурге, Бодряси́н двоих совсем не знает; Шварц за них ручается, — но не Шварц ли ввел в организацию и Петровского! Все они рискуют жизнью, и все нужны. Меньше всех, на этот раз, рискует Бодряси́н, едущий баринно в первом классе с сигарой во рту. Конечно, рано или поздно повесят и его. Если «дело» погибнет, Бодряси́н решил поехать в Россию при первой возможности и, может быть, там остаться, хотя трудно придумать что-нибудь неразумнее.

В дыму сигары, дешевой и противной, Бодряси́н видит несколько знакомых и милых лиц: лица тех, кто уже заплатили пол-

ностью за дерзость выступать судьями и мстителями. Их было много, — теперь остаются единицы. И думает Бодрясин: при те-перешних российских настроениях — эти уже последние! Вон и Наташа отошла от нас и уехала в Италию. Сам я ее и уговорил. Раз мог уговорить — значит, так для нее и лучше. Нет, из здешних черпать уже нельзя, а есть ли люди в России — кто скажет? Нужно побывать и убедиться.

Как часто бывало, мысли Бодрясина погружаются в ересь: как это так может быть, чтобы уничтожение одного дрянного и ничтожного старикашки, хилого и хлипкого, хотя зловредного, требовало участия десятка молодых и здоровых людей, которые должны рисковать жизнью и проделывать нелепые зигзаги и петли по карте Европы? Да ведь его можно придавить ногтем! Крикнуть громче — и он рассыплется. Прихлопнуть ладонью — и останется мокрое место. И сейчас же Бодрясину-еретику, Бодрясину-заике, плавающему в клубах дыма плохой сигары, отвечает трезвый, выдержанный, плавно и ясно выговаривающий слова и фразы совсем другой Бодрясин:

— В этом весь трагизм, но в этом и красота подвига. Страшной, несоизмеримой ценой оплачивается святая дерзость. Или ты веришь — или не веришь. Если не веришь — уйди, а не борозди море и землю сомнениями.

Захлебываясь дымом, еретик Бодрясин ядовито тянет:

— К-красота подвига, когда семеро атлетов на мышиноного жеребчика...

Солидный ответ:

— Если бы поединок — ты послал бы против мышиноного жеребчика одного из своих несуществующих младенцев, о которых ты наболтал даме за табльдотом. А этот жеребчик — за стенами и штыками.

— Не человек, а, т-так сказать, ид-дея?

— Не смешно, Бодрясин!

Мимо протянувшего ноги террориста проходит дама-туристка, с улыбкой садится в кресло напротив и закуривает тонкую папиросу. Она-то, конечно, сразу отмечает, что носки этого русского чудака не подобраны ни к галстуку, ни к цветной нитке пиджака, но она готова простить ему все за его словоохотливость, аппетит и остроумие. И дама окончательно решает, что будущей осенью поедет в Пётербург, Москву и Коказ.

В Ганге Бодрясин оставляет пароход, хотя было бы проще доехать прямым морем до Гельсингфорса. Не все то, что проще, согласуется с его планами.

Но в полном согласии с выработанным планом испанский художник, приехавший в Петербург, любитесь решеткой Зимнего дворца и Медным Всадником. Он любитесь совершенно искренне, хотя именно мимо этого неумоимого Всадника бегал в свое время с курсом ботаники под мышкой. Сейчас, после долгой разлуки, он чувствует себя настоящим и подлинным иностранцем и с серьезнейшим видом перелистывает «Бедкер».

Он уже успел убедиться, что никакого «хвоста» за ним нет.

Он прав: следить за иностранцем не приказано, чтобы не вызвать в нем подозрений. Следить за ним совершенно излишне, во всяком случае до трех часов будущей среды, когда он выйдет из столовой на Литейном, а тот, другой, минут на десять там задержится. Музыкальная пьеса разыгрывается по нотам; партитура в многоопытных руках. Они наивны, как дети! Ведь не один же жалкий юноша Петровский, кстати не подающий о себе вести, обслуживает за небольшое вознаграждение государственную безопасность! Еще никогда не было такого прекрасного «внутреннего освещения»! Даже старичок извещен, на какой приблизительно день назначена его гибель; более точные сведения будут даны дополнительно.

В швейцарском местечке Дорнах показывают приезжей даме строящийся Гетеанум. Русский поэт с нездешними глазами лежит на лесах под куполом и выбивает узор на твердом проклеенном потолке.

Итальянский поезд ныряет в туннели, радостно освобождается, бежит по краю скал, опять ныряет и опять вырывается на солнце. Внизу — морская бирюза, при подходе к станции сады, — и возможно ли, что это самые настоящие апельсиновые деревья! — Наташенька, смотрите!

Если бы все это могла видеть Аютина тетушка с Первой Мещанской!

ТАЙНА УЛИЦЫ

По оживленной петербургской улице проходит, не спеша и всматриваясь вдаль, молодой человек, очень хорошо одетый, несколько иностранного вида.

Ему бы нужно сливаться с толпой и быть незаметным; но он всех заметнее, и не только потому, что молод и красив. Он должен быть прохожим, вышедшим прогуляться, подышать, рассеянно посмотреть книжки в окне магазина, купить пять ножичков для безопасной бритвы и цветочного одеколону. Ему естественно со спокойным любопытством и мужской уверенностью, немного сверху и едва повернув голову, смотреть в глаза проходящим женщинам, — и в синие глаза, и в карие, и даже — от щедрости и равнодушия — в бесцветные, и все это походя и между прочим. Иную он мог бы и проводить взглядом, спрашивающе, но не слишком настойчиво, не теряя достоинства мужчины, только чтобы вызвать в ней легкое и приятное смущение. Но всего этого он не делает.

Потому он и всех заметнее, что у обычного прохожего не бывает *такого* лица, он *так* не идет и *так* не смотрит. Обычный прохожий не затрачивает *стольких* усилий, чтобы сдерживать ожидание и беспокойство, он не так механичен и расчетлив в движениях, для него не отсутствует толпа других людей.

В трехстах шагах за ним таким же размеренным и напряженным шагом идет другой юноша, совсем иной внешности, простоватый и провинциальной, но с *таким* же взглядом и столь же

усердно скрытым волнением. Этот всем уступает дорогу, боясь задеть встречного плечом. Словно бы он несет стакан воды и боится пролить каплю. Для него асфальт тротуара не достаточно гладок, расстояние от стен домов до тумбочек узко и стеснительно, и ему кажется, что никто не идет в ту же сторону, но все, точно сговорясь, идут навстречу, и слишком быстро, и слишком порывисто, даже неосторожно. Легкая слабость в его ногах и на сердце нелепой тяжестью давит металлический портсигар в грудном кармане пиджака. У идущего впереди такой же портсигар, но в правом боковом кармане легкого пальто.

Между ними условленное расстояние, которое не изменяется. И обоих связывает общность тайны.

Тайна в том, что, когда вдали покажется карета, цвет и размеры которой изучены, а лицо кучера знакомо, они приостановятся, выйдут, затем первый быстро выбежит на мостовую, и его портсигар взметнется, блеснет и ударится о камни под самыми колесами. Если не будет удачи, то наступит очередь другого.

В этом величайшая тайна, кроме них известная только четверым таким же заговорщикам и мстителям,— но тех здесь нет: они в дальних концах города ждут исхода решительного дня. Было уже несколько неудач,— карета не появлялась,— но сегодня такая случайность, по-видимому, исключена; сегодня четверг, прием ровно в одиннадцать, министр не может не выехать, и объезд невозможен.

За каждым из юношей следят со страхом и напряженным вниманием, много хуже скрытым, по несколько пар глаз: лихач, разносчик, господин с бачками, бравый молодец в пиджачке с непомерно короткими рукавами. Из нескольких окон на пути за ними наблюдают серьезные усатые лица,— чтобы уже не было ошибки и чтобы взять их ловчее и не дать им возможности страшными снарядами взорвать и себя и других. Главное — овладеть их руками прежде, чем они заметят и опомнятся,— иначе выскользнет и упадет металлическая коробка, и тогда произойдет неопишумое.

О том, что они появились на улице с похвальной аккуратностью в час, условленный тайным соглашением и заботливо, с таким же соблюдением тайны, сообщенный кому не надо,— телефонировали и в участок и в угловой ресторан; на дворе участка сам помощник пристава ждет с нарядом полиции, а из дверей ресторана, на ходу застегивая жилетку, выбежали сначала один, потом дважды по двое, и еще двое остались дежурить у двери. Роль этих невелика и не опасна — но кто знает! Министр, старичок с бакенами, похожий на старого щегла, ждет у телефона. Он выбрит и одет к выезду, хотя выезд отменен еще с вечера. Но его карета подана — и все это также по тайному плану и строгому распоряжению. Хотя теперь опасности нет, но у старичка вздрагивает нога и холодит под коленкой: подагрический пустяк.

Улица полна тайны, и странно видеть настоящую, вне всякой роли, даму с сумочкой, подлинного военного без пушинки на тугом

мундире, ковыляющую невинную старушку, двух школьников, болтающихся с книжками в непоказной час, которые настолько не спешат, что пятятся спиной, натываясь на прохожих и настойчиво изучая жизнь. Отрывки разговора прохожих, если прислушаться, такие бытовые и незначительные, что нельзя поверить в близость смерти, расованной по карманам владеющих тайной, — и юношей, и тех, кто за ними пристально следит.

Солнце слепит глаза переднего — и он щурится, как щурился на пляже острова Олерон только месяц тому назад. Но не так слепит солнце, как было на лесной поляне, когда огонь угадывался только по дыму, а дым был едва заметен. Так быстро свершаются события! Так странно, дрожащей сеткой танцующих комариков, мелькают дни, страны, намерения, даже имена. Там его называли Ринальдо и Ботаником, — здесь он приезжий иностранец с испанским паспортом и акцентом. Там было будущее, здесь есть только ближайшая минута, и скоро не останется даже прошлого. Это произойдет вот сейчас — и он опять внимательно всматривается в дальние экипажи.

Опередив его, двое исчезают в дверях парикмахерской. В окне размалеванный бюст, и на восковые плечи падают локоны льняных, недействительных волос. Кукла жеманно улыбается, из-за ее плеча жадно и боязненно высматривают живые глаза. Красивый человек проходит мимо, сдерживая шаг и не замечая кокетливой куклы. Из дверей парикмахерской выбегают те же двое, на ходу толкают школьников, невежливо задевают даму с сумочкой и, подбежав сзади, слегка согнувшись, неотрывно следя за его руками и только за руками, сразу, с налету, хватают его за локти. Давят сильнее, чем нужно, всем телом чувствуя ужас минуты, — хотя это не их, а его час смерти. Третий, высокий силач, появившись ниоткуда, хватается его сбоку за горло, отстранившись, чтобы ненароком не задеть бортом пиджака. Только чтобы не упал, не освободил рук, не дернулся слишком резко. Бросив лоток, разносчик расталкивает зрителей: «Осади! не толпитесь тут!» В руке бывшего разносчика револьвер — и нельзя его не слушаться. Школьники, отбежав на мостовую, в немом восторге наблюдают невиданную картину. Суетясь, один из силачей замыкает за спиной оглушенного юноши стальные наручники, и все бережно, как ценнейшую и хрупкую вещь, как хрустальный сосуд, подвигают его к дверям парикмахерской.

Ровным счетом за триста шагов позади, как бы повторяя ту же кинематографическую ленту, опять двое, потом трое, потом еще несколько человек сковывают руками и ведут другого юношу, попроще, слабого блондина, крещенного Дмитрием, в подвижности товарища Сибиряка. Он бьется, но может шевелить только головой да в воздухе болтать ногами; его держат на весу высокие и здоровые люди. В его кармане болтается и может сейчас нечаянно выпасть портсигар. Здесь вся публика шарахается, так как слышит крепкий и согласный топот ног: весь план выполнен блестяще и быстро, и уже спешит со своим нарядом помощник пристава, важный блеском своей роли: опасность уже прошла.

Смотреть больше не на что, и оба мальчика, чувствуя себя ближайшими участниками событий, теперь спешат в школу, потому что есть о чем рассказать и чем похвастаться. Дама с сумочкой взяла извозчика, военный без пушинки проследовал не останавливаясь и не глаза, не в пример штатским.

Тайна оживленной улицы, так внезапно разгаданная, сначала бурно понеслась в пересудах прохожих и в толках дворников и горничных; на ближнем углу она потопталась, не зная, куда ринуться, и вдруг, утратив прелесть и силу новизны, поплелась ленивее, истощаясь и тая, в сторону того дома, где ждал судьбы старенький министр. Но гораздо раньше исход событий добежал по телефонной проволоке, минуя подъезд, прямо в кабинет министра, и на шепелявый стариковский голос ответил голос свежий, радостный, чеканный и излишне громкий:

— Так точно, ваше-ство, взяты разом оба-два.

— Кто? Как вы сказали?

— Оба преступника, ваше высокопревосходительство. Никак нет, больше не могло быть, сведения точнейшие. Так точно, все как по писаному.

— Как вы говорите?

— Говорю — согласно полученной инструкции, ваше-ство. Дозвольте поздравить ваше-ство!

Положив трубку и размяв ногу, старик сказал секретарю:

— Э... и если поехать?

— Следует ли рисковать, ваше выскпрдство!

— Э... это мой долг, голубчик.

Новый телефонный звонок дал знать, что и там уже известно: поздравляют и высочайше благодарят.

НАЧЕТЧИК

Довольно неопрятный двор дома на Первой Мещанской в Москве. Чтобы отыскать квартиру вдовы Катерины Тимофеевны, приежму пришлось толкнуться в дворницкую:

— Укажите, любезнейший, а то я тут совсем п-потерялся.

Двуривенному дворник всегда рад.

На стук отворила сама Катерина Тимофеевна, женщина в больших годах, однако к старости не склонная, одетая опрятно, с лица строгая, но приветливая. Не сразу поняла, от кого явился господин с бородкой и заметным шрамом на щеке:

— Не знаю я что-то; это какая же Анна Петровна?

— Скажем проще — Анюта, может быть, легче вспомните.

Катерина Тимофеевна обрадовалась и удивилась:

— Неужто же вы от нее? Да ведь она за границей!

— Вот и я оттуда прямо к вам и з-записочку имею слова в три, в качестве как бы удостоверяющего д-документа.

Для Катерины Тимофеевны — большая радость. Письма от Анюты изредка получала, а человека, который бы видал там названую дочку, — впервые встретила. В письмах Анюта мало

рассказывала, какая она писательница! А может, и опасается писать подробно, кто ее знает. В записке сказано: «Шлю поклон с хорошим человеком». При записке и подарок: шелковый платок всех цветов, да такой яркий, что старой женщине и надеть нельзя. Приезжий человек шутит:

— Вам, Катерина Тимофеевна, очень будет к лицу. Красота-то какая, и работа настоящая итальянская, из города Рима.

— Да уж куда мне такой! Сама бы носила, пока молоденькая.

В минуту гость стал своим человеком. На трудных словах заикаясь, рассказал обстоятельно и подробно все, что знал и что мог придумать: как Анята с другой барышней жили в городе Париже, какая у них была комната, где обедали, да как Анята старательно училась и к тому же работала, сама добывала себе хлеб, и о других заботилась, как ее все знакомые любят за обходительность и душевную простоту. Иной человек, даже и постарше, за границей теряется либо заскучает, и жалеть его некому, — а вот она ничего не испугалась. Конечно, по дому тоскует и сколько раз поминала про Катерину Тимофеевну, всегда с любовью и благодарностью, что заботилась о ней, круглой сироте.

Катерина Тимофеевна отодвинула к сторонке подарок, чтобы не закапать слезой.

— Уж вы меня простите, такой ваш рассказ неожиданный! Да как же Анята с французами-то говорит? Она языку не обучена.

— Ничего, научилась. А вот теперь и с итальянцами объясняется, она теперь в Италии, живет на самом на морском берегу. Оттуда и шаль прислала.

Успокоившись, Катерина Тимофеевна не упустила рассказать Анятиному знакомому, сколько она из-за Аняточки натерпелась страху. И на допросы вызывали, и сюда таскались выпрашивать разные люди.

— А я что же знала? Ничего она мне не рассказывала, и как это случилось — мне посторонние люди доложили, что было написано в газетах. Я ее не сужу и не осуждаю, дело не мое. А люди говорят, что дурных она из тюрьмы бы не вывела, а вывела девушек честных, взятых понапрасному. Так и на вопросы отвечала, и никто Аняточки не осудил, даже некоторые восхищались. А я и понимаю-то плохо в этой политике.

Гостя легко не отпустила, — чтобы непременно выпил чаю с вареньем, с собственным. Из обширного буфета вынула рюмку на толстой ноге и бутылку вишневки, тоже своего изготовления.

— Конечно, вам, заграничному человеку, наливка не в диковинку.

Очень ей понравился гость, степенностью, простотой и рассказом про Аняту. Вот такого бы мужа девушке — да только этот, наверное, женат.

— Имени-отчества ваших не знаю.

— Иван Дмитрич, а по фамилии Пастухов.

— Своим делом занимаетесь?
— Помаленьку разъезжаю, дела торговые.
— Замуж Анюточка, видно, не выходит, не слышали?
— Об этом не слышал. А за кого выйдет — тот будет счастливый человек при ее характере. Вот б-будь я п-помоложе, пришел бы к вам, Катерина Тимофеевна, попросить б-благословения.

Видимо, человек шутит, а к Анюточке относится хорошо. Шутит и Катерина Тимофеевна:

— Если дело за мной, я ее за хорошего человека всегда благословлю!

Со стуком легким, Катерине Тимофеевне знакомым, вошла в дверь лиловая ряса, свежести не первой, но опрятная и, при малом свете, скорее парадная. Есть с кем теперь и радостью поделиться! При входе священника приезжий встал и почтительно поклонился.

— Радость у меня, отец Яков! Вот они Анюточку видали за границей и привезли мне поклон и подарок. И про житее ее рассказывают.

Отец Яков порадовался искренне:

— Действительно радостно, радостно. Оттудова приезжают не часто, да еще с доброй вестью. Лю-бо-пытно!

От наливки отец Яков отказался, чаю же выпил три чашки, и даже внакладку. Оказал почет и варенью.

— В Москву на побывку или как?

— Не задержусь, батюшка. Поеду в родной тамбовский уезд, там у меня жив старик отец, тоже священнослужитель.

— Значит, из духовного звания? Очень приятно.

И ему понравился гость, назвавшийся Иваном Пастуховым. Видно — бывалый и добрый человек, о людях говорит хорошо и Анюте как бы приятель.

Когда же, с хозяйкой попрощавшись, вышли вместе и направились к Сухаревой и дальше по Сретенке, приезжий человек сказал отцу Якову:

— Уж к-как мне приятно, что с вами познакомился. Я про вас, отец Яков, им-мел немалое удовольствие слышать не от одной Анюты, а и от ее приятельницы и сожительницы, также вам известной. Катерине Тимофеевне я имени ее не назвал, а уж вы, верно, припомните — есть такая Наталья Калымова, Наталья Сергеевна.

Отец Яков ответил подумавши и с осторожностью:

— Калымова, Сергея Павловича, рязанского помещика, действительно знал хорошо. Надо быть — уж не его ли дочка?

Зачем болтать лишнее незнакомому человеку, хоть и приятному в разговоре. И однако, до невозможности любопытно отцу Якову: ведь не чудно ли, что на путях его жизненного странствия нет-нет да и появится дочь рязанского приятеля!

— Где же ныне пребывает?

— Надо полагать, что в Италии, вместе с Анютой.

— В отеческий дом, значит, не собирается вернуться?

Собеседник на ходу крутит недавно отрошенную бороду и косится на отца Якова. Роста они одного, сверху вниз никому смотреть не приходится.

— Да ведь как сказать, ваше священство, ждет ли ее ласковый прием в отечестве? Вы как полагаете?

— Знать не могу, не осведомлен. Однако же родитель, наверное, по дочери тоскует.

— По многим тоскуют близкие, отец Яков, сами знаете: «по сущих в болезни и печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениих, т-темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих». И хоть возносится моление «ослабу, свободу и избаву им п-подаждь», — а что-то таковое не н-наблюдается.

В свою очередь покосившись на начетника и бороду погладив, но без строгости сказал отец Яков:

— И еще сказано: «погибельными ересьми ослепленные»...

— Дело взгляда, батюшка. По нашему же, «блаженны изгнани правды ради». Как раз это про нее, про известную вам девицу, а вернее, про обеих.

— Не сужу, не сужу. А приятно встретить мирянина, в текстах сильного.

— С детства привык, да и сам из семинаристов. Вот еще помню икос четвертый из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзость. Радуйся, твердое веры утверждение. Радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, ею же обнажися ад». Замечательно это сказано, отец Яков: ею ад об-бнажися! Люди ходят и пропасти не видят — а она указывает, и за это ей слава.

— Радуйся невесто неневестная!

— Вот именно, отец Яков! Другой не поймет, а мы с вами, по духовному вашему званию и моему происхождению, п-принимаем. Если доведется увидеть — п-прикажете ли кланяться?

— Да уж обязательно передайте пастырское благословение. Значит — обратно собираетесь в чужие страны?

— К-как сказать... Посреде хожду сетей многих... Т-трепещу, приемля огонь, да не опалюся, яко воск и яко трава...

— Господь хранит пришельцы...

— Аминь. Вот мы и дошли, должен здесь с вами попрощаться.

— Весьма польщен знакомством и беседою, Иван Дмитрич. Если еще доведется встретиться — буду премного рад.

— Лышу себя надеждою, отец Яков!

Отец Яков заторопился на Никольскую улицу в синодальную типографию, где добрый знакомец обещал ему раздобыть на складе нужную брошюрочку. Вслед ему поглядев, человек духовного сословия и неплохой начетчик, не спеша, пошел вдоль стены Китай-города в сторону Замоскворечья.

ОХОТНИКИ

Просмотрев тетрадку наружного наблюдения, тонкую, совсем ученическую,— ротмистр ахнул:

— Сук-кины дети! Романов и Бабченко тут?

— Бабченко внизу, а Романов на работе.

— Сук-кины дети! Пошли ко мне наверх Бабченко!

Двоим лучшим филерам приказано было не упускать из виду ни на минуту того, кто по наружному наблюдению значился под кличкой Меченый,— и таки упустили!

— Ничего нельзя было сделать, ваше благородие. У самых у Владимирских ворот смотрит на ларе книжки-картинки. Романов малость поотстал, все думал передать Батю, ихнего сопутника, да передать было некому, он меня и догнал. И только догнал и хотел забежать Меченому вперед, а тот прямо от ларя на дорогу и на лихача. Он и у ларя-то стоял, ваше благородие, что, видно, ждал подходящую лошадку. Где же его было догнать, ваше благородие! Если бы простой извозчик — иное дело.

— Номер записали?

— Так точно. Я опрашивал, мне ихний двор знакомый. Извозчик говорит — сошел на углу Пятницкой и Малаго Спасо-болванского и зашел в трактир.

— Нет там никакого трактира.

— Есть, ваше благородие, я знаю. Трактир без спиртных. А я, говорит, повернул назад,— какие седыки на Пятницкой.

— В трактире справлялся?

— Романов был. Хозяин говорит — из господ был один, шрама не помню, заказал пару чаю, деньги отдал, пригубил и вышел.

— Бить вас за это.

— Найдем, ваше благородие. Романов с Губаревым пошли в оба места, уж не упустят. Губарев с лошадкой на Мещанской, а Романов теперь ждет по месту жительства, у номеров. Где-нибудь да обнаружится. А я только вам доложить, тоже туда пойду. Такого не упустим, Меченый, все равно во всякой одежде.

— А Батя кто ж?

— Заправский священник, ваше благородие, раньше замеченный, еще когда убежали двенадцать из женской каторжной. Он не из ихних, ваше благородие.

— Ты чего знаешь, не твое это дело.

— Так точно. А только он неподходящий, по случаю. У нас, ваше благородие, глаз наметанный. Конечно, если бы не строгий приказ — и его бы путь просмотрели, да нельзя было Меченого упустить.

— Нельзя было — а упустили. Сук-кины вы дети!

Из Гнездиковского переулка ротмистр зашел домой переодеться, а к девяти был на конспиративной квартире. Вошел со своим ключом, отворил окно для воздуха, проветрил. Квартиру снимала Марья Афанасьевна, пожилая женщина, давняя

служащая охраны. В часы приема она уходила, и на звонок ротмистр отпер сам. Вошедший молодой человек снял синее пенсне, поздоровался.

— Ну, виделись?

— Да нет, не вышло. Ждали его к трем часам — не пришел. Я уж боялся, не арестовали ли вы его.

— Я же вам сказал, что не будем. А верно ли, что он едет в Саратов?

— Вообще на Волгу, а будет и в Саратове. Там связь известная, я вам дал адрес.

— Когда должен был ехать?

— Должен был завтра, да вот почему-то сегодня не заходил; а тут для него заготовлены явки.

— Еще что узнали?

— Наши считают, что он приехал один, а Шварц опять в Финляндии.

— Шварц — не наша забота, ему в Москве и делать нечего. А вот если мы упустим Бодрясина — и мне и вам достанется. Мои филеры его потеряли, сейчас ищут.

— Это все-таки плохо!

— Без вас знаю, что плохо. А он наверное не мог уехать?

— Из Москвы?

— А откуда еще? Если он без всяких адресов взял да и укатил? А?

— Это невероятно!

— У вас все невероятно. Нужно сказать — гусь опытный, настоящий стреляный волк. А как у вас считают, зачем он?

— Бодрясин всегда по набору, ищет боевиков. Сейчас это нелегко, никто не идет.

— Ну ладно, рассказывайте подробно.

Секретные сотрудники охраны редко писали сами; обычно сведения записывал их руководитель. Очередной доклад длился больше часу. Ротмистр знал, что Бодрясиным интересуется департамент и что кто-нибудь из центра, наверное, следит за ним параллельно. Тем более оснований работать и Москве; если Питер сплосаёт — Москва может выслужиться. Он не знал, что Питер уже сплосхвал и потерял Бодрясина так же, как и Москва: Меченый перехитрил охрану и выехал, притом не на Нижний, а на Ярославль.

Под ровный стук поезда Бодрясин спокойно дремал во втором-классном вагоне. Спать было как будто еще рано, а разговаривать с соседями по купе в его планы не входило. А не поднять ли все-таки верхнее место и не улечься ли окончательно?

— В-вы мне разрешите поднять верхнюю койку?

Сосед не только разрешил, а и с полным удовольствием. В Ярославль приедем утром рано, надо выспаться. И оба растянулись со всем удобством.

Засыпая, Бодрясин мыслил изречениями:

«Береженого и Бог бережет! Никогда не полагайся на осторожность и верность балующихся революцией! Утро вечера мудреней».

К этому прибавлялись попутные мысли:

«А неладно в Москве! Не поставь следить за мной дураков — где бы я сейчас был? А откуда могли узнать? Одним словом — нехорошо в Москве!»

И не лучше ли было бы тем же морем уплыть от финляндских берегов в Европу, укатить в Италию и валяться целыми днями на пляже, как другие делают? Ой, лучше! И для себя лучше, и делу не убыток! Чего добился Шварц? Того, что несколько чудесных парней погибло и еще погибнут многие? А потом погибнет и Шварц, а уж он, Бодрясин, наверное, опередит. Вот и все.

«Вкушая вкусих мало меда, и се аз умираю».

И на этом заснул.

ВНЕ ПРОГРАММЫ

Бодрясин с любопытством рассматривает статуэтку Будды, затем слоновый бивень с резными фигурками, шитых шелками драконов на ширме, коробочку с какой-то замысловатой игрой — и еще можно любоваться множеством предметов.

— Д-должен вам сказать, что ничего в восточном искусстве не понимаю. А не залюбоваться невозможно.

Хозяин не столько показывает, сколько изучает гостя.

Потом они пьют прекрасное вино и едят фрукты, привезенные из Самарканда. Лучших груш, кажется, не бывает. В молчаньи Бодрясин, одолев третью, постукивает ножичком по тарелке. Хозяин пододвигает к нему коробку с папиросами, конечно — китайскую. Встретившись взглядами, оба улыбаются.

Бодрясин вполне искренне говорит:

— Вы, вероятно, отличный человек. Отдаю должное и вашим вкусам, и умению жить, и некоторой все-таки решимости. Мое п-посещение может причинить вам неприятность.

— Мне? Во-первых, я вне подозрений, во-вторых — достаточно богат. Я знаю, что вас ищет полиция и что вы — как мне сказали — опасный революционер. Это правда?

— Лично я не ощущаю себя слишком опасным, но, судя по ч-чрезвычайной энергии вашей самарской полиции, я ей очень нужен.

— Вы верите в возможность революции?

— Во всяком случае, стоит п-постараться. И вы меня извините, если революция окажется для вас невыгодной.

Оба смеются и пьют положительно чудесное вино. Чокнувшись, хозяин говорит:

— Желаю вам удачи. Республика мне не повредит, а для социальной революции еще нет достаточных предпосылок. Вы хотели бы исчезнуть отсюда скорее?

— Очень хотел бы завтра.

— Могу ли чем-нибудь вам помочь?

— Довольно, что злоупотребляю гостеприимством на одну ночь.

Хозяин смотрит на статуэтку Будды.

— Этого маленького идола я вывез из экспедиции в Маньчжурию. Не знаю, будет ли нескромным вам сказать, что в эту поездку я имел случай переправить за пределы досягаемости одну приятнейшую особу, которую встретил в Сибири. Хотел бы знать о ее дальнейшей судьбе, но не знаю ее фамилии.

Бодрясин с удивлением смотрит на хозяина:

— Мне очень неловко, что я так мало о вас осведомлен, хотя и съел три ваших г-груши. Вы не профессор?

— Да.

— Я счел вас за б-барина без слишком серьезных заданий, конечно, очень интеллигентного. Тому виною эти фрукты и изумительное вино.

— Почему же вы спросили, не профессор ли я?

— Потому что ее, эту приятнейшую особу, звали, вероятно, Наташей. И тогда я мог бы передать ей поклон, если, разумеется, благополучно вернусь за пределы досягаемости.

Они говорят о том, что мир очень мал.

— Но ведь с вами ехал и почтеннейший б-бесприходный попик отец Яков?

— Вы знаете и его?

— Слышал от Наташи и удостоился видеть самолично в Москве; однако я делаюсь нек-конспиративным — и опять же виновато ваше вино.

— Тогда приступим к другой бутылке?

— Без м-малейшего оп-пасения!

Профессор смотрит стакан на свет.

— Я, как вы видите, немного гурман, впрочем, только дома. Мне пятьдесят семь лет, — остается уже немного. Я много раз был в Европе и не меньше ездил и бродил по тайге, по пустыням, делал раскопки, писал, читал лекции. Вы верите в революцию — могу к вам присоединиться, но без энтузиазма; и не потому, что я барин — я, конечно, барин, — а просто потому, что я слишком много видел, и в частности видел слишком много развалин былых культур. Не хочу говорить красивых слов, но, кажется, не обманывает только очень чистое вино. Вам такие речи чужды?

— Видите ли, мне лет меньше, и остается, по всей вероятности, еще меньше, чем вам, — соответственно моей профессии оп-пасного р-революционера. Хотя я тоже хорошо знаю Европу, но я, конечно, мужик, только подмоченный некоторым образованием. Развалин я не видал, но одну очень хотел бы п-посмотреть, и в этом направлении работаю. Что касается вина, то мой тятенька, он был священником, умер от водки, которая очень нег-гиг-гиенична, и, однако, он был отличным стариком. А у меня, кстати, несколько закружилась голова от вашего угощенья; надеюсь, что я не наговорил вам грубостей?

— Конечно нет. Но что вы будете делать с властью, когда ее захватите?

— Лично я не собираюсь властвовать, орг-ганически неспособен. Но думаю, что мы эту власть немедленно упустим.

— И тогда?

— А тогда придется работать снова, но только, вероятно, уже не нам.

— С тем же результатом?

— В-вероятно.

— Такова программа вашей партии?

— Ни в коем случае! Это только моя программа. Программы партий разумны и целесообразны, притом непогрешимы; на ночь глядя и за стаканом вина о них и говорить нельзя. Но кроме программы есть еще любовь и ненависть. Вы, кстати, рано встаете?

— Это не должно вас связывать — будьте как дома.

— Не найдется ли у вас что-нибудь вроде удочек и небольшого ведерка? Я люблю выходить в час предутренний, а для этого у человека должно быть оправдание, например — рыбная ловля; один из лучших паспортов.

— Все устроим. Но предрассветный час уже недалек.

— Если это повод для новой бутылки, то я не возражаю. Вы — один из тех буржуев, которых следовало бы, в сущности, сохранить в строе с-социалистическом на случай необходимости скрываться и ждать новой зари. Я разовью эту мысль на съезде партии. Ваше здоровье, профессор!

О РЫБАХ

Наперерез течению Волги, над Самарой, едут в лодке двое, и лица их веселы и довольны. Гребец смотрит на уходящие домики, кормовой улыбается воде, ее морщинкам и солнечным всплескам. Отдыхают души — тела не чувствуются. В лодке четыре удочки, лески смотаны, на двух длинные поплавки с окрашенной верхушкой. Коробка с червями, спичечная коробочка с мухами, большой кус белого хлеба. Один рыболов в высоких сапогах, старом пиджаке, кепке, другой по-городскому. Такой воздух, что и курить не хочется.

До середины реки продолжают разговор, начатый на берегу. Тот, у которого вид более рыболовный, говорит:

— На блесну я много раз пробовал — плевое дело. Все-таки волжская рыба пуганая, пароходы; да и держится больше берегом. На живца ловить здесь места хорошие, где мельче. А мы устроимся близ того берега, я знаю одно место, где должна быть яма, и там на червя — благодать! Лавливал и миногу почти в аршин.

— Идет на удочку?

— Идет. И стерлядь идет, конечно, на донную. Тут, у Самары, самое знаменитое место стерляжьего нереста, конечно, весной, в половине мая. А сейчас мы поставим на карпа и на подлещика. Карпы в Волге, знаешь, встречаются до пуда весом;

я лавливал фунтов на двадцать — и то великан! Больше в заводах, где потеплее и вода потише, но попадают и на большом течении. Этакий — спина черная, брюхо белое, красный хвост, а бока изжелта-голубые. Знатная рыба.

— Я больше по щучьей части.

— Можно и это, со скользящим поплавком. Здесь нужно пускать поглубже, а живцов мы наловим сколько хочешь. А лучше давай на червя.

— Мне все равно.

С середины реки разговор на минуту затих, а потом переменялся.

— Ты мне скажи, Коля, что, собственно, п-произошло, отчего ты и сам не надеешься и про других говоришь кисло? Расскажи обстоятельно, а то мы, заграничные, ничего больше не понимаем.

— Расскажу. Вот удочки поставим и поговорим. Да что рассказывать — одна грусть. Я тебя и знакомить ни с кем не хотел бы, добра от этого не выйдет, а вот засыпаться можешь свободно.

С лодки опущен солидный якорек, а нос причален к всаженому в дно колу — место готовое и приспособленное. Размотаны и заброшены удочки, закурены папиросы. Речной ветерок влажен и прохладен, солнце низко, должен быть клев.

— Ты пойми, что сейчас люди не те; я про нашу молодежь говорю. Сейчас над вопросами «что делать» да «как быть» не задумываются, а в лучшем случае — созерцают, а то ухарски улыбаются, играют в беззаботность. Воспоминания, конечно, сохранились, прошлое в уважении, но, с одной стороны, силен испуг, а с другой — нет прежней веры. Разбиты мы все-таки вдребезги, это нужно признать откровенно. И вот тут, как вода перебурлила, начала всплывать со дна всякая дрянь. Ты Соломиных семью знал?

— Старших знал.

— Вот. Гриша и Надежда Петровна сейчас служат в земстве, Володя в ссылке, а младшие кончили гимназию, учатся в Казани, а на лето приезжают. И вот у них собираются приятели и сверстники — любопытно посмотреть, я бывал. Начнут с чтения стихов Сологуба, а кончат чуть не радением. Пьют, конечно, нюхают порошки для экстаза и забвения, решают половые проблемы. И Гриша одобряет, даже участвует, хоть он их старше. Черт его знает что такое.

— Не все же такие.

— Не все такие, потому что и похуже встречаются. А кто лучше — те с головой ушли в науку. А то еще развелись не то чтобы марксисты, а марксята, из презрительных: в голове каша, а нос задирают выше и каши и головы. И эти, конечно, террор отрицают, как мелкобуржуазное. Рассуждают о рабочем вопросе, а рабочих и не видят и не знают — им достаточно по книжке. Старшие, впрочем, работают, даже больше прежнего, но их работу ты знаешь: одни слова и напрасные про-

валы. У тебя, кстати, клевала, ты перебрось; это какая-нибудь мелочь, вроде ерша.

Оба осмотрели наживку, забросили снова.

— Скажем так: это — временное настроение. Ко второму пришествию поправится. Но я тебе вот что скажу, а ты мне поверь, Бодрясин. Когда второе пришествие наступит, тогда станет еще хуже! Это будет уже не победное восстание, о котором мы мечтали, а бунт, смутное время, и такая жестокость, что мы сейчас и представить не можем. Будет дым, огонь и кровавый над землей туман. И не на год-два, а надолго. Мы с тобой идеалисты, а подрастает поколение иное, положительное и очень жестокое, и в наших рядах, в интеллигентских, и среди рабочих. Приятным словам не верят и себя самих ценят высоко, — мы-то ведь себя самих ценили в грош. Если сейчас только теории разводят, дескать, «живи, как тебе хочется» да «к черту ваш пуританизм», то как время придет — эти теории приложатся на практике целиком. Мы все «для народа», а они — с полной откровенностью — для себя. Я от этого «второго пришествия» никакой радости не жду и в человека больше не верю. Вот в рыбу еще верю, держи-ка сачок. Это подлещик — вот он лепешкой на воду ложится. Подлещик, однако, добрый! Вот мы и с почином.

— Брось его обратно, жалко.

— Вот ты какой. Нет, брат, я его съем и тебя угощу. К чему же тогда ловить? Не снимай поводка, я выну крючок; они глубоко никогда не заглатывают, видишь — за губу зацепил. Устарили мы с тобой, Бодрясин, а ты против меня — вдвое.

— А то и вп-вп-впятеро.

— Ты вот не хочешь мне верить, а я говорю правду, я много над этим раздумывал.

— Я верю. Да и знаю! Не тут только, а и за границей то же. Хочется человеку жить.

— А тебе расхотелось?

— Вопрос с-слишком интимный и трудный. Не было досуга п-поразмыслить.

За подлещиком попался настоящий большой лещ. Бодрясину попал большой голавль — и рыбак в нем проснулся. Пришлось долго водить и держать на дугой согнувшейся удочке. Когда подвели сачок и вытащили — красно-синий хвост торчал наружу. Пожалуй — не меньше пяти фунтов! Бодрясин даже сострил:

— Вот так и меня вытянут!

Путь голавля, любителя быстрой и чистой воды, лежал с низовьев Волги выше и выше, куда хватает сил, хотя бы до Рыбинска. По этому пути пришлось бы плыть мимо больших городов и малых приречных местечек, где люди будто бы переменились, а в сущности, остались теми же: добрыми, злыми, озабоченными, беззаботными, чающими и утратившими надежду. Они жили, имея позади маленькую историю и впереди — значительно более сложную. Но не было никаких оснований думать, что домики, мимо которых голавли, ельцы, язи и жерехи

проплывают, направляясь к верховьям Волги и заходя в устья рек малых,— через несколько лет перевернутся вниз крышами, и из них посыплется человеческие семьи и одиночки, злые, добрые, чающие и утратившие надежду, и что на середину реки выедет в дырявой и заткнутой тряпкой лодке солдат и бросит динамитный патрон: новый и упрощенный способ ловли рыбы, без затраты времени и усилий; правда, при этом гибнет напрасно много рыбьей молодежи, которая потом долго плывет по реке пятнами и крапинами. О, если бы все предвидеть, если бы можно было решительно все предвидеть! И было бы тогда жить — удобно и скучно.

КОМНАТА ОТЦА ЯКОВА

Насколько мог, исполнил свою заветную мечту смиренный иерей Иаков Кампинский, скромнейший летописец достопамятных российских событий: собрал тетрадки своих подневных и помесячных записей, бывшие на хранении у многих верных друзей по многим городам и весям. Добрым чутьем отец Яков понимал, что заканчивается большой кусок истории, а куда и как она пойдет дальше — запишут люди иные, помоложе его.

Собрать тетрадки было нелегко и непросто. Доверить их почте отец Яков не решался и собирал их лично, пользуясь каждой поездкой, и с добытым уже не расставался. Теперь его чемодан был тяжел, пока не выгрузился в Москве на Первой Мещанской, где отец Яков окончательно осел, сняв комнату у Катерины Тимофеевны.

Комната малая, но светлая, для работы удобная, как утром, когда в нее забегает солнечный луч, так и вечером — при широком и приветливом огне керосиновой лампы. У стены узкая аскетическая кровать, ножки которой погружены в жестяночки с водой, во избежание сосущих кровь насекомых; над кроватью в узкой рамке, не в качестве иконы, а для настроения и для красоты, фотография Терноносца работы Гвидо Рени, под коей другая рамка поменьше с изображением в лесах затерянного скита: домик среди елей и пихт, ручеек и медведь с веселой улыбкой балованного дитяти. На свободной стене полка для книг, сделанная из отрезка доски и подвешенная на прочных веревочках треугольниками; книги же не из дорогих, но тем редкостные, что по большей части провинциальных изданий по археологии и местной истории, работы авторов столь же страстных, сколь и остающихся в неизвестности, в том числе и самого отца Якова, автора немалого количества брошюрок о приволжских курганах, о серебряных блюдах сасанидской династии, о почти полном туловище мамонта, найденном в сибирских мерзлотах.

И хотя очень редко кто заходил в сию келию отца Якова, но на стене над полкой был вывешен плакат работы знакомой типографии.

«Если ты зашел к занятому человеку, то кончай свое дело и поторопись предоставить его труду и умственным углублениям».

И правда, домашние часы отца Якова были теперь всецело заняты приведением в порядок долголетних записей, устранением случайного и лишнего и перепиской важнейшего так, чтобы получилась настоящая и значительная книга. Издать ее вряд ли удастся, за неизменением расходных на это средств,— да и рано было бы, даже не все можно опубликовать. Но «человек яко трава, дни его яко цвет сельный» — и нужно быть всегда готовым к завершению земного странствия.

Перечитывать записи было для отца Якова постоянным и немалым удовольствием. Сознвая свои писательские недостатки, он угадывал, что порою ему удавалось окупать их высотой чувства и душевной увлеченностью, но говоря уже о том, что не может не быть драгоценным для потомства рассказ очевидца, никогда не погрешившего измышлением невиданного и творчеством небывшего. Но и в личных его мнениях будущий чтец почерпнет полезное, потому что надо знать, как сами современники оценивали события, и потому что истории пишутся людьми, не всегда беспристрастными, и оценки с расстояния спорнее и условнее оценок вблизи. Сколь часто история вычеркивает со своих страниц деяния, непригодные для особых целей историка! Сколь обычно забывается имя человека, оставшегося непрославленным,— а этот человек был для его современников великим, и влияние его сказалось во многом, что после приписано будет заслуге других, более озаботившихся сохранением для потомства своих портретов.

Из последних записей отца Якова, относящихся к лету тысяча девятьсот одиннадцатого года, приведем здесь нижеследующую:

«Куда идем? К каким новым испытаниям влечит нас российская колесница? Мир ли хижинам или война дворцам? Не мне, смиренному иерею, судить управителей народных судеб, будь то назначенные свыше или избранные народом. Не мне и указывать, сколь непонятен простому и серому человеку, однако же истинному гражданину и притом составляющему безгласные миллионы, тот путь, на который влекут его и толкают многоглазые избранники, не пахавшие земли и не державшие молота, а равно и те, кто в бумажном приказании видят спасение от грядущих бед. Но бесстрастным оком летописца ясно вижу хмурое народное чело, утомленное долгим непониманием.

Сих строк писатель родился крестьянином и вышел на дорогу просвещения. Как мне, с младости жителю деревни, не знать зверя, дремлющего в берлоге, но лишь до призыва голода или до вешних дней! Будет страшным тот час, когда воспет труба, ибо сей зверь на ходу может ломать деревья и крушить живое, не щадя и собственного существования, что объясняется естественным неразумием и многовековой темно-

той и отчаянностью. И однако со всех сторон тревожат его сон как лаем псов, так и бряцаньем оружия.

О, сколь велики пространства наши, сколь трудно устроимы росписью законов и мечтательностью книжных людей! Просвещаем единиц, а массы бродят в тумане неведения. Окружены лесами, а для школ не хватает срубов, и в крайней бедности живет учитель, питааясь луком и не пользуясь полным уважением, как лицо зависимое. Поле невспаханное и уже сеемое плевелами. Прошедшим летом имел удовольствие состоять в кружке для распространения сельских библиотек, с участием дам и присяжных поверенных, что по мысли прекрасно, однако же капля в море. Но и эта мысль ныне малых привлекает, и как бы мода на то прошла. На кого же надеяться, на чью помощь уповать? Не на тех ли грядущих, кто поведет темного человека в пожары и разруху, «бурю внутрь имея помышлений сумнительных»? А между прочим, сие не исключено!

И тут, внезапно возвращаясь к высокому пафосу, до которого отец Яков еще с семинарии был великим охотником, летописец восклицает:

«Чем отмахнусь страшного предвидения, чем заглушу в душе дерзновенный пророческий голос? Се грядет незванный и нежеланный, взявший власть судить и решать, и с ним полчища оскорбленных и замученных голодом, без жалости и рассуждений, без оглядки и мысли о будущем. И вздрогнет русская земля и расколется великим расколом — и кто тогда спасет, и чем спаяет безрассудные трещины, и чем залечит кровоточащие раны, зыскающие бальзама и находящие лишь растравление? Сладко бы опийбиться в страшном пророчестве — но старое сердце томит несносная жуть!»

Это уже не тот отец Яков, который с неподобающей служителю церкви жадностью ловил слухи, ждал событий и искал знакомств с примечательными личностями современности. Ах, и русская земля стала не тою, не ждет больше благодати, свыше сходящей, не верит обещаниям, не греется в лучах несбыточной надежды! Мудрость к ней еще не пришла — сталь закаляется в огне, — но в мозгу неуклюже зашевелился умишко, и горечь оказалась в уголках рта. Стал утомляться и отец Яков от вечных путешествий и слишком много перевидал. Конечно, русский человек многожилен и твердоплеч, но и грядущим поколениям следует оставить тертого хрена на заправку житейской тюри, а нам на наш век, пожалуй, что и хватит! И хоть бы отдых впереди — а то ведь ничего, кроме хмурых туч. Нужно ли перегружать летопись тугою и печалею?

Как странно: из тьмы деревенской перекинулся и на городскую Россию великий медвежий сон! Кто спал — тот по-прежнему спит, кто предавался ликующим мечтаниям — тот сейчас потягивается и зеваает, не одолеть ему дремоты. Не только не слышно набата, а и мирного благовеста колоколов. Или уж так навсегда? Или только притаилась какая-то тайная сила, ползет, подкрадывается и вдруг как двинет, как распояшется — и пой-

дет ломать лед на реках, а по берегу смывать постройки и слизывать все, что заготовило себе человеческое благополучие?

Уже полусед отец Яков,— началось словно бы и недавно, а быстро пошло. Но ясен взгляд нехрабрых, голубых славянских глаз. С живота же отца Яков как будто бы не спал, скорее напротив. Сейчас в России, в ее тишине, жизнь накопленная, сытая, внешних волнений нет. Гляди — какое большое, сильное и прочное государство! И как боится его внешний враг, и как лебезит перед ним каждый друг граничный! Можем по выбору закидать — кого шапками, кого караваями хлеба.

Почему же беспокоится летописец достопамятных событий и от ровных строк переходит к взволнованным восклицаниям? Для красоты ли слога или по зловещим предчувствиям? И сам того не ведает отец Яков, погруженный в свою работу; почитает, полишет, походит по комнатке солидной поступи, а то остановится и с большим удовольствием посмотрит на очень хорошо отпечатанный плакат, вывешенный на освещенной стенке:

«Если ты зашел к занятому человеку, то кончай свое дело и поторопись предоставить его труду и умственным углублениям».

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

ВИЛЛА КАТОРЖАН

На взгорье двукрылая вилла: на восток и на запад по большой террасе. Нижний этаж скрыт виноградником.

Могла бы выглянуть из среднего окна пленительная итальянка, а слева и справа, театрально перекинувшись через балюстраду, могли бы мимо ее головки метать молнии ревнивых взглядов двое,— один с гитарой, другой с мандолиной. И, рот раздвинув во всю ширину щек, улыбалась бы луна.

Но все сидят по комнатам. Комнат на вилле двадцать — в трех этажах: нижние с оконными решетками, верхние с выходами на террасы. Большинство комнат пустует, и всех жильцов семь женщин и трое мужчин. Сборная мебель, ни картин, ни украшений, гулкий и унылый коридор, внизу большая общая столовая с неубранной чайной посудой.

Заняты комнаты верхние и три в среднем этаже; в нижнем, где летом прохладней, никто селиться не хочет из-за оконных решеток,— дурные воспоминания.

По длинному коридору гуляют сквозняки, и осторожными шажками бродит кошка с оборванным ухом. Кошку зовут Матильда,— но она ни на какие клички не отзывается. У кошки

две страсти: мыши и личные романы; обе страсти просыпаются в ней к ночи. Днем она могла бы увлечься птичками, если бы местные виноградары не истребили их дочиста.

Это — вилла каторжан. Богатый генуэзский купец, которому она и надоела и вообще не нужна, пустил сюда бесплатно жить русских беглецов. Портить нечего, а за огромным садом смотрят сторож с женой, тоже живущие из милости. По их отзывам, русские мирны, непонятны и, пожалуй, симпатичны. Они очень много курят, и мужчины и женщины, потом едят, больше мяса, чем теста и зелени, иногда хором поют унылые песни и получают с почты письма целыми пачками, сколько добрый итальянец не получит за всю жизнь. В теплую пору они проводят две трети дня внизу, на пляже; но и дома они не вылезают из купальных костюмов. Их женщины повязывают головы платочком, одна носит длинные косы; мужчины, выходя из дому в местечко, надевают рубашки навыпуск, подпоясывая их кушаками. Почти все могут объясниться по-итальянски, а хорошо ли — этого сторож не знает, так как сам он говорит только на своем родном «зенезе», — генуэзском наречье.

С террас открывается даль Средиземного моря; по морю неторопливо плывут тени облаков, и меняются очертания матовых дорожек водяной ряби. Вечером виден маяк на мысе Портофино — то блеснет, то погаснет. Пляж отрезан от взгорья и проезжей дороги рельсами; но большинство поездов не останавливается в глухом и малолюдном местечке.

Если лето, то по всему склону поют цикады, громче к полудню, тише к прохладе, а ночью замолкают; зато в июньский вечер склон покрыт ровно вспыхивающими огоньками летающих светляков. Светляки ищут самок, сидящих в траве и в щелях каменных заборов спокойными зелеными лампами.

Дело в том, что революция в России кончилась; суды лениво добивают последних бунтарей, почти никто не стреляет в губернаторов и бывших усмирителей, все читают длинные отчеты думских заседаний, но уже надоела и эта политическая словесность. Провинция занята кооперацией и сельскими библиотеками, в Петербурге говорят о философии, брачном полете пчел и однополый любви, которая и таинственнее и выше двуполой. В высоких сферах Петербурга вошли в силу не то филалеты, не то спириты, но поговаривают и о каком-то старце, который может всех их заткнуть за пояс.

Российское уныние передалось и сюда: рушились планы, и нужно чего-то выждать. Будто бы это время очень удобно употребить для пересмотра программ и чистки рядов. О том, что уходят молодые годы, каждый должен думать про себя: это — не общая тема.

И молодые годы, в счете незаметных месяцев, летят стремительно. Раньше нервы были скручены в упругие пружины, по которым проходил ток высокого напряжения. Теперь батареи иссякли, части машин износились, повисли приводные ремни. Молодые стали спешно стариться, разбередились раны и ранки,

на которые раньше не обращали внимания,— ведь было все равно, жизнь рассчитывалась только на короткие дни и месяцы.

У Нади Протасьевой оказался глубокий легочный процесс, ввалились щеки, упала грудь, по вечерам горели глаза. Она куталась в шаль, курила самые дешевые папиросы «пополяри», облюбованные за их крепость. К Верочке Улановой вернулись ее тюремные припадки и кошмары, и она боится спать одна в комнате,— она, которая ничего не боялась. Товарищ Гусев, бежавший с Акатуя, никак не справится с ишиасом и лежит неделями, но не отказывается от губительных для него морских купаний; и он и Надя постоянно повторяют «все равно», «не стоит думать»,— и это, по-видимому, их сближает. Когда у Нади жар,— она не выходит вечерами на террасу, и в ее комнате сидит Гриша-акатуец; когда Гришу донимает ишиас — за ним ухаживает Надя, это уж так установилось, и до этого никому не должно быть дела.

Да и вообще, вполне здоровых только двое: Наташа Калымова и ее неотлучный друг — Анюта.

Анюта рада своему здоровью: оно ей очень нужно. Жизнь ее удивительна! Ужели это она, простая девушка с Первой Мещанской, для которой и жизнь намечалась простая, бесцветная и, вероятно, нелегкая? И вот она попала в среду особенных людей, у которых, при всей их молодости, за плечами большое и славное прошлое, подвиги, страдания, в своем кругу — слава. С ними она докатилась до Парижа и теперь живет в Италии, в стране, о которой не мечтала, потому что почти ничего и не слыхала. Стали доступны ей серьезные книги, и она, как равная, хотя и несмело, разговаривает с образованными людьми, с ее мнением считаются и уже забыли, что она была только маленькой тюремщицей.

Что будет дальше — она об этом не думает; и раньше не думала — а вон что случилось! Пока приходится думать о том, чтобы хоть в малом помогать всем своим друзьям: починить рубашки, скроить и сшить кофточку, похлопотать по хозяйству; ведь им, посвятившим свою юность иному, никогда этим заниматься не приходилось, ей же это так привычно. В другом ее все превосходят, — а тут без нее никак не обойдутся, и ей приятно, что она нужна и полезна, и для этого хорошо быть здоровой и бодрой. А вот курить она не приучилась — не хочется, не вкусно.

Отчего-то Наташенька, Наталья Сергеевна, как будто не рада своему здоровью и своей красоте, цветущему загару и пышным волосам! И в простоте и правдивости, забывая о собственной молодости, Анюта думает: «Ей бы, Наташе, мужа бы да детей! И здоровье пригодилось бы и не было бы ей в тягость!»

Наташа считает дни, месяцы, даже года: с летом кончится третий год ее заграничной жизни. Последний год прошел быстро, скучно и незаметно: мелькнул серыми месяцами, хоть и у лазурного моря. Планы, расчеты, ожидания — все оборвалось сразу. С последним роспуском боевой группы исчез Шварц, вероятно,

он в Финляндии. Весной приезжал из Парижа Бодрясин — просто повидаться, а может быть, проездом по делам, у него не узнаешь. Рассказал подробности о гибели Ринальдо, о полной неудаче всех последних начинаний Шварца, об унынии в рядах заграничников, о таком же унынии в России. Впрочем, о России рассказывал мало, уверял, что ездил туда ловить рыбу и что, действительно, удалось ему вытянуть преог-громного г-голавля.

— Что же делать?

— К-купаться и изучать Лаврова и М-михайловского. Очень интересно и полезно, от-т-тложившаяся мудрость!

— Нет, а серьезно?

— Ну, можно, например, п-перестроить жизнь на личный лад. Боюсь, что вы за меня замуж не собираетесь и потому з-за-задержание последнее объяснение.

— Я вас серьезно, совсем серьезно спрашиваю, Бодрясин!

— А я вам столь же серьезно отвечаю, что знаю не больше вашего по существу дела; по вопросу же личному, откладывая разговор с вами, п-полагаю обратиться к Анне Петровне, потому что ее считаю более снисходительной к моим недостаткам.

И он действительно, пока жил на вилле каторжан, много времени проводил с Анютой, успел ее приручить и сам, как бы нечаянно, приручился. Звал ее гулять на ручеек, — горный ручеек, весной полноводный. Говорил с ней ласково и серьезно, единственный из всех подолгу ее расспрашивал, как думает она устроить свою дальнейшую жизнь, вспоминал о своем посещении Катерины Тимофеевны на Первой Мещанской, даже ей одной рассказал, как ему удалось избежать ареста в Москве, в Самаре, еще в двух городах и, наконец, снова выбраться за границу. Со всеми скрытный и немного насмешливый, он был с Анютой прост, серьезен и особенно дружески-почтителен.

— Мы с вами, Анна Петровна, оба из простого звания и друг друга п-понимаем с полслова. Это, знаете, может в будущем пригодиться.

Но дальше такой фразы не шел.

В день приезда Бодрясина в его честь устроили большую «макеронату» с двумя фьясками красного вина и застольным пеньем. У Бодрясина оказался огромнейший трескущий бас; он объяснил по-итальянски:

— *Carriera mancata!* Упущенная карьера. А быть бы мне теперь п-прот-годьяконом!

Когда всем налили вина, Бодрясин встал и провозгласил неожиданный тост:

— За здоровье новобрачных!

И никто не удивился, когда он разъяснил:

— За наших милейших! Надежду Протасьеву и Гришу-акатуйца. Потому что, дети мои, глупо притворяться, точно это — дурное дело. Любовь ничем не хуже революции. Взглянем на дело просто — и будет всем хорошо и удобно.

Только он и мог так сказать, никого не обидев и даже не слишком смутив слюбившихся друзей. Несколько стеснявшая всех

неловкость была сразу разрешена, и тайна, давно не бывшая тайной, благополучно вскрылась. Зачем и от кого прятаться, разве любовь не свободна?

Ночью пошли на невысокую гору Санта-Анна, где освещенная луной тропинка над пропастью вела к развалинам старой церковки и откуда был изумительный вид на ночное море и маленький полуостров.

Кажется, это был единственный по-настоящему веселый вечер заброшенных на итальянский берег молодых каторжан.

И с этого дня на вилле как бы перестроился быт: появилось нечто прочное, зародыш семейных отношений. Зимой у Анюты прибавилось работы: оказалось, что только она, изо всех младшая, знает, как нужно выхаживать ребенка и что для него шить. Ей подчинялись беспрекословно и ее называли «мать-командирша».

На чужого ребенка, некрасивого и болезненного, с завистью смотрела Наташа. Правда, она мечтала о ребенке здоровом, богатыре и сыне богатыря. Но может быть, и вправду перевелись на Руси богатыри? Во всяком случае сюда, в Италию, они не заезжают.

Состав живших на вилле не был неизменным. Приезжали из России или из Парижа новые, а старые время от времени пытались вырваться из итальянской глуши на европейский простор; но ядро оставалось тянуть жизнь праздную, будто бы временную, которая вот-вот закончится веселым отлетом к новому подвижничеству: что-то случится, пронесется бодрый и громкий клич, и залетные птицы тронутся в обратный путь к северу. Живя тут — прочных корней не пускали, но сами не замечали, как отдых и передышка становятся бытом.

Неподалеку от виллы, которая была на отлете, жили в местечке еще несколько русских эмигрантов, возрастом постарше, а один и совсем старик. Селились и случайные люди — знакомые знакомых, прослышавшие о хорошем пляже и о дешевизне жизни.

Но в первую русскую могилу на сельском кладбище опустили тело человека, не успевшего налюбоваться южным солнцем и еще не забывшего северных сияний, — давнего и дальнего путника.

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

С высот Савойи Николай Иванович свалился к побережью Средиземного моря. Никаких особенных красот не было — чем поразить человека, пешком пересекшего Сибирь и Урал? — но было так чудесно на душе, что все освещалось радостью и виделось лучшим и красивым. Обширен и совсем не мрачен был генуэзский вокзал, а сколько прелести в том, что итальянцы говорят по-итальянски! Их языку Николай Иванович учился в каторге, конечно, по Туссэну и Лангенштайту, знал наизусть первые две страницы романа «Обрученные» и читал с театральными жестами из Леопарди:

Or, poserai per sempre, stanco mio cor!¹

Здесь, на месте, весь обратился в слух — и не понял ни единого слова из разговоров в вагоне и переклички носильщиков, не читавших ни Манцони, ни Леопарди, ни даже местной социалистической газеты «Лаворо». Надо бы прийти в уныние, — но даже это веселило и радовало Николая Ивановича: «Вот так выучился!» О том, что в Генуе говорят на диалекте, он не знал.

Дальше, почти два часа обождавши на вокзале, пересел в местный поезд и занырял по дымным туннелям Восточной Ривьеры. Совсем как на экране кинематографа, недавно появившегося в Петербурге: сверкнет картина — и провалится в темноту, сверкнет другая — и туда же. Только здесь картина всегда одна: море в разных рамках, разных освещениях, подальше, поближе, прямо под окном вагона, беспокойное, с белой оторочкой волны, с мутным валом у песчаного пляжа, а у скалистого берега — похожее на красивую выдумку. И было это столь удивительно, что чуть не пропустил нужной станции. Но кондуктор под окном с такой итальянской отчетливостью врезал в слух два слога ее названия, что Николай Иванович живо сорвался с места, выпрыгнул и за ремень вытащил свой единственный, но хорошо набитый чемодан.

На вокзале полустанка — ни живой души, если за душу не считать не то начальника, не то носильщика. Пока отходил поезд, Николай Иванович составлял в уме фразу из слов «dove» и «trovare», убеждая себя не забыть и вежливое «signore». Но грузный человек в форменной кепке и штатском засаленном пиджаке подошел сам, отобрал билет и, видя нерешительность движений приезжего, ткнул его в грудь пальцем и уверенно спросил:

— Russo?

А когда Николай Иванович радостно закивал, хорошо помня стихи Леопарди, но позабыв «si, signore», толстяк взял его за рукав, вывел с вокзала на шоссе, показал на выложенную камнем тропинку вверх, для верности ткнул в небо коротким пальцем и прибавил:

— Monti pure!

На этот раз Николай Иванович вспомнил слово grazie и не упустил signore. Но почему нужно тащить чемодан в гору, и что значат слова толстяка? Monti — горы, pure — словно бы от rigore, чистый; множественного числа женский род. Взвалив на плечо чемодан приемом опытного сибирского варнака-грузчика, Николай Иванович стал подыматься по тропинке, скоро перешедшей в узкую лестницу, и на первой маленькой площадке радостно догадался, что нет никаких «чистых гор», а просто это значит — подымайтесь.

Поднялся выше — и на новой площадке увидел дверь с огромным, как бы чальным кольцом и что-то над дверью. Вынул свои знаменитые очки, футляром которых грозил застрелить дворника при побеге и по которым признал его в Сибири отец Яков, — и туман рассеялся: над дверью необычайно коротконогая каменная

¹ Здесь отдыхает навеки усталое сердце мое! (Итал.)

мадонна держала на руках исключительно упитанного младенца с выветрившимся носом на почерневшем лице. Решив, что тут вход в какую-нибудь церковную ограду, Николай Иванович, отдохнув немного, собрался подыматься еще выше, но с неба раздался женский оклик. Пovyше площадки, на виноградной террасе, совершенно такая же коротконогая женщина с таким же ребенком на руках, но только живая, повелительно указывала ему пальцем на дверь и утвердительно кивала:

— Sior Paolo, eccolo là!

Так это было все необыкновенно и так благодатно прозвучало с неба непонятное и смешное «эрколола», что нельзя было не подчиниться. Небритой щекой скользнув по ремню чемодана, Николай Иванович приветливо кивнул и повернул дверное кольцо. За дверь, в небольшом садике у крыльца дома, сидел и писал человек в русской рубашке навыпуск. Увидав Николая Ивановича, он просто сказал:

— Здравствуйте, я сейчас.

Аккуратно промокнул розовой бумажкой свежие строки, сверху положил большой камень-кругляш, чтобы не унесло ветром, и встал.

— Приехали?

Николай Иванович охотно ответил, что действительно приехал. Ему было безотчетно весело. Никто не мог его ждать, никто не знал о его приезде, и сам он никого здесь не знает, — и вот все оказывается так просто, точно подготовлено заранее.

Русский низкорослый блондин с редующими волосами осмотрел его внимательно и наконец спросил:

— А вы кто же и к кому? Прямо из России?

Николай Иванович назвал себя настоящим именем, за два года произнеся его впервые. По ответной улыбке понял, что русский его имя знает. Еще прибавил, что указано разыскать здесь Наталью Калымову.

— А уж почему меня итальянцы направили к вам — не знаю. Я никого не спрашивал.

— Как же иначе, ко мне всех посылают. Я тут старожил.

— Так со станции и послали; говорят: «Подымайтесь!»

— Понятно, вы в сапогах. Вам нужно пройти на виллу ка-торжан, это выше и в сторону. Я провожу. Только сейчас там никого нет, все на пляже, и Наташа. Вы очень устали?

Что такое усталость, Николай Иванович знал только после больших перегонов через тайгу и третьей бессонной ночи в городе, когда не у кого было заночевать. Разве возможна усталость в Италии?

— Тогда пойдем на пляж, чемодан оставьте здесь.

Ни о чем не спрашивал, — виден старый партийный человек.

— Помыться захотите — вот мыло, морское. И вон там на веревочке костюм. Плавать сегодня невозможно, а хоть пополощетесь. Наши девицы целый день в пене болтаются, а вот я простудился, не могу; только провожу вас и познакомлю. Вы Наташу знаете?

— Никогда не видал; в Париже мне дали к ней письмо.

— Она славная. Все — хороший народ. Вас устроят на вилле каторжан. Да пиджак-то оставьте, ни к чему и жарко.

Ни на минуту не покидало Николая Ивановича ощущение несказанной радости. Не только свободен, не только «за пределами», но еще в Италии, еще у моря. Взрослый человек, с сединой в волосах, — чувствовал себя мальчиком. Всему и всем улыбался близорукими глазами, смеялся каждому своему и чужому слову. Успевал и наслаждаться солнцем и присматриваться к новым знакомым, будущим друзьям: к Наташе, Анюте, еще двум каторжанкам и худому, как скелет, товарищу Грише-акагуйцу. Этот был черен от загара, но покашливал. Николай Иванович подумал: «Не жилец! Ну, хоть погреемся!»

И, как всегда, когда здоровый человек видит «не жильца», со смущением и тайной радостью чувствовал свое полное дыхание и свои мускулы, с азартом оттирал песком и морским мылом дорожную грязь, омывался пеной и с трудом верил, что вот это — он сам, загнанный волк, прорвавший охотничью облаву.

Несмотря на свежее знакомство, настоящего разговора не было. Стретились люди, знавшие друг друга на расстоянии, — люди одной жизненной задачи и одной идеологии. Вероятно, потом, вечером, они вступят в горячий спор о пустяке, будут выражаться книжно и нетерпимо, заподозрят друг друга в уклонах; но здесь светит солнце, и голова чиста от дум, и не хочется считать минуты и часы.

— Неужели же так и нельзя поплавать?

Оказалось, что мастером плавания считается «старожил», приведший Николая Ивановича и ушедший кончать свою работу. Он, пожалуй, мог бы, остальные не решаются: море слишком бурно.

Наташа сказала:

— Завтра, если ветер немного утихнет, волны будут более отлогими и длинными; сейчас они неровны, — не угадаешь, когда плыть к берегу.

Анюта совсем не умела плавать:

— Мне и близко подойти страшно; вот когда тихо — я люблю у берега.

Огромный вал, седой и бурый от поднятого гравия, набежал, рухнул и накатил к ногам сидевших полог пены, ставшей белоснежной. Николай Иванович вспомнил Байкал и свое невольное плавание, сравнил «тогда» и «теперь», тряхнул головой и задумчиво протянул:

— Лю-бо-пыт-но!

Что-то вспомнила Наташа, а за ней Анюта, и обе протянули одним тоном:

— Лю-бо-пыт-но!

Николай Иванович сказал:

— Знаю я одного забавного батю, страстного любителя жизни. Вот он всегда так говаривал: лю-бо-пыт-но!

Живо откликнулась Анята:

— Уж не нашего ли, Наташенька, отца Якова?

Николай Иванович даже привскочил и потянулся к очкам. Все трое оживились: ведь вот какой случай! Действительно, все они встречали, в разное время, в разных условиях, свидетеля истории в лиловой рясе! Еще новая связь — и какая неожиданная! А уж на что велика Россия! Николай Иванович коротко поведал о своей последней встрече с отцом Яковым в Сибири, когда работал на погрузке чайных цибиков.

— Мне непременно нужно узнать его адрес! Я ему должен пять рублей!

Анята не сомневалась, что можно послать деньги ее тетке. Уж если отец Яков будет в Москве, то обязательно побывает на Первой Мещанской.

Николай Иванович пришел в полный восторг:

— Это же замечательно! Через вас и пошлю. Единственный мой долг, тяготящий душу. Я даже нарочно русскую пятерку сохранил, не менял. Уплачу — и свободен и чист. И вообще — все замечательно!

Вскочил на ноги, подбежал, прыгая по пене, к самой черте прибоя. Вал подкатился низкий, едва залил по колено. Байкал был тогда много страшнее; и было холодно; и он, Николай Иванович, был в одежде и сапогах. И все-таки — вот он!

Николай Иванович взбросил руки над головой, потряс в воздухе кулаками и прокричал морю:

— Э-ге-гей! Лю-бо-пыт-но-о-о!

Затем, не раздумывая, в радостном порыве неблагоразумия и полной уверенности в своих силах, — пригнулся, выждал новую волну и, как опытный пловец, бросился головой ниже гребня.

Туча камушков чиркнула по телу, скрылся свет, потом сильные руки ощутили свободу взмаха, — и он, поборов волну, поплыл в котле, кипящем и сладостно-холодном.

С берегового пригорья, где светлые квадратики домов отпечатаны на серо-зеленой открытке, виден пустынный пляж за линией железной дороги. Море отсюда кажется спокойным, о прибое угадывают только по белой линии на границе воды. На освещенном песке несколько букашек. Одна из них подползла к воде и исчезла. Другие, прежде неподвижные, зашевелились и также приблизились. Потом еще одна исчезла в белой ленточке, а за ней третья. Лента сдвинулась, и две темные точки снова показались. Если это люди, то, очевидно, один оттаскивает другого от воды. Потом все сгрудилось в кучку, — что-нибудь случилось. Тот, кто мог смотреть с горы, не считал букашек и не знал, столько ли их теперь, сколько было раньше.

Анята закричала:

— Наташенька, да он же утонет, вон какие валы идут!

Нужно переждать и выбрать момент, когда валы помельчают, и вот тут-то сильными взмахами победить напор воды отходящей, а когда подыметесь новая волна, отдаться ей и выбросить ноги вперед. Это — самый жуткий момент и самый красивый. Ловкого

пловца вода подхватывает, перекидывает, на мгновение ставит на ноги, — и сейчас же толкает в спину, вынося на пляж в кипящей пене. И нужно, быстро справившись и не дав увлечь себя под новый вал, вскочить на ноги и по текучему песку отбежать и выбраться из потоков и воронок.

Подбежав к воде как можно ближе, они отмахивали руками и кричали: «Обождите! еще нельзя! Очки Николая Ивановича лежали в потрепанном футляре на сухом песке; с собой он взял только улыбку близоруких глаз. Высокий дальний берег подымался и опускался; то были видны береговые друзья — хоть протяни им руку, — то оставалась только ослепительно белая церковка на самом высоком предгорье. Шум воды заглушал голоса с пляжа — и звонкий Анюта, и грудной Наташи. Но не могло быть, чтобы сильный человек, победивший все опасности, миновавший все ловушки, вынырнувший из стольких водоворотов жизни, — чтобы такой человек погиб на глазах друзей, у самого берега, где лежат его очки!

Анюта кричала:

— Наташа, что же это такое! Он утонет!

Наташа видела, что он, слепой от воды, улыбается и верит — или просто не знает. С бьющимся сердцем и она улыбается ответно. Он так смел, что можно верить в невозможное.

Первая волна упала прежде, чем он подплыл к ее краю. Вторую, огромной и рокотающей, его подняло на самый гребень: тело вышло из воды, руки напрасно взметнулись и вытянулись, как будто он хотел схватить воздух и на нем повиснуть. Затем волна швырнула его тело вперед над оголившимся песком, догнала, ударила сверху, плашмя обрушила и навалилась стопудовой своей тяжестью. Только на секунду черное пятно костюма мелькнуло в пене — и исчезло в приборе.

Тот, кто мог смотреть с горы, ждал, появится ли уползшая в море черная точка. Протекли долгие мгновения, пока объятые ужасом опять увидели в пене черный предмет, который уже не мог быть человеком. Если не удержать — его завертит и утащит волнами. И Наташа, не рассчитывая сил и не справляясь с книгой судьбы, бросилась в кипящую бучу.

Ее сразу сбило с ног и понесло, прежде чем черный предмет опять скрылся. Вынырнув, она не успела обрадоваться свету и не нашла опоры ногам; руки напрасно отталкивали воду. Вместе с водой она глотнула горсть гравия, закружилась в воде и потеряла сознание. Уже не чувствовала, как ее катит по песку мелкой водой и как мертвой хваткой в ее костюм вцепилась Анюта. Под обеими таял песок, и та, что спасала, должна была со страшной силой упираться, пока вода откроет дыханье. Вскочив на ноги, Анюта еще не знала, догонит ли их новая масса воды, и не выпускала тела Наташи, оттащить которое она была не в силах. Ей помогло несколько рук, и она упала только на сухом песке, не разжимая пальцев.

Все это можно было видеть с горы, но на таком расстоянии это казалось веселой забавой расшалившихся ребяташек.

По крутой тропе, накалявая камнями босые ноги, задыхаясь, кашляя и держась за грудь, взбегал «не жилец» — товарищ Гриша. Что бы ни случилось — помочь мог только «старожил». Женщина с ребенком видела, как черный русский, распахнув дверь к сьору Паоло, спотыкнулся о чемодан. Затем оба заговорили быстро по-своему, и сьор Паоло, забыв придавить кругляшом кучу исписанных листочков и не дожидаясь товарища, застучал каблуками по скату тропинки.

ПЯТЬ РУБЛЕЙ

Катерина Тимофеевна хоть и не была грамотейкой, но расписывалась аккуратненько, крепко надавливая перо, по почерку же и по заграничным маркам знала, что письмо от Анюты; впрочем, иных писем, кроме этих редких, она и вообще не получала.

Когда приходило письмо, Катерина Тимофеевна немедленно откладывала всякую работу, и если, например, в это время докипала вода, то и воду пока отставляла с огня, вода подождет. Надев очки, она присаживалась ближе к окну, но глаза ее немедленно затуманивались слезой, и читать было невозможно, хотя Анюта писала крупным и разборчивым почерком. Удивительное дело! Прежнее доброе расположение к Анюте перешло теперь в Катерине Тимофеевне в большую и настоящую любовь, и она думала об Анюте, как о собственной дочери, злым роком у нее отнятой и заброшенной в чужие страны.

Побившись напрасно над полученным письмом, Катерина Тимофеевна постучала в комнату отца Якова, позвала его на помощь, тем более что в первых прочитанных строчках как раз об отце Якове и говорилось. Писала Анюта, что бумажку в пять рублей, вложенную в страховое письмо, нужно передать отцу Якову и что это долг ему от сибирского человека.

Прежде чем стали читать дальше, отец Яков догадался и расплылся в широчайшую улыбку:

— А как же, как же, должничка имею! И насколько же чудно дело! Скажу прямо — ожидать никак не мог и не с тем давал. Не в синем билетике радость, а значит, милый человек выбрался, куда желал. Лю-бо-пыт-но! И что с Аннушкой повстречался — опять же какой случай! Мир-то велик, а людишки сталкиваются.

И сразу загрустил отец Яков, едва слезу удержавши, когда вычитали из письма Анюты, осторожного и неясственного, что должник отца Якова, наказав послать ему деньги, расстался с жизнью по несчастному случаю в самый день приезда, утонувши в теплом море.

Вода закипела, но от чаю отец Яков отказался, сославшись на то, что есть у него в городе малое дельце. Заспешил к себе в комнату, сложил тетрабочки, поглядел рассеянно на плакат, пригладил волосы, надел шляпу и вышел.

А и дела-то, между прочим, у отца Якова не было в городе никакого, так только сказал, потому что очень взволновался. В городе сейчас жарко, и людей не так уж хочется видеть. Поэтому, докатив докудова можно на трамвае, отправился отец Яков прогулять грешное тело на Воробьевы Горы, а оттуда посмотреть на Москву — картина прекрасная.

Цветным клетчатым платком, какой обычен нюхающим табак, — отец Яков отроду не нюхивал, — здесь, в одиночестве и на просторе, вытер слезу непрошеную и неудобную в его положении спокойного созерцателя истории. По всякому ли слезы проливать? Слез не хватает! И кем был для него столь скоропостижно усопший? А никем! Просто — встречный человек, случайный собеседник неизвестного звания, оказавшийся дерзостным слушателем заповеди «не убий», правда, — не по злобе или корысти, а по губительной своей идее отмщения за народные обиды. А после — еще более случайная встреча на сибирской реке, где лишь по очкам признал отец Яков в грузчике-варнаке знакомого революционера в бегах. И вот тогда помог своей трудовой пятеркой. И все знакомство в том. Для чего же, неладный поп, льешь слезы, как по родному брату?

И тут, еще туманными глазами отыскав купол Христа Спасителя и опасливо кругом оглянувшись, не смотрит ли кто незначай, перекрестился широким крестом и шепотом, но вслух сказал твердо:

— Упокой, Господи, душу мятежного, пришедшего кончину в голубых морях. Сколь был смел и дерзок и сколь был скорбен сей странный человек, имя же его ты, Господи, веши.

Вспомнил, как в живом и шутилом разговоре обветренное и загрубелое лицо человека, которого он знал под кличкой Николая Ивановича, освещалось иногда улыбкой поистине детской и милой. А потом опять в глазах осторожность, — заслонялся от людей заслонкой и запирался на замок. И видно — знал мир, как свою комнату, если была у него на свете своя комната, и босыми ногами ступал безбоязненно по раскаленному поду печи житейской. Препоны победил, властную чужую волю поборол, своего добился, — да, видно, не угадал, где ждет его суд последний и настоящий.

И однако, если есть высший суд, в который отцу Якову предписывала верить его старенькая ряса, но в котором его пытливый ум уверен не был, — то на сем суде долго поколеблются чаши весов, прежде чем властным перстом их остановит неліцемерный Судия!

Может быть, на этом суде потребуется защитник? Ну что же, отец Яков готов! Сказать есть что, и он скажет: «Сей человек знал мало радостей, жил не для тела и не для себя, шел туда, куда его толкало чистое сердце, тобою, Господи, вложенное в его грудь. Если он уклонился по незнанию или по ошибке, если выше заповедей Твоих поставил человеческую волю, — то зачем же ты, Судия Праведный, открыв ему очи на все зло мира, не научил его смирению и не удержал занесенную им

руку? Так нельзя пытаться человека,— прости дерзкое слово смиренному Твоему иерею, Господи,— так словно бы несправедливо! Не за личного приятеля прошу, а за придавленного тяжестью людских страданий и неразумного мстителя чужих обид!»

Вот как бы, совсем смело, сказал отец Яков на суде нелицеприятном,— не побоялся бы, защитил бы грудью представшего пред судом. И если бы его все-таки обвинил строгий Судия, тогда он, отец Яков, пожалуй, бы усумнился, и даже наверное бы усумнился!

Пополз над Москвой вечерний седоватый туман, когда, рукой придерживая полу ряс, отец Яков спустился от высоких мыслей в житейское.

Привыкнув отходить ко сну рано и без обильных на ужин разносолов,— разве что доведется в гостях, но и то с воздержанием,— зашел по пути в лавочку купить чайной колбасы. Пошарив в глубоком кармане, набрал мелочи недостаточно. И вот тогда, заспешив и покрасневши, достал из кошелька единственную синюю бумажку, подал ее и получил сдачу.

— Завтра, ужо, заплатят за статейки. Время тяжкое,— а все же вертится человек от сегодня до завтра. Вертится — значит, так нужно. И он вертится, и все вертятся, и сама земля не стоит на месте. Лю-бо-пытно!

ГОРА СВ. АННЫ

Наташе приснилась зеленая молния, и будто бы эта молния, ударив над головой, разбилась на куски и упала к ее ногам зелеными палочками. Хотела нагнуться и поднять одну из них, но строгий голос сказал: «Горячо!» — и она отдернула руку. Тогда подошел Бодрясин, спокойно наклонился, поднял палочку, надломил и стал есть бобы. Наташе стало стыдно за свою трусость, и, действительно, все кругом смеялись. Выручил ее Иван Иваныч, заявивший, что все это вздор и что любая молния от времени смягчает и превращается в зеленый боб.

Иван Иваныч, не из каторжан, а из ссыльных, тоже — беглец родной страны, попал на виллу случайно, по давнему знакомству со старожилом местечка, тем самым съор Паоло, к которому, как к патриарху русской колонии, всех направлял начальник полустанка. Иван Иванович, человек здоровый и любознательный, задумал пройти пешком всю итальянскую Ривьеру, начав с Сан-Ремо, кончив заходом в Пизу. Дешево, просто, интересно, полезно для здоровья.

Так и шел, не спеша, с ночными остановками в частых на пути местечках, наслаждаясь ранними часами, отсиживая часы зноя в кабачках. Научился понимать плохую в этих местах итальянскую речь, загорел, пропылился, основательно забыл и Россию, и ссылку, и парижских друзей, надоевших за минувшую зиму.

В Генуе белокаменной побродил в порту, осмотрел старые

дворцы на улицах Бальби, Гарибальди и Кайроли, провел полдня на кладбище, любуясь чувствительными мраморами — резным кружевом неутешных белых вдов, медальонами их корабельных мужей, женщиной, возжигающей семисвечник, другой, заснувшей с головками мака в руках, здоровенной и упитанной девицей с крыльями, другой, бронзовой, в лапах смерти, плачущим каменным господином нормального роста, но в неглаженных брюках. Отыскав не без труда могилу Маццини, подумал, что надо бы однажды почитать что-нибудь обстоятельное о жизни итальянского революционера, сел поблизости и, любуясь приземистыми колоннами, с аппетитом закусил принесенной с собой пищей, — с перцем, помидорами и чем-то вроде вкусных кованых гвоздиков.

В Нерви на марине подивился обилию русской речи, но знакомых не встретил. На дальнейшем пути целый день провел на Порто-Фино, наслаждался видами и даже почувствовал в груди что-то вроде эстетической тревоги, почти склонность пофилософствовать, но вовремя вспомнил, что нужно до темноты спуститься по ослиным тропам к заливу, чтобы заночевать в Санта-Маргерита. Шел и дальше — с той же бодростью и незнанием усталости миновал Кьявари и, руководясь картой, замедлил шаг близ станции того местечка, где жил добрый приятель — товарищ Павел.

И затем, мирно устроившись на вилле каторжан, дальше не двинулся, потому что, в сущности, шел он без цели, удовольствие от прогулки получил в полной мере, люди здесь хорошие — можно и пожить подольше.

На вилле каторжан Иван Иванович пришелся ко двору и даже всех оживил. С ним в монастырь ворвался вольный воздух гуляющего человека, совершенно незнакомого с истерикой и ничем не больного. Обитатели виллы закисли и заскучались, — новый человек очень нужен. Наташе, единственной из всех здоровой и телом и духом, сыскался товарищ для дальних прогулок в горы и морских купаний. Для принципиальных разговоров и для пророчеств о том, когда Россия станет свободной, Иван Иваныч не годился; он говорил, что ему и в Париже надоело чесать язык. Об искусстве говорить любил: видел мало, а читал достаточно. Умел играть на гитаре и без особого голоса напевал. Из себя же Иван Иваныч был не дурен, не красив, приземист, белокур, светлоглаз, покоен, поднимал кресло за переднюю ножку и спокойно разгрызал грецкие орехи крепкими желтоватыми зубами.

С его приездом Анюта почувствовала некоторое одиночество, — уже не все время проводила с Наташей; но у Анюты было много хозяйственных дел: общая мамаша и няня. Остальные слегка ревновали Наташу к приезжему. Главное — человек не интересный, не герой, не террорист, не любитель высоких материй, пожалуй, даже до некоторой степени — вероотступник: зевает при упоминании имен Лаврова и Михайловского и без всякого уважения говорит не только о Чернове, но и о Шварце.

Когда узнал, что тут же поблизости живет заслуженный и почтенный Илья Данилов, сделал кислое лицо и произнес неуважительное слово «старая балда». Правда, Данилов особым расположением молодежи не пользовался, но все-таки — одна из эсеровских икон.

В очередное полнолуние была очередная ночная прогулка на гору Санта-Анна, откуда чудесный вид на море и особенно на ни с чем не сравнимый полуостров, приютивший маленький город. Всю дорогу Наташа шла с Иваном Ивановичем, отстав от всех. Взяли с собой вина, сыру, резинообразной колбасы и сушеных фиг. Устроили привал у стен разрушенной церкви, на крутом обрыве. Душой общества был на этот раз патриарх съор Паоло, которого свои называли Отцом или Князем, — последнее название было ему дано за татарские скулы. В обычные будние дни Князь был деловит и серьезен, с головой погружен в свои ученые работы по истории революции, писал статьи для народнических журналов и ворчал на бездельников и бездельниц с виллы каторжан. Но на отдыхе и на прогулках молодец, даже мальчишествовал, веселил всех, пускал шуточки и среднего качества острооты, не щадя и Илья Данилова. Залезал на развалины стен церкви, садился на край обрыва и болтал ногами, посмеиваясь над теми, кто смотрел вниз с опаской, крепко держась за камни и стволы склонившихся над пропастью деревьев:

— А я тут как дома!

В эту ночь огромная луна была до полного блеска начищена белым порошком и не скрывала ни морщин ни улыбки. С удивлением слушала она такое неподходящее к обстановке пенье «Из страны-страны далекой», «Варшавянки» и малорусских песен. Будто бы по этой самой тропинке некогда одолевал невысокую гору Цезарь, — во всяком случае, в точности могла знать об этом только нимало с тех пор не постаревшая и совсем не переменявшаяся луна. Две фьяски красного вина скоро опорожнились, запас сушеных фиг близился к концу. Илья Данилов, по преклонности лет, упросил Князя пойти вместе вниз, домой, спать. Ушла бы и Анюта, глаза которой слипались и которая всегда ложилась и вставала очень рано, — но как оставить Верочку Уланову, которая боится теней, боится высоты, а сама тянется к краю обрыва и задает несуразные вопросы: «Как ты думаешь, Анюта, если прыгнуть — долетишь до низу живой или умрешь раньше?» — «Да зачем прыгать, Верочка, что за выдумки!» — «А интересно!»

Большинством решили дожидаться восхода солнца. «Да ведь солнце встает за горами!» — «Все равно, дождемся». — «Тут закаты интереснее гораздо». — «Закаты каждый день видим». Но Наташа заявила решительно: «Я останусь во всяком случае». Промолчал Иван Иванович — конечно, тогда и он останется. Все немного захмелели, было тепло, даже как-то знойно от лунного света, и было необыкновенно красиво. Выпили остатки вина, петь больше не хотелось — и к развалинам церкви вернулось молчанье.

Немного захмелела и Наташа. А что, если подняться выше над тропинкой? Подъем очень труден, приходится преодолевать глыбы известняка, который осыпается. Выше — остатки дозорной башенки, которую сейчас и отыскать трудно.

— Не стоит, Наташенька, тут и днем не подняться.

За Наташей, без уговора, пошел только ее спутник. Сначала было слышно, как под их ногами осыпается камень. Потом стало всем скучно — не проще ли, правда, пойти спать на виллу? А как же Наташа? Так что ж такое, разве они не найдут дороги?

Анюта пробовала звать:

— На-та-ша-а! Иван Ива-ныч! Мы уходим!

Ответа не было. Может быть, не слышат, забрались высоко, или просто не хотят отвечать.

Уходя, сбросили с обрыва бутылки — и прислушались; но обрыв был так высок, что звук падения до верху не донесся.

Ответа не было.

ЗИМА

Каким-то образом эти люди живут без календаря — ни отрывного, ни настольного нет ни в одной комнате; и притом — люди двух стилей, русского и заграничного. Правда, можно соображать по газете; в местечке заметны воскресенья, когда итальянки — рыбачки, торговки, прачки, хозяйки, молочницы — с утра надевают городское платье, взбивают прически, движутся несвободно, манерничают и перестают быть интересными. У русских нет отличия будней от праздника — ни в одежде, ни в пище, ни в быте, ни в походе. Поэтому не все в местечке уверены, что русские признают Христа и мадонну.

Дни идут и без календаря. Было лето. Потом была осень — сбор винограда. И потом была зима, довольно холодная.

Приходилось без отопления кутаться; Наташе пригодилась ее оренбургская шаль. В комнате, где жила благословленная Бодрясиным супружеская пара и где по ночам долго и настойчиво плакал ребенок, ставили скальдино: глиняный сосуд с раскаленными угольками пальмовых зерен. Днем было тепло на солнце, только море зимой шумит неприветливо и редко бывает голубым.

Перед полуднем на пляже появлялась одинокая фигура, сбрасывала халат, окуналась в морскую пену и бежала обратно к халату и домой. Все итальянцы знали, что это — съор Паоло, старшина русской колонии, который купается круглый год, какова бы ни была погода. Итальянцы ежились и объясняли случайным зрителям:

— Э! Понятно: русский! У них в России снег лежит и зимой и летом. Siberia!

Съор Паоло и вправду был родом из сибирского города. Зимой там бывало сорок градусов холода, летом — столько же жары. Но там он зимой не купался.

Наташа куталась в шаль и думала о том, что будет дальше, когда и в ее комнате придется ставить зимой скальдино — когда и у нее будет ребенок. Думала без всякого смущения и беспокойства — скорее с настоящей чистой, материнской радостью. Только ребенок и может служить утверждением и оправданием того, что случилось.

Нет, тут дело не в какой-то вине, требующей искупления; тут дело в том, что настоящей любви, собственно, не было, и пришел не тот человек, который должен был прийти: не мечтаемый, а случайный. Но он пришел как раз тогда, когда другого, вымышленного, созданного воображением, ждать дольше стало невозможным. Италия — море — солнце — тело — бездействие — растительная жизнь. Ночью неподвижный зеленый огонек ждет, что вот прилетит огонек движущийся и вспыхивающий. Прилетит, побудет и улетит. Так в природе, у волшебных ночью и невзрачных при свете жучков. И она столько ночей ждала — это так понятно. Ну вот, дождалась. Нужно другому удивляться: что ждала все-таки так долго! А она человек здоровый и простой.

Анюта говорит: «Наташенька, он человек очень хороший, Иван Иванович!» Как бы хочет их обоих оправдать. Конечно — хороший. Не герой и не былинный богатырь, а так же, как и она, здоровый и простой человек. Романа не было — такого, о каких мечтают и пишут в книгах. Были дружеские, приветливые отношения, было море, была луна над невысокой Санта-Анна. Потом были дни эгоистического наслаждения, то есть почти любовь. А будет — ребенок.

Анюта говорит: «Если в Париж поедете, меня, Наташенька, прихватите. Где-нибудь от вас поблизости поселюсь, а прожить — проживу, ничего».

Анюта мечтает: «Вот и у Наташеньки будет своя жизнь, своя семья! Так хорошо!» Завидовать Анюта не умеет.

Планы будущего неясны. Конечно — лучше жить вместе, нужно жить вместе; и жить не здесь, в праздности и великой скуке, а среди живых людей, работающих; и самим непременно работать. Жизнь должна быть оправдана не только ребенком.

Иван Иванович уже уехал в Париж — устроиться, приспособиться, подготовить приезд Наташи. С таким человеком легко и просто. Была бы страсть — ссорились бы. Или, может быть, скрывали бы ото всех свои отношения, боясь за будущее. А тут — просто и хорошо, безо всяких комедий и предисловий: никто не спросил — и никому не пришлось рассказывать. Просто — и по полному праву здоровых людей.

Анюта говорит: «Все-таки, Наташенька, лучше бы вам пожениться по-настоящему! Потому что ребенок».

Анюта верит в прочность их союза. И Наташа тоже думает: «Лучше это сделать», — тоже верит, что это уж надолго, а то и на всю жизнь. Ребенок, потом еще ребенок. Когда-нибудь придется же вернуться в Россию. Будет семья. Хорошо бы хоть летом жить в деревне, в Федоровке; и для детей хорошо.

Строгий Данилов, комитетчик на покое, говорит Князю:

— У нашей молодежи матримониальные настроения.

— Пускай!

— А революция?

— Ей это не помешает.

— Все-таки как-то не серьезно...

Князь смотрит одним глазом на заезженного коня революции: «Стар стал, голубчик, не нравится!»

— Если молодежь растеряла прежние идеалы, — что ж, придется нам, старикам, ехать в Россию.

Князь отмалчивается, и Данилов тянет неуверенно, боясь своих слов:

— Поехать так — зря арестуют. А вот приходит мне иногда в голову дерзостная мысль: подать прошение, написать, что хочу мирно доживать дни на родине в научной работе; и если пустят — сначала посидеть спокойно, а потом исподволь, потихоньку-полегоньку, мудро развернуть широкую работу среди молодежи, особенно среди рабочих и крестьян; настоящую революционную!

Все-таки Князь молчит. Нужно человеку исповедоваться — нечего ему мешать. Говори, говори, старый!

Данилов катится дальше:

— Если додумаюсь до конца, то есть до действий, да порешу, — заявлю об этом в Цека партии — и махну. Молодежи такого шага не посоветую никогда, а старый, стреляный волк, по-моему, и может и должен так поступить, раз нет у нас в России достойной смены. Вы как думаете, Князь?

— Чего же тут думать, Данилов, дело совести каждого.

— При чем тут совесть? Тут — важная задача, даже некоторая жертва личной репутацией, то есть, конечно, в глазах партийной толпы. Потому что со стороны старших, понимающих, я не представляю себе серьезной оппозиции такому плану. То есть если именно я, обо мне дело. Во мне сомневаться не могут — всей жизнью доказал. Раз это нужно, прямо необходимо для дела... Вы так не поступили бы, Павел?

Сьор Паоло говорит решительно:

— Нет. Я просить не стану.

— Дело не столько в прощении, сколько в решимости. Я бы сказал — в самоотверженной решимости. Прощение — отвод глаз, уловка.

— Нет, я не мог бы.

Разговор кончился. Мало ли о чем беседуют старые бойцы.

Данилов живет в домике на нижней террасе пригорья, в неуютной комнате, темной и холодной. С ним в щелях каменной кладки ночуют пауки, сверчки, ящерики. Обедает в трактирчике: минестроне, рыбка, бобы, фиги, апельсин.

Данилову минуло пятьдесят. Одинок. Когда-то готовился к ученой карьере — без блеска, но прочной; ссылки помешали. Он совсем не европеец: был и остался русским провинциалом-народником. В партии уважаем — но кто его любит? Считается, что Данилов непогрешим; за двадцать лет в его убеждениях

ничто не пошатнулось. И не пошатнется, если он проживет еще двадцать лет. Молодежь говорит, что муха, сев на бороду Данилова, мгновенно умирает от скуки. Сейчас Данилов не у дел, как бы на отдыхе; его сослали — и скоренько о нем забыли, даже ничего ему не пишут из Парижа, из штаба революции.

Он хоть и не стар, а устал. Может быть, выдохся. А что дальше? Так и сидеть в итальянском местечке, скудно питаясь на партийный паек, перебирая в памяти прошлое? Каменный пол, тусклая керосиновая лампа с узким стеклом, очень плохой табак, книжка «Русского богатства», старческая обида. И этот ветер, просвистывающий щелки окна, залепленные полосками «Русских ведомостей». Противный шум моря. Праздность. Одиночество. Ужасное одиночество!

Он в третий раз переписывает бумагу. Черновики рвет в мелкие клочки, а клочки закидывает палочкой в сорное ведро на дворе. Привычка старого конспиратора. Все бы так делали — не было бы случайных и глупых провалов. Наша жизнь принадлежит революции. Если бы хоть кусочек нашей жизни принадлежал нам лично!

Проклятый ветер! Шум моря сегодня невыносим. Главное — выдержка, сила воли; тогда все можно. Только сам человек знает, на что он имеет право. Другие его не поймут. Десять часов вечера, местечко спит. Ужасное одиночество!

МЕЛКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

И вдруг, с оскорбительной простотой, все это — временный отдых, передышка воинов, необходимая конспирация — делается ложью, и людей молодых и решительных затягивает мещанский быт.

В России медвежий сон. Храп медведя доносится и сюда, под оливы и пинии, сон окутывает и полонит море, сад, виллу, людей — всех, кроме бодрствующей по ночам романтической кошки Матильды. И уже нельзя, стыдно говорить, что это только на часы, на месяцы, а там опять начнется бой, — никто не поверит. Начнется, пожалуй, — но не те начнут!

Вторая русская могила на игрушечном кладбище. В первой похоронен Николай Иванович, сильный человек, без усталости подгонявший судьбу, победивший Байкал — не справившийся с прибрежной волной теплого моря. Во вторую опустили легкий гроб с телом Гриши-акатуйца.

Его свеча погасла неожиданно, то есть не ожидали, что это случится так скоро и просто. Гриша-акатуец стонал и морщился, когда ему впрыскивали ампулу почти черной жидкости; капелька оставалась на коже и пахла иодом. Потом говорили, что сейчас можно сжимать легкое воздухом — и легкое отдыхает и залечивается. Но попробовать не успели: Гриша простудился, стал по ночам громко перекликаться кашлем со своим плачущим ребенком и, непохожий на отца, стал сам большим ре-

бенком, вопросительно и удивленно смотревшим на взрослых и здоровых. Оказалось, что у Гриши огромные и очень красивые глаза. Однажды на заре он их закрыл в последний раз.

Ходили на цыпочках, ничего в этот день не готовили и не ели, а думали о том, останетса ли жить Надя Протасьева или решит тоже уйти — ее несомненное право. За всех хлопотал съор Паоло, и Гришу похоронили без обрядов и священника, к соблазну добрых католиков. Ото всех был один веноч из красных роз и красной гвоздики, с красной лентой, — круглое кровавое пятно на опрятном белом кладбище.

Надя пока осталась жить, сама больная и с больным ребенком. Верочка Уланова, боясь ночных кошмаров, просила Аньоту ночевать в ее комнате. Шесть лет тому назад Верочка стреляла в высокого полуседого офицера, усмирителя крестьянского бунта, — и улыбалась на суде, когда читали смертный приговор.

Спускаясь по лестнице в столовую, Наташа держалась за перила: на смену ушедшему в вечность человеку ожидался новый.

Съор Паоло ездил в город выправлять бумажку о смерти Гриши-акаатуца — никому не нужную. Съор Паоло поедет и еще раз в мэрию: записать ребенка Наташи; он знает все порядки, он общий отец и покровитель.

В большой простоте и полном порядке чередовались: любовь, смерть, рождение. Так это происходит во всех богатых и бедных семьях, под разными крышами, в городах, в местечках, повсюду, независимо от того, чем живут и во что верят люди. Так происходит в поле, в садах, в огородах, в море, в лужах.

Из Парижа запросили письмом: не осталос ли воспоминаний Гриши, например его дневника? Если да — пришлите в архив партии. Послали только две фотографии: Гриша в студенческой форме и он же на пляже в трусиках. Первую карточку поместили в журнале эсеровской оппозиции, хотя послали ее в центр; вероятно, там какая-нибудь путаница.

Через месяц у Наташи родилась девочка, похожая на рязанскую бабу, весом больше трех кило. Девочку Наташа назвала своим именем; мальчика назвала бы именем отца.

Вообще — для истории ничего: маленький, провинциальный, местечковый быт. На фоне олив и пиний — сцены из русского медвежьего сна. Если будет революция — ее герои придут не отсюда. Здесь только черта прибора, гора Святой Анны, игрушечное кладбище, вила каторжан, принадлежащая генуэзскому купцу, полустанок, лавочка табачная и лавочка мелочная, отпускающая русским товар в кредит; здесь зеленые склоны гор, кудрявая зелень с вкрапленными в нее домиками — как на открытках. А кипарисы — черными палочками. Красиво, сонно.

В истории революционного движения, которую пишет съор Паоло, эти мелкие события, конечно, не найдут отражения. Книга разрастается Начатая с декабристов, она уже доведена до 1905 года. Материал ценнейший — показанья свидетелей, личные воспоминания. Работая в саду, съор Паоло кладет на книги

и на листы рукописи круглые камни, обтесанные морем, — чтобы ветер не наделал беды.

Илья Данилов, старый, подержанный боец, берет билет в Геную и обратно; он не хочет, чтобы его письмо ушло со штемпелем местечка. В Генуе он отправляет его заказным и прячет расписку в бумажник. Возвращаясь, он щупает боковой карман: бумажник на месте.

Иван Иванович и Наташа решили, что весну и лето лучше провести здесь — полезно и для ребенка. Но к зиме непременно в Париж.

Было письмо Бодрясина, адресованное Анюте. Очень тепло грустит по Грише, который был славным и честным парнем. Очень рад за Наташу и поздравляет. Спрашивает, приедет ли Анюта в Париж; где и он, Бодрясин, думает жить ближайшей зимой; а сейчас он в Нормандии, в деревушке, работает на французской ферме, — чудесное занятие, и люди хорошие.

Еще было письмо от Катерины Тимофеевны с Первой Мещанской. Отец Яков хворал, но поправился. Кланяется.

Так и жили без календаря. В июне появились светящиеся летающие жучки. В июле гремел оркестр цикад. Розы цвели без всякого ухода — крупные, палевые. Кое-кто приехал — и новые обитатели виллы каторжан не пропустили лунных ночей, чтобы побывать на Санта-Анна, с привалом в развалинах церковки. Часто бывал там с ними съор Паоло, садился на обрыве, болтал ногами и говорил:

— А я тут как дома!

Из событий общего значения можно отметить открытие кафе, почти настоящего кафе, с аперитивами и мороженым, неподалеку от станции. По вечерам (конечно, не поздно) в кафе слышалась музыка: граммофон исполнял веселый марш на слова: «Триполи — прекрасная земля любви!»

По счастью, ни один уроженец местечка не погиб за обладание прекрасной землей любви. Война¹ началась, война кончилась, и никто еще не думал о том, что близится война новая, настоящая, после которой мирное местечко восточной итальянской Ривьеры, подобно всем остальным городам и местечкам, украсится памятником жертвам войны — на склоне нижней террасы, пониже церкви и маленькой общественной площади.

Илья Данилов собрался и уехал, открыв свой план только съору Паоло:

— Еду в Париж, а там увидится. Кто-нибудь да должен продолжать дело революции.

У Ильи Данилова был слегка искривлен нос — от природы. Это ему мешало смотреть собеседнику в глаза совсем прямо.

И вот — мы тоже расстаемся с приятным местечком и с виллой каторжан, простившись с двумя могилами, неизбежными в книге о концах. Расстаемся с грустью, — здесь жизнь текла мирно, воздух был чист, превосходный морской воздух. С тер-

¹ Итало-турецкая война 1911—1912 гг.

рас открывался поистине волшебный вид. Какая вечная тревога нас гонит из спокойных мест в суету мира, часто против воли, еще чаще — по ошибочному мнению, что история любит шумные города и что мы почему-то должны быть участниками житейской склоки?

Расставаясь, мы видим из окна поезда белеющую на взгорье виллу. Затем поезд ныряет в туннель.

АНДРЭ И ЖАКО

В половине седьмого утра работник Андрэ, утративший фамилию Бодрясина, выходит за водой к колодцу. По пути он отвязывает пса волчьей породы и, в ответ на прыжки радости и благодарности, наставительно ему говорит:

— Ну будет, будет, Жако! Свобода — прев-восходная вещь, но бурные манифестации могут повлечь за собой наложение новых цепей. Ступай, Жако!

Молодой пес огибает бешеный круг, распугивает кур и возвращается к колодцу. Возможно, что друг Андрэ промыслит ему кость или корку хлеба. Но сначала придется присутствовать при его туалете. И почему люди сами себя мучат!

Сбросив куртку и рубашку, Андрэ моет руки и лицо, затем мокрым полотенцем хлещет себя по груди и голой спине. Отступив на несколько шагов и присев, Жако сдержанно улыбается. На пороге хозяин фермы.

— Bonjour, André!

— Bonjour, mon patron! ¹

— Ты не думаешь, что это тебе вредно?

— Наоборот, хозяин, я хочу выиграть в жизни несколько годков.

— Здоровенные шрамы у тебя, Андрэ!

— C'est la guerre, mon vieux! ²

Потом они втроем, с женой хозяина, пьют кофей из больших «боль» и едят много хлеба с маслом. Корм птице уже задан, коровы ждут очереди.

— Сегодня, Андрэ, свези два метра навозу на мельницу старику Лебо; на прошлой неделе заказывал.

— После завтрака свезу, раньше не управлюсь.

— Как знаешь, только до отъезда свези непременно. Не раздумал ли ехать в Париж? Что тебе здесь не живется? Останься на полгода, я бы тебе прибавил, если недоволен.

— Я доволен, патрон. А остаться мне нельзя.

Жена фермера говорит:

— Об заклад побьюсь, что у Андрэ в Париже невеста.

— Может быть, вы и правы, хозяйка. А как женюсь — возьмете нас обоих?

¹ Добрый день, хозяин (фр.).

² Это война, старина (фр.).

— По рукам, Андрэ,— говорит хозяин,— даю тебе слово! Многого не обещаю, но оба будете сыты. А умеет ли она работать, твоя нареченная?

— Она простая и здоровая девушка, работает с детства. Она и шить умеет.

Фермер протягивает ему руку ладонью кверху.

— Вот тебе мое слово, Андрэ! Мы тебя полюбили и ее полюбим. Я знаю, что ты — человек образованный, но ты прост и силен. Если твоя невеста такая же — будем друзьями на всю жизнь. Вот!

Бодрясин жмет руку хозяина.

У порога он меняет туфли на сабо и идет в коровник в сопровождении Жако, у которого он в не меньшем фаворе, чем у хозяев.

Душа Бодрясина полна покоя и надежд. Почему бы ему в самом деле и не жениться? Если, например, Анюта согласилась бы, то можно по-честному повенчаться в мэрии, а потом и правда приехать сюда и работать. У них будут, конечно, дети. Затем в России произойдет революция, они простятся с хозяевами и на скопленные деньги поедут в Россию. Там поселятся где-нибудь на Волге или на Белой, может быть тоже в деревне, в свободной русской деревне. «Если, конечно, крестьяне не сочтут за б-благо об-бойтись без интеллигентов и не в-выпрут нас к черту». Тогда придется жить в городе, давать уроки французского языка или работать во временных комитетах по с-социализации земли и нац-ционализации фабрик и заводов, а потом писать мемуары.

— Как ты думаешь, Жако, выполнима ли программа партии социалистов-революционеров?

На этот счет Жако не имеет определенного мнения, но раз к нему обращаются — он машет хвостом. Он не прочь выслушать объяснения.

— Программа партии — важная вещь, Жако! Она избавляет от необходимости каждому самостоятельно изучать действительность и ломать голову над сложными проблемами. Минимум — это полная политическая свобода; тебя, Жако, окончательно и навсегда спускают с цепи, которая поступает в музеи человеческого д-деспотизма. Можешь бегать, мять капусту, лаять, давить кур, совсем уйти с фермы и жить самостоятельной жизнью. Максимум — это полный социальный переворот, при котором земля не принадлежит никому и в то же время принадлежит всем, а продукт труда целиком поедается трудящимися; понимаешь — весь, до последней косточки. Но ты, Жако, к производительному труду не приспособлен. Мы тебя определим по ин-тел-лигентной части.

Жако смотрит вопросительно и облизывается: непонятно, но заманчиво.

— Нет ничего проще, Жако! Все это легко осуществимо при условии, что с момента переворота люди станут ангелами и будут ужасно любить друг друга. Если останутся некоторые

недоразумения, то разрешать их будет избранное, вполне авторитетное лицо, например — Илья Данилов или комиссия из троих спущенных с цепи шлассельбуржцев. И их решение ок-к-кончательно. Согласен?

Последнее вполне устраивает Жако, который не прочь бы сейчас же проглотить чашку немудреной бурды за здоровье шлассельбуржцев.

Бодрясин, измерив взглядом нагруженную навозом двуколку, решает, что тут как раз два квадратных метра. Остается принести в хлев чистой соломы для новой подстилки. Предварительно можно выкурить трубку. Сельское хозяйство не требует спешки и нервных движений; все делается солидно и с раздумкой.

Что ждет в Париже? Во-первых, борьба центра и оппозиции. Во-вторых — пересмотр программы-минимум, особенно в части аграрной. В-третьих — выяснение возможного предательства товарищей А., Б. и В., в связи с разоблачениями Бурцева. Это уже не два квадратных метра, а целая гора свежего навоза. Наконец — новые планы и проекты неутомимого Шварца, мечтающего действовать независимо от центрального комитета, в сотрудничестве с которым провалы, по-видимому, обеспечены. Любопытно, кстати, каким образом Илья Данилов вернулся в Петербург и живет там легально? А впрочем — наплевать!

— Все же важнее, Жако, — что у нас сегодня на завтрак? Бобы, конечно, неизбежны. Но как обстоит дело с мясом? Мы таки поработали вилами! Ты не против мяса?

Жако определенно за говяжью кость, и не слишком голую.

Работник Андрэ несет в хлев охапку соломы выше себя ростом, стараясь не рассыпать ее по дороге. Жако уходит на кухню осведомиться, в какой степени отменено на сегодня вегетарианство. Гусь-вождь ведет толпу гусей-последователей. Катаются по земле желтые цыплячьи шарики. Рыдает влюбленный и очень одинокий осел, к которому никогда не относятся серьезно.

Солнце уже высоко. Хозяйка зовет с порога:

— Эй, жених! Покличь хозяина, да идите завтракать!

Хозяина веселым лаем оповещает Жако. Андрэ моет руки у колодца и сообщает: «Бобы вкусны и питательны. Но прибавка хотя бы кроличьего мяса не лишена смысла. Сладковато, жидковато, однако укрепляет и восстанавливает силы. Но самое главное сейчас — холодный сидр!»

АНТРАКТ

Нервного человека не может не волновать неумолимость, с какою день сменяется ночью, лето — осенью, зимой, весной. Нельзя ни подтолкнуть, ни замедлить, — стрелки на часах природы движутся с невозмутимым спокойствием. Если ухватиться за секундную стрелку и повиснуть на ней, она, не дрогнув, не удивившись, подымет вверх, перекинет, мерно опустит к зем-

ле — и предложит на выбор: оставить ее в покое или проделывать тот же опыт дальше.

По-видимому, скоро будет можно на самолете догонять солнечный день; смелый летчик отменит часы, календарь, остановит солнце. И все-таки сумасшедшей планетой мотаясь вокруг земли, он с каждым оборотом будет становиться на сутки старше, и на бритых его щеках с обычной уверенностью будет выползать дневная порция щетины.

Здание нашего творческого безучастия увенчано высокой террасой. Наскучило наблюдать бег облаков,— и мы, перевесившись, смотрим вниз на большую улицу. Там муравьями толкуются и бегут люди: они спешат не отстать от бега часовой стрелки, потребить отведенные им минуты.

Один хочет купить все, что удастся, на сегодняшний заработок; другой, теряя подошву, бежит в библиотеку, чтобы проглотить столько строчек и книг, сколько успеет усвоить глаз и мозг,— хотя бы с пропусками; третий или третья торопятся влюбиться все, что доступно телу.

Или еще — использовать связи, деньги, улыбки для карьеры, все-таки не дающей бессмертия; кому-то нужно успеть отомстить — или убежать ото мщения; и кто-то, предвкушая радость свидания, не знает, что на ближайшем переходе через улицу его задавит автомобиль.

Путаный бег, столкновенья локтями, подножки, попытки обмана, гонка, огиб препятствий, прыжки через ров,— а часы на башне ровным ритмом отсчитывают время, не ускоряя — не замедляя стрелок, не считаясь ни с ленью облака, ни с нервным усердием людей.

Есть сотни готовых образов, чтобы описать покой после бури и затишье перед новой: круги от камня, брошенного в воду, тлеющий костер, на годы уснувший вулкан, интермеццо в музыкальной пьесе, послеобеденный сон. Мальчик закрутил бечевкой кубарь — и сейчас пустит. Накопившаяся ненависть готовит что попало: кастет, нож, револьвер. Балка подточена червяком. Береза налита соками. На горизонте скопились тучи. Готовое вырваться слово, и в этом слове набухло проклятье; но, может быть, в нем — чистый восторг.

Антракт — перерыв событий. По-прежнему люди рождаются и умирают. Для полутора миллиардов нет антракта; но устами всех полутора миллиардов история никогда не говорит: это — статисты, кордебалет у воды. Обождите, потерпите, поскучайте,— скоро, в свете цветных прожекторов, выплывет на пуантах престарелая балерина-прелестница Европа.

Годы предвоенные. Накоплены богатства, погреба набиты порохом. Расцвет науки и искусств. Оперяются еще желторотые аэропланы, чудачки делают чертежи Берты, химики пугают газами, зрители улыбаются. Поэты перестраивают лиры с пастушечьего на военный лад. Умолкают отдельные инструменты оркестра: дирижер стучит о пюпитр и подымает палочку.

Поняли все и до конца только матери и жены: смерть идет! Им в утешенье говорили, и себе в утешенье верили: военная прогулка на несколько дней, а обратно — веселым маршем, с чинами, орденами и забавными анекдотами.

Императоры призвали Бога. Демократия объявила передышку идей (пересмотр, подштопка, согласование). Получестные ушли в контрразведку. С этой минуты начинается обвал культуры и скольжение в пропасть — порядочной женщины, попробовавшей жить по желтому билету.

Собственно — решать было нечего; но требовалась подпись самого тупого из грамотных России. Ему почтительно поднесли бумагу, и на завтра запыхал бенгальский огонь патриотизма, самого настоящего, шедшего прямо из сердца, без участия мозга, — и такого пламенного, что от его обжога остались рубцы навсегда — на лбу профессора, на носу интеллигента, на груди прапорщика запаса, на тыловой части георгиевского кавалера.

Всякий раз, как случится впредь подобное же — повторится прежнее явление: люди святые и честные перейдут на сторону крови, тупые и бесчувственные останутся исповедниками единой неложной заповеди: не убий! Божественным принципам не везет: вполне последовательно их проповедуют только пустые умы и недостойные сердца. Но возможно, что философы и этому найдут исчерпывающее объяснение.

Одна оговорка неизбежна: орлы летят на войну сами, а баранов гонят против воли; за неграмотных расписываются в патриотизме грамотные, не подозревая подлога (то есть некоторые догадываются, но смутно). Говоря без иносказаний, — никогда и ни один так называемый народ (миллионы) воевать не хотел; за него хотят самозванные представители. Но дело в том, что и в мирное время они за него действуют, — и он почему-то не бьет или недостаточно часто бьет их по черепам. Следовательно — нет никаких оснований преувеличивать в уважении и бессловесному и бездейственному стаду! Излишнее народолобие — жидкий чай с полкуском сахара.

Июль 1914 года. События, телеграммы, барабаны, слезы, исторические слова, грандиозные мошенничества, первые военные вдовы, герои и трусы, поэты и дезертиры, молебны и матерщина, рубли и кресты, перевод Евангелия на язык мясников. Толкая в спину прикладами, гонят на фронт Христа, — и он, малодушествуя, произносит речи, которых сам стыдится; за это его впоследствии ждет обидная расплата: изгнание из сельских церквочек, где ему жилось гораздо уютнее, чем в богатых храмах: не ври!

Непочтеннейшее сословие — военное — всюду принято и в моде. Общественники измышляют подобие погонов и шпор для гражданского личного потребления. Сапоги сочтены более удобными, чем ботинки со шнурками. Мерзавцы наливаются жизненными соками: теперь или никогда! Врачи, вздыхавшие над заусени-

цей, тпают ноги по бедро зазубренным колуном. Из высших и чистых соображений бездарнейшие и глупейшие милостиво объявляют себя главнокомандующими. Цензурная сволочь перебирает грязными лапами святые солдатские цидульки. На крыше барака малюют красный крест — и летчик, веселый малый, сладострастно прицеливается: а ну-ка, пошлем его к чертовой матери!

Антракт между действиями устаревшей комедии «Человечность». Есть еще много людей, защищающих смертную казнь, воспевающих государственное насилие, мечтающих о «победе человека над природой», согревающих дыханием выпавшего из гнезда птенчика — и режущих на куски неверную жену. При слове «война» они делают скорбное лицо: печальная необходимость! Отогретого дыханием птенчика они вечером зажарят в сухарях, на второе — съедят жену. Во имя любви к отечеству — предадут всю землю и весь человеческий род. Брехунцы — но не звери: звери чище! Глупцы в профессорской тоге, скрывшей эполеты. Люди привычного позора.

В августе 1914 года русский политический эмигрант Бодрясин, заика, человек со шрамом на лице и рубцами на груди, полученными на сибирском этапе, — записался добровольцем во французскую армию. Ему дали солдатскую форму, ранец и винтовку. Голову покрыли стальной каской.

Еще через месяц, пройдя курс нехитрой науки — шагать, слушаться и убивать, — он был отправлен на фронт.

Адреса нет; пишите просто: рядовому 1-го Особого пехотного полка.

В ТРАНШЕЕ

От самого рождения и до сего дня, всю эту вечность, Бодрясин был французским пехотинцем, сидел в траншеях и слышал вой снарядов. Больше ничего никогда не было — все остальное вычитано из книг или придумано.

Смысл жизни в том, чтобы подольше остаться неубитым и неясно ощущать, что убиваешь других. Эти другие — никто, выдумка, плод воображения, условие игры. Никаких врагов нет — и откуда могут быть враги у пехотинца Бодрясина, в котором нет вражды ни к кому?

В книгах, в свое время прочитанных и, вероятно, сгоревших или закопанных в землю, описывались чудеса бывшего мира: разнообразие стран, благоустройство городов, события семейной жизни, борьба идей и еще многое, что память восстанавливает лениво и неуверенно, в туманных образах. Из этой фантастики теперь ничего не осталось, и жизнь упростилась до земляной канавы с деревянными подпорками. Одежда спаялась с телом, лицо поросло щетиной. Все видимое одноцветно: зелено-коричневой грязи. К голове приросла каска, и даже винтовку нельзя считать за предмет, живущий особо от человека.

Чрезвычайную важность в жизни приобрела погода. Она хо-

роша, когда нет ни дождя, ни палящего солнца. В дождливую погоду копыта человека набухают в воде, а платье, становясь кожей, тяжелеет. Подсохнув — жить гораздо проще и легче. В жаркие дни душит запах гниющего мяса, повисающий над траншеями тяжелым зонтиком. Иногда бывает гроза — слабое подражание канонаде.

Наконец осуществилось равенство людей. Пехотинец Бодрясин совершенно равен пехотинцу с другим именем и другой расы — французу, негру, арабу; не существуя в качестве самостоятельной единицы, он имеет значение только при подсчете живых, раненых и убитых. Его прошлое равно прошлому каждого из солдат иностранного легиона, то есть одинаково равно нулю. Ни героев, ни преступников, ни ученых, ни безграмотных. Командующий пятой армией, по чистой совести утвердив расстрел девяти русских добровольцев, оказавшихся социалистами, имел в виду не какие-нибудь определенные личности, а просто цифру девять. Их расстреляли более или менее случайно, скажем даже ошибочно, — но и разорвавшийся снаряд убивает случайных, а не избранных. В счете десятков тысяч цифра девять ничтожна до смешного. Обычно в иностранный легион записывались люди с темным прошлым, по безвыходности или *roug manger la gamelle*¹. В дни войны ввалилась в легион серая толпа безнадежных и беспочвенных идеалистов, ничем не отличных от преступников; недоставало заниматься биографией каждого из них в отдельности! Да и вообще — разговор о пустяках, — прекратим этот разговор, в данных условиях неуместный.

Вполне уместный разговор шел в траншее о том, что «суп против нашего сапога ихний башмак с обмотками сравнения не выдерживает». Бодрясин, прислушиваясь, вспоминал о том, что в Париже русские всегда жаловались: «Что за народ французы! В домах холодно, а до двойных рам не додумались!»

Ухом ловя беседу товарищей по траншее, Бодрясин с любовным вниманием, как узкий собственник, осматривал свои руки, ноги, обувь, своей работы заплату на шинели. Особенное удовольствие ему доставлял подживший палец, на котором ноготь был полусодран колючей проволокой; несколько дней было больно держать винтовку, — теперь палец больше не ноет и самодельный бинт снят. Руки были привычно грязны, с трауром ногтей и в царапинах. Рукава шинели засалены, сапоги в комьях подсыхавшей глины.

Движения пехотинца Бодрясина ленивы; когда солдат не на часах, не за работой, не в бою, — он всегда ленив и неуклюж. Все сильные рабочие животные ленивы и неуклюжи на покое. Встать, отогнуть полу шинели, достать письмо из кармана штанов, — целая работа. Письмо читается в третий раз; содержание его известно, но забыто какое-то выражение. Попросту хочется взглянуть лишний раз на почерк Анюты и на чернильные палочки,

¹ Есть из общего котла (фр.).

проставленные детской рукой,— тоже подпись. Суровые люди чувствительны. Лицо пехотинца Бодрягина делается на минуту глупым и бабьим. Опять с натугой он отгибает полу шинели и сует в карман письмо. Подживающим пальцем уминает в трубке табак; огонек серной спички кипит, потом разворачивается широкий пламенем. День безветренный.

Убиты: доктор Попов, большевик, пошедший на фронт простым солдатом; Варинин, эсер, бывший член центрального комитета; Яковлев, тоже эсер, участник московского восстания; Зеленский, эсдек; анархист Тодосков, которому удалось спастись от смертной казни в России — большая удача, сам выбрал смерть; художник Крестовский; скульптор-террорист Вертепов; еще сотни политических эмигрантов. Все они пошли на фронт добровольцами, хотя все отрицали войну, как проявление варварства. И все — от застенчивости: неудобно стоять в стороне. Другой мотив — непреодолимый патриотизм сентиментальных людей! Послушаешь их — убежденные интернационалисты, и в тот самый момент, когда должна восторжествовать последовательность взглядов,— побеждает душевная дряблость, любовь к своим лесам и речкам, к гречневой каше, тюрьмам, страничкам истории Ключевского, к матери и сестрам, нежинским огурцам, «Слову о полку Игореве», к идейно-несущественному. Отсутствии крепкого пораженческого хребта! Те, у кого силен этот хребет,— те будут господами положения, счастливыми палачами идейной слюнявости, будут сладко есть, покойно спать, носить имя строителей, дружить с историей,— почетное будущее! Куда же почетнее, чем гнить в неизвестной могиле в чужой земле, даже без отметины: «Здесь покоится падаль просчитавшегося патриота».

На такое обстоятельное рассуждение менее всего был способен пехотинец Бодрягин, мысль которого была занята Анютой и чернильными палочками. У него не было прошлого, а будущим была только предстоящая ночь. Его трубка докурилась и погасла. Угас и спор о преимуществах голенища перед обмотками. Траншейный товарищ мурлыкает песню — и жаль, что нельзя спеть хором. Вообще — как-нибудь использовать часы затишья; потом стемнеет, и немец займется пиротехникой — будет пускать красивые ракеты.

— Бодрягин!

— Ну?

— О чем задумался?

— Чудак! О т-тайнах мироздания, а главным образом о п-похлебке. Удивительно, как действует хороший воздух. С таким ап-петитом мне бы сейчас жить на кумысе в Самарской губернии и есть баранину.

— Письмо получил сегодня?

На минуту лицо пехотинца Бодрягина опять стало бабьим.

ЦЕНЗОР

Отец Яков пристроился в военном цензурном комитете, — читать каракули, идущие из деревни на фронт. Работа чистая и очень нужная — мало ли чего напишут солдату на фронт, могут и смутить солдатскую душу. Или — по неведению — расскажут про тыловую работу, а письмо попадет неприятелю. Возможен и злой умысел. Конечно, отец Яков — только пешка, малый чтец; чуть что сомнительное — должен передавать начальству на разрешение.

Работа чистая. Однако отец Яков чувствует себя нехорошо, читая цидульки солдатских родственников. Та же исповедь, да не по доброй воле: не всяк пишущий знает, что его строчки пройдут через поповские гляделки и цензурный нюх. Если бы не две причины сразу — не взялся бы отец Яков за такую службу. Первая причина — нужно питаться и быть полезным отечеству; вторая причина — уж очень лю-бо-пытно отцу Якову! И совестно — и невозможно бросить.

Как бы вся русская земля заговорила одним языком. Больше всего — нежных слов и добрых пожеланий. Слова неуклюжие, корявые, непривычная бабья ласка в писарьском переводе. Домашние события маленькие, и не стоило бы и занимать ими обреченного человека, смерти предстоящего. А пожелания одни: скорее вертайся до деревни, иначе все одно пропадать!

Приходится отцу Якову читать и солдатские письма, но больше не с фронта, а из городских казарм и больниц. В письмах солдатских, в деревенских ответах, — тут она вся Россия и есть. Городская на бумаге получше, слогом пограмотней, а крестьянская — в простоте и бесхитривости, в пустяках, жизнь составляющих. Телятся коровенки, мрут деды и бабки, Ваньки болеют пузом и чирьями, овсы ныне хороши, с сеном бабам никак не управиться, три рубли наскребли солдатику на расходы, да рубашки домотканого холста, послала бы лепешек, да не знаю, как послать. Отпиши, когда ждать домой, совсем ли, а то хоть на побывку. Сказывал писарь, что немца отогнали и скоро будет войне замиренье. И еще кланяется, да еще кланяется, да от матушки родительское благословение, навеки нерушимое.

От солдата ответ пограмотнее, с благодарностями и описаниями геройств, за дыру в боку получил кавалерский крест, а названия городов и местечек мажет отец Яков черной кисточкой, так приказано. Тоже и плохих вестей не пропускают, даром что всем давно известно из газет, — но ведь деревня-то читает ли, понимает ли? Зачем страну понапрасному тревожить!

Пробежит отец Яков, подневольный цензор, пачку открыток и распечатанных закрыток, поставит штемпелек на сером конверте — и задумается. Настоящей страны, единого государства, словно бы нет, а только живут повсюду — на юге, на севере, в горах, на равнинах, в срединных землях, за Уралом, в лесах и по берегу рек — Даши и Параши, дедушки и бабки, да малолетние Васьки с Анютками, все одинаковы, житейски просты,

неприхотливы, трудящи, маломощны, обучены терпению, в темноте своей наивны, с Богом в дружбе и запанибрата,— пащут, сеют, выращивают злаки, доят коров, стригут баранов, разводят курочек,— это будто бы и есть государство, и у этого государства будто бы своя определенная воля и свои желания, выраженные книжно, как ни один крестьянин не скажет и не поймет, языком мудреным и выдуманым: «Россия не потерпит... русский народ одушевлен единым желанием...» Это верно, что одушевлен, что в одном согласен: чтобы войну скорее прикончить и всем бы вернуться по домам.

Что война — горе и несчастье,— про то понимают все до одного, и смысла в несчастье никакого нет, и быть его не может, и искать его нечего.

И думает отец Яков: «Доведись мне объяснять — ничего не объяснил бы! И газеты читаю, и сам пописывал. И имею против них, несмышленных и малограмотных, сравнительно почтенное образование. Скажем так: отечество наше обижено вторгшимся в него неприятелем, злодейственным германцем. Нас бьют — мы бьем. Теперь скажем: уходите вы, пожалуйста, от нас, и мы драться совсем перестанем. Ведь обязательно уйдут, очень будут рады! Это, говорят, был бы сепаратный мир, как бы измена, мир позорный. Как мир может быть позорным? Это война позорна, а всякий мир — благодать. Кто кому изменил? Ведь Антип-то Косых, которому его жена, Матрена, пишет письмо,— он, Антип, никому обещанья не давал! Его, Антипа, и не спрашивали. Никому такого дела он, Антип Косых, не поручал, чтобы за него раздавать обещания! Попробуй-ка объясни теперь Матрене, по какой причине ее Антипа едят вши, а завтра будут есть черви! У союзников, может быть, и знает, а у нас так. И Антип только что не понимает и боится — силы своей не знает,— а то бы обязательно ушел в деревню, к Матрене. Это уж — вне сомнения».

Отцу Якову самому боязно своих мыслей. За такие мысли не только из цензоров, а и подале улетишь. И думать тут нечего: бери другую пачку цидулек, читай, черкай, ставь лиловый штемпелек: дозволено военной цензурой. Антип, он тоже — знать-то он, может быть, и знает, а сидит в окопах и постреливает.

Собрав пачки в ровные стопочки, отец Яков несет их старшему начальнику:

— Тут сомнений не возбуждающие. А эти — на усмотрение, в количестве малом.

Работа отца Якова черновая, предварительная, хотя самая кропотливая. Его почтенной рясе доверили бы и большее, да он сам не берется:

— Чем могу — помогаю, насчет разбора мужицкой цидулки; а настоящая цензура — дело военное, мне недоступное, ваше дело.

Волосы отца Якова редеют и седеют. В лице стало больше строгости. И разговор отца Якова прост и отрывист. С тех пор как история поскакала вперед галопом, отец Яков подобрался,

зорких глаз не спускает,— но прежней зоркости уже нет. Не все понятно. А что понятно — про то лучше смолчать. Утомился отец Яков. На остаток жизни наложено непосильное бремя. Тут и мудрец не всякий поймет — где же разобраться его поповской простоте!

НАКАНУНЕ

Из-под металлической каски робко глядят самые застенчивые в мире глаза, серые, несколько телячьи.

— Хотел спросить вас, товарищ Бодрясин...

— В-валяйте!

— Моя грамота какая: уездное училище. Не знаю, что ладно, что неладно.

— Ну?

— Да вот стихи пишу. Не читаете?

— А вы сами прочитайте.

Рядовой Изюмин читает не нараспев, а толково и внушительно:

А дома мама и жена
Семьи кормильца ждут напрасно,
Перед иконой зажжена
Лампадка с деревянным маслом.

Им не дожидаться: он лежит
В чужой Шампани пределях,
Письмо в руке своей держит,
Душа навеки отлетела.

Бодрясину не нравится «держит» — неверно ударение. Может быть, лучше сказать «в руке его дрожит»?

— Я думал. Да как оно будет дрожать, когда он мертвый?

— От в-ветра. А то можно: «в его руке письмо лежит». А у вас, Изюмин, мать и жена дома?

— Да нету ж, я одинокий. Это только для стиха. А так ничего, товарищ Бодрясин?

— Ничего, хорошо.

— Мне писать очень нравится, бумагу портить.

— З-занятно, конечно.

— А вы стихотворений не пишете?

— Я не умею.

— Ну, вы-то, чай, все умеете!

Бодрясин загадочно улыбается. Действительно, он все умеет и все знает. Так, например, он сумел достигнуть возраста почтенности, живя как птица, в перелетах и без оседлости. Накануне войны он все же свил гнездо и вывел птенца, который, вероятно, скоро осиротеет. И знает он, Бодрясин, также все или почти все. Он знает, что война — бессмыслица и безумие; это не помешало ему пойти на войну добровольцем. Он знает, что будет убит,

может быть, рядом с Изюминым. Изюмин пишет стихи, а он, Бодрясин, все знающий, не хватает его за руку и не бежит с ним отсюда куда глядят глаза, только бы уйти и не видеть этого вздора и преступления. И Бодрясин говорит:

— Слушай, Изюмин, будем говорить друг другу «ты»; мы — солдаты.

— Чего ж, я рад. Так-то, действительно, ближе и лучше.

— Д-давай обнимемся!

Они колют друг другу щеки отросшей щетиной. Изюмин благодарно смотрит телячьими глазами.

— Пиши, Изюмин, стихи, это хорошо. Тем хорошо, что никому нет от этого ни пользы, ни вреда; вот как и от трубки т-табаку. А после войны ты станешь з-знаменитым поэтом, этаким новым Пушкиным.

— Ну, где уж!

— Нет, правда. Уж если писать — так писать лучше всех. Валяй — и все! Ты, значит, станешь поэтом, а я вернусь к жене и ребенку, заберу их и уеду с ними на Волгу к-крестьянствовать. Это и есть счастье, Изюмин. Почему бы нам с тобой не быть счастливыми?

— Конечно, хорошо бы, раз что кому нравится. И чтобы вам самое лучшее, и мне бы чего-нибудь.

— А про войну забудем, будто ее и не было. Будто мы не убивали и в нас не стреляли. Был сон — и прошел. Люди все п-помирились и друг друга п-полюбили прямо до невозможности. И уж, конечно, навсегда. Ты этому веришь?

— Да ведь про всех не решишь, а уж чего лучше.

— А ты верь, Изюмин! Еще, сколько придется, тут посидим, а потом — общая любовь, братство и больше ник-каких! Потому что иначе — черт его знает, что за жизнь! Нужно непременно верить в самый хороший конец — чего лучше не бывает. Ты верь!

— Так что же, я-то рад верить.

— Вот. Теперь слушай, Изюмин, милый товарищ. Если нас все-таки убьют — наплевать, плакать не б-будем!

— После смерти не заплачешь.

— Плакать не станем, а б-благодарить тоже не будем. Попали под колесо — и все. Не мы одни попали, и не мы — самые лучшие.

— Есть среди наших ребята отличные, прямо жалко их.

— Вот. На этом и порешим, брат Изюмин. А ты мне родной человек. И куда тебя занесло, во Францию! А в-впрочем, кормил бы вшей в России, одно на одно. Душа у тебя детская, Изюмин, за то тебя и люблю.

Изюмин говорит растроганно:

— Я вас давно полюбил, хорошего человека сразу видно.

— Не «вас», а «тебя».

— Вот именно. И поговорить приятно.

— Поговорить нужно. Вот я тебе сейчас покажу...

Бодрясин деловито отгибает полу шинели, лезет в карман

штанов. Среди листов твердой записной книжки у него хранится маленькая любительская фотография.

— Видишь? Вот это — моя Анюта, жена, простая и хорошая женщина. А на руках — п-понимаешь — наше п-произведеенье, сынишка. Чувствуешь?

— Как есть на тебя похож.

Бодрясин расплывается в улыбку и машет рукой:

— Ну, я м-мордой не вышел, лучше на Анюту.

Они смотрят, потом Бодрясин бережно кладет карточку обратно в книжку и сует в карман. И больше разговаривать не о чем.

— Это тебе — за хорошие стихи.

— Вам спасибо. Скоро и кухня прибудет.

— Пора бы. Есть хочется зверски.

Так они беседуют в день передышки; не в день, а в час; полных суток передышки давно не было: немец не дает покою. Отряд русских добровольцев — дешевое пушечное мясо — вплотную соседствует с германскими передовыми траншеями. Как зайдешь в глубоком блиндаже — кажется, что враг тут же, за земляной стеной. Так оно и есть. Врагом называется немец: еще враги — турки, австрийцы, болгары. С какой-то минуты они стали врагами Бодрясина и Изюмина. Бодрясин и Изюмин стремятся их убивать, а те, с своей стороны, стараются убить Бодрясина и Изюмина, своих врагов. Бодрясин — муж молодой женщины и отец ребенка; Изюмин пишет плохие стихи. Бодрясин слушал в Гейдельберге лекции немецкого философа, Изюмин в жизни своей не встречал турка и не имел никаких дел с немцами. Но дело в том, что Россия воюет с Германией, та самая Россия, родная страна, в которой Бодрясина очень хотели поймать и повесить. Бодрясин эту страну, естественно, любит и защищает, но там, в ее пределах, на ее фронтах, он делать этого не мог бы; поэтому он воюет в рядах французской армии. Логика! Изюмин был рабочим в Харькове, попался с прокламацией, скрылся от ареста и был сплавлен товарищами по партии за границу. Поэтому он тоже в рядах французов, столь же ему чужих, сколь и немцы. Все понятно! При чем тут головные размышления, когда под аккомпанемент орудий говорят сердца?

Под вечер началась канонада, ужасная, оглушающая, никогда не привычный ад. Начали наши, и возможно, что это — подготовка. Но солдату не к чему это знать.

Выйдут и побегут, оступаясь, бессмысленно крича, уже не люди, держа штыки наперевес. И это неизбежно, как припадок падучей. Потом будет короткий день или вечная ночь.

ЭПИЗОДЫ

Легкими перышками летят к стороне, в общую сорную кучу, этюды, наброски, акварели, — и с грохотом художники выдвигают на первый план мольберты с огромными полотнами.

Больше не будет речи о маленьких героях и любимых лицах: только движение масс, бури океанов, сдвиги гор и мировые катастрофы.

Кто вы такая? — Я террористка. Я известная террористка героической эпохи, та самая, которая хотела взорвать государственный совет, та самая, которая своими руками надела на Петруся и Сеню мелинитовые жилеты. Они сказали мне: «Мы, Наташа, не изменим — двух смертей не бывать!» Это были братья Гракхи; наутро они взорвали себя на министерской даче.

Но это — прошлое. Кто вы такая теперь? — Я мать двух девочек. Я не хочу рожать сыновей и умножать число убитых и убитых. Мне кажется, что во мне материнство сильнее, чем ненависть и даже чем любовь.

Ах, все это — пустые и лишние рассуждения! Маленькие жизни в сторону — готовится место для прекрасных массовых сцен, для специальных заказов истории.

В книге о концах мелькают страницы без действий и без характеров. В предстоящих драмах играют уже не эти актеры, и на сцену их посылает иной режиссер.

Декорация прежняя: Париж. Неизменная строгость серых линий набережной, спокойствие дворцов, розетка Нотр-Дам, равнина площади Согласия, гостеприимство садов, возвращенных в свободу и уют. Но и иной Париж: без гомона, без музыки, сугубо будничным и печально-серьезным. Пусты столики кафе, женщины в черных платьях, редки такси, метро без суеты, день кончается быстро, вечером и ночью Париж без уличных огней и освещенных окон. В настороженном молчании прожекторы шупают небо.

На старой улице Сен-Жак — старый дом, обреченный на слом, а пока населенный беднотою. Все жильцы в долгу у зеленщика, который готов ждать до окончания войны. Наташа больше должна молочной; но известно, что муж Наташи уехал в Россию на войну. Все в этом доме знают друг друга.

Старшей дочери Наташи четыре года; младшей два. Люксембургский сад близок, и там, в хорошую погоду, Наташа проводит с детьми целый день. С собой берет книгу — но читать не хочется и не удается. Для девочек Люксембургский сад — целый мир; таким миром для самой Наташи была деревня Федоровка на берегу Оки.

Утром маленькое хозяйство, днем в саду, вечером стирка. День сменяется днем — и это жизнь. Будущего нет; но будущего сейчас нет ни у кого: ни у Наташи, ни у ее дочерей, ни у Парижа, ни у Европы. Есть сегодня, возможно — завтра, и есть война, которой не видно конца, но до конца которой откладываются все начинания и все решения.

Кто вы? — Я простая девушка с Первой Мещанской; была тюремной надзирательницей и, пожалев и полюбив, ушла из тюрьмы вместе с каторжанками. И вот я оказалась в другом мире — в мире идей и высоких слов, в мире отважных действий. — Кто я теперь? — Я мать трехлетнего Андрюши и вдова

большого человека, который оценил мою простоту и мое душевное здоровье.

Норманская деревушка. Ферма Мосье Дюбуа, добродушный патрон рабочего Андрэ и собаки Жако, убит прошлой зимой. Траур мадам Дюбуа шит опытной рукой Анюты. Месяц тому назад та же рука шила траур для себя. Теперь мадам Дюбуа уже не хозяйка, а подруга в печали: батрак Андрэ убит в Шампани. В мире не стало друга, в жизни не стало прежнего огромного смысла. Обе женщины заботятся об единственном мужчине в доме — о маленьком Андрэ, норманском мужичке, приятеле верного Жако.

Крошечный эпизод из великой войны. Когда эта война кончится, мадам Дюбуа повезет Анет в те места, где убиты их мужья. Там нет отдельных холмиков с именами, но есть много обширных братских могил. Все это так просто, что проще нельзя придумать. Мадам Дюбуа говорит:

— Вы, Анет, молоды, вы еще выйдете замуж. В том нет ничего плохого. А я уже близка к старости.

Анюта не возражает и не возмущается — ведь говорится это от чистого сердца. Когда война кончится, Анюта увезет Андриюшу в Россию, в Москву, на Первую Мещанскую, где, может быть, еще живет тетушка Катерина Тимофеевна.

У мальчика отцовские глаза. С мадам Дюбуа и с Жако он говорит по-французски, для матери вспоминает русские слова и внимательно смотрит — верно ли сказал? Его словарь — путаница малого запаса двух языков.

Он знает, что его отец — солдат и что этот солдат убит. Все дети его возраста знают слово «убит», самое обыкновенное.

Мадам Дюбуа говорит:

— Анет, вы заметили, он опять затрудняется? Он спросил меня сегодня: «С-comment s'appelle?»¹ — и долго кривил ротик.

Анюта тоже заметила. В первый раз это случилось, когда пришло известие, и она, сквозь туман слез, искала глаза отца в глазах ребенка. Прежде чем тоже заплакать, он спросил ее: «Мама, п-почему?». Потом это стало повторяться, но думать об этом было некогда.

— Надо показать его доктору.

— Я боюсь, мадам, что это неизлечимо. Ведь это от отца — он всю жизнь немного заикался.

Мадам Дюбуа твердо и убежденно говорит:

— И все-таки был прекрасным человеком. Потому что он, действительно, был честным и великодушным человеком, ваш муж. И очень умным и образованным, я знаю. Мой покойный муж его искренно любил, как родного брата. Они оба умерли героями, спасая Францию.

Мадам Дюбуа ясно представляет себе, как они умерли, каждый впереди своего отряда. Они бросились в огонь первыми и увлекли за собой всех других. Сраженные пулей, они воск-

¹ Как это называется? (Фр.)

ликнули «Vive la France!» и испустили дух, каждый шепча имя своей жены. Франция гордится такими солдатами.

Дважды в день мадам Дюбуа достает из комода чистый платочек. Она плачет днем, среди работы и на людях, но ночи спит хорошо. Анюта слезы сдерживает ради сына: ей довольно ночей.

В соседних домах, в ближних и дальних деревнях, во всей стране, во всех странах — одно и то же. Но лучше, если художники, пройдя мимо этих мелочей жизни, потрудятся над батальными картинами и огромными полотнами социальных катастроф.

СТРАНИЦА ЛЕТОПИСИ

В летописи отца Якова под знаменательной датой записано:

«В грозных и длительных событиях войны и внутрироссийских давно не брал пера летописца, ныне же нарушаю сию скромность. Не мне, низжайшему, рассказать о происходящем, однако отметить обязан. Должны бы тысячи опытных и острых перьев начертывать происходящую историю, не упуская ничего для потомства. Может статься, что иные и пишут по чистой правде, держа листочки дома, чего в газетах быть не может, ибо там выискивают подходящее, толкуя с пристрастием, а прочее замалчивают и искажают.

Сокрушилось российское самодержавие, и ныне толпы народные, украшены бантами, гуляют по улицам. По Тверской прошли отряды солдат, смешавшись и в обнимку со многими гражданами, и офицеры помолже тоже с ними. Полковники и генералы, видимо, не уверены и опасаются выходить из домов, во избежание снятия с них оружия и эполетов буйными гимназистами. А то видел воочию одного почтенного чиновника по судебному ведомству с сим же красным бантом, идущего по течению толпы, и даже рот разевал соответственно звукам народного пения, однако же, в переулочек свернув, тот бант скоренько снял и сунул в карман, очевидно не будучи окончательно убежден в полной прочности. Цепляли и мне бантик, говоря: «Будьте и вы с народом, батюшка», на что я отвечал: «Я и без бантиков с народом, будучи сам народ, ленточками же украшаться словно бы не по сану». Тут один солдатик сказал: «Тебя, старик, надо будет обстричь бобриком!» — другие же его упрекнули: «Для чего охальничаешь! Нынче всем свобода!»

Итак — свершилось жданное. Удручен годами и слабове-рием, — внесу ли в общую радость тень сомнения? Отчизне желаю счастья на всех путях, пуще всего — окончания губительных битв. На бульваре возле памятника знаменитому поэту Пушкину в кучке солдатской говорил речь приличного вида человек, призывал народ к войне до победного конца. И тут солдатик из толпы кричит ему: «А сам почему не на фронте?» — весьма последнего смутивши, но другие в толпе высказывали:

«Каждый служит по-своему», и вообще в сей первый вольный день явственно проявляют доброту и терпимость, что приятно отметить. Видимо, однако, что под свободой не разумеют иного, как конец всякой войне, что — пред Богом скажу — естественно и осудить невозможно.

В сей наступающей новой жизни, ежели и подлинно наступит, завещаю молодым следить с пером в руке течение событий и на смену нам, верным свидетелям в дурную память уходящего прошлого. Часто думаю: сколь преобидно, что не дожид до победных дней покойный мой московский знакомец и сибирский встречный Николай Иваныч, скиталец страждущий и тайный боец! Был бы при истинном празднике, всю жизнь на мечту о нем затратил! И однако, жертва судьбы роковой и суровой, утонул в теплых морях.

Близится и мне исчезновение в небытии. Довольно, о старче, скитаться по российским весям и городам, ища ответов жадному любопытству! Со многими другими скажу: ныне отпускаеши! Не объять будущего ни умом, ни догадкой, — к берегам каких рек прибьет наш государственный корабль. Хочу блага, страшусь новых бед, скорблю о возможности жертв напрасных. Ибо темен наш народ, по душе добрый: златую чашу, ему подношю, не расплещет ли напрасно и выю свою, к рабству привычную, не подставит ли иным пущим деспотам? Да что гадаешь, поп, ничего не зная?! Книга будущего никому не раскрыта».

Не от слабоверия и тягости лет праздник всея Руси оттенен для отца Якова сомнениями. Старый землепроход — одинаково знает он и город, и деревню, и столицы, и провинцию. Потолкался достаточно в народе, поякшался со слоем образованным, сподобился прикоснуться и с правящими верхами — поскольку то доступно было простому и бесприходному, но ловкому и любопытством ведомому попу. При последнем наезде в Питер одним глазом видел знаменитого старца Григория Нового, совсем незадолго до его гибели. Ужаснулся — и пришел в восхищение! Был сей старец якобы некий символ и мощи, и темноты, и великого ума и продерзости русского народа. Сколь сделал он — того никакая боевая партия сделать не могла бы: выставил на всеобщий показ и явный позор ничтожество и гниение самых вельможных и неприкосновенных, раздел их в бане и вытолкнул на улицу на смех толпе! Уж если ставить кому памятник — то именно сему мудрецу и распутному мужику, истинному всея России минувшему самодержцу! Взяли его хитростью, отравой и пулями, насев на него, пьяного, справа и слева, великий князь, да знатный богач, да образованный умник, да думский шут, — и то едва совладали; добивали, яко живучего kota, сами трясясь от ужаса, потом тело в прорубь, одежду в огонь. А спроси теперь: подлинно ли убили его? Не встанет ли из воды, из огня и из земли сей огромной мужичище, не скажет ли про землю — моя! — и про власть — моя! — и не раскидает ли всех, как шелуху лущеного подсолнуха? Голова срублена — вырастет на ее месте сто голов. Этот был

побольше Степана Разина и Емельки Пугача, народных простаков. Этот — воистину символ грядущего, апокалиптический зверь!

Про свою встречу с Распутиным отец Яков в свое время скромно упомянул в дневнике; но не записал ни восхищения, ни многотумных своих догадок, которые пришли после. Не нашел таких слов — и не счел уместным в спокойной повести летописца.

«От сего числа летописи моей конец. Пусть смотрит дальше глаз зоркий, пусть пишет рука помоложе и поискусней. Ныне отпускаеши, Владыко, отца Якова Кампинского на желанный и просимый покой!»

Так думал и так записал. Но разве руку живую удержишь от страсти ставить чернильные завитушки? Пока есть дыхание — будут и они. Пока, говорим, есть дыхание в старой груди любопытствующего попа, запутавшегося потертой рясой в винтиках и зубчиках истории. А впрочем — долго ли ждать полной отставки, отец Яков? Конечно, ныне Владыка весьма завален работой — пишет отпуска миллионам усталых, да кстати, и тем, кто мог бы и подождать. Но как ни велика очередь — старому человеку местечко найдется!

ВАГОН

Шоссейная дорога подымается на дыбы и старается заглянуть в окно вагона, бегущего по насыпи; вытягивают шею тополя и ветлы, всматриваются издали горы и пригорки, — всем хочется увидеть человека в вагоне. Человек в вагоне, скромно закусив консервами, ковыряет спичкой в зубах и едет быть великим в великой стране.

Мир еще не знает его примет: скуластое лицо, жидкая бородка, лысый череп; позже это лицо будут знать лучше, чем усы Вильгельма. Человек в вагоне или читает, или просто держит в руках книгу; он полжизни читает и четверть жизни пишет и говорит на темы прочитанного и написанного; часы, остающиеся на сон, он спокойно спит без сновидений. От природы он настолько лишен фантазии, что ему даже в голову не приходит его будущее величие; едет он просто полемизировать и делать неприятности противникам его партии. А между тем ему предстоит сделать самый фантастический прыжок — из царства необходимости в царство свободы с грузом многомиллионного народа на плечах. Разбег для такого прыжка сделан до него другими; это существенно в смысле экономии сил, но для истории неважно.

С ним в вагоне едут другие, в большинстве — люди смущенные, так как вагон запломбирован; швейцарская контрабанда из любезности пропускается на германскую территорию, но лишь транзитно: акт дипломатической мудрости и военного расчета. В сущности — излишняя поспешность! Те же люди могли совершить круговой объезд, и от этого не изменилось бы ничто; наконец, они могли вообще остаться, вместе со скуластым пово-

дырем,— и все-таки не изменилось бы ничто в предстоящем будущем, потому что, по верованиям этих людей, личность роли в истории не играет.

Багаж возвращающихся эмигрантов легок и наивен: смена белья, зубная щетка, подбор пустых агитационных брошюр, с которыми жалко расстаться, и разделенные по рубрикам девизы: свобода совести, слова, печати, собраний и стачек, неприкосновенность личности и жилища, учредительное собрание, народная милиция. Кроме того, звонкая игрушка — диктатура пролетариата, в которую, впрочем, никто серьезно не верит. Назло их неверию — из всего багажа останется только эта игрушка, поскольку пролетариат может быть представлен в лице симбирского дворянина, лишнего сословных и иных предрассудков.

Едиственный, кто совершенно не замечает и впредь не заметит саркастической усмешки истории,— скауластый симбирский дворянин. Великое счастье обладать умом абсолютной негибкости и полным отсутствием юмора! Скучнейшая фантастическая мысль, во всем находящая оправдание; живой мир — кабинет публициста, живые люди — материал статистика. Личное бескорыстие человека без потребностей; органическая неспособность сомневаться; простота отношения к действительности, как бы ни была она кошмарна: человек протирает пенсне и видит только буквы и цифры, не всегда совпадающие с его первоначальным расчетом. Он выправляет буквы и меняет цифры, потому что действительность может ошибаться, но теория не может. Жизни нет, есть только экономический материализм. Если нет жизни, то нет и крови. Смешны те, кто назовут его злодеем: он ценил и любил стихи Некрасова, которого считал поэтом. Он не был зверем: он только не был человеком, настолько не был, что справедливо назван гением; иной клочки не придумаешь, и эта останется навек в истории за симбирским дворянином.

С уходом этого поезда за границей застрял только сор эмиграции: солдаты, инвалиды и бывшие герои. На полях валяются колосья, на грядах — червивые корневища. Но место свято не бывает пусто: скоро их ряды пополнятся новыми беглецами, которые заключат с ними союз любви, ненависти, словоблудия и аперитивов. Правда колетя на куски: правы там, правы здесь, прав всякий, умеющий искренно забывать и добросовестно перекрашивать убеждения. Поборники свободы становятся палачами, бывшие палачи тоскуют по человечности. *Changez vos idées*¹ — и историческая кадрили продолжается.

Начальник станции вполголоса спрашивает офицера:

— Куда следует этот вагон русских свиней?

— Прямо до линии Восточного фронта. Вероятно, там их выпустят.

— Обмен?

— Не знаю. Кажется, это — революционеры.

— Жаль. Полезнее бы обменять их на свиней настоящих.

¹ Меняйте свои убеждения (фр.).

— О, хотя бы только на полвагона сосисок!

Разговор сводится на вопрос продовольствия. Что такое сандвич? Две хлебных карточки с прокладкой из карточки мясной!

Толчок, еще толчок,— и исторический поезд отправляется дальше в историю. Люди в вагоне искренне ненавидят войну и презирают военных; если бы тогда им сказали, что все силы они направят на организацию новой армии и подготовку новых войн,— они бы даже не улыбнулись на такое оскорбление.

На границе их ждет холодный прием. Тем лучше! В страну кисло-сладкого патриотизма они приехали не для участия в общем хоре. И все-таки под буржуазными европейскими пиджачками замирают сердца эмигрантов — Россия! Уже бегут ручейки и скоро зацветет черемуха. Скуластый человек — большой любитель рыбной ловли; когда гимназистом он жил в Симбирске, у него была своя лодочка. Директором гимназии был Керенский, сын которого теперь выступает прислужником буржуазии.

Прежде всякого отдыха — газеты и газеты. Страна свободной печати. Завтра будут свои станки и своя бумага. Теперь — или никогда!

Первую ночь в Петербурге будущий вождь спит так же мирно, как и все ночи на Западе: свернувшись калачиком, руки по-детски жмат в кулачки, нос примят подушкой. Рядом с кроватью на стуле много газет; воздух тяжеловат.

Старая история слегка посапывает примятым носом. Новая эра мировой истории начнется завтра в половине девятого утра.

ИСПАНКА

Чего вы хотите? Уже сказано: больше нет людей-единиц и их маленьких историй. События валят девятым валом — говорить ли об отдельных каплях воды в океане?

Под шум морского прибоя спешно дописывается книга о концах; прежде чем начнется новое — старое должно завершиться, уйти и очистить место для разбега. Героическое вянет и становится смешным; романтизм умер от истощения.

Война косит жизни с простотой и отчетливостью. Подругу войны, страшную болезнь, чтобы не называть чумой — назвали испанкой.

Испанка прокатилась по Европе и заглянула в Париж. На старой улице Сен-Жак она облюбовала много домов, густо заселенных. Над лавкой зеленщика в первом этаже четырехлетняя девочка перестала играть в кубики.

Как все русские эмигранты, Наташа мечтала о возврате в Россию. Там свершилось чудо — там нужны люди. Как всем эмигрантам, ей казалось, что люди в России беспомощны и ждут руководства заграничных; или просто ей хотелось увидеть Москву и деревню Федоровку.

Уже многие уехали, полные надежд и планов. Ехать с детьми кружным путем — возможно ли? Революции нужны не мате-

ри и младенцы, а старые бойцы. Достать немного денег на проезд, — и жизнь, прерванная странным сном покоя и материнства, полетит вперед в грозе и буре.

— Почему ты не играешь?

— У меня болит голова.

Ночь без сна. У девочки жар, и обычные средства не помогают. Утро осветило бледное лицо другого ребенка, — нет больше смысла отделять его от больного: комната стала больницей. Пришли дни страшной борьбы за жизнь детей — Россия подождет; она извинит матери.

Из Нормандии едет верный друг — Анюта. Хотели встретиться, чтобы обсудить поездку. Анюта во всяком случае возьмет сына, ей и думать нельзя с ним расстаться. Пока она оставила его на попечение мадам Дюбуа, — и уже истосковалась в недолгой дороге. Она возьмет сына и письмо французского офицера, в котором написано: «Мадам, я считаю долгом сказать вам, что мы все любили вашего мужа, как человека великой душевной красоты и как верного товарища. Мы живем в кругу смертей и привыкли к ежедневным потерям; но эта смерть поразила нас особым горем и оставила в нас вечную память. Я пишу вам не как его начальник, но как его неутешный друг, по поручению тех, кто делил с ним тягости траншейной жизни. Я посылаю вам записную книжку с фотографией женщины и ребенка; он говорил товарищам, что это вы и ваш сын. Прошу вас, мадам, верить в наши лучшие чувства и в то, что мы в полной мере разделяем ваше огромное горе». Письмо, книжечку и сына Анюта возьмет с собой в Россию.

Верный друг не отходит от детских постелей.

— Наташенька, вы прилягте отдохнуть хоть на час, на вас лица нету. А я крепкая, деревенская, мне ничего не делается.

Дни, похожие на ночи: одна бесконечная тревожная ночь. Младшая девочка легче переносит болезнь, жизнь старшей на волоске.

День кризиса. Две матери борются за жизнь ребенка. Силе двух матерей болезнь готова уступить, — но не даром! Она приглядывается, какой взять выкуп.

Дыханье ребенка ровное, первый покойный сон. Наташа давно без сил — теперь может отдохнуть и Анюта. Она спит на полу, на сложенных одеялах; она привыкла.

Среди ночи ее окликает голос Наташи — необычный, стоны. Анюта гонит сон, — прекрасный сон, с которым жаль расстаться, — и вскакивает:

— Что, Наташенька?

— Я, кажется, больна.

Какие огромные глаза и как смяты чудесные косы!

— Нужно скорее писать!

— Что писать?

— Скорее успеть. Я не дописала, там у меня тетрадка.

— Наташенька, лежите спокойно, вот выпейте.

— Я умру.

В комнате удушливо пахнет эвкалиптом. Только что вышел доктор. Анюта задержала его на лестнице.

— Да ведь что же сказать? Сил в ней мало для сопротивления.

— Она здоровая, очень здоровая!

— Была здоровая, а теперь — тень человека.

— Доктор, вы не знаете, она — замечательная женщина, ее нужно спасти!

— Милая моя, болезнь не разбирает, кто замечателен. Я зайду часов через пять, раньше не могу, больных множество. Вы сделайте уколы и давайте ей камфору. А только дело плохо.

— Она не может умереть!

Доктор смотрит поверх очков, — тут отвечать нечего.

— Вы-то не заболейте. Я зайду.

Руки Наташи в уколах. Но в комнате нет воздуха, — и она задыхается. В Париже нет воздуха, в мире нет воздуха!

Нет воздуха, и это мешает думать о том, что жизнь по-настоящему не дожита. Ведь это была не жизнь, а антракт, естественный перерыв для материнства. А затем — как же девочки? И вообще — смерть нереальна, ее не бывает. Об этом написано в тетрадке, но не дописано самое главное.

Страшнее всего захлебыванье и эта розовая пена. Анюта не думает, а действует, — думать и некогда и нельзя. Она движется, как самый точный автомат, сохраняя спокойствие и ровность голоса. Она не спала вечность и может не спать еще вечность. К счастью — все просто, и движения бесконечно повторяются: от постели к столу и маленьким постелькам. Она улыбается — девочки спасены. Кормит девочек, даже успевает прибрать в комнате, выносит, приносит, кипятит воду для бесконечных уколов. Мелькают минуты и часы — в этой маленькой женщине силы неисчерпаемы.

Ночью она сидит на стуле, чтобы не задремать. Мыслей нет, слух напряжен. Лучше что-нибудь делать в редкие минуты покоя больной.

При новом хрипе она вскакивает. Наташа ловит воздух грудью и пальцами. Так уже было не раз, но всегда страшно, и сейчас особенно страшно. Скорее камфоры.

Необычно видеть, что Наташа косит глазами. Потом глаза гаснут.

— Плохо, Наташенька?

Ответа нет. И уже не может быть ответа.

Обе девочки спят. Нужно куда-то идти, кого-то звать. Может быть, она еще очнется.

Через час почти светло. Неслышно ступая, Анюта прибирает комнату, неспешно и аккуратно, как хорошая хозяйка. Она не плачет — строгая, серьезная, деловитая. Мысли ясны: девочки не должны видеть материнского лица; но девочки еще очень слабы и мирно спят. Теперь это — ее дочери. На время их, конечно, приютит мадам Дюбуа. Кто-нибудь поможет. Обо всем сейчас не передумаешь.

Перед тем как выйти; она причесывается. Даже не очень бледная после стольких бессонных ночей. Не все нужные французские фразы готовы в ее памяти — но как-нибудь объяснится. Теперь главное — дети. Успеть вернуться, пока девочки не проснулись.

И тихо притворяет за собой дверь.

«С ИСКРЕННИМ ЧУВСТВОМ»

Стояли в ряд высокие и прочные карточные регистраторы, сvezенные сюда из разных учреждений, но однотипные. При некотором навыке было легко найти фамилию и получить о человеке много сведений. На одних карточках была наклепана фотография, иногда две — фас и профиль, а сбоку и год рождения, и приметы, и знакомства, целая маленькая биография. На других карточках, красных и зеленых (для двух партий), была сумбурная по виду запись кратких сведений со ссылками на номер дела, и таких карточек на одно лицо набиралась иногда целая пачка.

Илья Данилов был изображен молодым, снят еще при первом аресте, а данных о жизни было немного, хотя верные. Справок не больше десятка — и это было обидно Илье Данилову, старому революционеру. В тетрадках «наружного наблюдения», также оказавшихся в архиве, Илья Данилов был записан под кличкой Кривоносый; кличку ему дали филеры охранного отделения.

Илья Данилов работал в архиве с первых дней и всех усерднее. За год изучил все шкапы и пыльные полки, плывал в море величайшей грязи, разгребал руками горы нечистот, узнал многое о многих, чего и предполагать было невозможно и чего достаточно, чтобы потерять навсегда веру в человеческую порядочность. Одного не нашел Илья Данилов: документа с его подписью после слов «С искренним чувством». Ему удалось найти только одну бумагу, сильно его взволновавшую: копию приказа о разрешении ему вернуться в Россию «согласно прошения». Эту копию от отшил от дела дрожащими руками и унес к себе домой. Когда освобождал ее от связующей ниточки, складывал в четверку и клал в карман, — чувствовал себя трусливо и дурно. Дома он эту невинную копию уничтожил. Но самого прошения найти не мог.

Товарищ министра внутренних дел сказал секретарю:

— Вот, возьмите, Иван Павлович, эти бумаги. Тут есть, между прочим, ходатайство этого, как его, кажется Денисова...

— Ильи Данилова?

— Ильи Данилова, да. Ему разрешается, вы бумагу отошлите, а самое его письмо я пока оставил.

— Письмо занятное!

— Правда? Но пожалуй, искреннее. Человек кается все-таки.

— И подписано «С искренним чувством». Забавно в деловой бумаге!

— Ну да. Я его хочу кой-кому показать, а потом вам передам.

Нет больше ни министра, ни секретаря, ни Департамента полиции. Есть только кладбище бумаг. Илья Данилов не знает, что министр был рассеянным и затеривал маловажные бумаги.

Раскаяние? Но там была только фраза, рассчитанная на то, чтобы втереть очки полиции и притвориться смиренником: «Я уже стар и устал, решительно оставил революционные увлечения и хотел бы остаток жизни провести на родине, целиком отдавшись научной работе, прерванной случайным уклоном моей жизни и деятельности». Вот и все! Другие писали жалкие слова, проклинали свое прошлое, откровенничали о делах и товарищах. Он же, изверившись в программе партии и в тактике, не позволил себе подлых слов и ничего не обещал; даже был уверен, что не получит ответа или получит отказ. В конце письма он поставил: «С искренним чувством» — и в этом-то и была хитрость старого бойца, знающего слабость неприятеля! Хотя лучше было все же закончить сухо, простой подписью.

Во всем мире никому не было никакого дела до Ильи Данилова и его прошлого. Пришли времена новые, в корне изменились понятия, был в особый почет возведен открытый и тайный донос, завидовали тем, кому удавалось поправить свои дела и отвлечь от себя подозрения покаянным письмом, напечатанным в газетах. Отрекались от партий, от прежних друзей и единомышленников, от происхождения, от научных взглядов, от гнилой идеологии, от художественных прозрений, — и в эти отречения вкладывали всю силу страсти, все красноречие, всю поэзию, весь талант людей, сознательно, наперегонки валящихся в нравственную пропасть. Вырывали друг у друга ведро с дегтем и сладострастно мазали себе все тело, губы, глаза, мозг, совесть, на эстраде, на площади, в газете, в личном дневнике, по радио. И не только из страха и подлости, а по приятию новой и страшной религии скопчества и самосожигания, как тянет собаку вынюхать все запахи и вывалиться в остро-зловонном, потому что есть в этом мучительная сладость для обоняния. Этим людям до Ильи Данилова, человека архивного и незаметного, им не соперника, уже кандидата на тот свет, не было никакого дела; но если бы кто-нибудь из них случайно проведаль, что мучит Илью Данилова в бессонные ночи, какой документ затерялся в необозримых архивах человеческой пако-сти, — тогда вокруг кончавшего карьеру «старика революции» собралась бы толпа улюлюкающих судей и не нашла бы для него оправдания! Им бы тоже было радостно, что вот каким оказался заслуженный революционер, получающий паек первого разряда с полуфунтом говяжьего мяса и двенадцатью кусками сахара, не считая селедок. Его поволокли бы на площадь, вздыбили на подмости, и первый, кто обнаружил его страшное преступление, бил бы себя в перси и кричал: «Это я, внук крепостного и сын покрытки, уличил презренного, хотевшего уничтожить улику своего падения!» И так кричащему назавтра дали бы награду: паек, отнятый у преступника.

Усердно продолжая поиски, Илья Данилов втянулся в архивную работу. Его радовали ценные находки. Удалось найти новые сведения о декабристах, дававших в следственной комиссии покаянные показания; он написал статейку о некоторых подробностях ренегатства Льва Тихомирова; собрал тетрадочку незначительных по существу и значению, но любопытных по стилю обращений к власти разной революционной мелкоты и пока держал эти материалы у себя, не публикуя. Днем работая в архиве, он ночью, во сне, продолжал карабкаться на лесенку у высоких шкапов, извлекать папки, слюнить палец и быстро листать печатанные на машинке и писанные рукой странички, дышавшие пылью и историей. Среди десятков тысяч страниц — одной он найти не мог.

Ему не повезло: не он, а другой выудил в старых бумагах копию покаянного письма Бакунина. Конечно, это — область древней истории, да и вся дальнейшая деятельность знаменитого анархиста искупила то, что могло быть его временной слабостью, — но все же Илья Данилов был рад, если не за себя, то за другого, что такой важный документ не истлел в архивной пыли. Он переписал для себя копию и много раз ее перечитывал, в тайных мыслях сравнивая со своим письмом.

Зимним вечером он начал писать род дневника, — с подробным объяснением, почему, вопреки традиция старых революционеров, он решился послать свое просительное письмо, какую при этом имел потаенную задачу, как нарочно облек свое прошение в хитрую, уничтожавшую все подозрения форму, выдержав стиль строжайше, вплоть до подписи «С искренним чувством». Выходило убедительно, но он никак не мог закончить эту страницу и прибавлял новые доказательства и новые ссылки на тончайший тактический расчет. Он особо подчеркивал, что такой прием вообще принципиально не допустим, но что в данном случае вопрос шел о спасении дела революции, об образовании в России новых кадров и что только стоящий вне подозрений мог взять на себя полную ответственность за шаг, который для другого был бы предосудительным и тяжким.

В другой зимний вечер, страдая от холода и голода и того же одиночества, которое водило его пером на итальянской Ривьере, он уничтожил свой начатый дневник, как раньше уничтожил копию ничтожного документа.

Илья Данилов бывал в архиве ежедневно, являясь первым и уходя последним. А когда он не явился более недели, можно было сказать наверное, что он болен — и серьезно. Действительно, старый и истощенный, он жестоко простудился в нетопленном помещении архива и теперь лежал в такой же нетопленной квартире. В тот год умирали просто. Когда больной перебирает руками край одеяла, это — плохой признак. Но Илья Данилов перебирал пальцами по привычке, как бы торопясь долистать последнюю папку, где почти наверное он нашел бы бумагу, никому, кроме него, не нужную, документ слишком личный и притом случайный, ничего не доказывающий, рожденный уста-

лостью и написанный слишком наспех, с напрасными словами.

Он умер под утро. Его лицо странно уменьшилось, стало с кулачок, и заострившийся нос был заметно искривлен.

Если бы его похороны были двумя годами позже, старому революционному бойцу оказали бы, конечно, почет, и была бы сказана речь, искренняя и малословная, без упоминания о том, что Илья Данилов не принадлежал к ныне господствующей партии; указав на его борьбу с самодержавным режимом, оратор дольше остановился бы на его позднейшей деятельности, уже при нынешнем режиме, по разработке политических архивов.

Этого не случилось, потому что год был очень тяжкий и утраты почтенных единиц никто не замечал. Совершенно неизвестно, кем и где был похоронен Илья Данилов, скучнейший человек незапятнанной революционной репутации.

СТИЛЬ БУДДЫ

Лицо профессора Белова купается в серебре седин. Статуэтка Будды также лоснится радостью: сегодня электричество в городе не выключено. Люстра освещает китайские безделушки и бутылку вина. Из многочисленных родов самоубийства профессор избрал простейший и бесхлопотный: остаться в Самаре и по уходе белых.

Белые, красные, — не все ли равно? Окраска случайная — сущность та же. Любопытно, что в историю и те и другие поступят в героическом ореоле, и вполне заслуженно: ими руководят высокие идеи защиты священных прав человека. Лучший и единственный способ защиты прав человека — убийство человека. Отступая, белые оставляют за собой трупы и пустые бутылки; наступая, красные наполняют эти бутылки кровью до самого горлышка. Вино красное и белое пьянят одинаково.

Улыбка Будды неизменна: улыбка свободного от желаний, которому завидуют боги. Город может обратиться в развалины и зарости травой; через тысячу лет застучит кирка ученого — и древний город будет открыт. Еще через тысячу лет его последние камни выветрятся или на его месте образуется город новый. Надвинется пустыня или придут льды — свободному от желаний нет повода волноваться.

Профессор обходит комнаты и везде зажигает свет. В кабинете книжные стены: склады человеческой мудрости. Все это казалось и было нужным и значительным, во всяком случае давало радость познания и украшало жизнь. Все это легко исчезает, если повернуть выключатель. Можно самому повернуть выключатель жизни, можно предоставить это другим, — различия никакой. Единственный недостаток такого умозаключения — его дешевая красота.

Неужели нет хоть тени сожаления о жизни, которая была все-таки незаурядной, полной смысла и просто приятной? Ощущения старости нет, здоровье не растрчено, ум ясен, усталость

лечится сном. И нет того, что разит и здоровых: нет сомнений, порывов самобичевания, поздних раскаяний. Ни малейшего побуждения осуждать себя за то, что жил в довольстве и даже богатстве — среди менее счастливых и совсем несчастных. Никаких кисло-сладких чувств и защитительных речей. Совершенно естественно, что вот сейчас придут серые и озлобленные люди, низвергнут неравенство, накажут порок и немедленно же запутаются в новых противоречиях. Они должны строить новый мир — почти точную копию старого, но в другой временной раскраске. Рабы, потомки рабов, родоначальники рабов грядущих. В каждой революции есть только один очаровательный момент — крушение власти; затем наступает безвкусица утверждения власти новой по образу и подобию сверженной.

Профессор усаживается в покойном кресле и наливает полный стакан. В последний вечер не следовало бы мыслить афоризмами, продиктованными досадой и звучащими провинциально. Воздух полон заразы дешевой философии, и только Будда ей не поддается, — только Будда, знающий, что без причин и без целей возникло и существует бытие.

Звонок раздается, как по заказу — в ту минуту, когда профессор, налив последний стакан, подносит его к губам. Звонок резкий, грубый, рассчитанно оскорбительный. Профессор смотрит стакан на свет, позволяя себе напоследок это кокетство, затем медленно пьет вино до дна. Звонок повторяется. Силой воли можно заставить пульс биться ровно и в этом найти удовлетворение. В дверь стучат — и профессор встает, чтобы открыть. Теперь он серьезен и не играет роли на героических подмостках. Ему действительно скучно; шум улицы, который сейчас ворвется, противен и утомителен. Жизнь несколько затянулась. На ходу профессор приглаживает волосы и оправляет складки домашнего костюма, — он не позволил себе встретить революцию в халате. Революция вваливается в серых шинелях и громоздких сапогах, с винтовками и наганами. Революция не интересуется ни философией, ни улыбкой Будды, ни складками профессорского наряда. От ешега звякают китайские изделия на лакированных полочках. Она завистливо косится на пустую бутылку, и удивительно, с какой неизменной законностью все поражения и все победы декоративно обставлены сосудами с узким горлышком!

Профессор слышит, видит, и если не отвечает, то не по вежливости, на которую неспособен, и не из презрения, до которого не унижается, а просто — за полной ненадобностью вопросов и ответов, так как для него все уже предreshено и лишено элементов случайности. Покончено и с изучением, — он просто ждет. Ждать приходится дольше, чем он рассчитывал, но ему помогает давняя привычка путешественника по тайге и по пустыням: не считать минут и часов дороги и двигаться механически, вплоть до неодолимого препятствия или до намеченной цели.

Революция уходит, не погасив электричества и не забрав наиболее ценного: книг и рукописей; их разборкой после займется

строительство. Статуэтка Будды осталась невредимой, чтобы иметь право поступить в музей. Остался дорогой ковер, на котором медленно подсыхает кровь. Последняя сцена остается не описанной, чтобы не потревожить наступившей тишины и не нарушить стиля, созданного долгими годами и опытной рукой человека с изящным вкусом и несомненного джентльмена.

ИЗ-ПОД КИЕВА НА ЧЕРДЫНЬ

В книге о концах, где смерти, разительнице и избавительнице, дан полный простор завершать бег событий и выключать ненужные жизни, записан и конец жития отца Якова, любопытствующего землепрохода и свидетеля истории.

Ко дню великого избавления отец Яков был уже стар, но старостью бодрой, никого не обременявшей. Ушли полнота и лоск сединой украшенных щек, с меньшей живостью шупали мир поповские гляделки, и прежде чем отправляться в путь ближайший или дальний, отец Яков, корпусом отклонившись вправо, пальцами левой руки потирал поясницу вдоль хребта, приводя себя в желанную подвигность. Но не охал, не жаловался, не искал оседлости и последнего приюта. Придерживаясь глубокого тыла, слушал речи необычные и недобрые и дивился пробуждающейся мудрости человека, вместе с ним опасно заглядывая в пропасть, края которой уже начали осыпаться.

За голодную зиму отец Яков поистрепался и исхудал, первым огорчаясь, второму даже радуясь, так как передвигаться приходилось ныне чаще всего по образу хождения пешего,— стали малодоступны обыкновенному человеку вагоны, лошади же, по бескормнице, отказывались длить существование и поступали в пищу гражданам, опытным в отбивании духа гнилой кобылятины крепким укусом.

Но что всего хуже — ряса отца Якова, хотя и не прежняя — сохранявшая долголетнюю нетронутость лиловых тонов,— а уже заплатанная и висевшая на костях мешком, теперь стала для бесприходного и запрещенного попа, следовательно, в культе неповинного, все же прямым препятствием и даже угрозой свободе, как и борода, как и длинные волосы. Иные давно сменили костюм культа на общегражданский, остригшись под гребенку, но отцу Якову это было недоступно, да и на ум не шло. Все равно как если бы ему предложили пройтись по улице в купальном наряде либо в юбочке балерины! Только волосы старательнее запрятывал под мездровый воротник полушубка, стянутого под мышками завязью полотняного мешка,— ныне без мешка никто на улицу не выходит.

В девятнадцатом году, пережив зиму несказанно тяжкую, голодную и для многих роковую, отец Яков, сохранивший двоих-троих вернейших из сотни друзей и, как бы случайно, людским потоком влекомый, попал из Москвы в хлебные губернии, а оттуда, в толпе спасавшихся, докатился почти до Киева,

где одно правительство сменяло другое. Быть бы ему и в Киеве; и в Одессе, и, может быть, за пределами отечества, потрясенного междоусобной борьбой,— если бы в душе отца Якова не случился странный перелом, решивший его дальнейшую участь.

На одной из станций, где поезд привычно застрял неизвестно почему и на сколько, где люди в вагонах тревожно считали свои чемоданы, препирались за места и пугали друг друга слухами,— отец Яков, не спавший две ночи, страдавший от насекомых, вышел из вагона с мешком и портфелем, сказав соседу:

— Местечко мое не берегите, возвратиться не предполагаю.

— А куда же вы, батюшка? Или нашли местечко в другом вагоне?

Но отец Яков только улыбнулся и приподнял шляпу:

— Счастливого пути и спасения ото всяких напастей!

Вышел из вагона, вышел из вокзала, осмотрелся и зашагал по незнакомой улице в сторону, обратную ходу поезда, направившись за город, чтобы сегодня же и начинать свой последний и настоящий путь.

Обратный поезду путь отец Яков избрал не случайно. Наслушавшись в вагоне беженских разговоров, нагледевшись на груды всякого спасаемого барахла, чемоданов, корзин и узлов, заваливших проходы и полки,— отец Яков вдруг почувствовал со всей силой то, о чем раньше догадывался, но не с полным сознанием: что путь свидетеля истории лежит не в эту сторону, не к охране старого тела, а к спасенью духа великим страданием. Тело устало без меры последней усталостью, и временный отдых его не привлекал; дух же отца Якова, неутомимый и вечно любопытствующий, не сдавался и никак допустить не мог, чтобы дальнейшая жизнь и грядущие события свершались без его присутствия и внимательного участия, а вместилище этого духа обрекло бы себя на уход в топкие болота, куда поезд увозил людей, чемоданы, обывательскую тревогу и тифозную вошь.

Так мог бы рассуждать отец Яков, если бы решение его было плодом рассуждения и обстоятельной обдуманности. Но не было так: оно пришло сразу, без споров, накатом, естественной простотой. Случайная заминка в движении человеческого потока как бы сбросила повязку с глаз отца Якова и направила его стопы обратно стихии, едва его не увлекшей.

Из маленького городка отец Яков вышел скоро и безо всякой помехи и часа два шел полями, куда ему казалось правильным. Где пыльной дорогой, где перелеском ступала уверенно толстая подошва старых, но поистине удивительных добротностью сапог, которые были не случайной работой сапожного подмастерья, а сооружением истинного мастера, довоенного гения и великого пьяницы, обувавшего отца Якова в счастливые времена. Все рушилось, и одежда, и здоровье, и даже дух временами шатался, расслабляемый сомнениями,— сапоги же служили и обещали до последней минуты попить гранитной подошвой многострадальную и любимую землю.

Дойдя до берега небольшой реки, отец Яков притомился, пристроился в тени дерева и, положив под седую голову портфель, заснул. Снилось ли ему что — не знаем. Из снов божественных мог присниться Господь, отъезжавший за границу с господами и генералами, или же угодник Никола, в простоте оставшийся на Руси с мужичьем и записавшийся в товарищи. А может быть, видел отец Яков длинную дорогу через всю землю до края.

Был отдых его благодетелен и протянулся почти до солнечного склона, до вечерней свежести. Давно не испытывал отец Яков такой телесной бодрости — прекрасное начало пути! Промывши глаза, посмотрел на живые струи речки, на камышовую заросль, улыбнулся и занялся делом.

Прежде всего снял одежду и освежил ноги. Вынув из мешка, надел чистую рубашку, а прежнюю застирал песком и развесил на кусте для просушки. Потом изъясил из старого и знаменитого, в пару сапогам добротного портфеля груды бумаг и бумажек, проспектиков, записей, брошюрок, вырезок, визитных карточек и рекомендаций, взвесил на руке, пересыпал и ласково назвал суетой сует. Всюду возил с собой, не бросал, любя этот дорогой хлам. В дальнейшем же сохранять нет надобности. Но в речку не кинул, а, нашарив в глубоком кармане драгоценную по тем временам коробочку спичек, чиркнул одной за ветром, возжег малый костер из сухих веток и травы, на него возложил бумаги и в воду сбросил только пепел.

Последок солнечного света затратил на поиски насекомых в складках бывшего парада и в мешке. Наконец закусил остатками сухого черного хлеба, в этих краях еще очень вкусного, пустой портфель сунул в мешок, взял свою палку и, перекрестясь не по вере, а по доброму обычаю, тронулся по холодку в путь неведомый, весьма нужный и единственно верный и правильный.

Идущему степью земля круглой не кажется, а просто вырастают скороспелыми грибами далекие колокольни, дома и деревья. Когда подойдешь — они уже поспели, а минуешь — жди впереди новых.

Отцу Якову спешить было некуда. Держа путь на северо-восток, от жилья не уклонялся, но и на глаза не старался лезть. Проходя селами, в окна не стучал, а пристраивался у колодца и проходящим почтенно кланялся. И редко случалось, чтобы пришедшая по воду женщина, напоив его из ведра, не спросила, издали ли дедушка; и тогда он неизменно отвечал: «Из-под Киева на Чердынь». Про Киев слышали все, про Чердынь никто, и за короткий разговор отца Якова всегда чем-нибудь угощали, а то давали и на дорогу. Иные спрашивали, кто видал на пути, и на это у него тоже был готовый ответ:

— Где степь, где поля, а где и лесок. Пешему дорога везде хороша.

— А кто там за хозяев? Господа или товарищи?

— В разных местах по-разному, а нам всюду одинаково. Говорил со старческой хитрецей и языком мужицким. Сам

ни о чем, кроме дороги, не расспрашивал, а только смотрел и слушал; с молодыми был особенно осторожен, притворяясь простаком и глуховатым. И малым отличался от обычного странника, не то светского, не то духовного, идущего по делам спасения души. Когда приглашали, с охотой ночевал в избах, а без зова устраивался в поле, на стоге, под самыми настоящими деревенскими, ярко начищенными и густо навешенными звездами. И здоровье было хорошо, даже нечасто разминал пальцами поясницу.

В пути он был полон дум и воспоминаний, обо всем, чему в жизни был свидетелем. Может, и путь на Чердынь наметил только потому, что когда-то вышел оттуда в жизнь молодым и многогрешным, будучи лишен прихода и запрещен к служению за случай в устроенном им приюте для девочек-сирот. Но об этом вспоминал мало и неохотно, туманно за давностью лет, а чаще и пристальнее — о долгих своих российских блужданиях, любопытных знакомствах, о том, как работал в музеях и редакциях, как вел беседы с министрами и террористами, дружил с бедными и богатыми, учеными и мещанами, и везде, где жили люди, не зная, какая им близится участь. Так и прожил всю свою жизнь, не имея верного угла и окончательного дела, движимый беспокойной страстишкой все видеть и наблюдать со стороны, себе места не определяя:

— Лю-бо-пытно!

Но и любопытству пришел конец. Теперь иное влекло отца Якова из-под Киева на Чердынь. Конец мог быть Чердынью, но мог случиться и раньше. Цели не было, и было только направление по звездной карте, пока не сносятся гранитные подошвы знаменитых сапогов.

КОНЕЦ ОТЦА ЯКОВА

В камеру, рассчитанную на одного, отца Якова поместили десятым. Когда дверь за ним защелкнулась, он, сделав шаг от порога и не усмотрев места, где бы примоститься, произнес негромко:

— Всем гражданам общий поклон!

Ближний подвинулся, пригласив отца Якова сесть; он сел на краешек койки, в грязных сбитых лаптях, в до крайности затасканной и местами прорванной рясе, а волосы, давно не мытые, слиплись косичками.

И как ни был усталым, — сразу узнал в соседе, человеке полуседом, но достаточно бодром, явном бывшем барине, давнего рязанского знакомого доктора Калымова. Узнав — виду не подал. Самого отца Якова теперь не признал бы никто — ничего не осталось в нищем страннике от некогда дородного и осанистого священника.

За что человек взят и посажен — про то в тюрьме сразу не спрашивают, можно только присмотревшись. Поговорили о том,

принесут ли койку для нового сидельца, а то спать на полу — очень уж много крыс. Отец Яков отозвался, что крыс не боится и на полу заснет, как на пуховой кровати.

— В почтенной компании даже и весело!

Лица был невеселы, однако заметно, что сидевшие уже приобыкли и сжились. Спокойный голос отца Якова понравился: кажется — старик безобидный.

Стенка в два кирпича, за стенкой легкий мир, в стенах душная несвобода. Из воздуха волосатой рукой выкачан весь кислород, в жестяной лампе коптит человечья тоска. На бледных лицах людей начирканы гвоздем морщины их смертной тревоги, за дверь стучит копытом солдатская тупость.

Отец Яков лежит, головой на кулаке, кулаком на пустом мешке, мешок на следах крысиных лапок, — койки ему не дали, от услуг потесниться и дать ему местечко — сам отказался решительно. Поясница ныне, действительно, разболелась.

Ночью, привстав за нуждой, заметил, что все спят, один доктор в полутьме мигает папиросным глазком. Свет со двора, от фонаря, лиц не видно, только скорченные тела на койках. Шепотком отец Яков окликнул:

— Спать то не можется, Сергей Палыч?

Калымов привскочил с живостью молодого:

— Что же это, ей-Богу, неужто и вправду вы, отец Яков?

— Смиранный раб. А не признали?

— Мелькало сходство — об этом сейчас и думал, а где же узнать! Постарели, отче! За что вас взяли?

— Того не ведаю. При всех не решался открыть знакомство, не знал, как примете, чтобы чем вам не повредить.

— Мне повредить нечем, я — обреченный.

— Зачем отчаиваться, седину уважат.

— На это, отец Яков, и вы не рассчитывайте!

— Я не о себе.

Полночи шептались, вспоминая прошлые рязанские встречи. Доктор рассказал, что перед самым арестом узнал о смерти своей дочки Наташи: умерла в Париже тому назад еще два года и будто бы внучек оставила.

— Что делается-то, отец Яков! Вот вы всю Россию исколесили — ждали ли такого?

— Ждать было можно, однако о подробностях не догадывался. И что придет дальше — тоже не скажешь. Потребного успокоения не видно, а народ помалкивает. Очень много в мире злости, Сергей Палыч, а мудрости нехватка.

— Вас-то выпустят.

— Выпустят — уйду; а не то с вами пребуду. Может, вместе и выйдем.

Утешали друг друга словами, как тяжело больного гладят по руке: ради облегчающей ласки.

Утром всех погнали через двор в уборную. Отца Якова конвойный толкнул с усмешкой:

— Космы, товарищ лапотник, пора снести, только вшей разводишь.

Другой прибавил:

— С головкой вместе!

Отец Яков терпел и улыбался.

На допросе отвечал:

— Портфельчик, действительно, мой. Хотя более ненадобен, а бросить пожалел за хорошую кожу.

— К кому из Киева посланы? Лучше признаться, шутить не будем.

— Я не посыльный, а иду на Чердынь, повидать родину перед кончиной.

— Ну, этого не обещаю, а кончиться можно и здесь, скорым способом. Нам, старик, очков не вотрешь. Чем занимался? Брал рублики за крестины?

Его обвиняли в шпионаже: прислан от белых высмотреть, прикинулся странником. Такое обвинение отверг без многословия:

— В мои годы никому не служат, а как порешите — дело ваше.

— Решим просто — к стенке.

В камере прилег на койке — Сергей Павлович уступил свою полешать. Может, убьют, а то только грозятся. Отнимут малый остаточек жизни, которую любил отец Яков, до которой был так жаден, — а теперь, пожалуй, и жалеть нечего, ибо велика и неодолима усталость. Чердыни, надо полагать, повидать не придется. Много в России места, для покоя же с избытком довольно двух аршин в длину, одного в ширину. Это все пройдет, потом придет новое, человечки суетятся, а Ока бежит в прежних берегах.

Чего искал всю жизнь? Правды не искал — правда о двух концах, да оба потеряны. И Бога не искал — его потерял еще в семинарии, а больше не встречал. Мир же — зрелище прекрасное, если идти по нему и нигде не заживаться, а как на пароходе по большой реке, — бегут леса, белеют городочки, выходят люди на свисток, кто вошел, кто сошел, и у каждого человека свой нос и своя забота — наиважнейшая из всех других. Любопытно! А потом разогорчатся — и сейчас друг друга по голове, совсем как на кустарной игрушке: мужик медведя — медведь мужика, и будто бы для счастья будущих поколений, в чем, однако, возможно и усумниться. Сергея же Павловича, конечно, жалко по человечеству, яко и в дочери не был счастлив. Всякого человека жаль: всем светит солнце и для всех ночью звездный полог. А уж звездный полог — красота несказанная...

И как под звездным пологом отец Яков задремал — давно не леживал на мягком, на сенном тюфячке.

Следователь доцарапал листок детским почерком, подумал, почесался, посмотрел на часы, заторопился и, решив наскоро, что на всякого попа пули не напасешься, написал на полях наискось красными чернилами:

«Освободить».

На большой дороге отец Яков обождал прохожего человека помоложе, низко поклонился и попросил:

— Если, милый человек, обладаете ножичком, сделайте милость, вырежьте посошок дальнему путнику. Какой ни на есть, лишь бы не гнулся.

И опять поклонился, когда посошок, и неплохой, был вырезан.

Были бы деньги — нет проще, как плыть пароходом по трем рекам: по Оке, по Волге и по Каме до верховьев. Выйдя из тюрьмы, потолокся на пристанях — но успеха не было: сейчас люди не те. Не удалось раздобыться и новыми лапотками про запас; может, где в деревне и будет удача.

Хотя подошла осень, но ночи еще были теплы. Все равно раньше зимы до Чердыни не добраться, а селенья все реже и люди строже. Разумно обдумав, порешил на самом неразумном: идти вперед немедленно. И когда отошел сто верст — сошла в душу настоящая благодать, будто все на свете прекрасно. В этот день в городе Рязани, по случаю тревоги, спешным порядком вывели в расход Сергея Павловича и с ним многих.

А когда начались большие леса, лапотки отказались служить странному человеку: очень донимали корни, а большая дорога кончилась. Случилось, что две ночи спал на голой земле — сено убрано, деревни редки. Кушал охотню брусничку, жевал и гриб-сыроежку, а то попадался орех. Тюрьма ослабила отца Якова — или просто истратились силы. В деревнях, хоть и без особой ласки, подавали. Раздобыл наконец и новые лапти, которыми и переобулся на рваные остатки портянок.

Так шел дней двадцать. В месяце августе, в средних числах, в первую холодную ночь, проведенную без крова, простудился сильнее, чем переносно для старого человека, так что утром едва поднялся, чтобы продолжать путь. Так и решил, что если до вечера не попадетя деревни, то, значит, окончен путь землепрохода отца Иакова Кампинского, свидетеля земной истории. Но с полудня деревня не приблизилась ни на шаг, так как отец Яков сидел на земле головой в колени, а по обе стороны на небе горели костры, и тело его пылало, не обугливаясь. В Москве, на Арбате, у которого-то Николы, гудели колокола, а испить было нечего, до реки далече, ручей запрятался под холмиком, а лапти весили без малого сто пудов. Покачивало пароход, капитан из рубки кричал в упор встречному плоту: «По Фалватеру плывешь, сволочи!», с плота же отвечали: «Го-го-го!» — Все-таки донесся свежий ветерок, скинул горячую шапку, и отец Яков подумал: «Плохо, не в удачном месте присел, до деревни не доползешь».

И еще посвежело, так что костры загасли с шумом, и с усов потекла вода, которую отец Яков мог слизывать сухим языком. Теперь-то он понимал, что идет проливень и что надо укрыться. Перевалившись, пополз на коленках, цепляясь одеждой за траву и корни. Жара не было, но колокольный звон не прекращался и бил не только в ухо, а и под ребра. Проползя сажени две, отец Яков поднял голову лицом под дождь и заплакал старчески,

так что глазам было разом и холодно и тепло. Тогда на него напали текучие тонкие змейки, забегали по всему телу, от шеи к ногам, не жали, но холодя кольцами. Это было, пожалуй, похуже костров, и это была та самая мука, на которую он себя обрек, когда покинул поезд и пошел в сторону истинного пути. На час сознание его оставило.

В последний раз он очнулся, когда дождь прошел и его пригрело осенним солнцем. Головы поднять не мог, но видел перед собой травинки, подальше папоротник и еще дальше большую зеленую пихтовую лапу, которая пальцами ушла в землю. Солнце грело не сверху, а сбоку, в просвет лесной дороги. На этом месте, на пути из-под Киева в Чердынь, а где именно — неизвестно, ему и суждено остаться телом, дух же его, вечно испытующий и жадный до странствий, пойдет дальше налегке, без бременной тяжести, без лапоток и без лохмотьев некогда парадной рясы.

Ночью была переключка: громко гугукал филин, тихо отвечал стоном умиравший старик. Если Бог есть, то это он запретил волкам переступать круг, в центре которого, сжавшись в комочек, лежал на влажной лесной земле человек, окончивший земной путь. Ни в какую Чердынь не нужно было идти отцу Якову; его родиной была вся Россия, от Урала к западу и востоку. А смерть в пути была единственно достойной любопытствующего землепрохода.

Так в книге о концах, на последних страницах, записан конец отца Иакова Кампинского, свидетеля истории.

ВРЕМЕНА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

ДЕТСТВО

При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это — наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего.

Далекое прошлое всегда — сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать, но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, — только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут и румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала — для весенних дней — никаких, ни ярких, ни мешаных, красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое тальными островками, а золото солнца ненарисуемо и неопишимо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капли и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки и воробьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника, и красноперые голосистые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышла на нее посмотреть, а врывается сама и в щелочку, где отпала замазка, и в печную трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай, — и я, конеч-

но, по лужам не бегаю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлопает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим — и вот расцветает черемуха.

Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибором ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачовую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал вращать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос окончательно, то на его месте выстроили дом каменный; и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки, так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитания по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть.

Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье — с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожеством, со страстной вечной жадной воды и смолы и отрицанием машины, — я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница бука и зашекочет в темном углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный кран, завершит лебедкой, черкнет по небу и го-

ризонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчетанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищенный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавом с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утопанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет: и особенно на его четвертой версте поворот налево, на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками — в деревню Загарье, где летом мы жили на даче, а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменялась: картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная, прокоптелая хибарка — баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, — этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не жывал, — да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и льстивым поклонением, потому

что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили — как сейчас помню — сначала через речку, потом на косогор и на большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты, по опушке над кручей, и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали Марьи-Павловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкаф с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не зналась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родом — не знаю, а по фамилии Керен, может быть по мужу немка, но говорила она очень хорошо, по-московски. Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему — не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили — варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастенькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит — и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклонство было неведомо, они помещиков никогда не знали; но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти даром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и, когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, нагнав червей, мы бежали на речку ловить уклек на согнутую

булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, обедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец, на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона — до военного караульного поста в глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видал. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это заячьи покидки и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на неглавной улице прохожих людей. На елках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест; медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе, как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много — самых разнообразных, и больших и маленьких, — что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, испугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой в лес только револьвер-бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собирая которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из городу кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по-местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться — кочедыжник, уховник, стоножник, орляк, щитник, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов — и точечный, и кукушкин лен, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипнум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бесчисленно, так что даже, отчаявшись собрать все, мы вдруг равнодушно отвертывались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам — пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болотце букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие: у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем

детстве не понимал, как можно ошибиться и принести домой поганку! Или как ложную лисичку не отличить от настоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одно — масляник, и совсем другое — козляк. И рыжая волнушка все же не рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам, и домой приносили только самых бутылочных и булавочных, потому что рыжиками были подны наши еловые и пихтовые леса. Головы боровиков на низывались на суровую нитку и сушились на зиму, на Великий пост; белый груздь солился в кадушках, и наше дело было только набирать корзины, а остальным ведала Савельевна, наша строгая кухарка, которой мы все боялись, а мать перед ней немножко даже заискивала. Но Савельевна приезжала в деревню только ближе к осени, как раз к грибам, а всегда была с нами моя нянюшка, Евдокия Петровна, мастерица по части ягодного варенья. Она никогда не упускала случая наварить побольше клубничного, потому что в городе клубники не достанешь никогда, а если и достать бы — не тот аромат, как на нашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще эту ягоду немногие знают и путают с другими. И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут: «Она есть!» — то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» — и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: «Вы даже и до брусники не додумались, хоть и избрели парламент!»

Сколько ни читал я воспоминаний о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умный отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру женщина, но и в отце не было ни капли строгости, а умными были оба; и мать, хоть и институтка, была достаточно образованной и всю жизнь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного не только грубого слова, но даже слова упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе. У меня были три сестры и брат — все старше меня. Не помню, наказывали ли их за что-нибудь; меня наказали один раз, не знаю за что, но, вероятно, за что-нибудь исключительно серьезное, потому что наказание было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно. Слезы матери я объясняю тем, что ей не могла быть свойственна жестокость, и этот опыт наказания, почему-то придуманный, может быть вычитанный, был для нее невыносим и противен. Сестра плакала из сочувствия к матери, ко мне и к себе, — ей было уже лет тринадцать. А я плакал или потому, что не признавал себя виновным, или же — предчувствуя, что это первое лишение свободы будет повторяться всю мою жизнь. Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно — впечатление о пережитом оста-

лось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят; полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, — когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно в одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма; а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли, это только глупые рассказы, и в действительности не существует ни замков, ни границ, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекидываю подушку и опять засыпаю: просто лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право — государственное, уголовное, гражданское, изучал философию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой, и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и, когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, — все равно! Не потому, что я такой милостивец, — я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара! Моя мать напрасно плакала — я благословляю ее воспитательную ошибку: но хорошо, что она никогда ее больше не повторяла, — могло случиться обратное.

Я завидую — хотя и не верю — тем, кто рассказывает о своей жизни в стройном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору, — от мягких шелковых волосиков до щетины на щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый кантовский императив. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спиреи, начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного корня. И потому ее картины не собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папок, старых, новых, пыльных и обтертых тряпочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик — и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зеленых веток, но, может быть, сирень я обломил студентом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице;

а лютик сорван детской рукой, просто за то, что его лепестки блестящи и навощены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспоминаниях такая же, конечно, путаница, которой мало помогает чисто зрительная память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трех-четырёхлетним на дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой; мы идем важно, и наши лица серьезные: первый роман. Кто-нибудь научил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед слабым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, не забава, а предвидение трудности и сложности жизненного пути. Пока идешь прямо — все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали на ноги, а нельзя было терять устойчивость и уже нельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, не оставив даже имени, и двор делается ареной страсти: с мальчиками мы играем в бабки. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается новыми словами — гнездами, битками, свинчатками, гвоздырем, — гораздо больше слов, чем знает даже мама. В начале игры мы конаемся, подкидывая бабки, и мой панок (боевая бабка) ложится жохом, конкой, площадкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, в пристенок, в краснокудак, игры азартные, и мне случалось проигрывать начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равнодушная рожа ставит кучки на номера и на дюжины; потерявшая облик крашенная дама пытается красное и черное, брошен шарик на бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлено и бесславно уплыло и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобнее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое небо не улыбнется, и не прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть униженья, гадкое до отвратительности, но только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту снова расцвести и увлечь. Мать не догадывалась о моих переживаниях, иначе ее объял бы ужас; а я подкапывал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, падениях, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресности маленьких и ровных мещанских благополучий. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ней стать равнодушным, хотя все же менее, чем ко всему другому. Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить наконец его судьбу, как мне кажется лучшим, — я бы предложил ему сыграть в орла и решку: по крайней мере разом!

Но может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью: в кости и в зернь при Грозном, в фараон при Катерине, в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в 18—20 годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскресеньям играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальц, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальц плохо, Марья Павловна всегда на выигрыш и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после роббера зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случилось очень редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена — Андрей Федрыча жена!»; а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывая в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, в каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечки. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть — и играют в бридж, презренное искажение старого, благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками.

В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того, он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сорока градусов) в ворота въезжала обледенелая лошаденка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная, не вполне человеческая фигура в тулупе, которая от сильного удара должна бы разлететься со звоном на куски: но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился в белого ежа, растопырившего колючие сосульки.

Навстречу ему, тоже обязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевна, и тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал на сани и стеклянным огромным ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал из верхнего стеклянного отверстия бочки густую воду со льдинками и звонко лил ее в принесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеним, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, и он, вместе с бочкой и с лошадьё, казался мне единым целым, отлитым изо льда, так что было необъяснимо, как он может шевелиться. И еще смотрел на черные глаза лошади, тоже окруженные иголками, и на ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходявшего из ноздрей. Между лошадьё и человеком разница была только в том, что лошадьё стояла на четырех ногах и у нее был хвост, облитый выплесками воды и похожий на расколотое березовое полено. Как ни был величествен водовоз, но никогда в обычных детских думах я не мечтал стать таким же; иное дело — судебный курьер, ежедневно приносивший отцу бумаги.

У курьера были светлые пуговицы и фуражка с цветным околышем. Он представился мне исключительно изящным человеком и очень важным. На кухне он не стоял, а садился и громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не приходит по воскресеньям играть в карты; она ответила как-то уклончиво и недостаточно понятно. Я знал, что мой отец, барон Зальц и курьер — это и называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рожденья, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал — самого маленького из детей. К именинам, к рожденью, на Рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговаривался. Однажды перед моим рожденьем отец уехал на «сессию» — куда-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствие продолжалось подолгу, так как поездки были дальними, на лошадах по огромной нашей губернии. И хотя я не был корыстным, все же день рожденья без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухню, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подарки: альбом для рисования, краски, цветные карандаши. Было приятно, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках и лобзике для выпиливания. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзик, к нему пилки, дрель и тонкая ольховая доска. И это опять послал отец из своей «сесии». Еще через час у меня были молоток, стамеска, буравчик, подпилочек и отвертка, все нашитое на картонном листе, и каждый

раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают, понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься — хочешь, по льду, а то и по снегу. Мать слов курьера не подтвердила — она никогда меня не обманывала, — но посоветовала мне спросить папу, когда он придет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены; из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь; вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатики — гнусная игра, развращающая детское сознание: с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не увлекало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливание — всегда под отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад»: большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно, хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фонтлерой, принцы и нищие, хижина дяди Тома, особенно твеновские Тома Сойеры и Геккельберри Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и водовозом. Это я выстроил хижину и частокол от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожительство с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на

их хибарку и их затерянность — пять частей света и в придачу библиотеку стариннейших книг, но с условием, чтобы никогда над моей головой не пролетал аэроплан и чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика и сплетника — радиоаппарата. Лишь одно неперемнное условие — моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками.

Одна из моих временных хижин помещалась под отцовским письменным столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную книжку. Стол был приставлен к стене, так что получалось убежище, крытое и очень удобное. Ноги отца мне несколько не мешали, и мои, вероятно, мешали ему гораздо больше. Ковер был мягким сиденьем, корзина с сорной бумагой — предметом жилой обстановки, а никаких дел и развлечений не требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают иначе, чем взрослые. В их мечтах нет определенных, ясно обрисованных желаний, они не облакают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка — сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, слагаясь из шорохов, голосов, дыхания, — донесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, — все это ловится ухом и рождает гармонию и образы. Мы свои мысли думаем и придумываем — ребенок свои допускает и видит, сам им ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращается в пещеру, размытую в скале вытекавшей из нее подземной речкой, и волосатый человек вползал в нее осторожно, не задев отцовской ноги и опасаясь натолкнуться на пещерного медведя; здесь он доглядывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и при первом извне донесшемся шорохе заползал вглубь, впотымах пробираясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося площадкой. Осколком сталактита он рисовал на стене изображение самого страшного зверя, и это было для него необходимостью, зовом искусства, а не поисками Бога, как объяснит потом его ублюдочный потомок. Журчанье речки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезнув в прошлом, он переносился в будущее, над его головой шуршали страницы отцовских деловых писаний; от сорной корзины пахло окурками высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуρο утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревни, а тетка слышала и крик убиваемого, и, когда присяжные, недолго посоветовавшись, представили свое заключение, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орлами, он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороны стенами стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» — но Мышка не отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключенная в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твен,

поля которого были исписаны карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у него был брат-близнец, и их обоих купали в ванне, и один из них утонул, так что до сих пор не известно, который именно, он или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвинулись, а наверху, в проломе базилики Константина, на римском Форуме, заголубело небо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на Форуме туристов не бывает, они обедают по отелям, и это — лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая нога, пришлось протянуть ее по ковру, а рука отца нащупала мою голову и потрепала за хохолок на затылке, который никакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда еще не перестроенном, Сафонов, без дирижерской палочки, пальцами и кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушенными огнями, стали ударяться волны монотонной восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша так же мерно стучавшего поезда, и это длится очень долго. мелькает много границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеньким домом с мезонином и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу нос, он сплющивается, и я вижу в комнате стол, за столом сидит и пишет человек с небольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом на излюбленном местечке, под защитой больших ног в спальных туфлях, чтобы обдумать впечатления поездки по многим странам, о которых никогда не слышал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страну, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю исписанную страницу, присоединяю ее к накопившейся стопочке и, встав, с утомленным удивлением смотрю на полки книг, на громоздкие словари, на свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезнет. Что-то я позабыл, или что-то было упущено. Да, это — когда Марк Твен показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, может быть его собственный, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой конец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади на крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться не может. В половодье она на много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можно было дойти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, не попавшим в течение, а на небе не хотел остановиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода начинала медленно сбывать, возвращаясь в берега, и на ней появлялись пароходы и лодки, на нашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили на тюремных баржах, выгружали

на берег серыми стадами и выстраивали в поход — в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласных быть такими, как все, и не нарушать тысячи статей и параграфов, записанных в толстых книгах отцовской библиотеки. Из этих книг я делал иногда железную дорогу, раскладывая их в ряд по полу из комнаты в комнату длинной полосой и шагая по перелетам так, чтобы ни одного не пропустить. В молодости мой отец был деятельным участником судебных реформ, и в жестяной коробке, где лежали его прокуренные мундштуки и трубки, старые перочинные ножики, куски столярного клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматная королева, компас, лупа, шампанская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два наградных креста с какими-то датами шестидесятих годов, и их он держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Он никогда не носил никаких орденов и называл их коровьими колокольчиками. Он был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У него было имение, которое он отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам он оставался шестидесятником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но не как к реальному, а как мы, нынешние, рвемся к возврату на родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику, о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелете птиц, я даже не всегда и не целиком понимал и понял только взрослым, — понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать, — но еще до гимназии, — он подарил мне сочинения Аксакова, и посейчас моего любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею. Это были мои первые настоящие большие книги — на смену «Робинзону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, конечно, повышало мой интерес к «Багрову-внуку». И хотя я был сыном великой Камы, но с детства равнял с нею в святости имена Демы и Бугуруслана, конечно — несравнимых с ее величием. Дему я увидал в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудно!), поехал на родину первый раз после многолетнего отсутствия и взял с собой меня. Мне хочется рассказать об этом дальше — сейчас мысль связана Камою.

Тут между нами может начаться взаимное непонимание, потому что я не могу представить себе большую реку иначе, как живым существом не нашего, чудесного измерения, пожалуй — как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и, конечно, самовзвинчивание: вместо простой беседы — пень. Но я готов идти даже на насмешку — а любви не изменю. И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло, и реки меньшие, и почва, на которой я стою. Я допускаю, конечно, что существуют реки

еще более великие,— как существуют у других семей свои предки; таковы сибирские реки для сибиряков. И это мои ближайшие родственники и мои единомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река — поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и ширирь, и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизни, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и судами и с накипью и цепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки,— мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою не крещен. Ведь вот все живое вышло из океана, мы это знаем, а многие ли это могут чувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я не могу просто рассказать, что вот таковой она, река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспоминания,— это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я сейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлопают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклек, тяжелый храп столетней щуки, щелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок,— а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было свое название, я сам ее красил и смолил, она ничего не боялась: ни пароходных валов, ни пребывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел,— потому что я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгрести к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нем кустарник и много птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чем мечтаю сейчас,— о жизни без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель легкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладо-

сти, без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров,— от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь незнакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставленной лодке, чтобы плыть обратно, это было все равно что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в нее, потом зажмуриться и склониться над бездной. Столкнув лодку в воду, я не успевал лечь на дно, как прибрежные кусты уже прощально убегали, а птицы становились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу на самолете,— еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил до ушей шум города или стук паровозных колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я садился за весла и с середины нашей огромной реки, как с холма, скатывался к населенному и деловитому городскому берегу.

Продернув цепь в кольцо и защелкнув висячий замок, я чувствовал большую усталость — от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты — как детство; круча начиналась дальше, и, чтобы не идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытопанной на подъемные ногами молодых. В глазах бельмами прыгали блески воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала навозная пыль набережной: вот мы после сказок вступаем в самую обыкновенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь она несложна, но будет утомительнее в других городах и свяжется с ними в путаные узлы, будут знакомые и незнакомые улицы, люди разных одежд и языков, нрвые реки и притоки рек, остатки истории, заваленные новыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно не нужно. В объезд крутизны тянется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цыбики, свертки рогож, ящики с надписью: «Верх», «Осторожно»; мостовая булыжная, балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми щами; и есть и будут еще портовые набережные с вереницей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и черная кожа, светлые и темные глаза, блеск магазинов, вывески банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка, деланная улыбка знаменитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки — все это впереди, но без всякой передышки, сейчас же, за поворотом улицы провинциального русского города, спящего в передней культуре, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого неразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапыленного солнца. Дорога домой идет мимо почты, через топо-

левый театральный сад, минуя гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколотит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «Молодец, будешь писателем!» — кони взовьются, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые караковой клячей. Сразу, из трех великих стихий: земли, воды и воздуха — в неверие серого и наскучившего быта. И, вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих катаний!» Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моем детстве — мой первый дальний выезд, — не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе, на протяжении двух-трех лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидев свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше имение, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет «Багрова-внука», знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова, — но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую Дема, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мною и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на 65-м году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними я, еще ни разу не побывав дальше деревни Загарье, уже давно мысленно совершил все дальние поездки из симбирской вотчины в угодья и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Шурана, лошадями на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу, — Антошкины мостки, Малую и Большую Урему, Потаенный колок и Кивацкий пруд; и когда я действительно увидел Уфу и закинул удочку в воды Демы, все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родствен-

никам и их фамилии оказались хорошо мне известными по акасовской книге. Мне особенно было памятно и приятно, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова-внука,— но мне они, конечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а когда я вел под ручку к столу крошечную, сторбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой,— я помнил, на каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доносились соловьиные хоры,— но и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяном Бору, где пересадка на Белую, пробыли сутки на пристани, ожидая бельский пароход. Здесь, опять как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросающуюся целой толпой на едва задевшую поверхность воды наживку; передо мной на много верст расстилалась гладь изумительной Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаные перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесных стволов — у нас, в лесах хвойных, таких гигантов не было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которую был напоен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, все, что он любил и знал, и теперь все это я также знал и любил по-настоящему, а не только по книжке. Но все-таки в детском моем сознании так спутались картины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, не отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих и в какой — то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятно, жили, и на смену ему вырос дом новый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся еще в дороге, скончался так внезапно, что вызванная телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей жизни впутываются черные невнятные строки: сначала шепот и хождение на цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, не зная о важности подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне на ухо: «Оставь книгу, посмотри!» — и мои глаза встречаются с глазами отца, с последним, что в нем осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дней. Я просыпаюсь и вижу, как на постели, уже пустой и накрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседней комнаты сбегает моя кузина,— постель снова пуста, а из отворенной двери доносится монотонное чтение. Я опять засыпаю, и наутро комнаты наполняются людьми, мне незнакомыми, много людей на обширном дворе, и каждый человек подходит ко мне, гладит по голове или что-то говорит, и я знаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлены торжественностью, так что я уже не мальчик, а взрослый че-

ловец, центр общего внимания, и это заставляет меня держаться с некоторой важностью. Подходит ко мне седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он знал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной на «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркиваюсь, как меня учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае, не совсем настоящее, как и все, что кругом происходит. Того же странного старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью: она не может удержать слез и только отрицательно качает головой, а он тихо ее убеждает и смотрит очень добрыми глазами. Потом мать обнимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и ненавижу доброго человека и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал, — но не помню из какой, и тогда старик почтительно целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясняется только с тех дней, когда я оказываюсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажу себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и на лодках. И вот тут с необычайной ясностью я вижу огромный костер на берегу реки Демы — ночь, огненные дуги бросаемых с берега в темную воду головешек, хоровое пенье, смех и прекрасное лицо кузины Манечки, в которую я откровенно влюблен и от которой не отхожу ни на шаг. У нее голубые глаза и прекрасные каштановые шелковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой, то жуткой, то сладкой и радостной, мути и яви полны мои уфимские воспоминанья, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они — как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе, понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нем стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплюсненной монеткой; и каждая пуговица — часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришта. Река Белая — действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Деме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах — по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным

балдахином подъезжаю к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьядеттой и островом Св. Георгия слушаю затасканную, но в этой обстановке всегда свежую серенадину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского канала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса — трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескаться громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и, если удалось схватиться, прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит — не беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, — а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожа минутой и добычей. Это не я швыряюсь — это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, — может быть, потому я и люблю татар, что считал татаринном своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше — ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в детстве с непременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамины папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека» и написанной там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежеет бумага фотографий и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом — вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимназисток, попадают чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс,

и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов,— чем безупречные отметины настоящего, рассеявшегося барином на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь,— это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них — необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко.

В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре — младшей сестры; между мною и ими была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Многое соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на запад. Я помню в детстве только крашенный пол нашей залы, посыпанный тальком: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногами — меня укладывали рано спать. Ни тени зависти к старшим — мой мир был особым и чуждым шума: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пенья. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики) и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда по-польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры — по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника, злого разлучника, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», — не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных — как говорили тогда — песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стрижеными и на берегу Демы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен переключкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна» — ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я думаю, что не словами, а звуками была вспахана

во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных — это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах, — и так до сего дня; как обидно, что сей день — уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня Евдокия Петровна — про стоящую во поле березоньку и про не белы-то снеги; только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завел гармонию и играл на ней как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженной шкуры, к длинному, на рост, пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно — немалая воляность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками — сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчики, — и хотя обучали военной гимнастике и сдвиганию рядов, но зато не соблазнили сознания позднейшей бойскаутской дребеденью, нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов», — может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, — вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили на зубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис; мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогию прауродителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не лѣпо ли ны бяшетъ» и слова с буквой ять, — но, окруженные почти девственными лесами, не обяза-

вались отличать злака от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятной ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом поднимаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выразившийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского лба за подлинные сократовы шишки,— и немалая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога.

Мне было не трудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек,— сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса,— но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фарари,— никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольное представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимна-

зия не только убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человеком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем; мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки,— и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а Святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод,— и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было; я поднялся фуникулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок,— всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности — это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на заплеванном полу Всероссийской Чека, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от

отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха, — и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, — я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал наконец день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время — бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы — во всяком случае в провинции — были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!

Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а светочувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Помните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географии, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшен оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после — фабрика, из казарменных зданий вырос университет, на открытие которого я приехал. Молодые люди побелили виски и важничали ревматизмом. Говоривший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету, волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу, давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора; я знавал его молодым — теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий

грай, но ему нравилась сибирская вольность: через хребет Урала ее избытки перекачивались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и страданием: и сассанидские бюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почитать. Университет был открыт — тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделывать на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее ногам: возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже не важна, если ее внук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, праздно безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне была совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряден, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к торжеству открытия храма просвещения. Европейец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстницам по гимназическим годам, — насквозь пронизанный поэзией родины. Я присел на скамейку, и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с замотанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те года. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недалёкую рыбацью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно, проедешь, места много!» — а по проходе повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнодушия и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком и в ожидании читал литографированные лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору — две дюжины раков. Дальше. — перекаты реки Белой, — но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета, — не та пора. Мне

предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных построениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я наконец не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всеми кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышевском переулке с противной монотонностью бьет пулемет. Когда наконец выйдут газеты, в списке народных комиссаров — уфимское имя. В детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищю; и, однако, Москва не Тихий океан, в котором носятся шепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнишь, когда я был малышом гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, брали меня с собой на Дему, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старика башкира, накормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы напеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне непонятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко и как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова, и мотив. Но это так, между прочим. И конечно, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили, — о вольности веселой, о славном труде; и еще тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом; но и это не важно. Я вообще очень благодарен вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя несколько лет, в Берлине, я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время свободнейшую из стран, и остаюсь ее преданным рыцарем; но больше в ней не бываю.

Не изменять никогда детской и юношеской вере — и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к прекрасной, полной значения жизни пионеров, детей природы, ее учеников и друзей. Она развернула перед ними свою книгу, в которой было записано все, что стоит на полках и в шкапах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и не-

догадливо запутано: все, что было, что есть, и что будет, и что неложно. Для тысяч и тысяч людей эта истина — только мало-понятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им, в общем, нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа — это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «увы!» — они расцветают надеждами на старые встречи и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду, — и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» — «В речку». — «А из речки?» — «В Каму». — «А из Камы?» — «В море». — «Ну, а из моря?» — «Из моря куда-нибудь в океан». — «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто — смотри! — И он показывал мне на облако: — Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение — но возрождается в зерне; что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, — все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской, в большой круглой аудитории, уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием и думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой, — но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии анкгорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На римском Форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно спилили, но они прорастут в развалинах палатцо Киджи, и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у пюпитра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по зале учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясанных кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора

в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шарики и сыпал на пол, — таким я после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, знакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте — по старому правописанию), что «бѣдный дровосѣкъ сѣяль мелкій хмель в зеленомъ лѣсу мачехи, а Глѣбъ и Андрей сидѣли на ели и бѣли хлѣбъ, доколѣ имъ не объявили, что, прежде чѣмъ спуститься, имъ доведется помолиться». Нам сообщали «свѣдѣніе, что женитьба лѣкаря нравится великому дѣдушке Сергѣю, занятому веденіемъ дѣль въ теченіе шестнадцати лѣтъ. Мальчикъ Петенька вонзилъ занозу в ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлалъ постель одѣяломъ и ушелъ въ поле». Мы узнали вообще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѣль и ветхого Ёздока», про «кожаный чемоданъ и запеченную ветчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более часа ждали решения своей судьбы; от этого решения зависело, купят ли мне на пути домой гимназическую фуражку.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами и,дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим, но пока думал только о фуражке с серебряным гербом, в которой я вернусь домой.

И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы «ять» до Стефана Яворского и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учебнике словесности еще не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте средневропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности — русской природы, — в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний — только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.

ЮНОСТЬ

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя не очень ясно, что разуметь под этим словом, какой отрезок нашей жизненной дороги. Как это никто не догадался делить жизнь на трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком, — не было бы путаницы, и, главное, качества и настроения одного отрезка не позволяли бы себе вторгаться в неподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежна, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил ураган событий, унес и выбросил на чужие берега и что это так рано сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколение пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение! В жизни, духовно богатой, переживается несколько возвратов, и невозвратно только детство, — но ведь не хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юности; их поезд минует эту таинственную станцию зарождения самостоятельной мысли и страстного наката неразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобнее и экономнее. Спешили и мы, но тогда еще не гнались за рекордами скорости и техника была невысока.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтенный, преклонный, старость, дряхлость — что еще? Какое множество верстовых столбов! Подъем сложнее склона и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юность. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада — в день праздничный, свободный от гимназических уроков, — сад был пуст, только что подметен сторожами, освещен косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими напевами. На повороте в боковую аллею меня остановила волна воздушной мысли — накат неожиданного, показавшегося великим открытием: цель жизни есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но не могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностранных классиков — ни один из них не дал мне этой простой формулы, хотя мог незаметно к ней подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, но детство, еще вчерашнее, не ставило ясного вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельностью, ниоткудаостью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизни, в движении, а не в какой-то последней точке. И я не знал, что из учебников философии, мне еще незнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юноше шепчет утренний вете-

рок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами — наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ремненным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром течении ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок,— все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу — какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или — не жалел ее), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности — и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями — и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни,— а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испытый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф,— я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползании, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазю мухи и антеннам последней букашки,— ишу понять и познать, как это случается, что прорывается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине — кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступно хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость,— не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это какими-то хоть и сумбурными, но внятыми словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог — даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда

зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной — сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания, — я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-нибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные ценности; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступного учебника, где подобное открытие было описано, доказано и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шуточно отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только один гимназический приятель Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, конечно, не авторитет, он тоже едва проснувшийся юноша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена — может быть, это подействует на не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь единицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайнозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Америки виноградными лозами сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, нравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательного, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезно, чтобы не завязить ног в тягучем тексте их логических построений, и трехкопеечными парадоксами снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юности моей остался нетронутым и нетленным, — его не нашли и не отняли даже при обысках. Поэтому мне нетрудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событиями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой

первую строку фашистского гимна: «Giovinezza — primavera di bellezza»¹. Кто-то придумал и сказал, что юность — счастливейшая пора жизни: попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность — переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность — пора болезней роста — и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо — возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идола и идольчики, с рекомендательными письмами, настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов — черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются женщинами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писателей запоры, у богов наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями — органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахаринном посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение, — этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам — всякой формы носы, уши, волосы бобриком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намек на усы. С двумя братьями-близнецами, Андреем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я преувеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боясь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это эзалося мне забавным — сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет — мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с бо-язливой осторожностью, и в долгих прогулках (зимой ноги

¹ Молодость — весна красоты (итал.).

превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любви. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложенными в комочек, где сказано все, — и как сказано! С какими литературными оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнажением души, непременно страдающей, непонятной, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатие, разговор о пустяках, нравятся ли вам Достоевский. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовский период) я говорю ей (не пишу, а прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она — уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмиклассницей Тосей, так что я действительно разлюбил. Она съедает несколько серных спичек и подробно описывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но — «как мало прожито, как много пережито!» Я подал сочинение на заданную тему о русской женщине по Пушкину и Лермонтову, — сочинение размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то я, конечно, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназии! Дрянь мальчишка — расшаркался перед героинями, отшлепал отечески и Онегина, и Печорина. Что вы хотите: литература — особь статья, смешивать ее с жизнью не приходится. Получил пять с плюсом, и сочинение было прочтено в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с минусом; а пятерку кроме меня только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэри (прямо на зависть!); я работал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговаривая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспира. Мучительно стараюсь припомнить — почему с Шекспира, ну, почему именно с Шекспира? Одним словом — с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы читаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустить «на голос», поделив между собою роли. Володя — представитель критической мысли, я — романтик, но по этим признакам не всегда легко делить роли, тем более что большинство пьес нам не знакомо. Женщин (как практический знаток женского характера) беру обычно я, хотя леди Макбет исполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в роли датского принца хорош, но слишком язвителен, и во второй раз он берет на себя Офелию и тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребию. Я очень одобрен Володей в роли короля Лира — и весь следующий день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предлагает мне лечь пораньше и выпить липового цвету. У нас только одна книга, и мы читаем, сидя рядом, причем Володя близорук. При монологах один из нас овладевает книгой и может актерствовать, бегая с нею по комнате. Тень отца Гамлета забирается на стул — как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу и отдаемся потоку мыслей, и вызывают их не сцены, а какая-нибудь одна фраза, одно словечко этого изумительного

Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище — сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищенский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Йорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видели вы змею на плите?» — «Какую змею?» — «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленью. Змея закусила свой хвост, и в круге написано церковнославянскими буквами. Поскольку мы способны разобратить, ни о каком проклятии дочери не говорится, и похоронен тут бригадир. Года разобратить не удастся, длинная надпись туманна, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница, треугольник, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедрились и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, снова стало миром хвой и кустарника, часть могил затянута мхом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали, и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, зайчьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики подзучей линией обвили двойной каменный скат — крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело подымает землистого цвета предмет, может быть, действительно осколок черепной коробки, и я, на всякий случай про себя, шепчу: «Бедный Йорик». — «Сделаю себе из этого пепельницу», — равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуточку!» — и, когда он подает мне темный предмет, я, с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю: «Несомненно — истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня поташнивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставанье великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю мы читаем вслух русских классиков — да здравствует великий Маркс, не тот, бородатый

пруссский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слышали), а Маркс — издатель «Нивы», давший в приложениях к ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженная библиотечкаря в очках и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым, — никак не можем найти Аполлона Григорьева. В гимназии мы слышим начетчиками, и учитель словесности сильно нас побаивается. Я, сверх того, иду за отменного чтеца и, выступая на гимназическом акте, читаю посвященные Екатерине стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и написала с краю: «Что здесь, как женщины, касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровями, всей фигурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебного округа, почтивший своим присутствием наш акт, и, подав мне пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличное стихотворение, пишите и дальше — у вас талант!» Я робко пробормотал, что это стихи не мои, а Алухтина. «Ну, конечно, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!»

Володя решил, что если он провалится на экзамене в институт путей сообщения, то станет литературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желанию матери), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась еще в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мне: «Милостивый государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением». В этом рассказе, о котором ничего не знал даже Володя, молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матери зарубить топором своего грудного ребенка, а самой повеситься. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоне, а в местной нашей газете — трогательный некролог. Началось!

Как же могло быть иначе — страстная тяга сопричислиться малым звеньшком к великой цепи творящих. Писатель — существо необыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны, и по смерти ему ставят памятник. Он, конечно, страдает — ужасно страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что он обличает зло; но лучшие и избранные стоят за него горой и готовы погибнуть вместе с ним. Впрочем, мы читали и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермонтов, знаете, не Пушкин! И зачем это Достоевский написал «Чужая жена и муж под кроватью»? Недаром мы начали с Шекспира! Мы не просто читали произведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создавал, остались навсегда — разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствием некоторой фамильярности образов. Лермонтов, например, был почти что

гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина: просто — пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел — пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал — и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего, написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучился своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему, вот такому, приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом, — Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали искреннее расположение: с ним было просто — улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью — но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам. В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась — ломака и неприятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу — на всех портретах — нездоровая капелька, неблагородное, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя», — тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закавказского берега смывал с души липкий налет. Великого инквизитора читал Володя — резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом

воздухе большого города, уже не боролся с ним, а плыл по течению мутных волн, пока опять тот же «Дневник писателя» не оттолкнул меня от него, зачеркнув в нем все, за что он признан мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним навсегда.

Нашим любимцем — моим по крайней мере — был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и не прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Он приходил к нам без спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с ним, положив ему на плечо головку, усаживалась Марфинька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и не произнося ни слова. И мы отлично знали, что бабушка — это Россия и что Волохов, озорной человек, только храбрится, а сам очень страдает, — хотя сейчас мне трудно объяснить, почему нам тогда так казалось. Было странно, что Вера гораздо умнее Райского, со стороны которого было некрасиво бросать ей в окно букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарье, где в дни моего раннего детства мы живали летом (после смерти отца уже не приходилось), но барской усадьбы я не видал и не знал — только по книгам, по Тургеневу, по Аксакову и вот теперь по Гончарову. Мысленно я стоял над обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее не любит и ее не стоит, что он просто очень самолюбивый бездельник и всему его оригинальничанью грош цена. Но вряд ли Вера послушала бы гимназиста! Вообще я Веры побаивался, а на Марфиньку заглядывался, когда она ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к нам неистовый Виссарион Белинский, мы слушали его с жадностью, особенно Володя, готовивший себя если не в инженеры, то в критики. Оценки Белинского казались нам непреложными и окончательными; на его щеках горел чахоточный румянец, и так же горели его слова. Он писал, лежа на диване, и в полуотворенную дверь были видны пришедшие жандармы. Он был человеком безо лжи, судьей строгим, умевшим восхищаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую неправдивость. Мы одолели его том за томом, — и это, вероятно, было самым полезным нашим чтением. Наученные им, уже не верили Писареву, человеку холодного ума и злой мысли. И в нем, и в Добролюбова, и особенно в Чернышевском чувствовали какой-то отталкивающий душок; это были обиженные люди, не искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться над лучшими. Некоторые их мысли вызывали нас на раздумье, казались смелыми и основательными, но только Белинский внушал нам полную веру, и только он сам казался настоящим поэтом. Вероятно, мы и не читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одно упоминание их имен не вызывало ужаса на лице нашего гимназического словесника.

Мы читали не только русских классиков и критиков. Вообще мы читали — вдвоем и поодиночке — катастрофически много,

пользуясь тем, что гимназические уроки — кроме древних языков — не представляли для нас обоих ни трудности, ни интереса. Я глотал Диккенса, Володя Виктора Гюго, конечно — в переводах. Золя, в то время еще модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гете мы читали вместе. «Фауста» пустили «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читали Толстого — и все, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Если Володя еще мог о нем «рассуждать», то я был раз навсегда побежден и поставлен на колени. «Войну и мир» я перечитывал сейчас же после прочтения нами вслух. То же было с «Анной Карениной». С большим трудом мы раздобыли «Крейцерову сонату», кажется даже в гектографированном списке, так как в городской библиотеке ее не было. Моими любимыми рассказами Толстого были «Альберт» и «Холстомер», и их я знал чуть не наизусть. Толстой не приходил к нам, как другие; он царил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героями нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печориным и даже Гамлетом и тенью его отца. Герои Толстого были уже не людьми, а великими образами, и казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве и, может быть, пройду мимо дома, где зимой живет Лев Толстой; о том, что я могу увидеть его самого, никогда не думалось: можно ли встретить Гомера или Шекспира? Я действительно никогда не увидел Толстого — огромный минус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не вина; я не видал также Байкала, ледяных торосов, устья реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юности Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество и посейчас для меня кажется непостижимым; вижу, как пишет Пушкин, как творит литературный колосс Диккенс, но не могу увидеть, как из-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге изобразить, кем быть и каким образом после этого обедать, смотреть на людей бровастыми глазами, ссориться, дышать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестись попросту на небо и не посмотреть рассеянно на весь писательский мир с ближайшего облака? Впечатления юности остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов, — и расстаться с ними я не хочу и не могу. Все-таки совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закинешь в грамматической бесспорной фразе. Лев Толстой был и остался российским чудом, весь целиком: великий, несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик и барин, поэт и корявый проповедник, брюзга и неустанный искатель истины.

До нас не доходили толстовские религиозные писания, и нашей веры он не колебал и не утверждал. Ее утверждала наша изумительная северная природа; ее расшатывала и уничтожала в

нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно — для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивая у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и нетрудно и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была привлекательна для нас тем, что в нее приводили гимназисток: налево ряды наши, направо — их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и проходить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно подглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере нанесился самый серьезный удар созерцанием задулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед затем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутылку с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно также допивал сам дьякон. Но и вообще — трудно было проникнуться лепостью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое — мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» — и он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотить и не поперхнешься! Для Него это — пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки религиозности — или, может быть, суеверия, — то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки веры детской, семейные традиции и прежде всего — целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерасказуемых и непостижимых тайн. Порывая с ней — порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая

богатство сказки ради дешевки научной истины. Процесс естественный, законный, правильный, за которым по мере роста духовной жизни человека следует или не следует новое «хождение в алтарь» и отвержение нового жречества, но уже без возврата к прежней и наивной вере, в лучшем случае — строительство собственного храма неведомому богу или богам.

Мы поспорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня опасная взвинченность нервов. Стычка произошла при свидетелях, и это осложнило положение. Будь на его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, как и случилось у меня с другим гимназическим приятелем: мы дрались за городом на револьвере (был только один), заряженном порохом, но с резиновыми пулями; раненых не было. Но в наших отношениях с Володей полшутство было неуместно: мы друг друга уважали и считали взрослыми. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв неизбежным. Время было учебное, встречи ежедневны, но о примирении не могло быть речи. Только что перед этим мы начали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также написал и изорвал записку. Во время перемены я подошел к нему и, не обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы личные отношения могли препятствовать культурному общению, впрочем — не знаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я также выше личных отношений, и, если мой уважаемый враг готов, мы можем закончить «Разбойников». Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» — «Оставьте при себе уважение, которое я не могу вам ком-пен-си-ровать, и в половине седьмого я буду иметь честь посетить ваш дом». — «Гарантирую вам гостеприимный прием», — ответил Володя, и мы повернулись друг к другу спинами. Оба мы испытали немалое удовольствие, что нас слышали товарищи: им не мешает знать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограничились вежливыми полупоклонами и в один присест, читая по очереди, отмахали «Разбойников» и поспешили начать другую пьесу. Получилось нечто вроде сказок Шехерезады: «...и на этом месте Шехерезада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехерезада продолжала: — Известно тебе, повелитель правоверных...» Так продолжалось недели две, пока нас окончательно не примирил ожесточенный «принципиальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самым дружеским рукопожатьем. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крикнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» — и я спешно ответил: «Считаю его заслуживающим нашего внимания!» — «Тогда я возьму в библиотеке».

Мы не были начетчиками и, при всем увлечении литературой,

не забывали о развлечениях, — времени хватало для всего. Нынешняя молодежь отдает много времени спорту, о каком в девятые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были лодки и прогулки в лес, в зимнее — катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Еще процветал бильярд, игра, гимназистам воспрещенная; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабачке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Бильярд был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклоны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен бильярду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью: также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощущением движения как самоцели, с радостным бытием в вечности. Взмах весел — как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханием, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубиной и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайнверху и внизу, сное, все утверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки — на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, просто свергнется в ее объятия и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу — ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впасть в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменилось: на страже чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков — моя эпоха — появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «Не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от

дружественных слез жилетов. Мы уже учились быть сдержанными во имя «художественной меры», то есть своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но — чтобы и дальше говорить метафорами — человек, приучивший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда воскликнется, и не бояться классных дам от художественной литературы. Законы искусства остались — если есть у искусства законы, — но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержанной лирики, а просто — вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла нас читательская страсть; я испытывал это особенно остро, так как рано начал писать и терепить волосы в творческом недуге. С одной стороны — «сталь мысли», с другой — сердечная требуха, и примирить это ох как трудно! Между моим первым романом написанным и первым напечатанным — расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хороним уроком, мною полученным в юности.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Роман был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами, с вдохновением, разочарованием, отчаянием, всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, коварство и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочитать его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я искал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способного на безжалостный анализ, а более интимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по бильiardной части и по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самый искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться, — польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, как он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икряную воблу и баранки — лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мне сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарелка с нарезанной воблой в его распоряжении — на стуле. Комната хорошо натоплена, за стенами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, слушать издали, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцание, чтобы там могли кружиться тени — милые существа, навсегда загубленные электри-

чеством. Если в комнате обитала муха, решившая пережить зиму, то она садилась на потолке в центр бледного светового круга, конечно — вверх ногами, но ей это было совершенно безразлично. Тени сгущались к краям круга, упражняясь в неслышном танце, иногда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их не трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадкой в одной руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Арине Родионовне, которая вяжет чулок. В богатой гостиной ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлены кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше — приглашенные, все — избранные люди, состоящие при литературе, и хозяин знает, что его вечер некоторым образом исторический, — Гоголь в ударе, читает прекрасно, и его пробор расчесан аккуратно. «Ты понимаешь, тут многое еще не отделано, и я сам не уверен...» У Андрея крепкие белые зубы, и он так вкусно чавкает воблу, что слышно, как похрустывают перекусываемые ребрышки; значит, икру он уже доел — плотную, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я не позволю, — крикнул он, ударив кулаком по столу, — я не позволю, чтобы моя дочь, нежное, невинное существо, стала женщиной развращенного человека!» Мать сидит через комнату от нас и, вероятно, раскладывает пасьянс; она привыкла к тому, что у меня поздно, иногда за полночь, слышится чтение вслух, ей нравится, что мы такие умные, развиваемся, — скоро и в университет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, но холодный взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и он разжал пальцы, услышав спокойно произнесенное слово «никогда!». Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакан. Разве они, люди быта и маленьких делишек, — разве могут они знать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картине ему не удастся последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все, — и тогда на полотне заиграет жизнь и оно оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир недосыгаемый, лишь ему одному доступный! Вот тут — я сам чувствую, — тут не то чтобы фальшь, а какое-то напрасное подчеркивание, слишком парадное слово, уже не перечувствованная правда, а желание понравиться читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его недоверчивую усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом...» Господи, какие же у птицы руки! И она уже дважды вытягивалась на протяжении одной страницы. Хотя бы Андрей крякнул или чем-нибудь возразил... Однако он перестал пить и есть как раз на самом сильном месте, стоившем мне больших волнений и переживаний. Я приближаюсь к сцене, при перечитывании которой не всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется, — автор должен быть бесстрастен. Огромный зал замер, каждое слово чтеца звучит как чеканное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и, когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева, — голос чтеца не дрогнул,

но по рядам слушателей прокатилась волна вздохов, и в дальних рядах послышалось сдержанное глухое рыдание. Захлопнув тетрадь, молодой автор встал и, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда он взялся за ручку двери, ведшей в комнату артистов, в зале раздались бешеные рукоплескания, постепенно перешедшие в ровное посапыванье. Возможно, что Дельвиг посапывал и раньше, но поэт услышал это, лишь закончив чтение лучшего, что он написал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгоряченную голову. Это его отрезвило, и он, не взглянув на спавшего Дельвига, прошел в комнаты Арины Родионовны. «Ушел твой приятель? — спросила она и, взглянув на меня поверх очков, которые она теперь надевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик чем-то огорчен. — Уж не поссорились ли вы?» — «Нет, мама, Андрей еще здесь, он, кажется, заснул». — «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь! — Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, она разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством. — Постой, а как же он спит? Нужно бы постлать ему на диване в столовой, я сейчас дам простынь». — «Он не останется ночевать, и ты вообще не беспокойся». Автор «Мертвых душ» склонился над рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал несколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительным стоном. В печке был еще огонь. Он открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел и приветливо засветились. Не оглядываясь на стол, он протянул руку, взял рукопись и бросил ее на угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоньком. Свет ударил в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну как, кончил? А здорово, знаешь, написано! Ты не думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-Богу!»

Описать в романе клокочущую страсть — это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падения в то время заменялись двумя строками точек, а подробно описывались только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мои собственные понятия о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падения я, конечно, знал — среди нас были «падшие», — но никак не мог совместить ее с чувством любви, которое должно быть трепетным и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась некая тень: очевидно, любовь не очень приличное чувство и признаваться в нем не следует. В восемнадцать лет я был уже много раз влюблен, но, черт возьми, поцелуи мне не были ведомы. Мне кажется, что один раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее нечаянно, даже не губами, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне не только известно, но и порядочно прискучило. Из-за Катеньки я и дрался на дуэли — из-за гадких слов о ней и обо

мне. Когда мне было девять лет, моя старшая сестра — на восемь лет меня старше — выходила замуж. Я был очарован ее женихом, казавшимся мне идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещенную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели на стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел на них с интересом. Вдруг жених быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; она ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противным; жениху сестры было уже за тридцать, ей семнадцать. Потом они ушли, хотя он пытался еще задержать сестру в полумраке моей комнаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклонялся от его шуток и ласк. В любви есть что-то стыдное. И действительно, над влюбленными смеялись, и они краснели. Объектом постоянных насмешек гимназистов был наш учитель немецкого языка, Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безнадежно влюблен в пухлую немочку, дочь учителя женской гимназии. Он был так влюблен, этот рижский немчик с таракаными усами, что плакал, читая нам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, надушенным немецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперником — совершенно помимо своей воли; на гимназическом балу я танцевал с его любовью, и она не заметила его почтительного поклона. Он не только приревновал меня, но и искал случая меня оскорбить и унижить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть не мог и отвратительно знал немецкий язык. Он стал ко мне придираться, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и однажды, распыхавшись, велел мне выйти к классной доске и стоять около нее до конца урока. Это было настоящим оскорблением, потому что меня никогда никто не наказывал, даже в младших классах; одна такая попытка кончилась моим нервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника — это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уничтоженного романа сказал: «Я вызываю вас на дуэль и убью, как таракана!» Затем я медленными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданно вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его принять мой вызов на дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меня и, догадавшись о моем настроении, торжественно мне обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меня урок только один раз в четверть и в тот день, когда я подам ему знак, «приветливо кивнув головой». Такое пристрастное решение было вынесено, очевидно, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое намерение убить в честном бою немецкого учителя. Условие было соблюдено, и в первый выбранный мною день я отбарабанил Фуксу вызубренную наизусть «Перчатку» Шиллера, — мы, черт возьми, знали, что такое рыцарство! А он таки женился на своей немочке,—

в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки — но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни — о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской — постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем, — потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушется интересами жизни, — для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была — или казалась — еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывает. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изяшной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержанной, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками — французским, немецким, английским и польским, — знание которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму — и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией, — и опять небо ясно и мир улыбается, — маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпиленной рамкой из крышки сигарного ящика, — вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой

же радости. Мы часто шутя говорим детским языком — и никогда не подражаем ломающемуся голосу юноши. Помнятся сказки — и не помнится пора их крушенья. Рисунок путается и теряет чистоту красок. Дым из трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колючком, у первого портрета нет египетского глаза и турецкой брови, негнушащая рука не растопыривает кисточкой длинные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальнее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасный иероглиф изображений. Детский карман наполнен первичными ценностями личного значения: найденной пуговицей, закушенным яблоком, бабкой, мелом, отгрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезанной из вишневой ветки; но юноша уже несет чемадан или швейцарский мешок с набором усвоенных истин, алфавитом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть немножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхней губе, мечтать о пенсне и тросточке — символах взрослости. Моя ранняя молодость протекала в сравнительно счастливое время, когда не было кинематографа и площадок для отбивания головой кожаного шара, не было даже велосипедов; недотыпанность и простота провинции была по крайней мере целевой и не опошлялась мировым экраном, газеты не заманивали авантюрным подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оно раньше и проще всего попадало в наши руки. Но что давало нам увлечение литературой? Искусственные образы, прикрашенное словесными узорами изображение идей и чувств. Мы любили по Пушкину и страдали по Достоевскому, выписывая закругленную фразу там, где естествен только крик радости или горя, привыкая к прописям раньше, чем в нас слагался собственный язык для выраженья нами открытых чувств. Может быть, это вообще неизбежно в культурных общественных рядах, где кустарник и деревья непременно стригутся под гребенку — и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гимназия, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детские годы, особенно в летнее время, заполняла мой мир целиком; жалею и о том, что мало знал окраинные улицы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в наших окрестностях, и только раз побывал на пушечном заводе, где директором был отец моего одноклассника. Не знаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше знали жизнь по романам, чем по личным с нею встречам. Вероятно, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, и иногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо миную гимназический быт, о котором другие рассказывают так красочно и так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина — не столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это — картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно вызванного при-

падком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Вергилия, или могло быть то, что у нас называлось физикой,— зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой хранине наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и поторенный нами. Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпагу императоры и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писанные чудеса. Во всяком случае, был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв — принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухстворчатых пирожков. Так было с первого класса — и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас — это мог быть и я, мог быть не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница, безразлично,— один из нас, руки в карманах, не зная что делать: запеть, запить, плюнуть, утопиться — подошел к черной классной доске, орудие пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На треск повернулись головы, всколыхнулась дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцовой печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич, — и голыми руками, спеша и ломая ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбежалась вся гимназия, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться, — Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно — что на другой день я пошел в гимназию и что там

были в сборе почти все мои одноклассники — притихшие, но спокойные. Мы могли ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении и у нас, и у нашего начальства выход один — притвориться, что ничего не произошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмиклассников, был отведен физический кабинет. Уроков не было — никто из учителей к нам не вошел. Малыши смотрели на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал снимать пальто, чего никогда не делал; попавший мне навстречу в коридоре классный надзиратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам инспектор гимназии, единственный человек, которого мы уважали, умный, пожилой человек, хотя мрачный, запойный пьяница. Видимо, он не приготовил речи и не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятий не будет, но хорошо бы завтрашнего дня спокойно приступить к урокам, потому что не за горами и выпускные экзамены. Уже двинувшись к выходу, он прибавил: «Что случилось — то случилось, и уж лучше, и для вас и для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него дрогнула скула, и все мы были смущены. Наш бунт, большой, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан и забыт. О нем, конечно, говорили в городе, но в «округе» или не узнали, или не захотели знать — класс был на выпуске и скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназических воспоминаний осталась в моей памяти как событие значительное и — я бы сказал — светлое: гроза, очистившая воздух. Не будь ее — мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощание; сейчас я готов допустить, что не все и не всегда в нем было отвратительно и что какую-то крупницу признательности я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более ненужной буквой «ять» и катать наизусть «Слово о полку Игореве». В частности, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному инспектору нашей гимназии.

На нижней поверхности древесного листа — белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выводок расплзается, но при первой тревоге все сбегается в кучу и прячутся по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожих на прозрачные стрелки, цыплят — на золотые шарики. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, и один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, живших у нас в комнате и спавших вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подросшие ежики немедленно разбрелись по зарослям вереска и можжевельника в разные стороны, даже не попрощавшись; хотелось им крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете больше никогда не встретиться! А встретитесь — не узнаете друг друга, братья сестер и сестры братьев!» Приходит день, и юноши,

восемь лет просидевшие рядом в одной душной комнате, зубрившие одну и ту же нелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комнату, и эту нелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайно, сталкиваются в потоке жизни отдельные щепочки и делятся впечатлениями. Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, ничего особенного, живу; одно могу тебе посоветовать, если еще не поздно: не женись, брат, не стоит!» Случайно на ученом диспуте, совсем не по моей части, подходит близорукий и добродушный человек, профессор геологии, и спрашивает: «А не из одного ли мы с вами города? Мне ваше лицо как будто тоже знакомо!» — «Ну, седина меняет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе». — «Очень, очень рад встретиться, — говорит крупный человек с отличным брюшком, — да вот, как видите, учу сограждан уважать законы страны. А как вы?» С трудом припоминаю, что это Петька, отчетливый лентяй и болван, кое-как дотянувший курс. В журналах стихи и проза за подписью знакомой фамилии, не часто встречающейся. Но неужели это тот самый мой сверстник и одноклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизном управлении или пустил бы его по учительской части в дальнем губернском городе, женил бы его на доходном доме, но искусство... Я вчитываюсь в его творчество, захопываю книжку журнала и отвечаю: да, это он!

Три — пять встретившихся еще раз в жизни имен — из нескольких десятков. С одним мы не расстались и в студенчестве, делили комнату на Бронной, делились и обеденными купонами студенческой столовой. Однажды мы пошли на сходку в старое здание университета. Я выдержал час — но больше не мог: у меня был приступ разочарования в защите чести студенческого мундира. Я вышел во двор и увидел, что проход на Моховую загорожен полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услышал, как за мной забивают дверь. На Никитской мне встретились казаки. Все это происходило ежедневно и уже наскучило. Очевидно, нас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемоданчик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он не получил ее: прямо из круглой залы университета он попал на сибирский этап и умер, не доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, сутуловат, близорук, никому не страшен, но верен своим взглядам. Без событий — жизнь его вычеркнула.

Я, конечно, очень забежал вперед в своих воспоминаниях о юности. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстановить их в обязательном тоне. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студенческая фуражка была куплена еще весной, и голубой околыш успел слегка выцвететь. Граница юности и молодости, но еще искусственная: уезжает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в пароходной рубке я велел подать

большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь кольчиком!). Едет в столицу бывалый студент. На мне серый летний пиджачок — форму хочется заказать в столице. Несколько интересных девиц — с маменьками и одиночек. Три дня парохода — истинное блаженство. Появляется соперник: высокий красивый студент с кудрявой бородкой: впрочем, не выше меня ростом, но все-таки — с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко и, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпиваю свою рюмку — она лишь вторая или третья в моей жизни, — он краснеет и заказывает пароходному лакею такую же. Это меня бодрит, — а может быть, бодрит рюмка, — и я бросаю со столика на столик: «Вы в Казань, коллега?»

«Коллега» — это такое слово, такое слово, что его красоты и силы и пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость и некоторая привычка к актерству; я приобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, и мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник, то есть он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву и тоже юрист: по правде сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, во всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, и он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, и при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди три вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, и за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерватории, прямо сказать — очень хорошенькая, она вам живо вскружит голову. И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, но, знаете, коллега, только не смейтесь, — у вас старая фуражка, и я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань. Мы радостно смеемся и говорим так громко, что все улыбаются и тоже радуются за нас. Ох уж эти студенты — лихой народ! У Бориса отличный баритон, на пароходе пианино, и новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, и я напеваю: «Бесспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума и сердца — но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кончается тем, что бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе, — и уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но приобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде пароходные удобства сменяются третьим классом поезда, и стук колес не мешает нам перекликаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла и подушки, — и московский вокзал выталкивает нас, благоговеющих, на Садовое кольцо.

Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие настоящей жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора и в далекой его перспективе вижу мелькнувший свет, заслоненный фигурами юношей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда: но им не удается сохранить на своем пути бодрую походку. Мне хочется подождать, пока они подойдут и пройдут мимо стариками,— и низко поклониться своим воспоминаниям.

Юноша крутит над своей головой веревку с привязанным камнем. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юноша слишком размахнулся, и камень летит над деревьями, вершинами гор, минуя границы, отклоняемый ветрами и вихрями, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, но со временем поддалась практическому изучению. Я изучал прибои и приливы разных морей и ломал язык для чужих гласных и согласных. В жизни взрослой и сознательной вкусил больше от Запада, чем от родины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку — много тетрадей, — не для чужих глаз и не для печати. Там люди, идеи и события наколоты на длинные булавки, крылышки расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди из энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и неизящно сморкают носы. Там идеи играют в свайку и топчутся на одном месте, и из пустого в порожнее переливаются и пересыпаются явления со звонкими заголовками. Когда же камень, обернувшись бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей двери остановилась странного типа походная коляска с солдатом за кучера и усатый офицер-фронтовик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что написали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фронта и, узнав о моем возвращении в Россию, поспешил возобновить гимназическое знакомство. Мы отправились на Острова, где в большом ночном ресторане подавали только квас и лимонад, и, однако, посетители были пьяны больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга, кожу, волосы, улыбки, искали знакомых звуков в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепе бедного Йорика, о Великом инквизиторе, о княжне Мэри и Марфиньке, о разбросанных по вселенной чертовых куличках и надеждах тридцатипятилетнего возраста. «Помните нашу знаменитую ссору? — сказал Володя. — Согласитесь, что это было очаровательно!» Я помнил ссору и помнил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год — мы этого еще не знали, но уже могли предпологать. «Через три дня кончается мой отпуск, — сказал Володя без всякой горечи. — Я очень рад, что нам удалось встретиться». Я не знаю, был ли он убит. Но он был талантлив, и невозможно, чтобы о нем, живом, я никогда более не слышал.

Контролер с удивлением вертит в руках мой билет: на нем помечена начальная станция, но не указана конечная: «Куда

же вы, собственно, едете?» Я должен бы пояснить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я не умею эту жизнь резать на аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи на старцев, старики падки на юношеские шалости. Однажды у меня встретились за обедом молодой поэт и старый общественный деятель; разница в годах — свыше сорока лет. Я не сомневаюсь, что в борьбе на поясах или в успехе у женщин победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизни они менялись годами: мысли молодого отдавали шампиньоном, старик просился в петличку летнего пиджака. Первый горделиво нес бремя общественной благотворительности, второй терпеливо ее организовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому назад; с душевным холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесследно. И я говорю огорошенному контролеру: «Если поезд не сойдет с рельсов раньше, я еду до станции Утомления, не предугадывая ее официального названия». Мы же условились, что жизнь не делится на отчетливые возрастные кусочки. Я только что снял свою первую студенческую комнату в Москве — конечно, на Бронной — и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивнушки меня остановил студент без фуражки, со всклокоченной бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собственно, рыжим был он, а никак не я, но я почувствовал прилив восторга и гордости. Он вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, понюхал и сказал: «О юность, иди своей дорогой, но помни, что все пути ведут в Рим»; затем повернулся и с бутылкой ушел в Рим. Мне очень хотелось последовать за ним в приглядный кабачок, но я не решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкина до столовой Троицкой, — и мир был светел и полон надежд. Не эти ли минуты считать священным отплытием от берега юности в океан молодых переживаний? Еще в круглом зале профессор Чупров не произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще на блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румянцевской библиотеке, еще Манеж на Моховой не говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь на улице, отводили глаза, но сердца сияли приятнью — начало соборности. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд зданий — и двор с нелепой куклой Ломоносова, и холод колонн университета в Риме, и Сорбонну, катящуюся по скату улицы Сен-Жак! С влажными складками крыльев бабочка высвобождается из кокона, — и предстоящий ей мир не меньше нашего; я хотел бы огромным карандашом зачеркнуть много строчек, страниц и книг и в прошлом, и в настоящем, оставив вне скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струны, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность неуловимого разумом и не отравленного стерегущим сомнением. В булочной Филиппова на Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатно. В окнах книжного магазина ответы на все улыбались синими,

серыми и желтыми обложками, московский ванька обожал свою лошадь и уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натываясь на камни быков, напоминала морщинками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, и за рекой живут, как живет и вздымается в дыхании грудь всей земли, заселенной мудрецами и рыжей bestолочьё. Потом — но только потом — эти камни, окна, книги, мосты, серые глаза, дышащие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги и вавилонские башни, крохи познаний и бездны невежества, биржи, самолюбия, подвиги и все слова, предметы и понятия взорвутся, сольются в клокочущую кашу из металла и тел, испепелят веру, изнасилуют любовь и волосатая рука покажет наивной вековой мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем, — но это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки, — и был прав, не угашая слишком рано надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел домой, забыв, что керосин не куплен, сидевшая на лавочке женщина с приветливой хрипlostью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прибавил шагу и, поднявшись на воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Рано утром я стучу в дверь комнаты и бужу юношу, доставленного мною на станцию «Молодость». «Не позабудьте, — говорю я ему, — что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь «милостивым государем». Его глаза сияют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузнецом своего счастья и, спускаясь с лестницы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполнена, мне некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железнодорожного пути. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меня задерживает раздумье и излишек досуга. Водяная поверхность покрывается салом, побережье белеет, — и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меняю маршрут и иду на Самару и Уфу. На станциях продают кустарные изделия из чугуна, слюды и каменной соли: рядом чертик и Евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала — хотя и на ровном месте уж не обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспоминания связаны с Челябинском, — кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь в первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа — Азия». В Екатеринбурге с детской страстью я люблю переливчатыми камушками, горками горного хрусталя и почками малахита. Черные прожилки на темной зелени пробуждают непонятное беспокойство, и мне хочется скорее добраться до еще более знакомых мест. Обратный столб «Азия — Европа», потому что раньше был только этот кружной путь из Москвы на родину, и он был прекрасен. Запущенные снегом бесконечные лесистые края, нетронутая природа, чистый воздух орлиных гнезд. Путь к камским берегам ведет по понижающимся отрогам, тропинками, протоптанными арестантской беглой шпаной. Поздним ве-

чером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войти; за дверью слышен как бы удар молоточком: женская рука разбивает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, и его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту — передать привет от нового «милостивого государя», который очень прилежно слушает лекции. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей из города, мимо кладбища, в глубь леса. Привет черепу бедного Йорика! Детьми мы делали из деревянных роготок и каучуковых трубок отличное орудие, которым разбивали чашечки телеграфных столбов на сибирском тракте — не зная, что это называется преступлением. Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка и глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голоса жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой — с него спуск к речке. Отец носил летом костюм из чесучи и широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с приборами: коробки для растений, совочек для их выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ — когда шли открывать родники. Временный желобок отец делал из бересты; всегда с нами резиновый стакан — пробовать воду, сладка ли, — она всегда была сладка и освежающая!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок истрачен и его нити воспоминаний не хватит на дальнейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кинофильма. Мы выбираем сырой склон, где особенно пышна растительность и богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, и мы ждем, не появится ли в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краски туманятся, в глазах рябит дрожащая сетка, и последнее, что я слышу и помню, — очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

— Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, и кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

— Отсюда в речку, из речки в Каму, из Камы в море, из моря вернется сюда же легким облачком...

Отец смеется, достает резиновый стакан и первым пробует воду. Затем отпиваю я, и занавес бесшумно опускается.

МОЛОДОСТЬ

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящих строк с зачеркнутыми словами и надстрочными добавками, вечно

вязать нескончаемое кружево мысли и слов, — эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если детство и юность, всегда овеянные поэзией, вспоминались с легкостью и для них находились избранные слова, то в зрелые годы — это уже не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не написанная и отложенная в сторону книга. Их не отделишь с простотой и полным спокойствием от дня сегодняшнего, который просится в последнюю графу человеческих сроков, в рубрику подкравшейся старости, — что ни говори, как ни старайся преувеличением недугов вызвать возражение зеркала: «Вы удивительно сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизни поперечные трещины, она давно распалась на части, и не все в ней кажется действительным и своим. Есть такое насекомое медведка, маленький жестокий вредитель-корнеед; огородники уверяют, что разрубленная пополам острой мотыгой медведка, прожорливость которой знаменита, иногда съедает отделившуюся часть своего туловища. Со мной постоянно происходит подобное: отрезок отдаленного прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным материалом, и, если исключить его из жизни, я не почувствую ни боли, ни сожаления. Мне кажется забавным этот белобрый московский адвокатик, отравивший для солидности бородку и носивший много длинных званий, почтенных и неудобнопроизносимых: «помощник присяжного поверенного округа Московской судебной палаты», «присяжный стряпчий коммерческого суда», «опекун суда сиротского», «юрисконсульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бедных» и многое еще. В возрасте двадцати пяти лет мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынешним тридцатилетним, сорокалетним мальчикам, все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю не в укор и не в поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлинится и период к ней подготовки. Сорок лет казались нам пределом молодости и живой силы. В этом возрасте люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движением и не хотели замыкаться в технической узости, были непременно романтиками и, конечно, революционерами. Позже, в эмигрантские годы, живя в Италии после крушения революции пятого года, я попросил однажды приятеля, итальянского адвоката: «Укажи мне хороший курс итальянской литературы». Он удивленно ответил: «Я не филолог, я юрист». — «Мне не нужно книг специальных, укажи обычный хороший учебник». Он повторил: «Да ведь я же адвокат, откуда мне знать?» И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общих. Я, наверное, мог бы указать ему лучший курс — хирургии, физики, философии, даже руководства по столярничеству или рыбной ловле. Но и в своей профессиональной области мы не искали непременно карьеры и заработка. Я несколько побаивался больших выступлений и очень

любил кропотливые делишки в мировых судах, где была так очевидна помощь юриста бедному тяжebníку, не разбиравшемуся в статьях закона, где было можно героически обрушиться на подпольного ходатая по делам, тянувшего с клиента деньги, невежественного и полного самоуверенности, пока он не сталкивался с подлинным, хоть и молодым, юристом. Я с горячностью и волнением защищал процельгу, поклявшегося мне, что он не крал пальто с вешалки и что он — жертва навета. Судья, доверившись моей искренней убежденности, оправдывал моего клиента, который потом приносил мне скромный гонорар: серебряную ложку, очевидно тоже им украденную, а впрочем, она оказывалась фальшивого серебра. Я смеялся, но продолжал и впредь верить. Случайно, по указанию какой-нибудь кухарки, видевшей на двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мне владимирские мужики, строительные рабочие, бородатые, тяжелоногие, и я вел дело их артели, обиженной подрядчиком, и чувствовал себя защитником прав трудового народа. Я не брал с них денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и, выиграв дело, взыскав с нечестного подрядчика недоплаченные им гроши, я сиял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей молодой солидностью. Я не хвастаю добродетелью — я был точно такой, как все недурные люди моего времени, из средних общественных классов, — прежде всего «служители правды и справедливости»; это придавало жизни особый вкус и нисколько не мешало нам к сорока годам обрастать более жесткой кожей и переходить в стан удовлетворенных, умеренных, растивших брюшко, но все еще считавших себя и жертвами и врагами «режима». Все же были и такие, которые до старости оставались поэтами, будем с ним справедливы. Еще и сейчас встречаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих песен, они пьют водку, настоящую на перце, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давно приколола их кнопками к семье, к делу, к бесконечно катящейся по проторенной дороге жизненной тележке. Бесценные товарищи, просчитавшиеся мечтатели, кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудачков! Полный к ним нежности, я горжусь своим с ними кровным родством, хотя события личной жизни рано выбили меня из их рядов и вообще из русской жизни и унесли наблюдать жизнь чужую, — только наблюдать, сердцем в ней не участвуя.

Я вспомнил о своем кратком, трехлетнем адвокатстве, так как с чего-то нужно начать рассказ о зрелых годах. У меня была приемная, был кабинет, были телефон, пишущая машинка, копировальный пресс, портфель, фрак со значком, настольная библиотека юридических справочников, деловые обложки с моей фамилией, медная дощечка на внешней двери, эмалированная на улице. Я защищал, взыскивал по безнадежным векселям, писал великолепно составленные письма «с совершенным почтением». В швейцарской «здания судебных установлений» был у меня свой крюк на вешалке, с наклеенной над ним моей фамилией, которую швейцар иногда помнил, на вешалку не глядя.

Я работал самостоятельно, независимо от патрона, ведшего лишь большие дела и не имевшего для меня маленьких. Я выезжал иногда в фабричные городки, где рабочие протягивали мне культипки рук, искалеченных текстильной машиной, давал купеческим приказчикам советы по коммерческим делам, которые они знали гораздо лучше меня, мирил наследников, полюбовно поделивших доходные дома, но поссорившихся из-за произвольно зарезанной свиньи и кучи старого железа, опекал сирот, бродил по камерам участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшие по снежной московской мостовой, и об одном проведенном мною деле была газетная заметка. Но очень скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди, бежавшие с политической каторги, на машинке отстукиваться тексты пылких и буйных прокламаций, которыми затем набивался мой адвокатский портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое звание — для прикрытия общения с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на клиентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год — год Московского вооруженного восстания. Не будет последовательности в моей жизненной повести. Нет, я не буду рассказывать о революции. Вообще не буду рассказывать — мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живем в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно его заменивших; я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампы с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удастся по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов, — чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность, внешний оттиск внутренних переживаний, воплощенные жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную историю. У меня ничего этого нет, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все, что меня окружает, до неприличия молодо, ему не больше года. В груди писем только недавние даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись

при очередном кораблекрушении, я подплывал к незнакомому берегу и из веток незнакомое дерева строил очередной шалаш. Затем, осмотревшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сеет семена хлебных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даниэля Дефо это случилось только раз, — как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человеческая жизнь! Затем он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр и мозолил ближним уши рассказами о своем необычайном приключении, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой соседской прислуги. Вариант — Дон Кихот и Санчо Панса; романы должны кончаться хорошо. В действительности люди богатой жизни нередко умирают на промежуточной станции или под забором, — но не стоит говорить чувствительно. У меня много времени, и, если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до которого в порядке последовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из истории самой свежей катастрофы, впечатления которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лет на восемьдесят назад, к шестидесятым годам прошлого века. Мой отец, молодой юрист, провинциал, увидел в театре, в ложе уфимского губернатора Аксакова, красивую девушку, только что приехавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный к этой незнакомке, — дневник любовных страданий. Он владел пером лучше, чем чувствами, и повесть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наследству ко мне, тем более что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена — моя мать. Тетрадь пожелтела, сохранив все благоухание юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встречах и первом ощущении полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушениях: всякий раз она неожиданно выплывала из небытия и снова оказывалась в заветном ящике моего стола. Убегая из Парижа, которому грозило унижение, я был вынужден оставить там все, что было мне дорого. Полчища Атиллы захватили город, и мои рукописи, мои книги привлекли их внимание; за полторы тысячи лет гунны не изменили своих привычек и своего вкуса к грабежам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кроме-лежавшей на полу, среди мусора, старой тетради, которую подобрали, чтобы передать мне, когда мы увидимся, — если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная, чудом сохранившаяся семейная реликвия. Вы видите, как судьба, порывая всякие связи, не стесняясь никакими кощунствами, заботливо или насмешливо сохраняет нам щелочку для дыхания, предлагая в личной жизни продлить историческое бытие. Со мной нет этой тетрадки, но она меня ждет и не позволяет мне сказать, что прошлого не было и что жизнь зародилась вот в этом крестьянском домике, в окна которого настойчиво заглядывает

французское солнце. Я подчиняюсь и продолжаю писать повесть долгих лет.

Если где-нибудь уцелела хоть часть моего жизненного багажа — в каких-нибудь важных учреждениях политического сыска, да будут они все прокляты вместе с их изобретателями! — то среди вещей, вещей и бумаг могла бы оказаться фотография молодого человека, худого, долговолосого, в платье с чужого плеча. Он сидит в саду, в плетеном кресле, и направленный на него объектив аппарата нипочем не уловит его душевного состояния. Это я, вышедший только что из московской Таганской тюрьмы и скрывшийся на даче у знакомых — лишь на два дня. Меня выпустил под залог следователь, свидетели которого отказались меня признать, но узнать о моей свободе могут жандармы, уже приговорившие меня к ссылке в Сибирь. Русские учреждения по подавлению личности были сложны и работали не всегда дружно; вероятно, сейчас эта часть поставлена более образцово в новом царстве свободы. Во всяком случае, завтра я пушусь в дорогу, остриженный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лет.

Только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьмы, что такое полметра кирпичной стены, отделяющей от вольного воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой железом дубовой двери и поворот ключа. Равнодушие выдавшего виды тюремного сторожа. Ломкость ногтей, царапающих стену. Бессилие ненависти, — а ведь мы проповедовали любовь всех ко всем! Керосиновая лампа в клетке под потолком, сестра-узница. Мука бездействия. Прислушиваясь — слышишь тишину, кажущуюся стоном. А может, все это только кажется? Закрыв глаза — ждешь чудесного прозрения, открыв — видишь те же стены с небрежно забеленными известью надписями предшественников. Но одна ускользнула от внимания — на обороте деревянного табурета: «На воле я друзья очень был мало жизнь проклятая заела». Писал, должно быть, вор-рецидивист. В высокое окно заглядывает голубизна отнятого неба; в проделанную в двери дырочку, откинув внешнюю заслонку, смотрит глаз надзирателя — не повесился ли заключенный. В список проклятий молодой юрист вносит: закон — произвол — суд — право — насилие — государство, все в одну рубрику, без разделов и оттенков. Сумасшедшие люди, во что превратили вы жизнь — такую радость, такое благо! Сжать виски, чтобы самому не сойти с ума. Вот так звери в зоологическом саду меряют шагами пол клетки, механически занося ногу при поворотах, всякий раз ступая на свой прежний след. Это мои братья — и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка. Отчего же сюда не приводят детей — показать им их будущее? Как-то я увидел в парижской газете фотографию слона, убившего сторожа зверинца; я вырезал портрет слона и хранил с любовью, хотя в то время уже много лет прожил без решетки. За яд, который вы влили в мою кровь, — и уже нельзя ее очистить, я всю жизнь старался это сделать! — за этот яд я высекаю на камне, выжигаю на дубовой доске.

отливаю в свинцовые буквы свой список проклятий, с тех дней до пределов маленькой человеческой вечности. У меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, я сорвал бы замок и с его двери.

Бессильны мои строки, мои выкрики. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взвешенными, может быть, расчетливо-злыми и ядовитыми словами можно передать свои негодующие мысли; крик ранит только детей и женщин. Но я пишу не произведение — я пишу жизнь. И мне трудно обойтись без отступлений. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых играют пальцы!

Дальше — только пятна памяти. Я в сером пальто и серой, на лоб надвинутой кепке, в своем тщательном маскараде больше всего похожий на человека, который своим таинственным видом хочет привлечь внимание, то есть хочет того, чего меньше всего хотел бы. В Петербурге прямо с вокзала на финляндский пароход. Со мной нет никаких вещей; впрочем, у меня вообще ничего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребывания в тюрьме все, что не было украдено полицией, украдено дочиста, до последней нитки, другими профессиональными ворами. И на этих последних я не обижен: они — мои братья по тюрьме, и от них я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в Восточную Сибирь; служил раньше, служит и посейчас. Через мой родной город гнали пешком арестантов, доставленных по реке на барках. Так и говорилось: «гнали»; говорят так про скот и про людей необычной, бунтующей воли. Арестантские песни были у нас в почете. Вообще мы, русские, странные люди. Когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались и помогали любому побегу. Наши сибирские крестьяне называли арестантов «несчастненькими», купцы и богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. В Париже я долго жил близ тюрьмы Сантэ и никогда, проходя мимо нее, не упускал подумать: как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во все стороны разбегутся заключенные! Среди них немало негодяев, хотя, конечно, не больше, чем среди тех, кто их лишил свободы. Я охотно спрятал бы у себя бежавшего из тюрьмы бандита. После он, вероятно, обобрал бы меня, может быть, прирезал; но, конечно, не это может меня остановить. Вам такие слова покажутся назойливо-дерзкими, такие мысли парадоксальными; но от вас, защитников принципа свободы личности, я отличаюсь только последовательностью и откровенностью.

На пароходе я притворился иностранцем, вернее — немцем. Перегон был невелик, и в Гельсингфорсе я был по-настоящему свободен. Еще просыпался ночью при малейшем шорохе: мне казалось, что сейчас загремит ключ в замке тяжелой двери или дежурный уголовный арестант откинёт в этой двери форточку и весело крикнет: «Кипяток!» Но утром гулял по Эспланаде

и любовался румянцем и сытым видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой и йодом. Если бы не застенчивость, я вспрыгнул бы на уличную тумбу и, взметнув руками, закричал: «Сейчас улечу — я свободен!» Я был почти в Европе; и Европа казалась мне... я еще совсем не знал Европы. Я только что родился. Финляндия — прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать книгу ее законов; эта картина висела в моем адвокатском кабинете. И вот я в Финляндии.

У меня нет при себе не только любимых старых вещей, книг, материнского портрета и дешевого, стоимостью в одно су, купленного на базаре колечка, которым мы, шутя и серьезно, обручились с моей будущей женой, — у меня не осталось даже образов жизни, не использованных вразброс по моим книгам и очеркам. Все, что я сейчас пишу, мне кажется уж рассказанным когда-то, по какому-то случайному поводу, — мы так нерасчетливы, бедные трудовые писатели. Какой-нибудь придуманный человек на страницах моей книги, наверное, смотрелся в спокойную воду у берегов Финского залива, жил на островке финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей, и, торопливо раздевшись, бросился вниз головой с вылизанного временем и волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть некоторое время в славном обществе щук, карасей, корюшек и салакушек. Не без удивления он спрашивал почтенную хозяйку, для чего она привешивает светлую шерстинку к висячей люстре и почему так часто ее меняет, — и проникался уважением к чистоплотности отменного народа, узнав, что это — скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на висящие предметы. Может быть, я даже рассказал где-нибудь, как по улицам финской столицы бродили русские сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в каком-нибудь подъезде дома динамитом, который в спальнях подушечках или под корсетом провозили в Петербург революционные девушки, одетые светскими дамами, заставляя дрожать министров и обитателя Зимнего дворца. Мы жили в Финляндии недолго, меньше года, и я не успел обрасти вещами — помешала бедность и мечта о скором возврате в коренную Россию. Но вышло иначе, и однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывавший к берегам срединной Европы; Финляндия лишь в слабой степени пользовалась автономией управления, и положение русских политических беглецов не было в нем прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, привыкших к пространствам, она лишь маленький мирок, правда, тесно заселенный и насыщенный историческими словечками. Она светлива, буржуазна, домовита и считает минуты за время — мы швыряемся часами и днями, не придавая им ценности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти так же, как жизнью, — нам, голым героям, это казалось смешным. Но она, тогдашняя (уже давно нет той Европы), очаровывала нас свободой, какой мы никогда не зна-

вали, ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, не перекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Дания, затормозился поезд на франкфуртском вокзале — и вот белым корабликом заколебался лебедь на Женевском озере. В калейдоскопе прыгали и пересыпались разноцветные стеклышки. Это и есть Монблан? Какое нагромождение прекарных безделушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагоне, чтобы навестить свою мать в дни университетских каникул; здесь в сутки мы пересекали несколько государств. Мы обращали на себя внимание и внешним видом, и громким говором; это так естественно: возвыщать голос в Киеве, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европе тридцать лет, ее масштабы давно мне знакомы, — но до сих пор иногда ощущаю себя слонем в игрушечной лавке. Франция, например, очень почтенная страна, но все же она меньше губернии, в которой я родился; губерний в России было восемьдесят. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правительством нынешней России, как не дружил с правителями царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное, чего, к счастью или несчастью, не случилось. Но на карту Евразии я очень люблю смотреть, вымеряя пальцами какую-нибудь горделивую страну и пытаюсь впахнуть ее в уезд Пермской губернии, который на лошадях, дважды в год, объезжал мой отец по своим судейским делам, прихватив служащего и мешок с морожеными пельменями. Что скрывать — российское «мы-ста» во мне живет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы да кувырком через голову прокатиться «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральский. Громадна наша страна, и я понимаю европейцев, которые называют Сибирь русской колонией: им завидно, а Сибирь самая подлинная Россия, ее не оторвешь. И мы — люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшие к жаре и морозу. Если бы Россия не была из века в век деревянной и горючей, она задавила бы мир архитектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведения счетов с мурашиками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мне поклонятся, а я, по природному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню — мы народ отходчивый.

Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарин, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лешему, и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без кичения голубыми кровями, без поклонения гербам, — природные демократы. Только мы знаем, что такое весна; и журчаньем ручьев,

стрекотом мушых и жучьих крылышек озвучена и наша, и скандинавская литература. Из сердец наших — ударь кинжалом — брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французский сидр и не патока с примесью курортных вод. Думаю, что на этом можно и закончить восторженное бахвальство.

Оно несколько отвлекло меня от картин бегущей ленты кинематографа. Снега Савойи. Сен-Готардский туннель. Поезд вылетает на вольный воздух и катится под гору, прямо от зимы на лето. Теплая ночь в отеле — от мельканья чужих пейзажей и усталости голова плохо соображает. Но наутро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его уместиться в сознании, и я впервые в жизни вижу апельсин не в магазинной ящичке, а на ветке. Это — Нерви, итальянский прибрежный городок, позже мне отошневший. В полдень местный поезд увозит нас в другое местечко на той же Ривьере, где уже снята вилла для небольшой компании русских беглецов.

Я не Бедекер, чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с затибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая приз за красоту — за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, — тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры — я его называю по-своему, — и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть, — о *gioventu, primavera della vita!*¹ Среди двухрядных перлов блеснул золотой зуб... Раскланиваюсь издали и отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан и, по совести говоря, азиаты умеют чище оттяпывать головы тем, кто им не по вкусу.

Немало горечи в моих словах. *Amor che a nullo amato amar perdona...*² Но времена поэзии прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машиной, и мальчик, одетый

¹ Юность — весна жизни! (Итал.)

² Любовь, любить велящая любимым... (Итал.)

в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: *il purgatorio, avanti chi scende!*¹. Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать историю виллы «Мария» на средиземном побережье, чтобы не обратить моей повести в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширного сада, запущенного, разросшегося, в котором пестрели цветы и наливались плоды без ухода, по воле; часть сада нависла над выходом из железнодорожного туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поезда и снова проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было — в голубую воду гляделись глыбы серого острого плитняка, они же синели под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту и соленая пыль через весь сад залетала в наши окна. Летом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимнего купанья. Все мы были работниками, писали статьи и книги для российских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах сменялись проезжие гости, преимущественно беглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище — заброшенная домашняя капелла с каменной Мадонной на престоле, служившем мне складом книг и рукописей. В раковине при входе, в воде не благословенной, зеленели «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нише подземного ручейка, вытекавшего из сада. Здесь я проводил летом ночи за работой до утреннего общего купанья, здесь же в полутьме и прохладе отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были все и нередко под утро собирались в нашей обширной кухне и устраивали «макаронаты» с фьяской красного вина. Общей болезнью была ностальгия, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглавлял старший из нас по возрасту, известный экономист; заботливо находивший нам работу, человек одинокий и большой труженик, подобно нам — выброшенный за борт русской жизни. Из России получали невеселые письма, убивавшие в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда молодежь в России, отойдя от революции, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угаре, в половых опытах, в кружках самоубийц; эта жизнь отражалась и в литературе. Когда вести были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доске садового стола и смотреть на чужое звездное небо. В день жаркий я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его ветвей,

¹ Вперед тот, кто спускается! (Итал.)

ел накаленные солнцем, сочившиеся сахаром фиги и дремал. На высоком обрыве через мою голову пролетел вниз человек; я вскрикнул и увидел, как он уцепился руками за выступ площадки и, смеясь, повернул ко мне скуластое лицо; он хотел испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был отцом двоих детей и видным литературным и партийным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и решил выкупаться в пене; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, где в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды; недели через три он снова мог купаться. Мне захотелось подняться в сад от самого моря по крутому отвесу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытаться судьбу. На середине подъема посыпались камни, и мои ноги повисли в воздухе; одна рука еще цеплялась крепко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затем камень, за который я держался, стал уступать и медленно отделяться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велел ногам дрожать, потому что тогда хотел жить. Я спасся и наверху долго лежал на траве. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обещал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы решили разъехаться: часть в недаленое местечко, часть в Париж, часть тайно в Россию. Молодой астроном, долго живший с нами, талантливый человек, нежный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уехал в Петербург с паспортом итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное накануне казни, лишь в одну строчку: «Saluti dall'altrove»¹.

В какой-то день я взбирался по крутой лестнице на пятый этаж дома, населенного мелкими чиновниками и рабочими в Риме, против ватиканской стены. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались приветливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой. Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello², теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Риме и в мире. На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков,— была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был «*sof avvocato*»³, для самого себя — писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которые посылал в Москву. На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти, и влечение к перу, сказавшееся еще на гимназической скамье. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни.

¹ «Привет с того света» (итал.).

² Луга Кастелло (итал.).

³ Сеньор адвокат (итал.).

И новая жизнь началась.

В своей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область — чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовое колечко с каплей красного сургуча вместо драгоценного камня; всему остальному — почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, наросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света — за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором «Вниз по матушке, по Волге»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера, — и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры.

Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую, Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, Ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска «Sposalizia»¹ в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме — еще были целы в домике шесть дубков, слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино Фраскати от его орвьетских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пиппо, певцом кабачков, просидел диван в кафе Аранью. При мне родились в римском музее «Девочка из Анцио» и «Киренаикская

¹ «Венчание» (итал.).

Венера», которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак *pizzi*¹, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Рим приезжало много русских, которые навещали старожила, и связь с Россией была прочна — хотя заочна. Вернуться я не мог — для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорно, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим *zabaione*² толстый падроне сор Анджело, и так свежа была вода лучшего акведука. Только летом я ненадолго изменял Риму для пляжа Средиземного моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европе, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал восставшим албанцам, слушал в Загребе жалобы хорватов на сербов и мадьярский архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь или просто удивлялся Парижу, катался на лодке по швейцарским озерам, сидел перед кружкой в мюнхенской пивной.

Вероятно, я был счастлив, хотя и считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человека, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, где так свободно дышать и в редких домиках живут необычные, совсем не знающие других миров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше, — мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал малосвязные слова или напевал песню, уже не русскую, русские забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорее согреться. Для здоровых ног был одинаково легок и подъем, и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся Западная Европа — не резная ли табакерка, умещающаяся в кармане?

Затем опять — дом, моя уже немалая библиотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской речи, отличиям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим *Romano di Roma*³. Любезнее Данте мне были сонеты Белли и Чезаре Паскарьялла да римские *stornelli*⁴, порой будившие по ночам.

¹ Пицца (итал.).

² Заварной крем (итал.).

³ Римлянином из Рима (итал.).

⁴ Народные песни (итал.).

Кабачок сора Анджело назывался *Roma sparita* — «Исчезнувший Рим». Обширная полутемная комната, в которой сидели только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданиями и превращенный в виноградник. В стены вклеено несколько античных барельефов, может быть, найденных хозяином в Римском поле, а может быть, купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались англичанам за подлинные. В углу фонтан чистой воды, в клетке редкая птица — сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бедности, как и в дни благополучия, я был самым верным клиентом «Исчезнувшего Рима», своим человеком: здесь столовался, сюда приводил заезжих гостей — редкий русский писатель, побывавший в те годы в Риме, не знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, летом прохладно и уединенно. В последние годы моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо — кусок России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рим и другие города Италии три тысячи; мои помощники читали им лекции и показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная и отградная.

Был июнь четырнадцатого года. В кабачке сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг другу горло, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тел, перемешанные с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братские могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села и деревни; беженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганные дети. Я увез их в Венецию, где ждали еще другие, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцарии. Нужно было снять целиком два парохода на Одессу и уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Две недели кошмара и нечеловеческой работы. Когда отошел второй пароход, с которого мне махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда, — Россия была в войне, скоро могла выступить и Италия, а я оставался за бортом событий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины.

Нейтральная Италия — центр европейской информации, посредник всех связей; я завален работой. Промелькнул год. Невозможная мысль — пуститься в путь кругом Европы и явиться к призыву в России моего класса. Во мне нет никакой воинственности, но десяти лет достаточно, чтобы соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независимое положение, привычную обстановку, уже немалую собранную библиотеку — и с цветущего юга поехать на север, через еще незнакомые страны, затем

на восток, в свою страну, на полную неизвестность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вечного города прямо в вечные мерзлоты, — разве это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мне заслуживающим внимания и интереса.

Мой поезд провожало несколько римских друзей. Один из них, русский эмигрант, но итальянский адвокат, поднес мне букет красных роз (мы признавали только красный цвет!); от имени всех он сказал мне напутственное слово и обнял на прощанье. Полтора годами позже, в дни революции, я узнал из захваченных бумаг полицейского сыска, что этот человек успел послать донесение о моем предстоящем приезде в Россию: он был агентом тайной русской полиции. Иудино лобзание! Но я не собирался скрываться, я ехал напролом: на родину, не выражая раскаянья, ехал блудный сын; он мог там на что-нибудь пригодиться — или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мне не было еще сорока лет.

Я еду с легкой душой и легким багажом: все, что можно, оставлено в Риме. У меня нет почти никаких документов, — но Европа, даже воюющая, еще не причудилась считать человека приложением к его бумагам. Вообще же и я ищу приключений, обогащающих жизнь. Будет о чем рассказывать, будет о чем писать.

Снова оглядываюсь и снова вспоминаю, что было мало моментов в жизни, память о которых я не освободил бы от лишнего груза, занеся их на белые листы бумаги. Не раз писал о столицах воевавшей и нейтральной Европы в те злополучные дни, о Риме, оставленном без большого сожаленья, о печальном в те дни Париже, полном траура, молчаливом, подавленном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондоне, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переезд через Ла-Манш, не тронуты войной порты Southempton и другой, названия которого я знать не мог, так как из Лондона мы ехали по неизвестному назначенью, в темном поезде с заштенными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшего в норвежский Берген. Опять водяной дом, вышедший в море ночью, спасательные пояса, разговоры полупшепотом, как будто мог нас услышать неприятель. Исполнилось мое давнее желание хоть поездом повидать Норвегию, страну лесов и горных озер, — она предстала пред нами в утренний ранний час, в полутумане берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем, эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интересного, и поездка по Европе казалась пустяком. Осло звался тогда Христианией, серый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольме я задержался на целый месяц: я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы по-

пасть в тюрьму, и решил использовать думские знакомства и влияние моей газеты, чтобы на крайний случай подготовить себе если не свободный въезд в столицы, то продолжение путешествия на свой счет, без провожатых и без этапов, до Туруханского края в Сибири, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лет. В самый длинный день в году я был наконец в Хапаранде и Торнео, где солнце скрылось только на час и снова выплыло сонное и неотдохнувшее. При его свете пожилой жандармский офицер писал протокол, пока я старался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мне, что получил телеграмму о моем пропуске до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, и, когда поезд, из-за меня задержанный на границе дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя именинником. Еще задержка в Белоострове, личный обыск в жандармской комнате и рукоплескание моих соседей по вагону, когда я, руки в карманах, вернулся в вагон, а за мной нижний чин доставил и мои обысканные чемоданы. Несмотря на эти задержки, чувствовалось, что Россия уже не та, какой я ее оставил, и что в ее полицейской машине нет прежней уверенности.

Дым отечества пахнул мне в лицо на необычайно грязных улицах Петербурга — я отвык от России и сразу примечал ее недостатки. Мне был сладок и приятен этот дым отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, вез меня по улицам самый настоящий русский извозчик. Он вез меня в дом знакомых, где меня ждали не без волнения; но я не волновался, так как еще не понимал ясно, что случилось и куда я попал после долгой дороги, тянувшейся не то два месяца, не то все десять лет. В данную минуту я был свободен и мог назвать извозчику любой адрес: остальное меня не занимало. В Петербурге сейчас белые ночи. Я не обязан больше думать и говорить по-итальянски и к первому встречному могу обратиться с вопросом на родном языке. Все это похоже на сказку, но дворник, который метет улицу, в его рваной и штопаной полуформе, похож на русского мужика. Я еду на Васильевский остров. Если все это действительно так, то жизнь делается очень занимательной. Петербург — холодный и неприятный чиновничий город, а вот Москву увидеть хочется. Подхватив пишущую машинку, с которой я не расставался, и небольшой чемодан, предоставив остальное заботам извозчика, я поднялся на второй этаж и позвонил.

Поставив в тексте черточку на середине пути — *nel mezzo del cammin*¹ — это как бы каменная тумба с отметкой расстояния, — я пью слабое и кисленькое французское вино, *vin gris*², которое предпочитаю тяжелым и пьяным. Городок спит, натрудившись за весенний день. Глубокая ночь. Кто-то упомянул о Пе-

¹ Земную жизнь пройдя до половины... (Данте Алигьери. «Ад». Песнь первая.) (Итал.)

² Сухое вино (фр.).

тербурге, если это мне не послышалось. Но Петербурга в то время не было, был Петроград, как теперь Ленинград. Работа великого мастера, подписанная реставратором. Все это до удивительности не важно и не имеет значения. Спит французское тихое местечко, в котором минувшей весной был артиллерийский бой, разбивший снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить новый — разом за обе войны, и это экономнее. Возможно, что именно здесь и закончатся мои странствия, хотя мое желание не таково. «В середине пути нашей жизни я очутился в дремучем лесу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со мной в ручном чемоданчике были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте и «Размышления» Марка Аврелия. Таможенный чиновник, изображавший одновременно и цензора, повертел в руках один томик, не понял, осведомился и вернул мне; понадеялся, что книжки не страшные, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвенники. Я кое-как цитирую наизусть Данте, язык которого мне ближе знаком, но Марк Аврелий писал, к сожалению, по-гречески; и, однако, римский император помогал мне в земных испытаниях, этот мудрый и уравновешенный стоик, впрочем, не столь уж дальний родственник скептического автора Экклезиаста. «Если страдание непереносимо, оно убивает; если ты его выдержал, значит, оно переносимо». На стене, грубо оштукатуренной и сильно закоптелой и запыленной, висит отрывной календарь, доску которого я расписал знаками зодиака. Опять весна, но четвертью века позже. Здесь со мной нет ни книги Данте, ни Аврелиевых сентенций; оба томика пропали при одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко и дорого; обычно для меня это книги и непутевые, ничего другим не говорящие вещи и вещицы. Катастрофой же называется и другое, что трудно объяснить и сложно излагать. В городке, растянутом по течению реки Шэр, до трех тысяч жителей; возраст его — много столетий, но он как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повести о жизни до рассказа о том, какими ветрами занесло меня сюда. Городок спрятался в самом сердце Франции. И если мне в нем не очень уютно, это не его вина.

Как тогда, в Балтийском море, на пути из Финляндии в Европу, боковая качка, головокружение, и кажется в тумане, что пароход стоит на месте. Или как много позже, в заливе Финском, в компании самых мирных людей, изгнанных из СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями, — и тоже туман и неизвестность впереди. Зачем-то и за что-то разрушенные жизни, разметанный быт, которому пора бы уже стать покойным, и ужасная оскомина на душе от всех этих «исторических событий», о которых будут писать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на беды и горести пострадавших от них букашек. Весна стоит холодная. Мне все — все равно. Я не уверен, нужно ли еще

думать, вспоминать, писать. Я безмерно устал от этих жизненных перегонов, подъемов, спусков, путешествий, накоплений и потерь, встреч и разлук, от туманов, от воя паровозных и военных сирен, от писем, от чужих несчастий, от бега часов, срыванья календарных листочков, от вечных записей жизненной прихода-расходной книги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о минуточке, господин палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашний Петроград показался мне забавным, но милым своей нелепостью. Я не имел права в нем жить, но уже на второй день приезда сидел в журналистической ложе Государственной думы и слушал искусно построенные речи депутатов, боязливо делавших революцию, в которую не верили ни они, ни не уважавшее их правительство. Но все-таки война спутала российскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себе: надо мной висел заочный приговор к ссылке в Восточную Сибирь — это подтвердил мне товарищ министра внутренних дел, которого я удивил чисто европейским телефонным звонком и сообщением о моем приезде; в России это считалось непозволительной дерзостью. Я просил его принять меня и, приехав, разрешил его дактило разрешительную бумажку на проезд в Москву; он удивленно подписал. «Но вы не имеете права жить в Москве, вас вышлет оттуда командующий военным округом». — «Я и здесь не имею права жить, однако вы меня почему-то не выслали». — «Да, это верно, но случай добровольного возвращения эмигранта как-то не предусмотрен; тогда уж поезжайте в Москву скорее». — «Я уеду сегодня же, а там увидится». Он согласился, и я понял почему: я был все-таки европейцем и корреспондентом крупной газеты, а Россия была союзницей великих демократий и делала им глазки.

И вот наконец Москва, мой настоящий родной город; для многих родиной делается город их университетского посвящения; для меня, сверх того, Москва была городом посвящения революционного и первым этапом взрослой жизни. Здесь был разрушен мой первый оседлый быт, здесь я создам себе третий, разрушив второй в городе Вечном.

В редакции моей газеты («Русские ведомости») сидели мудрые старцы. Они сказали мне:

— Вы давно не жили в России. Поезжайте ее посмотреть и не торопитесь о ней писать. Вернувшись, побываете и на фронте.

И я поехал. Вслед за мной ехал приказ о моем задержании и высылке, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, объехав весь север Европейской России и побывав на Западном фронте, я вернулся в Москву, приказ еще кочевал, потеряв мси следы. Я успел снять квартиру, прочно обосноваться, писал, читал доклады о европейских настроениях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только накануне революции догнал меня приказ, так и оставшийся невыполненным.

Но мне хочется вспомнить, что вспомнится о месяцах, проведенных в дороге, о той России, которую «умом... не понять» и «аршином... не измерить».

Как всякий поэт, Тютчев, конечно, преувеличивает: пространства России измерены и умом ее понять можно. Но «стать» у нее действительно особенная, потому и не понимал ее до конца полупетербуржец-полуиностронец, полупоэт, получиновник, писавший иногда превосходные стихи на слабом русском языке. Давно изжив квасной патриотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас выдумаю, вероятно, и я. Ее хотят представить себе целиком, — а цельной России нет и никогда не было, она состоит из нагромождения земель, климатов, гор, равнин, народов, языков и культур. Ее изображают медведем; с тем же успехом можно изобразить и белугой, снопом, жаворонком, виноградной лозой, почкой малахита. Из нее, многобожной и языческой, старательно выкраивали «матушку-Русь православную», как сейчас хотят представить ее безбожницей и комсомолкой. Великолепный базар ее племен малевали «народом-богоносцем»; ее строевой и матчовой лес расщепливали на палки хоругвей; ее ширям подражали кучерской поддевкой и резным круговым ковшом; ее Ваньку-дурака, хитрую кряжистую бестию, наряжали в театральный костюм Ивана Сусанина или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальностью. Над искажением лика России немало поработали два замечательных русских классика — Гоголь и Достоевский, и не роди русская земля Льва Толстого, так бы и не видать ее подлинного лика. Едва ли не самое большое несчастье России в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая река, растет трава на заливном лугу, само светит солнце, без помощи электрических станций. Не знаю, как это было бы, но знаю, как происходило и происходит противоположное и как на головы мудрых (не умных, не просвещенных, а от природы мудрых) напяливают дурацкие колпаки. Я очень люблю Россию — ту, которую знаю, и это естественно для ее законнейшего сына, — но не уважаю за ее ленивую волю: она позволяет кататься на своей вые каждому любителю верховой езды. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника — и сейчас же позволяет взнудать себя другому. Пожалуй, действительно медведь лучший ее образ — сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздри — и танцуй под любую музыку.

Но просторы! Целый месяц я пробирался по северным губерниям через заросли деревьев и людей; и люди, и деревья были смолисты, корявы и ветвисты на один бок. С ними хорошо было и говорить, и молчать, и думать не спеша — и с людьми, и с деревьями. После европейских балаганчиков и аккуратно заглаженных на штанах складок — деревянные просторы, армяки и татарские халаты, природная кривизна линий, по воле расту-

шие бороды, великое разнообразие типов, и уж если тупость — так тупость, а если ум — так свой собственный, не из книжки с картинками. Зеленый ковер, расшитый серебряными змеями рек. Нищая рвань на мешках с золотом. Главное — нет этого душка плесени и мертвечины скопившейся тухлой истории, которая повсюду шибает в нос в Европе. Родится человек, живет, дохнет и перегнивает на сельском кладбище по всем правилам естественной науки, без надгробий и некрологов, и кладбище всегда лесное, а не штукатуренное, гнить на нем приятно. И города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свои улицы, найти в них никого невозможно, а спроси бабу — укажет. Кому это — беспорядок, но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли и на душе оскомины, я радовался нашей первобытности и нелепости нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астрольабией. Тут дело не в буколической поэзии и не в живописности, а в том, что цена цивилизации мне была уже знакома, и радовалась анархическая душа нашей неизмеримой «технической отсталости». Я тоже выдумывал свою Россию, и мне казалось, — вероятно, ошибался, — что эта Россия пойдет иными путями и к иным целям, естественно и просто, безо всяких миссионерских заданий, без кичливости, спокойным шагом. Никакого «нового слова» не скажет, а жить будем все-таки по-своему, во всяком случае — пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизация и не сделает образцовым муравейником. И я дышал, как раньше никогда не дышал, до растяжения грудной клетки и сладкой боли. Но я видел не только это. Ведался больше с земскими местными людьми — и поражался их работе. Они делали огромное дело, стесняясь его малости, воображая, что там, в Европах, где и руки не связаны, и средств больше, что только вот там работают по-настоящему; они не подозревали, что подобное бескорыстие, преданность такую и такую веру ни в каких Европах не встретишь, разве как исключение, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях, ни один врач не станет объезжать на худой крестьянской лошаденке стоверстные округа, что они — истинные подвижники и подлинные герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни материального благополучия, напротив — полная уверенность, что так и пройдет вся жизнь в медвежьем углу, и хорошо, если раз в десять лет доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городе на каком-нибудь агрономическом, учительском, врачебном съезде. И они все-таки успевали читать «толстый» журнал, осведомляться, что делается в этих самых просвещенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают и так ограничена область применения их сил: каких-нибудь десять — двадцать тысяч гектаров крестьянской земли, три сотни детских дифтеритов, пять-шесть школьных поколений, да помощь делу кустарному, да участие в кооперативном движении и, уж конечно, устройство

в своем районе, общими средствами, нескольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал и в своем родном городе, в единственном, где показался себе совсем чужим. Там большой революционный мужик, миллионщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораториями и клиниками; на открытие этого университета и я приехал. Этого миллионщика, дававшего и на просвещение, и на революцию большие деньги, что не мешало ему прижимать рабочих на своих приисках и копах,— его, кажется, после прикончили. Забавные люди жили в России! Помню одного сибирского промышленника, составившего себе огромный капитал на устройстве паровых мельниц. Туго набив мешку, он приехал в Москву, сошелся с революционерами, оттенки которых его не интересовали, и все деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было немало — попробуй их понять! В Саратове я сдружился с культурнейшим европейцем, почему-то служившим секретарем в губернском земстве. Большой знаток и ценитель искусства Востока и искусства жизни. Он угостил меня тончайшими винами и такими же фруктами, привезенными то ли из Ташкента, то ли из Самарканда; никогда после я таких не видал и не едал. Он был образованнейшим человеком, баринотом и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провели с ним ночь в одной из тех бесед, на которые способны только русские: говорили о Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Ивэте Гильбер, вятском земстве и курганных раскопках. В революции он принял самое близкое участие, но после Октября был нечаянно расстрелян: он был слишком ярко оперенным среди серых провинциальных птиц.

Кама и Волга дали мне часы и дни наслаждений,— я видел их тогда в последний раз в своей жизни,— тогда бы нужно было вспоминать и писать о детстве и юности; нашлись бы настоящие слова и живые краски. Но мои чемоданы были набиты земскими отчетами и статистическими сводками; газета требовала работы серьезной, на каждом этапе меня снабжали целыми библиотеками и подносили мне изделия местных кустарей: великолепные вещички литого чугуна, крашенных ванек-встанек, берестовые бурачки, яркие деревянные ложки, горки уральских камней, Евангелия из цельного куска соли, сладкие пряники художественной работы, детские лапотки из лыка, яйца-писанки и прочие вещички, которые после бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россия была еще только Россией — простое имя, годное на все случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как толстый и прямой побег спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть, это лучше, я не знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не пе-

ременит — как не повернуть теченья Камы, носившего когда-то и мою лодочку.

В Москве меня спросили:

— Ну, понравилась ли вам Россия?

Я ответил:

— Лет бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приехал иностранцем, а теперь чувствую, что тутошний. Тутотшим хотел бы и остаться.

Я со смущением приступаю к дальнейшим запискам о жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствии настоящего, в легком от него уходе. Русский летописец живет в келье под елью, иностранец в башне слоновой кости. Моя деревенская хибара стоит на берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную; и из-за реки доносится немецкая речь. Это можно преодолеть, но нельзя вообще отвернуться от свершающейся истории, и мои записки легко могут превратиться в дневник.

Я вернулся в Россию в день летнего солнцестояния, 22 июня 1916 года. Сегодня тот же день солнцестояния двадцатью пятью годами позже. В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с бою немцами; мы были здесь и прятались в лесочке на самой линии артиллерийского боя. Нынешним утром я вспомнил об этом, перечитывая раньше написанные страницы, — но утром мы еще не знали, что в день летнего солнцестояния Россия вступила в новую войну.

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот страшный и волнующий день, я пытаюсь думать только о прошлом. Может быть, это не так уж и трудно. Вглядываясь в собственную душу, вижу, как она утратила способность в полной мере отзываться не только на то, что называем «историческими событиями», но и на изгибы судеб моей родины, для которой сегодняшний день станет роковой датой. Это не эгоизм и, конечно, не равнодушие; это — крайняя усталость и как бы уход в потустороннее. Да я и не знаю, чего желать России; она превратилась для меня в символ, и уж не ощущаю ее живой. Я любил землю, но не в ее ясных границах. Земля останется, останется и русский язык, на котором я говорю и пишу. Исчезнет много людей — но с ними давно нет общения, — и на смену им придут новые. Победительница или побежденная, раздвинув свои пределы или распавшись на клочья, Россия останется для меня прошлым даже и в том невероятном случае, если я еще успею ее увидеть. Не все ли равно, что происходит сегодня и предстоит завтра, если дальше еще бесконечный ряд будущих дней недоступен нашему сознанию; где-нибудь нужно поставить межевой столб духовного своего имени.

Так рассуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный покров, старается ему не возражать. Оно будет подсматривать в щелку, но будет сдерживать свои биения, попытается быть примером благоразумия и выдержки. Если не всегда это ему

удастся — его не осудят те, с кем оно билось когда-то согласным трепетом. Я деловито хмурю брови и продолжаю.

У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли во Франции под Парижем, где разбит нашими руками сад, кажущийся нам очаровательным. На участке я выстроил из тонких стволов спиленных деревьев избушку для хранения садовых орудий, а при избушке навес, чтобы укрыться от дождя. После милых людей это — самое любимое из оставшегося в жизни. У меня были еще книги, которые я собирал годами и терял при очередных катастрофах; из них последняя пережитая совсем недавно, когда я и моя жена пришли пешком с железнодорожной станции маленького города в другой городок через неприятельскую линию, пронеся с собой чемоданчик с переменной белья, коробкой консервов и бутылкой чистой воды, — и это было всей нашей сохранившейся собственностью; все остальное погибло в Париже — библиотека, архив, картины, вся обстановка нашего трудового уюта. Если бы мне пригрозили сейчас лишением всех жизненных благ, я бы от души рассмеялся. Правда, я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без дешевого вишневого мундштука, но, в конце концов, и это лишение было бы не страшнее пережитых неоднократно. Что касается благ иных, не материальных, любви, дружбы, духовной связи с такими же бедняками и тружениками, каким всю жизнь был я, что касается моих дум, уверенностей, житейской философии, что касается поэзии, единственного полного распорядителя и единственной подлинной цели жизни, — то ведь этого отнять никто не может; с этим рождаются или этому приобщаются и с этим уходят в бесстрастие великого Востока. Тому назад четверть века, в дни после октябрьского переворота в Москве, я зашел вечером навестить старую женщину, пианистку, жившую в переулке близ Трубной площади в невзрачном домике, где она обставила себе уютно квартиру из двух комнат; одну из них почти целиком занял рояль. Все, что она имела, было приобретено ее заработками — уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, строившие новую, счастливую жизнь в России, и забрали все имущество, не успев увезти, за громоздкостью, только рояль, но обещав за ним вернуться; впрочем, ей оставили еще диван, на котором она спала, и два стула да кое-что из посуды. Она позвала меня провести с нею и ее близким другом виолончелистом и композитором, в Москве очень известным, последний музыкальный вечер. Вечер — значило и ночь, так как нельзя было поздно выходить на улицу без опасения быть случайно подстреленным не то бандитами, не то пугливым постовым милиционером. Смеясь, она рассказывала, как все это произошло. В сущности, они были славными парнями, эти усердные реkvизиторы: они были вежливы и старались объяснить ей, как незаметному буржуазному элементу, почему ее лишают части материальных благ, необходимых пролетариату. Она не возражала — это было бесполезно, но не могла отказать себе в удо-

вольствию ответить им, что самого ценного она им все-таки не отдаст — и отдать не может, как и они не могут ее этого лишиться. «Самое ценное вот здесь, — она показала на лоб и на сердце, — мой ум, мои знания, мой музыкальный талант, и это останется при мне — всегда и всюду при мне останется, что бы со мной ни сделали. Если бы я сама захотела, если бы согласилась, снизошла — понимаете? — снизошла, пожаловала, я бы могла вам сделать подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас, сколько возможно, до себя; но я этого не сделаю, потому что вы пользуетесь против меня силой, а я грубую силу презираю и ей никогда не уступлю. И вот вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли; а я, всего лишившись, останусь такой же богатой, — вы понимаете меня?» Они выслушали, но не все поняли и сказали: «Инструмент пока у вас побудет на вашей ответственности, сейчас грузовика у нас нет; а только все равно заберем для рабочего клуба». Электрического света в этот день не было. Я сидел на диване в пальто, подобрав ноги, так как квартира была не топлена. В соседней комнате моя приятельница аккомпанировала виолончели. В сущности, это был могильный склеп, в котором друзья-покойники чествовали музыкой новопривывшего в их среду. Не знаю, не помню, что они играли, в перерывах согревая себя чаем, приготовленным на примусе. Был декабрь, расстрелянная Москва спала, нервно вздрагивая при стуках в дверь. История шествовала в полном спокойствии, — ей опасаться было нечего, она всегда права. Мы ни о чем не думали, и звуки у каждого превращались в нужные и знакомые ему образы. Неправда, что тонущий человек за минуту успевает прожить целые прошедшие годы и вспомнить в них самое ценное и дорогое. Я тонул в самой волшебной обстановке, в голубизне Средиземного моря у высоких отвесных скал, у выхода из каприйского голубого грота, и я помню только одну несказанную фразу: «Так, значит, это и есть...» — и, чудом спасенный, я эту фразу повторял про себя. Музыка выключила нас из жизни и погрузила в мистическую бездну, но ясных мыслей не дала. Человек поворачивается спиной к будущему, лицом к прошлому, но не видит ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их толпа бесконечна и непрерывна. Мало-помалу все превращается в аккорд, в стройность, рожденную из хаоса, но никакая оценка невозможна. Под утро мы вышли с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель и прятал лицо в воротник шубенки. Я проводил его до дому и больше никогда не видал. Я тоже нес домой сокровище, полную чашу, которую не хотел расплескать, — идею романа, в котором какая-то роль будет отведена и моему спутнику. Но только спустя три года, в казанской ссылке, были написаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман именем одной из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек».

Но не слишком ли горделиво утверждать, что никто не может

отнять наши духовные ценности? Так хочется думать и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю насилий и издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли не-зависимой, в сущности довольно ленивого и не заслужившего такого внимания, — я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушием, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было. Но душа все же опустошалась на каждом этапе, воля все-таки надкальвалась, и искривлялся жизненный путь, который я старался себе наметить, — искривлялся не только внешне, но и внутренне. Мы начинаем чистой и прочной верой, но до конца проносим только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной памяти и потому, что менять их было бы поздно да, пожалуй, и не на что. Так, например, я определяю свое отношение к русской революции, которой был участником. Я знаю, что нелепо дробить ее на части, одну признавая, другую отрицая или подвергая сомнению; революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота, — отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать свою жизнь. И неизбежность не может служить нравственным оправданием. Можно убит в пылу страсти, в самозащите, в отчаянном нападении, но холодное, расчетливое палачество внушает отвращение, — а нам предлагали им восхищаться и его воспевать. Для меня революция — вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе, и я не зову этим именем защиту позиций, занятых новыми властителями. Революция — крушение, а не остановка и не строительство. Величайшая ересь — мыслить ее «перманентной» в смысле охраны и созидания нового государственного строя. Взятый власть — уже враг революции, ее убийца, основоположник контрреволюции. Наша история это подтвердила. Все это я знаю, но знание не окрасит заново поблекшего знамени и не спасет от натиска противоречий; крах прежних духовных ценностей неизбежен.

Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными, под рукой, детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома — на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице — день общего сиянья, крас-

ных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день. Нужно было писать — но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно кричало. И дальше — отрывочные картины, переплет революций Февральской и Октябрьской, суматоха дней и месяцев крушения векового здания. Вижу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на Западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания Московской охраны, полусожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полубогорелых деловых папок; кожаная одежда спасает. Необходимо сохранить документы сыска для истории — страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво. Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили — не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом увлечение новой большой газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов, — и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значит в переводе конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы, — и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов; какое безбрежное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной, волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие вору выносят на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию; деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них не деревенскими людьми; рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажигалки; ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей прежней борьбе, остроумные в нападках на свергнутый строй, блестяще злые, увертливые, когда нужно — самоотверженные и готовые на подвиг, — мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастли-

выми, празднующими, со всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это — конец революции, что кто-то придет и скрутит пуще прежнего, — но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина, — что-то должно случиться. Называют имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им скачут цены на исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то возятся с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников, — но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется Красная гвардия, самородная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя — и шепотком называется имя Ленина, обитателя местечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в пломбированном вагоне через Германию. Еще что-то, кажется немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? — но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отказавшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное, красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив произнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть наконец наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилью», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого

стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложёнными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем и кто-то побеждённым, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавки, торгующей со двора. Революция проиграна — да здравствует революция! В истории появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россией, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутри с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я приглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, иван-да-марья на лугах выше роста, озимые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают и колют на дрова. Самим им столько дров ни к чему, вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свои права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на человека. Но мы знаем, что это нужно и неизбежно, что это — революция. Молодые рубщики и пильщики иногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто им не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научились выговаривать мудреные слова, называют себя «левыми эсерами», клянутся Марией Спиридоновой, имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно и несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. «Не жалко вам его?» — «Что его жалеть, он помещичий». — «Теперь он ваш». — «Кто его знает, так лучше, вернее». По лесу гуляет революция, и тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины и похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка — художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достоинства посмеивается, знает, что отнимут и этот домик. «Мы сами добивались революции — вот она и пришла; жаль только соснового бора, он лучший во всем уезде». Кончает картину: солнечные блики на могучих стволах. Тем же летом, в подмосковной деревне, на берегу Москвы-реки, валяюсь на солнечном косогоре, завитом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает, — да и пробраться едва воз-

можно в его темную чашу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелками да у местного кулака оказались в риге, полузаваленные сеном, поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева, — неизвестно, как и откуда попали. В реке шуки гоняют мелочь, в даях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд Красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтоженный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состояние. Все это скоро кончится. В осенний день в подвальном помещении маленькой типографии, при потушенных во всем здании огнях, с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати»; вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью — последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыты. Но новые тюрьмы уже строятся, старых не хватает. За какое-то «ложное известие», давно подтвержденное официально, отвечаю, как редактор, перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко, комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старающийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интеллигентный бедняк, может быть, в единственных штанах... я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандалии, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содранной со старинных переплетов.

Те, кто бежал тогда из России сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу, никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни — нищету, голод, террор, мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса — лишь постольку, поскольку она тяжело отражалась на нашем быте, усиливая

нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы; вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности, с целью полного сокрушения революции; десятки народившихся окраинных и сибирских правителей были никому не нужны и не менее опасны, чем наше; не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном — чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоряжаться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти, нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степени им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России, — мы оставались тесно с нею связанными; они видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных, — мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что вопреки всему революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться пред свершившимся и к нему приспособляться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской Книжной лавке писателей, вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали

и другие. Она заполняла нашу жизнь. Она стала центром московской интеллектуальной жизни. Мы не просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждений, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублено бесчетное количество больших и малых книгохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнивали в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к тому, сбывая мусор, мы разрушению противопоставляли созидание, пусть в размерах скромных, но все же существенных. Находились смельчаки и страстные любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охранными грамотами», не всегда охранявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше не могли и мечтать; у нас они находили бесценные сокровища, расплзшиеся по России из разрушенных поместий и частных хранилищ. На скромнейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным членам. Мы не забывали, конечно, и себя, каждый забирая в свой лавочный «паек» то, что отвечало нашей частной книжной страсти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жильцами квартире, мысленно поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных изданий, мечтаю о недостающем и чаемом, люблюсь ростом моих богатств. Голод, бедность, постоянное ожидание налета бдительной власти, недовольной независимостью наших позиций и нескрываемых взглядов,— все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том Четьи-Миней от покушения на прочную кожу его переплета для обшивки валенок или заплат на башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока не восстановятся все тома полностью. Томиками французских изданий осмнадцатого века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у нас играли в деревнях ребятишки, как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разрушенных усадеб, вместе с архивами безграничной ценности. К нам робкий человек приносил на продажу сплетенные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по наследству или им откуда-то добытые.— теперь уже никому не нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю наличность кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковный чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадуя друзей, рассказав им о своих открытиях. Лично я собрал исключительную по ценности библиотеку русских книг об Италии, преимущественно путешествий, от времен Шереметева до дней наших. По моем отъезде она осталась на хранении в одном из иностранных посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равно: да будет благословенна книга, давшая в жизни так много утешений и радости! Но и горя немало дает утрата

любовно собранных сокровищ. Все, что было собрано в России, погибло, как позже погибло, украдено культурными бандитами накопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда не спалось. Поблизости шум мотора: прошумит ли он мимо или замрет у нашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, новый ближе. Может быть — облава, повальный ночной обход квартир; может быть, отдельные, намеренные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустанно варсонофьевский гараж, облюбованный для расстрелов. Нужды нет, что вы не чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке, — новая власть косит направо и налево, не слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальной камере Московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас занять место на нарах рядом со мной? Вы — свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто; будете желанным соседом». — «Где я нахожусь?» — «В Корабле смерти». — «Кто вы?» — «Я Поливанов, бывший военный министр». — «А другие?» — «Часть — бандиты, часть — люди разных партий, а почему взяты, не знаю, да и они сами не знают».

Проходят дни в ожидании. Есть несколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвале отдельную, пристроенную из досок комнату, куда никто не заходит. Лежу на лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это — комната смертников, но сейчас пусто, так как пока все, кто нужны, расстреляны. На стенах прощальные надписи. Мой арест случаен. Бывают также случайные расстрелы; бывают и такие же освобождения. Союз писателей еще пользуется некоторым вниманием: я член его правления. Меня освобождает лично Каменев, народный комиссар, член Совета рабочих депутатов. «Маленькое недоразумение, — поясняет Каменев, — но для вас, как писателя, это материал. Хотите, подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю на плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам не чувствовал себя бездушным материалом. На расстрел был уведен только один бледный мальчик с порочным лицом: его опознал «комиссар смерти», иногда приходивший взглянуть с балкона внутрь нашей ямы; сам бывший бандит, теперь — гроза тюрьмы и герой террора, он узнал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключенный был вызван «по городу с вещами». Мы знали, что он не вернется. Знаменитый гараж поблизости, но обходятся и без него, так как на нашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меня встретили радостно друзья и книги; дома знакомые томы и томики стояли в оставленном порядке. Инцидент исчерпан.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды — на эпоху Временного прави-

тельства, октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объясняют, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку — и проглядят человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает событиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали странствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаше люди перочинными ножками вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчицье лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колеи посыпанную с воза клюкву и несли домой в горстке, как четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоденный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс: нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак — не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них понаделаны печурки, гордость всякого хозяйства; растопка — номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для розжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковырянные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны, и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К весне торопились скалывать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями; дружная работа всех жильцов, пре-

красное житейское поравнение — нет больше барства, как нет и слуг. И всюду находились люди побойчее: бывший ли дворник или бывший адвокат, которые выдвигались и нами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывались и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копченый гусь, отнятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властных появились на рукаве нашивки, дальше — форма, после появятся ордена и звания. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти, — государственный строй крепчает, идеи стекленеют и становятся декретами и законами. Широко, во все скуластое лицо улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставленному к стене товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с нашей Книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобной для больших собраний; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколобые, без лишней чувствительности. Вечером к окнам дома пробрался через сад неведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В ночь расстреляли в подвалах Чека сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь наше бытие, честнейший теоретик, чистейший бессребренник, за цифрами не видевший людей, — пусть мир погибнет, лишь бы теория торжествовала! — когда он додумался, что время дать некоторый простор частным побуждениям, поощрить инициативу, тот же поток стихии стал называться изпом — новой экономической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми глазами и прочной в душе ненавистью и прежде всего — страстный ненавистник военщины, скрипевший зубами при виде военной формы. Судьба над ним подсмеялась, сделал его народным комиссаром войны и командующим войсками. Тот, первый, скуластый татарин, хотя и русский дворянин, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длинное военное пальто и славянский шишак с пентаграммой, округливший его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его не оставит. Он высылал из России неугодных людей, и ему я благодарен за дальнейшие скитания по Европе; он будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмигрантом; но и в далекой стране его настигнет и убьет третий властитель России, толстый грузин в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозванный отцом народов и мировым гением, сейчас — соперник в бессмертии и славе германского маляра. Мимо этих бронзовых фигур течет река жизни, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней,

им тоже нужно жить, жрать и метать икру; и бежит река своим вековым руслом, а многотумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом — крутом и правом — пологом, из гор в долины; мы, властители и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами,— в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «игранный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку муки, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс немущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жил на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата и покрытки, потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одиначным за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других — воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть — скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнились и в возможности попасть под карающую руку за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа: «Лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного» — так переключили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее — пристраивался в новых учреждениях, росших как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем блое чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок — и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы,

врачи, нестроптивные писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усиленного лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухи и гибели,— ей бы, благородной рыбе, поставить бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем исчезло, ею можно уплатить долг и обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, их коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой из супа разваренной тухлой. Под селедку и воблу страстно хотелось водки, но монопольные заводы не работали, запасы были выпиты и вылиты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь противогазовых масок. Привычные пьяницы пробовали пить бензин и керосин; фармацевты делали богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликсир, эфирно-валериановые капли и все, что приготавливается на спирту для наружного употребления,— теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон,— и в людских скоплениях, в очередях и на базарах пахло тонкими духами и разлило эфиром.

Два явления развивались параллельно: небывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениями, косились на материнскую и сестринскую тарелку, укрывали в кармане луковицу, ссорились из-за неравной порции. И в то же время сторонний человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывали гонимых, хлопотали за арестованных, простаивали в длинных хвостах у тюремных канцелярий с кулечками для своих и чужих узников. Одни спасали свою шкуру любимыми мерами, от вилянья хвостом до прямой подлости, другие — шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, и кличка «товарищ», одним ставшая ненавистой, для других звучала свяшенно.

И еще было одно, что трудно объяснить человеку, не пережившему в России тех дней. И торжествующих, и от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все эти страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революции пострадав, революции не проклинали и о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненависть новые властители, но не дело, которому они взялись служить и которое оказалось им не по плечу,— дело обновления России. В них видели перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только исказить и тормо-

зить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменялись?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены; от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни и посейчас кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать, — им то чуждо, незнаемо, незнакомо, непотребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плавании. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни — счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда — какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями мало-российское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное, — и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот

же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился наезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни; бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и съедана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже — с примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабей. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судье. Но великий Судья только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селения. Вернее, видел я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и достав-

ленных на розвальнях в город распорядительностью Американского комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких» и «твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых укладывали ряд на ряд, как дрова в поленище, чтобы после предать земле. И еще раньше, до казанской ссылки, я видел в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на местах одним из членов общественного «Комитета помощи голодающим», — замечательную коллекцию суррогатов, которыми пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян; ни в одном музее мира не найти такой коллекции разноцветных камней и неведомых пород, и то московское собрание погибло при аресте членов комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из всех рассказчиков самым остроумным был следователь, которому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда эти дела умножились, их предали забвению, тем более что большинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не могло. Следователь, человек новой формации, без всякого образования, но уже успевший усвоить казенный «юридический» язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской семье ели умершего собственной смертью деда, которого перестали кормить. В протокол по этому делу следователь записал: «Означенные граждане варили из головы суп, который и хлебали, даже не заправив его крупой или кореньями». Я запомнил эту фразу — она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном годе, — не для русского читателя, которого ничем не удивишь, а для иностранца, для того самого, который строго судил Россию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаянное сопротивление. Мог бы, например, нарисовать жанровую картину, как кучка полуживых плетется по следам умирающего, который из последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим костям; так точно стая волков преследует раненого собрата, подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные. Леса наши огромны, селенья редки; по Казанской губернии можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни дома, ни человека. Как же вы полагаете, понятно ли было жителям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была связана Россия, во имя чьих интересов должен был оставаться на фронте русский солдат: черемис, мордвин, татарин, вотяк, остяк, самоед? Уж и правда — не покривил ли он душой, бросив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»? И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем — не случилось ли что-то особенное в России за истекшие годы?

В Москве, на Собачьей площадке, был скромный особняк, в котором приютился общественный «Комитет помощи голодающим». Неурожай и голод — явления в России обычные, но ни одно правительство не могло справиться с ними. Настоящую помощь оказывала только сплоченность общественных сил; при Екатерине Второй с голодом боролись московские масоны,

при Николае последнем — люди, созданные Львом Толстым. Правительство, вышедшее из Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спасти от смерти миллионы приволжских крестьян; и оно пошло на риск, допустив в Москве образование общественного комитета с участием и представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую историю этого комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из Центра и Сибири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать комитету официально. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный комитет, никакой властью не облеченный, опирающийся лишь на нравственный авторитет образовавшихся его лиц, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны. Он мог спасти — и спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав их престиж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россию. Ему уже приносили собранные пожертвования представители войсковых частей Красной Армии и милиционеры. Екатерина Вторая разбила московское масонство, Николай последний преследовал работавших на голоде «толстовцев»; октябрьская власть должна была убить комитет прежде, чем он разовьет работу. В Приволжье погибло пять миллионов человек, но политическое положение было спасено.

В доме на Собачьей площадке очередное заседание комитета, но не приехал председатель, народный комиссар Каменев, раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер, знаменитой революционной старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, и мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, и я втайне жалел, что не уехал по зову приятеля в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты комитета, единственной независимой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле, — газета без тени политики, целиком посвященная информации о голоде и принимаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, и впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадил, нас повезли на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это — расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе — какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нам нужно объявить врагами революции и уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к приему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины и женщины, все — люди навозрасте или уже старые, общественные работники, коопера-

торы, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще — бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знают, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере лубянской тюрьмы, где, до ссылки, я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена комитета; бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец; старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки; коммунист-комендант, не угодивший начальству; еще неопределенные лица, может быть посаженные слушать наши беседы. Сидели недели по две-три, потом исчезали, заменяясь новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на что полагалось десять минут, вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа: вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР — контрреволюционеры, у половины арестованных членов комитета было немалое революционное прошлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был, в числе шестерых, намечен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фритьофа Нансена. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого что независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевококшайск, гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавляли до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро, отопление не действовало. Чтобы поправить его, прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вместо починки затопили нашу ка-

меру горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подобрав ноги; затем вода просочилась под пол, и этим дело кончилось. Отопления так и не поправили, и у нас зацвели зеленой плесенью деревянные доски, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь, легкие. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстановке, если даже не приключится острой болезни, до весны не дожить; весть о ссылке была настоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили на грузовик и доставили на вокзал. В вагоне отвели отдельное купе троим ссыльным (со мной ехали два известных кооператора, члены комитета) и пятерым молодым конвойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с нашими и своими документами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было неизвестно, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоне отопления не было, стекла были разбиты, и меня, больного, товарищи уложили на лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжении; путь до Казани — трое суток, и путь страшный: вагоны кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался нафталин, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ни на что, мы ехали весело, подсмеиваясь над конвойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казань, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и направились в Дом кооперативов, где были встречены ласково и предупредительно. И нас и конвойных накормили так, как мы давно не ели, — горячими щами, в которых плавали куски жирного мяса; спать уложили на настоящих кроватях, на мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казанскую Чека, где не знали, что с нами делать — никаких предупредительных бумаг не было. Подумав, нас временно освободили, а конвойных арестовали для высылки обратно в Москву. Теперь уже мы проводили их на вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами на дорогу. Недаром, по новой российской моде, мы все называли друг друга товарищами; слово «гражданин» еще не вошло в обычай. Я был слаб, но чистый воздух и некоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я не без удовольствия бродил по улицам Казани, знакомой по прежним наездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадь и сани, в сопровождении новых конвойных, поехали дальше в Царевкокшайск; мне было разрешено остаться в городе для поправки. С провинциальными властями вообще можно было ладить, тем более что они нас несколько побаивались: сегодня — ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о работе нашего комитета здесь, в голодной губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы высланы. Я был несколько поражен неожиданными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «ученый труд» — тонкую брошюрку по экономическому вопросу —

с очень трогательной надписью; он оказался коммунистом, профессором Казанского университета. Навестили меня и местные поэты и художники — в Москве на это никто не решился бы. Немного поправившись, я снял комнату в полуразрушенном большом доме, где оказалась превосходная печь, купил на базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличный письменный стол, устлал пол и завесил окна новой рогожей — и зажил барин. Кооператив, снабжавший меня всем необходимым, нашел мне и службу по книжной части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казани книжного магазина, — все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времени была полна противоречий; провинциальный ссыльный город — тем более. Читатель будет удивлен, если я ему скажу, что мне удалось в Казани, вместе с местными молодыми силами, издавать литературную газету — лишь с видимостью цензуры, при этом частную, хотя бумагу она получала из каких-то реквизируемых складов. Все хозяйство газеты наладил, пользуясь знакомством, двадцатилетний юноша, симпатичный и нелепый местный поэт с забавным прошлым. В первые дни коммунистического переворота он оказался пламенным деятелем — следователем Чека, облеченным огромной властью. Но он по-своему понимал революцию, и, когда ему послали список арестованных, подлежащих допросу и, независимо от его исхода, расстрелу, он возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; они успели скрыться, а его лишили должности. Он рассказывал об этом с возмущением: «Разве коммунизм не есть царство свободы и независимости?» Нам удалось издать десяток номеров, в которых уже появились статьи московских писателей, мною приглашенных. Редактируя газету, я не подписывался и свое участие скрывал; но какой-то номер попал на глаза московских властей, и газету, конечно, прихлопнули — без личных для нас последствий. Ссыльный, я председательствовал на литературных беседах-митингах в Казанском университете, объявленном «свободной ареной»; получил бесплатно постоянное кресло первого ряда в местном театре, где режиссером был мой московский приятель; и медицинский «институт имени Ленина», маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мне удостоверение о «болезни, требующей для поправки перемены климата, желательной на климат московский, как наиболее умеренный». Все это не мешало мне оставаться в звании «врага народа» и даже подвергнуться однажды ночному обыску. «Да что вы у меня ищете?» — «Предписано обыскать, а что, мы и сами не знаем». — «Кем предписано?» — «Из Москвы телеграмма. Вы нам дайте, что есть». — «У меня ничего нет вам нужного». — «Ну, делать нечего, мы так и ответим». Получили по папиросе и ушли. Вы скажете: странное добродушие. Не добродушие, а нелепость: со мной случилось так; та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случалось и в самой Москве. Мне пришлось однажды, как председателю

Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чeka, которому грозил расстрел (хотя он был решительно ни в чем не повинен). Нужно было непременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какие-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комиссарами) довольно свирепой репутации, из простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, и он пригласил меня прийти на квартиру в очень поздний час, почти ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартира скромная, скорее бедная; «комиссар» в русской рубашке навывпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя и без скатерти) для закуски, в центре бутылка водки. Комиссар явно доволен, что принимает писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратники, я бы попытался уклониться; но дело шло о жизни моего друга, ригоризм можно отбросить; притом скромность обстановки подкупала. Мы пили три часа отвратительный самогон; комиссар не интересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образования и как теперь, после революции, все пойдет по-иному, всякий будет учиться и добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но сознания не утративший, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» и сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова на «вы», он прибавил: «Это за то, что вы не гордый человек; а кого надо, мы не пощадим». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоценный документ. Была спасена жизнь писателя Андрея Соболя, впоследствии застрелившегося. Но по крайней мере, он сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но в сущности, для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в России, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слишком многое. И вот я — «враг народа», контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки — все, уже испытанное при царском режиме, в той же последовательности, с теми же знакомыми подробностями. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, и это уже не прежняя Европа, война неизбежно изменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было неизбежным; не будь большевиков, было бы Временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы и ссылки, были бы те же гонения на свободное слово, только вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем не видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суете жизни! Невыносимо, когда история начинает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом — воздух становился смолистым, и я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем и верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сияет светом наша улочка, огороды залиты золотом, за ними идет низина, по которой моими рыбацкими ногами протоптана тропинка к реке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, сиротливые, нищие, мы в иные дни все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узниками приветливого французского местечка, куда спаслись беженцами в дни военной угрозы Парижу. Теперь лишены права и возможности передвижения. Но в любую минуту я могу взять свои удочки и пойти на речку Шер. Она малорыбна, но очень красива; за рекой занятая немцами Франция, — теми самыми немцами, которые сейчас стараются раздавить Россию. В мои записки о прошлом невольно влетаются нити настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым, — для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны и все еще не догнавшей.

Жизнь — картинная галерея. По улице, на которую выходит окно нашей хибарки, скоро потянутся повозки с виноградом и те незамысловатые давяльные машины, залитые кровавым соком, которые странствуют по дворам местечка в дни виноградного сбора. Однако по ходу моего рассказа естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищеную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка и Булат обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстами унылых песков, зимой — снежной поляной, изрезанной немногими дорогами. В теплом кожаном полушубке и валенках я брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскинулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни — несчетные богатства, и я охотно накопил бы на свои гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим и с прочным пристанищем: томики бесценных уникамов, рукописных старобрядческих книг с цветными рисунками, чашки и чайники знаменитого поповского фарфора, бисерные вязанья, чудесные коврики, и все — почти что даром, по цене щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от пола до потолка, утонул в них в счастливом недоумении; он не искусен в отборе и бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломятся от новых случайных поступлений — образцов местного искусства и осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбитых сокровищ? Не они ли ушли в Сибирь и дальше с прошедшими через Казань добровольцами и чехословацкими отрядами?

На базаре пахнет эфиром и одеколоном, заменившими водку;

до чего богата Россия! Бывший дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены и дома стали ничьими, ввалился ко мне божественно пьяный и насквозь прозфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промывчал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне не за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок носком валенка: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты — гражданин!» Он обиделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться нынче не приказано». Глаза красные, в войлок свалына борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мне легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачный, не могу забыть оскорбительного «барина». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как и вообще частной торговли; как возникла эта — неизвестно, и почему ее терпят; вообще в провинции новый строй путается со старым, никто ничего понять не может. В столовой дали неплохую котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напоминающего рубленое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словно бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол: «Эй, где ты там?» — и собака выхватила корку синими детскими пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорит: «Ничего не могу с ними поделаться, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главное, очень вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь нельзя!» Маленький скелет выползает и ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В Казанском университете учились мой отец, дядя и старший брат. Гимназистом я посылал свои первые статьи в казанскую газету и даже полемизировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквами; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это — прокурор окружного суда. Студентом я ездил из Москвы в Пермь и обратно на летние каникулы, парходом по Волге и Каме, и Казань была серединой пути. Старался попасть на один из мощных парходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; парходы были прекрасно оборудованы, проезд на них дешев, буфет превосходен, и шли они не трое, а пятеро суток — два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно и однообразно; но плыть по большой реке с изменчивыми берегами — высокое наслаждение. В Казани было несколько часов остановки, и я ездил в город посмотреть на кремль и Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на Казанский университет, питомцем которого был и Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стенах этого университета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословаками в Сибирь; дальше их путь — на Дальний Восток,

в Китай, в Японию, оттуда океанами в места российского рассеяния — в Америку, в Австралию, черт знает куда и зачем, а кто мог — в Европу. Великий исход, переселение народов; гигантская чепуха. Оставшиеся робки, запуганы, бесцветны и уже уступают место людям большой воли и малой грамотности. «красной профессуре», путающей науку с политикой, труды великих с пропагандными брошюрками. Новая страничка в истории многострадального города. Когда-то его разорили междоусобия, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его история любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой зимой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мои друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мои бывшие спутники, члены нашего комитета, тоже хотят избавиться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу и готовятся сплавлять лес на Волгу по весне; они мечтали улечься на плотах из своей ссыльной дыры, — люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россию. Ничего о них не знаю, мне не удалось больше с ними встретиться: но они, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем приятнее, что я был здоров. Немногие казанские друзья устроили мне проводы и какими-то путями выхлопотали проезд в удобном «служебном» вагоне; преимущество огромное, так как несколько страшует от сыпного тифа — грозы путешественников. Вагон довольно опрятен, у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спиной шепот: «Ихний комиссар!» Возможно, что и стража считает меня тайно подсаженным для контроля важным чином — сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне финансового ведомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквях ценностями.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного извозчика. Приятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступником, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг и кто я — неизвестно: но квартира осталась, и в ней мои книги, собранные так любовно. На углах улиц бывшие люди и мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе — «новая экономическая политика». По пути встречаются магазины с тщательно протертыми тряпкой стеклами и с подобием витрины; частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатыми»: с мешками за спиной, иные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно для перевозки продуктов питания. Улица, на которой я живу, переименована. Звонки не действуют — стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть люди, и хорошие люди, всюду — общения, о которых остается благодарная память. Комната с самодельной мебелью, поленица березовых дров в передней, сносное питание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в малой университетской аудитории, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка моих молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки,— мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положении «врага революции» и политического ссыльного — мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиями, это, конечно, не могло пройти бесследно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и исполненным определенного содержания, синонимом политической свободы, стали прикрывать наихудший деспотизм и величайшее насилие над личностью человека. Какой диктатор не использовал этого краденого слова? Какие гражданские цепи не выкованы из понятия «свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиками наивных верований. И это наша вина: нужно было внимательнее вглядываться в глубь истории.

Эта краткая исповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянии: днями не полной утраты — далеко нет! — а кризиса прежних верований, неумолимых к ним реальных поправок. Но это не значит — духовной прострации! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни на что, наша духовная жизнь была чрезвычайно богата,— или мне это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябания в заграничном русском рассеянии, по еще пушшему контрасту с сегодняшним днем сидения в глухом французском метечке, в трагическом духовном одиночестве, в однообразии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае, мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью — дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас тогда мечтал поменять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные идеалы и их постепенное достижение. Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей, плодоносящей почве, великолепные грозы, раз-

ливы великих рек, неожиданности пробуждений,— этого не выразишь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознании каждым себя — страной и народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширенными зрачками мы смотрели на нашу Россию, настроенным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонии рычания, плача и восторженности. Именно тогда произошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к изумительной слепоте, к убеждению в миссионерстве, к принятию учения о непогрешимости всех российских начинаний, от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое и радостное чувство, позже вытянутое хлыстом и ставшее официальным, претворилось в изуверство и самодовольство. Но если свобода стала политической карикатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые научившийся читать по складам брошенную ему книжицу с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россия стала вся поголовно полуграмотной в изумительном поравнении сверху до низу — от властей до рабов, от писателя до писаря, от «рабочего у станка» до «служителя искусства».

Я пишу о переживаниях кругов избранных, об умственных верхах, но то же и большее испытывали слои, с ними соприкасавшиеся или раньше им чуждые: среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьянская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробуждении сознания в этих слоях свидетельствует быстро развившийся в России спрос на книгу, при первой возможности показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заполнившая школы и университеты, появление новой интеллигенции, еще малосознательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапно пробуждения, с упрощенными методами мышления, с особым, ломаным, полународным, полукнижным, языком, которым и до сих пор говорит Россия в быту и в покаленной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение и сейчас не завершено и не вошло в прочное русло. Издали оно нам кажется искусственным и как бы простецким, повторяющим на лету схваченные и заученные фразы,— в чем много правды,— но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пытались и пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, иногда не без успеха,— но это не страшно при наших масштабах, это смоется в огромных потоках. Безгранична разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюрой и по ней строящим свое политическое сознание, и русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него не приправа к быту, а откровение и горизонты которого настолько же обширнее, насколько

сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей пресрелой соседки.

Охотно отдаю страницы воспоминаниям о моей России, какой я ее знал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас они оборвутся для меня, и жизнь не в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памяти осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зеленого шума и речных струй, земных испарений, мирного произрастания, неоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню на берег Москвы-реки, речки-невелички, но извилистой и светлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам озимых хлебов, к концерту июньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа, культурнейшего и превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого и дальше совпадет моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Кламаре, я — в Париже. В деревне я немедленно дичаю — в одежде, в повадках, в распределении времени: ранней зарей на речке, сплю, когда сморит усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он — как бы на подлинной даче, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстукке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных и полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумно мыслит, — я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, обедаюсь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, прижав уши, с шумом вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный три века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедовали рубку в русских лесах? Входили в них торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе причта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, невозможно пробраться человеку и тем привольнее зверью. А попробуешь

продратся вглубь — путь пересечет ствол павшей сосны, толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето... Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня, — при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом — в самом лучшем ее образе.

В Москву не тянуло — был за все лето два раза. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты среди писателей и ученых, почему — никто не знает, и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не приедут, можно спать покойно, с утра уйду с удочками на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль — явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора — по берегу одна тропа к лесу — мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый, заплаканный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проезжая дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском именье, летом живут общежительно семьи народных комиссаров — Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и именье окружено высокой кирпичной оградой — дачное гнездо предержавших властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы — целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик — никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой

сожитель, но уже выпущен на свободу; он — московский профессор, из русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше и до каких пор? В деревне, у нашей дачи, поставили стражу из местных парней, внушив им, что я — опасный преступник. Но парням ждать скучно, да и руки их нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, и уходят в поле.

Москва велика — приют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище и иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

— Алло, я такой-то, вы меня ищете?

— Да. Откуда вы говорите?

— Это безразлично, я могу к вам явиться. Но скажите, вы меня задержите?

— Я не обязан отвечать на такие вопросы.

— Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемену белья?

Молчание. Затем голос отвечает:

— Можете не брать.

— Тогда я явлюсь через час.

Идти и самому сдать ся неприятелю — как будто малодушно. Но долго скрываться невозможно и слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя и успев вкусить ее пьяно и обильно, — совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободнейшего строя, была графа: «Подвергались ли вы аресту, и если нет, то почему». Все же Европа — лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смерти и прочее.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос, и отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свои дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму невесело — даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно переименованного в Гепеу (признак государственной устойчивости), тщательно охранялось, и смертному проникнуть туда было непросто. Первого часового я убедил сообщением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги, — ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко и настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди ввиду сроч-

ности заявления; я мог возвышать голос — опасаться было нечего; и при общей робости громкий голос действует. «По какому делу?» — «По делу о моем аресте». — «Но вы не арестованы». — «Я для этого пришел». — «Нельзя, гражданин, без приказа». — «Что же мне делать?» — «Это нас не касается, уходите домой». Чистая идиллия! Пришлось опять убеждать другого часового у двери, ведшей внутрь тюрьмы, где были и комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя из тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустить, ведь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил и этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной из дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успокоительно говорит: «Вы только подпишите, я уж приготовил и другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобождении, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чиновники бумажное производство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значит, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, то есть расстрелу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идти?» — «Еще заполните анкету». И действительно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относитесь к Советской власти?» Вопрос ехидный — как могу я относиться к власти, находясь в тюрьме и готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». Следователь морщится, но говорит: «Пишите что хотите, все равно уедете». — «Теперь все?» — «Вот только подпишу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь теми же коридорами, солдат отбирает бумажку и натывает на штык. Дух канцелярский сменяется пылью летней московской улицы.

Значит — вот чем стала революция. Бури выродились в привычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать из России. Вчера это казалось мне огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душе ни протеста, ни особого сожаления.

Мы обязались немедленно оставить пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва — Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германию. Легко сказать — мудрено выполнить. Германия — тогдашняя Германия! — обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас принять, если мы сами об этом попросим, но по приказу политической полиции визы не даст. Жест благородный — мы его ценим, но пускай и нас попросят. И нас убедительно и трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о визах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам — они были к нам очень любезны: и визы, и даже обеспечение приема в Берлине, где о нас позаботится такой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают

нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока — мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «Высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы — герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слышал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время Президиум Всероссийского союза писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать союз — и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления союза — хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов союза, писал его устав, перед отъездом передал союзу последний дар нашей лавки писателей — ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий и набор изданий рукописных — уникамы переходных революционных лет. С нашим отъездом лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которого, естественно, ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления — пятнадцать человек — были сдержанны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздерживаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят — самые осторожные. Минута замешательства — никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предопределено. Я встаю — и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я за-

держиваюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с выслаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома — прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в заседании, здесь не стесняются ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю — но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности, ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти — ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном общении, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным, — от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказывания. Нелегко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра — кто придет проводить наш поезд? Вокзал — не частная квартира.

Здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет — я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия — шестая часть света; остается еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я почувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свикался со страной, с народом, с языком. Это не патристическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставания с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блуждания, — и вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слышал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости: в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже — любовь к вороху бумаг накапливала архивы: житейские документы.

записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезала при «катастрофах», часть сохранялась и снова разрасталась. Из Москвы нам не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги: все, мною собранное, пропало. Но опять накопились «сокровища» в жизни заграничной — для новой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшнего и, во всяком случае, чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Стучалось так и прежде, но хватало жизненных сил, чтобы упрямо отстраивать заново свое убежище. Может быть, нашлись бы они и теперь, эти силы; но случилось худшее — исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не на бумагах, не в документах эпохи, не в письмах, а в памяти, я их сплетаю в книгу, чтобы уж нечего было больше хранить и беречь.

Книга о детстве, юности, молодых годах. Старость не нуждается в книге — ей довольно эпитафии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты произведений М. А. Осоргина печатаются с сохранением особенностей авторского синтаксиса. Частичные изменения орфографии сделаны в соответствии с сегодняшними нормами.

Сивцев вражек

Впервые роман вышел в Париже, изд. кн. маг. «Москва», 1928. Печатается по 2-му изд. — 1929.

С. 6. *Шел домой в Гирши* — место традиционного проживания московского студенчества. М. А. Осоргин в университетские годы и сам жил в этом районе (Большая и Малая Бронные улицы и примыкающие переулки).

С. 7. *Гекатомбы* — здесь: всякое большое жертвоприношение.

С. 8. *Маленький сербский гимназист* — Гаврила Принсип, член сербско-хорватской националистической организации «Молодая Босния», 28 июня 1914 г. совершил покушение в Сараево на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола. Этим убийством было спровоцировано начало первой мировой войны в июле 1914 г.

С. 27. *Георгия за храбрость* — солдатский Георгиевский крест, вручаемый за личное мужество и считавшийся наиболее почетной наградой.

С. 36. *Устроил... в Земгор* — организованный летом 1915 года объединенный комитет Земского и Городского союзов был исключительно тыловой организацией, созданной для помощи правительству в снабжении русской армии. Поэтому слово «земгусарский» имеет иронический смысл.

С. 47. *...Земнии ўбо от земли создахѡмся...* — фрагмент надгробной молитвы «Сам Един еси Бессмертный сотворивый и создавый человека...» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6. Икос.).

С. 65. *Был Арсенал* — здание Арсенала, расположенное в Кремле, как и находящийся рядом Манеж, стали опорными пунктами юнкеров *Александровского училища* (среднее военное учебное заведение для подготовки офицерского состава пехоты), в октябре 1917-го противостоявших красногвардейцам.

Кровавые события этой осени в Москве потрясли многих. «Один из самых страшных дней всей моей жизни, — писал о 3 ноября 17-го И. А. Бунин, видя в дне разоружения юнкеров «венец всего». — ...Разгромили людоеды Москву!» Отражены названные события также в известном песенном тексте А. Вертинского «То, что я должен сказать» («Я не знаю, зачем и кому это нужно...»).

С. 66. *Хомяковский дом* — принадлежавший известному писателю-славянофилу особняк в стиле ампир. Частыми гостями дома были литературные единомышленники А. С. Хомякова — Аксаковы, Киреевские и др.

С. 70. *Легато* — музыкальный термин, означающий связанное исполнение нескольких звуков.

С. 79. *Памятник Скобелеву* — конная статуя популярного героя туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1888 гг. генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882). Установлен по проекту П. А. Самонова в 1912 году. Снесен накануне 1 мая 1918-го. Сейчас на этом месте памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому.

С. 86. *Форшлаг* — в буквальном переводе с немецкого предудар — музыкальный термин, означающий мелодичное украшение одного или нескольких звуков, предшествующих основному звуку и как бы сливающихся с ним.

С. 109. *В писательскую лавочку в Леонтьевском* — М. А. Осоргин многое сделал для создания в Москве Книжной лавки писателей (открылась в сентябре 1918 г.). Лавка помогла творческой и научной интеллигенции выжить в условиях хозяйственного паралича и экономической разрухи, став при этом своеобразным культурническим центром. «В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то... Фирма была солидная, хозяева... с собственным именем на полочке истории российской изящной словесности...» — так вспоминает о Книжной лавке поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф (1897—1962) в «Романе без вранья».

С. 115. *Красные ворота* — архитектурный памятник на пересечении Новобасманной и Садово-Черногрязской улиц. Построены в 1753—1757 гг. по проекту выдающегося представителя русского архитектурного барокко Д. В. Ухтомского. Снесены в 1928 г.

С. 137. ...Эйнштейна, о книге которого только что дошли... слухи — М. А. Осоргин очень переживал, что в условиях цензурной изоляции от остального мира советский человек обречен «лепетать складки». В одном из «Писем к старому другу в Москве» писатель посетует на научную отсталость соотечественников: «...за немногими... исключениями, русские ученые — типичные гимназисты».

С. 141. *Человек в желтых гетрах* (см. также с. 150. *Субъект армянского типа...*) — намек на Б. Савинкова. В документальном очерке Романа Гуля «*Два заговора в Москве*» (Иллюстрированная Россия, Париж, 1935, № 39) читаем: «Тогда по Москве ходил еще «человек в красных гетрах», опытный конспиратор-террорист Борис Савинков...»

Борис Викторович Савинков (1879—1925) — один из лидеров партии эсеров, организатор и участник многих террористических актов, под псевдонимом В. Ропшин известен как автор прозаических произведений.

После разгона Учредительного собрания объявил о своей решительной борьбе с большевизмом. В описываемый в романе период Савинков ходил по Москве в гриме и даже без — его нередко узнавали, и город был полон слухами о намечаемых им политических убийствах.

С. 157. *И новые завелись в Москва места* — здесь и далее называются адреса следственных изоляторов Чрезвычайной Комиссии. *Общество «Якорь»* — бывшая контора страхового общества на углу Б. Лубянки и Варсонофьевского пер. *Контора смерти* — общая подвальная камера в одном из флигелей. *Контора Аванесова* (см. с. 159) названа по имени Варлаама Александровича Аванесова (1884—1930), с марта 1919-го члена Коллегии ВЧК.

С. 158. *Казры* — контрреволюционеры. От аббревиатуры КР (см. с. 584).

С. 167. *Одиннадцатое ноября восемнадцатого года* — день заключения перемирия между побежденной Германией и государствами антигерманской коалиции: Великобританией, Францией, США и др. Подписание перемирия в Компьенском лесу знаменовало собой завершение первой мировой войны.

С. 170. *Догадливый художник-гравер* — Иван Николаевич Павлов (1872—1951), автор станковых тоновых и цветных ксилографий и линогравюр об архитектурно-пейзажных достопримечательностях «уходящей» Москвы, книжных знаков, в т. ч. экслибриса М. А. Осоргина.

С. 186. *Лошадь как лошадь* — название сборника стихотворений поэта-имажиниста Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893—1942), вышедшего в издательстве «Плеяды» (М., 1920).

С. 201. *Взрыв слышали даже на окраинах Москвы* — террористический акт, совершенный 25 сентября 1919 г. в здании городского комитета РКП(б) во время многолюдного заседания. Несколько десятков раненых, двенадцать убитых — таковы были последствия взрыва, в подготовке которого ЧК обвинила подпольную организацию левых эсеров и анархистов. В качестве «возмездия» были расстреляны сотни заложников из представителей враждебных большевикам партий, офицерства, интеллигенции, «буржуазного элемента».

Свидетель истории

Роман впервые вышел в Париже, изд. кн. маг. «Москва», 1932. Печатается по этому изданию.

С. 226. *Наташа Калымова* — прототипом героини было реальное историческое лицо — Наталья Сергеевна Климова (1884—1917) — эсерка-максималистка, участница петербургского покушения на П. А. Столыпина в 1906 г. Описание ее побега из тюрьмы, а также другие обстоятельства жизни, имеют достоверную фактическую основу.

С. 227. *Модный немецкий философ* — речь идет о Фридрихе Ницше (1844—1900), одним из основателей «философии жизни», оказавшем большое влияние на социально-политические идеи XX столетия. «*Так говорил Заратустра*» — книга Ницше, как сказано в авторском подзаголовке, «для всех и ни для кого». Написанная в 1883—1885 гг., она произвела на читателей огромное впечатление, в частности, и мифом о сверхчеловеке — «*белокуром звере*». В данном случае речь может идти об одном из переводов на русский язык: Нани (1899) или Ю. М. Антоновского (1900, 1903).

С. 228. *Элейский философ Зенон* — живший в V веке до н. э. в греческом городе Элеа философ Зенон считался одним из основателей диалектики. Известен знаменитыми парадоксами. Так, в частности, он утверждал: чтобы пройти известное пространство, движущееся тело должно пройти половину этого про-

странства, а для этого — сначала еще половину этой половины и т. д. до бесконечности, т. е. оно никогда не тронется с места. Отсюда Зенон приходил к выводу, что быстроногий Ахиллес никогда не угонится за медлительной черепахой.

С. 229. ...*Сверкают на солнце голые пятки — и уязвимая, и заколдованная* — по древнегреческому мифу, морская богиня Фетида, мать одного из величайших героев Эллады Ахиллея, стремясь сделать сына неуязвимым для оружия, окунала его в воды подземной реки Стикс, но при этом пятка, за которую держала ребенка, не попала под действие чар.

Любила ли Перовская Желябова? — организаторы и участники покушения на Александра II революционеры-народники Андрей Иванович Желябов (1851—1881) и Софья Львовна Перовская (1853—1881).

С. 230. *Отец Яков* — прообразом бесприходного попа отца Якова Кампинского послужил давний знакомый писателя публицист-краевед и книжник-библиограф Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (1870—1919). Убит во время гражданской войны в Перми.

С. 232. *Перед самыми свободами...* — здесь: 17 октября 1905 г., дня выхода высочайшего Манифеста.

С. 241. *Иконы Серафима Саровского* — преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых в России святых, канонизированный после кончины, последовавшей в 1833 году, активно пропагандировался православной церковью в качестве «заступника Руси».

С. 243. *Стели «Стеньку Разина»* — имеется в виду одна из широко распространенных в народе песенных баллад о Степане Разине. Популярнейшим среди сюжетов была казнь легендарного бунтовщика (см. хотя бы «Казнь Стеньки Разина» Ивана Сурикова).

...Как члена эсероаской партии — партия социалистов-революционеров (ПСР), избрав террор средством борьбы с самодержавием, совершила ряд шумевших политических убийств и «экспроприаций».

С. 245. *«Весь Петербург»* — популярные в России начала столетия издания справочно-рекламного характера, выходили не только в столицах (см.: «Вся Москва»), но и в провинции (например, «Весь Екатеринбург»).

Полное собрание сочинений Достоевского, несколько сборников «Знания» — сам подбор книг, неслучайный для такого библиофила, как М. А. Осоргин, говорит о случайности выбора неумелых конспираторов: вместе с адресованным взыскательному читателю «полным» Достоевским были куплены издававшиеся А. М. Горьким и К. П. Пятницким с 1903 г. т. н. демократические литературные сборники для широких масс.

С. 248. *«Тьму» Леонида Андреева* — написанный в 1907 г. рассказ одного из самых популярных в те годы писателей Л. Н. Андреева (1871—1919). В произведении отразились умонастроения, владевшие писателем после поражения революции 1905 г.

С. 253. *Мелинит* — взрывчатое вещество, тринитрофенил.

С. 263. *Знаменитое выборское воззвание* — 10 июля 1906 г. группа депутатов I Государственной думы (в основном кадеты), собравшись в выборской гостинице «Бельведер», обратилась к народу с призывом в знак протеста против роспуска Думы отказаться от уплаты налогов и службы в армии.

«Несть ни эллин, ни иудей...» — усеченная цитата из «Послания к Колоссянам» апостола Павла (гл. 3. Стих II).

В дни министерства Горемыкина — Иван Логинович Горемыкин (1839—1917) — председатель совета министров России в апреле — июне 1906 г., т. е. между Витте и Столыпиным.

Самого Плеве — Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904) — директор департамента полиции с 1881 г., в 1902—1904 гг. — министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов. Убит эсером Егором Созоновым.

С. 264. *Новое о старце Кузьмиче* — в народе широко ходила легенда о том, что император Александр I вовсе не скончался в 1825 г. в Таганроге, а, удалившись от государственных дел, принял монашество и скрывался где-то в Сибири под именем старца Федора Кузьмича.

С. 267. *Братья Гракхи* — легендарные тираноборцы Древнего Рима.

С. 278. *Брекекекекс* — имитация жабьего голоса в знаменитой сказке Х. К. Андерсена (1805—1875) «Дюймовочка».

С. 281. *Октябрист* — октябристы — члены «Союза 17 октября», партии крупных помещиков и верхушки торгово-промышленной буржуазии. Название от Манифеста 17 октября 1905 г. Выступали за укрепление монархической власти.

С. 295. *Каляев* — Иван Платонович Каляев (1877—1905) — член боевой организации эсеров. В 1904 г. принял участие в покушении на В. К. Плеве. 4 февраля 1905 г. убит московским генерал-губернатором великого князя Сергея Александровича.

С. 296. *Аутодафе* — в буквальном переводе с португальского акт веры — оглашение и приведение в исполнение приговоров инквизиции, в частности сжигание на костре.

С. 297. *Преобладали «петры», было немного «катенок»* — на банковских билетах царской России печатались портреты государей. Так, на ассигнации достоинством в 500 руб. был помещен портрет Петра I, банкноту в 100 руб. украшала Екатерина II.

С. 310. *«Не могу молчать!»* — название известного публицистического выступления Льва Николаевича Толстого (1828—1910). Опубликовано за границей в 1908 г., до 1917-го распространялось в России нелегально.

С. 320. ...*«Макарова под водой»* — адмирал Степан Осипович Макаров (1848—1904), выдающийся русский флотоводец, погибший во время русско-японской войны. Броненосец «Петропавловск», флагман находившейся под его командованием I Тихоокеанской эскадры, подорвался на mine и затонул.

С. 345. *Внѣти в узѣлице* (старосл.) — войти в темницу, попасть в заточение.

С. 369. *Великий Готама Будда* — написание имени «Готама» дано на языке пали, более распространенная форма — Гаутама (санскрит).

Книга о концах

Впервые опубликовано: Берлин, «Петрополис», 1935. Печатается по этому изданию.

С. 370. *Тургеневская библиотека* — Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева, организованная в Париже эмигрантами из России. Живя во Франции, М. А. Осоргин был читателем этой библиотеки и даже входил в правление.

С. 379. *Упустили Азефа* — Евно Фишелевич Азеф (1869—1918), один из организаторов партии эсеров, руководитель ряда ее боевых организаций, с 1892 г. сотрудничавший с департаментом полиции. В результате провокаторства Азефа были арестованы и осуждены на казнь и каторгу многие члены партии эсеров. Разоблаченный в 1908 г., Азеф был приговорен ЦК ПСР к смерти, но сумел скрыться от возмездия. Умер в Берлине от болезни почек.

С. 412. *Дорнах — антропософское гнездо* — город в Швейцарии, где в 1913 г. немецким мыслителем Рудольфом Штайнером было основано Антропософское общество — философская школа, осмысливавшая божественную природу человека. В том же году по проекту Штайнера было заложено здание *Гетеанума* (с. 415) — храма теософов, называемого ими Домом Слова. На строительстве здания работали представители едва ли не двух десятков народов воюющей тогда Европы.

Русский поэт — имеется в виду Андрей Белый — псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934), литератора, философа.

С. 413. *На Ганге* — Гангэ (Ханко) — портовый город в Финляндии.

С. 414. *Табльдот (фр.)* — общий стол с общим меню в ресторанах, пансионатах и т. п.

С. 427. *Стихи Сологуба* — Федор Сологуб — псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова (1863—1927), поэта-символиста, прозаика. Среди наиболее известных произведений Сологуба книга стихотворений «Пламенный круг» (1908) и роман «Мелкий бес» (1905).

С. 429. *Для красоты... фотография Терноносца* — речь идет о репродукции работы живописца Гвидо Рени (1575—1642), представителя т. н. декоративного барокко. Черты холодной идеализации и слащавой сентиментальности в творчестве художника сделали его имя синонимом оторванного от земных корней академического искусства.

С. 433. *Филалеты* — в буквальном переводе с латыни «любители истины» — название одного из направлений масонства. Вели свое происхождение от оккультного общества XVIII в. поголовно увлекались *спиритизмом*. Русская ложа основана в 1890 г. К 1916 г. в ложе, куда принимали без каких-либо анкет или рекомендаций — т. е. практически всех желающих, состояло около тысячи человек.

С. 436. *Гуссен и Лангеншайт* (правильнее: Лангеншейд) — авторы мето-

дики самостоятельного обучения иностранным языкам. Самоучитель французского, составленный соавторами в 1856 г., имел огромный успех. С большим эффектом их методика применялась и к другим языкам.

«Обрученные» — исторический роман итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785—1873) о борьбе крестьян против феодального гнета.

Леопарди — Джакомо Леопарди (1798—1837), крупнейший итальянский поэт XIX в.

С. 445. Лавров — Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — один из идеологов революционного народничества, социолог, публицист.

Михайловский — Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — литературный критик и публицист, сыгравший заметную роль в идейном формировании народнического движения 70-х — начала 80-х гг. XIX в.

С. 455. Бурцев — Владимир Львович Бурцев (1862—1942) — активный участник революционного движения, публицист. Имя Бурцева было на слуху у тогдашней демократической общественности в связи с его сенсационными разоблачениями ряда провокаторов царской охранки, в т. ч. и таких видных фигур, как эсер Азеф, большевик Малиновский.

С. 469. Знаменитого старца Григория Нового — точнее, Новых — наст. фамилия Григория Ефимовича Распутина (1872—1916) — крестьянина Тобольской губ., в качестве «провидца» имевшего огромное влияние на царскую семью и двор. Убит в декабре 1916 г. в результате дворцового заговора.

С. 477. Ренегатства Льва Тихомирова — Лев Александрович Тихомиров (1852—1923), революционер-народник, публицист. В 1888 г., находясь в эмиграции, подал прошение о помиловании.

Копию покаянного письма Бакунина — в 1857 г. известный революционер Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) написал из Шлиссельбургской крепости, где он находился в заточении за свою антиправительственную деятельность, прошение на имя Александра II, в котором отрезкался от своего прошлого, говоря, что его предыдущая жизнь, «растроченная в химерических и бесплодных стремлениях, ... кончилась преступлением». Долгое время ходивший в списках, этот документ многими воспринимался как фальсификация.

Времена

Впервые мемуарная книга «Времена» вышла в Париже, Impr. ALON. 1955. Печатается по этому изданию.

С. 488. Любимцы Герасима Грачевника — день Герасима Грачевника (4 марта) считался сроком прилета грачей: в народе говорили, что «Герасим Грачевник грачей пригнал».

С. 494. Стоеросовый кантовский императив — авторское выражение. М. А. Осоргин соединяет идиоматический эпитет к словам «дурак, болван» и т. п. с центральным принципом основанной на понятии долга этики Иммануила Канта (1724—1804), родоначальника немецкой классической философии, выразив тем самым свое во многом ироническое отношение к существованию некоей всеобщей морали, будто бы определяющей практическое поведение людей.

...Кустом спиреи — спирея — латинское название повсеместно распространенной на Урале таволги, растения с белыми или розовыми (красными) цветками, собранными в своеобразные зонтики-метелки.

С. 495. Играем в бабки — автор вспоминает терминологию дворовых игр своего детства: бабка — кость надкопытного сустава ноги у животных; гнездо — общее количество бабок на кону (партия игры) или у игрока; ланок — бабка, которой бьют (отсюда гвоздырь — от «гвоздить», т. е. сильно бить), боевая битка, для тяжести заливалась свинцом (свинчатка); конаться — определять очередность участия в игре; поджошка (правильнее: поджёлка), пристенок (от «пристенять»), краснокудак (иначе, по Далю, катушки) — разновидности игры в бабки.

С. 496. В ... зернь при Грозном — по книге знатока исторического быта русского народа М. И. Пыляева «Старое житье» (СПб., 1897), «зернь — небольшие косточки с белой и черной сторонами. Выигрыш определялся тем, какую сторону упадут они, будучи брошены».

В фараон... — здесь и далее: банк, вист, преферанс, «железка», винт, подкидные дурачки, акулка, короли, зеваки и т. п. — азартные карточные игры.

Угобжена — от старорусского «угобжати» — в значении одарить, наделить.

С. 498. *Изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»* — речь идет о популярном в конце прошлого века произведении для детей О. Качулковой, выдержавшем несколько переизданий. В советское время книга не выходила — очевидно, в силу «классового подхода»: заблудившиеся в лесу герои — сверстники, но помещичий сын Сергей Александрович именуется Робинзоном, сын же дворовых Вася как бы и вовсе не берется в расчет, довольствуясь ролью своего рода дядьки при барчуке. Впрочем, сословные отношения не помешали зимовавшим в лесной хижине мальчишкам собирать ягоды и грибы, сеять рожь, отбиваться от волков, шить себе теплую одежду и т. д. (см. соответствующий пересказ в тексте Осоргина).

Лорд Фонтлерой — герой одной из самых популярных детских книг рубежа веков «Маленький лорд Фонтлерой» (в иных изданиях — Фаунтлерой), принадлежащей перу американской писательницы Френсис Элизы Бёрнетт (1849—1924).

С. 500. *Базилика Константина* — здесь: базилика Максенция, называемая так по имени затеявшего ее строительство римского императора Максенция М. Аврелия (окончена в 315 году Константином) — один из выдающихся памятников мировой архитектуры, среди прочих подобных сооружений (базиликой римляне называли торговый или судебный зал) выделялась своими исполинскими размерами.

Сафонов — Василий Ильич Сафонов (1852—1918) — пианист, дирижер. Много гастролировал за рубежом, где выступал в лучших концертных залах. Обладая отточенной мануальной техникой, ввел в музыкальную практику дирижирование без дирижерской палочки.

С. 501. *Его Анны и Станиславы* — ордена Российской империи, уже низшие степени которых (4-я для ордена св. Анны и 3-я для ордена св. Станислава) давали право личного дворянства.

Сочинения Аксакова — имеется в виду полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), вышедшее в шести томах незадолго до описываемых событий (СПб., 1886), «Багров-внук» — «Детские годы Вагрова-внука», автобиографическая повесть писателя, продолжение его «Семейной хроники» (с. 504). М. А. Осоргин, приходящийся родственником С. Т. Аксакову, высоко ценил писателя-классика, до конца своих дней считая его «единственным в своем роде и непревзойденным мастером русской речи». Многие сюжетные мотивировки осоргинского «Детства» прямо восходят к воспетой Аксаковым сердечной атмосфере родового гнезда, где человек и природа, дети и родители жили в гармонии и согласии.

С. 507. *Книги, изданной о «вещах человека»...* — по названию сборника прозы М. А. Осоргина, вышедшего в парижском издательстве «Родник» (1929).

С. 508. *Про Ваньку-ключника* — популярная в народе песенная баллада, известная во множестве вариантов. Долгое время была запрещенной, так как «затрагивала» влиятельную аристократическую фамилию: Ванька-ключник в песне назван любовником княгини Волконской, повешенным по приказу князя. «Злым разлучником» герой песни стал в тексте Всеволода Владимировича Крестовского (1840—1895).

«Как дело измени, как совесть тирана, осенняя ночка темна» — строки из песни «Слу-шай!» на стихи Ивана Ивановича Гольц-Миллера (1842—1871).

С. 509. *Анабазис и катабазис* — отлагольные существительные (с древнегреч.), обозначающие, соответственно, восхождение, подъем и сходжение, спуск.

«*Андр мой зннеле*» — начальные слова поэмы Гомера «Одиссея», данные в русской транскрипции. «*Не льло ли ны бяшетъ*» — начало «Слова о полку Игореве».

С. 512. *Малинины, Буренины и Евтушевские* — А. Ф. Малинин, К. Б. Буренин, В. А. Евтушевский — авторы тогдашних гимназических учебников и сборников задач по арифметике, алгебре и физике.

Профессор повернулся... к всемирноизвестнейшему портрету — выступление с приветственной речью при открытии в Перми университета товарища министра просвещения В. Т. Шевлякова (доктора зоологии) отчлнчало, насколько можно судить по отчету в прессе (см.: Пермская земская неделя. 1916. № 39. 1 окт.), официальным характером и сопровождалось троекратным исполнением гимна «Боже, Царя храни!»

Воздал честь и местному богачу — речь идет о Николае Васильевиче Мешкове, купце-миллионере, общественном деятеле и меценате.

С. 514. В списке народных комиссаров — уфимское имя — речь идет о первом наркомпроде Александре Дмитриевиче Цюрупе (1870—1928), с которым М. А. Осоргин встречался осенью 1916-го.

С. 516. *Ять* — одна из четырех букв русского алфавита, изъятая из употребления согласно Декрету от 10 октября 1918 г. «для упрощения орфографии». Многие выдающиеся литераторы того времени выступили против подобной реформы. К. Д. Бальмонт даже написал сонет «Гонимым», где каждой из утраченных букв посвятил прочувствованные слова. В частности, про «ять» там было сказано:

Изменчивого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит на честных Ъ,
Того лишь варвар не сумел понять.

Осоргин с заметной теплотой вспоминает о былой традиции правописания (см. также с. 537).

Степан Яворский — русский церковный деятель, публицист (1658—1722). Сочинения Яворского изобилуют метафорами и аллегориями, схоластичны — все это делало их труднодоступными для восприятия последующими поколениями читателей.

С. 519—520. Считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна — хорошо знавший Италию и сохранивший любовь к ней на всю жизнь, М. А. Осоргин с отвращением относился к режиму Муссолини, а также всему, с ним связанному. В частности, и к песне «Джовинецца» (см. с. 555 настоящего издания).

С. 522. Бригадир — бригадный начальник, военный чин 5 класса табели о рангах, промежуточный между армейским полковником и генерал-майором. Упразднен в конце XVIII в.

Лестница, треугольник... — перечисляются знаки, символизирующие принадлежность усопшего к одной из масонских лож. Таким образом, можно судить, что захоронение сделано до 1792 г. — года запрещения масонства в России специальным указом Екатерины II.

Да здравствует великий Маркс — речь идет о русском издателе и книготорговце Адольфе Федоровиче Марксе (1838—1904). Особую известность имела издаваемая им «Нива» — иллюстрированный еженедельный журнал для семейного чтения, который выходил в Петербурге с 1870-го по 1919 г.

С. 552. Я не Бедекер — то есть не автор путеводителей, по имени Карла Бедекера (1801—1859), известного издателя справочной литературы для путешественников.

С. 556. Белли — Джузеппе Джоакино Белли (1791—1863), итальянский поэт, автор цикла «Римские сонеты», написанного от лица людей из народа и направленного против представителей знати, духовенства, чиновников.

Паскарелла — Чезаре Паскарелла (1858—1940), итальянский поэт, отличавшийся интересом к народной жизни.

С. 557. Германский маляр — свой перечень иноказательно названных исторических фигур (Ленин, Троцкий, Сталин) М. А. Осоргин завершает Адольфом Гитлером, иронически намекая на увлечение последнего живописью: в 1911 г. будущий фюрер «третьего рейха» специально приезжал в Вену, чтобы попытаться поступить в Академию художеств.

С. 560. Марк Аврелии — римский император из династии Антонинов (121—180), философ, автор размышлений «Наедине с собой», написанных в традициях позднего стоицизма.

Экклезиаст — Екклизиаст — одна из наиболее поздних книг Библии (4 или 3 в. до н. э.), памятник древнееврейской афористики. Основные мотивы этого памятника литературы — тщетность попыток охватить полноту жизни знанием, а также мысль, сформулированная в стихе 18 первой главы: «...В многой мудрости — много печали».

С. 571. Мария Спиридонова — Мария Александровна Спиридонова — (1884—1941) — один из лидеров левых эсеров, в прошлом исполнительница нашумевшего террористического акта.

С. 572. Крыленко — Николай Васильевич Крыленко (1885—1938), активный участник Октябрьской революции, большевик, с начала 1918 г. перешел в ведомство юстиции.

С. 574. Четьи-Минеи — церковно-религиозные сборники, состоящие из житий святых, сказаний, легенд и поучений. Предназначались для ежедневного чтения.

С. 575. *Поливанов* — Алексей Андреевич Поливанов (1855—1920), генерал от инфантерии, военный министр в 1915—1916 гг.

С. 578. *Детище... покрытки* — покрытка, по Далю, «девка, вынужденная падением своим покрыть голову».

С. 583. *Каменев* — Лев Борисович Каменев (1883—1936), один из руководителей большевистской партии, в описываемый период председатель Моссовета.

Фигнер — Вера Николаевна Фигнер (1852—1942) — революционерка, член «Народной воли», двадцать лет пробыла в заключении.

С. 584. *Нансен* — Фритьоф Нансен (1861—1930) — норвежский ученый-путешественник. Известен своими исследованиями Арктики. Один из организаторов помощи голодающим Поволжья (в 1922 г.).

Царевококшайск — ныне Йошкар-Ола.

С. 587. *Писателя Андрея Соболя* — Андрей Михайлович Соболев (1888—1926) — прозаик, знакомый М. А. Осоргина. Будучи социалистом-революционером (эсером), за свою деятельность ссылался на принудительные работы в Сибирь. После побега жил в эмиграции. В 1915 г. вернулся в Россию. История с арестом Соболева одесской ЧК вошла также в роман Валентина Катаева «Уже написан Вертер».

С. 589. *Полемизировал с сотрудником... тоже прятаящимся за буквами* — начинающий журналист Михаил Ильин пользовался помимо псевдонима «Пермяк» еще и такими, как «М. И-нь», «Студ. М. И.» и т. п.

С. 593. *Друг философ* — Николай Александрович Бердяев (1874—1948), выдающийся русский философ, публицист.

Осоргин М. А.

О-72 **Времена: Романы и автобиографическое повествование/Сост. и примеч. Е. С. Зашихина.— Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992.— 608 с.**

ISBN 5—7529—0502—8

С 18

150 000 экз.

В одноименном известном русского писателя вошли три романа — «Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах» — и автобиографическое повествование «Времена».

О 4702010201-018 28-92
M158(03)-92

ББК 84Р1

Содержание

Сивцев Вражек /3
Свидетель истории /222
Книга о концах /370
Времена / 488

**МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН**

ВРЕМЕНА -

Редактор М. П. Немченко
Художественный редактор
В. С. Солдатов
Технический редактор
Н. Н. Заузолкова
Корректоры М. Ф. Худякова,
Т. В. Сергеевко, Н. И. Тунгусова

Сдано в набор 25.11.91. Подписано в печать 10.02.92. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,9. Усл. кр.-отт. 32,3. Уч.-изд. л. 43,5. Тираж 150 000. Заказ 470. С 18

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Екатеринбург, ГСП-351, Малышева, 24. Типография издательства «Уральский рабочий», 620151, Екатеринбург, пр. Ленина, 49.